# Алексей Толстой

Художественная литература 2026

# Алексей Толстой

Оригинал

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. Но более всего Толстой был тружеником, и в русской литературе останутся два его романа, повесть о детстве и сказка, которую будут читать всегда.

Писатель и историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем биографическом повествовании удивительный образ этого необъятного человека на фоне фантастической эпохи, в которой «третьему Толстому» выпало жить.

*Автор приносит сердечную благодарность заведующей музеем А. М. Горького в Москве Светлане Михайловне Дёмкиной и старшему научному сотруднику Марине Владимировне Шиловой за любезно предоставленные фотографии из архива музея, а также выражает искреннюю признательность сотрудникам филологического факультета и научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова за большую моральную поддержку, оказанную в период работы над книгой.*

## Акробат на горошине, или последний Толстой

Если подумать, всякое прилагательное и всякое определение, каким мы чествуем человека, — это только вариант его имени, попытка позвать его, выделить из толпы, классифицировать, найти ему единственное место в своем миропорядке. Мы зовем человека умным, глупым, блестящим, несчастным, лжецом, правдолюбцем, приспособленцем и тем строим свое внутреннее государство, распределяем «портфели» в своем «правительстве». А если так, то самым трудным, самым хлопотным, беспокойным, ускользающим человеком в рвущейся, навсегда отменяющей высшие сословия русской истории был граф Алексей Николаевич Толстой. Последний, кто носил этот титул, не снимая его даже на ночь и чувствуя его сквозь все перины, булыжники, границы, опасности и отрицания. И, наверное, потому его нельзя было огородить определениями. Он легко носил их все, и в самые трудные дни был театр, представление, праздник.

Он был (и не только в этой книге) — «лихоумец, восхитительный циник, очаровательный негодяй, ловкий рвач, щедрый мот, мажорный сангвиник, ненадежный друг, маленький лорд Фаунтлерой, герой капиталистического труда». И он же был «отличный рассказчик, веселый собеседник, великий писатель, академик, депутат Верховного Совета, трижды лауреат Сталинской премии, знавший всё русское, как не многие».

Немудрено, что человек, надумавший написать о нем книгу, рискует оказаться в десяти ловушках сразу и в конце концов потерять своего героя за карнавалом масок. Временами кажется, что граф провоцировал своих биографов и они легко «покупались» на его дневной

маскарадный образ, что заметно даже по лучшим его «житиям», написанным блестящими перьями И. Бунина, Р. Гуля, Ф. Степуна. А уж у тех, кто рангом пониже, он и вовсе теряется в лукулловых пирах, чужеземных машинах, роскошных гардеробах и фамильных портретах, которые он сам весело зовет купленными на барахолке. Он как будто каждого вовлекает в игру и заставляет пожить на своем острове Кифера, где никогда не заходит солнце.

И, кажется, только Бунин отметит, что после всех пиров, кутежей, проигрышей он обмотает голову полотенцем — и за стол! За работу — во всяком состоянии. Только — кто это видел, кроме самых близких. И казалось, что все у него делается играючи, без труда, его веселым талантливым «брюхом». Но и «брюхо», конечно, было. Кто только не корил «маленького» Толстого недостатком образования, и тем не менее, чего он ни коснись, все делалось живым, словно вырывалось само собой, как его любимый Буратино из-под руки папы Карло. И он это так живым и оставлял — с длинным носом, со всем сором и случайностью, во всей свежести первого дыхания, так что высокие стилисты всегда немного морщились и затруднялись в словах. И спасались в противоречивых парах, как Георгий Адамович, который говорил о «бессознательности» дара Толстого, дивясь «размашистой неряшливости» и «блестящей растрепанности» его письма. И это всегда и естественно связывалось и с самим порядком (или беспорядком) нравственной жизни Толстого. Так что нравственно безупречный И. А. Ильин с досадой говорил, что «с таких людей обыкновенно не взыскивают строго ни за их выверты в искусстве, ни за их зигзаги в жизни и политике. За ними как бы признается *привилегия безответственности».* И тут же назовет его «всадником без головы на шалом пегасе красочной фантазии».

Но про «выверты в искусстве», пожалуй, зря. Уж кто только не кипел вокруг Алексея Николаевича в России, Париже, Берлине при его-то умении все время оказываться в центре любой компании: футуристы, акмеисты, ничевоки, «ослиные хвосты» и «бубновые валеты», Сологуб и Маяковский, Бунин и Эренбург, Ахматова и Крученых, Белый и Кузмин, и кого только не сбрасывали «с парохода современности», а к нему словно ничего не приставало.

Выручали здоровая русская кровь, «брюхо» его, родной язык, который он так любил, сама стихия победной жизни, так что и противники надумают осудить за беспечность посреди горя, за сытость посреди голода, за удачливость посреди общей беды, а в конце концов махнут рукой и простят.

Алексей Варламов избирает в своей книге о нем самый верный путь — все увидеть, все понять, ни от чего не увернуться, привести все свидетельства, но не торопиться склоняться на чью-то сторону, потому что христианским опытом знает, что судить любого человека из другого времени, из далеко ушедшей жизни самонадеянно и несправедливо. Нравственный закон при всей непреложности своей дышит сотней оттенков быстротекущей истории, так что одно слово и один поступок могут по-разному быть истолкованы при деспотизме и демократии и по-разному преломиться в умах даже живущих через дорогу современников.

Варламов бережно распутывает узел за узлом, понимая страшную ответственность за судьбу своего беспокойного героя. Ведь от нашего решения часто зависит не только судьба того, о ком мы свидетельствуем, но и наша собственная судьба.

Бог знает, отчего мы так устроены, что легче и скорее принимаем на веру дурное о человеке, чем благородное и достойное. Может быть оттого, что надеемся таким контрабандным способом провезти через духовные таможни свою нечистоту, простив себе за счет другого то, что не прощает ранящее нас сердце.

Иван Бунин своим «Третьим Толстым» почти убедил нас в поддельности толстовского

графства, да и Роман Гуль подхватил. И мы весело и насмешливо повторяем этот навет, как будто, отняв его аристократизм, прибавим породы себе. Автор выслушивает все сплетни, читает воспоминания и переписку, сопоставляет слова и сроки, поднимает метрические книги и завещания, пока не доказывает с совершенной неоспоримостью подлинность графского титула Алексея Николаевича и не обнаруживает горечь и драматизм стоящей за сплетнями тайны. А заодно помогает нам догадаться также и о тайне детского одиночества «Лелечки» и «Алиханушки», как звала его любящая мать. И увидеть, как мальчик выбирается из противостояния взрослых, сделавших его человеком «вне сословия — некто, никто», чтобы потом уже ни на минуту не забывать, что (как замечательно пишет Варламов) «в России нельзя быть Толстым, не будучи графом». Сама жизнь за руку выведет, так мощно укоренен этот род в русской истории в нераздельном соединении титула и фамилии.

Кажется, нашей истории за советские годы удалось сослать «в литературу», в предание, в навсегда прошедшее все титульные фамилии, разжаловать их нынешних носителей в «граждане». И только Толстые — всё графы, касается ли это сегодняшних молодых яснополянских Толстых или уже внуков Алексея Николаевича, из которых я знавал одного — Алексея Дмитриевича. Сына младшего из толстовских детей от Натальи Васильевны Крандиевской Дмитрия — «Мими», «Митьки», который был «взращен без груди», «никогда не плакал» и был, по словам К. И. Чуковского, «типический дворянский ребенок». Очевидно, с памятью об этой типичности Алексей Николаевич нанимал для мальчика старушку, которая в середине тридцатых годов, когда страна торопилась свести последнюю церковь и последнего батюшку, читала с мальчиком Евангелие. И, видно, читала хорошо, раз сын «Мими» Алексей — хороший питерский хирург и в дедушку хороший гастроном и барин — писал в последние годы своей, к сожалению, как и у деда недолгой, жизни о христианских мотивах поэзии своего «соседа по даче» Владимира Набокова, хотя сам Набоков настойчиво аттестовал себя атеистом. Наверное, Толстым с их крепкой русской кровью было лучше знать, кто христианин, а кто нет.

И потом глава за главой Варламов будет рисовать нам Алексея Николаевича, этого Гаргантюа и Одиссея, живавшего в Самаре и Петербурге, в Москве и Одессе, Константинополе и Париже, Берлине и Ташкенте, словно непрерывно летевшего и летевшего везде будто поверх жизни, везде на виду и везде так ловко, что история так и не сумеет ухватить его ни в обеих мировых войнах, ни в революциях, ни в бегстве, ни в возвращении, ни в голоде, ни в вихре арестов, словно оскальзываясь на его ухоженной гладкости. И сам автор книги в долгой погоне, в жесткой терпеливой «следственной» работе тоже, кажется, временами готов отступиться и сдаться. Мы ведь всегда немного те, о ком пишем, иначе убедительности не добьешься. А тут герой часто втягивает в такие истории, что из соображений душевной гигиены лучше бы обойти, не досматривая их до конца. Но и в последней усталости, которую чувствует и читатель (при чтении и ему ведь для полного понимания надо быть Толстым), все-таки оставляет суд Богу — «кто знает, какая чаша перевесит».

Да ведь и время уже отучило нас от поспешного суда. Слишком мы много повидали в последнее время человеческой пошлости и цветного эстрадного тумана вместо истории, слишком много лжи, затмевающей, а то и вовсе скрывающей правду, чтобы не понимать брезгливости Толстого к этому прыгающему дню, который сегодня даже и не притворяется осмысленной и глубокой жизнью. Именно похожесть времен, какая-то неумная повторительность не вразумляющей нас истории и не дает нам права на суд. Вот взгляните в начало «Хождения по мукам», в 14-й год. Ведь это зеркало.

«В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строили банки, мюзик-холлы, скейтинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением

зеркал… светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями… То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности… Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие на один сезон из небытия».

Вот мы и вчитываемся в жизнь человека, перемогшего этот обморок, и вглядываемся — как он устоял? Будто рецепта ищем. И слыша его здоровый смех, вырывающийся из всех воспоминаний, понимаем, что он даже не защищается им и не глумится, как многим казалось, а благословляет жизнь, которая выше и дальше этих больных мимолетностей. Только одним этим пониманием, увы, не спасешься. И мы бы рады посмеяться над своим затейливым временем, да смех в нас застревает, и мы торопимся вместе с Варламовым поискать в Толстом ответов поопределеннее смеха, увидеть, что питало его оптимизм в глубине сердца.

И как же радуется автор, как нежен становится к Толстому, когда тот после всех вихрей, забав, отступничеств и уклонением находит, за что ухватиться и с чем выйти из гнилостного брожения Серебряного века, из рабства и революций, и находит, что выход этот в любви и Родине, которые с этого «открытия» в его творчестве уже навсегда будут связаны между собой. И как горячо подхватывает телегинскую мысль из того же «Хождения по мукам», что все распады, все смутные времена, как ни болезненны, а все-таки преходящи, пока жива народная глубина, что «уезд от нас останется — и оттуда пойдет русская земля».

Да, да, подхватывает автор, «изумительные страницы, вечные»! И опять удивляется, как часто художник в Толстом обгоняет мыслителя и еще посреди разрухи и отчаяния едва отошедшей Гражданской войны уже преодолевает сомнение и отрицание для дела и жизни. И за все сразу прощает автор, а за ним и читатель «Алешку» Толстого, словно уезд этот спасительный он, Толстой, и есть, «третий Толстой», последний Толстой, вечный Толстой, как имя жизни, как имя народа, в котором всего хватает — и лжи, и гордости, и притворства, и даже и подлости и жестокости, но в конце концов превыше всего окажутся в нем терпение и любовь. И сквозь всё светящий, подчеркиваемый Варламовым, такой неожиданный рядом с толстовским именем «дух добротолюбия».

И сила этого художественного убеждения Толстого и за ним Варламова такова, что не хочется смущать себя мыслью: а остался ли еще этот неповрежденный уезд, с которого пойдет Россия, в нынешнем, стократ более поврежденном, чем в пору «Хождения по мукам», дне. Остался ли художник, уверенный в этом и умеющий найти слово воскрешения. Не предположить ли, что Варламов для того и выбрал в герои А. Н. Толстого, чтобы дорога наша была увереннее, раз вот и из таких ухабов и такого мутного вихря («сбились мы, что делать нам?») можно, оказывается, выходить в силе и правде.

Дар у Толстого и в самом деле был умнее ума. Собирался за «Восемнадцатым годом» начать писать «19-й», да «струсил» — ко времени ли? И взял да написал своего захватившего не только Россию, но и эмиграцию «Петра» во всей его животной, горячей, злой свободе и силе, в полете какого-то сокрушающего строительства (простите за эти два слова рядом). А потому и написал, что Петр на этот час как раз и был «уездом, с которого всё пойдет», что ослабленной стране как раз и потребен был такой кипяток молодой силы и здорового сопротивления усталости. Так что, оказывается, вовсе не хитрые соображения вышли в Толстом вперед, а это «брюхо» его, его грешная и так свято вышедшая «бессознательность» потребовали молодого примера. А «Девятнадцатый год» никуда не денется. Напишет он и его. И опять тогда, когда нужно, когда боль отойдет и станет виден смысл выстраданного.

Все у него было в свой час. И все для того, чтобы в конце пути найти за нарисованным очагом бедной каморки золотую страну, и не где-то «далеко-далеко за морем», а в своем сердце. И не изменить ей.

Разделив со своим героем весь внешне хаотический и часто сомнительный путь, Варламов сумел убедить нас, что внутренне эта жизнь была по-русски пряма и в каждое мгновение, даже на эмигрантских путях, связана со своей Родиной, во имя которой Толстой мог идти поперек даже как будто правого общего мнения и не страшиться.

Он уйдет из жизни в тяжелые для Отечества дни, не увидев победы во второй на его роду Великой войне, но успеет послужить ей словом в самые роковые часы тверже и мужественнее шатающихся генералов, потому что он подлинно «знал русское как никто». И как никто верил в него.

И я понимаю Варламова, когда он снова и снова цитирует военную толстовскую публицистику, потому что глядит на нее раненым сердцем сегодняшнего страдания и бездомья и не о прошлом напоминает этими цитатами, а новое время и нынешний день заклинает: «Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту несешь ты в своем сердце».

Трудное, наитруднейшее имя выбрал для своей книги Варламов, чтобы, не опуская головы перед самым стыдным и неверным в этой жизни, прозреть в ней золотой свет народного сердца. Увидеть всю русскую толстовскую историю в широком ее разливе, где будет место и авантюрному Толстому Американцу, и исторически бережному и чудесно ироническому автору «Князя Серебряного» и Козьмы Пруткова, и грозному взгляду автора «Войны и мира», и вот этому, через немыслимый изворот судьбы прошедшему советскому Толстому, чтобы особенно наглядно увидеть, что всё это один народ, одно сердце, одна Родина. Отчего и горят в нас такие необходимые сегодня, такие потребные душе слова из предисловия гр. Алексея Н. Толстого к его «Хождению по мукам», вечному русскому хождению по мукам: «Да будет благословенно имя твое — Русская земля. Великое страдание родит великое добро. Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом, но добром: волей к жизни, свободой и милосердием. Не для смерти, не для гибели зеленая славянская равнина, а для жизни, для радости вольного сердца».

Для жизни, для жизни…

*Валентин Курбатов*

# Глава I. Свидетельство о рождении

Писателя Алексея Николаевича Толстого называли в Советском Союзе «красным графом». Иногда насмешливо, иногда уважительно. Молотов, выступая в 1936 году на VIII Чрезвычайном съезде Советов, говорил: «Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской — товарищ А. Н. Толстой. В этом виновата история. Но перемена-то произошла в лучшую сторону. С этим согласны мы вместе с самим А. Н. Толстым»[1].

Рассказывали анекдот о том, как в Детском Селе в кабинет к Толстому стучится лакей: «Ваше сиятельство, пора на партсобрание». Анекдот этот примечателен двумя неувязками. Во-первых, Толстой никогда не вступал в партию, но народная молва прочно его с ней повязала, а во-вторых, что касается «вашего сиятельства», то в эмиграции, да и не только в ней, были

люди, в графстве Алексея Николаевича сильно сомневавшиеся либо не принимавшие его аристократический титул всерьез.

Мария Белкина, автор книги «Скрещение судеб», писала о своей встрече с другим советским графом, А. А. Игнатьевым, в конце тридцатых годов:

«По дороге на вокзал я встретила Алексея Алексеевича Игнатьева, и он, узнав, куда и зачем я еду, зарокотал, грассируя:

— Алешка, хам, он вас не примет, я его знаю! И какой он граф? Он совсем и не граф… — сказал Алексей Алексеевич, так гордившийся своей родословной и с таким недоверием относившийся к родословной других. — Я позвоню ему, езжайте, я прикажу ему вас принять!»[{2}]

«Прикажу» — так не может обращаться один граф к другому, так только с лакеями, с «людьми» говорят.

Сомневался в графстве Толстого и Бунин.

«Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно — например, так: «А. Н. Толстой родился в 1883 году в бывшей Самарской губернии и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом…»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году в бывшей Самарской губернии…» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию?»[1][{3}]

Сам чувствуя некоторую неловкость от своей въедливости, Бунин оправдывался: «За всем тем касаюсь его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к приобретению настолько велика была у него…»[{4}]

В дневнике своем уже много позднее после публикации «Третьего Толстого» (что примечательно, это предпоследняя запись в его дневнике) Бунин высказался и того определеннее: «Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка Толстой говорил ему, что он, Толстой, до 16 лет носил фамилию Бострэм, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его — графом Толстым»[{5}].

Итак, отец, по Алданову, получается мнимый, а с ним и мнимая фамилия, и мнимое графство. Так же категоричны были Роман Гуль и Нина Берберова, прямо утверждавшие, что Толстой — самозванец и на самом деле никакой он не Толстой, но Востром, а знатную фамилию и титул себе присвоил.

«У графа Николая Толстого были два сына — Александр и Мстислав, — писал Роман Гуль. — В их семье гувернером был некто Бострем, с ним сошлась жена графа и забеременела. Толстой был человек благородный (а может быть, не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены: ребенок родился *формально* как его сын — Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его «юридический» отец граф Н. Толстой порвал с женой все

отношения. Порвали с ней отношения и сыновья — Александр и Мстислав. Оба они не считали Алексея — ни графом, ни Толстым. Так ребенок Алексей Толстой и вырос у матери, в Самарской губернии. Но когда граф Николай Толстой скончался, уже взрослый Алешка, как «сын», приехал получить свою часть наследства. И получил. С Мстиславом Толстым я встречался на юге Франции у своих знакомых Каминка, они были соседями по фермам недалеко от города Монтобана.

Только после рассказа М. Н. Толстой мне стала понятна суть той *«биографии»* Алексея Толстого, которую он, по настоянию Ященки, дал в «Новую русскую книгу». В этой «биографии» Толстой не сказал решительно *ни одного биографического слова о себе».*

Как мы увидим дальше, в этом мемуаре много путаницы и откровенной нелепицы, но он показателен как источник, из которого зарождались мифы о незаконнорожденности Толстого.

На самом деле — граф или не граф, Толстой или нет — история появления на свет писателя Алексея Николаевича Толстого и получения им графского титула достойна отдельного романа. Эта история была подробно описана литературоведом Ю. К. Оклянским в его насыщенной документами книге «Шумное захолустье», единственный недостаток которой заключается, пожалуй, лишь в определенной предвзятости по отношению к участникам разыгравшейся в восьмидесятых годах позапрошлого века драмы. Не претендуя на архивные открытия в этой области и лишь пытаясь расставить в этом почти что неправдоподобном сюжете свои акценты, резюмируем главное: если Алексей Николаевич Толстой был графом и сыном Николая Александровича Толстого, то он был не дитя любви, но дитя ненависти и раздора, и именно это странным образом определило жизнь этого литературного баловня, советского Гаргантюа, эгоистического младенца, как звал его Горький, национал-большевика, космополита, великого писателя и труженика, что признавал и взыскательный Бунин, гедониста и эпикурейца, сидящего перед заставленным яствами столом, каким изобразил его художник Кончаловский. Именно это объясняет его творческий и жизненный путь и является золотым ключиком к той двери за нарисованным холстом, где прячется кукольный театр Алексея Толстого со всеми буратинами, мальвинами, Пьеро, Карабасом-Барабасом, а еще царем Петром, сестрами Дашей и Катей, марсианской девушкой Аэлитой, авантюристами, диктаторами, бандитами, проститутками, коммунистами, похотливыми помещицами, насильниками, сыщиками и ворами. Широк русский человек. В полной мере это относится и к герою этой книги.

Генеалогия — наука на любителя. В русской истории было так много Толстых, что разобраться, кто из них кому кем приходится и в каком родстве друг с другом они состоят, может только человек весьма искушенный либо дотошный. Среди предков Толстых, пришедших в XIII веке из Германии и впоследствии получивших свое звучное прозвище от великого князя Василия, были воевода в царствование Ивана Грозного, стольник царицы Натальи Кирилловны, стольник государя Алексея Михайловича, воевода при князе Голицыне. Наконец, был Петр Андреевич Толстой, первый в роду граф (титул этот дал ему Петр I), дипломат, пленник турецкого султана, основатель Тайной канцелярии, заманивший в Россию царевича Алексея, за что Алексей, по преданию, проклял весь толстовский род. Сыновья проклятого графа были лишены при Петре II графского титула и сосланы на Соловки, но в царствование Елизаветы вернулись из опалы. Примерно тогда же, в середине XVIII века, разделилась на ветви та часть могучего толстовского древа, что дала русской литературе трех писателей — Льва Николаевича, Алексея Константиновича и Алексея Николаевича. Не связанные близким родством, они имели различных знатных предков, а что касается третьего Толстого, то в его корнях переплетаются сразу две великие писательские фамилии — Толстой и Тургенев. Первая — по отцовской линии, вторая — по материнской. Это примечательное совпадение отмечал в письме к Амфитеатрову Горький, вскоре после того как новый писатель появился на литературном горизонте Серебряного века:

«Обращаю Ваше внимание на графа Алексея Ник. Толстого. Это — юный человек, сын Толстого — губернского предводителя дворянства в Самаре, родственник И. С. Тургенева: хорошая кровь!»[{6}]

Почти то же самое писал о крови Толстого и Максимилиан Волошин: «Судьбе было угодно соединить в нем имена целого ряда писателей сороковых годов: по отцу он — Толстой; по матери — Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксаковым, не то с Хомяковым… Одним словом, в нем течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая, помещичья кровь»[{7}].

Наконец, в двадцатые годы, представляя Толстого немецкой публике, Марк Алданов (тот самый, что расскажет Бунину про признание Толстого о мнимом отце) писал: «Граф Алексей Николаевич Толстой принадлежит к одной из самых культурных семей русского родового дворянства. Различные ветви этой семьи дали России, кроме ее величайшего писателя, автора «Войны и Мира», кроме поэта Алексея Константиновича Толстого (на котором почило данное ему в детстве благословение престарелого Гёте) еще целый ряд выдающихся деятелей на поприще искусства и политики. По матери своей А. Н. Толстой принадлежит к столь же даровитой семье Тургеневых: он приходится потомком декабристу Тургеневу и дальним родственником знаменитому романисту, Ивану Сергеевичу, хорошо известному западно-европейским читателям»[{8}].

На самом деле это, конечно, был рекламный ход: ни в близком, ни в отдаленном родстве с Иваном Сергеевичем Тургеневым Тургеневы Алексея Толстого не состояли, однако родословная у них была очень любопытной. М. Л. Тургенева, тетка Толстого по матери, писала о своем прадеде П. П. Тургеневе: «У Петра Петровича было два сына, женился он в преклонных годах на молодой красавице, дал ей развод, когда узнал, что полюбила другого, заперся в деревне, вел монашеский образ жизни, был масоном, ждал скорого конца света и не хотел покупать земель, хотя рядом продавались очень дешево. Петр Петрович у нас в семье окружен был как бы ореолом святости»[{9}]. Как следует из этого отрывка, то было чисто русское масонство, вроде описанного Писемским в романе «Масоны», да и ожидание скорого конца света — черта сознания, скорее свойственная нашим раскольникам, нежели иностранным вольным каменщикам.

Масоном был и старший брат Петра Петровича Иван, который в 1786 году учредил в Симбирске под председательством симбирского вице-губернатора Голубцова «стуло масонския ложи», имевшее целью «противодействовать вольтерианизму, распространять в отечестве печатно через преподавание в школах просвещение и оказывать помощь ближним»[{10}]. Сыновья Ивана Петровича Николай и Александр сделались декабристами. Но с течением лет, а также в результате политики Николая I масонская струя в тургеневском роду захирела, хотя склонность к отвлеченному умствованию у Тургеневых осталась.

Отец Александры Леонтьевны Тургеневой Леонтий Борисович был военным, служил во флоте, в чине лейтенанта вышел в отставку, женился на дочери генерала от кавалерии А. Ф. Баговута и княжны М. С. Хованской Екатерине Александровне Баговут и поселился в одном из родовых имений Тургеневых Коровине, что в сорока верстах от Симбирска. Несколько лет он был предводителем уездного дворянства, в 1884 году разорился, служил мировым судьей и последние годы провел у сестры в имении Репьевка. Леонтий Борисович был строгим христианином, почти аскетом, и позднее его черты отразились в героях толстовских книг: в образах Петра Леонтьевича Репнева в «Мишуке Налымове» и Ильи Леонтьевича Репнева в «Чудаках», а география тургеневских имений разместилась на страницах всего «заволжского» цикла.

Своих дочерей Леонтий Борисович старался воспитывать в соответствии с христианской моралью, хотя и не слишком преуспел. В 1883 году, когда драматическая история отношений Александры Леонтьевны Тургеневой и ее мужа графа Николая Александровича Толстого стала предметом не только сплетен и пересудов, но и прямого судебного разбирательства и докатилась до столицы, петербургская газета «Неделя» писала о молодой графине: «Она воспитывалась в местной женской гимназии, которая обставлена по отношению к «благонадежности» крайне благоприятно. Семь старых дев и столько же бездетных вдов охраняют священный огонь в этом храме весталок. Семейство Тургеневых всегда отличалось отменной набожностью…»[11]

Александра Леонтьевна с детства любила читать, ее любимым писателем был все тот же И. С. Тургенев не только из-за совпадения фамилий, но и по родству душ. В 16 лет она написала свою первую повесть «Воля», взяв в качестве темы положение прислуги в старом барском доме, а три года спустя вышла замуж. Не по любви и не по настоянию родни, а из странной смеси девичьего любопытства и чувства долга, по-видимому понимаемого весьма книжным образом.

Ее супруг, граф Николай Александрович Толстой, о котором так хотелось поподробнее узнать Бунину, родился 29 ноября 1849 года и был старше ее на пять лет. Он воспитывался в Николаевском кавалерийском училище, в 1868 году был произведен в корнеты и выпущен в лейб-гвардии гусарский полк. Однако военная карьера графа Толстого не задалась: за «буйный» характер он был исключен из полка и лишен права жить в обеих столицах. Толстой переехал в Самарскую губернию, где и встретил Александру Леонтьевну Тургеневу. С его стороны это была несомненная страсть, с ее…

Александра Леонтьевна была очень непростого нрава. Благоразумная мать хотела выдать ее за некоего господина Радлова, но дочка увлеклась Толстым и настояла на своем.

«Я прежде думала о графе с жалостью, потом как о надежде выйти за него замуж и успокоиться, потом, видя его безграничную любовь, я сама его полюбила, — писала она летом 1873 года отцу. — Да, папа, называйте меня, как хотите, хоть подлой тварью, как мама называет, но поймите, Христа ради, недаром же у меня бывают минуты, когда я пью уксус и принимаю по пяти порошков морфию зараз»[12].

Как следует из этих строк, и характер у девушки, и отношения в семье были очень напряженными. Вот почему когда газета «Неделя» писала: «Молодую красавицу барышню увлекла высокая идея гуманности и христианского одухотворения: ее уверили, что ей предстоит достойная миссия обуздать и укротить пылкий нрав графа, что она сможет переродить его и отучить от многих дурных привычек»[13], — то относиться к этому пассажу надо с изрядной долей осторожности. Неизвестно, чей нрав надо было обуздывать — в любом случае брак Толстого с Тургеневой представлял собой гремучую смесь.

В творчестве Алексея Толстого история любви его родителей отчасти отразилась в романе «Хромой барин»: «Перед свадьбой, объясняясь в саду на скамейке, Алексей Петрович сказал Катеньке, что, если бы она охотой шла за него, он бы не женился. Тогда же Катенька поняла, что ему нужна «жертва». Алексею Петровичу действительно нужна была «жертва», но — особого рода (это она не совсем себе уяснила): живая, теплая, вечная. Бывают жертвы глухие и бесповоротные, когда человек отдаст всего себя, пропадет и исчезнет, при воспоминании об этом мучает совесть и сам себе кажешься недостойным. Бывают жертвы огненные, радостные, мгновенные, при воспоминании о них жалеешь, что не повторяются они еще раз. Алексей же Петрович мог жить только так: если близ него находилась любящая женщина с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всю себя за ласковое слово. Он должен был

чувствовать постоянный нежный укор, милую тяжесть, грусть оттого, что не в силах дать ей всего счастья, которое заслужила она, и в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил ее, как восхитительный, горький, дьявольский напиток».

Дальнейшая история взаимоотношений князя Краснопольского и Кати Волковой несколько отличалась от истории графа Толстого и его юной жены. Если князь переживает сильное нравственное потрясение и возрождается к жизни, то с графом Николаем Александровичем этого не произошло. Последовавшая осенью 1873 года женитьба не изменила характера и привычек самарского аристократа. Пьяные кутежи, дуэльные истории и оргии продолжались, однажды граф Толстой оскорбил самарского губернатора, был выслан из города и получил разрешение вернуться лишь благодаря заступничеству бабушки Хованской. Молодая жена на первых порах терпела безобразия, рожала графу детей — сначала двух дочерей (одна из них в пятилетием возрасте умерла), потом двух сыновей — и не переставала заниматься литературным трудом. С годами ее терпение истощилось, и даже дети не могли заставить ее жить с постылым мужем, высмеивающим ее образ мыслей, любимое занятие, не понимающим и даже не желающим понять ее возвышенную натуру. При этом граф был чудовищно ревнив и однажды в свою жену (которая была тогда беременна) в припадке ревности стрелял.

В начале восьмидесятых графиня познакомилась в Самаре с молодым и, как тогда было принято говорить, прогрессивным помещиком Алексеем Аполлоновичем Бостромом (который вопреки версии Романа Гуля никогда не был и не мог быть в графском доме гувернером). По контрасту с графом Толстым он показался ей светом в окне. Востром оценил ум и сердце 27-летней женщины, и ему она отдала свою нерастраченную любовь. Как вспоминала позднее прислуга Толстых, «в доме говорили, что муж не любит стихи, а Востром любил их»[{14}]. Для русской женщины, а тем более пишущей романы, этого оказалось достаточно.

Каким образом протекал роман графини и ее бедного неродовитого возлюбленного, где и сколь часто им удавалось встречаться, остается неизвестным, но в конце 1881 года Александра Леонтьевна бросила семью и ушла к любовнику, в прямом смысле этого слова променяв дворец на хижину. На беглянку ополчился целый свет, мать ее лежала при смерти, отец осуждал, а муж умолял вернуться. Граф Николай Александрович благородно винил во всем себя, проклинал свою испорченную страстную натуру, обещал исправиться и был готов принять бросившую его, опозорившую имя и титул женщину, и не просто принять, но даже издать ее автобиографический роман «Неугомонное сердце» объемом в 500 страниц и с эпиграфом из Некрасова: «Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у Бога самого».

Не исключено, что последнее обстоятельство стало решающим. Роман, повествующий о выборе между любовью и долгом (главная героиня княгиня Вера Михайловна Медведевская любит прогрессивного журналиста Исленева, но долг оказывается сильнее, и со своим мужем князем Прозоровым она уезжает работать учительницей в народной школе), был издан на деньги графа и изничтожен отделом критики журнала «Отечественные записки», а молодая писательница вернулась к мужу, но с тем условием, что жить как супруги они не будут. Граф увез ее в Петербург, подальше от Бострома, однако выполнить требование о раздельном проживании было выше его сил.

«Сердце сжимается, холодеет кровь в жилах, я люблю тебя, безумно люблю, как никто никогда не может тебя любить! — писал он ей. — Ты все для меня: жизнь, помысел, религия… Люблю безумно, люблю всеми силами изболевшегося, исстрадавшегося сердца. Прошу у тебя, с верою в тебя, прошу милосердия и полного прощения; прошу дозволить служить тебе, любить тебя, стремиться к твоему благополучию и спокойствию. Саша, милая, тронься воплем тебе одной навеки принадлежащего сердца! Прости меня, возвысь меня, допусти до себя»[{15}].

«Я полюбила тебя, во-первых, и главное потому, что во мне была жажда истинной, цельной любви и я надеялась встретить ее в тебе, — отвечала она. — Не встречая в тебе ответа, а напротив, одно надругание над этим чувством, я ожесточилась и возмущенная гордость, заставив замолчать сердце, дала возможность разобрать шаткие основы любви.

Я поняла, что любила не потому, что человек подходил мне, а потому только, что мне хотелось любить. Я обратилась к жизни сознания, к жизни умственной…»[16]

Последнее прямо касается ее возлюбленного, и о своем чувстве к нему Александра Леонтьевна, будучи женщиной совершенно прямой, писала мужу: «Вырвать его невозможно, заглушить его — так же, как невозможно вырезать из живого человека сердце»[17].

Она обещала мужу «теплый угол в семье и… уважение и всегда дружеское участие и совет»[18], а за это дала слово, что откажется от встреч с Бостромом. Но ее наивные планы оказались вдребезги разбиты. Граф Николай Александрович повел себя совсем не так, как масон П. П. Тургенев, отпустивший молодую жену, и жизнь закрутила сюжет, за который возьмется не всякий романист.

13 февраля 1882 года Александра Леонтьевна признавалась Вострому: «Жизнь непрерывно ставит неразрешимые вопросы. Бедные дети! Опять разрывать их на части. Опять выбор между тобой и ими… Алеша, я теряюсь. Что делать, что делать… Я была убеждена, что не буду женой своего мужа, а при таком положении, какое ему дело до моих отношений, до моей совести. Я страшно ошиблась… Ясно я вижу намерения мужа — опять овладеть мной, опять сделать меня вполне своей женой»[19].

А самому графу писала:

«Вот ты приезжаешь в Петербург. Я — больная, слабая, тоскующая, почти без сил. Чуть ли не с первых дней у нас сцена (помнишь, когда я еще лежала после дифтерита), вместо деликатного молчания я встречаю намеки на будущее, намеки на вымогательство моей любви; вместо понимания и уважения моего чувства — стремление вырвать это чувство из сердца и заменить его другим. Потом все эти мелочи, просьба спать в одной комнате, надеть кольца, потом поцелуи при посторонних, явное желание, чтобы другие видели, что мы в супружеских отношениях… И во всем этом я подозревала одно — стремление овладеть мною, сделать из меня то же, что я была прежде.

Предоставляю тебе самому судить о том, что я пережила в этот ужасный месяц, о котором не могу вспоминать без содрогания…

И это, Коля, не тогда, когда ты был прежним, безнравственным человеком, а когда ты отрекся от своего прошлого, проклял его и решился идти по новому пути. В чем же новый путь отличается от старого? И там и тут ты был палачом и мучителем, но страшная разница в том, что прежде ты не понимал, не любил меня, а теперь говоришь, что любишь и понимаешь»[20].

Ю. Оклянский сравнивает историю жизни Александры Леонтьевны с судьбой Анны Карениной. Отчасти это справедливо, но с точки зрения последовавших далее событий более яркой и точной выглядела бы параллель с романом Голсуорси «Сага о Форсайтах».

В конце марта, когда граф Николай Александрович приехал к жене после разлуки, произошло то, о чем у Голсуорси говорится: «Соме — отвергнутый, нелюбимый муж — восстановил свои права на жену путем величайшего, наивысшего акта собственности». И подобно тому, как Ирэн бросилась к своему любовнику архитектору Босини и свела его с ума рассказом о том,

что произошло между нею и мужем, Александра Леонтьевна написала Вострому отчаянное письмо:

«Я жалка и ничтожна, добей меня, Алеша. Когда он при*ехал и после* ненавистных ласок я надела на себя его подарок и смотрела на свое осквернённое тело и не имела сил ни заплакать, ни засмеяться над собой, как ты думаешь, что происходило в моей душе. Какая горечь и унижение; я чувствовала себя женщиной, не смеющей отказать в ласках и благоволении. Я считала себя опозоренной, недостойной твоей любви, Алеша, в эту минуту, приди ты, я не коснулась бы твоей руки.

Жалкая, презренная раба! Алеша, если эта раба не вынесет позора… если она уйдет к тому, с кем она чувствует себя не рабой, а свободным человеком, если она для этого забудет долг и детей, неужели в нее кинут камнем? Кинут, знаю я это, знаю.

Что может хорошего сделать для детей мать-раба, униженная и придавленная?»[21]

Два месяца спустя после той ночи графиня Толстая ушла от мужа. На этот раз бесповоротно. Однако судьбе и этого было мало. Она была беременна… *И это тот* самый редкий случай, когда можно с достоверностью утверждать, не только как и когда был рожден будущий классик советской литературы, но и при каких обстоятельствах зачат.

Позднее недоброжелатели Алексея Толстого утверждали, будто не графиня ушла из дома, а граф выгнал ее, после того как она прижила с любовником ребенка. Но версия эта плохо стыкуется с фактами.

Письмо Александры Леонтьевны Вострому об — если называть вещи своими именами — изнасиловании ее мужем датировано 3 апреля 1882 года. Алексей Николаевич Толстой родился 29 декабря.

Но, пожалуй, самым пронзительным документом во всей этой истории, окончательно ставящим точки над «i», стало письмо Александры Леонтьевны Вострому, датированное 20 апреля того же года и поражающее своим стилем и откровенностью:

«Первое и главное, что я почти уверена, что беременна от него. Какое-то дикое отчаяние, ропот на кого-то овладел мной, когда я в этом убедилась. Во мне первую минуту явилось желание убить себя… Желать так страстно ребенка от тебя и получить ребенка от человека, которого я ненавижу <…> Но грозный вопрос о том, как быть, не теряет своей силы. Понимаешь, что теперь все от тебя зависит. Скажешь ты, что не будешь любить его ребенка, что этот ребенок не будет нашим ребенком, что мы не позабудем, что не мы его сделали (все от тебя зависит, я буду чувствовать как ты: полюбишь ты этого ребенка, и я его полюблю, не будешь ты его любить, и я не буду, пойми, что материнский инстинкт слабее моей к тебе любви), и я должна буду остаться, может быть, даже несколько более, чем на год, как знать»[22].

Востром принял и ее, и сына, но Алексей Толстой был действительно графской крови (хотя и писала его мать, что *почти* уверена в отцовстве графа), да и норова графского, и привычек, но рассказывать об этом Бунину?!

Эту тайну он мог хранить глубоко-глубоко в сердце, и, хотя многие факты из истории толстовско-тургеневского семейства отразились в его прозе, этот, самый яркий и драматичный сюжет саги не прозвучал нигде. Вот почему удивлялся его высокий собрат: «Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по

отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом…»[23]

Сам же граф долгое время был в неведении. Александра Леонтьевна скрывала от него факт беременности, боясь, что еще не родившийся ребенок будет отнят от нее так же, как были отняты старшие дети. А Николай Александрович забрасывал ее письмами, умолял вернуться и угрожал убить Бострома. Но она была непреклонна:

«Целую зиму боролась я, стараясь сжиться вдали от любимого человека с семьей, с вами. Это оказалось выше моих сил. Если бы я нашла какую-нибудь возможность создать себе жизнь отдельно от него, я бы уцепилась за эту возможность. Но ее не было. Все умерло для меня в семье, в целом мире, дети умерли для меня. Я не стыжусь говорить это, потому что это *правда*, которая, однако, многим может показаться чудовищной… Я ушла второй раз из семьи, чтобы никогда, никогда в нее больше не возвращаться… Я на все готова и ничего не боюсь. Даже вашей пули в его сердце я не боюсь. Я много, много думала об этой пуле и успокоилась лишь тогда, когда сознала в себе решимость покончить с собой в ту минуту, когда увижу его мертвое лицо. На это я способна. Жизнь вместе и смерть вместе. Что бы то ни было, но вместе. Гонения, бедность, людская клевета, презрение, все, все только вместе. Вы видите, что я ничего, ничего не боюсь, потому что я не боюсь самого страшного — смерти…»[24]

Ее опять пытались остановить. Николай Александрович отправил детей к ее родителям, и отец графини Толстой писал: «Лили (восьмилетняя дочь Александры Леонтьевны. — *А. В.*) окончательно сразила бабушку и уложила ее в постель таким вопросом: «Бабушка, скажи, не мучай меня, где мама? Верно, она умерла, что о ней никто ничего не говорит»[25].

«Вы будете бранить и проклинать меня, опять умоляю вас не проклинать меня перед детьми, — писала Александра Леонтьевна. — Это говорю не ради меня, а ради них. Для них это будет вред непоправимый. Скажите, что я уехала куда-нибудь, а потом, со временем, что я умерла. Действительно, я умерла для них…»[26]

Вообще в той истории о смерти говорили все. Бабушки, дедушки, жена, дети, любовник, муж. Николай Александрович Толстой, исчерпав все средства, объявил о том, что покончит жизнь самоубийством, и даже написал завещание, которое уцелело до наших дней и являет собой замечательный документ любви, ненависти, ревности, великодушия, мести:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Пишу я эту мою последнюю волю в твердом уме и памяти. В смерти моей не виню никого, прощаю врагам моим, всем сделавшим мне то зло, которое довело меня до смерти. Имение мое, все движимое и недвижимое, родовое и благоприобретенное, завещаю пожизненно жене моей, графине А. Л. Толстой, с тем, однако, условием, чтобы она не выходила замуж за человека, который убил ее мужа, покрыл позором всю семью, отнял у детей мать, надругался над ней и лишил ее всего, чего только может лишиться женщина. Зовут этого человека А. А. Востром. Детям своим завещаю всегда чтить, любить, покоить свою мать, помнить, что я любил ее выше всего на свете, боготворил ее, до святости любил ее. Я много виноват перед ней, я виноват один во всех несчастьях нашей семьи. Прошу детей, всей жизнью своей, любовью и попечением, загладить, если возможно, вины их отца перед Матерью.

Жену мою умоляю исполнить мою последнюю просьбу, разорвать всякие отношения с Бостромом, вернуться к детям, и если Богу угодно будет послать ей честного и порядочного человека, то благословляю ее брак с ним. Прошу жену простить меня, от всей души простить мои грехи перед ней, клянусь, что все дурное, что я делал, — я делал неумышленно; вина моя в том, что я не умел отличать добра от зла. Поздно пришло полное раскаяние… Прощайте,

милая Саша, милые дети, вспоминайте когда-нибудь отца и мужа, который много любил и умер от этой любви…»[27]

Но все это были пустые угрозы и определенная театральность, которая вместе с буйством чувств передалась его младшему сыну и расцвела в его сердце еще более пышным букетом.

Во второй половине мая 1882 года Александра Леонтьевна Толстая уехала к Вострому в Николаевск. В письме к мужу она написала: «…Детей я Вам оставила потому, что я слишком бедна, чтоб их воспитывать, а Вы богаты». Прочтя эти строки, граф Толстой обратился к властям с просьбой вернуть ему «душевнобольную» жену.

Власти отказали, но на этом дело не закончилось. Графа Толстого не могло остановить, казалось, ничто. В августе того же, 1882 года в поезде, который ехал из Самары, граф Толстой случайно встретил (или выследил) бывшую жену и ее любовника и в ход пошло оружие. Востром был ранен, и дело было передано в суд, который наделал много шуму не только на берегах Волги, но и докатился до Невы. На суде граф показал, что он, узнав о том, что графиня едет вторым классом, пригласил ее в первый. Бострома в этот момент в купе не было, но когда он вернулся, Николай Александрович заметил ему, что «это верх наглости с его стороны входить, когда я тут»[28].

По показаниям графа, Востром бросился на него и укусил в левую руку.

«Защищаясь, я дал Вострому две пощечины и вынул из кармана револьвер, который всегда и везде носил с собой, с целью напугать Бострома и заставить его уйти, а никак не стрелять в него…»[29]

Графиня Толстая, будучи на шестом месяце беременности, своим телом пыталась прикрыть любовника от разъяренного мужа.

На суде граф пытался сохранить лицо, но либеральная петербургская пресса (местная побаивалась) сочувствовать волжскому аристократу не собиралась.

«Графский титул Толстого дал ему полную возможность издеваться над ними в поезде. И железнодорожные служащие, и жандармы вместо ареста помогали графу проделывать всевозможные вещи с потерпевшим и графиней. Так, он несколько раз врывался к ним в купе и дерзко требовал, чтобы графиня оставила Бострома и уехала с ним; в последний раз его сопровождал даже начальник станции. Такое беспомощное положение вынудило свидетеля дать телеграмму прокурору о заарестовывании графа, так как другого средства избавиться от преследования графа не было»[30].

Суд над Толстым состоялся зимой 1883 года, когда последний сын графа уже появился на свет, и примечательно, что за неделю до его рождения Александра Леонтьевна заявила протоиерею самарской церкви, приехавшему мирить ее с мужем, что не желает оставаться с ним в супружестве и что отец ребенка — Востром. Тем не менее несколько дней спустя в метрической книге Предтеченской церкви города Николаевска появилась запись:

«1882 года Декабря 29 дня рожден. Генваря 12 дня 1883 года крещен Алексей; родители его: Гвардии поручик, граф Николай Александров Толстой и законная его жена Александра Леонтьевна, оба православные».

Мать не хотела, чтобы ее сын был незаконнорожденным, выблядком, как говорили в старину, но отношения между родителями младенца дошли до такой степени отчуждения, что

примирение было невозможным, и полгода спустя церковные власти дали супругам развод. Определением епархиального начальства от 19 сентября 1883 года было заключено брак расторгнуть «за нарушением святости брака прелюбодеянием со стороны Александры Леонтьевой» и постановить:

1. Брак поручика Николая Александровича Толстого с девицею Александрой Леонтьевной, дочерью действительного статского советника Леонтия Тургенева, совершенный 5 октября 1873 года, расторгнуть, дозволив ему, графу Николаю Александровичу Толстому, вступить, если пожелает, в новое (второе) законное супружество с беспрепятственным к тому лицом.

2. Александру Леонтьевну, графиню Толстую, урожденную Тургеневу, на основании 256 статьи Устава Духовной Консистории оставить во всегдашнем безбрачии».

Граф Толстой прекратил все попытки вернуть жену, и ее имя было окружено в семье ненавистью и презрением. Вторая жена Алексея Николаевича Толстого художница Софья Исааковна Дымшиц (у которой в ходе ее романа с Толстым также возникли большие проблемы с разводом и стремлением вступить во второй брак) позднее писала в своих воспоминаниях:

«Ненависть старших братьев к матери, привитая им отцом (который, впрочем, после ухода Александры Леонтьевны очень скоро нашел себе другую жену), была настолько велика, что сын Мстислав, находившийся случайно в больнице, в которой умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить ее предсмертную просьбу — прийти к ней проститься.

Граф Н. А. Толстой добился было и того, что родители Александры Леонтьевны отреклись от нее и в течение нескольких лет отказывались ее принимать»[{31}].

Вообще несмотря на тон тогдашних газет, людей, осуждавших графиню и сочувствовавших графу, в городе было немало. Даже Мария Леонтьевна, сестра графини, вспоминала об одном благородном поступке Николая Александровича. Когда однажды ей пришлось обратиться к нему по делу, а граф был одним из членов учетно-ссудного комитета по сельскохозяйственному кредиту в Самарском отделении Государственного банка, тот не отказал ей в помощи. «Все потом говорили, что мой визит был полезен, и дело скоро уладилось. Вот именно эту его черту я и подчеркиваю: на все обвинения, что он был мстительным. Как было легко подставить ножку, а он этого не сделал»[{32}].

Другая мемуаристка, Татьяна Степановна Калашникова, которая еще девочкой попала в дом Толстого и служила горничной у его второй жены, писала:

«Граф не был жестоким. Никогда никого в доме не обижал… После ухода жены Николай Александрович продал 1000 десятин земли, не стал жить в том доме, где жил с ней, потому что все напоминало ее… Выстроил новый дом, развел сад. Всю жизнь он любил Александру Леонтьевну, а Веру Львовну только уважал…»[{33}]

Вера Львовна, вторая жена Толстого, заменила его детям мать. «Она была очень строгих правил. Он мог приехать из гостей выпивши, но обычно разувался и в носках потихоньку проходил в свою комнату. Граф ее уважал как приемную мать своих детей, они ее звали «мамой»… Сыновей она держала строго».

И все же, несмотря на строгость Веры Львовны, история второй женитьбы графа Толстого оказалась «не без греха». Изначально это был адюльтер. «Вера Львовна начала встречаться с графом еще при жизни мужа, зная уже, что дни его сочтены. Однажды, когда Городецкий (муж Веры Львовны, он был болен туберкулезом. — *А.В.*) узнал, что его жена Вера Львовна

находится в одной из гостиниц в Симбирске вместе с графом, Городецкий вызвал Николая Александровича на лестничную площадку. Граф стоял спиной к лестнице. Городецкий его внезапно толкнул. Николай Александрович пролетел два лестничных пролета, отшиб себе печень. Почти каждый год ездил лечиться за границу. И в конце концов все-таки умер от рака печени»[{34}].

Это произошло в 1900 году, когда Алексею Толстому было 17 лет и вместе со своей матерью он уже который год вел упорную борьбу за графскую фамилию и титул. Но прежде — о его детстве, хотя лучше всего рассказал о нем он сам.

## Глава II. Алиханушка

Детство Толстого описано в одной из самых замечательных русских книг — «Детстве Никиты». Уединенный степной хутор, природа, речка Чагра, домашний учитель Аркадий Иванович, игры и драки с деревенскими детьми, Рождество, Пасха, ласковая матушка и заботливый отец, первые отроческие переживания и томления, девочка Лиля с голубыми бантами, в которую Никита влюблен, и деревенская девочка Аня, которая влюблена в него, скворец Желтухин, сугробы, овраги, разливы рек — все это было в жизни Алексея Толстого, и без детских, деревенских впечатлений он, по своему собственному признанию, никогда бы не стал писателем. «Я думаю, если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей, — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гаданья, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву»[{35}].

В детстве он был действительно счастлив и, полюбив этот вкус навсегда, последующую жизнь за счастьем гнался.

«Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене».

О той драме, что сопутствовала появлению мальчика на свет, ничего в повести не говорится, да и не было у Никиты никакой драмы, как не было ее в детстве у самого Алексея Толстого, росшего беспечно и беззаботно и со спокойной душой считавшего, что его родной отец — Алексей Аполлонович. Жили небогато, но очень дружно, и едва ли единственный ребенок в этой семье[2] чувствовал себя стесненным, родительские заботы не касались его.

А вот у родителей забот и тревог хватало. Малоземельный хутор Бострома, который располагался в 70 верстах от Самары, представлял собой одноэтажный деревянный дом в восемь комнат со службами. Доход он приносил незначительный, и разница с тем, как жила графиня Толстая до ухода от мужа, была весьма ощутимой. К тому же «свет» с осуждением смотрел на сожительство хозяина Сосновки с графиней Толстой и не был склонен принимать любовников. В 1883 году Востром не был переизбран в управу, лишившись как оплачиваемой должности, так и положения, и отчуждение от общества толкнуло беззаконную пару ни мало ни много — в… марксизм.

«Лешурочка, нам приходится довольствоваться друг другом. Не так ведь это уж страшно. Есть люди, которые никогда, никого возле себя не имеют. Это страшно. Вот почему я и тяну тебя за собой в Маркса. Страшно уйти от тебя куда-нибудь в сторону, заблудиться без друга и единомышленника, — писала Александра Леонтьевна мужу. — Я еще не успела купить себе Маркса 2-ю часть. Если хочешь, чтобы я тебя крепко, крепко расцеловала, то купи его мне.

Впрочем, тебя этим не соблазнишь, ты знаешь, что, как приедешь, и без Маркса, так все равно я тебя целовать буду, сколько влезет»[{36}].

Позднее, в 1903 году, окидывая взглядом их драматическое прошлое, она признавалась:

«…А ведь может быть, Лешура, мы и были с тобой героями во дни нашей юности и нашей героической любви? Были! Ошибка была та, что я не знала, что люди возвышаются до героического в некоторые минуты жизни, более или менее продолжительные. Наш героический период продолжался несколько лет. Я же хотела продлить его до самой смерти. Повседневная жизнь стаскивает героев с пьедесталов, и надо благодарить судьбу, если стащит на сухое место, а не в грязь…»[{37}]

Должно быть, Вострому было нелегко с этой незаурядной, мятущейся, пассионарной женщиной. Но любовь и привязанность друг к другу возмещали им тяготы и лишения одинокой жизни, и когда из-за хозяйственных нужд они расставались, Востром писал жене:

«Здравствуй, родная, дорогая, желанная моя женочка. Сейчас получил от тебя письмо от 23. Ты не знаешь, что со мной делается, когда я читаю твои строки. Нет, даже в наши годы это странно. Милая моя Санечка… Сокровище мое, а уж как мне тебя-то жалко, одинокую, и сказать не могу… Как ты радуешь меня сообщениями о Леле… Не знаю, Санечка, хорошо ли я сделал, я купил ему костюмчик… Это ему к праздничку, милому нашему сыночку. Господи, когда я вас увижу… До свидания, благодатная моя Санечка. Целую ручки твои крепко, крепко. Твой Алеша»[{38}].

Вообще Алексей Аполлонович был своеобразным человеком. В детстве Толстой его любил, в молодости относился к нему с почтением, но позднее над отчимом подтрунивал и наделил чертой заклятого его врага барина Краснопольского: Востром был хром — после того как пуля графа Толстого попала ему в ногу, и крестьяне именно его звали «хромой барин». В остальном, правда, он был полной противоположностью князю Краснопольскому. Либерал, прогрессист, интеллигент.

В «Детстве Никиты» он значится под именем Василия Никитича (мать Никиты зовут, как и в жизни, Александрой Леонтьевной) и показан весьма неумелым помещиком:

«Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься, — говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами, — а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках».

Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон никакого виду».

Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы… От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и

двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сельское хозяйство, — тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окаянные, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?

— А что? — Отец барабанит в окно пальцами. — Великолепная машина.

— Я видела — она стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны.

Матушка спрашивает кротко:

— Она уже сломана?

— Эти болваны американцы, — фыркнув, говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем».

Но это художественный образ, дань тому чудачеству, которое вообще любил находить в людях Толстой; другие мемуаристы подчеркивали иные черты его облика.

«Востром был человеком развитым и образованным, к тому же обладавшим даром слова. Вообще, он производил по своим манерам впечатление больше интеллигента, чем типичного дворянина-помещика; хотя внешность его — плотная фигура среднего роста, с окладистой, несколько раздвоенной бородой и с хитрыми улыбающимися глазами — напоминала скорее купца, особенно когда он облачался в поддевку, меняя на нее обычный «немецкий» пиджак. Были в нем, кажется, и чисто дворянские классические качества — легкомыслие, кажущаяся деловитость и практичность, приводящая больше к убыткам, страсть к лошадям», — вспоминала одна из самарских жительниц[39].

Последнее едва не довело его до полного краха. В 1892 году дела семьи шли настолько плохо, что Алексей Аполлонович находился на грани самоубийства. Александра Леонтьевна писала мужу: «Мужайся, Алеша, ты *должен* жить, и ты должен перейти эту трудную пору нашей жизни. <…> Алеша, ты для меня все, понимаешь ли — все»[40].

Воспоминания о Бостроме можно найти и в записках Марии Леонтьевны Тургеневой, тети Маши, которая прожила в ленинградском доме писателя до конца тридцатых годов:

«Тут был и Алексей Аполлонович, среднего роста, с красивыми голубыми глазами. Мы с ним поздоровались, и он сейчас же начал говорить о религии. «Оставим это, не разубеждайте. Все равно я останусь при своем, вы — при своем», — сказала я. Это внесло некоторую натяжку в наши отношения. Любил поговорить и убеждать, быть неверующим и социал-демократом. У каждого своя слабость. Вообще человек он был хороший, а главное любил Сашу и берег ее, и Алешу тоже, что было для меня важнее всех его трений и углов зрений»[41].

Своего родного-неродного сына этот беспечный и красноречивый человек действительно любил, но был, по мнению жены, слишком мягок к нему, и Александра Леонтьевна наставляла супруга, как правильно вести себя с 12-летним мальчиком:

«Пожалуйста, вот еще, Алеша, не обращай слишком большое внимание на его способность

писать и, главное, не захваливай его. Он уже теперь Бог знает что вообразил о своих способностях и, я знаю, в Самаре хвастал… Вообще мне теперь с ним опять трудно приходится бороться с ним и собственным раздражением очень тяжело. У него теперь такое настроение когда он ничего всерьез принимать не хочет и ему все тру-ля-ля, а это я ненавижу больше всего… Его манит только легкое и приятное»[42].

Мания к приятному сохранилась в красном графе до последних дней жизни, он сколько мог старался избегать в жизни печального, тягостного и любил устраивать для себя и своих близких праздники и фейерверки, но и трудолюбию, необходимому, чтобы на праздники заработать, родители сумели его научить — так что основным чертам своей натуры Толстой был обязан именно этим без закона, но в любви жившим людям.

«Вообще, мне очень нравилась простота их воспитания: обращали больше внимания на физическое и умственное развитие, а не на утехи», — писала Мария Леонтьевна[43].

Способности к словотворчеству, умение писать у Алеши Толстого стали проявляться рано. Достаточно почитать его детские письма к родителям, чтобы увидеть, как легко, свободно он владел родным языком:

«Мамуня, я сейчас написал «Бессмертное стихотворение» с одним рисунком, я ведь ужасный стихоплет. Вчера был в бане, прекрасно вымылся. Учение идет у меня все так же. Из Арифметики мы еще все на простых дробях. Из географии я нынче отвечал про Японию. Погода нынче очень скверная. Ветер так и завывает: уууу…

Мамунечка, ты не больно зазнавайся, скорей приезжай… Я прочел твою сказочку, но не пойму, что означает самый последний сон, где поют мальчики, а в них бросают цветами»[44].

«Папе дела по горло, я ему помогаю; встаем до солнышка, будим девок молотить подсолнухи; намолотим ворошок — завтракать, после завтрака до обеда, который приходится часа в 2–3, молотим, после обеда опять работаем до заката, тут полдничаем и еще берем пряжку часов до 10.

Я присматриваю за бабами, чтобы работали, вею, иногда вожу верблюдов…»[45]

Так протекала хуторская жизнь с ее немудреными, но разнообразными заботами, на приволье, в окружении простых людей, их песен, игр, преданий. В «Детстве Никиты» она несколько идеализирована, в советское время, особенно в публицистических статьях и разговорах с советскими писателями, Толстой вносил в изображение своих детских лет вполне понятную критическую ноту и в автобиографии 1943 года писал:

«Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Бокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной»[46].

Литературоведу-марксисту Л. Р. Когану Толстой рассказывал в тридцатые годы: «Он <Бостром> был настоящим пугалом для соседей-помещиков, когда с неумолимой логикой доказывал им, что в ближайшее время помещичья Россия взорвется! И у него самого хозяйство развалилось, хоть он и носился постоянно с фантастическими проектами обогащения. А батраки у него жили в грязных бараках. Для них даже отхожего места не было, и вокруг бараков — грязища и невыносимое зловоние. И кормили батраков отвратительно. Я однажды спросил отчима, как может он при марксистских убеждениях так относиться к рабочему люду.

А он посмеялся, покровительственно похлопал меня по плечу и сказал:

— Эх, студент, студент! Ты еще не понимаешь, что идеи — это одно, а жизнь совсем другое»[47].

Никаких документальных подтверждений этому нет. Зато известно, что в 1895 году Бостром записал в альбом 12-летнему Толстому строчки собственного сочинения:

*Люби трудящийся народ,*
*Ему живется скверно. Но пора!*
*Лелеет он из рода в род*
*Яснее солнца мысль свободы и добра*[48].

Известны также строки из письма Александры Леонтьевны мужу, своему единомышленнику и соратнику, где снова упоминаются основоположник марксизма и его роль в жизни семьи:

«Это наше роковое положение помещиков, землевладельцев, которые идеей от своего класса отстали… Это роковое противоречие, а из таких противоречий жизнь состоит. Вот этот классовый вопрос и мучит меня теперь. Надеюсь, что я о нем найду у Маркса что-нибудь или у марксистов «Нового Слова». Мне страшно жаль, что я не в состоянии была дочитать первую часть Маркса, мне осталось две главы, и я боюсь, что это сделает пробел при чтении 2-го тома… Хотя Маркса нам понимать не трудно, т. к. наше мировоззрение не так-то уж далеко от него стоит, но есть некоторые идеи, которые производят ломку. Или я еще их недостаточно понимаю? Или, может быть, превратно? А в наши годы всякая ломка тяжела…»[49]

Все это осталось бы частным фактам биографии Александры Леонтьевны, если бы тридцать лет спустя подобную тяжкую ломку не пришлось пережить самому Толстому и его героям и казавшийся нелепым чудачеством в русских степях Маркс не охмурил целую страну.

И все же безоблачными отношения между крестьянами и помещиком-марксистом действительно не были, и передовое учение оказалось неважным подспорьем в хозяйственных делах. В сентябре 1896 года 13-летний Алексей Толстой писал матери: «У нас тут на днях был бунт с бабами, папа их усмирял, а я стоял в виде пограничного стража с вилами и обыскивал контрабанду»[50].

Покуда папа безуспешно занимался хозяйством, мама продолжала устраивать литературные дела. Богатого мужа, который издавал бы ее романы за свой счет, больше не было, и надо было самой крутиться, бегать по редакциям, завязывать знакомства, а все остальное ложилось на Алексея Аполлоновича.

Подобная коллизия, когда муж занимается хозяйством, а жена литературой, и все это происходит в голодающей стране, возникнет в дореволюционном рассказе Алексея Толстого «Логугка», коротком и выбивающемся из потока изящно или, напротив, грубо нарисованных картинок дикого помещичьего быта, который разоблачала ранняя алексей-толстовская проза. События в этом рассказе показаны глазами ребенка.

«Поздней осенью однажды подали к обеду черные щи. Матушка сняла крышку с чугуна, взглянула на отца:

— Больше ничего не будет.

— Поешь этих щей и запомни, — сказал мне отец, — что твои товарищи — деревенские мальчишки — сейчас и этого не едят».

Как им помочь, отец героя не знает, а мать видит выход. Она хочет написать рассказ о деревенском мальчике, который от голода заболел, и его мать, крестьянка, желает ему смерти. Героиня рассказа, дворянка, ни понять, ни принять этого не может и пытается противопоставить смерти слово.

«— «Логутка», рассказ называется «Логутка», — проговорила матушка взволнованным голосом, и полное, покрасневшее лицо ее так и осветилось. — Ты пойми — вот, наконец, то, чем я могу принести настоящую пользу. Этот рассказ прочтут все и почувствуют, как нужна помощь…

— Гм, — сказал отец, — впрочем, чего не бывает: читай, я слушаю, — и он подпер щеку.

Матушка нагнулась к свету лампы над конторкой, покраснела, украдкой взглянула на отца и начала читать.

Отец слушал сосредоточенно, сдвинув брови. Но я видел, что ему страшно хочется спать. Он вставал до света и суетился весь день. Постепенно брови его раздвигались: один раз он сразу их поднял и опять опустил, полузакрыв глаза; на скуле появилась выпуклость, словно катался во рту орех, а угол рта и ноздря натянулись… Вдруг он мотнул головой сверху вниз, испугался, сделал необыкновенно внимательные глаза, но, когда я опять взглянул, он уже спокойно спал, опершись на ладонь.

Матушка читала, покачивая головой. Один раз у нее даже слезы появились, и голос стал глухим.

— Ну, вот и рассказ, только я не знаю — каким сделать конец, — и обернулась. Отец всхрапывал в кресле.

Матушка покашляла немного, развернула, свернула и вновь развернула листки и, взяв их за край, разорвала, затем скомкала и швырнула рукопись в угол…

Отец проснулся в испуге, но матушка, презрительно усмехнувшись, прошла мимо него прочь из библиотеки.

— Ну, вот мы с тобой и провинились, — сказал отец, разглаживая на конторке обрывки рукописи, — ну, ничего, я перепишу завтра, вот и все… А правда, хороший рассказ… Только, брат, когда встанешь до света, трудно после полуночи слушать рассказы».

Мы не можем сказать, отразились ли здесь истинные отношения между Бостромом и его женой и на чьей стороне симпатии рассказчика, но главное событие этого рассказа — смерть ребенка — перечеркивает все разногласия и заставляет умолкнуть спорщиков.

Конечно, это только рассказ, но судьба Александры Леонтьевны Востром — это судьба женщины, которая представить свою жизнь без литературы уже не могла, хотя занятие это долгое время не столько приносило доходы, сколько требовало расходов, и мать была вынуждена оправдываться.

«Ты говоришь в своем письме, дорогой Лелечек, что мне в Петербурге весело, я никак не могу назвать весельем то, что я испытываю. Сначала было даже очень тяжело, когда у меня дело не ладилось и я думала, что я даром трачу так много денег. Теперь, когда пошла удача, я очень рада ей, я рада, что мне можно будет заниматься своим любимым делом — писательством и что мои произведения будут в печати. Это очень отрадная мысль.

Вчера, дружочек, ездила я в Царское Село. Это уездный городок Петербургской губернии, где часто теперь живет молодой император. Конечно, всего города я не видала, но то, что я видела, было прелестно. Представь себе широкую улицу, с одной стороны дома, буквально тонущие в массе деревьев, с другой стороны — длинный бульвар. Все деревья осыпаны инеем, и вся эта картина белая, чистая, залита голубым электричеством высоких фонарей, так что свет льется сверху. Получается картина, похожая по своей красоте на декорацию»[51].

В Царском Селе Толстой поселится в конце двадцатых (тогда оно будет называться Детское Село), а пока что мальчик получал домашнее образование и в городе бывал редко. Сохранилось воспоминание Е. П. Пешковой, которая училась в Самарской гимназии, о маленьком Толстом и его матери в один из их редких приездов в город:

«Около нас села мать с прехорошеньким мальчиком, не похожим на других детей. Мальчик был одет в темный бархатный костюм, курточку с большим кружевным воротником и короткие штанишки. На ногах — носочки и туфли с бантами. Мальчик нам понравился, и мы окрестили его «маленький лорд Фаунтлерой». Он производил впечатление вялого ребенка, с несколько сонным выражением лица, со светлыми локонами на голове. Мы пытались с ним заговорить, но он дичился и жался к матери.

Его мать — пышная блондинка — показалась нам дамой строгой и важной. Она объяснила нам, что мальчик растет один и стесняется. Предложили ему поиграть в прятки. Он отнесся к делу серьезно и чуть не плакал, когда его находили»[52].

Толстой позднее полагал, что детское одиночество пошло ему во благо: «Оглядываясь, думаю, что потребность в творчестве определилась одиночеством детских лет: я рос один в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум воды, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времени года, рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность (учился я, разумеется, скверно)… Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый… Я медленно созревал…»

Причина, по которой Алеша рос один, — страх Александры Леонтьевны перед графом, его настоящим отцом. «Услыхала я от Саши следующее, что боится, что граф отнимет Алешу, что уже были такие намерения»[53].

К этому времени Александра Леонтьевна, так и не примирившись с Николаем Александровичем, примирилась по крайней мере со своими родителями.

«Граф Н. А. Толстой добился было и того, что родители Александры Леонтьевны отреклись от нее и в течение нескольких лет отказывались ее принимать, — писала в своих мемуарах Софья Исааковна Дымшиц. — Тетя Маша рассказывала мне, что, желая сломить упорство родителей, Александра Леонтьевна отправилась к ним зимой, взяв с собой Лелю (как она звала маленького Алексея Николаевича). Когда ее родители вышли на крыльцо, из саней выскочил маленький мужичок в тулупе, повязанный оренбургским шерстяным платком, и бросился целовать бабушку и дедушку. Старики прослезились и приняли дочь с внуком. Так Алиханушка помирил мать с ее родителями»[54].

Сама же М. Л. Толстая вспоминала:

«Старики решили, что времени прошло много, что Сашина жизнь наладилась вчерне и что старое можно забыть. Они очень об Саше скучали. Свидание было радостное, а Алеша сразу завоевал деда, он с ним возился по целым дням. Отец очень искусно подражал голосам животных: то изображал петуха, то курицу, то//барана и т. д. Но что было всего интереснее — это серебряные большие отцовские часы, которые так хорошо тикали. Внук и дед усаживались на низеньком диванчике и мирно проводили время. Алиханушка оказался кумиром и завоевал сердца деда и бабушки…»[{55}]

Но забота о внуке подразумевала не только баловство и развлечения. Слишком хрупок и ненадежен был тот почти идиллический мир, в котором жил Толстой в Сосновке, слишком много туч собиралось над его головой, и неясным было его будущее.

Вначале мальчика отдали в частную школу в Саратове, куда переехала семья в 1891 году, но через год снова вернулись на хутор, и в школу он не ходил. Чтобы мальчик не отставал от сверстников, ему наняли домашнего учителя.

«Мне нравится, что вы решили подготовить его дома, и хорошо, что в деревне, ему более чем кому другому выгоднее поступить в общественное училище сколь возможно позднее, когда он более окрепнет умом и когда ему возможно будет как-нибудь объяснить его прозвание по метрическому свидетельству, — писал в 1893 году Леонтий Борисович Тургенев дочери. — Этот вопрос для него будет очень тяжел, и я не без страха ожидаю для него этого удара. Дай Бог, что он послужил ему в пользу серьезного, но и снисходительного взгляда на людей. Да, для него откроется трудная задача к решению, когда он узнает свое официальное имя. Затем я думал бы его в Самаре не помещать ни в гимназию, ни в реальное училище. Мне более улыбается мысль о помещении его в Морской корпус. Если вы эту мысль не оставили, то я как-нибудь сниму копию с моего указа об отставке. К этому нужно будет тебе взять метрическое свидетельство твое и Лелино. Твое свидетельство можно будет заменить копиею с протокола о записи тебя в дворянские родословные книги. Наконец так как прошение должно идти от тебя (об определении Леши в корпус), то, мне кажется, нужно будет приложить свидетельство консистории о бывшем твоем браке и последовавшем разводе. Прости меня, ежели я заговорил об этом, не быв спрошен. Прости, ежели доставил тебе неудовольствие, но ведь когда-нибудь, и уже довольно скоро, нужно поднимать этот вопрос»[{56}].

Морской кадетский корпус был упомянут Леонтием Борисовичем неслучайно. Военно-морская служба была в роду Тургеневых традиционной: прапрадед Алексея Толстого, Петр Петрович Тургенев, служил в армии в чине бригадира, прадед Борис Петрович был старшим адъютантом Главного штаба и вышел в отставку полковником, дед Леонтий Борисович после окончания Морского кадетского корпуса служил во флоте и вышел лейтенантом. Помимо этого боевые заслуги генерала от кавалерии Александра Федоровича Баговута, на дочери которого был женат Леонтий Борисович Тургенев, предоставляли его внукам право преимущественного зачисления в привилегированные учебные военные заведения. Но все упиралось в вопрос о происхождении ребенка, о чем с извинением писал деликатный Леонтий Борисович дочери, и никто не мог предположить, как трудно будет его решить. По справедливому замечанию Ю. Оклянского, в свои 14–15 лет Алексей Николаевич Толстой был почти бесправен: «Полу-Толстой, полу-Бостром. Сын графа, но не дворянин. Не крестьянин, не купец, не мещанин. Человек вне сословия. Некто. Никто»[{57}].

Он был Толстым только по метрическому свидетельству о рождении, но чтобы поступить в гимназию, реальное училище, кадетский корпус или в любое иное казенное учебное заведение Российской империи, надо было располагать свидетельством о дворянстве, которое давало губернское депутатское собрание, да плюс к этому требовалось согласие главы рода, то есть

графа Николая Александровича Толстого.

Александра Леонтьевна хотела избежать обращения к бывшему мужу и пойти по иному пути: сделать так, чтобы мальчика усыновил отчим. Если бы Николай Александрович Толстой принялся возражать, то автоматически признал бы Алешу своим сыном. Если б согласился, Толстой стал бы Бостромом и автором романа «Петр Первый» был бы не Алексей Николаевич Толстой, а Алексей Алексеевич Бостром. А еще неизвестно, стал бы человек с такой фамилией таким писателем.

Нашу литературу спасло то, что Востром не был дворянином. По своему происхождению и совокупности заслуг Алексей Аполлонович имел право на дворянское звание, но когда в 1892 году он стал хлопотать о «записании его в надлежащую часть Самарской дворянской родословной книги», прошение было отклонено Сенатом как неправильно оформленное. Безалаберность и непрактичность Бострома сыграли с ним дурную шутку.

16 марта 1896 года Александра Леонтьевна подала прошение «о внесении в надлежащую часть Самарской Дворянской родословной книги сына ее Алексея Толстого», но пошла на хитрость и не указала, что он граф. Прошение вернули, попросив уточнить: просто Толстых в Российской империи не было. Нельзя было быть Толстым, не будучи графом. Судьба буквально насильно приклеивала к будущему советскому классику аристократический титул, которым его впоследствии часто попрекали.

14 января 1897 года Александра Леонтьевна вторично подала прошение в депутатское собрание. На этот раз все по форме. Депутатское собрание обратилось с запросом к главе рода. Ответ Николая Александровича дышал холодом и презрением:

«Граф Н. А. Толстой письмом от 1 июля сего года уведомил г. Губернского Предводителя Дворянства, что настойчивое домогательство Тургеневой о внесении ее неизвестного ему сына в родословную его семьи вынуждает его сделать следующее заявление.

Как при оставлении семьи г. Тургеневой, бывшей его первой женой, так и при расторжении два с половиной года спустя их брака, других детей, кроме тех трех, которые у него есть (два сына и дочь), не было и по сю пору нет, и потому домогательства г. Тургеневой он находит не подлежащими удовлетворению, и что кроме его как отца, при жизни его, никакое другое лицо не вправе ходатайствовать о занесении его детей в дворянскую родословную книгу, так как по духу Российского законодательства отец считается главой семьи…»[{58}]

После этого состоялось голосование, и «большинство баллов хотя и получилось за причисление Алексея Николаевича графа Толстого к роду Н. А. Толстого, но не составило двух третей… решение этого вопроса отложить»[{59}].

Толстому было в эту пору 13 лет. Ни в одном из воспоминаний об Алексее Толстом, ни в одном из писем к нему, его или о нем, ни в дневниках, ни в записных книжках не говорится о том, как и когда подросток узнал о том, что Алексей Аполлонович, муж его матери, ему не отец. А отец — таинственный, далекий, непонятный граф, который не хочет его признавать. Очевидно, мать не рассказывала ему всего, но самого главного он не мог не знать. Неизвестно, как он к этому отнесся, но несомненно: то было одно из самых сильных потрясений в его жизни. Возможно, не сразу, возможно, сначала отмахнулся, какая разница — Востром, Толстой, граф или не граф… Но, однажды запавши в голову, эта мысль едва ли его оставляла. И потом, одно дело — степной хутор и деревенские мальчишки, которым и так все понятно: барчук, и совсем другое — город, училище, школьные товарищи, которые проявляли любопытство ко всему.

Толстой не писал об этом переживании в автобиографиях, он обходил этот момент в разговорах с самыми близкими людьми, включая Бунина, но неслучайно писателя Толстого так влекли сюжеты с неожиданным возвышением людей, как было с Меншиковым. И быть может, отсюда идет его уверенность в том, что Петр был сыном не Алексея Михайловича, а патриарха Никона и именно от него унаследовал энергию русского работника, мужика. Наконец, неспроста стал графом Симеоном Иоанновичем Невзоровым Семен Иванович Невзоров, служащий транспортной конторы из повести «Похождения Невзорова, или Ибикус».

Алексей Толстой был не единственным в русской литературе писателем, с чьим происхождением связана какая-то неясность или семейная драма. Были до него и Жуковский, и Герцен, и Фет, но, пожалуй, только последний так остро переживал свою дворянскую обделенность и стремился ее восстановить.

Вопросы крови волновали Толстого, однако внешне и особенно поначалу это никак не выражалось. «Алеша часто пилил, строгал и дрова колол. Алеша толстенький и жизнерадостный. Саша довольная, что он уже поступил в училище, занятая письменной работой, и стряпней, и шитьем. Было очень уютно и душевно у них…»[{60}]

Так было в отрочестве, так было и позднее. Но это только казалось, что Алешка Толстой — душа нараспашку, рубаха-парень, простец, хулиган, каким он предстает во многих мемуарах литераторов Серебряного века: он, кажется, знал всех и все знали его. На самом деле он был скрытен и написать не внешнюю, богатую, пеструю, шумную и захватывающую биографию «третьего Толстого», а биографию внутреннюю, понять движения его души непросто — можно разве что чуть-чуть приоткрыть завесу.

Училище, о котором идет речь в воспоминаниях Алешиной тетки, находилось в Сызрани. Поступить в четвертый класс самарского реального училища мальчику не удалось: он был для этого недостаточно подготовлен домашними учителями. Как писала позднее Александра Леонтьевна мужу: «В деревне на него находит стих, означаемый выражениями: слоны слонять, собак гонять, шалберничать, разгильдяйничать и т. д., а город и, конечно, главное, училище подтягивает его. Мне кажется, поэтому-то так мало успешно было ученье его в деревне, что он никак не мог сосредоточиться, и его тянул к себе дух слоняйства, разгильдяйничества»[{61}].

Чтобы не пропускать еще один год, мать с сыном отправились в Сызрань, маленький город на правом берегу Волги, где требования к учащимся были не такими строгими. Александра Леонтьевна прожила там с сыном целый год, Алексей Аполлонович оставался на хуторе. Из Сызрани Алеша писал ему:

«Дорогой папочка. Ученье мое идет хорошо, только вовсе меня не спрашивают. Мальчики в нашем классе все хорошие, не то что в Самаре, только один больно зазнается, сын инспектора, но мы его укротим. Подбор учителей там очень хороший, большей частью все добрые, и ученики их слухаются.

Инспектор большой формалист и малую толику свиреп. Только географ да ботаник больно чудны, а батька, вроде Коробки, сильно жестикулирует. Математик там замечательно толковый и смирный. Вообще это училище куда лучше Самарского.

Вчера весь день шел дождь и улица превратилась в реку. Жив и здоров.

100 000 целую тебя

Твой Леля.

Изучаем геометрию, и я теперь очень горд, и [на] мелюзгу третьеклассников смотрю с пренебрежением»[{62}].

Учился он так и сяк. Александра Леонтьевна, которая в Сызрани скучала, жаловалась мужу на одиночество и на то, что у нее нет второго тома «Капитала», об успехах сына сообщала:

«Леля сегодня в училище сидел без обеда, главное за то, что забыл классную тетрадь для записывания уроков и отметок, а его как раз и вызвали на грех. Потом еще за то, что не послушался классного надзирателя и не застегнул шинели на улице и шел нараспашку, и за шалость во время урока З[акона] Б[ожьего]. Последнее он отвергает, говорит, что шалил не он, а другие. До сих пор он еще не получил отметок, готовит же уроки легко и скоро, да и задают им не бог знает сколько, иногда даже время остается, чтобы читать и погулять.

Геометрию он по книжке и не готовит. Учитель им диктует, они записывают, и он говорит, что остается не учить, а только повторить. С алгеброй похуже: не всегда может сделать заданную задачу. Один раз у товарища списал и сегодня не знает, как приняться, пошел к товарищу, чтобы вместе сделать»[{63}].

Потом с учебой наладилось, но не сразу нашлись друзья: «Бедный мальчик, ему, верно, предстоит общая с нами участь: не находит он себе товарищей по душе, он льнет к людям, а они не платят ему тем же. Он ищет душевности, которой никто ему дать не может…»[{64}]

После стольких замкнутых деревенских лет подросток Толстой с трудом входил в общество, а когда освоился, стал дружить с детьми более старшего возраста.

Он и сам взрослел очень быстро, почерк, тон, содержание его писем стремительно менялись. Он размышлял о себе, о своем характере и отношениях с другими людьми, сравнивал хорошо знакомую ему деревенскую жизнь с тем, как живут в городе дворяне, чувствовал, что он не такой, как все, и писал отцу:

«Дорогой папутя.

Мамуня сейчас прочла твое письмо мне. Я думаю, что это правда, что мало можно найти хороших качеств в крестьянах, но это ведь недостаток развития. У них нет других интересов, как в праздник нарядиться и вечером побегать за девками. Например, возьми Колю Д[евятова]. Он уже все-таки получил большее развитие, чем другие мальчики, ну зато он и менее обращает внимание на одежду и не бегает за девками. Да эти же черты встречаются и у реалистов. Шлен-данье по Большой улице за барышнями есть почти то же, только у нас есть все-таки доля рыцарства, чего у крестьянских парней и в помине нету. Года три тому назад реалисты подставляли гимназисткам ножки, а крестьянские ребятишки действуют немного иначе: прямо толкнут в снег: «эдак-де сподручнее». Знаешь, папуня, по-моему, реалисты здесь ничегошеньки не читают, и не читали, и о литературных вечерах, по-моему, и думать нечего. Впрочем, может быть, они читают, да я с этими незнаком, но только знакомые мне реалисты ничего не читают, это я могу засвидетельствовать, нет, постой, есть один, — Софотеров. Этот занимается этим, только, избави Господи, чтобы он сказал свое впечатление. Да и я, папа, мало читаю.

Ты верно сказал, что меня будут сторониться, я ни с кем не дружен, может быть, подружусь с Пушкиными. Я думаю, что у меня такой характер дурной, или у реалистов, не знаю. Благодарю тебя, папуня, за письмецо. Напиши еще. Целую тебя, дорогой папутя.

Твой Леля»[{65}].

Его притягивали не просто мальчики и девочки более старшего возраста. Его тянула иная среда, дворянская, и Востром с его остро развитым социальным чувством, сам полудворянин-полумещанин, это хорошо видел. Не решаясь прямо писать молодому, хотя еще и не признанному пасынку-графу, в отношениях с которым неизбежно вкралась бы какая-то двусмысленность[3], Алексей Аполлонович предупреждал жену с поразительной долей трезвости и прагматичности:

«Помещичья среда, теплая, приятная среда, основанная, однако, на чужом труде, имеет большое сходство с теплицей. Не думаю, чтобы эта среда обеспечивала своим питомцам счастье в жизни. Скорее — наоборот. <…> В том, что Лелю тянет в среду «дворянскую», — в этом я не вижу еще доказательства того, что долголетние социальные перегородки входят в природу человека. Может быть, это и так, но я думаю, что у Лели для этого есть и другие прецеденты.

И наша жизнь в Сосновке носит в себе следы барства. Но особенно сильное влияние имели на него поездки в Коровино. Там эта барская обстановка тем более привлекала его, что она обращалась к нему самой своей казовой стороной. Бабушка, дарящая 3-х рублевики; дедушка, с просиявшим лицом обращающийся к нему. Все милые, ласковые лица тетушек. Общее благодушие при вкусном обеде и хорошей обстановке. Немудрено, что дворянская среда окружена для Лели известным ореолом. Помимо этого. Один Тургенев, да что Тургенев и Толстой, да почти вся наша литература в лице корифеев, — возводила дворянскую среду на известную высоту. Да ведь и то сказать. Много пошлых лиц знаем мы в этой среде, и все-таки она нам роднее, в ней чувствуешь себя более свободно. Может быть… <…>

Нежелательно только, это если в него вселится сословное чванство. Ну, авось общее рациональное развитие послужит коррективом»[{66}].

А приемному сыну давал свое наставление:

«Кроме знаний, у тебя не будет ничего для борьбы за существование. Помощи ниоткуда. Напротив, все будут вредить нам с тобой за то, что мы не совсем заурядные люди. Учись, пока я за тебя тружусь, а если что со мной сделается, тебе и учиться-то будет не на что. Я не боюсь тебе это писать. Вспоминай об этом и прибавляй энергии для себя и для мамы»[{67}].

Переписка юного Алеши Толстого с его родителями и их собственная друг с другом являет собой эпистолярный роман воспитания, удивительный тем, что педагогическим результатом его оказался полный ноль. М. Пришвин, придумавший и воплотивший в жизнь идею искусства как образа поведения, недаром писал, что Алексей Толстой являет собой вопиющий пример писателя без поведения. Положим, у Пришвина были личные обиды на Толстого, но многие, хорошо знавшие графа как в частной, так и в общественной жизни, люди находили его человеком хотя и талантливым, но эгоистичным и безнравственным (Бунин, Гиппиус, Булгаков, Горький, Федин, Берберова, Борис Зайцев, Роман Гуль). Сыграли ли здесь свою роль дурная наследственность, исключительное и редкое по тем здоровым временам положение единственного ребенка в семье, отрыв от своей среды или родительское воспитание, неудачное тем, что приносило прямо противоположные плоды, но и сама Александра Леонтьевна рано начала бить тревогу, замечая в сыне дурное и пытаясь наставить его на путь истинный:

«Ты говоришь, что человек дружится с теми, кто ему что-нибудь даст. Так? Это верно. Первый стимул, возможно, этот, чисто эгоистический, хотя возможно также стремление, жажда самому испытать чувство дружбы. Но потом, получая от друга многое, человек невольно начинает любить своего друга, дело может дойти даже до того, что он забудет самого себя для блага своего друга. Вот мне кажется, что у тебя последнего-то нет. Ты берешь у всех все, что

можешь взять, и взамен не даешь теплого чувства. Ты идешь к товарищам потому, что тебя влечет к ним потребность веселья, общения, но не потребность любви. <…> в глубине твоей души опасный холодок, который ты не замечаешь и которому ты потворствуешь теорией эгоизма, не доведенной до желанного конца, т. е. до альтруизма.

<…> Мне могут сказать: зачем ты стараешься развить в нем доброе сердце и любовь к людям? Холодным людям легче на свете живется. Может быть. Но человек без любви — это все равно как человек без зрения или без слуха, или без обоняния. <…>

Тот, кто испытал прелесть живого чувства к людям, никогда не откажется от него, даже если бы подчас оно доставляло ему мучения. Раз испытав полноту сердца, опять стремишься к ней, и пустота сама по себе уже кажется тягостной. Несчастны те люди, которые сами по себе не умеют любить, — они не знают лучшего чувства, не испытали лучших радостей. Понятно теперь, почему я, любя тебя, моего сына, желаю для тебя этой лучшей человеческой радости и почему меня так пугает холод, когда я его замечаю в тебе. Ребенком ты был большой эгоист. Теперь ты в переходной стадии. Выйдет ли из тебя разумный альтруист? Это покажет будущее. Мы сделали все, что могли, теперь кончается воспитание и начинается самовоспитание. Трудись над собой сам. <…> Постарайся прощупать себя, насколько ты был счастливее в минуты удовлетворения альтруистического чувства, чем при удовлетворении грубого эгоизма»[{68}].

Нельзя сказать, чтобы наставления любящих, встревоженных родителей совсем не находили никакого отклика в его сердце:

«Знаешь, над чем я теперь работаю: отучаюсь думать и говорить только о себе. Оказывается, какая вещь, о чем бы ни заговорили, ну за столом, что ли, я сейчас съезжаю на самого себя и начинаю: а я и т. д. Помнишь, папа, давно, еще в Сосновке, ты отучал меня говорить **6<**я» и начинать с этого местоимения фразы. Главное значение исправления этого недостатка заключается в том, что я, отвыкнув от постоянного самосозерцания, трезво могу взглянуть на окружающий мир, а ведь это необходимо хотя бы для того даже, чтобы писать»[{69}].

И все же в самовоспитании, в том смысле, который вкладывала в это слово мать, сын больших успехов не добился — Алексей Толстой так и прожил жизнь большим эгоистом, что не помешало ему сделать много добрых дел. Но замечательно другое: мысль о писательстве уже тогда его занимала и свой эгоцентризм молодой Толстой видел помехой на этом пути. А мог или нет он себя переделать, действительно ли стремился к самосовершенствованию, как его дальний родственник Лев Николаевич, или это были только слова, но, несомненно, что-то мучило его. В эти же годы Александра Леонтьевна писала мужу:

«На пароходе у нас с Лелей был очень серьезный разговор о ценности жизни. Оказывается, он <…> задумывается о том, что не стоит жить, и говорит, что не боится умереть и иногда думает о смерти, и только жаль нас. Он спрашивает: для чего жить, какая цель? Наслаждение — цель слишком низкая, а на что-нибудь крупное, на полезное дело он не чувствует себя способным. Вообще он кажется себе мелким, ничтожным, неумелым, несерьезным»[{70}].

С одной стороны, какому подростку не знакомы эти переживания? Но с другой…

11 января 1898 года состоялось второе голосование по прошению Александры Леонтьевны о причислении ее сына к роду Толстых. И снова был получен отказ. 15летний мальчик не мог этого не знать, не мог не понимать, что теперь его дальнейшая судьба находится в руках человека, которого он никогда не видел, но который дал ему жизнь и был брошен матерью, он не мог не задумываться о причинах, толкнувших ее на этот поступок. То, о чем так легко,

небрежно говорил Бунин: встречался или не встречался с графом, был его сыном или нет — действительно его мучило, и мы можем только догадываться, какую рану это нанесло его душе; вряд ли Алданов, на которого ссылался Бунин, сам придумал, что юный Толстой ходил к отцу и просил признать его своим сыном. С Алдановым Алексей Николаевич был одно время близок и мог рассказать ему о себе сокровенное.

В свои 15–16 лет Толстой учился уже не в Сызрани, но в Самаре, куда ему удалось перевестись в 1898 году. Весь учебный 1898/99 год семья жила порознь — мать с сыном в городе, а Востром — в Сосновке; потом хутор был продан и Алексей Аполлонович купил в Самаре дом, где ныне расположен литературный музей.

Жизнь в Самаре сильно отличалась от сызранской. Это был большой культурный город. Востром и его жена были уже не помещиками, но горожанами, городской интеллигенцией, Александра Леонтьевна много писала, публиковалась в местной прессе, Толстой с матерью посещал собрания самарской культурной элиты. Атмосфера там была своеобразная и главным образом определялась партийными интересами. Но были и дома, где собирались люди всех убеждений. Об одном из таких домов вспоминал литератор Е. Н. Чириков:

«Был, впрочем, в Самаре и нейтральный центр, где сходилась самая разношерстная интеллигенция всевозможных убеждений и направлений. Таким домом была квартира местного судебного следователя Якова Львовича Тейтеля. Тут бывало как на выставке всей русской интеллигенции, и никакие споры принципиального характера не допускались. На стене зала висел плакат с правилами поведения: 1. «Оставьте политику вместе с верхним платьем и тростью в передней. 2. Не говорите здесь о старости и болезнях». И все старались не нарушать требований гостеприимных хозяев»[71].

Среди посетителей этого самарского литературного салона бывали Гарин-Михайловский, Бибиков, бывала там и писательница Александра Леонтьевна Востром с сыном:

«Графиня Толстая с сыном, лет 14, упитанным и довольно глупым мальчиком, из которого потом вышел писатель Алексей Толстой».

Упитанный, глупый… Очевидно, что на эти едкие мемуары отбрасывали тень дальнейшая судьба Алексея Николаевича и его личные отношения с Чириковым, который принимал участие в издании книги Толстого «Сорочьи сказки» в 1908 году, а позже, тоже оказавшись в эмиграции, жил неподалеку и относился к земляку неприязненно.

Больше доверия иному мемуару.

«Помню, что, придя в первый раз после каникул в класс, я увидел высокого для своих лет, стройного мальчика с красивым лицом, в серой курточке с высоким воротником, с ременным широким поясом — наша будничная форма (в торжественных случаях полагался темно-зеленый мундир с желтыми кантами), — писал одноклассник Толстого по самарскому реальному училищу Е. Ю. Ган. — Леша Толстой, поступив в 5-й класс, автоматически оказался в группе крупных — этим определялись его связи с товарищами в первый год пребывания в Самаре… Ближайшее товарищеское окружение Алексея Толстого в первый год определялось двумя обстоятельствами: «большой» и состоятельный… Толстой 5, 6 и 7-го классов вспоминается мне как жизнерадостный, дружелюбно настроенный ко всем товарищам юноша, еще тогда проявлявший ту склонность и способность к юмору, которые в развитой уже форме сказались впоследствии в его произведениях. Юношеские проявления этой юмористической жилки носили, конечно, более или менее примитивный характер: Лешка Толстой любил «отмочить» какую-нибудь штуку, огорошить кого-нибудь (включая и учителей) неожиданной

выходкой»[{72}].

Душой любой компании он был и в последующие годы — причем где угодно: среди декадентов и реалистов, художников, артистов, монархистов, сменовеховцев, советских писателей. Толстой — это не периферия. Толстой — это всегда центр. А центр обречен на эгоцентризм.

# Глава III. Петербург

В 1900 году в возрасте 52 лет скончался граф Николай Александрович Толстой.

Александра Леонтьевна приходила в Иверский монастырь проститься с покойным мужем. По воспоминаниям Татьяны Калашниковой (прислуги графа), сыновья, особенно Мстислав, хотели ее прогнать, но Вера Львовна сделать этого им не позволила. Вдова покойного графа повела себя очень благородно. Когда встал вопрос о наследстве и возникла версия, что Николай Александрович чуть ли не банкрот, а его имение выкупила на свои деньги вторая жена и посему Алексею ничего не причитается, Александра Леонтьевна сказала:

«— Пусть она публично признает, что граф промотал свое имение и оно теперь выкуплено и принадлежит Вере Львовне. Тогда только я откажусь от пая на сына…

Узнав об этом, — продолжала Татьяна Калашникова, — Вера Львовна сказала, что пусть она лучше возьмет эти деньги, чем вся округа узнает, что отец банкрот, и позор ляжет на сыновей»[{73}].

Сам Толстой позднее говорил, что при разделе имущества ему «выбросили собачий кусок»: он получил 30 тысяч рублей и ни одной десятины земли.

Несколько иначе история получения Алексеем Толстым наследства выглядит в мемуарах М. Л. Тургеневой:

«От Саши я слышала, что, когда его тело привезли из-за границы (умер в Ницце 9 февраля 1900 года, хоронили в Самаре 27 февраля) в Самару, Саша и Алеша были в церкви, но никто к ним не подошел, ни графиня, ни дети. Графиня только заторопилась, первая сделала предложение о выдаче Алеше деньгами, боясь, как рассказывал ее поверенный Саше, что Саша наравне с другими детьми потребует выдела для Алеши. Саша не стала возбуждать никаких исков и удовлетворилась тем, что дали, хотя все говорили, что это мало против других детей. «И то хорошо, — говорила мне Саша, — что сами, без всяких споров дают. Может, и мало, а ты подумай — иск, скандал, общие дела с графиней… Нет, так лучше. Я думаю, Алеша за это меня не попрекнет». — «Думаю, что поймет», — старалась я ее успокоить. Это ее, видимо, волновало, как Алеша будет думать, когда будет большой»[{74}].

Алеша если не попрекнул, то поворчал. Но гораздо важнее денег было получение Толстым в 1901 году официальных документов, подтверждающих его фамилию и графский титул. Отныне, став полноправным подданным империи, он, кажется, в душе был счастлив и горд, но его демократичную и некогда с радостью расставшуюся с графским званием мать это отнюдь не радовало:

«К сожалению, так сложились обстоятельства, что тебе особенно надо беречься этого страшно ненавистного всем порядочным людям положения. Твой титул, твое состояние, карьера, внешность, наконец, — большей частью поставят тебя в положение более сильного, и потому мне особенно страшно, что у тебя разовьется неравное отношение к окружающим, а это может привести к тому, что кроме кучки людей, окружающей тебя и тебе льстящей, ты потеряешь

уважение большинства людей, таких людей, для которых происхождение не есть сила… Мне кажется, что твой титул, твоя одежда и 100 рублей в месяц мешают пока найти самую симпатичную часть студенчества, нуждающуюся, пробивающуюся в жизни своими силами»[{75}].

Как следует из этого письма, Толстой в это время уже был студентом. В 1901 году, закончив реальное училище, он уехал в Петербург — город, который сыграет огромную роль в его жизни и творчестве, станет местом действия его романов и повестей; правда, Москва, через которую он ехал в столицу империи, поначалу понравилась ему больше. «Город русский, все нараспашку, все красиво, блестяще, мило и радушно», — писал он отчиму 20 июня 1901 года[{76}].

Востром отвечал: «Так Питер повеял на тебя холодом, Лелюша. Помню, что на меня он производил такое же впечатление. Но только потом к нему привыкаешь: не требуешь от него неги, ласки, прелестей, каких он не может дать, и начинаешь ценить другое: чистоту, комфорт, величие…»[{77}]

В Петербурге Толстой подал заявление сразу в четыре института: Горный, Институт гражданских инженеров, Технологический и Лесной, а для того чтобы лучше подготовиться, весь июль занимался в частной школе профессора Петербургского электротехнического института Савелия Тимофеевича Войтинского.

Вступительные экзамены он держал в Горный и Технологический, принят был в Технологический институт на механическое отделение. Однако студент из Толстого получился неважный. О том, как он учился, Алексей Николаевич позднее рассказывал своему сыну Никите:

«У нас был профессор математики, необыкновенно шикарный мужчина, читал лекции в черном смокинге, в ослепительной рубашке. Помню, как он говорил бархатным баритоном: «А теперь, господа, вычислим объем тела вращения, имеющего форму сигары». Он пишет какие-то интегралы, а я сразу представляю себе дорогую гаванскую сигару, дивного вкуса дым, с каким выражением надо ее курить, как на меня смотрят с уважением, что я курю такую замечательную сигару… вижу, где бы все это могло происходить, вероятно, в дорогом английском отеле, весь пол в просторном холле затянут красным бобриком, кресла темной кожи, на стенах раскрашенные гравюры знаменитых рысаков, бесшумно идет слуга с лицом старого герцога — а очнусь, и профессор уже кончил выступление, и я все пропустил и ни черта не понял»[{78}].

Конечно, это только мемуар, в нем немало артистизма и писательского кокетства, но главное тут названо — точные науки оказались не про Толстого, голова у студента из Самары была занята другим, в этой породистой голове правое полушарие работало куда лучше левого и абстрактное мышление полностью было подчинено образному. К этому надо еще прибавить, что 18-летний Алексей Николаевич был в ту пору фактически женат и едва ли это способствовало учению.

Со своей первой женой Юлией Рожанской Толстой познакомился в Самаре, где она училась в гимназии и играла в любительских спектаклях.

«Время проводим мы чудесно, я один кавалер на 10 или больше барышень и потому как сыр в масле катаюсь, — писал матери Алексей летом 1900 года. — Отношения у нас простецкие, простота нравов замечательная, с барышнями я запанибрата, они даже и не конфузятся. <…> По утрам мы забираемся с Юлией на диван, я — с книжкой, она — с вышиваньем, ну, она не вышивает, а я не читаю»[{79}].

Мать передавала привет Алешиным знакомым: «Поклонись от меня всем милым барышням, а *одной* больше всех»[{80}].

И жаловалась сестре Маше: «Есть теперь у нас темное пятно — это отношения наши к Леле. Он попал под неблагоприятное влияние, которое отстраняет его от нас, а влияние очень сильное. В нем самом идет какая-то смутная еще работа мысли и чувства. Что из этого выйдет?»[{81}]

Вышла сидящая на шее у родителей студенческая семья. Пока молодые учились на первом курсе, обвенчаны они не были — по всей вероятности, ни с той, ни с другой стороны родители не давали благословения на брак. Алексей Николаевич пытался оправдать в глазах родителей свой ранний роман, напирая именно на те особенности своего душевного строя, которые так беспокоили Александру Леонтьевну, и утверждал, что Юля на него хорошо влияет и уберегает от эгоизма:

«Бывает два рода людей. Одни живут для себя, другие — для других. Не трудно мне было понять, что я принадлежу к первой группе. В ней же могут быть бесчисленные подразделения. Одни признают только свое «я» и больше ничего. Другие, кроме этого «я», любят и живут для другого одного человека, одного, так как им не хватает сил и любви на нескольких. Буду говорить откровенно. Сперва «этот другой» были вы (ты и папа), потом постепенно перешло на Юлю. Да, я могу сказать, что она стала для меня всем, она есть цель в жизни, для нее я работаю и живу. <…> Перед Юлей я весь как на ладони, с моими горестями и радостями, с ней я рука об руку иду навстречу будущему».

А далее следовали рассуждения об отчужденности, которая с недавних пор возникла между ним и родителями и которая должна исчезнуть после свадьбы, и резкое несогласие с обвинениями в аристократизме: «О том, что я под влиянием аристократической среды стал стыдиться вас, об этом мне не хочется и говорить, не хочется по-пустому марать бумагу, потому что мало найдется людей, так презирающих всю аристократию, как я».

Верила мать или только делала вид, что верит сыну, но продолжать упорствовать было бессмысленно: доглядывать из Самары за молодыми людьми возможности не было.

«Недавно была у меня вечером Авдотья Львовна, сообщила, что лед наконец проломлен и Юля написала ей, что выходит замуж. По этому случаю мы поговорили по душам, всласть нахвалили своих детей и решили, что они будут очень счастливы. Поставили только один вопросительный знак: будут ли они так же успешно заниматься на будущий год, как занимаются нынешний»[{82}].

Да и позднее, когда молодые поженились, пыталась их вразумлять: «Посократитесь немножечко, живите больше по-студенчески, а не по-графски. Вы хоть и графята, да прежде всего студенты»[{83}].

Сокращаться Толстой не любил. Ни тогда, ни позднее. Свадьбу сыграли в июле 1902 года в Тургеневе, невеста была беременна и в январе 1903-го родила графу сына, которого назвали Юрием. Однако трудных радостей отцовства молодой муж не изведал. В конце февраля младенца отвезли в Самару к бабушке с дедушкой, а Алексей Николаевич, рассказывая теперь в письмах из столицы домашним о своих успехах и проблемах, справлялся о наследнике:

«Ну-с, а пока передай наше родительское благословение дофину, и передай ему еще, чтобы он вел себя поприличнее, иначе, как сказал пророк Илья, «гнев родительский — гнев Божий». <…> P. S. Вышлите телеграфом деньги, ибо мы еще не получили их за май месяц и сидим без гроша на 12 копейках каждый»[{84}].

Брак оказался недолгим. Довольно скоро стало понятно, что у молодых людей совершенно различные интересы, и даже общий ребенок их не связал. Рожанской был нужен в мужья добропорядочный инженер, она выходила за предсказуемого, респектабельного человека с хорошими перспективами, окладом, карьерой и профессией, а Толстого все больше тянула литература, дело с точки зрения реалистически мыслившей женщины и ее родни весьма ненадежное.

В душе молодого графа действительно шла в ту пору работа, он делал для себя важный внутренний выбор, чем заниматься в жизни: свободными искусствами или инженерией, и жена на этом пути ни единомышленницей, ни помощницей ему не была. Скорее наоборот — мешала.

Уже после разрыва с Рожанской Толстой писал Вострому: «Я знаю, как тяжело было тебе и маме видеть, как труды их по созданию моей личности разлетелись как пыль после моей женитьбы. Но ведь это только кажущееся. Прошло пять лет, и вот год тому назад я зачеркнул эти пять лет и стал продолжать то, что вы создали и на чем произошла остановка 5 лет тому назад. Словом, учитывая теперь прошлое, вижу, что ни одно слово ваше не прошло, не заложив во мне следа, не было толчка, который бы я не признал полезным»[{85}].

Правда, в 1905 году он побывал, как бы мы сегодня сказали, на практике на уральских заводах (и эта поездка подарила ему сюжет первого опубликованного рассказа «Старая башня»), а в начале 1906 года, после того как Технологический институт из-за студенческих беспорядков (в них граф участия не принимал, хотя на словах сочувствовал им) был по распоряжению правительства закрыт, взял отпуск и выехал в Дрезден[4] для поступления в Королевскую саксонскую высшую техническую школу, которую посещал до лета. К этой поре уже стало окончательно ясно, что его влечет не карьера инженера, но искусство. «Я любил тетради, чернила, перья…»

В русской литературе были те, кому удавалось два призвания — инженерное и литературное — сочетать если не всю жизнь, то по крайней мере долгое время: Гарин-Михайловский, Замятин, Платонов, а из более близких к нам по времени писателей — Сергей Залыгин. Алексей Толстой не из их числа. Он был только писатель, богемщик и путь свой держал в литературу.

Жорж Нива, известный французский славист и историк литературы, написал, что «граф Алексей Толстой вошел в русскую литературу, как Пьер Безухов в петербургские салоны: небрежно, лениво»[{86}]. Звучит красиво, а если учесть, что на Толстого, как и на Пьера, неожиданно свалились графский титул и богатство, то по-своему глубоко (хотя, если копать еще глубже, — налицо не сходство, но вопиющее различие: Пьер палец о палец не ударил, чтобы стать графом и получить наследство, а Алексей Толстой и его матушка только этого и добивались), и все же вхождение Алексея Николаевича в литературу, особенно поначалу, не было таким уж стремительным и легким. И не все у него сразу получалось.

Сын писателя Никита Алексеевич Толстой вспоминал: «После окончания реального училища восемнадцатилетний Леля, как звала его мать, дал ей тетрадь со своими стихами. Она затворилась в соседней комнате, через полчаса вернулась с высохшими слезами и грустно, но твердо сказала:

— Все это очень серо. Поступай, Леля, в какой-нибудь инженерный институт.

Алексей Николаевич всегда говорил, что мать была совершенно права в своей тогдашней оценке»[{87}].

Именно она, Александра Леонтьевна, оставалась для него главным литературным авторитетом

и судьей. Еще в 1896 году 13-летний Алеша Востром писал ей: «Мы с папой читаем «Неугомонное сердце», вот написано, чудо; лучше Тургенева и Толстого, мы с папой увлекаемся им»[88].

И позднее свое вхождение в литературу он связывал с ней. Точнее — с ее кончиной, последовавшей в 1906 году. Именно тогда он ощутил себя призванным.

В 1913 году Толстой напечатал в газете «Голос Москвы» небольшой автобиографический рассказ «Непостижимое» о том, как летом 1906 года, учась в Германии, в Дрездене, он неожиданно почувствовал «безотчетное беспокойство, какую-то странную и сильную тревогу», собрался в два дня и поехал в Россию, причем ощущение тревоги все время усиливалось. Потом он проснулся и увидел Самару в огне — 19 июля в 9 часов 45 минут вечера в Самаре начался сильный пожар, а еще через два дня был убит самарский губернатор Блок.

«Потрясенный всем пережитым и виденным, я пошел к знакомым, где остановилась моя матушка. Встречаю своего тестя — врача, и вот что он говорит мне: «Не пугайся. Случилась скверная вещь. Александра Леонтьевна (моя мать) без сознания — у нее менингит». Утром моя матушка скончалась.

Я уехал в Петербург, как-то внезапно начал работать, потом уехал в Париж.

Со дня кончины матери я постоянно чувствовал ее присутствие. И чем более усложнялась моя жизнь, чем интенсивнее я жил духовной жизнью, тем легче чувствовал себя. Тогда же я и начал писать.

Страстным желанием моей матери было, чтобы я сделался писателем. Но почти никогда при жизни ее я не думал об этом. Но со дня кончины матери я живу, подчиняясь неведомой мне воле, которая привела меня к моей теперешней жизни. Я никогда не был религиозен, но с того времени начался рост религиозного мистического сознания, завершившегося утверждением бытия не эмпирического. Все, что я рассказал вам, есть самое значительное, неизгладимое в моей жизни, но я никогда об этом не писал и не буду писать»[89].

А писал он стихи, о чем с замечательным простодушием сообщал Вострому: «Кроме всего прочего занимаюсь стихосложением и литературой. Я, знаешь, думаю выпустить сборник своих стихов. Накупил я сборников всевозможных поэтов целую кучу и вижу, что мои стихи лучше многих из них»[90]. И в другом письме добавлял: «Только не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; я выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и Бальмонтом. <…> Исходная точка: торжество социализма и критика буржуазного строя. Как видишь, я нового ничего не желаю (да и не смогу) открыть, но мне обидно за наших поэтов. Ницше утащил их всех в «холодную высь с предзакатным сияньем», и они при всем старании не могут оттуда сползти, а если и пытаются, то летят вверх ногами, выписывая в воздухе очень некрасивые пируэты. К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с г-ном Каутским, и поэтому я избрал себе таковую платформу. <…> Тетя Маша… убеждала меня во вреде социализма, а я опроверг»[91].

Первый сборник стихов, под простым названием «Лирика» Толстой издал за свой счет в 1907 году тиражом 500 экземпляров благодаря своему дальнему родственнику и любителю поэзии чиновнику Министерства путей сообщения Константину Петровичу Фандер-Флиту, про которого позднее писал, что «у него не хватало какого-то пустяка, винтика, чтобы стать гениальным в любой области».

На обложке книги были изображены белые птицы, машущие крыльями в синем тумане, а под

обложкой — туманные стихи самого дурного символистского пошиба, над чем впоследствии потешались акмеисты:

*Белый сумрак, однотонно,*
*Полутени, полузвуки,*
*Стоны скрипки полусонно…*
*Призрак счастья жгучей муки.*

Успеха «жгучья мука» не имела.

«Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии», — писал автор в одной из поздних автобиографий.

А еще было у этой книги посвящение — «Тебе, моя жемчужина». Относилось оно к молодой художнице Софье Исааковне Дымшиц, с которой Толстой познакомился в Дрездене и за которой стал настойчиво ухаживать. По всей видимости, Софья Исааковна отнеслась к этим знакам внимания благосклонно, но брат ее, студент Рижского политехнического института Лев Исаакович Дымшиц, зная о том, что у Толстого есть жена и ребенок, велел Софье Исааковне уехать в Петербург. Разлука не остудила молодой страсти, и, вернувшись в столицу, граф возобновил ухаживания. Софья Исааковна была замужней дамой, иудейкой по вероисповеданию, состояла замужем за иудеем (правда, с мужем давно не жила) и поначалу не стремилась стать графиней Толстой. Ее влекло искусство, и это создавало общность интересов, которая позволяла молодым людям встречаться на нейтральной территории, ибо в патриархальном доме у Софьи Исааковны визитов Толстого не потерпели бы.

Они вместе посещали художественную школу, Толстой к той поре еще окончательно не решил, кем станет — поэтом или художником, однако в своем отношении к Дымшиц определился наверняка.

«Однажды весной 1907 года Алексей Николаевич явился в школу Егорнова, облаченный в сюртук, торжественный, застегнутый на все пуговицы. Оставшись со мной наедине, он сделал мне предложение стать его женой. В ответ я обрисовала ему всю нелепость нашего положения: я — неразведенная жена, он — неразведенный муж. Но Алексей Николаевич продолжал настаивать, заявил, что его решение куплено ценой глубоких переживаний, говорил, что его разрыв с семьей предрешен, и требовал моего ухода из семьи. Все же мы в этот раз ни до чего не договорились и в следующие дни еще неоднократно обсуждали наши радостные чувства и невеселые обстоятельства. Наконец, желая окончательно проверить чувства Алексея Николаевича к его семье и ко мне, я предложила, чтобы он с Юлией Васильевной совершил заграничную поездку»[{92}].

Толстой послушался и уехал с Рожанской в Италию, но уже через месяц вернулся в Питер один. На этот раз прогонять его Софья Исааковна не стала, а ушла из дома сама, и их счастливый беззаконный роман удивительным образом показывает, как сильно переменилась русская жизнь с той поры, когда уходила от мужа графиня Толстая, урожденная Тургенева.

Правда, у Софьи Исааковны не было детей, а муж ее жил в Швейцарии и бороться за жену, как Николай Александрович Толстой, не собирался, но все равно ни она, ни ее друг вовсе не боялись остракизма. Любовники сняли дачу в финском местечке Лутахенде, где соседом случайно оказался молодой и амбициозный литературный критик Корней Чуковский, с которым Толстого связывали в дальнейшем чрезвычайно прихотливые отношения, но пока все было безоблачным, и Чуковский относился к молодой паре с чувством легкого превосходства и покровительства.

«Больше полувека назад в деревне Лутахенде, где я жил, — в Финляндии, недалеко от Куоккалы, — поселился осанистый и неторопливый молодой человек, с мягкой рыжеватой бородкой, со спокойными и простодушными глазами, с большим — во всю щеку — деревенским румянцем, и наша соседка по даче, завидев его как-то на дороге, сказала, что он будто бы граф и что будто бы его фамилия Толстой. <…>

Впоследствии, когда наше знакомство упрочилось, мы увидели, что этот юный Толстой — человек необыкновенно покладистый, легкий, компанейский, веселый, но в те первые дни знакомства в его отношениях к нам была какая-то напряженность и связанность — именно потому, что мы были писателями. Очевидно, что все писатели были для него тогда в ореолах, и нашу профессию считал он заманчивее всех остальных. Помню, увидев у меня на столе корректурные гранки, присланные мне из журнала «Весы», он сказал, что самые эти слова: «гранки», «верстка», «корректура», «редакция», «корпус», «петит» — кажутся ему упоительными. Всем своим существом, всеми помыслами он стремился в ту пору к писательству, и вскоре я мог убедиться, как серьезно относится он к будущему литературному поприщу… В ту пору он был очень моложав, и даже бородка (мягкая клинышком) не придавала ему достаточной взрослости. У него были детские пухлые губы и такое бело-розовое, свежее, несокрушимо здоровое тело, что казалось, он задуман природой на тысячу лет»[{93}].

Чуковский приводит в своих мемуарах и стихи юного Толстого, явно написанные с оглядкой на папу Бострома:

*Мы были гонимы за то, что любили*
*Свой бедный, усталый народ,*
*За то, что в него свою душу вложили,*
*Чтоб мог он воскликнуть: «Вперед,*
*Вперед к обновленью и счастью России!»*

«Я начал с подражания… Но пока еще это была дорожка не моя, чужая»[{94}], — вспоминал и сам Толстой, но эти самые ранние, еще додекадентские стихи примечательны тем, что опрокидывают рассуждения Бунина из злопыхательского очерка «Третий Толстой». В этом очерке Бунин цитирует (правда, с неточностями) статью М. Чарного «Алексей Толстой», опубликованную в 1947 году в «Новом мире»: «В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превратили всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет…»

Эта цитата сопровождается следующим замечанием нобелевского лауреата: «Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи — и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!»[{95}]

Бунин удивляется (или делает вид, что удивляется), Бунин ерничает, а между тем в случае с Толстым все именно так и обстояло: в 1905-м был за революцию, а в 1907-м стал декадентом. Уж кто-кто, а Бунин не мог не знать, что таких случаев в тогдашней русской литературе было сколько угодно (Л. Андреев, Бальмонт, Куприн с «Морской болезнью», Грин и т. д.). Да и сам Бунин писал в мемуаре о Волошине про первую русскую революцию: «Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами». Вот и молодой Толстой тоже мечтал стать видным. А тот факт, что взыскательный автор стремился уничтожить тираж своей первой книги, подтверждает хорошо знавший его поэт Владимир Пяст:

«В это же время на литературном горизонте впервые появился и Алексей Николаевич Толстой, старательно скупавший свою первую книгу стихов в книжных магазинах, где она почему-то была выставлена на видном месте витрин, и предававший ее всесожжению»[{96}].

«Так же немощны были стихи, которые он напечатал в первом своем сборнике «Лирика» за несколько месяцев до того, как поселился у нас в Лутахенде, — писал Чуковский о первой книге Толстого. — Ничто не предвещало его блестящего литературного будущего, когда в начале 1908 года он уехал из Петербурга в Париж»[{97}].

Перед отъездом художник Бакст сказал Толстому: «Из вас кроме ремесленника ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой. А Софья Исааковна пусть учится живописи»[{98}].

По всей вероятности, душевное состояние человека, которому художники советовали заниматься литературой, а литераторы ничего не советовали, вряд ли было благодушным, но в той драматической ситуации проявилась замечательная способность нашего героя не падать духом, и за свое упорство и самообладание он был вознагражден. Пребывание Толстого в Париже оказалось не просто приятным или удачным, не только свадебным путешествием, каковым замышлялось, — оно стало тем счастливым билетом, который вытянул молодой граф, и с этим билетом вошел в русскую литературу.

## Глава IV. Триумфальная арка

«Что за изумительный фейерверковый город Париж. Вся жизнь на улицах, на улицу вынесены произведения лучших художников, на улицах любят и творят… И люди живые, веселые, общительные. <…>

Прозу пока я оставил, слишком рано для меня писать то, что требует спокойного созерцания и продумывания»[{99}].

И в самом деле, какая проза, когда «здесь все живет женщиной, говорит и кричит о красоте, о перьях, о разврате, о любви изощренной и мимолетной. Люди как цветы зацветают, чтобы любить, и хрупки, и воздушны, и ярки их сношения, грешные, изысканные орхидеи и теплица, полная греховного их аромата, — Париж»[{100}].

Он впитывал в себя этот город, он ходил по нему опьяненный, молодой, красивый, талантливый русский барин, каких Париж только не перевидал за сто лет расцвета русского дворянства. Русский аристократ и пронзительной красоты любовница-еврейка («молодая черноглазая женщина типа восточных красавиц», — писал о ней Бунин, а о самом Толстом: «рослый и довольно красивый молодой человек»)[{101}]— они хорошо смотрелись и дополняли друг друга на этих улицах, в парках, театрах, ресторанах и кабаре, все было им интересно и подвластно, до всего они были жадны, наблюдательны, но кто из них талантливее, кто большего добьется в жизни, было покуда неясно, и любовь, влечение, страсть соперничали в их сердцах с ревностью. Они были не только любовники, но и честолюбивые партнеры.

Софья Исааковна Дымшиц, женщина незаурядная не только внешне, но и по характеру, с очень яркой судьбой, оставила весьма уклончивые и сознательно поверхностные мемуары о своем втором муже. В Париже они прожили почти год, и самое интересное, что написала она о их повседневной жизни там, пожалуй, вот это:

«За обедом в пансионе блюда обносили по несколько раз, делая это только для проформы, так

как пансионеры обычно брали по одному разу. Алексей Николаевич никогда не довольствовался одной порцией, аппетит у него был знатный. Невзирая на шутки окружающих, он повторял каждое блюдо. «Это по-русски», — говорил он, заказывая вторую порцию. А когда я под влиянием косых взглядов и хихиканья окружающих пыталась удержать его от нового заказа, он, улыбаясь, подозвал официанта, взял третью порцию того же блюда, заметив «А вот это по-волжски»[{102}].

Это, конечно, театр, в который Толстой превращал мало-помалу свою жизнь, игра на публику, внешнее. Главное, что делал он за границей, работал. Писал стихи.

Позднее толстовское пребывание в Париже да и весь «парижский» сезон русской литературы 1907–1908 годов стали легендой, и вот уже Георгий Иванов «вспоминал» в «Китайских тенях» с такой уверенностью, будто сам при том присутствовал:

«В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий, вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи. <…> Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успел «припечатать» все, что хотел.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра… Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое — его опять, еще пуще, ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой»[{103}].

Тут почти все неправда, начиная с того, что в 1907 году Толстого в Париже еще не было, в «Сириусе» он никакого участия не принимал и никто из литераторов не считал его бесталанным неудачником, но все подробности уступают перед самой важной — с 1908 года граф А. Н. Толстой получил прописку в русской литературе и стал считаться своим, а значит, — сделался частью того большого литературного мифа, который называется Серебряный век.

Париж в эту пору, после поражения первой русской революции, оказался одним из самых серьезных русских литературных центров, там находились многие известные литераторы, и Толстой попал в их среду. Это было тем более важно, что среда эта «заражала» своей энергией. Можно почти с уверенностью сказать, что, живи Алексей Николаевич где-нибудь в глухомани, броди он по Руси, как Горький, попади в ссылку на север, как Ремизов, или в захолустную елецкую гимназию, как Розанов, начни в провинциальной газете, как Бунин или Куприн, не вышло бы из него ни писателя, ни поэта, как не вышло бы, не стань он графом. Его, как никого другого, сделал, выпестовал Серебряный век, которому именно такого сочного персонажа не хватало для полноты картины. И случилось это все именно в Париже, где представиться самому Брюсову или Бальмонту было намного проще, чем в Петербурге или Москве. Да и красавица Соня Дымшиц способствовала тому, что Толстого повсюду принимали. Она ввела своего возлюбленного в дом художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой, у которой собирался по четвергам русский Париж — художники, писатели, поэты и политические деятели. Если до отъезда за границу Толстой выпивал в известном петербургском артистическом кафе «Вена» с Куприным и Арцыбашевым и эти знакомства никакой роли в его литературной судьбе не сыграли, то совсем иное дело Париж, откуда Толстой с плохо скрываемым чувством самодовольства докладывал Вострому:

«За последние 2 недели устраивается ряд триумфов. Волошин, Бальмонт, Вал. Брюсов, Минский, Вилькина, Венгерова, Олыитейн сказали, что я оригинальный и крупный талант, я не хвалюсь тебе, п. ч. талант есть что-то вне нас, о чем можно говорить объективно. Мои вещи они устраивают в разные журналы.

И все это натолкнуло меня на решение кончить Институт, чтобы сохранить, не загадить газетной работой такой тонкий инструмент, как поэтичность…

Если бы ты слышал мои вещи, ты бы мог гордиться, что вместе с мамой охранил от злых влияний и сохранил, вырастил цветок, которым я обладаю…»[{104}]

Институт он так и не закончил, газетной работой заниматься не стал, а в литературу погружался все глубже, все сильнее в ней укоренялся, и наиболее важными оказались для него два парижских литературных знакомства — с Волошиным и Гумилевым, двумя когда-то приятелями, старшим и младшим, двумя соперниками, двумя кровными врагами, между которыми оказался и вскоре должен был сделать свой выбор наш герой.

С Волошиным Толстой подружился сразу и на много лет вперед — умение красиво и весело жить, окружать себя блестящими, талантливыми людьми и не теряться на их фоне, быть центром их объединяло. По воспоминаниям художницы Шапориной, главная заслуга Волошина в судьбе Толстого в том, что Волошин научил молодого графа модно одеваться и первым делом повел к парикмахеру. «Когда они вернулись, Алексей Николаевич был не узнаваем. Исчез облик петербургского интеллигента: бородка клинышком, усы были сбриты, волосы причесаны на косой пробор, на голове вместо фетровой шляпы красовался цилиндр! Преображение Толстого было встречено дружным хохотом»[{105}].

Однако письма, дневниковые записи и черновики статей говорят о более глубоких связях.

Толстой писал об их первой встрече:

«Вошел человек в цилиндре, бородатый, из-под широких отворотов пальто в талию выглядывал бархатный жилет.

Нечеловеческие икры покоятся на маленьких ступнях, обутых в скороходы.

Сел человек против меня и улыбнулся. Лицо его выразило три стихии.

Бесконечную готовность ответить на все вопросы моментально.

Любопытство, убелившее глаза под стеклами пенсне.

И отсутствие грани, разделяющее незнакомых людей — будто о чем-то уже спросил его.

Сколь личин ни надевает человек, сколь в качествах своих ни уверяет, верю только первому мгновенному и точному, прояснившему лицо выражению души его, застигнутой врасплох.

Человек этот поэт.

Три стихии превращаются в его поэзии: готовность в вежливость, любопытство в знание и отсутствие грани в то глубокое и проникновенное, что новым и вносит он в русскую поэзию.

Русская поэзия — яркая и алая заря, грубая и сочная — заря севера, пьяной кровью изумрудную высь над стынущим морем затопившая.

Гибкий образный несформировавшийся язык, мифология и творчество народа, как еще не разрушенная гробница, и время кровавых оргийных действ — вот атмосфера русского поэта, захлебнешься, опьянеешь от избытка невыявленного, жгучего.

Искусство слов, подхваченное ураганом революции, не разбирая, где брод, где яр, помчалось за синие моря, за крутые горы в тридесятые царства жар-птицу… искать. <…> Созвездия.

Вот здесь мы чувствуем тайные могучие голоса крови, здесь ритм рождает слова и слова вещи.

Но чьи голоса здесь находим…

Чья культура, растворенная в крови его, воплотилась в словах?

Солнечных песен, оргий, опьяненных кровью… менад — жриц солнечного бога.

Холодом вечности, ритмом знания смерти веет от слов его.

Видишь звездочета на вершине семиярусного холма, запрокинувшего большое бородатое лицо к вечным числам вселенной… Знаки тайные, астральные, непокорную стихию сковывающие, чувствуешь в словах его.

Культуру [магов], аккадийцев, семитов, халдеев, астральную и нашедшую ритм в тихом движении звезд, ритм вечности…

Поэт ритма вечности…

Вот то новое, [что] в наши категории вносит поэт Максимилиан] Вол[ошин]. <…>».[{106}]

Все это интересно прежде всего тем, что совершенно не похоже на ловкого и непринужденно пишущего «Алешку» Толстого, тут какая-то чужая для него, в духе теоретических работ Андрея Белого неловкая заумь, попытка говорить не своим языком. К счастью, Толстой сумел от этого метаязыка уйти. Дружба с Волошиным и его поддержка были для него важны чрезвычайно. «Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрял», — писал в своей книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург.

Казалось бы, они были совершенно разные люди: Толстой, земной, ясный, далекий от мистики и оккультизма, и Волошин, который делил свою жизнь на семилетия и о 1905–1912 годах писал: «Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера»[{107}].

«Алексей Николаевич много, часто и подолгу беседовал с Максом Волошиным, широкие литературные и исторические знания которого он очень ценил. Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было «извлечь» что-нибудь новое», — писала Софья Дымшиц[{108}].

Волошин жил у Алексея Толстого в Петербурге на Глазовской улице по приезде из Парижа зимой 1909 года, Толстой много раз останавливался у него в Коктебеле; в 1908 году Толстой пытался мирить Волошина с М. В. Сабашниковой («Такая хорошая, такая хорошая твоя жена, только не узнаешь, какие глаза у нее, все о тебе спрашивает, все время, и головой качает, и смеется, что ты преувеличиваешь, говоря о ней»[{109}]; «Знаешь, Макс, Маргарите Васильевне

было так тяжело, что, видно, из-за тебя она принесет все жертвы, сделает все, чтобы ты писал (…) И ты и она, думаю, сделаете шаг навстречу, потому что вы предназначены Богом друг другу и оба такие хорошие»[{110}]).

Именно Волошин станет одним из героев первого романа Толстого «Две жизни». В 1910 году Максимилиан Александрович писал своей знакомой А. В. Гольштейн о Толстом:

«В нем громадные и еще не осознавшие себя силы. <…> Я горжусь тем, что угадал эту силу в нем еще в Париже и уже тогда советовал ему писать то, что он пишет теперь»[{111}].

И все же, несмотря на разницу лет и литературного стажа, их отношения трудно назвать отношениями учителя и ученика.

Волошин увидел Толстого. Толстой увидел Волошина. Толстой принял Волошина, Волошин принял Толстого, они поняли друг друга как два авгура и сохранили эти авгурские отношения на много лет, хотя постепенно их дружба сошла на нет. Но это уже отдельная история, однако примечательно, что именно они двое из всей плеяды поэтов Серебряного века лучше всех сумели устроиться в советское время (хотя, конечно, своего товарища Толстой в этом смысле обогнал).

Сложнее обстояло с Гумилевым, которому Толстой по первому, самому ценному впечатлению не понравился. 7 марта 1908 года Гумилев писал Брюсову:

«Не так давно я познакомился с новым поэтом, мистиком, народником Алексеем Н. Толстым (он послал вам свои стихи). Кажется, это типичный «петербургский» поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя metr'ом. С высоты своего величья он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов. Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед Андреем Белым, которого я иногда упрекал (мысленно) в несдержанности его критики. Теперь я понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям «Патентованной калоши»[{112}].

Но уже через месяц, 6 апреля 1908 года, мнение Гумилева изменилось в благоприятную сторону: «Скоро в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне нравятся»[{113}].

Гумилев был младше Толстого на три года, но его поэтический опыт был намного богаче. К 1908 году Николай Гумилев, выпускник царскосельской гимназии, где директором был Иннокентий Анненский, издал два сборника стихов «Путь конквистадоров» и «Романтические цветы», отмеченные рецензиями Брюсова. В 1907 году в Париже он действительно выпускал журнал «Сириус», где печатал свои стихи под различными псевдонимами, дабы издание вышло более презентабельным, и где были впервые опубликованы стихи Ахматовой, но подписчиков на журнал не нашлось, и выпуск «Сириуса» закончился. Душевное состояние главного редактора было смутным, то он лазил с Толстым ночью в зоопарк, чтобы слушать, как кричат африканские звери, то участвовал в оккультных сеансах по вызову нечистой силы.

О своем парижском знакомстве с Гумилевым Толстой написал вскоре после того, как Гумилев был расстрелян, в эмигрантской газете «Последние новости»:

«— …Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них — мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут,

лазоревое поле померкнет…» Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, — белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг: деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака — казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, — он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.

Вы спрашиваете, зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…

Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 908 года. Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике-трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали — о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…

Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилев глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость.

Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, — точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев.

Так я никогда и не узнал, из-за чего он тогда хотел умереть[5]. Теперь окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужествен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами»[{114}].

Трудно сказать, сколько правды в этом мемуаре Толстого. В отличие от Волошина слишком разными, едва ли не противоположными по складу ума и характеру людьми они были — расстрелянный в 1921 году офицер русской армии, который начинал с того, что верил, по выражению Агатовой, в символизм, как верят в Бога, и закончил его отрицанием, — и открытый всем веяниям, не озабоченный принципами и литературными манифестами Толстой. Там, в Париже, из разговоров с Волошиным и Гумилевым Толстой сделал для себя важное заключение — чтобы состояться, чтобы стать поэтом, нельзя никому подражать, не надо Надсона — Некрасова, революции, борьбы за освобождение народа, к которой призывал Бостром, а надо — искать себя, свой голос, свою тему, манеру. И он их нашел.

Его нишей стал русский фольклор, стихия народной поэзии, крестьянской жизни, русское, славянское, языческое — Сосновка.

Бунин позднее замечал, что ничего оригинального в этом не было, Толстой «следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочно русского»[{115}]. Это верно: были и Ремизов, и Городецкий, и Вяч. Иванов, а позднее Клычков (который, впрочем, начинал почти одновременно с Толстым), Клюев (которому Толстой помог напечатать книгу в издательстве К. Ф. Некрасова в 1912 году) и Сергей Есенин, однако если бы молодой граф писал, как все тогда писали, и более ничего, то никто бы о нем не стал говорить. А между тем из Парижа Толстой вернулся пусть не знаменитым, но многообещающим поэтом, и его «русские» стихи заслужили одобрение самых взыскательных людей.

*Родила меня мать в гололедицу,*
*Умерла от лихого житья;*
*Но пришла золотая медведица,*
*Пестовала чужое дитя.*
*В полнолунье водила на просеки,*
*Ворожила при ясной луне.*
*И росли золотые волосики*
*У меня на груди и спине.*
*Языку научила змеиному*
*И шептанью священных дубрав;*
*Я в затонах внимал шелестиному,*
*Заунывному голосу мав.*
*Но ушла золотая медведица,*
*На прощанье дала талисман…*
*Оттого-то поется, и грезятся*
*Мне леса, и река, и туман.*

«При гробовом молчании, замирая от ужаса, освещенный двумя канделябрами, положив руки на красную с золотой бахромой скатерть, читал я «Чижика», и «Козленка», и «Купалу», и «Гусляра», и «Приворот», — сообщал Толстой Волошину о чтении своих стихов в Обществе свободной эстетики в декабре 1908 года в Москве. — А против сидели каменные поэты и роскошные дамы (женщины). После чтения подходят ко мне Брюсов и Белый, взволнованные, и начинают жать руки.

В результате приглашение в «Весы»[{116}].

Сам же Волошин, который взялся опекать начинающего поэта, спрашивал у Брюсова:

«Мне писал Толстой, что виделся с Вами в «Эстетике» и читал при Вас свои стихи. Скажите, какое впечатление вынесли Вы? Мне он кажется весьма самобытным, и на него можно возлагать всяческие надежды. В самом духе его есть что-то подлинное, «мужицкое» в хорошем смысле»[{117}].

Оба мэтра — и Брюсов, и Белый — отметили появление молодого дарования. Один — в дневнике, другой — в мемуарах. Один — сухо, другой — очень живо.

«Гр. А. Толстой в Москве. Гипнотические сеансы у д-ра Каптерева. Поездка в Петербург. Две недели в Петербурге. Помещение Бенуа. У Маковского переговоры о «Аполлоне». Гр. А. Толстой. Салон и лекция Макса Волошина», — записывал Брюсов[{118}].

Андрей Белый вспоминал в книге «Между двух революций»: «Москва знакомилась с Алексеем Толстым, которого подчеркивал Брюсов как начинающего… поэта; Толстой читал больше стихи; он предстал романтически: продолговатое, худое еще, бледное, гипсовой маской лицо; и

— длинные, спадающие, старомодные кудри; застегнутый сюртук; и — шарф вместо галстука: Ленский! Держался со скромным надменством».

Совершенно иначе писала об этом вечере художница Валентина Ходасевич: «В 1906 году я впервые увидела Алексея Николаевича Толстого на вечере Игоря Северянина в «Обществе свободной эстетики», куда привел меня отец, <…> и тот вечер четко врезался мне в память.

Комнаты «Эстетики» постепенно заполнялись представителями новейших течений литературного мира и интеллигенции Москвы того времени. Отец называл мне главных: «Вот Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Бердяев, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Константин Липскеров, Виктор Гофман, Гершензон, Нина Петровская…» К этим именам отец прибавлял мало мне понятные в то время слова — «символист», «акмеист», «декадент», «философ».

Входили мужчины и женщины какого-то странного вида. Меня поражали и бледность (иногда за счет пудры) их лиц, и преобладание черных сюртуков особого покроя на мужчинах, и какие-то балахоноподобные, из темных бархатов, платья на женщинах.

Они скорее проплывали, чем ходили, в каком-то замедленном ритме. В движении были вялость и изнеможение. Говорили нараспев, слегка в нос. И я уверена была, что они условились быть особенными.

Уже появился и сам Северянин, впервые выступавший в Москве. Все заняли места в комнате, где происходили выступления.

Настала благоговейная тишина, и вдруг какой-то шум привлек внимание всех к входным дверям, в которые торопливо и слегка властно входил молодой, красивый человек очень холеного вида, с живым, нормального цвета лицом и веселыми глазами. И мне показалось, что этот человек из какого-то другого, более жизнерадостного мира, чем большинство присутствовавших, хотя что-то «особенное», но другое, было и в нем. Вошел Алексей Николаевич Толстой»[{119}].

В этих несколько раболепных воспоминаниях много путаницы с датами. В 1906 году Общества свободной эстетики еще не существовало, не могли выступать публично ни Толстой, ни Мандельштам, не было еще никаких акмеистов, но та маска, которую надел на себя молодой поэт, была названа точно. Они — чахлые, он — жизнерадостный, они — искусственные, он — натурален и здоров.

*За телкою, за белою,*
*По полю, полю синему*
*Ядреный бык, червленый бык*
*Бежал, мычал, огнем кидал:*
*«Уж тебя я догоню, догоню,*
*Молодую полоню, полоню!»*
*А телушка, а белая,*
*Дрожала, вся замрелая, —*
*Нагонит бык, спалит, сожжет…*
*Бежит, молчит, и сердце мрет…*
*А бык нагнал, Червленый, пал:*
*«Уж тебя я полонил, полонил,*
*В прощах воду отворил, отворил,*
*Горы, долы оросил, оросил».*

И эрос его — не болезненный, как у них, не туманный, не запрятанный в символику, а здоровый, природный.

*Нашел Козел невесту,*
*Выбрал девицу любовнее всех.*
*Возьми ее, возьми ее,*
*Веди ее на реку,*
*В меду купать, в меду ласкать,*
*Купало! Купало!*
*Люби ее, люби ее,*
*Веди ее по хмелю;*
*Неделю пить, допьяна пить,*
*Купало! Купало!*
*Целуй ее, целуй ее,*
*До крови невесту!*
*Твоя любовь — на теле кровь!*
*Купало! Купало!*

В балаганчике русских поэтов начала века Толстой отвел себе роль Буратино — здравомыслящего, солнечного, жизнеутверждающего, не имеющего ничего общего с унынием, тревожностью, озабоченностью грядущим человечества, в той или иной степени свойственными русскому символизму.

«После обеда поехали к Ремизовым, купив три розы, — записывал о своей встрече с Толстым М. Кузмин в декабре 1908 года. — Приехал туда и Толстой, ужасно смешной, глупый и довольно милый. Рассказывал о Париже и тому подобное. Очень смеялись, строили планы… и т. д.»[{120}].

И все-таки это была именно маска. Солнечным и радостным выражением лик Толстого не исчерпывался, на душе у него бывало смутно, но душу нараспашку он не держал. Разве что Вострому по старой памяти писал более откровенно о своих ощущениях литературного новичка, сбитого с толку миром, который ему открылся:

«Трудно переходить на российский режим с бессонными ночами, бессмысленными кутежами, от которых теперь, по возможности, думаю уклониться, но это страшно трудно в литературном мире, так как все там пьяницы…

Я — все сильнее укореняюсь в мистике, в тайне слова, как создателя не только символа, но истинного бытия предметов видимых и простым и астральным зрением…

Все это время мы жили в среде художников и поэтов, в той среде, которая в Петербурге только в зачатке в избранных кружках.

Много пришлось пережить и веселого, и грустного, и серьезного, перевидеть всякие и фокусы жизни, и извращения, и красоты; теперь все улеглось в памяти, встало каждое на соответственное место.

И двуликим предстал передо мной человек, одно лицо его повседневное, это видим на всех, серая помятая маска ничтожества, бездушная, из папье-маше, дурно раскрашенная, а другой, божественный лик, сияющий солнечной красотой, редко можно увидеть его, у многих он как пупырышек маленький на шее торчит, но есть и такие, у кого все место он занимает, и тогда радостно верить в чувство, в красоту, в музыку жизни…

И познал я философию, мудрое слово «желать», всегда желать, когда достигнешь — желать большего, и другое слово — «любить». И так ясно представились слова Христа в этом синтезе двух слов, не о будущем ли человечества говорил он, не указал ли исход из небытия, хаоса, рабства духовного двумя словами этими, не вооружил ли человечество мечом и солнцем, желанием и любовью.

Вот мне радостно, что с тобой могу говорить, не опоздал еще сказать тебе, всю жизнь работавшему во имя любви и долга, что теперь я понимаю то, что раньше скрыто было, оценить могу и грустно, что поздно сказать это мамочке, всегда тяжело, что умерла она, видя свое единственное сердце не раскрывшееся красоте, черствым.

Вот этого никогда не прощу ни себе, ни Рожанским, которые безусловно сделали столько вреда и мне, и тебе, и маме»[{121}].

Это было одно из последних таких откровенных писем отчиму, выражение благодарности, принесение покаяния, печаль при мыслях об умершей матери, об умершем сыне, о жизненных ошибках. Тут верно сказано, что говорить об этом ему было больше не с кем и едва ли кто-либо из знаменитых знакомых его знал и понимал.

И тогда, и позднее.

«Его рисовали неистощимым весельчаком, неиссякаемым балагуром, изображали в гиперболизированном облике некоего барина-хлебосола, восседающего за пиршественным столом и окруженного ожерельем тарелок и бутылок с напитками — чуть ли не Гаргантюа из старого патриархального Заволжья!» — писал А. Алпатов[{122}].

Бунин насмешничал в «Третьем Толстом»:

«Толстой — и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов. А тут явились еще и новые, а кроме того «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру, но иных не помню»[{123}].

Читать бунинский очерк — одно удовольствие. Пожалуй, никто из писавших о Толстом не сделал это так талантливо, ярко, убедительно, так образно и… несмотря на все выпады, с такой любовью. Но только бунинский «третий Толстой» — это именно бунинский Толстой, его герой, его персонаж. Реальный Алексей Николаевич Толстой был фигурой куда более сложной и в молодости, и в зрелые годы, и вопросы его тревожили, и загадки мучили, но маски беззаботного успешливого весельчака он не снимал, хотя в отличие от своего любимого деревянного мальчика школой не пренебрегал и в годы литературной молодости вел себя как образцовый ученик. Он расширял завоеванный плацдарм, заводил новые литературные знакомства и учился, учился, учился…

«Многоуважаемый Валерий Яковлевич, очень, очень я рад еще раз слышать от Вас мнение о стихах моих. Сознаюсь, мне было страшно свеситься на чаше весов Ваших, но теперь я еще сильнее укрепился в той исходной точке творчества, которая намечалась всегда и независимо от моих хотений»[{124}], — писал он Брюсову незадолго до того, как в январских «Весах» за 1909 год были напечатаны его стихи.

Через Волошина он познакомился с Иннокентием Анненским, которому исповедовался:

«К мистикам причислить себя не могу, к реалистам не хочу, но есть бессознательное, что стоит на грани между ними, берет образ и окрашивает его не мистическим, избави Бог, отношением, а тем, чему имени не знаю…

Помню только, что 2,5 года тому назад, когда я начал писать стихи, было желание уверовать в Бога или хоть в черта, во что-нибудь непонятное, чтобы видеть не отсветы закатного солнца в облаках, а края ризы или пролитое вино и т. д.»[{125}].

Благодаря Волошину Толстой познакомился также и с А. М. Ремизовым и докладывал своему литературному опекуну Максу: «Приняли меня очень хорошо, Алексей Михайлович сразу взял меня в ученики и обругал и обхвалил, сказки приняты и будут печататься в «Тропинке», в «Русской мысли», печатают что-то, но все это какой-то — еще не знаю какой — разврат, одно чувствую, что есть во всем этом нехорошее, что не позволяет мне писать стихи…»[{126}]

Ремизов позднее вспоминал в «Кукхе»:

«О ту же пору Яков Годин привел Алексея Николаевича Толстого. Толстой был с бородой и так хорошо смеялся, столько лет прошло, а я долго потом, вспоминая, слышал этот смех…»

«Алексей Михайлович ругает меня каждый день за оккультизм, — сообщал Толстой Волошину. — И у Вячеслава Иванова я такую штуку ляпнул, что тот рукою закрылся и чуть не упал под стол, и попало же мне от Алексея Михайловича[6].

Вещи мои Вячеславу Ивановичу очень понравились»[{127}].

Вячеслав Иванов сыграл в жизни Толстого, да и не только в его, особенную роль. Попасть к нему в «Башню», научиться стихосложению как науке было заветной мечтой еще Гумилева. Весной 1909 года через Сергея Ауслендера, племянника Михаила Кузмина, Гумилев напросился в гости к мэтру, произвел на него хорошее впечатление своими стихами и вскоре договорился, что Вячеслав Иванов станет заниматься с молодыми поэтами и прочтет им курс стихосложения. Называлось все это «про-Академия стиха», и помимо Гумилева ее слушателями стали М. Кузмин, М. Волошин, О. Мандельштам, М. Гофман, В. Комаровский, П. Потемкин и еще одна поэтесса, речь о которой пойдет чуть позже. Вместе с ними Толстой постигал премудрости русской просодии, и, если верить воспоминаниям М. Гофмана, герой наш, обладая большим стихийным талантом, но не интеллектом, допускал чудовищные ляпы, вроде того, как однажды, прервав высокоученого лектора, ошарашил его вопросом: «А что вы, собственно, Вячеслав Иванович, называете ямбом?»

Впрочем, к Вячеславу Иванову и его урокам относились в тогдашнем литературном мире по-разному.

«Но знаете, за последнее время и у нас ух! как много этих, которые нянчатся со словом и, пожалуй, готовы говорить об его культе. Но они не понимают, что самое страшное и властное слово, т. е. самое загадочное — может быть именно слово — будничное. Что сделал с русской публикой один Вячеслав Иванович?.. — писал Волошину как раз в связи с «Башней» Анненский. — Насмерть напугал все Замоскворечье. Пуще Артюра Рембо. Мы-то его понимаем, нам-то хорошо и не боязно, даже занятно… славно так. А сырой-то женщине каково?..»[{128}]

В известном смысле Толстой, которого и много лет спустя тот же Волошин упрекал в недостатке культуры, был именно такой сырой женщиной. Он брал иным — не эрудицией, не интеллектом, не мистической похотью, но своей природной силой, которая восполняла все его недостатки. Едва ли на «Башне» его могли чему-нибудь путному научить, но не могли и

испортить.

Во всяком случае, судя по мемуарам Эренбурга, Толстой, уже будучи мэтром, с благодарностью вспоминал свои ученические годы: «Я возвращался с ним из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с Алексеем Николаевичем Толстым заняли одно купе; в других купе ехали К. Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое; кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь: задуматься над своей жизнью. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспомнил поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился; вспомнил и «башню»; потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, ни понимания всей трудности искусства; сказал, чтобы в купе позвали К. Симонова, долго ему внушал: нужно входить в дом искусства благоговейно, как он когда-то поднимался на «башню»[{129}].

Мемуар очень трогательный и скорее всего достоверный, потому что театральный. Толстой мог так себя повести, мог вызвать ни в чем не повинного Симонова и учить его жить, как учили когда-то самого Толстого.

Но все это много позднее, когда ему останется всего год жизни, а тогда, в молодости, он докладывал Вострому с самоиронией, приглушающей пафос головокружения от успехов:

«Мои дела идут блестяще, честное слово, что даже удивлен немножко. Принят я в «Весы»?!?! Это очень и кое-что, вернее, диплом на поэта, потом в «Русской мысли» и сотрудничаю в «Журнале для всех» и в новой газете «Луч света». Сказки же — нарасхват; уж и зазнался же я, Боже мой, подступиться нельзя, когда совершаю утреннюю прогулку, даже извозчики не смеют ко мне приступиться.

В литературных и художественных кружках носятся со мной. Вообще ты можешь, будучи в обществе и глаз прищурив, сказать: а читали вы Толстого? Конечно, засмеются и ответят: кто же не читал «Войны и мира»? Тогда ты, возмущенный, скажешь: да нет, Алексея! — Ах, извините, ответят тебе, вы говорите о «Князе Серебряном»? Тогда, выведенный из себя, ты воскликнешь: ах вы, неучи! Моего сына, Толстого, совсем младшего! И все будут посрамлены, ибо никто меня не читал.

О слава, слава, сколько трений на пути к тебе?»[{130}]

Это не было пустой похвальбой. Еще до того как в самом начале 1911 года увидела свет книга «За синими реками», куда вошли сказочные стихи Алексея Толстого, Иннокентий Анненский писал в статье «О современном лиризме», напечатанной в «Аполлоне»:

«Граф Алексей Н. Толстой — молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка. Сборника стихов еще нет. Но многие слышали его прелестную Хлоюхвою. Ищет, думает, искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупо выдает пьесы с византийской позолотцей заставок»[{131}].

Когда же книга была напечатана, критика подняла ее на щит.

«…бессознательное проникновение в стихию русского духа составляет своеобразие и очарование поэзии гр. Толстого, — утверждал Брюсов. — Умело пользуясь выражениями и оборотами народного языка, присказками, прибаутками, гр. Толстой выработал склад речи и стиха совершенно свой, удачно разрешающий задачу — дать не подделку народной поэзии, но ее пересоздание в условиях нашей «искусственной» поэзии. Все предыдущие попытки в этом

роде — Вяч. Иванова, К. Бальмонта, С. Городецкого — значительно побледнели после появления книги гр. Толстого»[{132}].

Свое увидел в ней Кузмин: «Как это ни странно, но поэт представляется иностранцем с пылкой и необузданной фантазией, мечтающем о древней Руси по абрамцевским изделиям, потому что непонятно, чтобы русскому русское, хотя бы и отдаленное, представлялось столь ослепительно экзотическим, столь декоративно пышным, как мы это видим у гр. Толстого»[{133}].

Максимилиан Волошин радовался за своего протеже: «Этой зимой вышли две книги стихов, отмеченных русским складом: «За синими реками» Алексея Николаевича Толстого и «Песни» Сергея Клычкова. Гр. Ал. Толстой очень самостоятельно и сразу вошел в русскую литературу. Его литературному выступлению едва минуло два года, а он уже имеет имя и видное положение среди современной беллетристики. В нем есть несомненная предназначенность к определенной литературной цели. <…> Народный склад речи является естественным ритмом его души и… этот склад получает силу и сжатость, стесненный чувством литературного стиля… «За синими реками» — хорошая и свежая книга, в которой почти каждое стихотворение ценно»[{134}].

Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда могло бы быть нигде в ту пору не опубликованное мнение неизвестной тогда Толстому поэтессы Натальи Крандиевской: «С такой фамилией можно и лучше».

А что же Востром? Как он относился к успехам своего приемного сына, который из ласкового мальчика, небогатого барчука на степном хуторе превратился в столь важную птицу?

О жизни Алексея Аполлоновича после смерти Александры Леонтьевны написала приемная дочь Бострома, и ее бесхитростные воспоминания — еще один штрих к жизни той семьи, которая вскормила рабоче-крестьянского графа.

«Как рассказывали мне мои названые родители, А. Л. Толстая и А. А. Востром, родилась я в земской больнице. Мать после родов умерла от водянки. У отца, кроме меня, осталось еще двое детей: сестра Настя 8 лет и брат Павел 6 лет. Священник, отпевавший мою мать, был близко знаком с Александрой Леонтьевной. Он рассказал ей о том, что в земской больнице умерла от родов женщина, оставив младенца. На другой день Александра Леонтьевна поехала посмотреть на меня и, желая помочь, наняла кормилицу, которая оставила меня спустя три месяца. Ей нужно было возвращаться в деревню. Александра Леонтьевна взяла меня к себе. Так я попала в семью А. А. Бострома…

Мама предстает в моих воспоминаниях необыкновенно ласковой, немного полноватой для своих лет, с часто мигающими добрыми глазами.

Папа в молодости был очень красив. Чуть выше среднего роста, с русыми вьющимися волосами, голубоглазый, он умел себя держать удивительно просто и в то же время с достоинством. По характеру веселый, общительный, он быстро сходился с людьми и был очень радушен во взаимоотношениях с друзьями…

На памятнике, поставленном на могиле мамы, Алексей Аполлонович написал стихи из Некрасова:

*Быть может, дар беднее капли в море,*
*Но 20 лет! Но тысячам сердец,*
*Чей идеал — убавленное горе,*

*Границы зла открыты наконец!*

После смерти мамы папа очень грустил, часами сидел за пианино, находя утешение в музыке. Он исполнял по памяти произведения Чайковского, Мендельсона, Шопена, Грига, Бетховена.

Мы уехали из дома на Саратовской улице и поселились в доме А. А. Бострома на углу Сокольничьей и Симбирской… Лучшую квартиру в первом этаже занимала Екатерина Александровна Виноградова, классная дама 2-й женской гимназии. Она жила вдвоем с племянницей Галей Вороновой. Папа подружился с Екатериной Александровной, и через два года они поженились. Это был 1908 год.

В нашем доме каждую субботу устраивались лит. чтения. Приходили преподаватели 2-й женской гимназии и просто знакомые папы и Екатерины Александровны. Особенно часто читался в эти годы альманах «Шиповник». Все, что публиковалось Алексеем Николаевичем Толстым на страницах этого альманаха, было прочитано на этих литературных субботах. Правда, нужно сказать, что папа относился к Алексею Николаевичу как к писателю очень критически. Особенно не нравились Алексею Аполлоновичу его стихи. Папа часто говорил, что не понимает их.

Теплота отношений Алексея Николаевича и Бострома с годами таяла…

Екатерина Александровна прожила с папой всего 2 года. В 1910 году она умерла. Мы опять остались вдвоем. Галя от нас уехала.

Иногда по зимам папа ездил к Алексею Николаевичу в Москву или Петербург. О своих поездках он никогда не рассказывал.

Я жила с папой до его смерти. Он умер в 1921 году от воспаления легких. Похоронив его, уехала жить в Баку»[135].

С Алексеем Толстым она не встречалась никогда.

# Глава V. Поединок

Летом 1909 года Гумилев попытался издавать поэтический альманах взамен прекратившего свое существование парижского «Сирина». Идея проекта принадлежала Алексею Толстому, он же и предложил название — «Речь», но Гумилеву больше понравилось «Остров». В анонсе нового издания говорилось о том, что во главе журнала станут Н. Гумилев, М. Кузмин, П. Потемкин, Ал. Толстой и К. Бальмонт. Сотрудничать с «Островом» обещали Белый, Блок, Анненский и Волошин.

Редакция располагалась в Петербурге, в доме 15 на Глазовской улице, где и жил Толстой, называвший себя первым «островитянином». Издателем стал журналист А. И. Котылев, входивший в окружение Куприна.

«Один инженер, любитель стихов (брат художницы Кругликовой), дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку, — писал позднее Толстой. — Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй — не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно»[136].

Успеха журнал не имел.

«Видели ли вы «Остров»? — писал после выхода первого номера С. Бобров Андрею Белому. — Хотя первому блину полагается по штату быть комом — но все же я не ожидал, что петербуржцы дадут так бессовестно мало! Волошин — только приличен. Гумилев — ужас! — безвкусица невероятная… Алексей Толстой кое-где мил, но (не знаю почему) его стихотворения производят на меня впечатление большой несерьезности»[{137}].

В комментарии к очерку Толстого «Гумилев», подготовленном Вадимом Крейдом, говорится: «Остров» имел подзаголовок «Ежемесячный журнал стихов»; о том же еще раз сообщалось в начале первого номера — «посвященного исключительно стихам современных поэтов». В первом номере были напечатаны стихи М. Кузмина «Благовещение», «Успение», «Покров», «Одигитрия», стихотворение Вяч. Иванова «Суд огня», два стихотворения Волошина, газеллы Потемкина, стихи А. Н. Толстого:

*Утром росы не хватило,*
*Стонет утроба земная.*
*Сверху-то высь затомила*
*Матушка степь голубая,*
*Бык на цепи золотой*
*В небе высоко ревет…*
*Вон и корова плывет,*
*Бык увидал огневой,*
*Вздыбился, пал…*

Именно на эти стихи была написана пародия неизвестным автором:

*Корова ль, бык, мне все равно.*
*Я — агнец, ты — овца.*
*Я куриц все люблю равно*
*Без меры, без конца.*

Толстой пишет, что второй номер журнала «не хватило денег выкупить из типографии»[{138}]. Считается, что этот номер в библиотеках не сохранился.

Номер действительно не сохранился, а неизвестный автор, написавший пародию на стихи Алексея Толстого известен. Это поэт Дмитрий Коковцев, однокашник Гумилева по царскосельской гимназии, автор шуточной пьесы (написанной в соавторстве с П. Загуляевым), где высмеивается не только Толстой, но и вся редакция «Острова». Пьеса была опубликована 2 октября 1909 года в газете «Царскосельское дело» и начиналась так:

«ОСТОВ», или АКАДЕМИЯ НА ГЛАЗОВСКОЙ УЛИЦЕ

**Действующие лица:**

Гумми-Кот, поэт, редактор журнала «Остов». Глаза вареного судака. Тощ.

Пуффи, поэтесса с темпераментом и весом.

Портянкин, поэт, уволенный за пьянство из штабных писарей. Кошкодав. Ходит в студенческой тужурке.

Бриллиантин Вятич, поэт совершенно неизвестный, но служит в одной из фешенебельных канцелярий. Злоупотребляет фиксатуаром и неусыпно печется о проборе.

Макс Калошин[7], поэт, сделавший карьеру в веселых местах Парижа. Считается знатоком всех искусств, а в особенности — порнографических карточек. Любит молодежь.

Сергей Ерундецкий, специализировался на подробностях сексуальной жизни наших предковславян.

Граф Дебелый, новоявленная знаменитость, подобранная в Париже на «внешних бульварах». Прическа парижских апашей.

Михаил Жасмин, тоже поэт и очень откровенный. Не любит женщин. Завит, нафабрен, нарумянен. На щеке мушка.

Действие происходит в Петербурге на Глазовской улице, в редакции «Остова».

Большая комната в первом этаже, в глубине — два окна. Обставлена комната с претензией на изящество и вкус. По стенам картины художников-модернистов — мазня, нежить и нечисть.

Посередине комнаты огромный стол, заваленный книгами и бумагами. Среди книг — «Жизнь животных» Брема, Ницше в изложении для детей младшего возраста и «Путеводитель по вертепам Парижа и Вены», составленный сообща современными русскими поэтами.

Редакционное заседание. Белая ночь. Все действующие лица на сцене»[{139}].

Догадаться, кто здесь кто, не сложно. Гумми-Кот — это Гумилев; Пуффи — Тэффи; Портянкин — Потемкин; Макс Калошин — Волошин; Сергей Ерундецкий — Городецкий; граф Дебелый — А. Н. Толстой; Михаил Жасмин — Кузмин; Бриллиантин Вятич — Вячеслав Иванов.

И все же, несмотря на эти пародии и неудачу с «Островом», идею издавать или участвовать в издании поэтического журнала Гумилев не оставил, и когда осенью 1909 года на литературном горизонте появился журнал «Аполлон», главным редактором которого стал поэт, литературный критик и устроитель художественных выставок Сергей Маковский, Гумилев сыграл в нем очень заметную роль. Толстой, тогда еще находившийся в гумилевской орбите, вместе с ним «обсуждал планы завоевания русской литературы» и в «Аполлоне» был своим человеком.

«К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом, — вспоминал позднее Маковский. — Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями — Михаилом Александровичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером»[{140}].

Это была компания молодых, честолюбивых и талантливых людей, которые хотели заявить о себе во весь голос и которым отчаянно не хватало для этого места. Имена одних история литературы возвысила, других — похоронила, но тогда они все были равны и всем приходилось одинаково нелегко. «Ремизов, Толстой, Волошин, Ауслендер, Гумилев, я — все сидим без издателей. Ибо ненавистны не только эсдекам, но и «Шиповнику», самому модернистскому из издательств»[{141}], — жаловался в письме к киевскому поэту и переводчику В. Эльснеру ныне позабытый поэт Потемкин.

«Итак, «Аполлон» будет… Но сколько еще работы… Хронику, хронику надо… и надо, чтобы кто-нибудь оседлый, терпеливый, литературный кипел и корпел без передышки. Il faut un cul de plomb… quoi?[8]» — писал С. Маковскому Анненский в мае 1909 года, когда окончательно решился вопрос с запуском нового журнала, и таким *cul de plomb* и стал Николай Гумилев.

«Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся «Аполлон» с

выставками и вечерами поэзии. Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весною на «башне» у Иванова, были перенесены в «Аполлон» и превращены в Академию Стиха. Появился Анненский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в тысячу страниц»[142].

На одной из этих страниц шла речь и о Толстом. «Андрей Белый привлек в качестве материала для исследования даже стихи «Алексея Толстого-младшего», так называл он вот этого — тогда — поэта, чья инициатива положила начало «Академии»[143], — вспоминал позднее Пяст.

Инициатива открытия «Академии» исходила все же скорее не от Толстого, а от Гумилева, и благодаря ему осень 1909 года оказалась действительно шумной. Первый номер журнала «Аполлон» вышел в конце октября, и событие это шумно отмечалось петербургской литературной элитой сначала в редакции, а затем в ресторане Кюба «Pirato» (немецкий поэт Иоганнес фон Гюнтер, приветствовавший журнал от имени европейских поэтов, позднее писал: «Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе, моя голова доверчиво лежала на плече у Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином»[144]). «Аполлон» сыграл в русской поэзии очень важную роль. Это был журнал, призванный встать над групповыми пристрастиями и объединить русских поэтов, в нем печатались стихи, критические статьи, манифесты, программы, именно в нем Кузмин опубликовал статью «О прекрасной ясности», с которой начался акмеизм. Но было в его истории и печальное: столкновение различных интересов и лиц, ускорившее, по мнению Ахматовой, смерть Анненского, и наш молодой тогда еще герой оказался косвенно причастен к этому сюжету.

В сентябре 1909 года Анненский писал Маковскому: «Дорогой Сергей Константинович,

По последнему предположению, которое у Вас возникло без совета со мною. Вы говорили мне, что моей поэзии Вы предполагаете отделить больше места (около листа или больше — так Вы тогда говорили), но во второй книжке «Ап». Теперь слышу от Валентина, что и вторую книжку предназначают в редакции отдать «молодым», т. е. Толстому, Кузмину etc. Если это так, то стоит ли вообще печатать мои стихотворения? Идти далее второй книжки — в размерах, которые раньше намечались, мне бы по многим причинам не хотелось. Напишите, пожалуйста, как стоит вопрос. Я не судья своих стихов, но они это — я, и разговаривать о них мне поэтому до последней степени тяжело. Как Вы, такой умный и такой чуткий, такой Вы, это забываете и зачем, — упрекну Вас, — не скажете раз навсегда, в чем тут дело? Ну, бросим стихи, и все»[145].

Толстого предпочли Анненскому — есть отчего пойти голове кругом у одного и поперхнуться от незаслуженной обиды другому, но гораздо больнее ударил по Иннокентию Федоровичу еще один, последовавший месяцем позже отказ Маковского печатать его стихи:

«Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в «Аполлоне». Из Вашего письма я понял, что на это были серьезные причины. Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2 №, — каприз», — писал Анненский буквально за три недели до смерти. На самом деле каприз был не у Анненского, а у Маковского, и даже не каприз, и не у одного Маковского, а нечто вроде описанного Стефаном Цвейгом «амока», охватившего почти всю редакцию «Аполлона». Связано это наваждение было с тем, что на поверхность эстетского журнала, вокруг которого двигались по своим орбитам и печатались в свой черед крупные и мелкие, молодые и постарше поэты, упал метеорит, обрушился средней силы тайфун или, лучше всего сказать, появился на горизонте неопознанный летающий объект.

У этого аномального поэтического явления был свой трагикомический пролог, место действия которого — коктебельская дача Волошина, а три главных действующих лица — хозяин дачи, Гумилев и женщина, ими не поделенная. О женщине этой и об истории, которая в связи с ее стихами и поступками, а точнее стихами-поступками разыгралась, много писали и мемуаристы, и историки литературы. Считается, что это одна из самых ярких и фантастических страниц русской поэзии Серебряного века. Писал о ней и Алексей Толстой.

«Летом этого года Гумилев приехал на взморье, близ Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла туда встреча с Д., молодой девушкой, судьба которой впоследствии была так необычайна. С первых же дней Гумилев понял, что приехал напрасно: у Д. началась как раз в это время ее удивительная и короткая полоса жизни, сделавшая из нее одну из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе.

Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте, на полу, на ковре, лежала Д. и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной.

Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал»[{146}].

Сознательно или нет, но в изящные воспоминания Толстого вкралось много ошибочного, начиная с того, что Гумилев и Д. приехали в Коктебель не порознь, а вместе, и заканчивая ролью каждого в этом треугольнике.

Д. — это Елизавета Ивановна Дмитриева, слушательница «про-Академии» на «Башне» у Вячеслава Иванова. После перенесенного в детстве туберкулеза костей и легких она немного прихрамывала, была полновата, но на некрасивом ее лице удивительно смотрелись пронзительные глаза. Как женщину ее нельзя назвать обделенной, скорее наоборот — мужчин тянуло к ней. Иоганнес фон Гюнтер утверждал, что «она не была хороша собой, скорее — она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее сегодня, вероятно, назвали бы «сексом»[{147}]. Когда Дмитриевой было 13 лет, ее добивался некий теософ, оккультист и сладострастник, а жена этого деятеля устраивала Лизе сцены ревности. Во время описываемых событий 1909 года у нее был жених Всеволод Васильев, отбывавший воинскую повинность и в дальнейшим ставший ее мужем, сама она безответно и беззаветно любила Волошина, а ее любви домогался Гумилев. У Лизы-хромоножки, как будто сошедшей со страниц романов Достоевского, от такой жизни голова шла кругом.

«Это была молодая, звонкая страсть… Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину, он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель…»[{148}]

В Коктебеле тогда только начали собираться поэты, художники, артисты, там зарождался знаменитый Дом творчества. Толстой был одним из его пионеров. Он приехал к Волошину вместе с Софьей Исааковной незадолго до Гумилева (Волошин писал в дневнике: «Первые дни после приезда Толстых, а неделю спустя — Лиля с Гумилевым — было радостно и беззаботно.

Мы с Лилей, встретясь, целовались»[{149}]) и прожил несколько месяцев.

*Здесь редко птица пролетит*
*Иль, наклонясь, утонет парус…*
*Песок и море. И блестит*
*На волнах солнечный стеклярус.*
*Прищурясь, поп лежит в песке,*
*Под шляпою торчит косица;*
*Иль, покрутившись на носке,*
*Бежит стыдливая девица… …нарушила вчера*
*Наш сон и грусть однообразья*
*На берегу в песке игра:*
*«Игра большого китоврасья».*
*Описывать не стану я*
*Всех этих резких ухищрений,*
*Как Макс кентавр, и я змея*
*Катались в облаке камений.*
*Как сдернул Гумилев носки*
*И бегал журавлем уныло,*
*Как женщин в хладные пески*
*Мы зарывали… было мило…[9]*

Было мило. Была игра, была забава, но по меньшей мере по двоим из гостей волошинского дома она ударила очень больно.

«В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. С. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и М. А. — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая — это был М. А…

То, что девочке казалось чудом, совершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно; к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать»…

Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор!.. О, зачем они пришли и ушли в одно время!»[{150}]

Люди Серебряного века жили напоказ, чувств своих не стеснялись и не прятали и целомудрие гнали вон. Порой они и сами не понимали, где кончаются литература, театр, игра, а где начинается жизнь.

«Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных»[{151}], — писал позднее в своих мемуарах Ходасевич.

И жестоко за это платили.

«Знали, что играют, — но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» — кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью»[{152}].

Блок, Менделеева, Белый.

Брюсов, Петровская, Белый.

Гумилев, Дмитриева, Волошин.

Волошин, Сабашникова, Вяч. Иванов.

Любовные треугольники нашего Парнаса, его «тройственные союзы». И везде (за исключением последнего) фигурировало оружие или его угроза. Смерти, слава Богу, не было ни одной, но смерть была в двух шагах. И сильнее всего страдали женщины.

«За боль, причиненную Н. С., у меня навсегда были отняты и любовь и стихи».

Так заканчивается короткая, всего на три страницы, исповедь Черубины де Габриак, от имени которой присылали осенью 1909 года стихи Дмитриева и Волошин в редакцию «Аполлона», мистифицируя его сотрудников во главе с главным редактором. Черубину никто не видел, Маковский только говорил с ней по телефону и признавался, что, будь у него 40 тысяч годового дохода, непременно посватался бы. «Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказочное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней».

Примечательно, что Толстого в списке влюбленных нет. И вовсе не потому, что он был женат или маловлюбчив. Просто он был авгур, а люди этого сорта хорошо разбираются в чужих душах и для них тайн на свете не существует.

Меж тем загадочная Черубина присылала стихи, которые с листа шли в номер, отодвигая другие материалы (включая и стихи Анненского). Неизвестно, каким был процент участия в этих стихах Дмитриевой, а каким Волошина, но история вышла шумная и в общем-то безобразная, хотя в мемуаре Толстого она и выглядит красивой и слегка печальной.

«В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габриак действительно существовала — ее земному бытию было три месяца. Те, мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под ее диктовку; постепенно начались признаки ее реального присутствия, наконец — они увидели ее однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события»[{153}].

Согласно воспоминаниям Волошина, Толстой не просто проник по одной строчке в эту тайну, но с самого начала все знал.

«Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон. Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи».

Он не замедлил скрыться»[{154}].

Однако к затее Волошина граф отнесся отрицательно. «А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится»[{155}], — вспоминал Волошин, но… не бросал. Не такой был человек этот, по определению Ходасевича, «великий любитель и мастер бесить людей» —

и не такое было время.

Окончание истории — разоблачение Черубины де Габриак — оказалось тяжелым. Алексей Толстой, в присутствии Кузмина подтвердивший Маковскому «все о Черубине», Маковский, сделавший вид, что он все с самого начала знал и просто давал мистификаторам доиграть свою роль до конца, Гумилев, оскорбивший Дмитриеву словом (и с мужской точки зрения за дело — а как иначе назвать «хочу обоих»?)[10], Волошин, который нанес ему тяжелую пощечину («Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно… Я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: «Достоевский прав. Звук пощечины — действительно мокрый»), вызов на дуэль и, наконец, молодой граф Толстой, свидетель всему, начиная от Коктебеля и заканчивая Черной речкой в качестве секунданта Волошина. Секундантом Гумилева был Кузмин.

Эта история напоминала какую-то дурную пьесу, где все, за исключением одного человека, валяли дурака, и тот, все понимая, скрежетал зубами в бессильной ярости, но поделать ничего не мог. Ему было легче в Африке, потом на Первой мировой, потом, должно быть, в ЧК. Там он не был смешон и нелеп, тут — был.

Что думал об этом сюжете Алексей Толстой? Кто с его точки зрения более прав — Гумилев или Волошин и почему он стал секундантом обидчика, а не обиженного? Имел ли право Гумилев дурно отзываться о Дмитриевой? Кто и зачем предал гласности его отзыв? Справедливо ли ударил Волошин Гумилева? Где граница между литературной мистификацией и провокацией?

Едва ли у Толстого были на эти вопросы ответы. Его пригласил Волошин, они оказались более близкими друзьями, чем с Гумилевым, а если бы позвал Гумилев, наверное, пошел бы и к нему. Он не занимал ни одну из сторон[11]. Его задача состояла в том, чтобы своими большими ногами отмерить как можно более широкие шаги и развести двух поэтов подальше друг от друга, чтобы они, не дай бог, не причинили друг другу вреда (что он с успехом и сделал — «Граф распоряжался на славу, противники стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках», — писал в дневнике М. Кузмин. С. 188), однако любопытно, что в написанном в 1921 году мемуаре Алексей Толстой взял под защиту не Волошина, а Гумилева:

«Я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, — в произнесении им некоторых неосторожных слов — было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В., бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль»{156}.

Дуэль состоялась на Черной речке («Стрелялись… если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему»{157}, — вспоминал Волошин). Гумилев настаивал на самых жестких условиях, и секундантам едва удалось его отговорить.

«Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти».

Они ничего толком не умели: ни зарядить старинные пистолеты, ни развести противников на нужное расстояние, ни грамотно себя вести. Пушкин или Лермонтов, увидев такое, только плюнули бы. В начале XX века поэты были хорошие, но дуэлянты — никакие.

«Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)... три! — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!» В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». — «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого...» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он.

Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

С тех пор я мало встречал Гумилева»[{158}].

На самом деле это не совсем так. Через три дня после дуэльной истории, которая сразу же попала в газеты и вызвала много насмешек и зубоскальства, редакция «Аполлона» двинулась в давно запланированное путешествие в Киев на собственный поэтический вечер под названием «Остров искусств». Были там и Гумилев, и Кузмин, и Толстой. За успех вечера боялись. Незадолго до этого в прогрессивной «Киевской мысли» социал-демократ Н. Валентинов вопрошал:

«Будем несколько нескромны и, по очереди, попросим паспорт у гастролирующих устроителей бирюзового острова искусства.

Г-н Гумилев?

Г-н Толстой?

Что вам про них известно? Я вижу: вы морщите лоб? Тщетно силитесь хоть что-нибудь вспомнить?»[{159}]

Они провели вечер на ура. Читал стихи Кузмин, читал «Сон Адама» Гумилев, «добродушный, с типично писательским лицом» Алексей Толстой читал сказку о ведьмаке, откусившем половину луны, о свинье в луже, о жестокой русалке, о ведьме и Хлое. Публика аплодировала.

На том вечере в зрительном зале находилась и Анна Ахматова. Гумилев снова просил у нее руки. Перед этим она ему трижды отказывала. Последний раз летом, когда он приехал к ней из Коктебеля, изгнанный Дмитриевой. Теперь — согласилась. И много позднее рассуждала об этой неостывшей в ее сердце истории:

«Лиз[авета] Иван[овна] Дмитриева все же чего-то не рассчитала. Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее модной петербургской] дамой и обеспечит почетное место в литературных кругах столицы, но и ей почему-то пришлось почти навсегда уехать (она возникла в 1922 г. из Ростова с группой молодежи...). Она написала мне надрывное письмо и пламенные стихи Ник[олаю] Степановичу]. Из нашей встречи ничего не вышло. Всего этого никто не знает. В Кокт[ебеле] болтали и болтают чушь. Очевидно, в то время (09–10 гг.) открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим.

Замечательно, что это как бы полупонимала Марина Цветаева:

*«И лик бесстыдных орхидей*
*Я ненавижу в светских лицах! —*

образ ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня...»

Какой, между прочим, вздор, что весь Аполлон был влюблен в Черубину: Кто: — Кузмин, Зноско-Боровский? И откуда этот образ скромной учительницы — Дмитриева] побывала уже в Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго [Сабашниковой?], занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей. А вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Мак[овский] действительно выбросил из перв[ого] номера, что и ускорило смерть Иннокентия] Федоровича]. Об этом Цветаева не пишет, а разводит вокруг Волошина невообразимый, очень стыдный сюсюк»[{160}].

Что же в остатке?

Анненский умрет в те самые ноябрьские дни 1909 года, когда в Киеве выйдут на сцену Гумилев, Кузмин и Толстой, а Ахматова даст согласие выйти замуж, и никто из них на похоронах своего учителя присутствовать не будет (но будет Волошин). Дмитриева напишет своей знакомой А. Петровой: «Макс вел себя великолепно», история с Черубиной станет ее звездным часом, после чего ее недолгая слава сойдет на нет, она расстанется с Волошиным, выйдет замуж за своего жениха Васильева, будет увлекаться теософией, затем перейдет на детскую литературу, а в двадцатые годы судьба неожиданно сведет ее с первым мужем третьей жены Алексея Толстого — Федором Акимовичем Волькенштейном, и ему она посвятит стихотворение «Год прошел, промелькнул торопливо...». Максимилиан Волошин признает в поздней автобиографии, что пребывание в России подготовило его разрыв с журнальным миром, который был выносим для него только пока он жил в Париже, то есть истории с Черубиной ему не простят, и он станет литературным изгнанником. Алексей Толстой будет присутствовать на свадьбе Ахматовой и Гумилева в апреле 1910 года, а в 1912-м вместе с Волошиным примется за пьесу, где будут выведены Ахматова и Гумилев, она — в образе «честолюбивой, холодной, бессердечной и бисексуальной «роковой женщины», он — «бегающего по сцене в охотничьих сапогах, размахивающего пистолетами, раздающего вызовы на дуэль провербиального ревнивца, мечущегося по Петербургу в поисках своей вечно сбегающей с другими жены»[12]. С Гумилевым Волошин встретится в 1921 году в Крыму незадолго до того, как Гумилев будет расстрелян. Они протянут друг другу руки и недолго поговорят. Ахматовой не будет в Коктебеле никогда, но с Алексеем Толстым ее пути еще не раз

пересекутся. Самому Алексею Толстому доведется не только услышать мокрый звук пощечины еще одного великого поэта XX века, но и почувствовать ее на своем лице.

# Глава VI. Путь к прозе

«Жаль будет, если Алексей Толстой окажется лишь временным гостем в поэзии, если романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта, как это часто случается с беллетристами»[{161}], — писал в рецензии на книгу стихов «За синими реками» Волошин.

И тем не менее произошло именно то, чего Волошин опасался: в поэзии Толстой оказался гостем. Он, правда, признавался своему другу в марте 1910 года: «Теперь я так отрешен от поэзии, что стал понимать настоящую ее красоту, таинственную грусть, которой так мало в современной поэзии подбрюсовского толка»[{162}], — но это уже было прощание с «Цехом поэтов», это был голос человека, расстающегося со стихами, как расстается человек с каким-то очень важным, но конечным периодом своей жизни. Отсюда и критический настрой по отношению к тому, что еще совсем недавно влекло его: «Здесь у нас еще пуще все мыкаются высуня языки по гостям и вечерам. В Академии читал Андрей Белый, но я его не слушал — очень хитро и, кажется мне, он касается заповедных вещей, поэтам которых слушать не следует… В голове окурки, а на душе кошки»[{163}].

Впрочем, по иронии судьбы в дальнейшем Толстой именно Волошина считал виновником своего расставания с поэзией и обращения к прозе: «1908 год я прожил в Париже, где дружба с Максимилианом Волошиным привела меня в кружок символистов. В 1909 году, в Коктебеле, слушая переводы с Анри де Ренье Мак. Волошина, я почувствовал (в тот вечер) в себе возможность писать прозу. Тогда же я написал подряд в три дня три маленьких рассказа, полуфантастических из 18-го века. Таково начало моего писания прозы»[{164}].

А в другом месте приводит один из своих разговоров с Волошиным:

«Я рассказал, что моя мать была драматургша, рассказал про драмы, содержание, про наемку косцов, про помещитский быт.

Макс неожиданно перебил меня.

— Знаете, вы очень редкий и интересный человек. Вы наверно должны быть последним в литературе, носящим старые традиции дворянских гнезд. — Говорил о поэзии грустной и далекой, говорил, что все теперь поэты и писатели городские, что мне нужно найти свой стиль и написать целый большой цикл.

Я был очень обрадован и начал распространяться и рассказывать, боясь все-таки, чтобы это не вышло сразу резко, диссонансом, точно завели. Я был очень возбужден»[{165}].

Что же касается Толстого-поэта, то Ахматова считала, что его «испортил» Вячеслав Иванов. В разговоре с Павлом Лукницким в середине двадцатых годов она замечала: «Но Алексей Толстой читал, неплохие стихи были, у него тогда хорошие стихи были… В. Иванов загубил его. Он под это понятие «тайнописи звуков» не подходил».

Ахматова могла быть пристрастна, ведь она рассуждала о тех годах, когда Вячеслава Иванова все считали диктатором и против него, равно как и против «тайнописи звуков», поднимал восстание Гумилев. Да и трудно представить, чтобы Толстого с его природной мощью мог кто-то загубить. Просто поэзия была не его уделом, и, кстати, тот же Вяч. Иванов записал в своем дневнике: «Толстой читал слабые стихи и три талантливых рассказа не равного достоинства,

но равно почти ярких и остроумных»[166]. В тридцатые годы, отвечая на вопрос корреспондента журнала «Смена» о причинах перехода от стихов к прозе, Толстой замечательно сказал: «Я начал писать стихи и никогда не предполагал, что буду писать прозу. Я много раз пробовал, но ничего не выходило. Это были пошлые, скучные рассказы. Многие из них я даже не закончил.

Прошло два года. Я почувствовал противоречие. Смешно сказать, но это истинная правда: я всегда был толстым, здоровым человеком, а стихи писал медленно. Мне стало казаться, что это мало почетное занятие: такому здоровому человеку полдня искать рифму. Это объясняется, конечно, тем, что у меня не было темперамента поэта. Я никогда не был поэтом».

Проза, к которой он обратился, обыкновенно считается искусством более низкого порядка, не требующим специального ухода. Во всяком случае в недолгие годы Серебряного века это было именно так. И если можно представить себе Академию стиха или «Цех поэтов», то вообразить то же самое по отношению к прозе довольно сложно. Русская проза начала века не выражала себя через направления, манифесты, она одевалась и вела себя куда скромнее, но это не значит, что к ней предъявлялись менее строгие требования. Толстому нужно было найти в прозе, как и в поэзии, свой голос и свою тему.

«Я считал, что величайшее счастье писать, как Тургенев, — рассказывал он позднее сыну Никите. — Я читал его так много и часто, что мог по началу фразы продолжить дальше — как у него написано или как он написал бы. Он будто заполнил меня всего. Так вот, когда я принялся за прозу всерьез, я стал пытаться найти свой язык, свой способ. Но смотрю — ничего не получается своего, чистый Тургенев. Отдал рассказ в редакцию, жду, трушу, что мне скажут: «Ну что вы, молодой человек, нельзя же так, это если не плагиат, то слепое подражание Тургеневу». Однако не заметили, сказали — очень мило, давайте еще. Потом, довольно скоро, стали говорить, что чувствуется свой, новый голос. А я думал: неужели ничего не замечают?»[167]

Здесь опять, как и в рассказе про профессора математики и сигару, — кокетничанье, но и доля истины есть. Толстой начинал с подражания, однако дело было не только в том, как писать, но и о чем. В поэзии его вывез фольклор, в прозе — Заволжье.

Если самая первая прозаическая книга Алексея Толстого «Сорочьи сказки» напоминала его стихи и темой, и образами (о ней хорошо сказано у Бунина: «Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под названием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я конечно их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого...»[13]), то очень скоро Толстой понял, что на этих «пустяках» далеко не уедешь, и Бунин, хотя и свысока отзывался о молодом Толстом, был прав, утверждая: «... с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств»[168].

Толстой в этом смысле был далек от того высокого, трагического понимания роли художника, посредника между Богом и людьми, пророка, какое предлагали символисты, и, возможно, это еще одна причина, заставившая его оставить поэзию. Он был профессионал, можно сказать, литературный делец (если не вкладывать в эти определения оскорбительный смысл), он не считал себя пером в руках Бога и не был орудием языка. Его писательское кредо очень точно

изложил впоследствии с его слов Федор Крандиевский: «Отчим посмеивался над писателями и поэтами, которые могут писать лишь в минуты «вдохновения». Это удел дилетантов. Писательство — это профессия. Писатель не должен ждать, когда вдохновение сойдет на него. Он должен уметь управлять «вдохновением», вызывая его, когда это ему нужно…»[{169}]

Точно так же он хорошо понимал и чувствовал, что пойдет на русском, а потом и советском журнально-книжном рынке. В десятые годы Толстой принялся писать о том крае, в котором родился, и тех людях, что его окружали. Именно они, герои первых глав этой книги — Тургеневы, Боговуты, Толстые, Бостромы, — стали персонажами его художественных произведений. «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мире чудаков, красочных и нелепых… Это была художественная находка».

Под его пером эти люди превращались в еще более ярких и самобытных персонажей, нежели были на самом деле. Он их лепил, он писал их так, что мы можем их увидеть, услышать, почувствовать, человеческая плоть просвечивала сквозь его страницы. Но особенность этой прозы заключалась в том, что Толстой ощущал себя не просто певцом, но последним летописцем и даже могильщиком этого мира, хотя печали такая роль у него не вызывала. Скорее наоборот.

Этот жизнелюбивый человек со смехом и сарказмом писал о вымирании дворянства. Схожий мотив можно найти и у Бунина в «Суходоле» или «Деревне», и у Чехова в «Вишневом саде», но Толстой грубее и насмешливее обоих. Чехов мог назвать свою последнюю пьесу комедией, но смешного в ней не так уж много, для Бунина уходящее дворянство — и вовсе свое, кровное, он пишет с болью о его судьбе, а Толстому не жалко и не больно (вот, к слову сказать, еще одна причина, по которой Бунин мог так недоверчиво относиться к графству Толстого: был бы настоящий граф, иначе писал бы), ему весело и, быть может, даже чуть-чуть злорадно.

Мотив вымирания целого сословия русских помещиков хорошо чувствуется в рассказе «Смерть Налымовых» с его ярко выраженной мистической нотой или в повести «Неделя в Туреневе», где говорится о «запустении шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться…

Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском дому».

Тетушка Анна Михайловна в «Неделе в Туреневе» списана с Марии Леонтьевны Тургеневой, очень близкого Толстому человека. И в жизни, и в повести она бездетна, но у нее есть любимый племянник Николенька, который не хочет ничего делать, кроме как пить шампанское в буфете. Совершенно разорившись, от полной безысходности он приезжает к Анне Михайловне со своей любовницей Настей. Тетушка — доброе сердце — его принимает и мечтает наставить на путь истинный, хотя и сомневается в том, что ей это удастся. Таковы экспозиция и завязка маленькой драмы, в которой помимо религиозной тетки и ее племянника участвуют две девицы — воспитанница Анны Михайловны Маша и племянница местного священника отца Ивана Раиса. Весь дальнейший сюжет — бурлескная история о том, как похотливый с детства, развратный «пенкосниматель» Николенька пытается соблазнить и ту и другую девицу (при этом соблазниться обе не прочь), а тетушка в сердцах восклицает: «Да что в самом деле, мало тебе одной бабы! Да как ты догадался только так устроиться…»

У племянника своя правда: «…вспоминались минуточки, от которых вся кровь закипала… Взять бы такую минуточку и туда, — в сумасшедшие зрачки глаз, в шорох шелковых юбок, в темноту женского благоухания, — вниз головой, навек… Перед самым лицом Николушки в

траву упала с дерева шишка… Он раскусил травинку и усмехнулся: «Тетушка Анна Михайловна в бумазейной кофте, со своими мышами и религиозными вопросами… Африкан Ильич, храпящий на весь дом после обеда… Комнаты, заваленные пшеницей, книги, съеденные мышами… Настенька, знакомая до последнего родимого пятнышка… Бррр! Будни… Поди воспрянь, работай!.. Ни один человек не воспрянет в такой обстановочке… Болото!..»

А сразу вслед за этими мыслями, как в сказке (не зря Толстой со сказок начинал), появляется хорошенькая Раечка, которой Николенька жалуется на свою погубленную жизнь и тотчас же прямо в лесу одерживает очередную победу, но как честный человек объявляет:

— Тетушка, я женюсь на Раисе!..

В ранней прозе Толстого эротика не то соперничает, не то сотрудничает с иронией и от этого происходят такие смешные эпизоды. Вот побитый деревенскими парнями за то, что пытался соблазнить еще и Машу, племянник оправдывается перед теткой за свое поведение:

«Николушка начал раскачиваться на стуле и долго не мог произнести ничего, кроме мычания, затем, найдя линию, стал говорить о том, что вся его жизнь — сплошная борьба и трагедия: он мечтает о самосовершенстве, о честном и суровом труде, а всевозможные случайности снова и снова толкают его в бездну. Его кровь застывает, душа дремлет в отчаянии, и он жадно тянется к светлому, чистому огоньку, который зажег бы его кровь, пробудил бы его к деятельности… Но каждый раз этот чистый огонек оказывается бесовским наваждением… Третьего дня, например, он пошел к возам, чтобы прогнать Машутку домой, чтобы не болталась зря… А эта девчонка, вместо того чтобы послушаться, принялась так на него смотреть лукаво, так задирала коленку на колесо, что перед ним мгновенно раскрылась бездна…»

Эта раскрывшаяся «бездна» кажется пародией на Леонида Андреева, трудно сказать, нечаянной ли, а сам Николушка выглядит доведенным до абсурда «лишним человеком», но одновременно Толстой и восхищается им, любуется его природной силой и мужскими успехами.

Еще один толстовский герой и еще одна литературная ассоциация — помещик Мишука Налымов, напоминающий не то Ноздрева, не то Троекурова: «Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости, — лошадей отпрячь и — в табун, тарантас — в пруд, чтобы не рассохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак, — моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти окаянные!..» А налымовских собак лучше и во сне не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать ему метлу — замести за собою след через двор. Хочешь не хочешь — вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами».

В доме у Мишуки гарем: барышня Настя, барышня Дуня и барышня Телипатра, сам он хочет жениться на своей племяннице, молодой бесприданнице Вере Львовне Ходанской, но она в ужасе от него отшатывается, а Мишука получает по морде за наглость от влюбленного в нее, но не желающего на ней жениться Сережи Репьева. Налымов трусливо бежит от дуэли, по дороге в гневе, чтобы напакостить и выместить зло, сталкивает в воду старого мерина, потом приезжает домой, сначала устраивает оргию, а потом прогоняет любовниц, загоняет обидчика на дерево. Сцена, когда Сережа сидит наверху, а Мишука трясет сосну, позднее смешно преобразится в «Золотом ключике» в стычку Буратино и Карабаса-Барабаса. После этого Мишука меняет гнев на милость, едет с Сережей в шинок и по бабам, дебоширит на Вериной свадьбе — и вся эта чехарда нелепых, гротескных событий заканчивается тем, что он умирает, но перед смертью отписывает нищей Вере почти все свое имущество.

«Пахотную землю всю, — луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее, — жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселей на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, по прозванию Клеопатре, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся, дарю мое благословение, деньгами же и землями — шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это завещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш, — который предназначался ближайшим родственникам, — Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи — почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел, — проговорил Мишука, — Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак, — сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме — озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Багровея, пучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завыла диким голосом под столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... попа, — выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Изо рта хлынула сукровица — Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, Господи, душу раба твоего...

Клеопатра не торопясь подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой».

Эти повести и рассказы вошли в книгу, которая получила название «Заволжье», и ее успех сразу же намного превзошел успех толстовских стихов. Если прежде Алексей Толстой был известен сравнительно узкому кругу поэтов, то теперь его ждала настоящая слава, и отчетливее всего она прослеживается в письмах того времени.

«Толстой — несомненный талант, писатель реалист, «восходящая звезда», — писал Брюсов П. Б. Струве. — Сейчас Толстой самый видный из молодых беллетристов… он уже настолько на примете, что даже неудачи его интересны»[{170}].

Благодаря прозе имя Толстого стало известно и в другом лагере. «В той же книжке Шиповника, — сообщал Горькому А. А. Смирнов, — «Заволжье» гр. Алексея Н. Толстого, — прочтите, коль попадется. По-моему, талантливо. Это — Алеша, эдакий увалень был, сын Александры Леонтьевны Востром. <…> Теперь увалень — модернист. Похабные стихи пишет. Их не одобряю»[{171}].

Прочитавший Толстого Горький сообщал своим адресатам: «Обратите внимание на Алексея Н. Толстого, прочитайте его «Заволжье» и рассказы в «Аполлоне» — стоит! Про него говорят, что он близок с Кузминым и прочими, но — сам он мне кажется здоровым парнем…»[{172}]; «В нашей литературе восходит новая сила, очень вероятно, что это будет первоклассный писатель, равный по таланту своему однофамильцу. Я говорю об Алексее Толстом».

Литературному критику Амфитеатрову Горький написал то самое письмо, с которого мы начали свое повествование: «Обращаю Ваше внимание на графа Алексея Ник. Толстого. Это — юный человек, сын Толстого — губернского предводителя дворянства в Самаре, родственник И. С. Тургенева: хорошая кровь!»[{173}]

Амфитеатров (разумеется, незнакомый со всеми обстоятельствами появления на свет Алексея Толстого) отзывался о «Заволжье»: «Попробуйте-ка написать Мишуку Налымова, который в своем имении восстановил властью капитала крепостное право… Писатель из кровных демократов не мог бы воспользоваться этой фигурой иначе, как в враждебном тоне обличительного протеста, и вышел бы у него полупублицистический очерк с дидактикой, — либо сатира, либо мелодрама. Для графа Алексея Толстого Мишука Налымов «одним миром мазан», и художник пишет его с таким же спокойствием любопытного наблюдения, как всякую новую модель»[{174}].

Нечто похожее встречается и в рецензии Корнея Чуковского: «Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет, как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети, — все живет и блестит и восхищает».

Справедливости ради надо заметить, что так считали не все. «Личного, личностей сейчас очень мало в нашей прекрасной литературе, — писала Зинаида Гиппиус. — Оттого так и однообразен удивительно-тонкий приятный стиль современных писателей художников. Отличить сразу Городецкого от А. Толстого, Ауслендера от Городецкого или даже от Чулкова — очень трудно»[{175}].

Впрочем, много лет спустя Чуковский в своем дневнике в ином тоне отзовется о прозаическом дебюте Толстого, но зато приведет похвальный отзыв еще одного писателя: «19 ноября 1962 года. Вспоминали прошлое. Вадим (сын Леонида Андреева. — *А.В.*) рассказывает, что, когда Алексей Толстой написал свои ранние рассказы и первую несуразную повесть «Хромой барин», Л. Андреев, к удивлению своего брата Павла, заявил, что он, Толстой, самый талантливый русский писатель, талантливее Горького (а Горький в то время печатал самые сильные свои вещи: «Детство», «В людях»)»[{176}].

Эта версия, правда, несколько расходится с более поздними эпистолярными отзывами Л. Андреева о Толстом. Так, 10 апреля 1914 года Л. Андреев писал И. А. Белоусову: «А. Толстой —

тот совсем плох; треплет он эту проблему пола, как собака в жаркий день жилистую лошадиную ногу, — и не ест, а подойти близко — зарычит. И «загадочная сложность» его души столь же не загадочна, как сало в колбасе: просто он напихал ее, сколько мог и умел»[177].

23 февраля 1915 года Андреев писал В. И. Немировичу-Данченко: «…Они все приземлились, и прижизнились: посмотрите, если есть охота, московскую литературу Буниных, и Шмелевых, и А. Толстых — сколь это все приближено к земле, опрощено, в лучшем случае, обтургенено…»[178]А в марте того же года — С. С. Голоушеву: «Ал. Толстой у вас пропадет, как пропадает и Шмелев: все станут златовратскими..»[179]

Сам Толстой писал тетушке Марии Леонтьевне 20 сентября 1910 года: «Положение мое упрочается, и все мне прочат первое место в беллетристике, не знаю, как это выйдет»[180].

Так 27-летний граф стал прозаиком, писателем, эпиком, а проза отличалась от стихов не только силой вдохновения, размером и отсутствием рифмы, но и тем, что тут были совсем другие деньги. Жить на поэзию даже в Серебряный век едва ли было возможно, если только автор стихов не Блок. Гумилев ездил в Африку отнюдь не на гонорары, полученные в «Аполлоне», а на деньги из оставленного отцом наследства, и Толстой, давно прокутивший свои 30 тысяч, доставшиеся от графа Николая Александровича, и то и дело просивший деньги у Бострома, наконец смог ощутить не одну моральную, но и вещественную выгоду писательского труда.

«После того как появился рассказ «Неделя в Туреневе», наши материальные дела пошли на поправку. Издатель «Шиповника» С. Ю. Копельман предложил Толстому договор на очень лестных для молодого писателя условиях: издательство обязывалось платить за право печатания всех произведений А. Н. Толстого ежемесячно по 250 рублей при отдельной оплате каждого нового произведения»[181], — вспоминала С. И. Дымшиц.

О толстовском успехе позднее писали самые разные люди, и что замечательно: обращали внимание прежде всего на внешний облик литературного баловня.

«Толстой входил в моду. Он сильно изменил свою внешность. Длинные волосы на косой пробор, цилиндр, шинель — все было стилизовано под 40-е годы и, правда, в барственной его осанке было что-то несовременное, дагеротипное. Рядом с ним и Софья Исааковна, всегда декольтированная, в хитонообразных платьях, в головных повязках, расшитых бисером, выглядела необычно»[182].

Чуковский, с удивлением наблюдавший за восхождением юного графа, который в 1907 году на финской даче с почтением глядел на журнальные гранки, а теперь стал автором престижных издательств, вспоминал:

«Слава, вначале не слишком-то громкая, оказалась ему к лицу. Он стал еще более осанистым, в его голосе послышалась барственность, на его прекрасных молодых волосах появился французский цилиндр. Артисты, живописцы, писатели охотно приняли его в свой заманчивый круг. Все они как-то сразу полюбили Толстого. Со многими он стал на ты.

Холодноватый и надменный с посторонними, он в кругу этих новых друзей был, что называется, душа нараспашку. Весельчак и счастливец — таким он казался им в те времена, в давнюю пору своих первых успехов.

Когда он, медлительный, импозантный и важный, появлялся в тесной компании близких людей, он оставлял свою импозантность и важность вместе с цилиндром в прихожей и сразу

превращался в «Алешу», доброго малого, хохотуна, балагура, неистощимого рассказчика уморительно забавных событий из жизни своего родного Заволжья. В такие минуты было трудно представить себе, что этот беззаботный «Алеша», с такими ленивыми жестами, с таким спокойным, даже несколько сонным лицом, перед тем как явился сюда, просидел за рабочим столом чуть не десять часов, исписывая целые кипы страниц своим круглым старательным почерком.

Едва ли кому было в то время понятно, что эти приливы веселости необходимы ему при той огромной нагрузке, которую он взвалил на себя, — подмастерье, тратящий все силы души на то, чтобы сделаться мастером. Именно оттого, что он проводил каждый свой день за работой, к вечеру его постоянно тянуло резвиться, шалить, каламбурить, рассказывать смешные небылицы. Здесь был его отдых, облегчавший ему его целодневный писательский труд. Я, как и многие, не подозревал тогда о его героическом труженичестве и даже (об этом он и упоминает в своем первом письме) позволял его журить за мнимую праздность.

В ту пору его можно было видеть на всех юбилеях, вернисажах, театральных премьерах, — на воскресных посиделках Сологуба, и на всенощных радениях Вяч. Иванова, и на сборищах журнала «Аполлон», и на вечеринках альманаха «Шиповник»[{183}].

Об одной из таких вечеринок писал и Лев Никулин: «После Волошина на сцену вышел розовый, уже несколько полнеющий молодой человек, остриженный по-русски в скобку. Он читал рассказ о заволжских помещиках, об их диком, густом зверином быте.

От этих трагикомических рассказов веяло жизнерадостностью, убеждением, что мрачные картины бытия в глухомани уйдут в прошлое и омерзительному быту не устоять против новой, рвущейся к свету жизни»[{184}].

Но, пожалуй, самый выразительный и сочный словесный портрет молодого Толстого сотворил философ Федор Степун:

«На одном из вечеров был в гостях начинавший входить в большую моду Алексей Николаевич Толстой с его тогдашней женой Софьей Исааковной. Первою в столовую, где уже сидело много гостей, вошла графиня — красивая черноволосая женщина, причесанная в стиле Клео-де-Мерод, в строгом, черном платье, перехваченном по бедрам расписанным красными розами шарфом. За графиней появился граф — плотный, крутоплечий, породистый, выхоленный и расчесанный, как премированный экземпляр животноводческой выставки. В спадающей на уши парикообразной прическе, в модном в те годы цветном жилете и в каких-то особенного фасона больших воротничках — сознательное сочетание старинного портрета и модного дендизма.

Веселые карие глаза с «наглинкой» жадно шныряют по всему миру: им, как молодым псам, — все интересно. Но вот они делают стойку: Толстой внимательно прислушивается к вспорхнувшей перед ним в разговоре мысли. Из нижней, розово-вислой части его крупного красивого лица мгновенно исчезает полудетская губошлепость. Уже не слышно его громкого «бетрищевского» — ха-ха-ха. На лбу Алексея Николаевича появляются складки — он думает: медленно, упорно, туго. Нет, он не глуп, как меня уверяли в Москве, хотя и не мастер на отвлеченные размышления. Думает он, правда, не умом, но думает крепко всей своей утробой, страстями и инстинктами. В нем, как в каждом художнике, сильна память, но не платоновская «о вечном», а биологическая — о прошлом. Когда Толстой разогревается в разговоре, в нем чувствуется и первобытный человек, и древняя Россия»[{185}].

Однако не всем этот замечательный человеческий экземпляр и его творения пришлись по

душе. Были у Толстого, как и положено писателю, литературные недруги. «Однажды после выхода первого сборника рассказов Алексея Николаевича я подобрала для него газетные отзывы и принялась читать их вслух. Алексей Николаевич, самолюбие которого сильнейшим образом было уязвлено многочисленными и несправедливыми критическими нападками, лежал на диване, нервно посасывая трубочку, шмыгал носом, вздыхал и отворачивался к стенке»[186], — писала Софья Дымшиц.

В «Заволжье» видели не просто «рассказы из дворянского быта, написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости», как заметил позднее снисходительный Бунин. В повестях Алексея Толстого разглядели пасквиль на дворянство.

«…Волосы встали бы дыбом, если бы в том, что он пишет, оказалась хоть нота жизненной правды. <…> Остается одно признать — перед нами профессиональное клеветничество, потрафляющее инстинктам рынка и толпы…»[187]— клеймил Толстого в суворинском «Новом времени» А. Бурнакин в статье «Беллетрист клеветы».

По мнению Елены Толстой, Велемир Хлебников именно о Толстом писал:

*Пустил в дворянство грязи ком.*
*Ну, что же! Добрый час!*
*Одним на свете больше шутником,*
*Но в нем какая-то надежда умерла,*
*Когда услышали ложь…*[188]

Своя правда в этом есть. Вот небольшой, казалось бы, пустячный рассказ «Ямшовая тетрадь». Некоему дворянину, который даже не называется ни по имени, ни по фамилии, что придает его образу обобщенный смысл, лакей Филимон приводит для плотских утех молодую крестьянку. Дворянин — декадент, и образ его — явно пародийный.

«— Найти ли предмет, достойный внимания, — говорит дворянин, — когда вокруг все подвергнуто тлению; тление и смерть овладевают сердцем при виде минутных забав жизни: как эта сирень опустила белые кисти цветов, чтобы увянуть, так и я…

И, опять подняв лорнет, он прочитывает страницу из тетради.

*Голубку голубь полюбил*
*И в роще темной с нею жил;*
*Гнездо вила его подруга,*
*А он, не ведая недуга,*
*В тени зеленой ворковал,*
*Пока осенний день настал».*

Вся эта ситуация несколько предвосхищает, а заодно и заранее пародирует бунинскую «Митину любовь». Появляется молодая баба с пунцовым широким лицом, в красном очипке и зеленом сарафане, в белоснежных онучах, в новых лаптях, и дворянин начинает вести с ней декадентский разговор.

«— Подумай о том, что ожидает тебя по ту сторону жизни… Баба вздохнула.

— Верю ли я в загробную жизнь? — воодушевись, заговорил дворянин. — Ах, никто не знает, что с нами станет после печальной жизни.

Покинув низкое кресло, он заходил по паркету и говорил горячо и много, как никогда, а баба слушала…

— Давай умрем, умрем вместе, случайная моя подруга! — воскликнул он, наконец, и положил на ее плечи холеные руки.

Баба всплеснулась и заголосила:

— Жалостный ты мой, соколик, ягодка малиновая, сиротка бесталанная.

Брови ее подпрыгивали, лицо расстроилось, один нос не участвовал в общей скорби, вздернувшись как будто еще веселее.

— Умрем, умрем! — лепетал дворянин, и неудержимо потянуло его на участливую грудь.

Когда затем, с зажженным канделябром, вошел Филимон, у окна на кресле сидела баба, а у нее на коленях томный и слабый дворянин. Помигав на вошедшего слугу, он прошептал:

— Филимон, зачем свет, у нас есть луна.

Филимон, пятясь, прихлопнул за собою дверь и, поставив канделябр на сундук, принялся беззвучно смеяться».

Это даже не рассказ, а, как верно заметил Бунин, шарж. Сценка. Но самое главное в ней финал — точно так же, как лакей над барином, смеется над своим героем автор. Настоящий дворянин, а тем более аристократ едва ли это бы себе позволил. Можно иронически изображать отношения между барином и слугой, как Гончаров в «Обломове», можно даже позволить лакею над господином смеяться, как лакей Яша над Гаевым в «Вишневом саде», можно написать «Суходол» с его резкими картинами дворянского быта. У Толстого иное: у него своего рода предательство сословной чести, он переступает в своей прозе невидимую грань и оказывается по ту сторону.

Посмеивался Толстой над дворянством и в своем первом романе «Две жизни» (позднее сильно сокращенном и названном «Чудаки») с его героями — похотливой кладоискательницей помещицей Степанидой Ивановной, живущей в деревне Гнилопяты, и ее несчастным мужем-генералом, его племянницей Соней и ее отцом-занудой, Сониным мужем Николаем Николаевичем, похожим на Николушку из «Недели в Туреневе». И даже хуже него:

«Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелев, приблизил к Сонечке страшное лицо свое — выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, — хрустнул зубами и повалился вместе с женой на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины».

Николушка из «Недели в Туреневе» при всех своих недостатках был по крайней мере заботливый и умелый любовник, Николай Николаевич — едва ли не насильник (неслучайно одна из пьес Толстого, тематически примыкающая к «заволжскому циклу», так и называется — «Насильники»).

Самое смешное и неприличное в «Чудаках» — это то, как тетушка Степанида Ивановна посвящает свою племянницу в тайны взрослой жизни.

«В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся с подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

— Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

— Замуж хочется тебе? — переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

— Бабушка, что вы, я боюсь.

— Слушай, — генеральша наклонилась к уху девушки, — я сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки.

— Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

— Смольков. Павлина так устроила, придумала… Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких… Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи, принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас…

— Больно это и грешно, — шептала генеральша. — Самый страшный грех на свете — любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку…

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец совсем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик».

Но для чего граф, аристократ, смеялся, издевался, потешался над дворянством, над предками своими и родней, не жалея ни стара, ни млада, ни мужчин, ни женщин?[14]Почему был смех и не было невидимых миру слез, не было любви и сострадания, если действительно он видел, что этот мир уходит? Или даже не сострадания, но хотя бы уважения, жалости? Отчего писала ему его любимая тетка Мария Леонтьевна, с симпатией выведенная в «Неделе в Туреневе»: «Дорогой Алиханушка, прочла повесть, — но я не могу быть судьей — слишком это близко, и те чувства, которые так недавно пережиты и болезненны в душе, затемняют самую повесть. Осталось тяжелое чувство взворошенных, незажитых ран. Но все же и я чувствую тонкий юмор, который во всей повести»[{189}].

Рискну предположить, что Толстым с самого начала двигала месть, и в заволжском цикле это

чувствуется. Автор «Заволжья» мог сколько угодно щеголять или спекулировать графским титулом, но борьба за это графство слишком горьким воспоминанием отзывалась в его душе, и в своей ранней прозе он, быть может, даже помимо воли сильнее всех прочих чувств через гротеск и фарс выразил свою обиду. У него были другие взворошенные незажитые раны, чем у его тетки. Он отомстил и волжскому, и заволжскому дворянству, которое столько лет отказывалось его принимать в свои ряды, точно так же как несколько лет спустя отомстит символистам за то, что его изгнали (и первым из них будет — Блок). Он не простил им унижения своего и своей матери, когда они голосовали, принять его или не принимать в свои ряды, он посмеялся над ними и им нахамил, и самые проницательные поэты времени — Блок и Хлебников — это почувствовали и оскорбились, потому что никогда не относились к литературе как к способу мстить, считая такое поведение инфантильным и недостойным настоящего художника.

Гиппиус позднее вспоминала (хотя на ее воспоминания наложилось впечатление о возвращении Толстого в СССР): «Это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, je m'en fichiste[15], при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую мысль» (10–11 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому не известного»{190}.

Два года спустя после выхода «Заволжья», в 1913 году, Блок записывал в дневнике: «На днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — «Насильники». Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь *его* отравляет Чулков: **надсмешка над своим** (выделено мной. — *А. В.*), что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков» (как нашептывает Чулков, — это, впрочем, мое предположение только), — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме *одного,* для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение *всего,* само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение *одного* — той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются»{191}.

Дворянство и родовая честь не были для Толстого своими. Он если и был аристократом, то лишь по крови, не по духу. Даже дворянином, в бунинском понимании этого слова, не был.

Бунин писал в дневнике: «Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, — рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, — совсем неизвестные мне, — только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого»{192}.

У Толстого этого очарования и ощущения своей принадлежности к старинному роду не было. Не было и не могло быть. Востром при всех своих замечательных человеческих качествах не мог воспитать в нем дворянской чести. Хутор в Сосновке, где прошло «Никитино детство», где Толстой стал писателем и получил самый первый и сокровенный образ России, при всем своем очаровании не имел исторических корней. В нем не было старины. Его купили у чужих людей и продали чужим людям. Это не было дворянское гнездо, родовое поместье с фамильным кладбищем. В мире настоящих русских дворян, таких-сяких, невежественных, похотливых,

вымирающих, чудаковатых, их могильщик и летописец был все-таки самозванцем.

Алексей Толстой не был графом Толстым, но играл в графа Толстого. И, быть может, поэтому Бунин, как это ни покажется на первый взгляд странным, его простил, Бунин — дворянин до мозга костей, своего рода предводитель дворянства в нашей литературе — увидел и в его произведениях, в его поведении и цинизме не предательство, а талантливую игру, к которой не стоит относиться всерьез.

«Вчера и сегодня все время читал первый том рассказов Алешки Толстого. Талантлив и в них, но часто городит чепуху как пьяный»[{193}], — снисходительно записывал он в своем дневнике много лет спустя, а описание его встречи с графом Толстым и его супругой в очерке «Третий Толстой» построено на том же тонком взаимопонимании двух авгуров, которое связывало Толстого с Волошиным:

«Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу…

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится…

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф (заметим, теперь Бунин пишет это безо всякой иронии и сомнения. — *А.В.*) был человек ума насмешливого, юмористического, наделенного чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал вероятно мою невольную улыбку и *сразу* сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех… Это мошенничество по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью? Ведь вы сами об этом постоянно говорите. И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк… И все наряжены: Маяковский носит желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русские рубашки навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри… Все мошенничают, дорогой мой!»

Все — кроме самого Бунина, которому Толстой дает совет: «Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук, в талию, рубашки голландского полотна… курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы»[{194}].

Бунин здесь поразительно проговаривается. Он, в своих мемуарах (повторю, чрезвычайно интересных по сути и блистательных по форме) мнящий себя самым умным и проницательным героем времени, он, курсивом выделяющий слово «сразу» по отношению к собственной сообразительности, попадается на удочку толстовского обаяния и прямой лести. Не Бунин, а Толстой рулит ситуацией, Толстой ведет себя, как Том Сойер, которому мальчишки красят забор, и на этом заборе есть и бунинский мазок, а в итоге именно Бунин окажется одураченным. Это станет особенно ясным в тридцатые годы, когда игра Толстого с окружающими его людьми продолжится на новом, более зловещем витке, и Бунин, шагнувший

советскому графу навстречу в парижском кабаке, подавший ему руку, получит за это в советской газете от своего приятеля мокрую пощечину, какую можно сравнить разве с той, что дал Гумилеву Волошин.

А вот с Блоком у Толстого не вышло (точно так же не выйдет в тридцатые годы с Алдановым), хотя наверняка он пытался. Не такой был человек, чтобы не попробовать очаровать особенно того, кто имел в литературном мире влияние и вес. Но не случилось — Блок все отверг и за это оказался Бессоновым в «Сестрах».

Блок считал, что в «плохом поведении» Толстого виноват Чулков, который дурно влиял на молодого писателя, как когда-то дурно влиял и на самого Блока. Так это или не так, сказать трудно, но с Чулковым Толстой был одно время очень дружен и даже собирался вывести его в одной из своих ранних пьес.

«Я, помнится, прочитал его первый рассказ, напечатанный в «Журнале для всех», сразу почувствовал в нем его большой талант и мне было приятно, когда он пришел ко мне со своими произведениями. Это были стихотворные опыты. Толстой пришел ко мне с необыкновенно скромным и смиренным видом, но я тогда же понят, что этот даровитый человек большой хитрец и что он прекрасно знает себе цену. Я как сейчас вижу его плотную фигуру и выразительное лицо с довольно длинною рыжеватою бородою (он тогда еще носил бороду). Один глаз его хитро щурился. Он внушал мне симпатию к себе, несмотря на добродушное лукавство»[{195}], — вспоминал Чулков, а жена его писала: «В доме у них бывало весело, и жили они сравнительно с нами на широкую барскую ногу… Но слава Толстого была еще впереди. А пока он скромно держался среди символистов и робел перед Вяч. Ивановым…»[{196}]

Сам же Толстой сообщал Чулкову в августе 1910 года последние литературные известия:

«Живу я около Ревеля… Кузмин в Петербурге пишет балет, Гумилев с женой в Царском, Ауслендер катается на пароходе. Новости эти, конечно, тебе неинтересны, но я их сообщил, чтобы ты не думал, что я живу по-свински, ни о ком не думая»[{197}].

Павел Лукницкий записывал в дневнике воспоминания Ахматовой о 1910 годе:

«1910…. Свадьба А. <…> На прощальном вечере 13.09. были Маковский, Чудовский, Кузмин, Толстой, Судейкины».

Это был 1910 год, переломный и прощальный для русской культуры, год кризиса символизма, год смерти Льва Толстого, Комиссаржевской, Врубеля.

«Я помню, как в 1910 году мы ждали конца мира: хвост кометы Галлея должен был коснуться земли и мгновенно насытить воздух смертельными газами циана», — писал Толстой позднее. Однако были у него тогда и более земные заботы. На Рождество, объясняя, почему он не поедет в Самару, Толстой сообщал Вострому: «Соня беременна и отлучиться мне сейчас нельзя, так как на днях она переходит в православие и мы женимся»[{198}].
Однако все оказалось не так просто.

## Глава VII. Кто отрезал хвост у обезьяны?

В письме Александра Блока к матери в феврале 1911 года встречается упоминание об одном загадочном эпизоде: «Пришел Верховский[16]приглашать меня участвовать в третейском суде между ним и гр. А. Н. Толстым (это очень давняя и грязная история, в нее замешаны многие писатели (секрет!) — но мы будем разбирать только часть — инцидент с ни в чем не повинным

Верховским). Я согласился»[199].

Во всех изданиях писем, записных книжек и дневников Блока советского времени, а также в очень обстоятельной книге «А. Н. Толстой. Материалы и исследования», где эта запись воспроизводится, комментарии отсутствуют: как, что, почему — неизвестно.

Действительно ли не знали историки литературы сути произошедшего или не хотели либо не могли в этой истории разбираться, но с учетом опубликованных в самое последнее время архивных материалов строки Блока становятся понятными. Или почти понятными.

3 января 1911 года на квартире у Федора Сологуба, превращенной усилиями его жены Анастасии Николаевны Чеботаревской в один из самых модных литературных салонов Петербурга, состоялся маскарад. Было много приглашенных, и среди них Алексей Михайлович Ремизов, прицепивший к своему наряду обезьяний хвост, что для основателя Обезьяньей палаты выглядело вполне логичным. «В то время в Петербурге снова, как в старые годы, была мода на ряженье. Обыкновенно я рядился в козлиную маску, а потом ни во что не рядился, а в своем виде — тоже от «паясничества»! — на последнем же вечере у Сологуба «появился» самим собой и только сзади «обезьяний» хвост»[200], — писал Ремизов годы спустя.

Упоминание об этом маскараде и хвосте встречается также в мемуарах Константина Эрберга: «Всем этим заправляла А. Н. Чеботаревская. <…> Друзья приходили, кто в чем хотел, и вели себя, как кто хотел. Помню артистку Яворскую (Борятинскую) в античном хитоне и расположившегося у ее ног Алексея Н. Толстого, облаченного в какое-то фантастическое одеяние из гардероба хозяйки; помню профессора Ященко в одежде древнего германца со шкурой через плечо; Ремизова, как-то ухитрившегося сквозь задний разрез пиджака помахивать обезьяньим хвостом; помню и самого Сологуба, без обычного pince-nez и сбрившего седую бороду и усы, чтобы не нарушать стиля древнеримского легионера, которого он изображал, и выглядеть помоложе»[201].

Компания веселилась и дурачилась в духе времени («В литературных кругах в те годы усиленно и разнообразно развлекались. Дионисийские вечера и пляски, маскарады, любительские спектакли сменяли друг друга. Толстые всюду были на первых местах»[202], — вспоминала Крандиевская-Толстая, а М. Кузмин описывал один из подобных маскарадов: «Поехали к Толстым узнать о маскараде. Оказалось, малознакомые гости перепились и вели себя черт знает как. Исаковна дралась с Сологубом и Настей… кувыркали и обливали пятки вином, Бакст вынимал из-за корсажа неизвестной маски китайских…»[203]), а через несколько дней гости перессорились, и причиной горестей, которые обрушились сначала на голову Ремизова, а потом и Алексея Толстого, стал злополучный хвост, который, как оказалось, был кем-то отрезан от обезьяньей шкуры. Шкуру Анастасия Николаевна Чеботаревская раздобыла по просьбе Толстого для маскарада, устроенного Толстыми же у себя дома днем раньше, и обязана была вернуть в целости и сохранности законному владельцу, но шкура оказалась испорчена.

На Ремизова, который участвовал в обоих маскарадах, пало обвинение в том, что хвост отрезал он.

6 января Чеботаревская писала Ремизову:

«Уважаемый Алексей Михайлович!

К великому моему огорчению, узнала сегодня о происхождении Вашего хвоста из моей шкуры (не моей, а чужой — ведь это главное!). Кроме того, не нахожу задних лап. Неужели и они

отрезаны? И где искать их? Жду ответа. Шкуру отдала починить, — но как возвращать с заплатами?

Ан. Чеботаревская»[{204}].

Ремизов ответил ей два дня спустя пространным оправдательным письмом:

«Многоуважаемая Анастасия Николаевна!

Я очень понимаю Ваш гнев и негодование. Пишу Вам подробно, как попал ко мне хвост. 2-го я пришел к гр. А. Н. Толстому. У Толстого застал гостей — ряженых. Какой-то офицер играл, а ряженые скакали. На ряженых были шкуры. Дожидаясь срока своего — чай пить, стал я ходить по комнате. На диванах разбросаны были шкуры. Среди шкур я увидел отдельно лежащий длинный хвост. Мне он очень понравился. Я его прицепил себе без булавки за штрипку брюк и уж с хвостом гулял по комнате.

Пришел А. Н. Бенуа. Видит, все в шкурах, вытащил какой-то лоскуток и привязал к жилетке. Тут ряженые стали разыгрывать сцену, и все было тихо и смирно — никто ничего не разрывал и не резал. Меч острый японский по моей просьбе — боюсь мечей всяких в руках у несмелых — был спрятан.

Уходя от Толстого, попросил я дать мне хвост нарядиться. Толстой обещал захватить его к Вам, если я прямо пойду к Вам. 3-го я зашел к Толстому, получил от него хвост, прицепил его без булавки и поехал к Вам.

У Вас, когда надо было домой, я снял хвост и отдал его Алексею Николаевичу.

Я взял хвост таким, каким мне его дали. Я его не подрезывал. С вещами я обращаюсь бережно. И нет у меня привычки (глупой, меня раздражающей) вертеть и ковырять вещи. Лапок я тоже не отрывал. И не видал. Очень все это печально.

А. Ремизов»[{205}].

День спустя пришел ответ от Чеботаревской, которая на этот раз взвалила всю вину за недоразумение на Толстого, а точнее, на его жену:

«Уважаемый Алексей Михайлович!

Вы меня простите, пожалуйста, если Вы в резке шкуры не повинны, но я письмо получила от г-жи Толстой на следующий день, что «хвост отрезал Ремизов в ее отсутствие» — что меня и повергло и в изумление, и в печаль. Я 3 дня разыскивала такую шкуру и купила новую.

А. Ч.»[{206}].

Однако конфликт на этом исчерпан не был, и в бой пошла тяжелая артиллерия — Сологуб и Толстой. Если доверять воспоминаниям Софьи Исааковны, чья честь оказалась задетой, ибо именно она оказалась в роли злодейки, оклеветавшей ни в чем не повинного Ремизова, Чеботаревская и Толстой испытывали друг к другу неприязнь, и несчастный хвост, прицепленный к ремизовскому заду, оказался предлогом свести счеты: «Алексея Николаевича же в доме Сологуба забавляла и вместе с тем немного раздражала хозяйка, окружавшая смешным и бестактным культом почитания своего супруга, который медленно и торжественно двигался среди гостиной, подобно самому Будде»[{207}].

Софья Исааковна здесь лицо заинтересованное и пристрастное, и не очень понятно, почему, если между Толстым и Сологубом существовала напряженность, он был приглашен к нему в дом, почему просил Чеботаревскую раздобыть обезьянью шкуру и она его просьбу выполнила. Да и к Сологубу Толстой относился с большим почтением. В библиотеке Федора Кузьмича хранятся по крайней мере три книги молодого графа с авторскими посвящениями:

*«Вы, певший гимны сладкой смерти,*
*Воздвигли память бытию…*
*Вам ветвь дубовую мою*
*Принес, и пусть дадут мне черти*
*Побольше смелости… прыжок…*
*И ветвь кладу у Ваших ног.*
*Федору Кузьмичу с любовью*
*автор гр. А. Толстой.*

*23.11.1909*»[{208}].

«Милый Федор Кузьмич, не судите строго, ради Бога. А если осудите, меня на этом и том свете погубите. Ваш Толстой. 15.12.1910»[{209}].

«Милому Федору Кузьмичу от нежно его любящего Толстого, чтобы не очень ругал меня зверски. Хотя я знаю, что вы не сердитый, а все-таки страшно. Написал с удовольствием гр. А. Толстой»[{210}].

Так же трудно предположить, чтобы Толстой имел что-либо против Чеботаревской. Логичнее предположить, что Анастасия Николаевна раздражала не столько Толстого (человека в общем-то снисходительного, что искупало его собственную бесцеремонность), сколько саму Софью Дымшиц, и две дамы испытывали друг к другу острую неприязнь[17], вынужденно передавшуюся мужьям.

Участник того маскарада Николай Оцуп писал об этом происшествии: «Резкий и прямой Сологуб обыкновенно говорил в лицо все, что думал, и не таил про себя злобу. Но случалось ему, и по сравнительно ничтожному поводу, серьезно возненавидеть человека. Эту ненависть испытал на себе Алексей Толстой. Произошло это из-за обезьяньего хвоста.

Для какого-то маскарада в Петербурге Толстые добыли через Сологубов обезьянью шкуру, принадлежавшую какому-то врачу. На балу обезьяний хвост оторвался и был утерян. Сологуб, недополучив хвоста, написал Толстому письмо, в котором называл графиню Толстую госпожой Дымшиц, грозился судом и клялся в вечной ненависти. Свою угрозу Сологуб исполнил: он буквально выжил Толстого из Петербурга. Во всех журналах поэт заявил, что не станет работать вместе с Толстым. Если Сологуба приглашали куда-нибудь, он требовал, чтобы туда не был приглашен «этот господин», то есть Толстой. Толстой, тогда еще начинавший, был не в силах бороться с влиятельным писателем и был принужден покинуть Петербург»[{211}].

Вл. Ходасевич, автор, пожалуй, самых лучших мемуаров Серебряного века, прямо имени Алексея Толстого не называл, но, очевидно, именно в связи с этой историей позднее писал о Сологубе: «О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее — он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну».

Воспоминания Оцупа и Ходасевича подтверждают и письма, которые в начале февраля 1911 года Сологуб стал рассылать своим знакомым. Среди них был Верховский.

«Дорогой Юрий Никандрович,

я с большим огорчением узнал, что Вы продолжаете поддерживать отношения с графом Алексеем Николаевичем Толстым. Образ действия графа Ал. Ник. Толстого таков, что для меня невозможно быть в обществе его друзей. Преданный Вам Федор Тетерников»[{212}].

Верховский ответил Сологубу тотчас же:

«Дорогой и глубокоуважаемый Федор Кузьмич! Мне было очень грустно читать Ваше письмо. Вы как бы спрашиваете меня, какие отношения предпочту я: с Вами — или с А. Н. Толстым? Неужели возможно ставить этот вопрос? <…> Отношения между мною и Толстым невозможны»[{213}].

Удовлетворенный таким поворотом Сологуб писал Верховскому, объясняя, а точнее, нагоняя еще больше тумана на свою блажь: «Мы бы не ставили вопроса в такой форме, если бы видели в этом только личное столкновение. Но я думаю, что этот случай имеет общее значение, как показатель той нестерпимой грубости нравов, которая вносится в последнее время в литературную среду все настойчивее»[{214}].

Впрочем, не совсем блажь. Толстого было решено проучить, чтобы почистить литературные нравы и поднять общую дисциплину в литературном классе. Рассуждения и логика гимназического учителя, каким и был Сологуб в течение 25 лет своей жизни. И в этом смысле понятно, почему суровый взгляд Федора Кузьмича упал именно на Алихана — слишком вызывающе тот себя вел. Вообще, если попытаться найти во всей литературе Серебряного века человека наиболее далекого и чуждого Сологубу, то это будет именно герой этой книги. Разве что огромный литературный талант объединял их, в остальном — два полюса. Графского рода Алексей Толстой с его распахнутостью, добродушием, легкомыслием, с его счастливым детством; окруженный любовью и лаской, избалованный матерью Алихан, Алешка, которому многое прощали, и потомок крепостных Федор Тетерников — «кирпич в сюртуке», угрюмый, нелицеприятный человек, которого в детстве нещадно пороли, розгами загоняя в него знания, автор не только стихов и романов, но и учебника по геометрии, человек, оставшийся в памяти мемуаристов безрадостным стариком. «Всегда усталое, всегда скучающее лицо» (Тэффи); «Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг, откуда-то появился — древний и молчаливый. <…> Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом: «А вы все еще существуете?..» (Ходасевич); «Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определяется не десятилетиями, а по крайней мере тысячелетиями — такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах»[{215}].

Последнее воспоминание принадлежит Георгию Чулкову, от которого Сологуб также потребовал прервать отношения с Толстым. Чулков ослушался: «Как я ни любил Федора Кузьмича, но решительно отказался принять такой «обезьяний ультиматум»[{216}].

Так начинался заговор вокруг Толстого, по нелепости своей напоминавший ссору между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем. «Инцидент с Толстым расширяется, теперь туда еще втюрился Юраша»[{217}], — записал 7 февраля 1911 года в свой дневник М. Кузмин (с. 259). Почувствовав, что что-то происходит, Толстой обеспокоился не на шутку. Между ним и Верховским произошло столкновение, и два дня спустя Толстой послал Верховскому вызов на

третейский суд. Верховский, скорее всего, был только предлогом (поэтому Блок и писал о его невиновности), Толстому было важно прощупать, как относятся к нему генералы от литературы, коих оказалось по крайней мере два: посредниками на суде со стороны Верховского были Блок и Аничков, а со стороны Толстого — Чулков и Ященко. Суперарбитром был приглашен Вячеслав Иванов, которому 8 февраля 1911 года Толстой писал:

«Глубокоуважаемый Вячеслав Иванович, сегодня был у Вас и мне сказали, что Вы в Москве, не знаю, когда возвратитесь, и потому пишу Вам, так как то, о чем хочу просить, довольно срочно.

Дело в том, что Ю. Н. Верховский прислал мне оскорбительное письмо, и вызываю его на третейский суд.

Никто, как Вы, можете быть судьей в этом очень запутанном деле, где замешано еще несколько человек; Вам я и хочу доверить мою честь.

Ваше согласие было бы для меня очень драгоценно. Уважающий Вас гр. А. Н. Толстой»[{218}].

Вяч. Иванов согласился, суд состоялся, и решение его оказалось двояким. Формально иск Толстого к Верховскому был удовлетворен, но поскольку всем было ясно, что дело не в Верховском, а в Сологубе, то графа Толстого обязали написать покаянное письмо, прокомментировать которое на основании имеющихся фактов довольно сложно:

«Милостивый государь Федор Кузьмич,

осуждая свой образ действия, приношу Вам вместе с заявлением моей готовности дать Вам дальнейшее удовлетворение мои полные извинения, поскольку Вы справедливо можете признать себя оскорбленным в лице Анастасии Николаевны, и покорнейше прошу Вас передать таковые же извинения самой Анастасии Николаевне.

Примите уверения в моем совершенном почтении.

Граф Алексей Н. Толстой»[{219}].

Это письмо сопровождалось заключением судейской бригады:

«Слова «*поскольку* Вы справедливо можете признавать себя оскорбленным» значат, по мысли графа А. Н. Толстого, «*так как* Вы справедливо можете признавать себя оскорбленным», — в чем свидетельствуем подписью в силу данных нам графом А. Н. Толстым полномочий

Вяч. Иванов

А. С. Ященко

Георгий Чулков

Евг. Аничков

Александр Блок»[{220}].

Четыре дня спустя Толстой писал покаянное письмо и Ремизову:

«Глубокоуважаемый Алексей Михайлович.

Я рад возможности, после выяснения третейским судом известного Вам инцидента, в

разбирательстве которого я не преминул опровергнуть Ваше в нем участие, по моей ошибке приписанное Вам, и после Вашего письма Вячеславу Ивановичу, из которого я вижу, что Вы не затрагивали чисто нравственных моих отношений к вещам в разговоре и между нами происшедшими, принести Вам искренние извинения за мои сгоряча сказанные слова, которые не соответствовали моему уважению к Вам. Я хочу надеяться, что заявления в этом письме и на суде загладят последствия неосторожного произнесения мной Вашего имени, связанного с этим инцидентом, о чем чистосердечно сожалею и извиняюсь»[{221}].

Итак, Толстой сделал все, чего от него хотели, извинился перед классом за плохое поведение, но сказать что-либо вразумительное об этой истории, кроме того, что она произвела на него тяжелое впечатление, сложно. Здесь мы сталкиваемся с обстоятельствами частной жизни Толстого, и, быть может, поэтому лучше всего объяснила суть произошедшего внучка Алексея Николаевича, известный филолог, доцент Иерусалимского университета Е. Д. Толстая, автор в высшей степени примечательной работы «Литературный Петербург в ранней пьесе Алексея Толстого». Анализируя пьесу дедушки «Спасительный круг эстетизму», в которой писатель иносказательно обрисовал нравы литературной богемы, Толстая пишет:

«Никто из современных исследователей не замечает, что конфликт непомерно раздувался Сологубами, с их болезненной, все распаляющейся злобой. Никто не сопоставляет это поведение со всем известным садомазохизмом этой четы. Никто не рискнул опубликовать то письмо Чеботаревской, где она называет Софью Исааковну «госпожой Дымшиц». Никто не пытался оценить силу этого оскорбления и эмоциональное его действие в достаточно консервативном и снобистском «аполлоновском» обществе. Дело было не только в насмешливом напоминании Софье о ее настоящей еврейской фамилии.

Дело было и в другом. Софья была замужем за человеком, не дававшим ей развода. Первый брак ее, с политическим эмигрантом, евреем, жившим в Швейцарии, продлился недолго, она сбежала почти сразу, но партнер ей отомстил, оставив ее в невыносимом положении: по еврейскому закону чрезвычайно трудно обязать мужа дать развод жене. Софья не могла выйти замуж за Толстого — одного перехода в православие было недостаточно.

Чеботаревская делегитимизировала брак Толстого, гордящегося красавицей женой, талантливой художницей. Немудрено, что Блок отнесся к этой истории как к «грязной». Разумеется, никто никогда не публиковал ответного послания Толстого; можно, однако, представить себе это «письмо запорожцев турецкому султану»: вряд ли он обошел стороной генеалогию Сологуба.

У нас создалось впечатление, что Вячеслав Иванов тайно сочувствовал бедняге Толстому, угодившему в губительный водоворот злобных страстей. По крайней мере, Ремизову, крайне неохотно соглашавшемуся простить Толстого, Иванов отвечал с плохо сдержанным гневом. В разгар судилища Иванов (сам справляющийся с немыслимой брачной ситуацией[18]) дает Толстому добрый совет — везти жену рожать в Париж. В либеральном Париже Толстой записал дочь на себя. Крестя ее в русской церкви, он вписал себя в графу отца, о матери же не было сказано ни слова. Может быть, цитируя Толстого в 1913 году в своем стихотворении («Ветер, пахнущий снегом и цветами»), Иванов как-то вспомнил об этом сочувствии. Возможно, невинность Ремизова не выглядела такой очевидной для тех, кто был судьями в этой истории. По крайней мере, Чулков оставался убежденным в его виновности. Существует никем не читанный вариант воспоминаний Софьи Дымшиц, хранящийся в Русском музее, который отличается от версии ИМЛИ, опубликованной в «Воспоминаниях о А. Н. Толстом» 1983 года. В них содержится эпизод, который может бросить новый свет на злополучную историю:

«Часто бывал на наших журфиксах Александр Бенуа. Несмотря на свой уже почтенный

возраст, этот художник так и искрился жизнедеятельностью. Так, помню, однажды собралась у нас по обыкновению целая группа художников и писателей. Тут выяснилось, что в этот вечер должен состояться маскарад в доме писателя Сологуба. Сразу встает вопрос, как нам всей группой туда ехать и соответственно нарядиться. А надо сказать, что в нашем распоряжении имелись обезьяньи шкуры, взятые для костюмов у Сологуба <и> Чеботаревской, жены того же писателя, к которой мы собрались. Александр Николаевич [Бенуа], недолго думая, отрезал у обезьян хвосты и прицепил их мужчинам, а женщины завернулись в шкуры. Меня нарядили мальчиком и дали в руки хлыст, так как я должна была изображать укротителя зверей.

Устроили репетицию и поехали. Все шло прекрасно. Все были в восторге от удачного экспромта Александра Николаевича Бенуа. Я укрощала весь тогдашний «цвет петербургского общества», публика хохотала, и, казалось, не будет конца нашему общему непринужденному веселью. Вечер благополучно закончился. Хвосты и обезьяньи шкуры были возвращены по принадлежности, но на следующий день разыгрался совершенно неожиданный скандал. Увидев отрезанные хвосты лишь после нашего отъезда, хозяйка дома Чеботаревская вышла из себя и написала Алексею Николаевичу (Толстому) резкое письмо с оскорбительными выпадами по моему адресу. Толстой не остался в долгу, и его ответ Сологубу, мужу разгневанной Чеботаревской, был составлен в крайне хлестких и метких выражениях. К разыгравшемуся инциденту были привлечены многие писатели и художники — участники маскарада, и дело чуть не кончилось дуэлью. Однако никто из лиц, замешанных в этом скандале, не мог понять, каким образом обезьяньи шкуры, даже с отрезанными хвостами, могли наделать столько шуму и сделаться литературным скандалом. Но это между прочим, и я привела этот случай лишь для характеристики той веселой изобретательности, на которую были способны наши «маститые писатели и художники», а в частности, Александр Николаевич Бенуа. Еще удивительней, что этот эпизод вошел в историю литературы».

Нам кажется, что эта версия вполне правдива: мемуары Софьи вообще правдивы. Бенуа явился как учитель и как импровизатор — двойная причина не портить вдохновенную игру, говоря под руку мэтру: ой, шкуры-то чужие!

Разумеется, это было легкомыслие — оно весьма в характере нашего героя»[{222}].

Итак, хвост, согласно этой версии, был отрезан Александром Бенуа, которого не выдал Сологубам ни Ремизов, ни Толстой, и это делает им честь. Особенно Толстому. И все же вопросы остаются. Не очень понятно, зачем Софье Исааковне потребовалось делать козлом отпущения Ремизова, если она знала, что во всем виноват Бенуа. Конечно, у Ремизова была репутация «юрода», он любил всякого рода странные выходки, о которых сам писал в своем дневнике, например, так: «4.12. <1905> Именины Варвары Дмитриевны Розановой. — Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается. Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил». Вл. Пяст позднее писал: «Ремизов открыл мне секрет: «Сплетня, — говорил он, — очень нехорошая вещь — вообще, в жизни, в обществе; но литература только и живет, что сплетнями, от сплетен и благодаря сплетням».

И он любил распространять слухи о каких-нибудь не имевшихся в виду ни воображаемым женихом, ни воображаемой невестой сватовствах; и о каких-нибудь действительных или мнимых ссорах, из-за какого-нибудь нелепейшего «лисьего хвоста» и т. д. и т. д. без конца»[{223}].

По большому счету Ремизов пал жертвой собственного приема. Не напиши Софья Исааковна Чеботаревской, что хвост отрезал Ремизов, ничего бы и не было. Но Софья Исааковна или смалодушничала, или затеяла свою игру и интригу — намеренно Ремизова подставила, не

рассчитав, чем все это может обернуться. Позднее она писала в своих (по версии Е. Д. Толстой, очень правдивых) воспоминаниях о Ремизове:

«К Ремизовым Алексей Николаевич проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось «идти к насекомым». Действительно, и сам хозяин — маленький, бородка клинышком, косенькие вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий смех, слюнявая улыбочка, — и его любимый гость — реакционный «философ» и публицист В. В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы — все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказы из Четьи-Минеи, пересыпая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату»[224].

Судя по другим мемуарам, к Ремизову Толстой относился иначе.

Пришвин писал в дневнике: «Знаю, что А. Н. Толстой не откажется признать Ремизова своим учителем».

Лев Коган вспоминал: «Толстой, смеясь, говорил, что Мережковский напоминал ему таракана с длинными усами, а Зинаида Гиппиус — глисту.

— Одному только человеку из этой компании я был благодарен, — подчеркнул Толстой, — это Ремизову. Он научил меня любить народный язык, народную поэзию. Правда, я долго не понимал, что он стилизатор, что это не настоящий народный язык, но он толкнул меня к изучению народного творчества, а это уже было для меня большим делом…»[225]

Конечно, в разное время Толстой мог разные вещи о Ремизове говорить, и потом, доверять вполне мемуарам, а тем более мемуарам начала века, нельзя, и правды о том маскараде мы, вероятно, не узнаем. Но несомненно одно: в этой истории явно были свои подводные течения, и хвост плавал на поверхности, как — несмотря на нелепость этого сравнения — верхушка айсберга или, лучше сказать, поплавок, а в доме Сологуба не только маскарады с обезьяньими хвостами происходили.

Наталья Васильевна Крандиевская (тогда еще с Толстым незнакомая) вспоминала:

«Помню, как однажды поэт Сологуб Федор Кузьмич попросил и меня принять участие в очередном развлечении, в своем спектакле «Ночные пляски», режиссировать который согласился В. Э. Мейерхольд.

— Не будьте буржуазкой, — медленно уговаривал Сологуб загробным, глуховатым своим голосом без интонаций, — вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Софьи Исааковны, с Олечки Судейкиной. Они — вакханки. Они пляшут босые. И это прекрасно».

Сологуб действительно любил молоденьких женщин и в честь Олечки Судейкиной даже сочинил стишок:

*Оля, Оля, Оля, Оленька,*
*Не читай неприличных книг.*
*А лучше ходи совсем голенькая*
*И целуйся каждый миг!*

Так что роль Софьи Исааковны, равно как и прочих молоденьких дам в доме Сологуба, была довольно двусмысленной. Публично раздевшейся красивой женщине мужчины могут рукоплескать сколько угодно, но что думают, глядя на нее, менее молодые, менее раскованные и красивые женщины (а Чеботаревская была, по воспоминаниям многих, мнительной и беспокойной особой) и какие вынашивают планы мести, можно только гадать.

Это была история совершенно в духе времени. Сологубы, Толстые, Ремизов, Чулков, Бенуа — все заигрались и не смогли вовремя остановиться. Здесь то же, что и с Черубиной де Габриак: стерлась граница между жизнью и игрой, между мистификацией и провокацией, жизнь превратилась в маскарад, а маскарад — в жизнь и страшные маски ожили. Дети, а точнее подростки в пубертатный период, расшалились, отрезали хвост у чужой обезьяны, а когда их заставили по-взрослому отвечать, растерялись, и вдруг оказалось, что никакие они не дети, а полные амбиций взрослые дядьки и тетки. Толстой, по мнению его внучки, дольше всех вел себя в этой ситуации как ребенок (то есть, в сущности, был наиболее последователен), но это не спасло его от расправы. Дуэли не было, но то, что произошло между Толстым и Сологубом, весьма напоминает историю столкновения Волошина с Гумилевым. И в обоих случаях общественное мнение приняло сторону одного из противников, а второму пришлось спасаться бегством.

Несколько раньше Вера Константиновна Шварсалон, которая, прежде чем выйти замуж за Вячеслава Иванова, имела несчастье полюбить поэта Михаила Кузмина, записывала у себя в дневнике, сводя воедино многих героев разыгравшейся драмы:

«Когда я увидела, что К[узмин] начинает развинчиваться из-за такого-то <?> Белкина, мне стала опять приходить мысль, что если бы он мог полюбить настоящую женщину, он, м[ожет] б[ыть], полюбил бы ее большой любовью, и окреп бы, сделался бы человеком. И вот я, зная, конечно, все это страшно [1 слово нрзб] и неопределенно, и так в воздухе, я решила просто [?] дать ему возможность подружиться с хорошими женщинами (не M-me Benois или Толстая). Себя ведь я же знала как абсолютно ему ни на что не годящуюся, и вот решила сблизить его с Дмитриевой (я тогда ей очень увлекалась). Они сразу подружились, разговорились, спорили и т. д. Она и стихи ее ему понравились, и я искренне радовалась, не давая хода никакой ревности, задушивая ее. Но теперь и здесь грустный крах. Д[митриева] совсем не то, что я думала — она, кажется, самая обыкновенная «баба» — и в том же А. Толстовско-Максином духе»[{226}].

Шварсалон — лицо незаинтересованное, но ее отношение к Толстому, его жене, Волошину, Дмитриевой и прочим не хорошим мужчинам и женщинам говорит само за себя. Это — репутация, клеймо, которое носил на себе молодой граф и его ближайшее окружение.

Кузмин, давая различным литераторам прозвища, говорил, по воспоминаниям художницы И. Д. Авдеевой, что «Ал. Толстой, С. Судейкин и кто-то еще (Потемкин?) — пьяная компания — Алексей Толстой глотает рюмку вместе с водкой за деньги»[{227}].

Но веселая компания распалась, и граф А. Н. Толстой разделил судьбу Волошина. Два авгура оказались выброшенными из питерской литературной тусовки, и именно к Волошину отправился Толстой за утешением, написав перед отъездом шуточный стишок:

*Я потек струей соленой,*
*Став на баке корабля,*
*Мелким бесом истомленный,*
*В Киммерийские поля.*
*Мне не надо обаяний,*

*Для меня пусть вечен пост.*
*А на мачте обезьяний,*
*Словно знамя, вился хвост.*

Позже, когда страсти немного улеглись, в соавторстве с Волошиным он стал писать пьесу из жизни литературной богемы, где два обиженных пиита прошлись и по Гумилеву, и по Ахматовой, и по Сологубу. Еще через несколько лет Толстой вывел Блока в образе декадентского поэта в «Хождении по мукам». А еще через много лет написал «Золотой ключик», где снова прошелся по всем…

Однако и мемуаристы, и историки литературы, на наш взгляд, несколько преувеличивают, напрямую связывая историю бойкота и «изгнания» Толстого из Петербурга с отрезанным хвостом. Во всяком случае, в дневнике М. Кузмина за 1911 год имя Толстого встречается довольно часто: «…были Гумилевы, Толстые, Аничков, Верховский, Гулков, Мандельштам» (4.4.1911); «… были Толстые, Комаров, Ященко и Гулков» (4.10.1911); «…у Вячеслава был Философов, Толстой и Пяст» (14.11.1911)[{228}].

В том же, 1911 году в Петербурге произошла еще одна встреча молодого писателя с большим литературным авторитетом, правда, на этот раз из другого лагеря, и на той встрече о Толстом были сказаны слова, касающиеся все того же — писательского поведения.

О свидании нашего героя с В. Г. Короленко несколько иронически вспоминал Чуковский, который их встречу и организовал: «Он встретил Толстого приветливо, но чуть-чуть отчужденно, в чем был повинен, как мне кажется, фатовый цилиндр, а еще больше монокль, почему-то вставленный Толстым в левый глаз. <…>

Короленко слушал его с большим интересом и от души смеялся его выдумкам. А когда гость, очень довольный собою, ушел, Короленко сказал о нем кому-то из близких:

— Яблоко отличного сорта, крупное, но еще очень зеленое. Если дозреет, да не заведутся в нем черви, выйдет отличный апорт»[{229}].

Впрочем, в дневнике Толстого эта встреча с провидческим заключением мэтра описана гораздо более жестко, и эта запись хорошо отражает душевное состояние графа той весной:

«30 марта 1911 г.

Вчера вечером заехал ко мне Чуковский и, как всегда, дрыгаясь и мечась по комнате (сбивчиво сообщил, что), сказал, что меня ждут у Н. Ф. Анненского, где сидит Короленко. Чуковский, захватив «Сорочьи сказки», уехал, а я поспешил к Анненскому.

Живет он на Басковом, 17. Звоня в дверь, я слышал громкий смех и голоса. В прихожую вышла племянница Анненского и выскочил Чуковский, который, кстати сказать, знакомил меня со всеми по два раза, я уже представился, а он тащил за руку и знакомил. В небольшой комнате с голубыми шторами на диване сидел Короленко и в углу Анненский, и рядом с ним Кривич. Анненский приветливо поднялся и крепко пожал руку. Короленко немного рассеянно, словно утомленный или думающий о другом человек, тоже подал руку, но вяло. Чуковский вертелся на своем стуле и все время говорил, и чем громче кричал, тем спокойнее они отвечали. <…>

Когда пришли в столовую, я успел рассмотреть обоих. Анненский совсем седой и красный, с носом, как у Фета, и лукаво-добродушными глазами. Манера есть стариковская. Короленко тоже сед, но с коричневым оттенком. Курчавый и спокойный, скулы немного монгольские, а

глаза глубоко сидят. В разговоре мало остроумен, но не артистически, не то Анненский, который никогда не машет руками. Чуковский похож был (он больше всех говорил) на злую и смелую собаку, которую много били и которая боится и скалит зубы»[230].
Последнее против воли относилось и к самому Алексею Толстому. За четыре года активной литературной деятельности в Петербурге он вкусил не только сладкие плоды искусства, но и его горькие коренья. Да и слова «собака» и «побил» были произнесены не всуе.

# Глава VIII. Год собаки

В Петербург Толстые вернулись осенью 1911 года с новорожденной дочкой Марьяной, названной в честь тургеневской героини из «Нови».

«Поехал к Толстым, любезны и милы. Смотрел бебешку»[231], — записал в дневнике М. Кузмин 14 сентября 1911 года.

«Безалаберный и милый вечер. Кузьмины-Караваевы, Елена Юрьевна читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже», — писал в дневнике 20 октября Блок[232].

Холодные упоминания о Толстом встречаются в дневнике Блока за 1911 год еще несколько раз, а позднее поэт сделает сомнительный комплимент и его дому, и хозяйке. Побывав в гостях у Аничковых («собрание светских дур, надутых ничтожеств»), он записал: «У Толстых было, пожалуй, в этом роде, хотя подлиннее, значительнее, потому что графиня — жидовка, а не аристократка, привыкшая к парижским растакауэрам»[233]. Точно так же Софья Дымщиц удостоилась похвалы Блока за роль Кармозины в одноименном спектакле по драме Альфреда Мюссе, в котором играла и Любовь Дмитриевна Блок.

Толстой же покуда играл свои роли. Зимой 1911/12 года он участвовал в открытии в Петербурге кафе «Бродячая собака». Композитор Н. В. Петров вспоминал: «Я знал Алексея Николаевича с 1910 года, и дружба наша завязалась в те дни, когда мы, усталые и мрачные, ходили по улицам Петербурга и подыскивали подходящий подвал для открытия «Бродячей собаки». Что это такое будет, мы даже не очень хорошо представляли себе, но нам было ясно, что должно быть место, где будут встречаться художники разных профессий и творчески проводить свой вечерний, а иногда и ночной досуг. «Бродячей собакой» это будущее сообщество еще не называлось, это название родилось позднее в один из дней наших поисков.

С нами вместе по петербургским улицам бродили художники Н. Н. Сапунов и М. В. Добужинский, актер В. А. Подгорный и энтузиаст всяких творческих заварушек Борис Пронин.

Так вот, в один из наших походов именно Толстой и окрестил всю нашу компанию «Бродячими собаками»:

— Мы как собаки рыщем по улицам и с любопытством заглядываем почти в каждую подворотню, отыскивая свою мечту. Так назовемся же в честь этих наших разведок «Бродячими собаками»!

Предложение было с восторгом принято, и повеселевшие «собаки» продолжали свой путь, свои поиски. Мы вышли на Михайловскую площадь и, повернув налево, направились к угловому дому, где как-то особенно призывно манила нас подворотня.

— Именно здесь мы обретем приют для «Бродячей собаки», — неожиданно сказал Алексей

Николаевич, церемонно приподняв цилиндр над головой»[234].

К открытию «Собаки» Толстой написал первый и самый важный пункт устава нового заведения — «Никому ни за что не выплачивается никакого гонорара. Все работают бесплатно», а также стихотворный пролог в духе кружковой самодеятельности:

*…В Петербурге Пронин был,*
*Днем и ночью говорил.*
*От его веселых слов*
*Стал бродячий пес готов.*
*Это наш бродячий пес.*
*У него холодный нос.*
*Трите нос ему скорей.*
*Не укусит он, ей-ей.*
*Лапой машет, подвывает,*
*Всех бродячих зазывает.*
*У кого в глазах печаль,*
*Всех собаке очень жаль.*

Была в «Бродячей собаке» и толстая книга с обложкой из свиной кожи, куда поэты, посещавшие кафе, вписывали свои экспромты. Толстому в этой книге принадлежат следующие строки:

*Темной ночью город спит,*
*Лишь котам раздолье.*
*Путник с улицы глядит*
*В темное подполье.*
*Есть подполье, где живет*
*В черной маске дева,*
*Пусть на воле снег и лед,*
*Ей какое дело.*
*Зачарует сквозь окно,*
*Не снимая маски.*
*И пойдешь, пьяным-пьяно,*
*Ночевать в участке*[235].

О «Бродячей собаке» в мемуарах Серебряного века написано много. Это было, говоря современным языком, культовое место, где встречалась петербургская элита и делалась большая литература. Здесь дурачились, но одновременно зорко следили друг за другом и каждому был свой счет, отражавший быстро менявшиеся вкусы и пристрастия эпохи. Это был одновременно и театр, и его закулисье, место, с одной стороны, элитарное, с другой — в высшей степени демократичное.

«На стенах яркой клеевой краской рябит знакомая роспись: жидконогий господинчик Кульбина сладострастно извивается плашмя на животе с задранной кверху штиблетой, подглядывая за узкотазыми плоскогрудыми купальщицами; среди груды тропических плодов и фруктов полулежит, небрежно бросив на золотой живот цветную прозрачную ткань, нагая пышнотелая судейкинская красавица, — описывал «Собаку» в романе «Мужицкий сфинкс» М. Зенкевич. — На лавке дремлет, свернувшись калачиком, подобранный где-то на улице живой символ «Бродячей собаки» — лохматая белая дворняжка, с которой гостеприимный, никогда не знающий ночного сна распорядитель кабаре, артист без ангажемента Борис Пронин, выпроводив последних гостей, совершает обычно свою раннюю прогулку, чтобы потом

завалиться тут же, в подвале, спать до вечера»[{236}].

«Бродячая собака» была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после 12. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители, от флигель-адъютанта до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись… — вспоминал Георгий Иванов. — Чтобы попасть в «Собаку», надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Тотчас же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан.

Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать: «Нету местов». Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления «общества интимного театра», как официально называется «Собака», Борис Пронин, «доктор эстетики» — «гонорис кауза», как напечатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятья: «Ба! Кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал? Иди! — Жест куда-то в пространство. — Наши уже все там».

И бросается немедленно к другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть! Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Пронин наверное разведет руками: «А черт его знает»[{237}].

В мемуарах Георгия Иванова в числе постоянных посетителей заведения упоминаются Мандельштам, Гумилев, Ахматова, Цыбульский, Клычков, Паллада Богданова-Бельская, Петр Потемкин, Хованская, Борис Романов, князь С. М. Волконский, барон Н. Н. Врангель… Только графа Толстого нет.

Зато присутствует он в воспоминаниях актрисы О. Н. Высотской (матери Ореста Высоцкого, чей отец — Николай Гумилев): «Большой, толстый, старомодный. Какая-то сказочность в нем, точно он вышел из сказок Андерсена, только он был не датчанин, а русский, только сказочность роднила его с Андерсеном. Мы окружали его, просили: «Алексей Николаевич! Расскажите сказку!» И он рассказывал, ночью, в «Бродячей собаке», за стаканом барзака или шабли».

Его любили, он был колоритен, беззлобен, даже добродушен — настоящий русский барин, осколок уходящей Руси, и эту роль дедушки-сказочника Толстой отлично чувствовал и исполнял, но не всем писатель и его жена были по душе. Б.М. Прилежаева-Барская описывала один из литературных вечеров тех лет: «Героем этого вечера был прославленный впоследствии писатель Алексей Николаевич Толстой: тогда он был «начинающий», известный своими «заволжскими рассказами». Толстой приехал со своей первой женой — «графиней Софьей Исааковной Толстой». Так она подписывалась под картинами, которые выставляла на выставке «Мир искусств». Она слыла очень красивой женщиной, но я совершенно не помню ее лица, а помню только крайне безвкусный и вычурный ее наряд. Очень сильное декольте и громадное страусовое перо, неизвестно по какой причине и в подражание кому, спускалось с прически и покрывало оголенную спину.

Алексей Николаевич, бывший, вероятно, навеселе, дурачился как ребенок, и откровенно сказать, неумный ребенок[19]. Он надел наизнанку свою меховую шубу, бегал на четвереньках, распевал собачий гимн (сочинение Виктора Феофиловича), в котором каждый куплет заканчивался подражанием собачьему лаю; пользуясь своим званием «собаки», он

хватал дам за ноги».

Не он один — так развлекались многие посетители «Бродячей собаки», эпатируя буржуазную публику, приходившую на них поглядеть. Было ли это действительно весело, искрометно или напоминало пир во время чумы, а точнее в ее преддверии? Много лет спустя Корней Чуковский в заметке «Прежние съезды писателей», опубликованной в «Литературной газете» 23 августа 1934 года, писал:

«Один пионер спросил меня: «Были ли прежде, в царское время, какие-нибудь съезды писателей?» Я ответил ему: «Были конечно. Еще бы. <…> Например, в «Бродячей собаке». <…> Так назывался ночной кабачок в подземелье, куда съезжались не только писатели, но и художники, музыканты, актеры. Там все стены и потолки были расписаны разными чудищами, на эстраде танцевали, играли, пели, читали стихи, а в тесных подвальных залах сидели за столиками сплошь знаменитые люди и, конечно, пили водку… вино… и смертельно скучали… Один замечательный поэт того времени так и написал о «Бродячей собаке»

*Все мы бражники здесь, блудницы,*
*Как невесело вместе нам.*

Пионер задумался, засмеялся, махнул рукой и убежал».

Воспоминания Чуковского удивительным образом пересекаются с бунинскими «Автобиографическими заметками», где в отличие от очерка «Третий Толстой» Бунин пишет о нашем герое безо всякой теплоты, раздраженно и зло:

«В петербургской «Бродячей Собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действо», для которого Кузмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действо», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело не мало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а-ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами…»

Трудно сказать, действительно ли так было или Бунин искусственно усадил на один ряд стульев трех «продавшихся» большевикам — Блока, Толстого, Маяковского. Вряд ли они сами могли оказаться на одной скамье: Блок «Бродячую собаку» не жаловал, а Маяковский появился в ней, когда Толстого там уже не было, ибо участие графа в проекте Бориса Пронина было очень недолгим.

Если 3 января 1912 года Толстой как должностное лицо обращался к Брюсову: «Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич! В субботу 7 января общество «Интимного театра» в своем подвале «Бродячая собака» устраивает conference по поводу 25-летия поэтической деятельности К. Д. Бальмонта. Мы надеемся, что Вы не откажетесь участвовать в этом чествовании. Заместитель председателя граф Алексей Н. Толстой»[{238}], то очень скоро его имя из анналов «Бродячей собаки» исчезло, и в том же январе Толстой писал театральному художнику К. В. Кандаурову: «Пью здоровье Москвы и да провалится Петербург к черту — скучный и вялый и неврастенический город». Последнее отзовется началом романа «Хождение по мукам», где некий дьячок времен Петра Первого будет кричать в кабаке «Петербургу, мол,

быть пусту», а «Бродячую собаку» Толстой выведет в главе 23-й того же романа под названием «Красные бубенцы» не менее саркастически, чем Бунин.

Другим нововведением зимы 1911/12 года, но уже совсем иного рода, стал созданный Гумилевым «Цех поэтов» («Еще года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи», — вспоминал позднее Ходасевич), куда Толстой сперва вступил, но быстро выступил — так же, как оставил «Собаку». Никто его оттуда не гнал, он ушел сам — почему? Ушел из «Собаки», ушел из «Цеха поэтов». Едва ли тут дело в Сологубе и отрезанном год назад хвосте. Причина должна была быть более сущностная. Однозначно ответить на вопрос какая, трудно, хотя существует оброненная кем-то из литературоведов фраза, что «Бродячая собака», по мнению Толстого, отказалась от своих задач, но опять же каких?

Косвенный ответ можно найти в мемуарах актера Мгеброва: «Официально «Бродячая собака», кроме весны 1912 года, во многом потеряла для меня свою прелесть. Когда же началась иная эра не столько романтического подполья, сколько коммерческого предприятия, я почти совсем порвал с Прониным. <…> Борис Пронин при всех своих достоинствах обладал очень крупным недостатком, а именно — слишком большим примиренчеством с тем самым буржуа, против которого именно он провозгласил свое знаменитое «эпате ле буржуа». Если вчера Борис клялся своим друзьям, что под своды его энтузиазма не проникнет ни один мещанин от искусства, ни один филистер, вообще ни один «фармацевт», как в шутку назывались тогда буржуа, то сегодня этот же Борис раскрывал широко двери для всех и даже для «фармацевтов». <…> Как только «Бродячая собака» вышла из подполья и превратилась в буржуазный кабачок, тотчас же искусство свелось в ней на нет, ибо в таверне оно никогда не расцветет, несмотря ни на какое хотя бы самое изысканное окружение»[20]{239}.

Еще один ответ, возможно, есть у Блока, который, повторю, «Собаку» изначально не любил, самый дух ее не переносил, связывая артистическое кабаре и другие формы литературно-артистической жизни с ненавистной ему литературной критикой.

«Они нас похваливают и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь, — писал он в дневнике в феврале 1913 года. — Они жиреют, мы спиваемся. Всякая шавочка способна превращаться в дракончика… Это от них — так воняет в литературной среде, что надо бежать вон, без оглядки. Им — игрушки, а нам — слезки. Вернисажи, бродячие собаки, премьеры — ими существуют. Патронессы, либералки, актриски, прихлебательницы, секретарши, старые девы, мужние жены, хорошенькие кокоточки — им нет числа. Если бы я был чертом, я бы устроил веселую литературную кадриль, чтобы закружилась вся «литературная среда» в кровосмесительном плясе и вся бы провалилась ко мне на кулички»{240}.

Не исключено, что и Толстой чувствовал нечто подобное, потому что слишком художник был и много получал пинков и тычков от людей окололитературных или пытающихся литературой управлять. Так же и «Цех поэтов» с гумилевской дисциплиной, ученичеством, учительством, тайными выборами новых членов — все это не устраивало, раздражало, разочаровывало его. В. В. Гиппиус вспоминал о зарождении «Цеха поэтов»: «Осенью 11 года в Петрограде на квартире Сергея Городецкого было первое собрание — сначала только приглашенных. Потом собирались они также у Гумилева — в его своеобразном домике в Царском Селе, изредка у М. Л. Лозинского. Собирались весь первый год очень часто — три раза в месяц. Гумилев и Городецкий были «синдиками» и по очереди председательствовали. Новых членов выбирали тайной баллотировкой, после того, как вслух читались их стихи. Много было в цехе недолгих гостей — скоро отошли старшие поэты из числа приглашенных (Блок, Кузмин, Ал. Н. Толстой, Вл. Пяст и некоторые другие), одни ушли сами, другие — по формуле, предложенной

синдиками, — были «почетно исключены»[{241}].

Ушел Толстой сам или был «почетно исключен» — не суть важно, примечательно другое: в сознании Василия Гиппиуса в 1911 году, всего четыре года спустя после начала литературной карьеры, Алексей Толстой уже относился к числу «старших», а значит, самостоятельных, вышедших из школярского возраста. Подмастерье стал мастером, и роль ученика, студийца его больше не удовлетворяла.

В эту пору он писал свой второй роман «Хромой барин», о чем сообщал 18 декабря 1911 года их общей с Волошиным парижской знакомой А. В. Гольштейн: «Сейчас работаю над романом, и, кажется, он прибавит мне росту, роман про любовь и называется «Хромой барин»[{242}].

Роман действительно оказался очень хорош и росту его создателю прибавил немало. В центре — история любви князя Алексея Петровича Краснопольского, прозванного «хромым барином», после того как на нелепой дуэли он получил ранение в ногу и навсегда охромел, и дочери овдовевшего помещика Александра Вадимовича Волкова Кати. В отличие от заволжских латифундистов из первой книги, изображенных полными моральными уродами, в образе отца Кати изъянов почти нет (он чем-то напоминает хозяйственного старика Берестова из пушкинской «Барышни-крестьянки»), а уродство Краснопольского намного тоньше, хотя в целом автор относится к нему столь же беспощадно, как и к героям «Заволжья»: чего стоят одни признания Краснопольского будущей жене в том, что муж прежней любовницы бил его хлыстом, а он не ответил. Краснопольский изображен негодяем, и если принять во внимание, что в некоторых его чертах и фактах биографии отразился облик и жизненный путь графа Николая Александровича Толстого, то и здесь можно увидеть определенную литературную месть, однако в «Хромом барине» Толстой заметно оттачивает свою манеру, более умело строит сюжет, композицию и завязывает интригу, избегает откровенно балаганных ходов и не теряет главного своего достоинства — раскованного, ловкого и легкого стиля повествования:

«Впереди на косматом сибиряке, храпевшем под тяжестью всадника, скакал, раскинув локти, Волков. За ним неслись братья Ртищевы, поднимали нагайки и вскрикивали:

— Вот жизнь! Вот люблю! Гони, шпарь!

Ртищевым было все равно — на князя ли идти, стоять ли за князя, — только бы ветер свистел в ушах. К тому же, после уговоров Цурюпы, они решили покарать безнравственность.

Позади всех, помятый, угасший, но в отличной визитке, рейтузах и гетрах, подпрыгивал на английской кобыле Цурюпа».

«Вот жизнь! Вот люблю!» — это и есть подлинно алексей-толстовское, его девиз, его кредо, которое сильнее любых схем, идей, сословных предрассудков и цеховых обязанностей. Оно пробивалось повсюду как трава, и талант Толстого были вынуждены признавать даже его неприятели. «Брюхом талантлив», — отзывался о нем Федор Сологуб, и этот же комплимент повторял сильно недолюбливавший графа литературный критик Р. В. Иванов-Разумник. А Федор Степун о том же самом писал: «Сила и особенность таланта гр. А. Н. Толстого заключается прежде всего в бессознательной верности земле и жизни; его острое художественное чувство, быть может, правильнее сказать — чутье зимы и осени, лета и весны, гари, прели, рек и болот, голых тальников и ветел, гусиного щавеля, ночной влаги, лунного света, дождя, пурги и солнцепека напоминает в гораздо большей степени острые и безошибочные инстинкты перелетных птиц и зимующего в берлогах пушного зверя, чем обыкновенные переживания поэтически настроенных человеческих душ. Эту связь гр. А. Н. Толстого с природой — основу и сущность его таланта — нужно мыслить не как его

психологию, но как его физиологию. <…> Это мудро-звериное, инстинктивно-физиологическое отношение Толстого к природе кладет совершенно особый отпечаток на все…» (Северные записки. 1914. Май).

Схожее же ощущение всепобеждающей силы жизни присуще и повести «Большие неприятности», где описано столкновение петербургского барина, человека развратного и своим развратом пресытившегося («все — даже самые острые — удовольствия подобны пуговицам на жилете: каждый день их нужно застегивать и расстегивать, и от этого не прибавляется ничего»), с чистой, почти тургеневской девушкой из Заволжья. Толстой вообще часто повторялся и использовал одинаковые сюжетные ходы: связь героя с замужней женщиной, остающееся без ответа оскорбление, признание в этом оскорблении другой женщине и спасающая героя чистая любовь, близкие по духу персонажи, герои-двойники, герои с одинаковыми фамилиями (Краснопольские, Ходанские) — все они кочуют из повести в повесть и из рассказа в рассказ, а потом и в пьесу — художник спорил в душе Толстого с ремесленником, но побеждал всегда первый. И до революции, и особенно после нее привыкший вкусно жить и вынужденный содержать большую семью Толстой часто халтурил, писал ради денег, но — удивительная вещь — это не вредило его таланту, который пускал побеги во все стороны, и в дореволюционных вещах писателя можно заметить те мотивы, которым еще предстоит развиться.

Иногда любовные истории, рассказанные Толстым, оканчивались счастливо, а иногда драматически, как в рассказе «Маша» — истории взаимоотношений еще одной супружеской пары: сорокалетнего, потасканного мужчины и его молодой, чистой жены. Вообще удивительно, насколько ценил, понимал и умел выразить далеко не целомудренный писатель (которому приписывают откровенно порнографические рассказы) женское целомудрие и страдание женщины от утраты своего целомудрия и чистоты. Вот исповедь его Маши, образец совершенной женской прозы и женского романа:

«Меня выдали замуж семнадцати лет из последнего класса гимназии. А ему было сорок. Мне все говорили: муж — значит, навсегда. Взяли дурочку семнадцати лет и сунули в постель к чужому человеку: лежи, терпи, старайся, чтобы он к тебе не охладел. И божий и человеческий закон тебе это велят. Ну, вот так и жили. А честности во мне было больше, чем нужно. Сначала думала: буду мужу товарищем. Стала готовиться к экзаменам на юридические курсы. Он потерпел, потерпел и разразился: «У тебя, говорит, глаза от чтения стали мутные, и юбка в пуху, и чулки, как у курсистки, и вся ты неряха, на женщину не похожа». Что мне делать? Стала я наряжаться, конечно — увлеклась нарядами. (Маша пожала плечиком.) Опять — не так: для чего я деньги сорю, для одного мужа столько тряпок не требуется. «Для кого ты вырядилась?..» Поступила на кулинарные курсы. «От тебя, говорит, кухаркой воняет, луком». Все не так. Что ему нужно? Нужна ему заводная кукла, больше ничего, — постельное животное. Чего бы он ни захотел — все бы тотчас исполнялось. Вчера видел какую-то особенную даму, и я должна немедленно стать такой же. А назавтра все по-другому. И все это так ужасно. (Губы ее задрожали, она низко опустила голову.) Все его фантазии — исполнять с самым веселым видом, потому что венчана навек. Однажды он говорит: «Пришел к заключению, что у тебя необыкновенно много овечьего. Хоть бы ты обольстила кого-нибудь. В женщине игра важна, изломы». И представилось мне тогда, что вся я — измятая, истерзанная, растоптанная. (Она вдруг совсем по-детски всплеснула руками.) Уйти было нужно, да, да, знаю. А куда я пойду, полуграмотная, ничего не знающая? К кому я пойду? В другую постель? Ведь только! В этот вечер сидел у нас знакомый. Муж уехал. «Ладно, думаю, сам меня толкаешь в эту яму». Начала флиртовать. Много ли нужно: оголи плечо да усмехнись чего ни на есть гнуснее. У него сразу глаза заблестели. Схватил, начал целовать. Оскорбительно мне стало. Знаете за кого? За мужа! Оттолкнула этого человека. Ночью сказала мужу: «Я тебе изменила».

Он побледнел, едва не вывихнул мне руку. А когда узнал, в чем моя измена, начал хохотать: «Ты такая дурища очаровательная, что мне, ей-богу, совестно тебя даже обманывать». Вот тут-то у меня все и оторвалось. Рассказал он мне, растроганный глупостью, что изменяет мне чуть не каждый день. Слушаю — боже мой, все мои знакомые, мои подруги. Грязь! Отвращение! С этой ночи я его больше к себе не подпускала. Так он ничего и не понял. И тут-то началась ревность. Что он мне говорил! Как он насильничал! Боже милостивый!»

Здесь опять, как и в романе «Чудаки», встречается мотив супружеского насилия над женщиной, сознательно или нет пробивающийся в душе автора, который был в результате подобного насилия зачат. Потом это насилие повторится и в «Сестрах» в любовной сцене Кати и Алексея Алексеевича Бессонова, и в «Черном золоте», и в «Петре Первом», очень часто изнасилование будет упоминаться в военной публицистике.

«И так как с самых ранних лет я ранен женской долей» — знаменитые пастернаковские строчки вполне применимы к Толстому. Женщина как жертва мужского мира, его рабыня, невольница, прихоть. Иногда она мстит за себя, меняется с мужчиной местами и торжествует победу, как сладострастная Амалия из «Хромого барина», на одну ночь допускающая героя до своего тела, а потом казнящая его холодностью и неприступностью, точно царица Клеопатра или тургеневская Мария Николаевна Полозова из «Вешних вод». Амалия в этом смысле полная противоположность бескорыстно и безнадежно любящей князя Краснопольского крестьянке Саше. Но таких женщин у Толстого мало, больше тех, кто страдает.

Вот и ушедшая от мужа Маша ходит по ночному городу, где никто не хочет ее понять, все смотрят на нее как на легкую добычу, и ей не остается ничего другого, как вернуться к мужу. Концовка рассказа оказывается зеркальной по отношению к финалу «Хромого барина», в котором Катя Волкова помогает подняться из пыли ползущему к ней на коленях мужу. В «Маше» оба героя обречены.

«Загремела цепочка. О, как там чисто, уютно! Повернулся ключ. Дверь открыл Притыкин. Глаза его прыгнули. Маша сейчас же вошла. Здесь, в прихожей, они взглянули друг на друга в глаза — Маша и Притыкин. Измерили друг друга в глубину. И тут должно было решиться все. Не муж и жена — два человека кинулись друг к другу, увлекаемые страданием. И казалось, уже глаза Притыкина дрогнули, и глаза Маши застлала пелена слез, которые должны же были пролиться когда-нибудь в облегчающем изобилии. Но черт его знает, отчего: от дурного ли характера, от слишком перестрадавшего самолюбия, от последней истерики, — но только он отступил, рот его перекосился:

— Таскалась… Тварь!

— Да, тварь! — звеняще сказала Маша и сейчас же прошла в кабинет. Там, — она так и думала, так и знала, — налево от чернильницы лежал револьвер. Она схватила его и поднесла к груди. Сейчас же сзади наскочил Притыкин, схватил ее за руку. Маша повернулась. Началась борьба. Толкаясь коленями, они старались вырвать друг у друга револьвер. Она зажмурилась. Обогнув круглый стол с журналами, они снова оказались в прихожей, на том же месте, так же схватив друг друга, как это было позавчера, в одиннадцать часов вечера… Могло представиться, что этих полутора суток совсем и не было, будто все, что случилось за это время, — лишь пронеслось в одну какую-то секунду в воображении.

Притыкин ухватил, наконец, ее левую руку и, сжав, закрутил. Маша застонала. Он уперся коленом ей в живот и дернул револьвер. Тогда огнем обожгло им пальцы, выстрел был слаб. Притыкин громко икнул, отпустил руки и стал валиться на Машу. Она схватила его за плечи, не удержала. Он всею тяжестью мертвого тела упал ей в ноги на малиновый бобрик. Для

второго выстрела — в себя — у Маши не хватило сил».

Толстой писал эти частные судьбы не понимающих, обижающих, ранящих друг друга людей, писал сочувственно, насмешливо, горячо, иногда бульварно — но за внешними событиями его рассказов и повестей, за этими, по выражению Блока, «кровью, жиром, похотью, дворянством и талантом» вставало нечто большее — образ России, каковой она виделась и автору, и его героям. Об одном из них, земском докторе из «Хромого барина», говорится:

«…очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия — такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода — тогда пусть все летит к черту. И если — грязь и воняет, значит, так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты — свинья».

Это и есть та позиция, против которой Алексей Толстой восставал (и неслучайно этого героя, унылого земского доктора Заботкина, он отправляет под воду), а жить остается другой, тот, кто произносит, казалось бы, похожее, но просветленное:

«Вся Россия валит сейчас в эту пустоту, в неверие, в темное дно. И там, на дне, в пустоте, во мраке — она возродится. Настанет катастрофа. Я верю. Немногие уже зачерпнули и выбежали на ту сторону, а все еще, как солдаты, бегут и падают, и срываются, и валятся в овраг. Остановить? Нет, это и нужно. Или погибель — нет России, или новый народ».

Он остро чувствовал перепутье, на котором находилась страна, и это чувство парадоксальным образом сближало его с его антагонистами Блоком и Белым, с их предощущением и подсознательным желанием катастрофы как некой очищающей силы, призванной уничтожить старый мир и обновить Россию.

*О Русь моя! жена моя!*
*До боли*
*нам ясен долгий путь!*

Идея пути была Толстому так же близка, как и автору «На поле Куликовом». И близко было блоковское чувство не могущей остановиться русской истории. Толстой не был эссеистом, не был философом, он осмыслял русский путь как писатель, через судьбы своих героев, он вынашивал планы будущих исторических романов, а пока делал наброски в небольших рассказах:

«Три года бушевал ураган по Русской земле; казалось, все было смято им и разрушено. Но не сбылись чаянья, закатились надежды, и среди обломков по голым пространствам бродил оголтелый обыватель.

Казалось, конца-краю не будет этому бездолью и оголтению. Но после покоса сильнее растет трава, и обыватель сам не заметил, как начал обшиваться и оправляться, оглядывать — нельзя ли чего приладить из старого. А на смену уже росло новое поколение.

Город, заглохший на несколько лет, с новой силой начал обстраиваться стеклом и бетоном, и то, что раньше казалось новым, сомнительным и опасным, на что была нужна особая, даже дерзкая смелость, становилось обычным явлением, необходимым для всех. Возникали фантастические компании, торговые дома, скупались земли и рудники, убивались миллионы на изыскание угольных залежей, в одно лето воздвигались необыкновенные постройки, наконец

появились отчаянные люди и полетели по воздуху. Все стало возможным.

Растаяли, как туман, старые обычаи и предрассудки, стариковская мораль начала заменяться иной, более гибкой. Жизнь фантастическим чертополохом перла из земли. Казалось, только самые цепкие и сильные выжили во время бурь; остальные остались надломленными навсегда» («Четыре века»).

Несомненно, он был из породы сильных и цепких, и здесь закладывалось, выражало себя то мироощущение, которое заставит его вернуться в Россию советскую и поверить в ее путь. Вот почему разрыв с эмиграцией и переход на сторону большевиков не был со стороны Алексея Толстого предательством по отношению к собственным взглядам до революции. Его вела вера в Россию сродни блоковской.

Во весь голос он заговорит об этом после революции. Тогда же, в первой половине десятых годов, рассуждения земских врачей и столичных архитекторов о России и ее будущем тонули, растворялись в страстях, любовных похождениях; в предвоенные годы Толстого занимала литературная борьба, на которую он не напрашивался, но в силу характера ли, внешности, фамилии, титула, благодаря ли успеху — эта борьба сама его находила, заставляла в ней участвовать, иногда вынуждая отступать и временно сдавать позиции, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар.

Покоя, созерцания, неторопливого писательского труда, уединенного размышления, каждодневных наблюдений — ничего этого в его жизни не было. Он был по натуре боец, отсюда и блоковское раздраженное: «Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже». Неважно где: в Париже, Питере, Самаре, Коктебеле, Стамбуле, Берлине, Киеве, Москве. Важно, что побил.

Петербург Толстой оставил в конце зимы 1912 года. Весну и лето граф с графиней провели в Коктебеле («Мы с женой живем у синего моря и каждый день молим Бога, дали бы поскорей обедать, а к вечеру — ужин», — писал Толстой Ф. Ф. Комиссаржевскому[243]). Они снимали сначала дачу у певицы Дейши-Сионицкой, дамы строгой, благовоспитанной и не терпевшей в быту никакого хулиганства, а после ссоры с ней перебрались к Волошину, где развлекались и дурачились, купались, пили вино, выступали с поэтическими вечерами, вместе с Лентуловым и Белкиным расписывали кафе «Славны бубны» (художница Елизавета Кривошапкина вспоминала: «По другую сторону двери — тоже толстый, очень важный человек: «Прохожий, стой! Се граф Алексей Толстой!»), работали, спорили и строили планы на новое московское будущее. «В Коктебель на все лето приехали Толстые и на зиму переселяются в Москву. Я очень рад этому. Мы с ним пишем вместе это лето большую комедию из современной жизни (литературной)», — писал Волошин театральному режиссеру К. В. Кандаурову.

Иногда Толстой вспоминал Петербург, это хорошо видно из дневника: «Петербург мне кажется теперь городом смерти… Думал о Петербурге — темный город с высокими узкими домами, в нем живут заброшенные люди. Очарование одиночества в Петербурге вдвоем». Но это были мысли о прошлом, осенью он переселился в Москву, где, впрочем, вел себя так же непринужденно, как в Питере, Коктебеле и Париже.

В это же время Толстой сблизился с богатыми купцами-меценатами, покровительствовавшими новому искусству, — Морозовыми, Рябушинскими, а также с художниками-футуристами. Первым он посвятил искрометную, чем-то напоминающую «Мертвые души» повесть «За стилем», герой которой, богатый купец, носится по заволжским поместьям и скупает у тамошних дворян старинную мебель, потому что теперь это модно и стильно, а что касается последних, то этому союзу во многом способствовала Софья Исааковна, которая давно

увлекалась кубизмом. Вслед за ней Толстой объявил себя адептом нового учения и даже встречал на вокзале главу итальянских футуристов Маринетти.

«Футуризм — искусство будущего. Я провел два вечера в беседе с Маринетти и нахожу, что выступление его в России сейчас своевременно, именно теперь, когда господствуют идеи застоя и пессимизма, когда мрак идеализации старины застилает нам радости непосредственного бытия. Ощущение бытия выражается в движении, а не в застое. Я за истинное движение, а не призрачное, как у нас, — за оживление не только духа, но и тела. Я прошел уже школу пессимизма, вижу в будущем торжество начал жизни и в этом смысле я — футурист», — писал Толстой в одной из московских газет.

Поэт Николай Асеев оставил любопытное воспоминание о толстовском выступлении на вечере футуристов: «Какой-то человек присоединился к тем, кто протестовал в Свободной эстетике против офранцуживания прений: «Если эти ребята называют себя футуристами, то я тоже — футурист. Именно они напомнили собранию, что, приехав в чужую страну, надо уважать ее язык, а не торговать залежалым товаром «Мафарки-футуриста»! Я приветствую эту молодежь, отказывающуюся принимать чужую пулеметную трескотню за последнее слово искусства!» <…> Собрание было огорошено. Это был входивший тогда в моду Алексей Толстой».

Недолгое увлечение Толстого футуризмом объяснялось, возможно, еще и тем, что в это время писатель сводил счеты с мистиками и символистами, которым заплатил юношескую дань и с которыми его отношения так и не сложились. Всерьез Толстого не воспринимали, и по всей вероятности это задевало его.

Сильнее всего Толстой прошелся по литературной среде, и прежде всего по петербургской, в неоконченном романе «Егор Абозов», над которым работал в течение нескольких лет. Художественной удачей это произведение назвать трудно, но как свидетельство об эпохе и картинка литературного быта десятых годов, этого самого позорного, по выражению Горького, десятилетия в истории русской интеллигенции, оно весьма интересно. Действие романа начинается с открытия нового литературного журнала «Дэлос», в котором нетрудно узнать «Аполлон». Те же нравы, скандалы, обиды, те же лица — молодые и старые участники литературного процесса, редакционные склоки, богатый издатель, рецензенты, журналисты, женщины — авторский взгляд предельно сатиричен, это почти фельетон.

Декадентскому миру противопоставлен писатель иного склада — Егор Иванович Абозов, о котором читатель узнает, что он занимался политикой, отбывал ссылку в Туруханском крае, но со своей партией порвал. Он приезжает в Петербург, где встречается с бывшим одноклассником художником Белокопытовым, в лоб спрашивает его, верит ли тот в Россию и в русский народ, и сообщает, что написал очень хорошую повесть. Эта повесть — история детства Егора Ивановича на степном хуторе на речке Чагре — сюжет отчасти автобиографический, впоследствии воплощенный в «Детстве Никиты». Правда, в отличие от Никиты, герой повести Абозова Кулик происходит из бедной деревенской семьи и в деревне живет недолго, идет «в люди», работает извозчиком, попадает в услужение к гимназическому учителю и начинает учиться. В гимназии Кулик становится первым учеником, но из-за независимого и гордого характера бросает ее, возвращается в деревню и скоро понимает, что жизни ему там не будет. В общем, то ли юный Алеша Пешков, то ли Ломоносов — Толстой и сам слегка иронизирует в романе над своим персонажем. Но хотя биография Абозова сильно отличается от биографии его творца, автор дарит ему один из самых характерных своих жестов: привычку отирать ладонью лицо, как бы «умываться» в минуты волнения.

Именно так «умывается» Егор Абозов, закончив чтение в мастерской у Белокопытова. Декадентская публика, собравшаяся его послушать, пребывает в сомнении, гений он или нет,

пока некая полуинфернальная дама, вдова и меценатка Валентина Васильевна Салтанова, не решает судьбу Абозова: «То, что я слышала, превосходно. Больше всего мне нравится сам автор».

Так в романе возникает любовная коллизия, отличающаяся от предыдущих толстовских интриг. У Егора запутанные отношения с женщиной по имени Мария Никаноровна, которая родила от него ребенка; остановившись у нее в Петербурге, он предлагает быть ему сестрой, потому что любит другую… Другая же, богачка Валентина, его мучает, отталкивает, не допускает до себя, как Амалия князя Краснопольского в «Хромом барине»; Абозов страдает, но более благородно и мужественно, и, наконец, встречается с Валентиной в «Подземной клюкве», откуда оба сбегают. Самое интересное в романе не любовное томление Абозова, а изображение литературной богемы.

«На возвышение с деревянной решеткой, напротив эстрады, поднялся Зигзаг. Скрестив руки, он заговорил. Донеслись слова:

— …Я великолепно плюю на вас, гусеницы и брюхоногие…

Но крик, топанье, свист заглушили его слова, к возвышению кинулось несколько человек, и на месте Зигзага появился горбоносый Волгин; под возгласы: «Тише, тише, говорит Волгин, браво», — он выкрикнул:

— Господа, мы собрались в ночном хороводе, чтобы заглушить в себе тоску и безнадежность… Мы все наполовину мертвы…

— Гнать его… Гнать… Что он болтает, — заорали вокруг.

Волгин исчез, и на месте его появился профессор — бородатый толстяк с поднятыми плечами, красный от напряжения.

— Что за чепуха, — зычно воскликнул он, потрясая кулаками, — мы ничего не хотим заглушать! Мы под землей выжимаем сок кровавой клюквы! Надо понять символ. Мы чувственники. Мы служители русского эроса! У нас раздуваются ноздри! Эрос! А вы знаете, как случают лошадей?

Он густо захохотал и стал багровый. Со многих столиков поспешно поднялись дамы и мужчины во фраках, двинулись к выходу. Валентина Васильевна положила оба локтя на стол, подперла подбородок, ясными, насмешливыми глазами глядя на говорящего. Он продолжал:

— Вы не хотите слушать? Вам стыдно? А я говорю — зверь просыпается! Так встретим же ликованием его великолепный зевок! На праздник! За светлого зверя! На, терзай мою грудь!

— Профессор слишком полнокровен, он груб, но смел, — сказал Белокопытов. — Я пью за дивного зверя, — он звякнул стаканом о стакан Валентины Васильевны, — за праздник, за красоту, за славу. Все это лишь различные улыбки зверя.

— Жить, так жить вовсю! — заорал Гнилоедов. Валентина Васильевна открыла ровные белые зубы и вдруг, скользнув взглядом по Белокопытову, указала ему на Александра Алексеевича, сделала знак, затем повернулась к подруге. Вера дремала над стаканом вина, иногда поднимая желтое лицо, и глаза ее мерцали через силу. Белокопытов продолжал:

— Друзья мои, зачем лгать! Мы все эгоисты, живем вразброд, каждый томится своим неудовлетворением. Отступитесь от себя на минуту, любите меня. Я молод, талантлив, весел, я

смогу упиться счастьем. А когда истощусь, увяну, высохну… когда наполовину стану мертвецом — вышвырните меня, как лягушечью шкуру».

Картины богемной жизни — сцены пьяных посиделок в «Бродячей собаке», которая называется в романе «Подземной клюквой», в ресторане «Вена» (здесь это «Париж»), карикатурные портреты Куприна, Бунина, Леонида Андреева, Волошина, Грина, Северянина, Кузмина, Мережковского, Мейерхольда — сделали печатание «Егора Абозова» невозможным. Рецензент и пайщик «Книгоиздательства писателей в Москве» С. Д. Махалов писал редактору этого издательства Н. Д. Телешову:

«Дорогой Коля, — прочитал Абозова и спешу поделиться с Тобою мнением о портретности, которой не нашел за исключением намеков, да и то перемешанных в такую кашу, что разобраться в них можно только при сильном желании, т. е. напр., писатель с внешностью И. Бунина говорит о произведении, которое могло бы принадлежать Л. Андрееву <…>, а ты понимаешь, что из этого может выйти. А затем, что в таком роде и все остальные портретные выпады»[{244}].
В сущности, Толстому сильно повезло, что у повести нашлись внимательные рецензенты и уберегли ее от появления в печати и литературного скандала: во всякого рода неприятные истории с самыми разными писателями ему и так предстояло влипать всю жизнь.

## Глава IX. Любовь, любовь, небесный воин…

29 декабря 1912 года Алексею Толстому исполнилось тридцать. Для своих лет он успел немало: две женитьбы, несколько книг стихов и прозы, знакомство с самыми крупными писателями эпохи, внимание критики, признание, дружба и вражда, ругань, слава. Можно сказать, что он был по-своему избалован и не по годам знаменит, но едва ли успех его портил. Толстой был красив и раскован. О его облике в пору 30-летия свидетельствуют превосходные (прежде всего своей женской наблюдательностью и тенденциозностью) дневниковые записи Рашели Мироновны Хин-Гольдовской — писательницы и супруги преуспевающего адвоката, хозяйки одного из тогдашних московских литературных салонов, которую в шутку называли «мадам Рамбуйе».

«Вчера обедали Толстые и Волошин. Просидели у нас до 12 часов. Толстые мне понравились, особенно он. Большой, толстый, прекрасная голова, умное, совсем гладкое лицо, молодое, с каким-то детским, упрямо-лукавым выражением. Длинные волосы на косой пробор (могли бы быть покороче). Одет вообще с «нынешней» претенциозностью — серый короткий жилет, отложной воротник a l'enfant (как у ребенка) с длиннейшими острыми концами, смокинг с круглой фалдой, который смешно топорщится на его необъятном arriere-train[21]. И все-таки милый, простой, не «гениальничает» — совсем bon efant[22]. Жена его — художница, еврейка, с тонким профилем, глаза миндалинами, смуглая, рот некрасивый, зубы скверные в открытых, красных деснах (она это, конечно, знает, потому что улыбается с большой осторожностью). Волосы у нее темно-каштановые, гладко, по моде, обматывают всю голову и кончики ушей как парик. Одета тоже «стильно». Яркокрасный неуклюжий балахон с золотым кружевным воротником. В ушах длинные, *хрустальные* серьги. Руки, обнаженные до локтя, — красивые и маленькие. Его зовут Алексей Николаевич, ее — Софья Исааковна. Они не венчаны (Волошин мне говорил, что у него есть законная жена — какая-то акушерка[23], а у нее муж — философ!). У нее печальный взгляд, и когда она молчит, то вокруг рта вырезывается горькая, старческая складка. Ей можно дать лет 35–37. Ему лет 28–30. Она держится все время настороже, говорит «значительно», обдуманно… почему-то запнулась и даже сконфузилась, когда ей по течению беседы пришлось сказать, что она родилась в «Витебске»… Может быть, ей неприятно, что она еврейка? Говорит она без акцента, хотя с какой-то примесью. Он совсем

прост, свободен, смеется, острит, горячится… Из всех «звезд» современного Парнаса Толстой произвел на меня самое приятное впечатление»[245].

Некоторое время спустя это впечатление рассеялось, Хин-Гольдовская позднее отнеслась иначе и к Толстому, и к Софье Исааковне, но пока что Толстой чувствовал себя в Москве превосходно да и смотрелся здесь более органично — старый московский барин а-ля граф Илья Ростов, гостеприимный, демократичный, с ленцой, домашний, которого все знают и который живет здесь уже сто лет, и трудно поверить, что было время, когда его здесь не было.

«Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!», — писал Бунин[246].

В Москве не было ни «Бродячей собаки», ни «Цеха поэтов», но очень быстро граф освоился на новом месте, попытался организовать литературно-артистический подвальчик «Подземная клюква», а поскольку сделать этого не удалось, исправно посещал Общество свободной эстетики.

«Несколькими ступеньками выше нас с женой осанисто колышет свои барские дородности граф А. Н. Толстой, — описывал, как съезжались гости в «Эстетику», Степун. — Рядом с ним пружинисто шагает талантливый художник Жорж Якулов, похожий на фавна армянин, в долгохвостой визитке и лаковых штиблетах. Приятелям весело. Ха-ха-ха… могуче разносится всхрапывающий смех Толстого. Но вот происходит какое-то непонятное замешательство: почти одновременно раздаются испуганный женский возглас, чей-то звонкий смех и возмущенные голоса. Оказывается, Алешка Толстой, как его называли в приятельской компании, почувствовал себя легавою собакою и, крикнув самому себе «пиль», схватил поднимающуюся перед ним даму за ее розовые гусиные лапки»[247].

Вместо утраченных петербургских Толстой приобрел новые московские знакомства и среди них — три пары сестер: Цветаевы, Герцык и Крандиевские, — так что Толстому сам Бог велел о сестрах написать. Знакомство с первыми из этой троицы произошло еще в январе 1911 года, когда Толстой ненадолго приезжал из Петербурга в Москву (накануне суда по поводу обезьяньего дела) и подарил взятой под опеку Волошиным совсем молодой еще поэтессе Марине Цветаевой свой только что вышедший сборник стихов «За синими реками». Цветаева дала ему в ответ первую свою, изданную за свой счет тиражом 500 экземпляров книгу «Вечерний альбом»: «Графу Алексею Н. Толстому с благодарностью за книгу. Марина Цветаева.

Москва, 28-го января 1911 г. Я ж гляжу на дно ручья, Я пою, и я ничья»[248].

Последнее есть перифраз его стихотворения «Мавка» (у Толстого было: «Я лежу и я ничья») — свидетельство того, что Цветаева книгу Толстого внимательно прочла. Однако более регулярными их встречи стали только после переезда его в Москву. «Посещение Макса и Эфронов. Голые комнаты. Марина Цветаева и ее муж. Сестры Эфрон. Ломание кроватей. Макс в уединении гадает по руке… У Марины Цветаевой. Блины. Толкающиеся гости. Узкая комната наверху. Вонючая лампочка. Стихи Макса о Лиле. Чтение стихов Марины с Асей»[249], — записывал Толстой в дневнике.

Зимой 1912/13 года Марина с Асей и их мужья часто бывали у Волошина в арбатских переулках. Существует предположение, что именно с легкой руки Толстого эта квартира стала называться обормотником, Толстой часто ее посещал и, таким образом, вместо оставшейся в

Петербурге одной великой поэтессы века стал дружить с другой.

«Волошинская компания состоит из двух частей: «обормотников» — сюда входит своеобразная коммуна — мать Волошина (старуха в штанах и казакине!), он сам и две сестры Эфрон, Лиля и Вера. Они живут все на одной квартире, которую они сами окрестили именем «обормотник»… — фиксировала Хин-Гольдовская. — Остальные: Марина Цветаева, двадцатилетняя поэтесса, жена 19-летнего Сережи Эфрона, ее младшая сестра Ася, тоже замужем за каким-то мальчиком (обе эти четы имеют уже потомство — у Марины девочка, 6 месяцев, у Аси такой же мальчик, причем каждый из этих младенцев перебывал у 6 кормилиц — по одной на месяц!). Я называю эти «менажи» «Детский сад» (Марина, Ася, Майя — 18-летняя русская француженка, пишет — и как читает! — очаровательные французские стихи), так сказать, естественные «сочлены» «обормотника». Толстые хотя и тесно с ними дружат, но уже понемножечку «отодвигаются» от этого кочевого табора и стремятся занять более солидное положение. Кандауров и Богаевский — что-то вроде почетных, сочувствующих посетителей. Как зрелище, вся эта компания забавна чрезвычайно. Сестры Эфрон очень хороши собой, особенно Лиля. Марина и Ася вдвоем читают Маринины стихи. Стройные, хорошенькие, в старинных платьях, с детскими личиками, детскими нежными голосами, с детскими вздохами, по-детски нараспев они читают, стоя рядышком у стенки, чистые, трогательные, милые стихи…»

Самое примечательное в этой записи — решение графской четы дистанцироваться от «обормотника». У Толстого были все основания задирать нос: в 1913 году он превосходил по своему литературному рейтингу и Цветаеву, и Волошина. Последний угодил в тот год в очередную неприятную историю, связанную на этот раз со статьей о Репине. Толстой вел себя аккуратнее, его издавали, о Толстом писали, он получал хорошие гонорары, дочку Марьяну воспитывала тетушка Мария Леонтьевна в Самаре, а граф с графинюшкой разъезжали и жили в свое удовольствие.

Их дом был хлебосолен, в нем часто принимали гостей, не исключено, что именно в этом доме произошла первая встреча Цветаевой и Софии Парнок, здесь совершенно точно чествовали на Масленицу 1914 года Маринетти («Народу столько, что ряженые толпятся в передней, в коридорах и даже на лестничной площадке. Теснота, бестолочь и полная неразбериха придают особую непринужденность маскарадному веселью. Маски сногсшибательно эффектны, смелы и разнообразны. <…> Один только Маринетти, итальянский футурист, гостивший в Москве, для которого, по слухам, весь сыр-бор и загорелся, бродил по залам без маски, в своем натуральном виде: смокинг, глаза маслинами, тараканьи усы — тип таможенного жандарма с итальянской границы»[{250}]); Толстые общались с Кузьминой-Караваевой, Вячеславом Ивановым, который также переехал из Петербурга в Москву, с художником Мартиросом Сарьяном; но увлеченная живописью и театром Софья Исааковна (она, как уже говорилось, играла в Петербурге вместе с Любовью Дмитриевной Блок и, следовательно, часто бывала в отъезде) была не очень хорошей домашней хозяйкой, и порой возникали ситуации вроде той, что описаны в воспоминаниях художницы Юлии Оболенской, жены режиссера К. В. Кандаурова: «Константин Васильевич любил рассказывать, как, например, Толстые звали гостей на блины и забывали об этом. Гости приезжали и не находили хозяев. Или же приглашенные на обед являлись и заставали совершенно забывших о приглашении хозяев, которые спешно посылали за какой-нибудь сборной едой в трактир. Константин Васильевич заразительно хохотал, повторяя афоризм собственного изобретения: «Если ты едешь к Толстому на обед, пообедай прежде дома»[{251}].

В апреле 1913 года Толстые отправились в Париж, откуда граф писал Кандаурову: «Здесь после завтрака мы собираемся в нашем клубе — в кабачке против Люксембурга. Соня и я,

Якулов, Досекин, Кругликова и прочие. В Париже время летит спокойно, радостно, хорошо»[{252}]. Летом Толстой в качестве знаменитого писателя проехался по Симбирской и Самарской губерниям, повидался со своей многочисленной тургеневской родней (с толстовской отношения не сложились[24]) и с бывшими однокашниками, пропустив из-за этого блистательный сезон тринадцатого года в Коктебеле, где были Ходасевич, Мандельштам, Цветаевы; зато впечатления от волжской поездки были использованы в «Приключениях Растегина».

Однако теперь прозы ему было мало. Вслед за своей женой он все больше и больше обращался к театру, который он очень любил и был почетным гражданином его кулис (эта любовь позднее проявится во всем блеске в «Золотом ключике»), писал театральные пьесы, однако драматургическая судьба графа оказалась не такой гладкой, как прозаическая.

«Константин Васильевич (Кандауров. — *А.В.*) рассказывал, как Алексей Николаевич Толстой писал свою первую пьесу (кажется, «Насильников»). Он просил разрешения прочесть пьесу Константину Васильевичу и читал очень долго. (В первой редакции она была гораздо длиннее.)

Кончил и с надеждой спрашивает:

— Ну как?

А Константин Васильевич показал ему на топившийся камин и сказал: — Брось туда. Алексей Николаевич возмутился: — Что ты, ты ничего не понимаешь! И т. п. Успокоившись, он выслушал мнение Константина Васильевича, что зрители должны будут провести в театре не менее двух суток, слушая эту пьесу. Впоследствии Алексей Николаевич Толстой несколько раз сокращал ее, и все же она шла на театре чрезмерно долго, так что замечание Константина Васильевича оказалось справедливым»[{253}].

Еще хуже вышло с Немировичем-Данченко. Тот, выслушав пьесу Толстого, просто посоветовал больше никому никогда ее не показывать.

«Произошло то, чего можно было ожидать. Помните, я говорил вам? Переделывать пьесу радикально по чужим советам невозможно. Ничего из этого не выйдет. Пьеса — такой род литературы. Она выливается орешком»[{254}].

А жене своей в это же время писал про толстовскую пьесу «День Ряполовского» и ее автора: «Пьеса такая же, как и рассказы. Красочная и незаразительная. Сам он производит впечатление любопытное. Молодой. Лет 30. Полный блондин. Типа европейского. Цилиндр, цветной смокинговый жилет, черная визитка. Работает много. <…> Говорит без интереса, скучно. Пьесу вероятно не возьму. Но упускать его не хочется. Все думается, что он может что-то написать выдающееся»[{255}].

Толстой продолжал писать, он мечтал о Художественном театре, однако все его пьесы там последовательно отвергали — «День Ряполовского», «Дуэль», «Выстрел», «Насильников», — и в конце концов граф стал искать сцену попроще.

«В те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных», — несколько свысока отзывался о Толстом-драматурге Бунин, однако «Насильники» были поставлены в сентябре 1913 года в Малом театре.

Эта пьеса — своеобразный римейк одного из ранних рассказов Толстого «Аггей Коровин», герой которого — заволжский помещик, но совершенно иного рода, нежели Мишука Налымов.

Он мечтатель, созерцатель, страдающий от грубого столкновения с действительностью. В рассказе это столкновение происходит сначала в помещичьей усадьбе, а потом в Петербурге, куда приезжает Аггей в поисках любви, в пьесе же действие ограничено Заволжьем и характер у главного героя иной — более мужественный и решительный, за что он и получает в награду счастье и любовь.

А между тем в личной жизни самого Толстого также готовились перемены, и своя награда его тоже ждала. К зиме 1913/14 года Алексей Николаевич и Софья Исааковна исчерпали и любовные, и партнерские отношения, ничто более не связывало их: стало окончательно понятно, что ему нужна другая жена — более домашняя, более хозяйственная, но вместе с тем не чуждая прекрасному, а Софье, по-видимому, на данном этапе муж вообще не требовался. Она всю себя отдавала музам и отказаться от искусства ради мужа была не в состоянии.

Но та, что смогла, та, что принесла себя и свой дар в жертву дому, Толстому встретилась. Ею стала поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская, которая еще в самом начале его творческого пути обронила: «С такой фамилией можно и получше». Впрочем, это касалось стихов — не прозы.

Крандиевская происходила из литературной семьи: мать ее была писательницей и дружила с Розановым, отец был издателем (неплохая параллель с семьей самого Толстого, особенно если вспомнить, как граф Николай Александрович издавал романы своей жены), среди знакомых дома числился некто Сергей Аполлонович Скирмунт, очень богатый человек, дававший деньги Горькому для рабочей партии, благодаря чему Алексей Максимович знал Наташу с детства и состоял с ней в дружеской переписке (а о маленьком Алеше Толстом и его матери вспоминала, как уже говорилось, первая жена Горького Екатерина Павловна Пешкова).

Первым мужем Натальи Васильевны был преуспевающий адвокат Федор Акимович Волькенштейн, товарищ Керенского и племянник М. Ф. Волькенштейна, одноклассника А. П. Чехова по Таганрогской гимназии и патрона В. И. Ленина по адвокатуре. Крандиевскую выдали замуж сразу после окончания гимназии, у нее был сын Федя, которому в 1913 году исполнилось четыре года. Наталья Васильевна была незаурядной женщиной, помимо поэзии увлекалась живописью (благодаря живописи они с Толстым и познакомились: Крандиевская была соседкой Софьи Исааковны по мольберту в школе живописи, куда любил заходить Толстой поглазеть на холсты, художниц и натурщиц). Свои стихи она показывала Бунину, Бальмонту, Горькому, позднее Блоку. Бунин писал о ней: «Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее — иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем»[256].

А она вспоминала эту встречу так: «Дрожа, я вынула тетрадь и принялась читать подряд, без остановки, о соловьях, о лилиях, о луне, о тоске, о любви, о чайках, о фиордах, о шхерах и камышах. Наконец Бунин меня остановил.

— Почему вы пишете про чаек? Вы их видели когда-нибудь вблизи? — спросил он. — Прожорливая, неуклюжая птица с коротким туловищем. Пахнет от нее рыбой. А вы пишете: одинокая, грустная чайка. Да еще с собой сравниваете…Нехорошо. Комнатное вранье…»

Первый ее сборник вышел в 1913 году и был положительно оценен критикой, после чего Крандиевская-поэтесса надолго замолчала, и причиной тому был Толстой. Зимой 1913/14 года завязался их роман, сначала платонический и очень осторожный, даже не роман, а пролог к роману. «Я вас побаиваюсь. Чувствую себя пошляком в вашем присутствии…» — признавался

Толстой Крандиевской и свою книгу «За синими реками» надписал так:

*Не робость, нет, но произнесть*
*Иное не покорны губы,*
*Когда такая нежность есть,*
*Что слово — только символ грубый.*

Это был весьма изысканный флирт замужней дамы и женатого, хотя и стоящего на грани разрыва с женой человека, между ними было мало сказано слов, которые можно было бы истолковать как декларацию о серьезных намерениях, но, несомненно, что-то было. Однако весной граф уехал с Софьей Исааковной в Анапу в гости к молодой поэтессе Кузьминой-Караваевой, которая незадолго до того разошлась с мужем и родила дочку Гаяну — позднее некоторые факты из жизни Кузьминой-Караваевой отразились в рассказе «Четыре века». Из Анапы Толстые перебрались к Волошину в Коктебель, но вместе там жили недолго: в Крыму произошел окончательный разрыв, Софья Исааковна почувствовала себя лишней и отправилась в Париж, где, согласно семейной легенде, увлеклась художником Милотти, а Толстой остался один — фактически холостой, свободный и беззаботный. Если граф и думал о Крандиевской в Коктебеле, если и лежала, пользуясь выражением из Чехова, ее тень на его душе, то виду не подавал, зато за молоденькими женщинами и девушками ухлестывал с большим удовольствием, хотя и не слишком удачно.

«Наше веселье было весьма невинного свойства в отличие от позднейшего периода Коктебеля, когда там появились совершенно новые завсегдатаи и большую роль стал играть винный погребок Синопли, заменивший наше кафе «Бубны» того же хозяина, — вспоминала художница Юлия Оболенская. — Мы были просто молоды и резвились как щенята, не брезгая строить после дождя плотины из грязи. <…> Особое место занимал Алексей Николаевич Толстой, весной 1914 года живший там один, возбуждая поголовное увлечение местных дачниц и яростную зависть ко мне (только и слышишь от него: «Юленька, Юленька»). До приезда Константина Васильевича я действительно много проводила с ним времени, но с приездом Константина Васильевича я начала писать его портрет и больше не впускала Алексея Николаевича. Так как он все-таки ворвался, пришлось закрыть дверь. «А, они заперлись! Хорошо же!» Толстой притащил брандспойт и стал поливать нас через окно водой, залив и балкон и комнату, к ужасу мамы. Сам он вымолил у нее прощение, плюхнувшись на колени в воду, а нам попало ни за что ни про что. Потом в этой забаве приняли участие все обитатели дачи, поливая друг друга водой. А. Толстой опрокинул Константина Васильевича в море, и я подралась с ним — он бил больно, как расшалившийся мальчишка»{257}.

Константин Васильевич Кандауров, который впоследствии стал мужем Юлии Оболенской и, следовательно, отбил ее у графа, приехал в Коктебель не один, а со своей семнадцатилетний племянницей балериной Маргаритой Кандауровой. И вот тут Алиханушка пропал, погиб, влюбился… Балерина свела его с ума, и он сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться.

Крандиевская писала об этом эпизоде в своих воспоминаниях:

«Мы рассматривали любительские снимки, где отыскивали общих знакомых.

— А это Алихан с Маргаритой на пляже, узнаете? — сказала Майя[25], протягивая мне карточку.

— Вы знаете, — продолжала она, — я одна из первых обо всем догадалась, и когда Маргарита призналась мне, это не было для меня неожиданным.

— Что неожиданно? — спросила я.

— Как? Вы ничего не знаете? — воскликнула Майя. — А я думала, Алихан сказал вам. Он сделал предложение Маргарите Кандауровой перед самым отъездом из Коктебеля. Вернулись в Москву женихом и невестой.

Удар по сердцу был неожиданный, почти физической силы»[{258}].

Но началась война, и все перевернулось и стало не до личных разочарований…

Пойти на фронт добровольно, как Гумилев, Толстой не мог, военный призыв ему не грозил, так как граф имел освобождение от службы по причине повреждения лучевого нерва (эту травму он получил летом 1901 года, когда сильно поранил руку), и тогда Толстой решил отправиться на фронт в качестве военного корреспондента:

«Милый папочка, сейчас я вновь вернулся в Москву и сижу здесь, жду, когда пустят в действующую армию. Немирович-Данченко, Куприн и я сидим и ждем. До времени, пока весь наш фронт четырехмиллионной армии не вступит в бой, корреспондентов пускать не будут — приблизительно до середины сентября.

С Соней мы разошлись друзьями — ты знаешь, из нашей жизни не вышло ничего. Соня сейчас в Петербурге. Ей очень тяжело (хотя она была причиной разрыва), но так гораздо все-таки будет лучше и ей, и мне. Сейчас все интересы, вся жизнь замерла, томлюсь в Москве бесконечно, и очень страдаю, потому что ко всему люблю девушку, которая никогда не будет моей женой… Я работаю в «Русских ведомостях», никогда не думал, что стану журналистом, буду писать *патриотические* статьи. Так меняются времена. А в самом деле я стал патриотом. Знаешь, бывает так, что юноша хулит себя, презирает, считает, что он глуп и прыщав, и вдруг наступает час, когда он постигает свои духовные силы (час, которому предшествует катастрофа), и сомнению больше нет места. Так и мы все теперь: вдруг выросли, нужно делать дело — самокритике нет места — мы великий народ — будем же им»[{259}].

Это письмо примечательно многим. Прежде всего своим тоном — не письмо, а набросок статьи, манифеста с ярко выраженной позицией. Толстой — оборонец, Толстой — патриот, Толстой — великодержавник.

«Мы даже не знали — любим ли мы нашу страну, или так — проживаем в ней только?» Война пробудила «величайшее понятие, таинственное по страшному могуществу своему: слово — отечество».

Когда цифра 14 перевернется и превратится в 41, он напишет еще более яростно и снова подтвердит то, что уже было им сказано (правда, ключевым словом станет не Отечество, а — Родина). Девушка же, упомянутая в письме к Вострому, и есть Маргарита Павловна Кандаурова, отношения с которой у Толстого не сложились, но крови у него она попила немало.

Трудно сказать, чем Толстой ее не устраивал. Скорее всего, в 17 лет получить предложение от серьезного и успешного мужчины, который вдвое старше, и почувствовать себя его невестой ей льстило и кружило голову, но всерьез замуж она не собиралась. Да и опять же искусство, сцена…

«Я считала, что для Алексея Николаевича, несмотря на его страдания, это было объективно удачей: молодая, семнадцатилетняя балерина, талантливая и возвышенная натура, все же не

могла стать для него надежным другом и помощником в жизни и труде»[{260}], — писала позднее Дымшиц с долей легкой снисходительности.

До нас не дошли письма Толстого к невесте, но сохранились его письма, шутовские и серьезные, к ее дядюшке.

«Дорогой Костя, уезжая на войну, увожу с собой твою золотую улыбку. Когда лягу на поле брани с свинцом в груди, передай кому следует мой прощальный привет и поцелуй. Да здравствует русская Армия! Ура!»[{261}]

«Милый Костя, у меня такое тяжелое настроение, что я прошу твоего совета. Мне кажется, что Маргарита совсем не любит меня, ей не нужна моя любовь. За все время я не получил от нее ни строчки, не знаю, здорова ли она, почему она не может исполнить такой пустяшной просьбы, как прислать мне образок на шею Иверской Божьей Матери, я очень хотел бы его иметь. Мне было бы гораздо легче, если бы Маргарита написала мне, что не любит, попросила бы оставить ее. Не знаю, какой властью, но я прикован к ней, я связан, я не могу жить, весь мир кажется мне пустым, и самое тягостное — неизвестность, неопределенность. Пусть она напишет серьезно и просто, если не любит, скоро ли и как, я не знаю, но, м. б. смогу повернуть на иную колею жизни. Я же знаю — ничем на свете нельзя *заставить* себя полюбить, любовь покрывает нас как огонь небесный. К тому же мне кажется, что я стар и безобразен и слишком смутен для Маргариты. Но, Господи, как бы я мог ее любить; но вот это самое не нужно, обычно, никому, потому что любят не за что-нибудь, а так.

Узнай что-нибудь, милый Костя, и напиши мне поскорей или *телеграфируй*»[{262}].

Тем же числом датировано и письмо Толстого Крандиевской:

«Пишите мне… сходите на премьеру «Выстрела», мне будет приятно»[{263}].

Так он гонялся за двумя зайцами, точнее — за одним, не выпуская из виду второго. В последних числах августа 1914 года Толстой выехал на фронт, сначала прибыл в Киев, оттуда поехал дальше на запад в Ковель, во Владимир-Волынский, Лещево, Черновцы, Томашево, Тасовицы, Холм. Вероятно, он писал об этих путешествиях Маргарите, но те письма она не хранила. А вот другая женщина сберегла.

«Милая Наталья Васильевна, сижу на маленькой станции, дожидаюсь киевского поезда, четыре дня мы скакали в темпе по лесам и болотам по краю, только что опустошенному австрийцами. Мы ночевали в разрушенных городах, в сожженных деревнях, среди голых полей, уставленных маленькими, только что связанными крестами. В лесах до сих пор ловят одичавших австрийцев»[{264}].

Крандиевская получала письма Толстого, работая медсестрой в госпитале, куда пошла добровольно под влиянием такого же патриотического импульса. Они оба трудились на войну, на победу — позднее это войдет в «Хождение по мукам»: прежде чем написать один из своих главных романов на бумаге, Толстой писал его в жизни.

А между тем Маргарита считалась невестой нашего мастера всю осень 1914 года, но чем дальше, тем сильнее его тянуло к другой, более зрелой, душевной, способной утешить и понять. Он приходил к Крандиевской домой, засиживался до ночи, они разговаривали часами напролет, и двусмысленность этих встреч увеличивалась раз от раза, но от дома Толстому не отказывали, хотя тайны из своих матримониальных планов он не делал и сомнений не скрывал:

«Маргарита — это не человек. Цветок. Лунное наваждение. А ведь я-то живой. И как все это уложить в форму брака, мне до сих пор неясно».

Однажды он попросил разрешения прийти с невестой. Крандиевская согласилась.

«Маргарита сидела напротив меня. Скромная, осторожная, она вздрагивала от неумных возгласов Толстого и при каждом новом анекдоте поднимала на него умоляющие глаза, но он не замечал этого.

Я оценивала ее положение: слишком юна, чтобы казаться элегантной. И волосы на пробор, чересчур старательно, по-парикмахерски, уложенные фестонами, и ниточка искусственного жемчуга на худеньких ключицах, а главное, напряженное выражение полудетского личика: Боже упаси, не уронить собственного достоинства! — все это было скорее трогательно, чем опасно. Нет, никакая не соперница!»[265]

Все зависело лишь от нее самой. Однако разобраться и с собой, и со своими домашними было не просто. Муж, сын, родня…

«На третий день, поздно вечером, я провожала мужа на Николаевском вокзале. Стоя у вагона, он говорил мне:

— Если б у меня не было доверия к чистоте твоих помыслов, я бы не уезжал спокойно, оставляя тебя. Но ведь ты не просто бабенка, способная на адюльтер. Ты человек высокий, честный.

Я слушала его, стиснув зубы, думала безнадежно: ни высокий, ни честный, ни человек, просто бабенка! И мне было жалко себя, своей неудавшейся чистоты, своей неудавшейся греховности: ни Богу свечка, ни черту кочерга. Жизнь впустую»[266].

С вокзала она вернулась домой. Дома ее ожидал Толстой.

«— Вы? — воскликнула я. — Что вы здесь делаете?

Он не отвечал, подошел и молча обнял меня.

Не знаю, как случилось потом, что я оказалась сидящей в кресле, а он — у ног моих. Дрожащими от волнения пальцами я развязала вуаль, сняла шляпу, потом обеими руками взяла за голову, приблизила к себе так давно мне милое, дорогое лицо. В глазах его был испуг почти немыслимого счастья.

— Неужели это возможно, Наташа? — спросил он тихо и не дал мне ответить»[267].

«Началом моего брака с А. Н. Толстым я считаю 7 декабря 1914 года».

«Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя навек. Я знаю — то, что случилось сегодня, — это навек. Мы соединились сегодня браком. До сих пор не могу опомниться от потрясения, от той силы, какая вышла из меня и какая вошла из тебя ко мне. Я ничего не хочу объяснять, ничему не хочу удивляться. Я только верю всем моим духом — что нас соединил брак, и навек. Я верю, что для этого часа я жил всю свою жизнь. Так же и ты, Наташа, сохранила себя, всю силу души для этого дня. Теперь во всем мире есть одна женщина — ты. Я понял, теперь только почувствовал силу твоей женственности. Душа твоя, белая, ясная, горячая; женственность твоя глубокая и томительная, она потрясает медленно и до конца. Но я знаю, что мы едва только коснулись любви. Как странно — нас обвенчал Дух

Святой в автомобиле, ты уехала одна, сейчас спишь, наверное, милочка, и нам назначено перед тем как соединиться навек, окончить тяжелые житейские дела. Думаю — такой свадьбы еще не было. Когда мы соединимся, мы опять сойдем на землю, но преображенные, и земля будет чудесной для нас, и мы будем казаться чудесными людьми. Мы возьмем от любви, от земли, от радости, от жизни все, и когда мы уснем до нового воскресения, то после нас останется то, что называют — чудом, искусством, красотой. Наташа, душа моя, милая моя женщина. Прости за весь сумбур, который я написал, — но мне хочется плакать от радости. Я тебя люблю, желаю тебя, ты осуществилась наяву, нечаянно как молния вошла в меня. Жду твоего письма. Люблю тебя. Прошу — ничего не говори, я боюсь — он тебя убьет, сам этого не желая».

Позднее все это отразится в его прозе. Один из самых лучших дореволюционных рассказов Алексея Толстого называется «Для чего идет снег» — в нем история, немного похожая на ту, что была в жизни, — замужняя женщина, которая не любит своего мужа, мужчина, который в нее влюблен, зима, Москва, инфлюэнция — все, как было у них. Только разное окончание: героиня рассказа едет к мужу в Харьков с намерением остаться у него навсегда, а Крандиевская отправилась в Петербург, чтобы объясниться с мужем и от него уйти.

Об этом сюжетном повороте Толстой написал в рассказе «Любовь». Там оба влюбленных — и Егор Иванович, и Маша — не свободны. Жена Егора Ивановича — светская женщина, танцовщица, которая любит фотографироваться обнаженной и показывать фотографии близким друзьям, от мужа она далека, но возмущается тем, что его не интересует, где она провела ночь. А у Маши своя боль. Муж ее — сухой, холодный, черствый человек, однако достаточно решительный, чтобы в конце рассказа застрелить обоих любовников на вокзале — отдаленное эхо истории Бострома, Александры Леонтьевны и графа Толстого.

В действительности все было иначе: после объяснений с адвокатом Волькенштейном началась семейная жизнь новой пары, хотя получить развод и обвенчаться с Толстым Крандиевской удалось лишь в 1917 году. Но все же Толстой был счастлив, это хорошо видно по его письмам, несмотря на то что ликование графа в связи с новой любовью разделили не все в литературном мире Москвы, где эта новость обсуждалась бурно, особенно среди дам.

«6-го был у нас Алексей Толстой. Он разошелся с женой и женится на Тусе Крандиевской, которая разводится с мужем — Волькенштейном. В «междуцарствие» — Алихан был прежестоко влюблен в балерину Кандаурову и хотел жениться на ней. Но «Туся» — охотилась за ним еще с прошлого года, когда он еще не думал расходиться с женой, и одолела всех, — записывала в своем безжалостном дневнике желчная мадам Рамбуйе — Хин-Гольдовская. — Теперь жена его, которая семь лет тому назад крестилась, чтобы получить «право жительства» — очутилась в ужасном положении. Она замужем. Муж не давал ей развода, желая получить сорок тысяч с графа или с ее родных. Ее родные — отреклись от нее. Ребенок ее и графа — пока живет с теткой Алексея Николаевича, которая обожает девочку, любит Софью Исааковну и возмущена «Алешей». Алеша к ним не ходит, хоть любит и уважает «тетю Машу», отдавшую ему все, что у нее было. Мальчик «Туси» ревнует «чужого дядю» к матери. Граф вообще ненавидит «мальчишек».

И все это — любовь!

Боюсь, что Алеша — хоть и граф, и Толстой, писателем настоящим никогда не будет, несмотря на несомненный талант. Чего-то нет в этом Степкерастрепке…»[{268}]

Другая знакомая Алексея Толстого, одна из двух сестер Герцык — Евгения, отмечала в записной книжке: «Небывалое количество романов (а наш круг вообще такой безроманный!) в эту зиму военную (пир во время чумы!) — Шеры, Толстой с Тусей, Марина с Парнок, Майя… И

про них мы первые узнаем, и смешливо тщеславимся этим… Иногда почти похоже и у нас на салон фрейлины из «Войны и мира».

Ее сестра Аделаида Герцык сообщала 11 января 1915 года Волошину: «Алексей Толстой сделал меня своей confidente и говорит со мной о своей любви к Наташе Крандиевской (не выдавайте меня, если будете писать!), о том, как эта любовь возродила его, — и действительно у него молодые лучистые глаза, и говорит он, медленно подыскивая слова и спотыкаясь из желания быть искренним в каждом слове. На днях он обещал привести мне обеих сестер для более близкого знакомства»[{269}].

О том, как эта встреча произошла, вспоминала Евгения:

«Сестра у телефона: «Приходите вечером — будет Алексей Толстой, только что с турецкого фронта, с Кавказа…»

С Алексеем Толстым знакомство у нас давнее — через Волошина, Коктебель — но не близкое. Вечером — похудевший, точно сплыл с него жирок бонвивана, в полувоенном, с обычным мастерством, неспешно и сочно рассказывает военные эпизоды. Столпившись вокруг, слушали. Булгаков, загоревшийся платоновским эросом к каждому связанному с русской славой, влюбленно смотрел на него. Но рано простившись, Алексей Толстой шепнул сестре: «Мне нужно отдельно поговорить с вами». И на другой день он поведал ей о новой своей любви, о тайно решенном браке (с первой женой, с которой связана бешено-разгульная полоса его жизни, он уже разошелся): «Вы именно оцените ее, она поэт, и вообще они удивительные две сестры, обе маленькие, талантливые, дружные: когда Туся и Надя чем-нибудь взволнованы, они вместе залезают в ванну, воду по горло, дверь на крючок, плещутся и говорят, говорят. У нее был уже неудачный брак, но они разошлись. Не могла же она, поэт, жить с молодым адвокатом — да в наше-то время! Дорогая, можно привести ее к вам?..»

Он пришел с Н. В. Крандиевской. Тоненькая, искусно причесанная, в каком-то хитрого фасона платьице с разлетающейся туникой поверх узкой юбки. И щуплая книжечка ее стихов, сколько помню, изящных и холодноватых. Он жадно смотрел на ее губы, пока она читала, а потом сияющим, ждущим взглядом на сестру: как-то она поймет, обласкает невесту-поэтессу. Нова была эта простодушность в нем, цинике и в жизни, и в ранней беллетристике своей. Помню, за чаем, совсем размягчившись и уж не стесняясь меня, ему чужой, он говорил с медвежачьей наивностью: «Мы хотим жить так, чтобы все было значительно, глубоко — каждый час. По-новому жить. Так Туся говорит. Как ты говорила, Туся?» Слова были беспомощны и смутны, но и вправду союз его с Крандиевской на первых порах внес что-то новое, обогатил его несложную психологию. Сужу об этом по трогательным образам сестер в «Хождении по мукам». Как сложилась их жизнь вдвоем, нам не пришлось видеть: жили в разных странах, позднее в разных сферах — он вверху, мы — внизу»[{270}].

Их жизнь сложилась по-разному, но очень долго Толстой с Крандиевской были счастливы совершенно, хотя постороннему глазу могло показаться иначе: «О Толстых теперь ничего не знаю, увижу их в Коктебеле и тогда напишу Вам. У меня мало доверия в их союз; она такая субреточная, боязливая, ущемленная, и Соня была, мне кажется, значительнее…»[{271}]

Сама Софья Исааковна писала позднее в мемуарах, принужденно сбиваясь на какой-то суконный язык: «Я обрадовалась, что талант его найдет себе верную поддержку. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание».

А Толстой ездил корреспондентом на фронт и посылал домой письма: «Наташенька моя, если

бы ты знала, как я люблю тебя, как предан тебе. При мысли о тебе я взволнован и испуган немного и почтительно. Представляю тебя нежную, легкую, своевольную душеньку, умную и бестолковую, изменчивую и ласковую. Я чувствую тебя всем духом, всем телом. В тебе сочетание родного, женского, милого с вечно ускользающим своеволием и потому опасным»[272].

«Душенька моя, очарование мое, ты принесла мне такое счастье, о котором я не мог мечтать, потому что не знал, что можно так любить и так полно существовать. Наша жизнь еще только начинается, и нашей любви и счастью нет конца… Выше тебя, прекраснее тебя я не знаю, благословляю Господа за то, что он послал мне тебя»[273].

«Для тебя я бы перенес всякие страдания, всякое унижение, только ты люби меня, Наташенька, хоть за то, что люблю тебя во всю силу…»[274]
«Если с тобой, то я хочу бессмертия, если один — то мне ничего не нужно за гробом»[275].

## Глава X. Призвание

«Война и женитьба на Наталье Васильевне Крандиевской были рубежом моей жизни и творчества. Моя жена дала мне знание русской женщины»[276].

«Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и перечувствовал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений. Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрав с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ».

Два эти клише из двух толстовских автобиографий разного периода — увидел русский народ и узнал русскую женщину — не следует считать чем-то формальным. Бунин позднее полагал, что Толстой хохотал, пиша автобиографию. Может быть, и так, но над этими строками он, скорее всего, не смеялся. Толстой не был ни солдатом, ни офицером, не был и писателем-баталистом, и его военную прозу трудно назвать удачей, — но война помогла ему сменить тему, действительно себя исчерпавшую, — изображение нравов русского дворянства. Она показала ему жизнь с иной стороны и подготовила его к тому рывку, который он сделает в двадцатые — тридцатые годы, когда напишет лучшие, самые глубокие свои книги.

Хин-Гольдовская, к этому времени уже Толстого откровенно невзлюбившая, писала в июле 1915 года: «…Не понимаю, как можно *теперь* писать рассказы на современные военные темы. А вот Алеша Толстой упражняется! Тянет в «Русских ведомостях» благородно-романтическую канитель: муж заботится о раненых, жена — сестра милосердия, герой жены — князь — убит на войне — ни дать ни взять Анна Каренина в трех фельетонах и наизнанку. Как не стыдно! Уж если нельзя без «строчек» (и я понимаю, *что нельзя*, — ведь и «Соня», и «Туся», и тетя Маша с Марьянкой — всем требуется «провиант») — то при его способности писать обо всем и ни о чем — ведь можно эти самые строчки нанизывать из обывательской дряни… А войну доить *ему* — грех…»[277]

Речь идет о рассказе «Буря» — не самом лучшем, действительно конъюнктурном и искусственном. Но интереснее другое. Хин-Гольдовская предвосхищает те упреки, которые будут обращены к Толстому в советское время, — что он ради семьи, ради заработка продался, пошел в услужение к большевикам, написал «Хлеб», написал «Ивана Грозного», а между тем «продался-то» Толстой намного раньше и с самого начала на литературу смотрел как на

основной источник благосостояния своей семьи. А то, что содержал и Соню, и Тусю, и тетю Машу с Марьянкой[26], едва ли можно ставить ему в укор, хотя многих он раздражал прежде всего своей удачливостью и кажущейся легкостью, оборотной стороной трудолюбия и фантастической работоспособности.

Но войну он все-таки не доил. Ни в 1914-м, ни в 1941-м. Он для нее работал.

«В нем нет шовинизма и опьянения жутко сладким вином войны, нет развязности и бахвальства всезнаек, пишущих о войне за десятки верст от нее», — отзывались о Толстом в журнале «Современный мир» в 1915 году.

Марк Алданов позднее писал:

«Русское искусство — в лице наиболее известных своих представителей, как Короленко, Горький, Бунин, — отвернулось от этой колоссальной темы. Патриотическая пьеса Андреева «Король, закон и свобода» и обличительная пьеса Арцыбашева «Война», мягко выражаясь, ничего не прибавили к славе этих писателей. Один А. Н. Толстой составил счастливое исключение. Огромная трагедия захватила его художественную натуру. В качестве корреспондента одной из лучших русских газет он изъездил фронты… В своих превосходных корреспонденциях он не опускался до бульварного тона, который считался всюду почти обязательным в первые годы войны. Русский патриот в лучшем смысле этого слова, он никогда не играл на грубо-шовинистических инстинктах толпы»[278].

«В своем отношении к войне и в изображении ее он оставался свободным от патриотического угара, от аляповатых шовинистических батальных картин. Не прославляя и не проклиная войны, он художественно изобразил не героические битвы, а повседневную жизнь на войне, «около битв», то обыденное, будничное и общечеловеческое, что сохраняется людьми, хотя бы они даже неделями сидели в окопах»[279], — утверждал профессор Петербургского университета А. С. Ященко.

Толстой писал рассказы — «Обыкновенный человек», «Под водой», писал циклы очерков «По Волыни», «По Галиции», «На Кавказе», был на Западном и Южном фронтах (на Кавказе), изображал как умел то, что видел, в его прозе было много мелодраматического, он поддерживал боевой дух и ни разу за три года войны не усомнился в ее необходимости. Он знал и видел, что война другая, чем он ее пишет, — можно даже сказать, он сознательно лгал, затенял те или иные стороны и в «Хождении по мукам» высмеял собственные настроения первых военных месяцев, создав авто-пародийный образ журналиста Антошки Арнольдова:

«Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв это нам ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах: «Отечество в опасности» — народ поднялся, как один человек. Гнев его будет ужасен. Отечество — могучее, но забытое нами слово. С первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас…»

Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходилось писать! Не то что две недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в Буффе выходил на эстраду человек, одетый свиньей, и пел: «Я поросенок, и не стыжусь. Я поросенок, и тем горжусь. Моя маман была свинья, похож на маму очень я…»

«…Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война— наше очищение», — писал Антошка, брызгая пером».

Антошка — это Толстой, его авторское альтер-эго, сопряженное с умением смеяться над самим собой. Но Антошка появится потом, а во время войны Толстой подчинял свой талант общественной необходимости. Забегая вперед и распространяя эту мысль на советское время, можно так сказать: и в двадцатые, и особенно в тридцатые годы Толстой тоже все видел, но не писал правды, потому что для нее не настало время, но если б ему было дано дожить до «оттепели», — можно не сомневаться, что самое яркое и правдивое изображение советской жизни появилось бы в его прозе. Просто Толстой как никто другой чувствовал конъюнктуру момента, и это было, по сути, еще одной гранью его таланта, к которой можно по-разному относиться, но которой сам он не мог пренебречь.

А между тем его частная жизнь в годы войны шла своим обычным порядком, отличным от судеб его героев, бросившихся в войну как в выход из метафизического тупика.

Лето 1915 года Толстой провел сначала на даче в Иванькове под Москвой, а затем в Коктебеле. Волошина не было, но компания и без него собралась представительная. Елена Оттобальдовна Волошина (Пра) писала сестре Сергея Эфрона Лиле: «Кроме Марины, Аси, Сони и Лизы Парнок… приехал еще Алихан с Тусей. Со вчерашнего дня к нам присоединился еще один поэт Мандельштам. У нас весело, много разговоров, стихи, декламации. Аля с Андрюшей необыкновенно милы, каждый в своем роде, и вместе и порознь хороши. С Мариной и Асей без перемен, и я их по-прежнему люблю; по-прежнему люблю и ценю больше Марину; по-прежнему обеих очень жаль»[{280}].

Толстой в этом ряду отдыхающих едва ли не самый успешный и благополучный литератор с абсолютно традиционной личной жизнью. Может быть, поэтому после 1915 года он в Коктебель больше не ездил, предпочитая более традиционные места и способы времяпрепровождения.

«…Мы жили на Оке, возле Тарусы… — вспоминала Крандиевская. — По вечерам… когда на столе зажигали лампу и под абажуром кружились ночные бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке машинки наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал еще не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своем присутствии. Возьмет вдруг и стрекотнет, и опять замолчит надолго.

— Это он тебя стесняется, — говорил Толстой, — а ко мне он уже привык. Мы — друзья».

Этот сверчок упоминается и в толстовском дневнике («Сверчок, который жил у меня на столе»), он же потом появится в «Золотом ключике», его, по словам Крандиевской, Толстому будет не хватать в эмиграции. Но в дневнике Толстого тарусское лето отражено записями, полными тревоги, неустройства и одновременно любви к миру среднерусской природы, и в этих записях удивительно раскрывается его душа:

«На станции Ока. Солдаты переносят багаж через мост. Наташа на палубе маленького парохода. Разговор. Закат, синие, застывшие по всему небу облака и длинный мост, с движущимися вагонами, отражаются в реке, темной и гладкой, как зеркало. Красноватые полосы заката между мостом и водой. Круглый, несветящий месяц.

На станции мальчик приносит мне чаю, рассказывает про каких-то господ, которые ехали на пароходе, сели на мель, промокли, явились на станцию, у одного сапоги задрались кверху носками, съели весь буфет. «Ночью дремлется, вспомню и засмеюсь».

Сторож кричит на солдат, шляющихся по станции со штыками, зовет «дармоеды, молодчики»,

солдаты боязливо жмутся.

Станция Тарусская, утро, рожь, мысок. Свистят птицы, над кленами кричат грачи. Глупые бабы. Типы: сопливый оборвыш, пьяненький помощник, полегший с утра на содовую. Кучки бабьих тел, спящих на полу, между окурок.

Прогулка с Наташей на Оку, ночью. Роса, дергачи, встала луна над мысом.

*Я еду со станции на таратайке. Акулина. Сидит, выставив ногу* в *огромном башмаке, рот поджала, носик вострый, думает. Одна (муж давно помер) всех детей вырастила, в августе сразу двух сыновей берут в солдаты, остается 10-летний. Природой, разумеется, не любуется. Про мужика сказала: «Здесь земля слабая»*[{281}].

Толстой, в отличие от мужиков, природой любовался:

«Идем с Наташей по полю по дороге к Оке. Наташа рассказывает, как в детстве играли в чижик. Молчали. «Юность хороша в воспоминаниях, а сама по себе — без соли. Сейчас я сохранила в себе все, что было во мне в 15 лет, но стала глубже и покойнее».

*С Наташей пошли за деревню на березовый косогор вдоль ржи. Низкое солнце ударило из-под тучи. Тишина. Небо темно-сизое, грозовое и мрачное, на нем мокрые березы, темно-зеленые, залитые низким солнцем. За оврагом высокий березовый мыс. Наташа сказала: «Подумай, этот вечер никогда не повторится».*

Лежали на той стороне на песке. Синее небо, летели белые облака. Серая река, глинистый обрыв, лес за ним, в небе коршуны. <…>

Не забыть рыбную ловлю. Бычаги. Сырые луга. Медовые цветы. Закат»[{282}].

В этих записях одно из объяснений, почему он вернется в Россию…

В 1916 году Толстой добился и европейского признания: писателя позвали за границу, куда он впервые отправился не за свои деньги, а в служебную командировку. В дневнике Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс, чей муж, Гарольд Вильямс, работал корреспондентом «Таймс» в Москве и эту поездку устроил, есть такая запись:

«Всю неделю Вильямс возился с поездкой журналистов. <…> Посол пожелал Чуковского. <…> Затем Вильямс рекомендовал Немировича, Набокова, Ал. Толстого. <…> Ал. Толстой большой, бритый, уже толстый, веселый, с юмором, с бурными интонациями ввалился к нам и болтал с неисчерпаемостью талантливого ребенка.

— Я три дня писал статью. Перечел. Вижу сплошную глупость. Лег на диван, пришел в отчаяние. Никуда больше не гожусь. Ничего не выйдет. Вдруг звонок: — Консул английский просит к телефону. Что-о? Почему консул? Пошел. Я консул. А я Толстой. Хотите ехать в Англию? Хочу! Через день? Согласен. Еду через день. — И хохочет весело, густо, утробно, по-помещичьи.

Наверное консул подумал, что я или дурень, или пьян, что на все согласен.

Поездка и взволновала и радовала его. В воскресенье днем посол напоил их всех чаем. Когда Толстой вошел, посол обрадовался, верил, что вот настоящий граф. Обратился к нему по-французски. А Толстой стоит как столб, улыбается и молчит»[{283}].

Несколько иначе отреагировала впоследствии на миссию русских общественных деятелей Зинаида Гиппиус: «Должно быть, он не дремал и если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в Спб-ском моем дневнике отмечен как один из абсурдов во время войны 14-года посылка правительственной делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый почти невидимый «Алешка» и старый знакомец наш, бывший секретарь Рел. — Философских собраний Ефим Егоров; когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся к «Новому времени» Суворина, и которого милый В. Тарнавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация» — осталось навеки неизвестным»[284].

Со стороны Гиппиус это просто формула речи со скрытым подтекстом: почему не пригласили Дмитрия Сергеевича (Мережковского)? А Толстой в Англии занимался тем, что представлял свою страну, и это существенно, потому что опять-таки его советское амплуа — вояжи за рубеж, пышные приемы, участие во всевозможных конгрессах и обедах, встречи с государственными деятелями и важными персонами, речи, которыми прославится он в советское время, — все это началось еще до революции. Писатель, державник, патриот, посланец великой страны — у него был богатый опыт по этой части.

Много позднее, в советское время, он смешно опишет эту поездку в Лондон 1916 года: «Незаметно вошел маленький человек, причесанный на прямой пробор. Его выпуклые, немигающие серые глаза с кровяными жилками, как стеклянные, глядели на правофлангового. Поглядели и перекатились к следующему, и так до конца, где министр двора изящно склонился. Маленький человек неожиданно вдруг густо кашлянул. Это был король. Та же бородка, те же усы серпом, что у Николая, но лицо другое — меньше, маленькое, покрытое сеточкой кровяных жилок. Лицо человека, который, видно, хлебнул беспокойства, но держится, разве что в сумерки уйдет к себе, один, — сидит, покашливает в пустом кабинете. Герб, символ, — не легко.

Король был одет в черный поношенный сюртук, в теплые брюки, под которыми как-то не чувствовалось ног, в поношенные штиблеты (верх желтый, головка лакированная).

Кашлянув, он снова принялся глядеть на правофлангового и заговорил глуховатым голосом:

— Я рад приветствовать вас, мистер такой-то, и вас, мистер такой-то… (Всех помянул…) Надеюсь, что гостеприимство, которое вы встретили, соответствует нашим чувствам. Теперь война, но бог хранит наше оружие. С помощью бога общими усилиями мы победим. Право, справедливость и нравственность восторжествуют. Передайте вашим соотечественникам, что Англия никогда не забудет тех жертв, которые Россия принесла в эту войну.

Затем король быстро подал руку с правого фланга каждому, министр опять склонился, и король бодро вышел. Историческое мгновение было окончено и запечатлено в душах. Каждый твердо верил в королевское слово о том, что Англия не забудет о принесенных ей в жертву семи с половиной миллионах русских мужиков».

Понятно, что в 1927 году, в пору очередного обострения советско-британских отношений, Толстой ерничал, но любопытно, что иронический тон в отношении той поездки и английского монарха позволил себе в «Других берегах» и Владимир Набоков, который сам тогда в Лондоне не был, но знал о миссии русских журналистов со слов своего отца, одного из тех не названных Толстым подданных русского кузена, которые представляли в Букингемском дворце Россию:

«Летом 1919-го года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916-го года приезжал туда с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский) по приглашению британского

правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивающий литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бру-ар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни».

Чуковский и сам оставил очень живое воспоминание об этой поездке:

«Кто-то из нас в шутку рассказал Алексею Толстому, будто капитан парохода сообщил под великим секретом, что мы вступили в опасную зону, кишащую германскими минами, и что за нами охотится подводная лодка.

Алексей Толстой поверил этому вздору и тотчас же, уйдя к себе в каюту, стал писать очередную корреспонденцию о германских минах в Северном море.

Писал он не меньше часа. А когда кончил, мы сообщили ему, что он стал жертвой своего легковерия. Это так разгневало его, что он бросился в каюту Василия Ивановича Немировича-Данченко, который не принимал никакого участия в нашей коварной шутке.

Старый, семидесятипятилетний писатель мирно почивал в комфортабельной каюте, положив на ближайшую тумбочку свои белоснежные зубы. В ослеплении гнева Толстой схватил эти ни в чем не повинные зубы и хотел бросить их в море. Мы с трудом удержали его. А незлобивый Василий Иванович, чуть получил свою челюсть обратно, мгновенно успокоился и, взяв у меня Чукоккалу, написал в ней стихотворный экспромт — о том, что стало бы с каждым из нас, если бы мы и в самом деле наткнулись на немецкую мину.

*Восплачь, Москва, Батум, Верея!*
*Века несчетные пройдут,*
*Но даже трубки Алексея*
*Здесь водолазы не найдут.*
*И только там, где пал, о боги,*
*Сей легковерный Алексей,*
*Одни норвежские миноги*
*Жирнее станут и вкусней»*[{285}].

Толстой в эти годы общался преимущественно с писателями нравственными, писателями-москвичами, с московской средой, настроенной более патриотически, нежели питерская. Да и вообще удивительно, насколько он, провинциал, в Москву вписался.

«Странные лица попадаются в Заволжье. Оденьте их обладателей в римскую тогу — проконсулы, сенаторы, быть может, императоры времен солдатских переворотов… Замените римскую тогу костюмом соратников Мамая — пред вами татарин, сборщик податей в Тверском княжестве. В них одновременно: величие и жестокость, презрение и жадность, вызов и животный страх…

В бобровой шубе, в суконных валенках, в пенсне без оправы, в декабрьских сумерках, на

полированной Петровке… Зоркий москвич заинтересован: «Кто такой? что за человек?..»

В новеньком смокинге, в огромной манишке, в лаковых полуботинках одно такое лицо частенько раскланивалось со сцены Московского Драматического театра. Оно же гуляло по Петровке, оно же сидело у «Бома», оно же мелькало в Литературно-художественном кружке. Самый заядлый провинциал, пробыв в Москве хоть одну неделю, — уже знал, уже запоминал.

Утром разворачивал «Русские Ведомости», под нижним фельетоном встречал длинную подпись: «граф Алексей Н. Толстой». Ага, вчерашний, как же, как же…» — писал о Толстом журналист Владимир Рындзюн, более известный по псевдониму А. Ветлугин.

Константин Паустовский описывал в «Повести о жизни» одну из литературных сред в доме Телешова: «Я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма». Я надеялся увидеть на среде Максима Горького. Но его не было».

Так Толстой вошел в московскую писательскую среду и фактически отрезал от себя петербургскую литературную компанию, как позднее отрежет от себя эмиграцию. Кстати, по иронии судьбы именно при его участии было закрыто кафе «Бродячая собака»: полиция обнаружила, что там дают запрещенное в столице вино и играют в азартные игры — одним из игроков был оказавшийся в подвале Толстой, другим — Маяковский В военные годы Толстой продолжил писать «Егора Абозова», написал несколько пьес, которые были поставлены на сценах провинциальных театров, — «Нечистая сила», «Ракета», «Касатка»; последняя была особенно им любима, в ней чувствуются мотивы заволжского цикла и воспроизводится сюжет «Недели в Туреневе», но в пьесе гораздо меньше ерничества и издевки, зато сильнее ощущается лирическое начало. Наталья Васильевна Крандиевская в этом смысле одухотворила Толстого, хотя ей самой не все написанные им пьесы нравились, так, она была настроена против «Ракеты», в основу которой легла ее собственная история любви.

А «Касатка» принесла Толстому огромный успех. Он получил Грибоедовскую премию, пьеса была поставлена в Московском драматическом театре, в ней играли замечательные актеры М. Блюменталь-Тамарина, Н. Радин и М. Нароков, которых вызывали на премьере по десять раз. Слава Толстого-драматурга затмила славу прозаика, как когда-то прозаик затмил поэта. Граф освоил все ремесла, но главным делом оставалась для него война. В конце 1916 года он стал работать во Всероссийском земском союзе, и позднее этот опыт пригодится ему для создания образа мужа Кати Николая Ивановича Смоковникова. Ирония пришла позже, тогда же он был серьезен и с ответственностью относился к своим общественным обязанностям. «Самое же интересное — это Земский союз — вся организация и работа: это не случайное и не преходящее с войной, а новая формировка общества в стройную и творческую организацию»[{286}], — писал Толстой жене в январе семнадцатого из Минска.

Январем 1917 года датируется еще одна важная в жизни Толстого встреча, о которой впоследствии он напишет в статье «Падший ангел», посвященной памяти Блока:

«В январе 917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о работавших в дружине башкирах. Меня провели в жарко натопленный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, зашел заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все, что угодно, но я никак

не мог ожидать, что этот заведующий окопными работами — Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит на лошади; говорили о войне, о прекрасной зиме… Когда я спросил — пишет ли что-нибудь, он ответил равнодушно: «Нет, ничего не делаю». В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину, — она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором. Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал страшную фразу — тогда я не понял ее: «В этом доме, я знаю, будет преступление».

А потом произошла революция, которая застигла графа врасплох. Во всяком случае, предчувствия революции ни в его дореволюционной прозе, ни в публицистике нет, уже потом оно будет задним числом приписано героям его романов. Но вторую русскую революцию он принял, и его отношение к ней можно назвать почти шаблонным — кто из русских писателей того времени не приветствовал Великий Февраль? Разве что Розанов. Толстой же пребывал в эйфории и радостно описывал в одной из своих публицистических статей в газете «Русские ведомости» революционный день в Москве:

«Это был тихий, беловатый, едва затуманенный день… все казались мне страшно притихшими в этот день, все точно затаили дыхание, несмотря на шум, крики, радость.

Казалось, все точно чувствовали, как в этот день совершается нечто большее, чем свержение старого строя, большее, чем революция, — в этот день наступал новый век. И мы первые вошли в него.

Это чувствовалось без слов, — слова в тот день казались пошлыми: наступал новый век последнего освобождения, совершенной свободы, когда не только земля и небо станут равны для всех, но сама душа человеческая выйдет наконец на волю из всех своих темных, затхлых застенков.

В этот день, казалось, мы осуществим новые формы жизни. Мы не будем провозглашать равенства, свободы и любви, мы их достигнем. Было ясно, что ни царская ливрея, ни сюртук буржуа уже не на наши плечи.

Первого марта, я помню, у всех был только один страх, — как бы не произошла неуместная жестокость, не пролилась кровь. Словно настал канун великого вселенского мира. Так было во всей России»[{287}].

Восторг, упоение, чаянная радость… Он был совершенно искренен, хотя что лично ему сделала плохого царская ливрея? Разве что измотала нервы, когда он разводился с Рожанской, чтобы жениться на Дымшиц, а потом ждал, когда разведется Дымшиц, и так этого и не дождавшись, ждал, когда разведется Крандиевская, с которой только революция дала возможность обвенчаться и жить в законном браке.

«Церковным же браком мы были повенчаны только в 1917 году в мае месяце после моего развода с первым мужем присяжным поверенным Ф.А. Волькенштейном. Шаферами нашими были: профессор Каллаш, писатель Новиков, философ Рачинский и Мусин-Пушкин, друг Алексея Николаевича»[{288}], — писала Наталья Васильевна, у которой к тому времени родился сын Никита.

Толстой был счастлив в 1917 году — любимая жена, любимый сын, любимая страна, в будущее которой он верил, и революции он был, скорее всего, рад не потому, что она произошла — в

отличие от символистов он ее не призывал, — а потому, что она произошла тихо, бескровно, особенно в Москве, где он жил. Революция, казалось, на первых порах, не несла угрозы ни его благосостоянию, ни благосостоянию государства. Его собственные настроения тогда были лишены какой бы то ни было революционности, и по самому роковому для России вопросу, продолжать или нет войну, граф высказался совершенно определенно, как и прежде, — продолжать до победного конца:

«И вот в эти дни странно думать, что нужно идти убивать, когда мы готовы всем протянуть объятия. Жестокое испытание: во имя последней свободы поднять меч.

Грядущая свобода должна уничтожить войну навсегда. Но, чтобы была у нас эта свобода, нужно эту войну довести до конца, потому что тень уходящего злого века еще покрывает больше половины земли»{289}.

А если этого не произойдет, если Россия остановится, если солдаты бросят штыки, страну ждет гибель:

«Мы перестанем быть русскими, людьми, превратимся в удобрение. Мы потеряем не одни только западные губернии, в нас, в русских, будет погашен свет нового века.

Я не верю в гибель, и верить в нее никто не должен. Русский народ мудр и силен, и получил право таким называться. Но мы еще слишком все под обаянием утреннего тумана свободы. От созерцания должно перейти к действию.

Я знаю, у нас сейчас нет злобы, нет ненависти к врагу, и пусть. Нам не нужны эти варварские возбудители, чтобы быть могущественными. В нас должен проснуться высокий гнев к тем, кто посягает на нашу сущность. Сейчас, пока, мы должны строить наше государство под пушечные выстрелы, другого выхода нет»{290}.

Изначально это была не статья, а речь, произнесенная на одном из писательских собраний, очень сильная и ясная. Она тонула в море сотен, тысяч подобных речей, которые ежедневно и ежечасно произносились по всей России, превратившейся в непрерывный, громадный митинг. В «Хождении по мукам» Толстой с горечью и сарказмом напишет об одном из своих героев (причем не просто герое, но враге — Катином муже, адвокате Николае Ивановиче), тоже земгусаре, которого солдаты за красивые слова — «свободная революционная русская армия со свежей силой должна обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию» — убьют.

Однако главными в весенней публицистике Толстого 1917 года были не рассуждения о красоте, свободе и ненависти, а мысль о потере западных губерний, которыми ровно через год пожертвует Ленин для спасения революции, и этой жертвы безземельный аристократ большевикам не простит.

Крандиевская вспоминала позднее о том, как однажды летом 1917 года М. Гершензон в присутствии Толстого стал приветствовать массовое дезертирство и хвалить большевиков, на что Толстой «возражал горячо, резко и, проводив Гершензона, сказал:

— Все дело в том, что этому умнику на Россию наплевать! Нерусский человек[27]. Что ему достоинство России, национальная честь!

Под национальной честью подразумевалось, видимо, сохранение фронта и война с немцами до победного конца»{291}.

Весной 1917 года Толстой был настроен бодро и оптимистически, с умилением наблюдая, как мирно и благодушно мудрый русский народ проводит свою революцию — везде порядок, идут к Кремлю подростки, женщины, рабочие, киргизы в пестрых халатах, каждым батальоном руководит начальник с красным жезлом, над волнующимися реками народа двигаются красные хоругви и знамена и ласкающие глаз лозунги: «Да здравствует братство народов», «Да здравствуют армия и народ», «Да здравствует демократическая республика», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день», «Свобода, любовь и равенство», а еще дальше несут портрет Льва Толстого[28], и все это будет когда-нибудь водружено на храме единого человечества.

«Два рыжебородых мужика в солдатских шинелях и папахах, надвинутых на уши, пережидая у ворот, пока высыплется из них толпа, говорят друг другу с умной усмешечкой:

— Посмотрел бы теперь немец, каки-таки у нас бунты.

— Да, — говорит другой, опять усмехаясь, — под гнетом были.

И это литературное словцо «под гнетом» звучит с неожиданной и новой убедительностью…

Этот народ сегодня в первый раз вышел из подвалов. И вот — величайшее чудо: он принес из подвалов не злобу, не ненависть, не месть, а жадное свое, умное сердце, горящее такой любовью, что, кажется, мало всей земли, чтобы ее утолить. Великий, незабываемый день нового века. Поверившие на слово народу могут быть спокойны»[{292}].

Это было написано в марте 1917 года. Написано в городе, который жил совсем иной жизнью, чем огромная страна, «страна-сфинкс», по дневниковому определению Пришвина, «Россия неизвестность», по дневниковому утверждению Гиппиус. Но Толстому тогда казалось, что он все об этом народе знает, и, пожалуй, ближе всего он стоял в это время к Блоку, который писал у себя в дневнике:

«Ненависть к интеллигенции и пр., одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *сберегается* ВСЕМ революционным народом.

Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ»[29][{293}].

Весной 1917 года Толстой участвовал в деятельности Клуба московских писателей, заседания которого проходили в редакции журнала «Бюллетени литературы и жизни», издаваемого его тестем Крандиевским, он печатался в журнале «Народоправство», который издавал М. В. Родзянко, редактором его был Георгий Чулков, а авторами — Зайцев, Ремизов, Пришвин, Вяч. Иванов, а также философы Бердяев и Вышеславцев.

Возможно, имея в виду именно этих литераторов, Толстой изобразил в «Рассказе проезжего человека» компанию людей, «утомленных суетою дня, газетными ужасами, тяжелыми предчувствиями».

«Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?» Один уверял, что «вырежут всех и не позже пятницы»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода». «Ну и умрем, — сказал четвертый, — велика беда, все равно помирать надо когда-нибудь». «Но

я не хочу умереть насильственной смертью!» — восклицал пятый. И этому наивному заявлению улыбались. Затем, сморщенный и маленький, с вылезающим воротником, газетный писатель, мгновенно возбудившись, произнес, размахивая папиросой и надвигая пенсне, следующее:

— Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, с пятью миллионами убитых, — ни к чему! Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель! (Он изобразил всем видом своим эту цель, причем воротник его полез на затылок.) Но какая цель во всем этом миротрясении? — я спрашиваю. Мы устали! Дайте нам отдых! Мы не хотим ничего больше! Не верим. Истины изнасилованы! Идеалы заражены сифилисом! И, как некогда погибли Содом и Гоморра, так и мы провалимся в тартарары. Имя нашему времени — возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего…

— Скуууучно… — завыл ветер в печной трубе».

А в это самое время в трехстах километрах к югу от Москвы еще один писатель заносил в свой дневник:

«Анархия» у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что «лозунгов», но и простых человеческих слов — изумительные. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит мою «Деревню» и пр.! <…> Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины! <…> С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ![30]Участвовать в общественной жизни, в управлении государством не могут, не хотят, за всю историю. <…> Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила»[294].

Толстой ее не учил, но в координатах Бунина взгляд на народ выражал действительно интеллигентский. Эрфуртскую программу учил его отчим и теперь спрашивал находящегося в столицах и пишущего умилительные публицистические статьи своего воспитанника, что происходит и как дальше быть. Письмо Бострома до нас не дошло, но, судя по ответу Толстого, можно представить себе тот ужас, который испытал Востром, уже совсем старенький и опешивший от того, что Маркс, которого он на пару с Александрой Леонтьевной почитывал в молодости, стал бродить не призраком, а явью по стране, и в том краю, где жил Алексей Аполлонович, мужики снова жгли усадьбы, грабили и убивали, как в 1905-м, но гораздо страшнее и безнаказаннее.

«Марксизм не марксизм, а, очевидно, Россия найдет свой в какой-то высшей степени оригинальный политический и общественный строй, очевидно, демократический, — поучал Толстой своего наставника. — Вообще я очень радостно и светло смотрю на наше будущее. То, что у нас делается сейчас, — экзамен на первом курсе в мировом университете. Учиться нам нужно (главным образом на практике, по своему разумению, а не по книжкам) долго и трудно. И пока ученье идет хорошо, правильно, и уже сейчас можно указать на несколько присущих нам свойств: русский народ — не буржуазен, т. е. собственность, как идея, не составляет для него фетиша, и русский народ в высшей степени приспособлен быть носителем идей социально-анархических, т. е. идей грядущей абсолютной свободы и т. д.

Все, что делается сейчас плохого, все объясняется невежеством народа и гнетом войны; нужно удивляться, как еще мало делается у нас злого и страшного[31]. Теоретически нужно было бы предположить, что к 7-му месяцу революции Россия представляла бы собой груду дымящихся

окровавленных развалин. А мы еще живем, бунты подавляются почти без крови, армия защищает города, партии борются словами, а не топором, фонари предназначены пока еще только для освещения»[{295}].

Схожие мысли звучали и в его публицистических статьях — в августе Толстой написал статью о Московском государственном совещании, где спел здравицу Керенскому. К этой же поре относится и воспоминание о встрече с Толстым Степуна:

«В России я видел Толстого в последний раз в тревожный день Московского Государственного совещания. Во время перерыва заседания он почти насильно умыкнул меня к себе завтракать. Ему, очевидно, хотелось поговорить о происходившем и еще предстоящем. Разговор начался уже в пролетке. В этом разговоре Толстой поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся как к родной ему стихии озорства и буйства. Не вспоминая деталей, я хорошо помню то значение, которое этот разговор имел для меня. Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в недооценке которой заключалась коренная слабость нашей либерал-демократии»[{296}].

К своему девятому месяцу повивальная бабка истории — революция дошла и до «гр. А. Н. Толстого» — именно такая табличка висела на двери его дома на Малой Молчановке, и каждый мог разуметь ее как хотел — то ли граф, то ли гражданин.

В октябре 1917-го Толстой оказался на линии огня между, как записал он в дневнике: «Комитетом общественного спасения и Революционным комитетом. Борьба кровопролитна, и невозможно ее прекратить, пока одна сторона не истребит другую. Все это каким-то образом напоминает в миниатюре мировую войну: та же неуловимость цели, неопределенность вины за начало войны, упорство и невозможность договориться и окончить. Таинственный, космический дух мировой войны перекинулся в Москву. Все, что происходит в эти дни, бесприютно и таинственно»[{297}].

Эта запись похожа на начало романа с декадентским налетом, что-то вроде будущей «Аэлиты» либо «Гиперболоида инженера Гарина», и разговоры с соседями по дому велись под стать — все о том же, декадентском:

«Вечером короткие атаки большевиков на юнкерские заставы. Тишина нарушается ревом пулемета и залпами. Командует тверским отрядом Саблин.

Ночью на дворе. Морозец. Большие, ясные звезды. Стояли с Берлинским у дров и говорили о танго, оккультных книгах, войне и социальной революции. Загоралась жаркая перестрелка на Поварской и Арбате. Изредка бухало орудие. Ревел снаряд. Сидели на лестнице, внизу — Наташа, еще кто-то. Высокий небритый господин рассказывал, как его надули. Ждали большевиков»[{298}].

Но чем дальше, тем более растерянными, драматическими и лишенными литературного налета становятся графские записи.

«*1-го ноября.* Непрерывный грохот орудий. Шрапнели рвутся над церковным двором, осыпая и наш. На окнах строят баррикады. Некоторые спустились в подвалы, но в общем у всего населения гораздо больше спокойствия, или апатии.

Говорят, что прислуга уже разделила квартиры для грабежа. Случай с выстрелом во время обеда из окна на Б. Молчановке.

Ночью выстрелы вывели Наташу из себя, она отчаянно бранила меня и няньку, легла на полу в ванной.

Дети устроены внизу. Мы с Наташей легли спать в ванной. Всю ночь грохот снарядов и бешеная перестрелка.

2-го. Тяжелыми снарядами обстреливают рядом с нами Казаковский дом. Почти все жильцы перебрались вниз. С той стороны несколько окон разбиты пулями. Газ плохо горит. Хлеба нет. Телефоны не работают. Юноша-разведчик принес даме письмо от родных с Шереметьевского; бегает по всему городу, побывал у большевиков, был арестован и по суду приговорен к 2 неделям ареста, бежал. <…> В сумерки Москву покрыл густой туман. За время всех этих событий отошли, растаяли все прежние интересы, желания, цели. Осталось только одно: Наташа и сын. Богатство, слава, роскошь жизни — все это стало ничтожным, ненужным, не важным. Теперь бы жить в тихом городке на берегу моря, тихо, строго и чисто. Пришли снизу, велели гасить весь свет. Ожидается ночная атака…»[{299}]

Очень характерная проговорка: он думал только о двух самых близких ему людях — о жене и сыне Никите, родившемся в 1917 году в свободной России. Сын жены от первого брака Федор, его собственная дочь от брака с Софьей Исааковной остались за скобками, — это искреннее, вырвавшееся из сердца ощущение своего, кровного, понимаемого не разумом, но инстинктом. Толстой вообще именно инстинктом и был всегда силен, но в минуты опасности это чувство в нем бесконечно усиливалось. Территориально он был на стороне белых, вернее, белых тогда еще не было, значит, на стороне, противной большевикам. Да и симпатизировал больше им и печатался в эти месяцы в антибольшевистской газете «Луч правды».

«Внизу пьют чай студенты, промокшие юнкера, офицеры, ударники. Один — лицеист, изящный, маленький, красивый. Когда сел, снял фуражку, пригладил пробор. Глаза его карие, печальные и умные. Ему другого выбора, кроме смерти, нет. <…>

Кто-то пришел и сказал — слышали, заключен мир. На него посмотрели молча. Никто не выразил ни радости, ни отчаяния. Только спустя некоторое время офицер-летчик сказал: «Да, все-таки родина, и вот нет ничего». Другой: «Теперь нам деться некуда, лучше бы убили».

*3-го.* Наташа надела платочек, пошли к Крандиевским. Дюна в слезах: «Потому плачу, что до сих пор не плакала». <…>

*Чувство тоски смертельной, гибели России, в развалинах Москва, сдавлено горло, ломит виски*»[{300}].

А уже не в трехстах километрах, но в двух шагах от него сидел в это время его приятель, соперник, друг и писал почти схожими словами:

«<…> Весь день не переставая орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. <…> Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас… Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова…»[{301}]

«4 ноября (в Москве). Выйти на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабство. Лица хамов, сразу заполонивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. <…> Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!»[{302}]

Для Бунина октябрьские события не должны были стать неожиданностью, он видел все летом в деревне. Толстому страшная картина революции открылась только теперь. Он еще писал статьи, где выражал веру в Учредительное собрание, но дневник его говорил, кричал о другом.

«*4-е.* <…> Нет никаких известий, и город полон чудовищных слухов. То говорят, что Каледин уже в Харькове, то, что немцы взяли Минск и Двинск и идут на Москву, а Финляндия объявила войну России, что рубль в Германии — 2 марки. Всему верят и что-то ждут.

Во времена революций самая свирепая и кровавая вещь — мечта о высшей справедливости. Поражая людей, она разжигает их, как лихорадка. Благоразумие и добро нынешнего дня — становятся преступлением.

*5-е.* <…> *Распадение тела государства физически болезненно для каждого: кажется, будто внутри тебя дробится что-то бывшее единым, осью, скелетом духа, дробится на куски; ощущение предсмертной тоски; воображение нагромождает ужасы.* Мое духовное и физическое тело связано с телом государства; *потрясения, испытываемые государством, испытываются мною*»[{303}].
Ничего подобного в его прежних дневниках не найти. Он сильно вырос за эти революционные дни. И 1917 год для Толстого кончился тем, что ему исполнилось 35 лет — возраст Данте, когда тот начал свое путешествие по аду, а в русской традиции это можно назвать «хождением по мукам» — совпадение едва ли случайное.

## Глава XI. Восемнадцатый год

Много лет спустя, а точнее в 1933 году, Алексей Толстой скажет в интервью «Литературной газете» в связи со своим 50-летием: «Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя»[{304}].

Очень точные и справедливые слова. Когда говорят о том, что революция погубила, расколола русскую литературу, обрекла на изгнание десятки писателей и поэтов, это все правда, но одновременно правда и то, что, не будь революции и Гражданской войны, не было бы у нас ни Платонова, ни Булгакова, ни Шолохова. Замена, быть может, и не равноценная, но так распорядилась история.

В судьбе Алексея Толстого революция стала тем моментом, когда он окончательно обрел, прочувствовал, пропустил сквозь душу, сердце и нервы свою тему — тему русского пути, и все, что впоследствии писал — и его шедевры, и неудачи, и подхалимаж, и откровенная халтура, — все это верстовые столбы на этой дороге. Как писатель он пережил вместе со своей страной самые трагические ее моменты, о многом написал честно, о еще большем умолчал, часто лгал и изворачивался и, по справедливому замечанию Бунина, «написал вообще немало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым»[{305}].

Говоря о Толстом эпохи революции, лучше всего отталкиваться от свидетельства Бунина. В это время Толстой и Бунин были особенно близки, не столько духовно, сколько в житейском смысле — как два признанных, авторитетных писателя-москвича.

«6 [ноября 1917 года]… Я и вечером у Толстых. [1918. январь]. Ужин у Толстых»[{306}], — записывала в своем дневнике В. Н. Муромцева-Бунина.

Именно о Толстом Бунин писал, вспоминая первую революционную зиму: «Жить стало очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших

деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся и мы поругались»[{307}].

Этот мемуар опирается на дневниковую запись из «Окаянных дней» от 2 марта 1918 года, по сути ничем не отличающуюся, но, пожалуй, еще более выразительную:

«Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, — большой гонорар, говорит, дадим»[{308}].

Еще несколькими неделями раньше, 18 января, Бунин занес в дневник (в «Окаянные дни» эта запись не вошла): «Была Маня Устинова — приглашала читать у Лосевой. Говорила про Алексея Толстого: «Хам, без мыла влезет где надо, прибивается к богатым»[{309}].

Толстой выглядит в этой ситуации ловким приспособленцем, и Бунин его за это безоговорочно осуждает. Его больше всех, хотя такого рода продавшихся было много, но Толстой провинился тем, что осмелился предложить Бунину подзаработать нечистым образом. Бунин выше, достойнее, благороднее Толстого — максимум, на что он пошел, — выступление в театре Якова Южного вместе с Балтрушайтисом, А. Белым, Вяч. Ивановым, И.А. Новиковым, А. Соболем, В. Ходасевичем и И. Эренбургом, да и то очевидно, что компания эта ему была чужда. Толстой же не гнушался ничем и выступал везде, где звали. Он честно пытался помочь другу Ивану в ту зиму, когда искусство шло рука об руку с голодом, и если раньше читали стихи для избранных в «Бродячей собаке» или «Привале комедиантов», то теперь — там, где давали поесть. Если раньше профанов и любителей искусства презрительно звали фармацевтами, драли с них за билеты по червонцу царскими деньгами и пускали не всегда, то теперь были рады всякому, кто накормит, и такого уважительно называли другом.

«Зимой 1917/1918 года мы часто бывали у С.Г. Кара-Мурзы, верного и бескорыстного друга писателей. Там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых прудах, а мы — кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов — вспоминая строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер…»[{310}]Таково деликатное свидетельство Ильи Эренбурга, не случайно поставившего глагол «ужинать» на первое место в ряду перечисляемых действий. Об этом же меценате — Кара-Мурзе — вспоминала и Крандиевская: «Москва. 1918 год. Морозная лунная ночь. Мы с Толстым возвращаемся с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С нами — попутчики до Арбата, писатели Зайцев, Осоргин и Андрей Соболь. Идем по середине улицы, по коридору, протоптанному в сугробах пешеходами…»[{311}]

Менее поэтично, но более точно та же картина описана в дневнике Толстого: «У Кара-Мурзы. Пьяные Орлов и Эренбург исповедуются Наташе. Людмила и Асланов танцуют в это время. Тоска Орлова, шел в стороне ото всех по Кузнецкому, катился, падал. Так и ушел»[{312}].

У Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, литератора, коллекционера и любителя театра, собиралась преимущественно литературная молодежь — Инбер, Эренбург, Лидин, Ходасевич, Соболь, Осоргин. Стихи, споры, пьяные исповеди… Толстой считался здесь классиком. Задумываясь над некоторой если не противоестественностью, то противоречивостью этой жизни, когда происходит революция, но люди продолжают жить как ни в чем не бывало, он писал в дневнике: «Странная жизнь: восстания, убийства, борьба за власть, декреты, голод, война, а жизнь простая, ежедневная идет, как шла, — ходят в театры, интересуются искусством, читают лекции, собираются, устраивают выпивки, танцы, ездят ряженые — наперекор всему, и в этом несокрушимая сила жизни, которая все поглотит и сделает все так, как надлежит быть. <…>

А мы собираемся, читаем стихи, прозу, говорим об искусстве, ужинаем, веселимся, как можем. И все это не то что притворство, а затаенное ожидание какого-то взрыва. И все же обычная жизнь с ее интересами, радостями и огорчениями упрямо пробивается, как трава из-под наваленной колоды»[{313}].

Все это возвращает его к тому, что уже было понято и провозглашено им в самом начале его пути — силе жизни, превозмогающей все. Есть два противоположных свидетельства о Толстом эпохи революции — Бунина и Эренбурга. Согласно первому он отлично приспособился, согласно второму — был растерян и ничего не понимал.

«Алексей Николаевич Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума…» — писал Эренбург. — Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. <…> А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?» <… > В 1917–1918 годы он был расстроен, огорчен, иногда подавлен: не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное — недоумевал»[{314}].

На самом деле противоречия тут нет. Толстой мог теряться в догадках и тревогах о будущем России, недоумевать, куда идет огромная страна, но свое собственное будущее знал точно. Он был, пожалуй, наиболее совершенным из тех русских писателей, кто выработал стратегию жизненного успеха и решил про себя: что бы ни происходило вокруг и кто бы ни пришел к власти, он, гр. Толстой, пропасть не должен, он выплывет, выкарабкается и вытащит тех, кто рядом с ним (вот почему так болезненно он воспримет в тридцатые годы упреки Натальи Крандиевской, что жил всю жизнь только для себя). И именно в смутные времена революции и разрухи это сделалось особенно ясным. Революция не сломала, не поколебала, не ввергла в уныние и отчаяние, не взбесила, но и не обманула и не обольстила его, как очень и очень многих, она его — закалила. В этом большом ребенке, талантливом хулигане и насмешнике, беззастенчиво мешавшем нежность с похотью, искренность с ложью, явственно обозначилась главная черта: воля.

В Алексее Толстом было что-то от буксира, от ледокола, он при всей своей конъюнктурности и беспринципности никогда не плыл по течению, он — иначе не скажешь — пер напролом, и чем труднее были обстоятельства, чем сильнее был напор против него, с тем большей силой он противостоял всему, что ему мешало. Любивший предстать вальяжным барином, сибаритом, он был начисто лишен какого бы то ни было гнушения жизнью, и это свойство, которое часто переходило в неразборчивость, вызывало у людей с повышенной щепетильностью брезгливость, но Толстой, не обращая на эту брезгливость внимания, гнул свое. А обвинять буксир в том, что он не яхта, не фрегат и не подводная лодка… К тому же за кормой у него был караван домочадцев. Это сравнение тем более правомерно, что сам Толстой в одном из своих рассказов тех лет «Милосердия!» сравнивает семью главного героя — присяжного поверенного Василия Петровича Шевырева с обломком когда-то хорошо оснащенного судна, которое теперь,

«подхваченное зловещим ветром, заплясало на одичавших волнах, потеряло руль и паруса и выкинулось на мель».

В отличие от своего персонажа автор точно знал, что ни он, ни его семья сидеть на мели не должны и для этого годятся любые средства. Когда он описывал своего героя: «Его сущности не хватало: зубов и когтей, чтобы защищаться, отваги, чтобы быть безрассудной, и хитрости, чтобы вовремя прекратить безрассудство, мимикрии, чтобы, меняя цвета и форму, прятаться от опасности; не хватало зоркости, ловкости, быстроты и, главное, звериной, непоколебимой, пышущей жаром любви к себе, чтобы жить», — у самого Толстого всего этого было в избытке[32].

Если пытаться найти его образу литературную параллель, то, как это ни парадоксально, ею окажутся герои романа, который чуть позднее был создан на другом краю земли и стал бестселлером: «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В Толстом есть что-то и от Ретта Батлера, и от его жены Скарлетт, которая в разгар всех своих мытарств произносит клятву посреди разоренной усадьбы: «Бог мне свидетель, Бог свидетель, я не дам янки меня сломить. Я пройду через все, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать».

Толстой никогда всерьез не голодал, никогда не крал (хотя в плагиате его обвиняли) и никого не убивал, но сравнение с героями Митчелл тем интереснее, что в «Унесенных ветром» речь идет о социальном катаклизме, о гибнущем мире южных аристократов и о самых цепких, живучих людях, которые находят в себе силы не стать жертвой истории и Гражданской войны, но жить, работать и добиваться успеха. Замените янки на большевиков, и вы получите формулу Толстого: *я не дам большевикам меня сломить.* Даже если для этого самому придется стать большевиком.

Правда, особенность нашего русского Батлера заключалась в том, что он во все времена оставался человеком театральным и никогда не был просто дельцом — работник, добытчик сочетался в его характере с барином; он, перефразируя известные марксистские формулировки, был граф по форме и трудящийся по содержанию, и это диалектическое противоречие ухитрился пронести сквозь все революционные, эмигрантские, советские годы, не пожертвовав ни тем, ни другим.

«В этом громадном, грубоватом человеке много подлинной любви и нежности. В уюте его повестей (уют, от которого в ад запросишься), точно в глыбе, бесформенной, уродливой, таится, как крупица золота, любовь. Весь смысл — в ней, только в глуби она, разыскать надо, не дается, как хромой барин, на брюхе валяйся, грязью обрасти — тогда получишь. А нежной Наташе надо заглянуть в воды пруда, в лицо смерти, чтоб встретить жениха не кокетливой девчонкой, а любящей женщиной. Толстой средь нас сладчайший поэт любви, любви всегда, наперекор всему, на краю смерти и после нее, вовек пребывающей трепетной птицей, облаком, духом. Гляжу на Толстого, книги читающего, и вижу нашу страну. Вот она, необъятная, чудесная, в недрах золото и самоцвет, шумят леса, а такая бессильная. Что нужно ей, чтоб собраться, привстать, познать свою мощь, сказать: «Это я!»? Таков и Толстой — дар Божий и всевидящий глаз, и сладкий голос, и много иного, а чего-то недостает. Чего? Не знаю… Может, надо ему узреть Россию, его поющую, иной, проснувшейся, на голос матери ответить: «А вот и я!» Так писал о Толстом Эренбург, и, перефразируя известные слова Блока о Горьком, можно так подытожить его мемуар: Толстой как писатель еще и не начинался или, как более мягко и деликатно выразился Эренбург в поздних воспоминаниях: «Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником»[{315}].

Собственно тут и есть та черта его творчества, которую отмечали многие писавшие о Толстом:

«чего-то нет в этом Степке-растрепке» (Хин-Гольдовская), «брюхом талантлив» (Сологуб), «Алеша, каким бы ты был замечательным писателем, если бы был пообразованней» (Волошин); «Я теперь сомневаюсь даже в том, был ли у него *талант* (соединение многих элементов, или части из них, или всех их в малой степени: «искра», дисциплина, особливость, мера, вкус, ум, глаз, язык и способность к абстрагированию)» (Нина Берберова)[{316}]; «Самая выдающаяся черта личности А. Н. Толстого — удивительное сочетание огромных дарований с полным отсутствием мозгов» (Святополк-Мирский); «Многое очень талантливо, но в нем «горе от ума». Хочется символа, значимости, а это все дело портит. Это все от лукавого. Все хочется — лучше всех, сильнее всех, первое место занять»[{317}](Устами Буниных); «Мне кажется, что Вам мешает взойти на высоту, достойную Вашего таланта, Ваш анархизм — качество тоже эмоционального порядка» (Горький); «Россия пожалеет еще не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был занимать по природе» (Федин).

Все эти очень разные люди в разное время, не сговариваясь, говорили о неполноте толстовского таланта. Бунин был, пожалуй, единственным, кто именно литературный талант Толстого считал абсолютным и писал «о редкой талантливости всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром».

Если вспомнить рассуждения Елены Толстой о том, что Бунин Толстого к Эренбургу жестоко ревновал, — эта мысль кажется высказанной сгоряча: ревновать Толстого к Эренбургу было ниже достоинства будущего нобелевского лауреата, ревновать Бунин мог лишь к своему реноме, а по поводу Эренбурга просто раздражался. По свидетельству Федора Крандиевского, «Бунин относился к отчиму немного свысока, как, впрочем, и ко всем. Он был желчным и надменным. С ним было трудно: никогда не знаешь, что именно вызовет его раздражение»[{318}].

«4 мая (21 апреля) 1918 г. У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — *рублевые* свечи. Как у него все рассчитано! Нельзя дешевле. «Граф прихожанин!» Стоит точно в парике в своих прямых бурых волосах a la мужик»[{319}].

Это было написано в том самом мае 1918 года, когда Бунин Россию оставил и впоследствии сообщал Ященко: «Москву покинул в конце мая 1918 г., не будучи в силах — в буквальном смысле слова — выносить большевистскую атмосферу, даже просто того подбора лиц, что образовался на улицах»[{320}].

Толстой находился в новой русской столице еще весь июнь и июль вплоть до тех дней, когда в столице случился левоэсеровский мятеж, который произвел на него сильное впечатление и, по всей вероятности, стал последним аргументом в пользу отъезда.

*«21/7 июля. Вчера убит Мирбах. Сегодня с утра орудийная стрельба. С Арбатской площади через каждые 3 минуты выстрел. Выглядываю в окно, напротив нас в садике две женщины и с ними девушка в розовом платье, с бантом на затылке. Она целует то одну, то другую женщину. [При выстрелах] Когда раздается выстрел, девушка встряхивает головой: они о чем-то беседуют, явно не касающемся революции. Потом девушка села в гамак, женщины ушли»*[{321}].

Три недели спустя с помощью антрепренера Левидова, который организовал писателю турне по Украине, Толстой покинул Москву. Уезжали впятером — Толстой с женой, двое детей — Федор и Никита, которому не исполнилось и полутора лет, и Никитина няня эстонка Юлия Ивановна Уйбо. В Москве осталась старшая дочь Толстого Марьяна вместе с тетушкой Марией Леонтьевной Тургеневой. Ехали в занятую немцами Малороссию. Надолго ли, навсегда ли, спасаясь от голода или красного террора, на гастроли или просто отправлялись в отпуск к

морю? Всего понемногу.

«Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку и — ничего себе, только борода развевается по ветру», — писал Толстой в «Ибикусе».

Более эмоционально апокалиптическую картину русского исхода изобразил в «Белой гвардии» Михаил Булгаков: «Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город».

Алексей Толстой, правда, бежал не в Город. Точнее не в этот город — он держал путь в Харьков, где беженцев было гораздо меньше и приезд известного писателя не остался незамеченным.

«Вчера приехал из Москвы известный писатель-драматург граф Алексей Николаевич Толстой, который даст свой вечер интимного чтения из неизданных еще произведений и сказок, — сообщала в августе 1918-го газета «Южный край». — Переезд из Москвы не обошелся без недоразумений с «властями» на границе. По пустячному поводу А. Н. и его импресарио едва не были увезены «для объяснений» в поле. Одновременно с А. Н. Толстым приехала в Харьков популярная исполнительница цыганских романсов собственного репертуара Аня Степовая: в скором времени состоится вечер цыганской песни и романса. Защищая на границе А. Н. Толстого от «вспылившего начальства» во время переезда через демаркационную линию, г-жа Степовая сделалась сама жертвой любителей чужой собственности. Все ее концертные туалеты, составляющие по теперешним ценам сумму не менее 25 тысяч, стали достоянием одного из «власть имущих» по ту сторону границы»[{322}].

Несколько иначе картина пересечения границы дана в более поздних, подцензурных воспоминаниях пасынка Толстого Федора Крандиевского: «Городские власти встречали и провожали нас с почетом. Сам комиссар города Курска, белобрысый, кудлатый парень, гарцевал на белой лошади то справа, то слева от нас, то отставая, то опережая»[{323}].

В Харькове Толстой дал свое первое интервью: «Я верю в Россию. И верю в революцию. Россия через несколько десятилетий будет самой передовой в мире страной. Революция очистила воздух, как гроза. Большевики в конечном счете дали страшно сильный сдвиг для русской жизни. Теперь пойдут люди только двух типов, как у нас в Москве: или слабые, обреченные на умирание, или сильные, которые, если выживут, так возьмут жизнь за горло мертвою хваткой. Будет новая, сильная, красивая жизнь. Я верю в то, что Россия подымется»[{324}].

Последние слова Толстого весьма примечательны тем, что здесь очень выразительно, ясно и кратко изложен его взгляд на русскую революцию: больной, расслабленной России было необходимо пустить кровь и убрать лишних людей, это сделали большевики, но на этом их волчья миссия закончится и миру будет явлена новая общность.

«Большевизм — болезнь, таившаяся в ея (России. — *А.В.*) недрах со времен подавленного бунта Стеньки Разина. Болезнь, изнурительная и долгая, застилала глаза народу, не давала ему осознать государственности, заставляла интеллигенцию лгать и бездействовать, вызывала непонятную тоску, больные мечты по какой-то блаженной анархии, о воле в безволии, о государстве без государства.

И вот болезнь прорвалась и потекла по всем суставам кровавым гноем. Россия распалась. Но это распадение было инстинктом больного. Отпавшие части начали борьбу с болезнью и победили. Все нездоровое, шаткое, неоформленное сгорело и горит в этой борьбе. Теперь — ближайшая задача: со свежими оздоровленными силами начать очищение Великороссии. Москва должна быть занята русскими войсками. Этого требует история, логика, гордость, порыв изболевшегося сердца.

И там, в Москве, все те, кому дорого великое, а не малое, кому дорога свобода и мила, — должны соединить в единый организм — в тело прозревшего Левиафана — все временно отторгнутые части»[{325}].
Это писалось в то время, когда на Дону собирались в поход первые полки Белой армии, и позиция будущего автора «Восемнадцатого года» и «Хлеба» была сформулирована четко: поход на Москву. Однако едва ли это можно было считать литературной задачей. И если его знакомая по «обормотнику» напишет чуть позже «Лебединый стан», то Толстой, пусть даже и симпатизировал попыткам скинуть большевиков, как писатель решал в ту пору совершенно иные задачи.

## Глава XII. Хождение за три моря

«Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой власти, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе»[{326}], — вспоминал Бунин. На самом деле не только в ней. И Бунин, и Толстой, иногда вместе, иногда по отдельности, гастролировали по Украине, выступали с чтением своих рассказов, писали в газеты. Толстой, по свидетельству Бунина, «получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной», — тут вновь у Бунина проскальзывает нотка осуждения. В более поздней дневниковой записи оно выражено гораздо резче: «Кончил «18-й год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, — с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, — игорный притон и притон вообще всяких подлостей!»[{327}]

В одесских отношениях двух писателей много недоговоренного. Толстой и Бунин должны были вместе выступать в Киеве, но в Город Бунин поехал один, и, судя по всему, между приятелями пробежала кошка. Во всяком случае, осенью 1918 года Толстой писал Андрею Соболю:

«Сегодня принесли твое письмо, и я был очень, очень рад, что ты здесь, жив и издаешь юдофобские сборники. Тебя я люблю по-настоящему, очень сильно и буду рад тебя обнять гораздо больше, чем Илью, потому что он заносчивый и гордый. С Ильей, вообще, у меня предстоит разговор, так ему и передай. Письма от него не получал, он его и не писал, врет. Ну, господи, если он в шляпе появится на Дерибасовской! Все-таки буду очень рад…

Бунин же, который спросил с тебя, как я предполагаю, тысяч пять за лист, — негодяй. Я тебе расскажу про него при встрече, негодяй и опасный человек. Он немного спятил от самолюбия и злости и т.д.»[{328}].

Ни в дневнике Бунина, ни в мемуарах размолвка с Толстым никак не отражена[33], зато сохранилась в его записях эмоциональная речь Толстого, пересыпанная проклятиями в адрес большевиков, основанная на процитированной выше дневниковой записи (также носящей мемуарный характер, ибо была она сделана в 1943 году):

«Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и поездах, такие речи хороших бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их»[329].

Говорил ли Толстой так в Одессе в 1918 году, сказать трудно. Во всяком случае, фраза о заводских жеребцах с выколотыми глазами встречается в «Ибикусе»:

«— Сильно пострадали от революции?

— Особняк разграблен вдребезги… Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза… Я понимаю — выколи мне… Но при чем мой жеребец?..

— Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло! — говорил Платон Платонович. — Так вы любитель лошадей, граф?

— Странный вопрос».

Вряд ли Бунин цитирует авантюрную повесть Толстого, которая высмеивает русскую эмиграцию и аристократию в духе «Мишуки Налымова» и всего заволжского цикла. Скорее Толстой цитировал в «Ибикусе» собственные яростные речи. Но это не значит, что он так действительно думал. Слишком это расходится с возвышенным пафосом его статей и проповедью любви; рискнем предположить, что, будучи человеком театральным, он мог просто Бунину подыгрывать.

С Буниным был один, с Эренбургом другой, с Брюсовым третий, с молодыми писателями четвертый. «У него много актерских черт, больше, чем писательских»[330], — писала в дневнике о Толстом В. Н. Муромцева-Бунина. Во все времена — и до революции, и после — граф играл, и эту страсть к игре, к театральности, к позе подметил острый взгляд тогда еще никому не известного писателя Ю. Олеши, который встретился с Толстым в Одессе осенью 1918 года:

«Эта наружность кажется странной — может быть, даже чуть комической. Тогда почему он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы — отброшенными назад и круто обрубленными перед ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенснэ (уже давно пора надеть, а он все держит в несколько отвернутой в сторону руке) — ведь видно же, что ему трудно без пенснэ: так трудно, что… его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? Но вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями. Да, да, безусловно так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова?»[331]

Но мог сыграть и кого угодно другого. Именно эту переменчивость своего творца и отразил впоследствии герой «Ибикуса» граф Симеон Невзоров, один из самых удачных персонажей

всей прозы Алексея Толстого.

Известная бунинская фраза: «Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть не рыдал Горький», — амбивалентна. Точно так же мог врать Толстой и в Одессе, и в Париже, и в Берлине, и где угодно. И про большевиков, и про мужиков. И когда Константин Симонов приводит в своих воспоминаниях слова Бунина: «Что бы я там ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как это рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алексей Толстой», — опять-таки трудно сказать, было это или не было, хотя если и было, то не в 1918 году, а позднее, когда Толстой по-настоящему хлебнул.

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомоцни, но зато все искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются»[{332}].

В этом кратком письме, которое написал Толстой Бунину осенью 1919 года, изложены основные вехи его пути на Запад. Черное море, корабль с эмигрантами, карантин на острове Халка близ Константинополя.

«Никита лежал на открытой палубе. Рядом с ним похрапывал отец, завернувшись в одеяло, по другую сторону спал Василий Тыркин. На свертке канатов сидел, мучась бессонницей, босой старичок, бывший очень важным когда-то человеком. По всей палубе, пропахшей вареными бобами и салом, лежало множество спящих тел. Вот кто-то приподнялся, оглядываясь дико, и опять с сонным рычанием повалился на подстилку. Наверху, между лодок, желтел свет сквозь жалюзи капитанской каюты. В ней открылась дверь, вышел коренастый человек в белом — капитан, и стоял неподвижно, глядя на усыпанное звездами небо, на Млечный Путь. Эти звезды, и Млечный Путь, и Большая Медведица были наверху и внизу, в черной бездне. Огромный пароход, полный спящих, бездомных людей, казалось, летел в звездном пространстве»

Это отрывок из незаконченной повести «Необыкновенные приключения Никиты Рощина», которая служит продолжением «Детства Никиты» и повествует о том, как Никита и его отец бегут из охваченной революцией России, причем отец Никиты чудом спасается от Красной армии Точно так же чудом спасся от нее и Толстой. 6 апреля 1919 года в Одессу вошла армия Григорьева, о которой Толстой с ужасом напишет в романе «Восемнадцатый год» и мысленно благословит судьбу, избавившую его от столкновения с его будущими героями. Даже советские литературоведы высказывали опасения за жизнь Толстого, попади он в руки одесской Чрезвычайки, и не осуждали графа за того, что он не дождался прихода Красной армии.

«Воспоминания о 10 днях на «Кавказе» тяжелы, как воспоминания о чем-то точно очень дурном, неестественном, разрушительном, как болезнь». Но в то же время: «Отчаяние было лишь тогда, когда думали, что остаемся. Тогда будущее казалось мраком. Все неудобства и кошмары бегства переносились легко и весело. Люди стали вдруг выносливыми и бесконечно приспособляемыми»[{333}].

Бунин, как известно, эвакуироваться не успел, он остался в Одессе еще на полгода и, пережив

«пять мучительных месяцев под большевиками», был освобожден армией Деникина. Еще одним оставшимся был Максимилиан Волошин, который приехал в Одессу зимой 1919 года. С Толстым они в это время встречались, о чем свидетельствует опять-таки Бунин («Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика»{334}), но былой близости между двумя авгурами не было и уже никогда не будет. Остались только таинственные жесты, а пути литературных изгнанников Серебряного века разошлись — Волошин уехал в Крым, куда скоро пришли белые, потом опять красные, а Толстой держал путь из варяг в греки.

Горьким и скорбным оказался тот путь.

«Вечерня на палубе. Дождичек. Потом звездная ночь, На рее висит только что зарезанный бык. Архиепископ Анастасий в роскошных лиловых ризах, в панагии, служит и все время пальцами ощупывает горло, точно там его давит. Говорил слово… Мы без родины молимся в храме под звездным куполом. Мы возвращаемся к истоку св. Софии. Мы грешные и бездомные дети… Нам послано испытание…

Плакали, закрывались шляпами, с трудом, с болью…

Богачи и старые дамы, сидящие всю ночь на сундуках. М., мечтающий заснуть на полу в аптеке. Вонь и смрад темных трюмов. Хвосты с утра повсюду. Настроение погрома. Злоба и тупое равнодушие. Никто не сожалел о России. Никто не хотел продолжать борьбу. Некоторое даже восхищение большевиками. Определенная, открытая ненависть к умеренным социалистам, к Деникину»{335}.

«Пароход жил своей жизнью, — вспоминал Федор Крандиевский. — Против Никитиной каюты на противоположном берегу была приделана кабина, также висевшая над водой. Это был гальюн весьма примитивного устройства: в полу сделана дыра, сквозь которую были видны далеко внизу пенящиеся волны. По утрам около гальюна выстраивалась длинная очередь. Седые генералы с царскими орденами, одесские мелкие жулики, адвокаты, аристократы, дамы, как будто только что покинувшие великосветские салоны. Я в своей жизни не видел более унизительной картины. Это была почти трагическая унизительность. Когда кто-либо задерживался в гальюне, колотили в деревянную дверь»{336}.

Что делал на этом корабле и в компании этих несчастных людей граф Алексей Толстой? Он работал. Это и была его ежедневная, ежечасная молитва под открытым небом.

«В первый же день утром в углу трюма, освещавшегося открытым наверху люком, я увидел перевернутый ящик из-под консервов, на котором стояла пишущая машинка «Корона». На другом маленьком ящике сидел Алексей Николаевич, обвязанный по-прежнему шерстяным кашне с английской булавкой наверху. Он стучал на машинке. Останавливался и после долгой паузы отстукивал следующий абзац. Он работал. В своей обычной манере: несколько слов рукой на листе бумаги, а затем сразу на машинке несколько фраз. <…> Он не мог не работать. Работа была для него почти физической потребностью. За мою долгую жизнь рядом с отчимом были лишь считанные дни, когда он не работал»{337}.

Весьма любопытный рассказ Толстого о том, как проходило плавание на корабле, приводит в своем дневнике Корней Чуковский:

«Разоткровенничавшись, он рассказал, как из Одессы уезжал в Константинополь.

«Понимаете: две тысячи человек на пароходе, и в каждой каюте другая партия. И я заседал во всех — каютах. Наверху — в капитанской — заседают монархисты. Я и у них заседал. Как же. Такая у меня фамилия Толстой. Я повидал-таки людей за эти годы»[{338}].

В сущности, в этих двух фрагментах и есть весь секрет его писательского успеха: повидал людей — и каждодневная работа в любых условиях. Да плюс фамилия. Однако бывали ситуации, когда даже писателю с фамилией Толстой приходилось тяжело и ничего у него не получалось.

«Почти каждый день отчим уезжал в Константинополь в поисках какого-нибудь заработка. <…> Возвращался отчим с вечерним пароходом. В бурлящем, пестром, накаленном солнцем Константинополе никому не был нужен молодой русский писатель, не знающий к тому же ни одного языка, кроме русского…»[{339}]

Остров Халка, где они прожили больше месяца, кошмаром остался в памяти у Толстого и членов его семьи. Порой ситуация казалась безысходной.

«3 дня в карантине. Перегрузка на «Николай». *Офицеры, которых выгоняют из трюма прикладами.* Опять слухи и паника.

Растерянный и грязный журналист, шатающийся по Стамбулу в смертельном ужасе предстоящей голодной смерти.

Мрачный, кровавый закат над Мраморным морем… Огоньки на островах. Шумные, беспокойные, беспечные русские»[{340}].

К счастью, константинопольская эпопея закончилась. Толстым удалось получить французскую визу, и вместе с Цетлиными и Алдановыми они отправились в Марсель. Пароход, на котором плыли во Францию, назывался «Карковадо». Помимо русских эмигрантов на нем возвращались домой французские солдаты, плыли в поисках счастья содержательница одесского публичного дома и три лучших ее проститутки, а также герой рассказа «Древний путь» тяжело раненный французский офицер Поль Торен. И этот путь оказывается для него последним — символический реализм в духе «Господина из Сан-Франциско».

«Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых теплых водах лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно алого, сияющего цвета, какого не бывает, — разве приснится только. Какие-то из огненного золота построенные города… Как будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла. Восторженно билось сердце… Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материки… И нет больше ничего… Тускнеющий закат…

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен».

Если беспристрастно читать Толстого, иногда он кажется похожим на булгаковского Бегемота. В одном обличье — насмешник и ерник, в другом — чуть ли не рыцарь печального образа, который когда-то неудачно пошутил. Но этот второй толстовский лик мало кому известен. Что-то вроде обратной стороны луны, заслоненной иным — балагуром, циником. Рассказ «Древний путь» в этом смысле и есть один из тех редких и драгоценных моментов, когда луна поворачивалась своей тайной стороной.

О жизни Толстого во Франции сохранились воспоминания противоречивые и со всех сторон тенденциозные.

«Денег на жизнь не хватало. Не было никаких перспектив выбраться из нищеты. В припадке отчаяния он даже подумывал о самоубийстве»{341}, — вспоминал Федор Крандиевский. Наталья Васильевна Крандиевская пишет о том, что «жизнь в Париже была трудной»{342}. Напротив, Бунин рисует эмигрантское житье Толстого идиллически и по обыкновению чуть насмешливо: «Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе?» И чуть дальше:

«Не раз он говорил мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так»{343}.

«Толстые здесь очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на краю краха. Но они бодры, не унывают»{344}, —писала в дневнике В. Н. Муромцева-Бунина.

Как извлечь из этого среднеарифметическое?

Если Толстым и приходилось во Франции трудно, то лишь поначалу, а утверждение Федора Крандиевского о суицидальных намерениях отчима вызывает сомнение, и не только потому, что никак не вяжется с обликом жизнелюбивого графа, но и потому, что таких подробностей десятилетний мальчик знать, скорее всего, не мог, а только слышал обрывки каких-то фраз либо узнал об этом из третьих рук. На восприятие Натальи Васильевны могла наложить отпечаток куда более обеспеченная, а в сущности — роскошная жизнь в СССР. Да и Бунин вряд ли возводил напраслину на свою любимицу («штучку с ручкой», как звали ее в волошинском «обормотнике»), когда писал о ней:

«Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут…

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию»[34].

Во-первых, Бунин появился в Париже только весной 1920 года и не застал самого тяжелого для Толстого начального периода эмигрантского житья, а во-вторых — это даже более существенно — Бунин в своих мемуарах полемизировал с советским литературоведением и автобиографией самого Толстого от 1943 года, где тот писал о свинцовых мерзостях эмигрантской жизни, а потому лакировал парижскую действительность.

Бунинский очерк о Толстом-отступнике — своего рода апология эмиграции, умиление перед ней. Он, обыкновенно не признававший авторитетов, посвящает эмиграции мадригал, называя в положительном контексте имена своих любимейших литературных недругов и просто

отъявленных негодяев:

«Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многія имена которых были известны не только всей Россіи, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшіе великіе князья, милліонеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, не взирая ни на что, преисполнены надежд на возрожденіе Россіи и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаніях, собраніях и в частных домах! Деникин, Керенскій, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковскіе, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействіи и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть»[{345}].

Людям свойственно мифологизировать свое прошлое; на Бунине после войны и визита в советское посольство в 1945 году к «моему послу» лежал красный отблеск, и ему нужно было убелить свои ризы. Но бесконфликтность в его мемуарах налицо. В бунинском очерке встречается также и совершенно мифологический сюжет — история о том, как Алексей Толстой продавал несуществующие поместья:

«В надежде на паденіе большевиков некоторые парижскіе русскіе богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграціи разные имущества эмигрантов, оставшіяся в Россіи, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в Россіи именіе и выпучивал глаза, разсказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая исторія вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодій, как вдруг спрашивают: а где же находится это именіе? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да к счастью вспомнил комедію «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки… И, слава Богу, продал!»

Все это очень сомнительно и сильно напоминает историю про фамильные портреты, купленные на барахолке, или про шубу с Хитрова рынка. Скорее всего, никаких имений Толстой не продавал, зато с восхищением рассказывал позднее Чуковскому об известном русском издателе Романове, осуществившем подобную акцию:

«Вы знаете, кто стоял во главе монархистов: Романов! Да, да! Он больше миллиона франков истребил в Париже в год. Продал два астральных русских парохода какой-то республике. «Астральных» потому, что их нигде не существовало. Они были миф, аллегория, но Романов знал на них каждый винтик и так описывал покупателям, что те поверили…»[{346}]

В такой ситуации, когда одни мемуары противоречат другим, больше доверия вызывают письма. Тексты их приводит и Бунин в защиту своей версии если не о безбедном, то очень сносном житье Толстого, причем еще в 1919 году. Так, осенью 1919 года Толстой писал ему:

«Все это время работаю над романом, листов в 18– 20. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий… Франция — удивительная прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжитой дом… Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили…»[{347}]

Из этого письма, которое Бунин цитирует, к сожалению, фрагментарно, следуют по крайней мере две вещи: Толстой занимался литературным трудом (а не работал, например, водителем такси или официантом) и у него был дом, то есть тот минимум, который необходим человеку.

Наконец, небезынтересно датированное 1920 годом письмо писателя И.Ф. Наживина Бунину, полное злости по отношению к незаслуженно удачно устроившемуся Толстому:

«За что награждают так Толстого? Что он имеет возможность блаженствовать «под Бордо», а ты ночи не спишь от тревоги за детей? За то, что в угоду галерке он оплевал, смрадно и ернически, свое сословие?»[{348}]

Среди более благожелательно настроенных к Толстому персонажей был профессор Александр Семенович Ященко, с которым наш герой был довольно близко знаком с 1911 года. Роман Гуль позднее писал в своих мемуарах: «С Ященко они были старые, неразрывные друзья. Толстой называл Ященко Сандро, а Ященко его — Алешка или Алексей. Душевно, натурно они были очень схожи, оба циники, оба «жильцы»[{349}]. Ященко был участником того самого печального маскарада, на котором некий злоумышленник отрезал обезьяний хвост, а впоследствии входил в состав третейского суда, он же писал рецензии на первые книги Толстого, вместе с ним Толстой ездил во Францию в 1911 году, наконец, именно Ященко стал крестным отцом Софьи Исааковны Дымшиц, когда та вынужденно переходила на шесть лет в православие, и Ященко же спас репутацию Толстого, отговорив его от публикации и продолжения романа «Егор Абозов».

В 1917 году они оба участвовали в работе журнала «Народоправство», после чего расстались: Александр Семенович уехал работать в Пермь, а Алексей Николаевич отправился на Украину. В 1919 году Ященко получил командировку в Берлин и стал одним из первых советских невозвращенцев.

Именно с ним переписывался Толстой осенью 1919 года, обсуждая состав своих книг, готовящихся к изданию на немецком языке. Ему он сообщал о намерении начать выпуск первого русского толстого литературного журнала послереволюционной эмиграции, который назывался «Грядущая Россия» и редактировался вместе с Алдановым, Чайковским и Анри.

Но, пожалуй, самое интересное свидетельство о бытовой стороне жизни Толстых во Франции оставила Наталья Васильевна Крандиевская: «Мы живем в меблированной квартире, модной и дорогой, с золотыми стульями в стиле «Каторз шешнадцатый», с бобриками и зеркалами, но без письменных столов. Все удобства для «постельного содержания» и для еды, но не для работы. Говорят, таков стиль всех французских квартир, а так как мы одну половину дня проводим все же *вне* постели, то и не знаем, где нам придется приткнуться с работой; Алеше кое-где примостили закусочный стол, я занимаюсь на ночном, мраморном, Федя готовит уроки на обеденном.

Обходятся нам все эти удобства недешево, 1500 фр. в месяц! С нового года я начала искать квартиру подешевле и поудобнее, ибо эта (которую нам нашел дядя Сережа) даже ему становится не по карману»[{350}].

О Сергее Аполлоновиче Скирмунте, который очень помогал Толстым на первых порах, упоминал и Бунин: «…приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их

целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто… Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны…»[{351}]

Эмиграция была для Толстого временем плодотворным. Он написал «Хождение по мукам», «Графа Калиостро», пьесу «Любовь — книга золотая», несколько исторических вещей и небольших рассказов о современной, в том числе и эмигрантской, жизни, из которых очень любопытен рассказ «В Париже».

Известно, что рассказов с таким названием в русской литературе по меньшей мере два — Алексея Толстого и Ивана Бунина. Бунинский написан много позже, он вошел в книгу «Темные аллеи», и трудно сказать, помнил ли его автор о рассказе своего приятеля, но общего в обоих произведениях поразительно много — одиночество, неприкаянность эмигрантской жизни и невероятно сильное ощущение бездомности; у Толстого оно соединяется с желанием вернуться в Россию, у бунинских героев такого желания нет. И будущего нет, есть только прошлое. Они от России отрезаны, толстовские же мечтают:

«Вернемся в Россию новыми людьми, — настрадались, научились многому… Видите, бегут домой: веселые, усталые, — бегут каждый в свой дом… Бог даст, и мы с вами скоро увидим свой дом, свое окошечко, свое солнце над крышей… Нужно научиться ждать… Как жаль, что мы не унесли с собой горсточку земли в платочке… Я бы клал ее на ночь под подушку… Как я завидую, как я завидую этим прохожим…»

Горстку земли из России унес с собой Ремизов, но не вернулся. А Толстой вернулся, но прежде героине своей подарил тот же путь из Москвы, что и себе:

«Она попала в Париж как перелетная птица: уехала из Москвы в Харьков к сестре в семнадцатом году, — так ее и несло ветром. Здесь она тосковала по Москве, по родным…»

Нечто похожее есть и у Бунина, и в обоих рассказах любовь двух эмигрантов оказывается не просто случайной связью, но чем-то большим, глубоким — нежностью, состраданием, супружеством в высоком смысле этого слова.

«Оба они до краев были полны — каждый своей горечью. Потом Буров зажег газ, — и точно он был Людмиле Ивановне муж или брат и жил с ней давнымдавно, — хозяйственно вскипятил чай, отыскал кусочек сыру, приготовил два бутерброда. Пили чай молча, усталые, но на этот вечер успокоенные. Потом Буров, сгребая пальцем крошки, сказал:

— Расставаться нам с вами, видимо, нельзя. Правда?»

А вот у Бунина:

«Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам… И вообще, зачем нам расставаться?»

Только финал у двух «Парижей» отличается. У Бунина — смерть. У Толстого — жизнь. А впрочем, и возраст у авторов был разный. Толстой написал «В Париже», когда ему было 38 лет, Бунин — в 1940-м — в 70.

Больше всего славы принесла Алексею Толстому в эмиграции автобиографическая повесть «Детство Никиты».

«Детство Никиты» написано оттого, что я обещал маленькому издателю для журнальчика детский рассказик. Начал — и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием,

нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве», — вспоминал позднее Толстой. А о том, как возник журнальчик для эмигрантских детей «Зеленая палочка» и какое отношение к нему имел Толстой, рассказал в своих мемуарах Аминад Петрович Шполянский, более известный как Дон Аминадо:

«По вечерам сидели в темноте, на лавочке, у самого ржаного поля, напоминавшего Россию. Дышали запахом морских сосен, соображали, как удешевить жизнь, устраивали экзамен на Чехова — какой породы была собака в рассказе «Дама с собачкой»? как звали буфетчика из «Жалобной книги»? где это сказано — «эх вы! женихи!., поручики!..»? И так без конца, до поздней ночи.

В один из таких вечеров, — пришлось к случаю, к разговору, — поделился с Толстым своей давно уже назревавшей мыслью об издании журнала для детей.

— Без кислых нравоучений и сладеньких леденцов, без Лухмановой, без Желиховской и Самокиш-

Судковской. С настоящими авторами, не подделывающимися под стиль сюсюкающих писателей для детей, и с настоящими художниками.

Толстой воспламенился, загорелся, сел на своего конька и понесся во весь опор:

— Журнал будет в четыре краски, на дорогой веленевой бумаге, начистоту, всерьёз, чтоб все от зависти подавились!.. А я тебе напишу роман с продолжением, из номера в номер, на целый год, но, конечно, гонорар вперед, потому что пока не будет у меня лакированных туфель, я ни одной строчки не смогу из своего серого вещества извлечь! Наталию Васильевну мысль о журнале тоже увлекла, но остановить «буйно помешанного», как она в таких случаях шутливо называла мужа, было немыслимо. Надо было терпеливо ждать, пока он сам собой выдохнется. Разошлись поздно. Высоко в небе вспыхнула и погасла падучая звезда. От ржаного поля потянуло ночной свежестью. Август был на исходе. <… >

В октябре 1920-го года вышел первый номер двухнедельного журнала для детей. Назывался он «Зеленая палочка». Обложку, в четыре краски, как было задумано летом, сделал Ре-Ми. На первой странице, — чтобы объяснить, почему именно так назвали журнал, — был воспроизведен отрывок из детских воспоминаний Льва Николаевича Толстого.

В смысле приобретения литературного материала дирекция, как говорил Балиев, не останавливалась ни перед какими растратами. Ал. Толстой брал авансы, как взрослый, но слово своё сдержал и дал большую повесть «Детство Никиты», с продолжением в каждом номере»[{352}].

«Детство Никиты», с одной стороны, вещь очень традиционная, она вписывается в ряд русской автобиографической прозы от Аксакова и Льва Толстого до Гарина-Михайловского и Максима Горького. Позднее, когда книга вышла отдельным изданием, в берлинском «Руле» появилась характерная рецензия: «Ал. Н. Толстой обладает несомненно крупным и оригинальным изобразительным дарованием. Оно чувствуется в каждой строке. Но он сам, как и его юный Никита, как бы теряется в толпе своих образов. Чрезвычайно характерно, что даже по такому интимному, бесхитростному рассказу, как «Детство Никиты», трудно себе представить, что же такое представляет собою сам этот десятилетний мальчик? У него нет ни одной черты, по которой, встретясь с ним в жизни, можно было бы узнать его, как мы узнаем, например, типы Толстого, Достоевского, Тургенева…»[{353}]

Своя правда в этом есть. Никита — некий обобщенный образ, символ счастливого детства, в этом мальчике воплощенный, но едва ли это можно считать недостатком. Толстой пропел гимн детству и не стал отягощать его моральными проблемами, как делал его великий однофамилец. И к слову сказать, это хорошо понял в революционном Петрограде критик и детский поэт К. Чуковский: «В страшную пору «Черных масок» и «Крестовых сестер» он явился перед читателем с «Повестью о многих превосходных вещах», — в ней и небо синее, и трава зеленее, и праздники праздничнее; в ней телячий восторг бытия. Читайте ее, ипохондрики: каждого сделает она беззаботным мальчишкой, у которого в кармане живой воробей. Это Книга Счастья — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастья, не сулит его в будущем, а тут же источает его из себя.

Хорошо, Никита? — спрашивает у мальчика его веселый отец.

Чудесно! — отвечает Никита.

Все образы и события в этой радостной книге отмечены словом *чудесно*... Каждая книга Алексея Толстого есть, в сущности, «Повесть о многих превосходных вещах»[354].

«Детство Никиты» было высоко оценено почти всеми и прежде всего ее автором. «За эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы»[355], — говорил Толстой уже в советское время, и к этому можно добавить, что и добрую половину из написанного после тоже можно было бы отдать.

Да и вообще жить бы Толстому и жить в эмиграции, и писать бы свои романы и пьесы, и ходить бы по французским бульварам и кафе, читать газеты и ругать большевиков, и могло бы так статься, что не только Иван Алексеевич, но и Алексей Николаевич получил бы Нобелевскую премию (дать Нобелевскую премию Толстому само собой напрашивалось), и было бы другим продолжение «Хождения по мукам», и другой вся конструкция «Петра» — литература, в отличие от истории, сослагательное наклонение терпит. Но… не случилось.

Граф вернулся в Россию и стал называться «красным». Эмиграция его заклеймила и от него отвернулась. Нобелевскую премию ему не дали. В Советском Союзе он стал классиком.

Этот сюжет хорошо известен и исследован. И о причинах, по которым Толстой вернулся, столько написано и им самим, и различными мемуаристами, и толстоведами, что ничего нового сказать тут невозможно, но все же некие нюансы остаются, на них и сосредоточимся.

«Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже эмигрантом, недолго им оставался, — писала Зинаида Гиппиус, — живо смекнул, что место сие не злачное, и в один прекрасный, никому не известный день исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам и др. С этого времени (с 21-го) года и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще, как был бы встречен; но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел — и при Ленине, и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» звании эмигранта; встреч с этим сословием он, конечно, избегал, — с честными кругами.

Тогда в 20–21 году мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность — как от нее без опыта избавиться?

На том обеде в Интернациональном клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи; говорил, кажется, только Дмитрий Сергеевич и Эррио. <…>

Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня…»

— Да что же вам простить? — удивилась я.

— Простите… что я существую. — Сказал неожиданно экспромтом, забавно… Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли»[{356}].

«Перелетная пташечка, фальшивый стяжатель Алексей Толстой, уехавший из Парижа со словами: «Я хоть жрать там буду, а вы тут подохните»[{357}], — писал Михаил Осоргин А. С. Буткевичу.

Бунин также выдвигал совершенно однозначную причину возвращения Алексея Толстого: деньги. Толстой, этот веселый, очень талантливый и совершенно безнравственный человек (по цинизму в бунинских «Воспоминаниях» его превосходит один Маяковский), — продался.

«…деньги черт их знает куда быстро исчезают в этой суматохе…

— В какой суматохе…

— Ну я уж не знаю в какой, главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться…»[{358}]

Да плюс еще долги, которые упоминала Гиппиус.

«— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже 37 тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!»[{359}]

Не будь Бунин Буниным и не люби он на самом деле Толстого, не восхищайся его ловкостью и умением жить, не согрей этой любовью свой мемуар, автора «Третьего Толстого» можно было бы заподозрить в «сальеризме»: Толстой у него — что Вольфган Амадей — ты, Моцарт, не достоин сам себя.

«В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный разсказчик, прекрасный чтец своих произведеній, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалый и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и безпечный шалопаем, был ловкій рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал как очень немногіе… Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки все прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выраженіе; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выраженіе лица, то бормотал, то кричал тонким

бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне», сюсюкал как великосветскій фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выраженію, до безобразія, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный»[360].

Портрет колдовской выразительности и осязаемости, и наверняка Толстой был бы счастлив такое о себе прочесть (о других персонажах своих «Воспоминаний» Бунин так ярко и вкусно не писал), да не дожил, но именно в последних строках процитированного абзаца и есть главное отличие бунинского Алексея Толстого от Моцарта, каким его видел пушкинский Сальери. Моцарт в «Моцарте и Сальери» — гуляка праздный, а Толстой у Бунина хоть и гуляка, да отличный работник, и прежде всего работник — с этим соглашались все, кто его знал. Что же касается политических взглядов Толстого, то здесь все обстоит гораздо сложнее, и не в одних деньгах и долгах было дело.

# Глава XIII. Русский Париж

«В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».

Это строки из открытого письма Толстого Чайковскому, одному из соредакторов «Грядущей России», премьер-министру архангельского правительства, убежденному врагу советской власти и в какой-то момент единомышленнику нашего героя. К этому письму мы еще вернемся, а пока заметим, что ни один из родных братьев Алексея Николаевича (к которым он в общем-то был совершенно равнодушен и приплел их ради красного словца) во время Гражданской войны не был зарублен и не умер от ран. Эмигрировавший во Францию Мстислав Николаевич пережил самого Алексея Николаевича на четыре года и скончался в 1949 году, а Александр Николаевич действительно умер в 1918-м, но не от ран, а от тифа. Впрочем, Толстой мог питаться в 1922 году лишь слухами, а обид на большевиков и без этих смертей у него было предостаточно.

Осенью 1919 года, преодолев Черное и Средиземное моря, отсидев два месяца на острове Халка, сочувствуя Белой армии, ожидая ее скорой победы, Толстой новых хозяев Русской земли возненавидел куда сильнее, чем в 1917—1918-м. Это подтверждают не только процитированные выше строки, но и публицистика 1919 года:

«Большевики не пытаются создавать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) — они берут готовую идею и прибавляют к ней свое «но». Получается грандиозно, оригинально и, главное, кроваво.

Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков — старики, жены, дети, должны быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством, — уничтожены голодом.

Да здравствует самоопределение народов! Но донских казаков мы вырежем, малороссов, Литву, финнов, эстов, поляков, всю Сибирь, армян, грузин и пр. и пр. вырезать потому, что они самоопределяются, не признавая власти Советов.

Это «но» — роковое и необычайно характерное. Большевики не знают содержательного «да»

или сокрушающего и в своем сокрушении творческого «нет» первой французской революции. У них — чисто иезуитское, инквизиторское уклонение — «но», сумасшедшая поправка.

Словно — один глаз открыт, другой закрыт, смотришь на лицо — оно повертывается затылком, видишь — человеческая фигура, а на самом деле кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения»[{361}].

Эта статья вполне укладывалась в идеологию и риторику русской эмиграции, ее автор находил в этой среде понимание и сочувствие, хотя цель Толстого заключалась не только в том, чтобы заклеймить большевиков, но и пройтись по футуристам, которых он когда-то так приветствовал, и, надо отдать автору должное, громить их получилось у него очень образно и ловко:

«Они появились в России года за два до войны, как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами; веселились, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками (слова, а тем более смысл, они отрицали), от их «беспредметных» картин, изображавших пятна, буквы, крючки, с вклеенными кусками обой и газет. Одно время они помещали в полотна деревянные ложки, подошвы, трубки и пр.

Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них — «учитель жизни» — для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски и в особых прокламациях призывал девушек отрешиться от предрассудков, предлагая им свои услуги. (Год тому назад я его видел в Москве, он был в шелковой блузе, в золотых браслетах, в серьгах и с волосами, обсыпанными серебряной пудрой.)

Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело — анархии и разложения. Они шли в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами.

Большевики это поняли (быть может, знали) и сейчас же призвали их к власти. Футуризм был объявлен искусством пролетарским»[{362}].

Елена Толстая, републикуя эту редкую статью, полагает, что на резкую позицию ее дедушки по отношению к футуристам могла повлиять его бывшая жена Софья Дымшиц, которая в то время, покуда граф Толстой томился от безденежья на острове Халка или едва сводил концы с концами во Франции, процветала, насколько это было возможно, в революционной Москве, и сопровождает ее своим чрезвычайно ценным комментарием и еще одним поразительным документом, который невозможно не привести целиком:

«В конце 1917 года Софья Исааковна, принявшая православие в 1911 году, возвращается в лоно иудаизма, о чем сохранилась соответствующая запись в Петроградской синагоге (впрочем, это было тогда повсеместным явлением)…

Софья Дымшиц является секретарем Татлина в Московской Художественной Коллегии ИЗО Наркомпроса и возглавляет международное бюро этой секции; готовит к публикации первый номер журнала «Интернационал Искусств» и рисует его обложку; к празднествам 7 ноября 1919 года проектирует убранство Красной площади и фейерверк.

Итак, Софья Дымшиц, бывшая графиня Толстая, оказывается ближайшей сотрудницей и сподвижницей главы футуристов по той их деятельности, которая Толстому кажется убийством русского искусства, растлением народного духа, разрушением образа мира и — через это разрушение — магическим умерщвлением жизни на земле. Нам кажется, что гражданский

пафос осложнен здесь глубоко личными гневом, отчаянием и ненавистью; к ним примешивается и оттенок национального чувства. Интернациональное, стирающее все следы этноса, универсальное искусство поздних футуристов наполняет Толстого священным ужасом. <…>

Уезжая на юг из Москвы летом 1918 года, Толстой оставил там свою старшую дочь, семилетнюю Марьяну — его дочь от Софьи Исааковны. Мысль о брошенной дочери, для которой у матери — футуристки, комиссарши, большевички, еврейки — нет времени, должна была преследовать Толстого ежечасно. В Одессе и затем в Париже он опубликовал следующее послание, полученное им из Москвы — несомненно, от матери его новой жены Н. В. Крандиевской, писательницы Анастасии Романовны Крандиевской. Поражает в нем именно горячая и гневная заинтересованность темою власти футуризма, связанной с «С. Д.», то есть Софьей Дымшиц:

Письмо из Москвы

«С чего и начать-то вам повесть нашей жизни, уж я и не знаю. Не жизнь, а агония. И разница между смертельной и этой нашей — лишь та, что смертельная длится дни, а эта — месяцы. И вот тут-то, в этом пункте, у меня всегда чувство благодарности судьбе, что вы уехали, что дети ваши хоть голода-то не знают, как знают все, здесь живущие.

Нельзя описывать, да и не стоит, во что превратились здесь не только для детей, но и для всех взрослых грезы о кусочке хлеба с маслом, о кусочке сала свиного, о молоке и проч., и проч. Прямо какой-то психоз преследования этих всех истинно сытных вещей истощенных, оголодавшихся до крайности. Тем не менее, все-таки живем, вот и Бог даст, может, и выживем до лучших дней. Москва наша, как уже совсем прочно циализированная, стоит без лавок, без рынков, без Охотного. И даже внешний вид ее апоплексически жуткий и страшный: магазины все заколочены, и вывески в некоторых местах сорваны, как-то особенно озорно и умопомешанно, с мясом, с частью стен и штукатурки. А в пустых магазинах через незапертые двери и окна видны рогожи, доски, мусор — словом, все, что говорит о запустении, об отъезде куда-то, о какой-то убыли, потере людей, словно все попровалилось к черту, вся жизнь стала хламом, мусором прошлого.

Ну и конечно, нигде ничего нельзя достать. На бывших рынках все-таки по пятницам, средам и воскресеньям стоят хвосты у каждого возницы с гнусной капустой кислой, или с морковкой, или с кониной.

Своих я от рынков только и питаю. Но для этого надо вставать в темноте. Да еще в писательском союзе получили два пуда муки. (Этот союз образовался на почве продовольственной нужды, председателем там М.О. Гершензон, секретарем Н. Е. Эфрос.) Вместо масла и сала получаем бульон в кубиках «Торо».

Прислуги мы никакой не держим. Все сами — и стряпня, и поломойство на кухне, и рынок, и хвосты. У Жилкиных тоже нет прислуги, Ваня сам стирает. Буквально вся средняя интеллигенция живет сейчас, как чернорабочая. Да вот вам: папа с Надей взяли салазки у дворника и пошли на Смоленский бульвар в какой-то дом, где писатели устроили склад муки. Думали, что только они с Надей с салазками, а оказывается — с такими же салазками и все за мукой притащились… Тут и Марина Цветаева, и сам бог сонмища Бальмонт.

Все это сейчас работает черную работу и прислуг не знает. Да и слыть паразитическим элементом опасно, если же держать прислугу, то в паразиты попадешь непременно.

Самое же главное, — чем кормить прислугу, когда хлеб сейчас 20 руб. фунт, да и нет его, мясо — 45 руб. фунт, сахар — 100 руб. фунт, картофель — мера 200 рублей. Прачек тоже нет, белье стираем сами.

Домов теперь не топят. Мы сбились в столовую, где поставили печку железную и трубу протянули через всю комнату, остальные заперли, так как там выше двух градусов не поднимается, а бывает и ниже нуля.

Ведь Москву, как и Питер, изводит сейчас не только голод, но и холод. Больше всего страдают руки, распухает и трескается кожа. Наш знакомый, доктор Калабин все ходил, все лечил, все страшнел и худел. И вдруг — лег и умер. Мать его в четверг, а он в пятницу. Это первая смерть от голодного истощения на наших глазах. На днях узнала, — умерли также профессор Веселовский, Фортунатов, Алексей Федорович, прис. пов. Сахаров. Так что и нам надо опасаться.

Сейчас огромные дела с искусством делают футуристы, — Маяковский, Татлин, С. Д. и проч., до того они ловко сами себя и покупают, и прославляют. В народный музей скупаются сейчас картины и статуи, и в первую голову идет бредовая мазня футуристов. Татлину же, кроме того, большевиками отпущено на искусство бесконтрольно полмиллиона рублей.

Друзья мои, не горюйте сейчас о Москве. Она и Питер, и вся Россия сейчас зяблые. Забейтесь в куток, где-нибудь на юге, где был бы только кусочек белого хлебушка, ходите в рогожах, в лаптях, да только не мучайтесь от голода, как мы.

У нас у всех такое здесь чувство, что большевики будут править Россией 33 года, но только России уже не будет, а будет огромное кладбище, на котором ветер плавает от Ледовитого океана до Черного моря.

Души наши опустошены, будущее беспросветно и безнадежно. Так, по крайней мере, кажется оно нам, когда читаешь газеты. В них изо дня в день печатается все одно и то же, — о победе и одолении всемирного коммунизма. Иной раз кажется, что в этой беспросветной мгле так и не закончишь свои земные дни…»

(Настоящее письмо было получено из Москвы и опубликовано весной этого года в Одессе гр. Алексеем Н. Толстым.)»[{363}]

Статья была опубликована в газете «Общее дело» в августе 1919 года, то есть вскоре после приезда Толстого во Францию. Едва ли она нуждается в комментариях, но обращает на себя внимание одна деталь: «Общее дело» в Москве читали, кто такой гр. Алексей Н. Толстой знали и найти его родственников труда не составляло. Толстого это не останавливало. Не потому что он был бессердечен, скорее в этот момент им действительно двигало то самое состояние ненависти к большевикам, когда он был готов загонять им иголки под ногти.

«— Будучи в Париже, он не раз мне с надрывом говорил: «Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: «Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь». А ведь «царя» он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел»[{364}].

Ненавидел и ждал, что Деникин дойдет до Москвы. Не удалось. История России пошла иным путем, и рискну предположить, хотя Толстой нигде этого прямо не пишет, что именно зимой 1919/20 года, когда была разбита Белая армия и рухнула последняя надежда на разгром большевиков, в душе Толстого произошел надрыв.

Косвенно об этом свидетельствуют строки из письма Н. В. Крандиевской профессору Ященко от 27 декабря 1919 года: «Последние дни на него напала тоска — уж очень плохие вести из России!»[{365}]

Это как раз и были вести о разгроме белых войск.

Этого поражения Толстой Белой армии не простил, он разочаровался и в ней, и в ее вождях. Он не увидел за ними исторического будущего и — что особенно важно — государственности, поэтому и вдарил так по Белому движению и в «Хождении по мукам», и в «Эмигрантах», и в «Хлебе». В них была не только конъюнктура, но и личная обида на тех, кому он слишком доверял и вместе с ними, на их штыках мечтал вернуться в Москву. Не он один горечь обмана и разочарования изведал. Многие русские люди пришли тогда к тяжкому, но неизбежному заключению, что путь прямой конфронтации с большевиками ведет в тупик. Знаменитое «турбинское»: «Народ не с нами — народ против нас» — было не булгаковской выдумкой, но горьким прозрением тех, кто революции никогда не сочувствовал, однако и в ее врагах разочаровался.

Пафос булгаковских офицеров из «Белой гвардии» («Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно повторил полковник») был Толстому более чем понятен, и у него от бессилия и стыда за Белую армию все дрожало внутри, но не таков он был, чтоб разочарованием жить.

Он искал выход. Этот выход искали и в России, и за ее пределами. В России переходили на службу к большевикам, в эмиграции пытались понять их правду и найти ответ на вопрос: как могло получиться, что авантюристы, бандиты, немецкие шпионы, захватившие власть в октябре 1917 года, которым все прочили скорое поражение и которых не воспринимали всерьез, победили? Почему народ оказался с ними?

«Либо Советская Россия есть какой-то выродок, и тогда вина за это падает на русский народ, и нет ему в этом оправдания, ибо целый народ не должен добровольно отдаваться шайке разбойников, — писал один из основателей партии кадетов Н. Гредескул, — либо Советская Россия есть зародыш, зародыш нового человечества, попытка трудящихся осуществить свои вековечные чаяния»[{366}].

Для Бунина победа большевиков была победой вырождения, победой окаянства и мирового зла, в которой виноват русский народ, Бунин все чаще вспоминал свою «Деревню», где это было предсказано — народ оскотинел и потерял образ Бога; Пришвин считал революцию высшим проявлением хлыстовства; Булгаков вложил в уста Мышлаевского едкую фразу «про мужичков-богоносцев Достоевских, святых землепашцев, сеятелей и хранителей»; для Толстого происходящее было необъяснимо.

Революция шла совсем не в том направлении, в каком ему представлялось и желалось. Пожалуй, теперь-то и началась его растерянность. В отличие от Бунина, который знал, что уехал из России навсегда и вернется в лучшем случае своими книгами, Толстой с потерей Родины и с эмиграцией был не в состоянии примириться психологически, лучше даже сказать физически, биологически. Ему Россия, красная ли белая, зеленая, любая, была дороже всего — на уровне инстинкта; она ему как мамка была нужна, и он с ужасом думал о том, что ее может не быть. Уезжая, он знал, что вернется. А иначе? А иначе:

«Пройдет два, три года, — вымрут остатки… Придут иностранцы, расселятся по зеленому кладбищу… У папуаса — свой собственный шалаш. А у меня — нет. России — нет. Кончено. А вот все-таки живу, — странно…»

Это мысли героя рассказа «В Париже», но и его собственные тоже. С такими мыслями жить было невозможно. «Под микроскопом все человечество — просто плесень, грибная туманность… А убить себя все-таки не могу… Черт знает что такое… Не могу, поди ж ты…» И чтобы не сойти с ума, от инстинктивного страха, а не в поисках выгоды он стал всматриваться, вслушиваться в голоса тех, кто искал иного, менее категоричного и жесткого, чем у Бунина, объяснения русской трагедии[35]и кто давал более гибкий ответ на вопрос: что делать?

В 1919 году в Берлине (независимо от Гредескула, идеи эти витали в воздухе) возникла группа «Мир и Труд», которая стала предтечей всего сменовеховского движения. Целью этой группы было так называемое «культурное примиренчество» и отказ от участия в Гражданской войне на любой из сторон.

«Ни к красным, ни к белым!», «Ни с Лениным, ни с Врангелем!» — так звучат лозунги русской левой демократии.

Многим кажутся странными эти лозунги. «Красное» и «Белое» покрывает всю Россию без остатка. Отрицать и то и другое — не значит ли отрицать всю Россию?..

А зачем выбирать? Не пора ли безнадежный анализ, разборчивость, разрушающую критику заменить творческим созидающим синтезом? Если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть, и вместо «ни к красным, ни к белым», поставить смелое, гордое и доверчивое: «и к красным, и к белым!»

И принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина»[{367}].

Эти идеи были сформулированы одним из лидеров группы «Мир и Труд» писателем и журналистом В. Б. Станкевичем: «Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который, несомненно, наступит, какой бы политической вывеской ни прикрывалась власть»[{368}].

Близки к этой группе были и писатель Роман Гуль, и литературовед профессор Ященко. Последний писал об идеях группы Толстому, а Толстой Ященке отвечал, и это письмо — один из самых важных документов в биографии писателя, исходный момент его поворота в сторону красной Москвы.

«Господь Бог сохранил меня от того, чтобы не кончить роман в октябре, ноябре. С тех пор я очень, очень многое понял и переоценил.

Я совсем согласен с тобой в твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит более или менее в стороне. Те, кто приезжает из России, — понимают меньше и видят близоруко, так же неверно, как человек, только что выскочивший из драки: морда еще в крови, и кажется, что разбитый нос и есть самая суть вещей.

Когда началась катастрофа на юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешать, найти в совершающемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удивительно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял, что совершается грандиозное — Россия снова становится грозной и сильной. Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко и даже гнусно, но думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и увидели, к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной и

неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формируются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настегивать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно, что сейчас мы все уже миновали время чистого разрушения (не бессмысленного только в очень высоком плане) и входим в разрушительно созидательный период истории. Доживем и до созидательного»[{369}].

Письмо Толстого было написано 16 февраля 1920 года. Оно не означало полного разрыва с эмиграцией и уж тем более сочувствия левым идеям, так что едва ли Бунин, который только в это время появился в Париже и был тем самым выскочившим из драки человеком, кому разбитый нос — суть вещей, — едва ли Бунин сочинял, приписывая Толстому резкие высказывания в адрес большевиков, но поразительна эволюция, которую проделал за полгода— с осени 1919-го по конец зимы 1920-го — Алексей Толстой, автор статьи про футуристов и публикатор письма из Москвы, до этих строк, пусть даже оставшихся фактом его частной переписки.

И фраза про роман, то есть «Хождение по мукам», здесь очень важна. Существует устойчивая легенда, что эмигрантский, первый вариант романа сильно отличается от советского, и к этой легенде опять-таки приложил руку Бунин:

«Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый печатанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевистским требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными»[{370}].

На самом деле это не совсем так. «Хождение по мукам» даже в первом его варианте писалось человеком, уже не настроенным однозначно враждебно по отношению к большевизму и революции. И никаких «белых» героев и героинь, за исключением одного, — там нет. Да, Толстой вложил ненависть к большевикам в образ одного из ключевых персонажей — Вадима Рощина, но это взгляд героя — не автора.

В берлинском издании эта ненависть обозначена резче:

«— Вот змеиное-то гнездо где, — сказал Рощин, — ну, ну…

Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, а поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие, оборванные личности и просто ротозеи-прохожие, — на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призывал к свержению, разрушению и равенству… У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки…

— На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем, — сказал Рощин».

В советском варианте делается акцент не на решительности, а на растерянности главного героя (растерянности, которую впоследствии и припишет Эренбург самому Толстому):

«— Давеча я был здесь в толпе, я слушал, — проговорил Рощин сквозь зубы. — С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает… О, как слушает!.. Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе, — мы или они? — (Он кивнул на балкон особняка.) — Нас не хотят больше слушать… Мы бормочем слова, лишенные смысла… Когда я ехал сюда — я знал, что я — русский… Здесь я — чужой… Не понимаю, не понимаю…»

В советском варианте «Сестер» иначе изображены большевик Акундин и идейный бандит Жадов, но это не меняет кардинально всей конструкции романа. Если бы Толстой с самого начала захотел пройтись в романе по большевикам, он влил бы в него куда больше яду. Но он этого не сделал.

Перефразируя Эренбурга, можно так сказать: Толстой-художник сильно опережал Толстого-мыслителя. Художник «переметнулся» на сторону красных раньше гражданина и, как библейский Давид, выбрал того господина, который сильнее. А блага, которые он за это получил, вторичны. Толстой был не из тех, кто продается за чечевичную похлебку, его подкупала растущая мощь Советской страны, мощь нового русского государства, империи, которую интуицией художника он издалека узрел и к которой по контрасту со слабостью эмиграции потянулся всем сердцем, всем сознанием. Точнее даже силой более могучей — инстинктом, брюхом, чем и был славен наш герой.

И отсюда — высказанная в «Хождении по мукам» вера в воскресение России с опорой на Ключевского, отсюда яростный спор Рощина с Телегиным, где первый в ужасе говорит:

«…Русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, — к государству, к России. <…> Солдат плюнул на то место, где его обманывали три года, бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя… К осени, когда хлынут все десять миллионов… Россия перестанет существовать как суверенное государство, <…> Родины у нас с вами больше нет, — есть место, где была наша родина. — Рощин стиснул руки, лежащие на скатерти. — Великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие… Как вы не хотите понять, что уже началось… Николай-угодник вам теперь поможет? — так ему и молиться забыли… Великая Россия теперь — навоз под пашню… Все надо — заново: войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас…

Он сильно втянул воздух сквозь ноздри, упал головой в руки на стол и глухо, собачьим, грудным голосом заплакал…»

Было ли ведомо Толстому это отчаяние Рощина? В семнадцатом году, как показывают его публицистика и дневник, — нет, позднее — да. И ужас, и боль, и отчаяние. Но все было изведано и преодолено — очень простым — *жить было надо:*

«Иван Ильич, в одних панталонах со спущенными помочами, сидел на постланном диване и читал огромную книгу, держа ее на коленях.

— Ты еще не спишь? — спросил он, блестящими и невидящими глазами взглянул на Дашу. — Сядь… Я нашел… ты послушай… — Он перевернул страницу и вполголоса стал читать:

— «Триста лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за десять лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси.

Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на Дикую степь — грабить было нечего. За десять лет Великой Смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей и огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, — люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. Остатки

народа разбрелись на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь.

В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной и опустошенной и с великими трудами очищенной от польских захватчиков, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, выбранного, по совету патриарха, обнищалыми боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал, в страхе и унынии глядя в окно возка на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей. Но жить было надо. Начали жить. Призаняли денег у купцов Строгановых. Горожане стали обстраиваться, мужики — запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово. Кланялись низко и Крыму, и Литве, и шведам. Берегли веру. Знали, что есть одна только сила: крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном…»

Иван Ильич захлопнул книгу:

— Ты видишь… И теперь не пропадем… Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, — разбили Карла Двенадцатого и Наполеона… А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил… Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля…»

Изумительные страницы. Вечные. И для нашей истории в целом, и для сегодняшнего дня в особенности. «Хождение по мукам» вообще в этом смысле роман конструктивный. Он построен не на отрицании, не на насмешке над своим, как ранние вещи Толстого, а на утверждении. Точнее — утверждение противостоит отрицанию, человек побеждает обезьяну, нравственность одолевает разврат.

«То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, без-любой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей».

А всему этому противостоят здоровые русские люди — сестры Катя и Даша, инженер Телегин и офицер Рощин. Петербург — это болезнь, которой так или иначе, легче или тяжелее больны толстовские герои. Это то, что должна исторгнуть из себя Россия. «Хождение по мукам» в этом смысле — гимн устойчивой, традиционной национальной жизни, какой Толстой не видел в молодости и какую увидел теперь.

Похоти заволжских помещиков он противопоставил «здоровую девственность» Даши, которую она сберегает *для* Телегина, петербургскому безлюбью — любовь Кати, упадку, отчаянию и

разрушению — нравственную силу и доброту Ивана Ильича Телегина, пошлости и трусости — мужество и благородство Рощина. Вероятно, ни в одном из русских романов начала века не было такого количества положительных героев. Причем как в берлинском издании, так и в советском. Этого — самого главного, своего рода духа *добротолюбия* («Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, — в этом было добро») и противостояния упадку — Толстой в своем романе не изменил и даже оставил фразу об «уютном, старом, может быть, слишком тесном, но дивном храме жизни» — жизни дореволюционной.

Но точно так же не изменил он и образа того героя, в ком, напротив, дух отрицания и соблазна, эта русская болезнь и бесовство нового времени, был выражен с особенной силой.

«Его стихи — три белых томика — вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали — забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает…

…И вдруг ему захотелось напустить на эту простодушную девушку черного дыма своей фантазии. Он заговорил, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам:

— Вы видели, — по городу расклеен плакат: хохочущий дьявол летит на автомобильной шине вниз по гигантской лестнице… Вы понимаете, что это означает?..

Он писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение Черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет.

Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такою эту страну, которую знал только по книгам и картинкам. Лоб его покрывался глубокими морщинками, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки бумаги…

…Медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках Черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление».

В романе этого демонического персонажа зовут Алексей Алексеевич Бессонов. В реальной жизни его звали Александр Александрович Блок. Чтобы усилить эту параллель, Толстой использует одинаковые начальные буквы имени, отчества и фамилии. Уже в наше время писатель и литературовед Сергей Боровиков высказал предположение, что, готовя свой роман в советском варианте, когда Блок был уже почти что канонизирован в качестве первого революционного поэта, Толстой с радостью отказался бы от образа Бессонова, но сделать это не смог, так как слишком много сюжетных линий было на нем завязано.

Отчасти эту версию подтверждает и сам Толстой, судя по более поздним воспоминаниям, пытавшийся доказать, что он имел в виду вовсе не Блока, а его подражателей. Младший сын писателя Дмитрий Алексеевич приводит в своих мемуарах разговор с отцом:

«Помню зимний вечер в Барвихе в 1940 году, когда я заговорил с отцом о стихах. Шел разговор о Пастернаке. Отец помешал угли в камине кочергой и сказал: «Единственный гениальный поэт нашего века — это Блок. Хочешь, я тебе почитаю Блока? Принеси томик из библиотеки. Или нет, почитай лучше сам». Он говорил тогда о Блоке с подлинным восторгом, и я как-то вдруг осознал степень его почитания. Я спросил с недоумением, как же мог он, так любя поэта, вывести его в Бессонове. «Бессонов — это собирательный образ, это — больше последователи Блока, нежели он сам», — ответил он. В тот зимний вечер я почувствовал атмосферу, в которой формировался молодой Алексей Толстой. Блок был поэтом его юности»[{371}].

Но, пожалуй, больше правды в рассуждениях литературоведа Мирона Петровского: «В первой части трилогии есть несимпатичный образ поэта-декадента Алексея Алексеевича Бессонова, в котором читатели без труда разглядели шаржированные черты А. Блока. Автор объяснял впоследствии, что он имел в виду не самого Александра Александровича, а его многочисленных и малоталантливых эпигонов. Объяснение автора можно, конечно, принять на веру, не задумываясь, почему эпигоны Блока должны быть осмеяны в физическом и биографическом облике поэта»[{372}].

Это комическое, жалкое, нелепое нарастает в образе Бессонова по мере развития действия. Поначалу он еще способен действовать на обеих сестер, способен их очаровать, заколдовать, завладеть душами и телами, он может завезти старшую «на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша» овладеть ею так, «будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ».

Он способен стать причиной разрыва между Катей и ее мужем, он может почти овладеть младшей, останавливающейся в самый последний момент. Но чем дальше, тем слабее становится его воздействие, и в нем — усиливается бессилие — импотенция, духовная и физическая. В противостоянии с Бессоновым летом 1914 года, последним летом «старой, веселой и грешной жизни», когда в «необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои», Даша одерживает победу и тем самым берет реванш за падение и унижение не только своей сестры, но и всех своих сестер из ранних толстовских произведений («— Никогда в жизни, хоть умрите…»), и в награду за стойкость получает «загорелого, взволнованного, синеглазого, неожиданно родного» Телегина.

С его помощью она выздоравливает от своей декадентской болезни, от символистского бреда, а Бессонов остается ни с чем, его ждет еще последняя встреча с Дашей на Тверском бульваре перед отъездом на фронт, но никакого обаяния в «демоне ее девичьих ночей» не осталось. Бессонов — тощий, облезлый, в мешком сидящем френче и фуражке с красным крестом. Взгляд его тускл и скучен — «сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается».

Это герой не ее романа, ее герой — отважный, находчивый Иван Ильич, совершающий побег из немецкого плена с той же ловкостью, с какой впоследствии это проделает герой шолоховской «Судьбы человека». А Бессонову остается нелепая смерть от руки сошедшего с ума дезертира, и в его последних мыслях нет ни покаяния, ни просветления, а один лишь мрак. И все это снова очень блоковское. В его сне «огни Петербурга, строгое великолепие зданий, музыка в сияющих теплых залах, обольщение взвивающегося театрального занавеса, обольщение снежных ночей, женских рук, раскинутых на подушках, — темных, безумных зрачков…

Волнения славы… Упоение славы… Полусвет рабочей комнаты, восторгом бьющееся сердце и упоение рождающихся слов…».

А наяву: «…тащись, тащись, покуда не переедут колесами… Писал стишки, соблазнял глупеньких женщин… Взяли тебя и вышвырнули, — тащись на закат, покуда не упадешь… Можешь протестовать, пожалуйста. Протестуй, вой… Попробуй, попробуй, закричи пострашнее, завой…»

Толстой не просто смеялся над Блоком, он мстил ему[36].

Трудно сказать, за что конкретно, и почему ему, а не Сологубу, например, но очевидно мстил. И если бы хотел смягчить впоследствии этот образ, сделать это было бы не трудно. Убрать несколько черточек, исправить резкие выражения, дать герою другую смерть. Он этого не сделал.

Он писал свой роман, когда Блок был еще жив. Должно быть, смерть поэта сильно поразила создателя Бессонова, но едва ли изменила его отношение к прототипу. В этом смысле любопытно сравнить, как соотносится образ Бессонова в романе «Хождение по мукам» с образом Блока в статье Толстого с характерным названием «Падший ангел», написанной в августе 1921 года, в сущности — статье-некрологе:

«Он был павшим Ангелом, он был каждым из нас. Его душа была мрачна. Он все более уединялся от людей. Он говорил, обычно, мало. Был приветлив и сдержан. На его прекрасном лице легли следы бессонных ночей. Телефон в его квартире работал только четверть часа в сутки.

В то время говорили, что Блоку нужно ехать лечить неврастению, — нельзя же, в самом деле, отравлять здоровым людям пищеварение постоянным напоминанием о смерти, о гнили. Были такие, которые в простоте души думали, что нужно жить «по Блоку», и на все ночи закатывались в кабаки, искали там Незнакомок с «крылатыми глазами». <…> В Блоке словно истлевало все, что было его личным, все, что его, лично, привязывало к жизни, и понемногу освобождалось в нем человеческое, великое. Он без пощады жег себя на огне страстей и тоски. Бывали недолгие вспышки влюбленности, и тогда появились книги колдовского очарования. <…>

Пронзительным взором Блок проник в снежную ночь. Он услышал трубные рога революции, ее дикий посвист, ее яростные шаги… <…>

Пронзительным взором он проник в бездну бездн тьмы. Он увидел Христа, ведущего через мучительство ту, у которой окровавленный плат опущен на брови.

Блок закрыл глаза навсегда. Теперь он знал, зачем его сердце так любило и так бедствовало. Он знал имя той, кого, кружась в огневых кругах своих недолгих лет, он настиг в горном терему.

Так любить, как возлюбил Россию Блок, мог бы только ангел, павший на землю, ангел, сердцу которого было слишком тяжело от любви.

Блок умирал медленно, — истаял, отошел.

*Последний свет*
*Померк. Умри.*
*Померк последний свет зари»*[{373}].

Конечно, здесь нет ни насмешки, ни презрения, как в романе, и тем не менее толстовский «падший ангел» — это все равно не Блок, но Бессонов. Только облагороженный. И герои Толстого — Даша, Катя и Телегин — любят Россию иначе, чем он, и их ждет иной удел. Их сердцу не тяжело, не темно, но — легко, светло от любви. Они предназначены для жизни, не смерти. Для них Россия не кончена, но подлежит воскресению. Последнее для нашего героя абсолютный постулат. Не так важно, кто Россию воскресит, важно — она воскреснет. Это могли бы сделать белые, но не сделали, и тогда Толстой и его персонажи неизбежно повернутся в сторону красных.

Но — не в сторону революции. Красных Толстой мог признать только за ту государственную, созидательную роль, которую они сыграли в русской истории; блоковского приятия революции, блоковского «слушайте музыку революции» в романе не было (и никогда не будет), и современная Толстому эмигрантская критика это хорошо понимала. В 1922 году в эсеровской газете «Голос России», главным редактором которой стал В. М. Чернов, появилась статья «Два восприятия революции. (Ал. Толстой и Ал. Ремизов)» за подписью В. Россов, где, в частности, были такие строки:

«А. Толстой не политик и не специалист в революциях. Интересно и важно лишь одно: что уловил он в ней своим психологическим чутьем как художник, что сумел он передать в своем романе «Хождение по мукам». Если его художественный ответ прозаически подытожить, то окажется прежде всего и больше всего, что «музыка» революции сводится к колоссальнейшей какофонии, а душа революции — в массовом помешательстве народных толп, демонстрируемом публично и свободно по недосмотру и бездействию власти.

Впрочем, предоставим слово самому гр. А. Толстому. Вот как изображает он нам начало «революционного действа».

«Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана, но когда обыватели увидели заставы на местах и перекрестках, то всем, как повелось это издавна, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено: ходить через мосты и собираться в толпы… Распалялась и без того болезненная фантазия. По городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся». Потом «открыли продольный огонь по любопытствующим и по отдельным прохожим». И тогда «обыватели стали понимать, что начинается что-то очень похожее на революцию». К тому же ничего не понимал «диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку, каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверена в управление Российская империя — к роковой растерянности». И вот откуда «пошла есть революция на русской земле».

Вы хотите знать ее духовную сущность? Извольте.

«Очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством…»

«У всех было странное чувство неперестающего головокружения… В городе росло возбуждение, почти сумасшествие — все люди растворились в общем каком-то головокружении, превратились в рыхлую массу, без разума, без воли, и эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, воли, которая, ослепив, слила бы эту рыхлую массу в один комок»…

«Растворение всех в этом встревоженном людском стаде было так велико, что даже стрельба

мало кого пугала. Люди по-звериному собирались к двум трупам… Ветром трепало красную тряпку на шесте. В кучках городовых, рослых и хмурых людей, было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою — враг уже на плечах, всем ясно, что надо делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно…»

Вот вам и революция, возглавленная «красной тряпкой» и раскованная «роковой растерянностью» некстати посаженной в диктаторы «проломанной головы». Это — головокружительное, сумасшедшее, без разума и воли, по-звериному наросшее возбуждение обуреваемого фантазиями, злобой и недовольством рыхлого людского стада. На фоне его орудуют случайные люди — рабочий Васька, который «ужасно сволочь, злой стал — револьвер где-то раздобыл и все в кармане прячет», вечно выскакивающий вперед «юноша с прыщавым бабьим лицом»; прозелит революции, инженер Струхов, из своеобразного эстетизма мечтающий «устроить хаос первоначальный, оставить ровное место», чтобы не было «ни государства, ни войска, ни городовых, ни этой сволочи в котелках»; крикуны с «жестами, протыкающими насквозь старый порядок»; трафаретный большевик с «зеленоватыми, холодными и скучными глазами», твердящий «нам нужна Гражданская война»; нелепый «фронтовой комиссар Временного правительства», растерзанный солдатьем несмотря на обещание, что «отныне солдатский палец будет гулять по военной карте рядом с карандашом главковерха»; теоретик «планетарного анархизма», грабящий ювелирные магазины и проектирующий взорвать землю у экватора, чтобы сорвать ее с ее орбиты и бомбой пустить в пространство. Все это вертится, кружится на фоне всероссийской обломовщины, какого-то «ленивого и злого непротивления всему, что бы ни случилось», а по этому случаю целые города и села колобродят, словно пьяные; люди обнимаются, плачут от радости, ибо «после трех лет уныния, ненависти и крови растопилась, перелилась через края доверчивая, ленивая, не знающая меры славянская кровь»…

О, конечно, «в народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет». Потому-то так пестра картина революции, и рядом с героическими деяниями, золотыми буквами врезающимися на страницы истории, мы видим жалчайшие авантюры и позорнейшие падения. В революциях, наряду с великанами мысли и чувства, мы видим и психически неуравновешенных людей, и истериков, и искателей приключений. И все сильные, и все слабые стороны, и достоинства, и пороки народа в эпоху революции равно достигают своего апогея. Но то ли мы видим у Алексея Толстого? Где же у него революция? Неужели не было в ней и нет чего-то такого, чего он не досмотрел? Или он прав, и никакой великой исторической революционной трагедии в России не было, а был какой-то «дьяволов водевиль»?

Обжегших себе ладони около костров революции много. Но мало тех, кто, несмотря на все ложные звезды, фальшфейгеры и блудящие болотные огни, не превратились в бывших людей и дезертиров революционного «откровения в грозе и буре». И гораздо во много раз больше число тех, кто, пораженный куриною слепотою и огнебоязнью, только рукой махнет на мечту о зажигании «цельным огнем» и спешит записаться в цех пожарных для заливания всех великих и малых исторических костров…

Ремизов, как и Блок, как и Андрей Белый, сохранили себя от этого гнилого поветрия. И в этом — их сила{374}.

Тут вот что любопытно. Во-первых, ни одна из толстовских контрреволюционных цитат не была исключена из советского издания романа (правда, речь шла о революции Февральской, большевиками не признанной), а во-вторых, рецензия В. Россова была опубликована тогда, когда Толстой заявил о своем разрыве с эмиграцией и фактически в Москве считался уже своим. И если Ремизов, которого рецензент противопоставляет Толстому как писателя, правильно понявшего революцию, останется в эмиграции, если Андрей Белый вернется в

Россию для эмиграции внутренней («Ветер с Кавказа» не в счет), то именно Алексей Толстой, революцию не принявший, примет советскую власть и станет ее апологетом. Тут нет противоречия; более того, даже сам опыт Толстого не уникален.

Одновременно с Толстым Михаил Пришвин, чье хождение по мукам осуществлялось не в эмиграции, а в русских деревнях под Ельцом и Смоленском, Пришвин, еще более яростно, чем Толстой, отрицавший революцию, признает, хоть и со скрипом, хоть и с оговорками, власть большевиков.

«Как это ни странно, а большевизм является государственным элементом социализма»[{375}], — писал он в дневнике, не знакомый ни со сборником «Смена вех», ни с национал — большевизмом, а в одном из вариантов созданной по горячим следам революционных событий повести «Мирская чаша» про ее героя комиссара Персюка — человека жестокого и властного, «едва отличного от мерзости» (мужиков, которые уклонялись от уплаты налога, в прорубь опускал) — будет сказано: «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада»[{376}]. Или другая, более резкая реплика: «Вот урок: большевики, подымая восстание, не думали, что возьмут и удержат власть, они своим восстанием только хотели проектировать будущее социальное движение, и вдруг оказалось, что они должны все устраивать: роман быстро окончился оплодотворением, размножением и заботами о голодной семье; не ходи по лавке, не перди в окно»[{377}].

Именно за это устроение, а не за туманную музыку революции немузыкальный Толстой большевиков принял и вернулся в Советскую Россию. Тут, собственно, нет ни измены, ни предательства. Тут такая логика: если некто тонет, не имеет значения, кто его спасет. Пусть даже тот, кто в воду швырнул. Толстой ничем не гнушался, и в этом смысле уже в эмигрантском издании романа было сказано главное.

«Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля…» Но — не из эмиграции, пусть даже она и чище, и благороднее. Из России. Из глубины. А то, что народ, по Бунину, оскотинел? В конце концов, и те, кто преодолевал в XVII веке смуту, отнюдь не были героями с убеленными ризами и в смутное время вели себя по-разному. Толстой точно знал, что история чистыми руками не делается и белые Россию не спасли и не воскресили точно. А вот сделали ли это красные — вопрос, на который писатель пытался ответить всю свою жизнь.

Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. От частного письма Ященке до открытого письма Чайковскому, где Толстой прямо заявил о своем разрыве с эмиграцией, прошло больше двух лет.

За это время Толстой не только очень много писал, но изо всех сил старался наладить издательскую деятельность в Париже. В развеселых воспоминаниях Бунина все выглядит отлично. Они с Толстым ездят по богатым буржуям, без особого труда выколачивают из них деньги на издательства, печатаются, получают гонорары, вечерами ходят друг к другу в гости, пьют хорошее вино, любуются Парижем и дружат, как Чичиков с Маниловым.

«Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан добраго вина и полюбоваться огнями этого чуднаго города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями…»[{378}]

«28 апр./15 апр. […] Вчера были у Толстых по случаю оклейки их передней ими самими. Пили вино. Толстой завел интересный разговор о литературе»[{379}], — писала в дневнике В. Н. Муромцева-Бунина.

Дневниковые записи самого Бунина говорят, впрочем, о несколько раздражительном отношении автора «Третьего Толстого» к своему герою:

«16 февраля/1 марта 1922 года. Репетиция «Любовь книга золотая» Алеши Толстого в театре «Vieux Colombier». Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу страну в таком (главное неправильном) виде»[{380}].

«12/25 августа 1921 г.

Получил Жар-птицу. Пошлейшая статья Алешки Толстого о Судейкине»[{381}].

Да и сам Толстой, судя по дневниковым записям К. Чуковского, имел на Бунина зуб:

«А Бунин, — вы подумайте, — когда узнал, что в «Figaro» хотят печатать мое «Хождение по мукам», явился в редакцию «Figaro» и на скверном французском языке стал доказывать, что я не родственник Льва Толстого и что вообще я плохой писатель, на которого в России никто не обращает внимания»[{382}].

Но это, в конце концов, дело вкуса и человеческих пристрастий, существеннее иное.

«Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушіем, и в три-четыре часа собрали 160 тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали и оно было тоже немалым матеріальным подспорьем не только нам с Толстыми»[{383}].

Возможно, это и имело место, и было такое, что однажды буржуи легко оторвали деньги от сердца, но факты говорят о том, что очень многие из толстовских литературных начинаний оканчивались крахом, и он тяжело эти неудачи переживал.

«Здесь создается крупное издание: 6 томов по русской истории и искусству. Капитал 720 тысяч. Я приглашен главным редактором. В течение двух недель — дело должно оформиться, т. е. нам выдадут двухсоттысячный аванс и тогда мы приступим к первому тому»[{384}], — писал Толстой Ященке в том же самом письме, где говорил о переоценке происходящего в России. Но полтора месяца спустя: «С большим историческим изданием пока заминка из-за общеполитических дел, — люди, обещавшие деньги, сами сейчас пока без денег».

И характерный вывод:

«Господи Боже, до чего в современных условиях трудно работать! Революции, забастовки и, главное, нет энергичных людей, — все сопли, сплошные сопли»[{385}].

Последнее прямо предвосхищает сетования Петра Первого на свое окружение из одноименного романа.

Большинство затей Толстого терпело крах. Журнал с мессианским названием «Грядущая Россия» вышел только двумя номерами — на остальные не хватило денег. Это не только горькая ирония, но и возвращение к тем далеким временам, когда молодые Гумилев с Толстым искали деньги на «Остров», а царскосельское окружение скалило зубы. Таких ли параллелей хотел Толстой в свои без малого сорок лет и к такому ли прошлому был готов вернуться?

Толстой не падал духом, он находил иные возможности заработать, и на самом деле жизнь в эмиграции, конечно, не была для него таким ужасом, как писал он позднее в многочисленных статьях и в автобиографии 1943 года. Во Франции он жил, работал и отдыхал по-толстовски вкусно. По свидетельству многих мемуаристов, он прекрасно вписался в эмигрантскую среду и в эмигрантский стиль жизни, описанный, в частности, в воспоминаниях видного эсера, литератора, редактора журнала «Современные записки» Марка Вишняка:

«В «салоне» у старых друзей Цетлиных, Марьи Самойловны и Михаила Осиповича, и «на чаях» у Фондаминского и его жены, Амалии Осиповны, перебывал едва ли не весь русский литературно-музыкальный и политический Париж, особенно писатели, поэты и художники, с которыми дружили хозяева: Бунины, Мережковские, Зайцевы, Шмелев, Тэффи, Алексей Толстой, Крандиевская, Аминадо, Ходасевич, вся литературная молодежь, пианист Артур Рубинштейн, московская балерина Федорова 2-я, художники Александр Яковлев, Гончарова, Ларионов, Борис Григорьев, мексиканец Диего Ривера. Все художники рисовали Марью Самойловну Цетлин. Бывали и политические деятели и публицисты разных направлений: близкие по былой партийной принадлежности хозяев, как Брешковская, Фигнер, Керенский, не говоря о редакторах «Современных Записок», к которым Цетлин был близок <…> бывали и Милюков, Струве и более их умеренные и даже правые»[{386}].

«20 дек./2 янв. 1921 г. Вчера у Толстых <…> были принц Альденбургский, Фондаминский, Ависентьев, Тэффи, Боловинский, Ландау и еще кто-то. Альденбургский очень интересуется эсерами, и Толстой, с которым он уже на «ты», сводит его с ними»[{387}].

Толстой, как видим, везде свой среди своих, он широк и никого не чуждается и никто не гнушается им, он повсюду желанный гость, душа компании. В воспоминаниях Дона Аминадо есть очень живой рассказ о том, как русские писатели, первые эмигранты первой волны, проводили лето 1920 года, и это немного напоминает Коктебель, только теперь они стали более солидными, обзавелись женами, детьми, обозами, однако веселились, как в юности, а Алексей Толстой, как водится, был центром этого веселья.

«Лето, как настоящие шуаны, провели в Вандее, в Олонецких песках. Так окрестил Sables d'Ologne, чудесную приморскую деревушку на берегу Атлантического океана всё тот же Алексей Николаевич.

С Толстым были дети, старший Фефа, сын Натальи Васильевны от первого брака ее с петербургским криминалистом Волкенштейном, и младший Никита, белокурый, белокожий, четырехлетний крохотун с великолепными темными глазами, которого называли Шарманкин. На что он неизменно и обиженно-дерзко отвечал:

— Я не Шарманкин, я граф Толстой!

Это ему, Никите, трогательно писала из Москвы бабушка Крандиевская, автор когда-то популярной в России повести «То было раннею весной»: «Здравствуй, сокол мой прекрасный!

Здравствуй, принц далеких стран!»

На открытке, отправленной в Хлебный переулок, в Москву, крупным четким почерком самого Толстого был дан следующий ответ: «Дорогая бабуля, срочно сообщаю вам, что мои дети такие же безграмотные болваны, как и их многочисленные отцы. По этой причине нещадно бью их тяжелыми предметами, а еще кланяюсь деду Василию Афанасьевичу, прабабушке их Поварской и всем трем переулкам — Хлебному, Скатертному и Столовому».

Все это было придумано для увеселения публики, — Алеша обожает валять дурака! — снисходительно объясняла Наталия Васильевна. И на самом деле Никиту Толстой просто обожал, но внешне никак этого не проявлял и не высказывал. А всяких нежностей и прозвищ, ласкательных и уменьшительных, и совсем терпеть не мог. И чтоб лишний раз подразнить жену, не упускал случая, чтоб с напускной торжественностью не сказать:

— А вот к Фефе я отношусь с большим уважением. И хотя он, черт, шепелявит, как Волкенштейн, — кстати сказать, Волкенштейн славился своей отличной петербургской дикцией, — но я твердо знаю, что из него выйдет гениальный архитектор и что он мне поставит гробницу Фараона, с высоты которой я буду плевать на всех!..

Жили мы хорошо и уютно»[{388}].

Однако прошел год и летом 1921-го настроение Толстого было совсем иным. Он снова отдыхал на море, откуда написал два письма. Одно — Буниным, другое — Ященко.

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывая исключительно по причине того, что напишу завтра… Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тигельные» денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем и, если ничего не случится хорошаго осенью, то и с нами ничего хорошаго не случится. Напиши мне, Иван милый, как наши общія дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба пріехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши…»[{389}]

Письмо Ященко, который был Толстому намного ближе, звучит резче: «Милый Сандро, спасибо за присылку книги, я осенью продам ее какому-нибудь идиоту и пришлю тебе в благодарность трубку «Донхилла».

Я бесконечно был счастлив узнать про твой «сухостой». Люди — говно, Сандро, — лишь немногие должны будут пережить наше время, и это именно те, у кого в голове, в душе и ниже живота — сухостой. Вообще — ты страшный молодчина.

У нас в Париже такая гниль в русской колонии, что даже я становлюсь мизантропом. В общем, все — бездельники, болтуны, онанисты, говно собачье.

Я стараюсь им не подражать. На днях начинаю новый роман, обдумываю пьесу. «Хождение по мукам» выйдет в начале августа (шестая книга Современных записок, где конец романа).

Живем в удивительной местности, в гуще бордосских виноградников. Господи Боже, как я завидую крестьянам, возвращающимся усталыми с работ, ужин на закате солнца, мирная беседа. — Господь благословил труд и плоды его, бездельников же поразил страшными

бедствиями — войной, большевиками, холерой, тифами, голодом»[390].

Бунин в своем очерке утверждает, что летом 1921 года Толстой «еще не думал, кажется, не только о Россіи, но и о Берлине», но, скорее всего, Толстой думал, и думал давно. Франция, та самая Франция, которая когда-то его покорила, которая принесла ему первую литературную известность и подарила первые писательские дружбы, Франция, куда он приезжал с невенчанной женой Софьей Дымшиц и ходил по улицам ее столицы богатым русским барином, — эта *belle France* вызывала у него теперь раздражение.

«Париж наполнили толпы опустошенных людей. Ни героических знамен, ни взрывов ликования. Тоска, злоба, недоумение: «Мы истекали кровью, — что мы получили за это?» <…>

Современный Париж беспечно, легко, без остатка разменивал великую тысячелетнюю культуру на дрянные пустяки. Наступало царство людей, не помнящих родства. Обыватели города жаждали только хорошего пищеварения и дешевого развлечения. Мелькание киноэкранов, зажигающиеся в небе огненные буквы, алкоголь и получасовая любовь оглушали тоску опустошенных душ. И вот — музеи и библиотеки стоят, как гигантские склепы. Книгой или созерцанием красоты не набьешь желудка. Театры перестраиваются под это царство победителей, под вкус опустошенных душ. <…>

Власть мошенников и воров, лихо поживившихся на войне. Духовная анархия. Растет преступность. Когда в багажном отделении на вокзале начинает вонять корзина, — это явление бытовое, — значит, в корзине разрезанный на куски консьерж или опостылевшая любовница. Газеты полны описаниями кошмарных судебных процессов. <…>

Великолепный Париж, прекраснейший из городов мира, наполнен сумасшедшими. Я утверждаю это: люди, отбросившие великие сокровища и облепившие жадно помойку жизни, — безумны. Такою Франция обречена на гибель. Можно ее оттянуть, но не отвратить. Эту гибель чувствуешь плечами, — свинцовую тяжесть неизбежности».

Конечно, в этой статье, опубликованной в 1923 году в Советской России, очень много конъюнктурного, написанного в угоду большевикам. Толстому надо было расплачиваться за советский паспорт и разрешение вернуться. Но писал эти сердитые строки человек разочарованный, понимающий, что жить в этом мире он не сможет. Другие: Бунин, Гиппиус, Зайцев, Алданов, даже Шмелев — смогут, он — нет.

Бунина очень возмущали абзацы из советской официальной биографии Толстого, где описывается эмигрантский период жизни его приятеля:

«О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобіографіи так: «Это был самый тяжелый період в моей жизни…» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведеній о белых эмигрантах, о совершенном одичаніи белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже… Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских разстрелов и расправ… Он писал на родине еще и сатирическія картины нравов капиталистаческой Америки, о которых геніально писал и великій советскій поэт Маяковскій…

Где все это напечатано? И на потеху кому?

Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мір», где сотрудничают знатнейшіе советскіе писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичаніе белогвардейцев… Кошмары белогвардейских расправ и

разстрелов…» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого разстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижскіе кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россію, где теперь никакіе сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не разстреливают, а Париж все еше существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребыванія в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерическаго разврата в веселье и роскоши».

И чуть дальше:

«Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобіографію, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживая в Париже, а во время «первой русской революціи» и первой міровой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаній, и о том, как он «растерялся» и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж…»[{391}]

Не все так просто. И вряд ли помирая только со смеху. Были и терзания, была и тоска. Просто Бунин, человек душевно очень дисциплинированный, понять этого в Толстом не мог. Ему достаточно было вспомнить лица мужиков в деревне Васильевское в семнадцатом году («В апреле прошлаго года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губерніи и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшаго на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывшій в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стая орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стая еще бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нея»[{392}]), чтобы всякие мысли про тоску и ностальгию исчезли сами собой.

Толстой же… Алексей Николаевич Толстой, чтобы он там про большевиков и про китайские пытки, и про иголки под ногти, и про свою ненависть ни говорил и ни писал, большевиков лично не знал и нигде всерьез с ними не сталкивался. Не сталкивался он ни с «окаянными» мужиками летом семнадцатого года в деревне, ни с властью атамана Григорьева в Одессе[37](и поэтому все, что касается изображения народа в «Хождении по мукам», не стоит одной бунинской строки); единственный пережитый им ужас были октябрьские бои в Москве, но все же они довольно скоро кончились, а остального он избежал.

В его эмигрантском восприятии Советской России было меньше личного ужаса и он легче верил в то, что большевизм пройдет или, скажем так, с большевиками можно договориться и под большевиками быть.

Тот же Бунин писал в дневнике весной 1921 года, во время Кронштадтского мятежа, последней реальной возможности смести власть большевиков:

«Вечером Толстой. «Псков взят!» То же сказал и Брешко-Брешковский. Слава Богу, не волнуюсь. Но все-таки — вдруг все это и правда «начало конца»!»[{393}]

Или несколько дней спустя:

«Толстой, прибежавший от кн. Г. Е. Львова, закричал, что, по сведениям князя, у большев. не осталось ни одного города, кроме Москвы и Петерб. В общем, все уже совсем уверены: «Начало конца»[{394}].

«Вернулись от Толстого… Я сидела в кресле и слушала разговоры двух писателей. Алеша уверял, что в марте конец большевикам…»[{395}]— записывала в дневнике В. Н. Муромцева-Бунина.

Очевидно, что этого конца хотел тогда и, быть может, даже уверен в нем был легковоспламеняющийся Толстой, «мыслитель» в который раз отставал от художника, а ум от инстинкта, но именно инстинктом, интуицией, нутром своим, брюхом он знал, что никакой Псков никто и никогда (пока коммунизм в России сам себя не съест) не возьмет и останутся у большевиков все их города, и был готов новую Россию принять. Но то, что Кронштадтское восстание, за которым с надеждой следила вся эмиграция, и его провал (а вместе с ним первые шаги по фактическому дипломатическому признанию Советской России: именно с этого времени советское торговое представительство в Германии рассматривается немцами как единственное официальное представительство России) стали для Толстого еще одним и, быть может, последним аргументом в пользу новой российской государственности и его личного выбора этой государственности, несомненно, как несомненно и то, что именно Кронштадт заставил большевиков пойти по крайней мере на два серьезных шага — ввести нэп и пересмотреть свое отношение к национально мыслящему, патриотически настроенному крылу эмиграции. Последнее прямо скажется на судьбе Алексея Толстого. Лето 1921 года ознаменовалось тем, что в Праге вышел знаменитый сборник «Смена вех», расколовший русскую эмиграцию, но еще раньше, весной, в Париже Толстой ясно дал понять всей эмиграции, каковы его цели и намерения.

Бунин при этом присутствовал, но о том забыл или сделал вид, что забыл. Вот что вспоминал другой очевидец:

«Через год с лишним, в тех же русских Пассях, — так называли первые пионеры парижский квартал Passy, — молодой, но уже издерганный Ю. В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый политик, читал свою пьесу «Единый куст». Среди приглашенных были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники. Пьеса, по выражению Куприна, была скучна, как солдатское сукно.

А неглубокая мысль ее заключалась в том, что Родина есть Единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их вовремя направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым. Присутствовавшие допили чай и разошлись.

Настоящий обмен мнениями, больше, впрочем, походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место уже на улице Ренуар против знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство именитых русских писателей. Больше всех кипятился и волновался Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.

Ибо пора подумать, — орал он на всю улицу, — что так дольше жить нельзя и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение… Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в предельном бешенстве: — Молчи, скотина! Тебя удавить мало!.. И, ни с кем

не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.

Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой и тоже засеменил своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны. Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на этот раз было не по себе. Беседа оборвалась. Больше она не возобновлялась.

Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону. Толстые уехали в Берлин. Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.

На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы и что любовь — это дар Божий… — А вы, — закончил он, ища слов и как будто замявшись, — вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать, и соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на всё, я вас люблю… можете верить, или не верить, мне это в высокой степени безразлично»[{396}].

Ветлугин — личность крайне интересная, но нас сейчас больше интересует Толстой. Елена Толстая так характеризует этот эпизод:

«В кругу слушателей находилось двое писателей, только что приехавших из России: Бальмонт и Илья Эренбург, который действительно незадолго до того бежал из Крыма, как пишет мемуарист. Однако Дон Аминадо не упоминает о том, что бежал он в Москву и лишь через несколько месяцев после этого был отпущен в Европу в творческую командировку. В Париже он оказался в мае 1921 года. В середине мая состоялось чтение пьесы Ключникова. В «Третьей России» Ветлугин говорит, что в Париже Эренбург старался «оправдать новую суровую культуру отказа и гибель гнилого Запада». Именно этот комплекс идей, проповедуемый Эренбургом в его новом воплощении, если верить Дон Аминадо, бурно пытался выразить Толстой по дороге домой после чтения пьесы — якобы приписывая его Бальмонту. Но Бальмонт покинул Россию и приехал в Париж в 1920 году, предыдущим летом. Похоже, что Дон Аминадо отводит внимание от роли Эренбурга.

Итак, для Толстого проповедь Эренбурга и погружение в идеологию сменовеховства — это один эпизод. За первой реакцией энтузиазма у Толстого последовал шок, особенно когда ему стало ясно, что Эренбург действует как неофициальный эмиссар большевиков и возможны осложнения с французскими властями.

Яростный тон эренбурговского эпизода в очерке из «Третьей России» Ветлугина, возможно, отразил именно этот этап возмущения. Без этой предыстории непонятна кампания против Эренбурга в газете «Накануне» в 1922 году»[{397}].

Эренбурга, как известно, выслали в мае 1921 года из Парижа, заподозрив в нем большевистского агента. Б. Фрезинский, публикуя в журнале «Вопросы литературы» письма Ильи Эренбурга к Елизавете Полонской[{398}], ссылается на существование некой версии, правда, неизвестно кем, где и когда высказанной (а высказана она была скорее всего самим Эренбургом), что Эренбург был выслан из Парижа по доносу Алексея Толстого.

Авторы вступительной статьи к книге «Русский Берлин», Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз, сочувственно пишут о контрреволюционности Эренбурга на том основании, что в 1917 году он был близок к Савинкову, и это звучит довольно странно, ибо четыре года с той поры прошло, и не такие люди, как Эренбург, меняли свои взгляды. Для факта приезда Эренбурга в Париж с советским паспортом куда важнее была его дружба с Бухариным, которому этой поездкой он и был обязан. Бухарин тогда был в силе, и одному Богу ведомо, какие задания Эренбургу могли в Москве дать и что мог Толстой и вся эмиграция думать о человеке,

приехавшем из Москвы с советским паспортом. Весьма характерна запись из дневника В. Н. Муромцевой-Буниной от 27 апреля/10 мая 1921 года:

«Очень трудно восстановить ход спора между Бальмонтом и Эренбургом, да это и не важно. Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается все время указывать то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Так он утверждает, что детские приюты поставлены теперь лучше, чем раньше. — В Одессе было другое, да и не погибла бы дочь Марины Цветаевой, если бы все было так, как он говорит. Белых он ненавидит. <…>

Почему же, если так там хорошо, он уехал за границу? И откуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за 5 месяцев? И как его выпустили? Все это очень странно. <…>

Потом он читал свои стихи. <…> Писать он стал иначе. А читает все так же омерзительно. Толстые от стихов в восторге, да и сам он, видимо, не вызывает в них отрицательного отношения»[{399}].

А способен был или нет Толстой на Эренбурга донести? Вероятно, ответ можно найти в архивах французской полиции, которые нам малодоступны, но все же чисто литературные факты говорят о том, что у Эренбурга было больше оснований ненавидеть Толстого, чем у Толстого Эренбурга (и уж тем более доносить, ну не был злодей Толстой на такое способен, не был). «Меня по доносу равно глупому и гнусному выслали из Франции»[{400}], — сообщал Эренбург Ященке 13 июня 1921 года, автора доноса не называя.

В более поздних мемуарах он писал об отношениях с Толстым в эту пору по обыкновению довольно уклончиво и обходился преимущественно общими словами:

«Эмиграция еще не поняла, что ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело», Россию в ней называли не иначе, как «совдепией». Помню одно сообщение, напечатанное в этой газете; уцелевших зверей московского Зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они «продались большевикам», — и Блок продался, и Белый, и даже А. Ф. Кони… Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды…»[{401}]
С Буниным все понятно, Толстой же снова, как и в 1917 году, выглядит в этом изложении растерянным, хотя скорее всего это было не так. Он уже многое для себя решил, а что касается Эренбурга, то в Берлине им снова пришлось сойтись и помериться силами уже в роли литературных врагов.

# Глава XIV. Русский Берлин

«Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние»[{402}].

Это строки из бунинского дневника от 1/14 февраля 1922 года, пожалуй, точнее всего характеризуют настроения в эмигрантской среде в 1921–1922 годах. Переезд Толстого из Парижа в Берлин поздней осенью 1921 года был не просто перемещением из одной буржуазной страны в другую. В отличие от Парижа в Берлине было не только русское, но и

советское присутствие, и именно в немецкой столице накануне восстановления дипломатических отношений между Германией и Советской Россией шел диалог между двумя ветвями русской литературы — эмигрантской и неэмигрантской. В Берлине оказывалось возможным то, что было совершенно неприемлемо в Париже: там выходили не только эмигрантские, но и просоветские газеты, и Берлин начала двадцатых годов на недолгое время стал литературным центром, объединявшим самых разных писателей.

«Писатели были разные. Талантливые. Средние. Плохие. Приехавшие. Бежавшие. Высланные. Но жили в Берлине, — писал Роман Гуль. — И потому встречались.

На Курфюрстендамме — Максим Горький. На Виктория-Луизенпляц — Андрей Белый. На Кирхштрассе завесил комнату чертями, бумажными прыгунчиками, игрушками Алексей Ремизов, пугая немецкую хозяйку, сидел в прадедамовом платке с висюльками. В комнате на Лютерштрассе — отец декадентов Н.М. Минский. Где-то — Лев Шестов. В Шенеберге — Алексей Толстой. В кафе «Прагер Диле» — И. Эренбург. Над ним в пансион взлетала Марина Цветаева. Грустя о березах, ходил Борис Зайцев. Об антихристе читал лекции Бердяев. Всем недовольный, вбежал Шкловский. Приехал навсегда высланный Ю.И. Айхенвальд с Ф.А. Степуном. Жили Ив. Шмелев, Игорь Северянин, С. Юшкевич, П.П. Муратов, Евг. Лундберг, Влад. Ходасевич, М. Осоргин, В. Станкевич, М. Алданов, З. Венгерова, Н. Петровская и приехали прелестные чашки, разбитые революцией, Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп. Я не могу перечислить всех. Пусть обижаются неперечисленные»[{403}].

Сто тысяч эмигрантов из России жили тогда в Берлине, и жизнь здесь была более пестрая, более демократичная, более русская, если угодно. Русские театры, русские кафе, магазины, редакции…

«Русское население Берлина, особенно в западных его кварталах, было в эти годы так велико, что, согласно одному популярному в то время анекдоту, какой-то бедный немец повесился с тоски по родине, слыша вокруг себя на Курфюрстендамме только русскую речь», — вспоминал Струве.

Толстой, таким образом, очутился в своей стихии. Рас- сказывая об этой жизни, он писал Бунину, дружба с которым уже была на излете: «16 ноября 1921 г. Милый Иван, пріехали мы в Берлин, — Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россію, во всяком случае очень близко от Россіи. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при Гетмане; марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличіе: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, — революція была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — все черное. Живем мы в пансіоне, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишеніе, а от здешняго пива гонит в сон и в мочу… Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен… Здесь во всю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германіи, зарабатывать можно не плохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россіей. Вопрос со старым правописанием очевидно будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших…»[{404}]

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре велико- светской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германію, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансіоне, в лучшей части города 9 месяцев, жил бы барином, ни о чем не

заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем 13—14 тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, т. е. на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно… Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такія книги, которыя в довоенное время в Россіи сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвиженіем книг в Россію; часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература… Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они, так или иначе, работают… Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка:

«Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето…» Значит, он тогда еще и не думая о возвращении в Россію. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне»[{405}].

Почему последним — понятно: иные люди, иные ценности, иные идеи увлекли Толстого. А Бунину как раз в эти сроки, зимой 1922 года, только и оставалось записывать в дневнике: «6/19 января. Письмо от Магеровского — зовут меня в Прагу читать лекции русским студентам или поселиться в Тшебове так, на иждивении правительства. Да, нищие мы!»[38][{406}]

Но что касается толстовского письма, то тут с Буниным можно поспорить: все-таки самая важная строка в этом послании не про спектакль, который обеспечит Толстому лето — что лето? — Толстой такими мелкими категориями не мыслил и от гонорара до гонорара (равно как и на иждивении чешского правительства) жить не собирался — самое важное в этом письме — фраза о том, что рынок увеличится продвижением книг в Россию. Рынок — вот ключ ко всему. Россия — рынок, Европа — нет. В Париже с русскими издательствами худо, а в Берлине их тридцать. В сущности, у него была психология рыбака: клюет — не клюет. В Берлине клевало лучше, и с писателями из России Толстому было во всех смыслах интереснее. Это не следует понимать таким образом, что в Берлин Толстой приехал с твердым намерением вернуться в Москву. Осенью 1921 года, как раз в пору переезда из Парижа, Толстой писал в статье, посвященной памяти Николая Гумилева, о России «обезображенной и окровавленной», а убийц поэта называл палачами; Бунина он совершенно искренне уверял в том, что никаких большевиков в Германии никогда не будет, и тем не менее, когда в 1922 году в Берлин приехали Пильняк, Кусиков, Пастернак, Есенин, Маяковский, эмигрантский Париж в глазах Толстого сильно поблек перед этими именами.

«…Помню ужин у А. Н. Толстого, — вспоминал позднее Игорь Северянин. — Крандиевская была в ожидании второго ребенка. Она угощала замечательным итальянским салатом (ее специальность!) и московскими пирожками, которых накладывали на тарелки по 5–6 штук!.. В тот вечер был и Маяковский, и Кусиков, и неизменная Аннушка Чавчавадзе, компанейская и симпатичная девушка. Толстой любил коньяк. Никитке было 8–9 лет. Мальчуган был преинтересный — гордость родителей»[{407}].

Маяковского и футуристов Толстой не любил, но дома у себя принимал. То же самое делала почти вся наэлектризованная советским присутствием берлинская эмиграция. Роман Гуль описывал созданный в Берлине по образцу петроградского эмигрантский «Дом искусств», одним из учредителей которого был Толстой:

«В «Доме искусств» в неизменном драдедаме читал заяшные сказки Алексей Ремизов. В

плетеном стуле сидел Толстой, скрипя им потому, что был толст. Он пил рейнвейн и смотрел, как на эстраде венгерский скрипач качается в такт танцам Брамса.

Славянскую вязь Ремизова сменял ремингтонный Эренбург. После него с прохладцем читал Толстой «О детстве Никиты». А время доходило до полуночи. И все шли тихими улицами в немецкие пансионы. Россия была за морями, за горами, тридевятым царством, неким государством.

Когда оттуда приехали Борис Пильняк и Александр Кусиков, кафе «Ландграф» вспыхнуло огнями. На вечер публика шла валом. Толстые дамы с пудреницами в сумочках. Со всем штабом редактор «Руля» Гессен. Все «Знамя борьбы» с Шредером и Бакалом, «Социалистический вестник» с Мартовым, Николаевским, Далиным, эсеры «Голоса России», вся литература и журналистика. <…>

Чем больше собиралось русских писателей в Берлине, тем трудней становились их сборища. Разны были русские писатели на шве эпох. И они раскололись»[{408}].

Расколы имели место не только в Берлине. В 1921– 1922 годах, после окончания Гражданской войны и введения нэпа, когда кончились одни иллюзии (что Европа не допустит существования большевистского режима) и возникли новые (что жизнь в России возьмет свое и рассосет большевистскую догму), закачалась вся эмиграция. Это был для нее тот момент, когда она должна была определиться, как дальше жить и где. Раскол касался всего: кому подавать и кому не подавать руку, с какими журналами и газетами сотрудничать, допустимо ли переходить на новую орфографию, можно ли печататься в России и печатать у себя авторов из России? Рушились былые дружбы и старинные привязанности, возникали литературные связи, которые прежде невозможно было представить: во Франции Куприн неожиданно подружился с Бальмонтом и довольно холодно общался с Буниным, а тот, в свою очередь, стал бывать у Гиппиус и Мережковского. Одни уезжали, другие приезжали, но именно Толстой сделался эпицентром раскола.

В феврале 1922 года Ветлугин, которого некоторые в эмиграции полагали злым гением Толстого, Санчо Пансой при Дон-Кихоте, писал оставшемуся в Париже Дон Аминадо:

«Тема дня — приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка. Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем. С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым много и часто пьянствуем.

Воображаю ваше презрение. Толстой вернулся из Риги в отличном настроении. Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей «Касатке». Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин. Все переговоры ведутся в Риге, а судя по советской «Летописи литераторов» и по преувеличенному ухаживанию Пильняка, — Толстой по-прежнему любимец публики. Так что будьте уверены, что продолжение последует…»[{409}]

И действительно, последовало. В феврале на квартире у И. В. Гессена, редактора правой газеты «Руль», состоялся совместный творческий вечер Толстого и Пильняка — вероятно, первая реальная попытка объединить литературу по обе стороны границы. По более поздним воспоминаниям одного из участников встречи выглядело это все не вполне пристойно:

«В Берлине я сам видел, как попутчик Пильняк сманивал «под советскую власть» эмигрантского литератора Алексея Толстого.

Я слышал, как сладко пел соловей про «советские возможности» и какие «гарантии» и обещания давал он полупьяному Толстому.

Должен сказать, что это было очень гнусное зрелище. По крайней мере, впечатление у меня осталось такое, как будто опытный торговец живым товаром сманивает девицу в Бразилию, в «самый приличный и роскошный дом…»[39]{410}.

Этот мемуар, принадлежащий перу журналиста А. Яблоновского, замечателен тем, что является перефразой, вольной или невольной, текстов самого Алексея Толстого — от «Недели в Туреневе», где опытный Николенька соблазнял молодых девиц, до рассказа «Маша», героиню которого уговаривала стать дорогой дамочкой по вызову опытная сводня. Но, видно, Толстой, подобно своим девицам, и сам был рад поддаться соблазну.

А то, что Пильняк действительно агитировал писателей-эмигрантов вернуться на родину, подтверждают его письма к А. М. Ремизову, у которого обласканный большевистскими властями и самый модный в ту пору советский писатель жил в Берлине в феврале-марте 1922 года. В апреле, по возвращении в Россию, Пильняк обращался к оставшимся в Берлине собратьям:

«О Вас, Алексей Михайлович, все думают здесь хорошо, ждут Вас, встретят Вас триумфатором. Полагаю, существовать здесь можно (морально же, гораздо легче).

Передайте Толстому и Микитову, что и их ждут».

О намерении Толстого и Соколова-Микитова вернуться в Россию Пильняк писал как о деле уже почти решенном не только в письмах, но и в статьях:

«Алексей Толстой и Соколов-Микитов — сменовеховцы, оба они к июню возвращаются в Россию. Оба они много написали и хорошо. <…> Оба они модные в эмиграции писатели, особенно Толстой, первейший. Вот слова, которые он просил передать в России: «Видел всю Европу и стал мизантропом, проклял все человечество, и теперь только одна вера, одна надежда, что Россия и русские спасут мир, — поэтому считаю себя преступником, что по слабости человеческой сижу здесь»{411}.

Эти предназначенные для публикации строки по не очень понятным причинам в печать не попали и так и остались в архиве Пильняка, но налицо факт довольно грубого нажима и подталкивания нашего героя, на которого приезжающие из России писатели и поэты производили все же двойственное впечатление, равно как и сама информация о России. Обыкновенно во всех биографиях Толстого факт его перехода на советскую сторону описывается как некое кратковременное решительное действо, но если судить по документам, это было не совсем так. На Толстого со всех сторон давили, но сам он не торопился менять вехи и уж тем более не спешил в Советскую Россию. Примером его неоднозначного отношения ко всему советскому может служить статья о Есенине, опубликованная весной 1922 года в ященковском журнале «Новая русская книга».

«Ему бы холщовую рубашку с красными латками, пере-пояску с медным гребешком — и в Семик — плясать с девками в березовой роще. Такие, должно быть, в давно минувшие времена девкам этим в саду слагали, пели от избытка, от радости таинственного рождения слов, от хитрости, от веселья новые песни, слагали новые сказки. <…>

Живи Есенин триста лет тому назад, сложил бы он триста чудесных песен, выплакал бы радостные, как весенний сок, слезы умиленной души; народил бы сынов и дочерей, и у порога

земных дней зажег бы вечерний огонь, — вкушал бы где-нибудь в лесном скиту в молчании кроткую и светлую печаль.

Но судьба сулила ему родиться в наши дни, живет он в Москве, в годы сатанинского искушения, метафизического престидижиторства, среди мерзлых луж крови и гниющих трупов, среди граммофонов, орущих на площадях проклятия, среди вшей, тухлой капусты и лихорадочного бреда о стеклянно-бетонных городах, вращающихся башнях Татлина и электрификации земного шара.

Единый от малых сих искушен. Обольщенный, обманутый, раздробленный душевно, Есенин ищет в себе этой новорожденной мировой правды, ищет в себе подхода, бунта, разинщины.

Милый, талантливый Есенин <…> я верю вам и люблю вас, когда вы говорите:

*Стеля стихов злаченые рогожи,*
*Мне хочется вам нежное сказать…*

Но, когда вы через две строчки выражаете желание: —

*… Мне сегодня хочется очень*
*Из окошка луну обо…ть…*

не верю, честное слово… Милый Есенин, не хвастайте… Вас обманули, что луна — контрреволюционна… А «хулиганы», скифы, вращающиеся башни и поэзобетоны превратились уже просто в уездный эстетизм. Станьте крепче на землю, повторите:

*…Я еще никогда бережливо*
*Так не слушал разумную плоть…»*[40]{412}

Нетрудно увидеть в этом отрывке не только брань по поводу Татлина (не без присутствия Софьи Дымшиц в подтексте), но и унылую, укладывающуюся в эмигрантскую эстетику картину русской советской жизни — картину мерзлых луж крови и гниющих трупов, чего в 1922 году в России все же было гораздо меньше, чем в 1919-м. Однако время неслось вперед, и в этом смысле именно 1922 год от Рождества Христова, от революции шестой, стал в жизни графа переломным. В начале года писал о проклятиях и вшах, в конце — участвовал вместе с Маяковским, Кусиковым и Северянином — то есть с футуристами! — в вечере, посвященном пятой годовщине октябрьского переворота, где читал отрывки из «Аэлиты». Кто бы мог такое вообразить еще год назад?

А катализатором всего стал выход в Берлине в марте 1922 года ежедневной газеты «Накануне», которая пришла на смену еженедельной «Смене вех», выпускавшейся в 1921 году в Париже и фактически оттуда изгнанной. В Берлине газета сменила свое название («Накануне» для многих подразумевало — накануне возвращения в Россию), стала использовать новую орфографию, чего не позволял себе никто, кроме откровенно пробольшевистской газеты «Новый мир», и принялась проводить сменовеховскую, читай: просоветскую политику.

О сменовеховстве, иначе национал-большевизме, то есть использовании большевизма в национальных целях, написано много, и относиться к этому течению русской мысли можно по-разному, но, быть может, лучше всего суть его изложил Ю. Ключников, автор той самой серой, как сукно, пьесы «Единый куст», при обсуждении которой обозначился первый явный росток конфликта между Толстым и эмиграцией. В апреле 1921 года, ровно за год до описываемых событий, Ключников писал Ященке:

«Вот уже год, как я отстаиваю мысль о прекращении вооруженной борьбы с большевистским правительством, а теперь (тоже уже довольно давно) я полагаю, что всякие вообще «срывы» советской России были бы лишь во вред России. Нет такой силы, которая могла бы прийти на смену теперешнему режиму, разломав все сделанное им, и которая вместе с тем могла бы сама что-то осуществить и что-то хорошее создать. Спасение России и остальных народов в естественной эволюции к новым формам социальной жизни, требуемой и сознанием приобретших небывалую политическую силу трудящихся масс, и событиями последних лет. Если эта эволюция не сумеет осуществиться, то взамен нее придет мировая революция. Tertium non datur»[{413}].

Именно этот человек, некогда бывший активным деятелем антибольшевистского движения и даже занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Колчака, вместе с Ю. Н. Потехиным, бывшим монархистом и деятелем кадетской партии, также сотрудничавшим с Деникиным и Колчаком, возглавил «Накануне».

Большевиков такая биография вполне устраивала:

«Люди, которые давали министров Колчаку, поняли, что Красная Армия не есть выдумка эмигрантов, что это не разбойничья банда, — она является национальным выражением русского народа в настоящем фазисе развития. Они абсолютно правы… — писал Троцкий вскоре после выхода сборника «Смена вех». — Сменовеховцы, исходя из соображений патриотизма, пришли к выводам, что спасение России в советской власти, что никто не может охранить единство русского народа и его независимость от внешнего насилия в данных исторических условиях, кроме советской власти, и что нужно ей помочь… Они подошли не к коммунизму, а к советской власти через ворота патриотизма».

В этом смысле, с точки зрения большевиков, чем «хуже» вел себя человек в революцию и Гражданскую войну, чем яростнее против них выступал и писал (вспомним еще раз бунинское «Что бы я там ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как это рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алексей Толстой»), тем теперь было для них лучше. Если *такие* люди одумались и раскаялись, если *эти* к нам перешли, значит, мы действительно сила. А если еще к тому же графья да с литературной фамилией… Вероятно, во всей эмиграции трудно было найти лучшую кандидатуру заведующего литературным приложением к «Накануне», чем Алексей Толстой. Это не значит, что он был лучшим писателем русской эмиграции, но он был первым из *действующих* в тот момент писателей. По большому счету никто из эмигрантов в 1919, 1920, 1921 годы ничего нового, оригинального не создал — в основном перепечатывали старое, а Толстой прославился к тому времени по крайней мере двумя выдающимися вещами — «Детством Никиты» и «Хождением по мукам», что, кстати, заметил и советский литературный критик и журналист А. К. Воронский.

Это понимали и в самой эмиграции. 13 апреля 1922 года в «Последних новостях» был опубликован стих о сменовеховцах:

*Их немного… Но есть в их кругу*
*Человек, у которого — имя! —*
*И ему я простить не могу,*
*Что и он очутился меж ними.*
*Окунулся в болото… К чему?*
*За советский серебреник, что ли,*
*Бросил славное имя во тьму*
*Лицемерья, обмана, неволи?*[{414}]

Так что со стороны Советов, истинных организаторов и спонсоров «Накануне», пригласить Толстого было грамотным ходом. Неизвестно, кому еще предлагали эту должность и предлагали ли, во всяком случае, никто из крупных писателей о таком предложении не заявлял ни тогда, ни позднее, неясно также, какого рода тайное соглашение было заключено между именитым писателем и его советскими работодателями, но, скорее всего, Толстому пообещали и относительную независимость, и свободу действий, а граф умел торговаться и мог много чего для себя вытребовать. И все же с его стороны приход в «Накануне» был огромным риском, если не сказать авантюрой, но тут проявился характер, натура: он почувствовал, что с «Накануне» можно делать дело — приманка, на которую он клевал охотнее всего.

Газета «Накануне» сыграла огромную роль и в судьбе Толстого, и в судьбах десятков русских писателей, которым главный редактор литературного приложения дал и имя, и деньги. Там печатались вещи, которые не могли быть опубликованы в Советской России, — первые рассказы Булгакова, там печатался Пришвин, который перед этим не опубликовал в течение четырех лет в Советской России ни строчки, там публиковали М. Зощенко, А. Грина, В. Катаева, Вс. Иванова, Вл. Лидина, О. Мандельштама, Г. Шенгели, Н. Асеева, а из эмигрантов И. С. Соколова-Микитова, Р. Гуля. Даже люди, настроенные по отношению к «Накануне» враждебно, признавали: «Писатели из России, дающие свои рукописи, чисты перед совестью своей. В России нет прессы, «Накануне» — форточка для них, пропускающая свежий воздух свободной Европы»[{415}]. Но характерно продолжение этой мысли: «Для писателей, живущих за рубежом, «Накануне» — хомут, добровольно накинутый ими на свои шеи, добровольное узилище и нечистоплотность, ибо жандарм может быть хорошим человеком вне службы, но на службе он все-таки жандарм»[{416}].

По отношению к Толстому реакция эмиграции была мгновенной: от графа потребовали разъяснений, а когда он отказался выполнять фактический ультиматум: или с нами, или с ними, поставили вопрос о его исключении из Парижского союза русских литераторов и журналистов, главного эмигрантского литературного клуба, во главе которого стоял П. Н. Милюков. Считавшая себя неполитической писательская организация проявила принципиальность: против исключения высказался один Куприн. Бунин воздержался, но ничего об этом в своих мемуарах не написал. Не написал и в дневнике (по крайней мере, в том его виде, как он опубликован Милицей Грин), но зато есть в его дневниковых записях апреля-мая 1922 года довольно любопытные факты:

«11 Апреля. <…> В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц. <…>

6 Мая.

Вечером курьер из Министерства] Иностранных] Дел — орден и диплом «Office de l'Instruction] Pub[lique] [{417}]».

Складывается впечатление, что случай с Толстым отрезвил тех, у кого были деньги. И наиболее значительным русским писателям, которые, как видно из уже процитированных в начале этой главы записей Бунина, были доведены до крайности и могли за графом последовать, бросили кость.

С ослушником же Толстым поступили так же, как поступали с ним во дни его литературной молодости: примерно наказали, чтобы другим было неповадно — ни резать хвосты у обезьян, ни дерзить старшим, ни бегать к большевикам. Чего-то подобного он мог ожидать, но такой жесткой реакции — вряд ли. Будучи человеком самоуверенным и хорошо чувствуя, что между ним нынешним и ним десятилетней давности лежит пропасть с точки зрения литературного

веса, он мог легко вообразить, что с графом Алексеем Н. Толстым так не поступят, «Алешке» хулиганство и хитрость простят. Если можно брать деньги на галстуки у дяди Сережи Скирмунта, если можно клянчить у буржуев, то почему нельзя у большевиков? Главное — дело делать.

Позднее эмиграция отнесется к «перелету» Алексея Толстого гораздо мягче. Отсюда и нежный тон бунинских воспоминаний, и прощение со стороны Вишняка, назвавшего Толстого «не столько карьеристом, сколько любителем хорошо и «вкусно» — гастрономически и «спиритуалистически», в свое удовольствие пожить»[{418}], хотя оценка эта, конечно, очень плоская и сильно оглупляющая Толстого: на вкусную еду и сладкую жизнь он заработал бы и в Берлине, и в Париже. Но, быть может, точнее всех высказался Федор Степун:

«Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской «смены вех» не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым браком на Наташе Крандиевской) так просто и легко, как мы себя чувствовали с ним накануне их возвращения из Берлина в СССР. <…>

Мне лично в «предательском», как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма, конечно, загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он как писатель выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией»[{419}].

Наконец, уже совсем в недавнее время появилась книга еще одного нашего эмигранта (из СССР в Израиль), участника знаменитого сборника «Из-под глыб» Михаила Агурского «Идеология национал-большевизма», где Алексею Толстому посвящена целая глава:

«Толстого многие считают оппортунистом, но даже поверхностный анализ его творчества показывает, что его политический оппортунизм выливался все же только в одно русло — национал-большевизм, хотя это отнюдь не было единственной возможностью выжить в Советской России. Похоже на то, что Толстой в гораздо меньшей степени приспосабливался к большевизму, чем многие другие писатели. Вполне прав Юрген Рюле, говоря, что концепция коммунизма как русской национальной судьбы довлела в мышлении Толстого. «Пускай наша крыша убогая, — говорил он в 1922 году, — но под ней мы живы… Если в истории есть Разум, — продолжает он, вводя знакомые нам приемы мистической диалектики, — а я верю, что он есть, то все происходящее в России совершено для спасения мира от безумия сознания смерти». Толстой говорит о России как о дикой сумасшедшей стране, где противно здравому смыслу утверждают: «Хорошо, что истинно!» Толстой призывает делать все, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции

всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления великодержавности. Да, в России нет свободы, «но разве во время битвы солдат ищет свободы?» В России личность освобождается через утверждение и создание мощного государства»[41]{420}.

Однако высказывание Степуна будет опубликовано лишь в 1951 году, Агурского и того позднее, в 1986-м, а тогда, в начале двадцатых — ни «брака по любви с Россией», ни государственного инстинкта графу не простили, не поняли, не увидели; эмиграция не захотела, чтобы ее раскалывали и разлагали изнутри так нагло, и отвернулась от грязных советских денег, которых не гнушался Толстой.

Вместе с Толстым пострадал и Роман Гуль, который опять-таки позднее, в своих мемуарах, писал о «Накануне» довольно мягко, а об эмиграции, эту газету заклеймившей, напротив, жестко. Взгляд Гуля интересен еще и тем, что этот словоохотливый писатель предлагает свою мифологему всего сменовеховского движения, не вполне соответствующую действительности, но примечательную изображением идеальных намерений маленькой, но очень боевой и увесистой партийной группы и примкнувшего к ней Толстого.

«В марте 1922 года группа «сменовеховцев» (проф. Ю. Ключников, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, Ю. Потехин и другие) стала издавать в Берлине сменовеховскую газету «Накануне». Я подчеркиваю — сменовеховскую, а не коммунистическую, как лгали многочисленные доносчики. В Берлине существовала коммунистическая русская газета «Новый мир», но со «сменовеховцами» она не имела ничего общего. Сотрудничать в «Накануне» стали многие видные русские писатели и журналисты: Алексей Толстой, Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин, Н. Петровская, И. Василевский (Не-Буква) и др. Алексей Толстой редактировал воскресное «Литературное приложение» к «Накануне». В это время я работал в журнале «Новая русская книга». Однажды, придя к нам в редакцию, Толстой попросил у меня литературный материал для своего «Литературного приложения». Я тогда как раз писал роман из жизни эмиграции 1920– 1921 годов «В рассеяньи сущие» и дал Толстому отрывок. Этот отрывок был напечатан в «Литературном приложении» к «Накануне» от 28 мая 1922 года.

Вскоре в Союзе Русских Писателей и Журналистов Владимир Татаринов поднял вопрос об исключении из Союза всех сотрудников «Накануне». После напечатания отрывка из моего романа я, считая себя солидарным со всеми сотрудниками «Накануне», пришел на собрание Союза, где должен был обсуждаться вопрос об исключении сотрудников «Накануне». Так как в Союзе у меня было много друзей, которые не хотели моего исключения, то они предложили мне, чтобы я сам просто ушел из Союза. Но я на это не пошел. И в своем выступлении на собрании Союза сказал, что я не понимаю, почему за помещение в газете «Накануне» художественной прозы я должен быть исключен, а один из редакторов газеты «Руль» (ежедневная демократическая газета, издававшаяся в Берлине И. Гессеном, А. Камин-кой и В. Набоковым), профессор Каминка, который имел тогда с большевиками торговые операции, может оставаться в Союзе. Это произвело впечатление скандала. Добровольно уйти я отказался. Тогда собранием было принято постановление об исключении всех сотрудников «Накануне» из Союза. Вскоре после этого в газете «Руль» была помещена заметка репортера Бориса Бродского об этом собрании, в которой он приписал мне, будто на собрании я заявил себя «сторонником диктатуры пролетариата» (!?). <…>

Работа в «Накануне» дала мне возможность многое узнать о Советской России. Эта газета была допущена к продаже в Советской России, будучи там единственной некоммунистической газетой. Естественно, что целый ряд лучших беспартийных писателей, живших в Советской России, принял участие в «Литературном приложении» к «Накануне». Там печатались Мандельштам, Пильняк, Федин, Катаев, Никитин, Волошин, Слезкин, Мариенгоф, Веев.

Иванов, Булгаков, Лидин, Рождественский, Орешин, Неверов, Чуковский, Никулин, Голлербах и многие другие. Со многими из них у меня установилась дружеская переписка, со многими я познакомился, а с некоторыми и близко сошелся, когда они приезжали в Германию. В те годы за границу писателей выпускали сравнительно легко. В Берлине я познакомился с Конст. Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евг. Замятиным, Ник. Никитиным, Ильей Груздевым и другими. Все это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию. <… >

Кончая говорить о «сменовеховстве», я хочу указать на трагическую судьбу политических представителей этого течения. Профессор Н. Устрялов был приглашен советским правительством приехать в Россию. Он поехал и был убит чекистами в поезде. Профессор С. С. Лукьянов вернулся в Россию, был заключен в Ухт-Печерский лагерь, где умер, как сообщают, под пытками на допросах. Профессор Ю. Ключников бесследно исчез в каком-то концлагере. Журналист Литвин был сослан на Соловки. Погибли также многие вернувшиеся в Россию писатели, такие, как, например, Георгий Венус, умерший в тюрьме в Сызрани. Так смертью расплатились люди за свою ошибку — за то, что они поверили в возможность эволюции советского режима в сторону нормального демократического государства.

С конца двадцатых годов, когда в России обозначился отказ от НЭПа и новый поворот в сторону коммунизма, я был уже таким же врагом советской власти, каким был в 1917 году»[{421}].

В этих мемуарах очень много сомнительного — и встречи с советскими писателями, которые все как один убеждали Гуля никуда не ездить, и желание противопоставить «Новый мир» «Накануне» как газету коммунистическую газете беспартийной, хотя очевидно, что финансировались они из одного кошелька, и рассуждения о свободе рабочих и крестьян и общем благополучии России в начале нэпа — едва ли это соответствует действительности; однако в мемуарах Гуля верно передан общий настрой тех лет — стремление к диалогу между эмиграцией и метрополией, по иронии судьбы имевшему место в том самом городе, который несколько десятилетий спустя будет поделен стеной и станет символом раздора между Востоком и Западом.

Очевидно, что Толстой не хотел никаких стен, он мечтал о диалоге, только более живом, более непосредственном, он действительно хотел построить мост, но не как Манилов, а с предприимчивостью Чичикова, основательностью Собакевича и энергией Ноздрева. Он забегал вперед, торопил события, а эмиграция яростно относилась к любому отклонению от внутренней дисциплины. Эмиграция боялась этих контактов и соблазнов, видела везде измену и превращалась в орден; на Толстого, как самого приметного отступника, шипели больше всего, и так сошлось в том роковом году, что именно благодаря устроенной малодушному графу обструкции его путешествие дальше на восток стало необратимым. Толстого буквально выпихивали из своей среды, результатом чего и стало знаменитое и часто цитируемое открытое письмо Толстого Н. В. Чайковскому (о котором, что любопытно, Роман Гуль ничего не пишет), опубликованное в газете «Накануне» 14 апреля 1922 года, то есть ровно за два дня, можно сказать, *накануне* того дня, когда в городе Раппало под Генуей на знаменитой конференции был подписан отдельный договор о восстановлении дипломатических отношений между Берлином и Москвой.

Этот договор трактовался в советской прессе как небывалый успех и прорыв нашей дипломатии и всего государства. Своего рода литературной увертюрой к нему стал нижеследующий текст Алексея Толстого, который, чтобы не отсылать читателя к полному

собранию его сочинений, я приведу целиком:

***ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Н. В. ЧАЙКОВСКОМУ***

*Глубокоуважаемый Николай Васильевич, обращаюсь к Вам как к председателю Комитета помощи писателям, потребовавшему у меня объяснений моего сотрудничества в «Накануне». С большой охотой даю эти объяснения.*

*В вашем письме вопрос, — почему я пошел? — непосредственно связан с почти предрешенным обвинением меня. Поэтому, предварительно, я принужден отвести обвинение и затем уже ответить Вам.*

*Газета «Накануне», «заведомо издающаяся на большевистские деньги», как Вы пишете, — на самом деле издается на деньги частного лица, не имеющего никакой связи с нынешним правительством России. «Накануне» есть газета свободная, редакция состоит из членов группы «Смена Вех», сотрудники — из примыкающих, в широком смысле, к общей линии этого направления. Основным условием моего сотрудничества было то, что «Накануне» — не официоз.*

*Затем: — задача газеты «Накануне» не есть, — как Вы пишете, — борьба с русской эмиграцией, но есть борьба за русскую государственность. Если в периоде этой борьбы газета борется и будет бороться с теми или иными политическими партиями в эмиграции, то эту борьбу не нужно рассматривать как цель газеты, но как тактику, применяемую во всякой политической борьбе.*

*Я же, сотрудник этой газеты, вошедший в нее на самых широких началах независимости, — политической борьбы не веду, ибо считаю, что писатель, оставляющий свое прямое занятие — художественное творчество — для политической борьбы, поступает неразумно, и для себя и для дела — вредно.*

*Теперь позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудником в газету, которая ставит себе целью: — укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета «Накануне» видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами.*

*Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.*

*Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть, — были несомненные признаки их конца. Парижская жизнь начала походить на бред. Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах. Французы нас боялись, как сумасшедших.*

*Строчка телеграммы, по большей части сочиняемой на месте, в редакции, — приводила нас в исступление, мы покупали чемоданы, чтобы ехать в вот-вот готовую пасть Москву. Мы были призраками, бродящими по великому городу. От этого постоянного столкновения воспаленной фантазии с реальностью, от этих постоянных сотрясений многие не выдерживали. Мы были просто несчастными существами, оторванными от родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Быть может, когда мы вернемся в Россию, остававшиеся там начнут считаться с нами в страданиях. Наших было не меньше: мы ели горький хлеб на чужбине.*

*Затем наступили два события, которые одним подбавили жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияли совсем по-иному. Это были война с Польшей и голод в России.*

*Я в числе многих, многих других, не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, в точно такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся так же по русскому зову под стены русского города. Всей своей кровью я желал победы красным войскам. Какое противоречие. Я все еще был наполовину в призрачном состоянии, в бреду. Приспело новое испытание: апокалипсические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно — кто виноват, когда детские трупики сваливаются, как штабели дров у железнодорожных станций, когда едят человечье мясо. Все, все мы, скопом, соборно, извечно виноваты. Но, разумеется, нашлись непримиримые: они сказали, — голод ужасен, но — с разбойниками, захватившими в России власть, мы не примиримся, — ни вагона хлеба в Россию, где этот вагон лишний день продлит власть большевиков! К счастью, таких было немного*[42]*. В Россию все же повезли хлеб, и голодные его ели.*

*Наконец, третьим, чрезвычайным событием была перемена внутреннего, затем и внешнего курса русского, большевистского правительства, каковой курс утверждается бытом и законом. Каждому русскому, приезжающему с запада на восток, — в Берлин, — становится ясно еще и нижеследующее:*

*Представление о России, как о какой-то опустевшей, покрытой могилами, вымершей равнине, где сидят гнездами разбойники-большевики, фантастическое это представление сменяется понемногу более близким к действительности. Россия не вся вымерла и не пропала. 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни собственной смерти и гибели. Население России совершенно не желает считаться с тем, — угодна или не угодна его линия поведения у себя в России тем или иным политическим группам, живущим вне России.*

*Теперь, представьте, Николай Васильевич, как должен сегодня рассуждать со своею совестью русский эмигрант, например, — я. Ведь рассуждать о судьбах родины и приходить к выводам совести и разума — не преступление. Так вот, мне представились только три пути к одной цели — сохранению и утверждению русской государственности. (Я не говорю — для свержения большевиков, потому что: 1) момент их свержения теперь уже не синоним выздоровления России от тяжкой болезни, 2) никто мне не может указать ту реальную силу, которая могла бы их свергнуть, 3) если бы такая сила нашлась, все же я не уверен — захочет ли население в России свержения большевиков с тем, чтобы их заменили приходящие извне.)*

*Первый путь: собрать армию из иностранцев, придать к ним остатки разбитых белых*

*армий, вторгнуться через польскую и румынскую границы в пределы России и начать воевать с красными. Пойти на такое дело можно, только сказав себе: кровь убитых и замученных русских людей я беру на свою совесть. В моей совести нет достаточной емкости, чтобы вмещать в себя чужую кровь.*

*Второй путь: брать большевиков измором, прикармливая, однако, особенно голодающих. Путь этот так же чреват: 1) увеличением смертности в России, 2) уменьшением сопротивляемости России, как государства. Но твердой уверенности именно в том, что большевистское правительство, охраняемое отборнейшими войсками, и как и всякое правительство, живущее в лучших условиях, чем рядовой обыватель, — будет взято измором раньше, чем выморится население в России, — этой уверенности у меня нет.*

*Третий путь: признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет. (Признать это так же, как признать, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что — майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот третий путь.*

*Есть еще четвертый путь, даже и не путь, а путьишко; недавно приехал из Парижа молодой писатель и прямо с вокзала пришел ко мне. «Ну как, — скоро, видимо, конец, — сказал он мне, и в его заблестевших глазах скользнул знакомый призрачный огонек парижского сумасшествия. — У нас (то есть в Париже) говорят, что скоро большевикам конец». Я стал говорить ему приблизительно о тех же трех путях. Он сморщился, как от дурного запаха.*

*— С большевиками я не примирюсь никогда.*

*— А если их признают?*

*— Герцен же сидел пятнадцать лет за границей. И я буду ждать, когда они падут, но в Россию не вернусь.*

*Когда же он узнал, что мой фельетон напечатан в «Накануне», он буквально без шапки, оставив у меня в комнате шляпу и трость, выбежал от меня, и я догнал его уже на лестнице, чтобы передать шляпу и трость. Он бежал, как от зараженного чумой.*

*Четвертый путь, разумеется, — безопасный, чистоплотный, тихий, — но это, к сожалению, в наше время путь устрицы, не человека. Герцен жил не в изгнании, а в мире, а нам — лезть в подвал. Живьем в подвал — нет!*

*Итак, Николай Васильевич, я выбрал третий путь. Мне говорят: я соглашаюсь с убийцами. Да, не легко мне было встать на этот, третий путь. За большевиками в прошлом — террор. Война и террор в прошлом. Чтобы их не было в будущем — это уже зависит от нашей общей воли к тому, чтобы с войной и террором покончить навсегда... Я бы очень хотел, чтобы у власти сидели люди, которым нельзя было бы сказать: вы убили.*

*Но для того, предположим, чтобы посадить этих незапятнанных людей, нужно опять-таки начать с убийств, с войны, с вымаривания голодом и прочее. Порочный круг. И опять я повторяю: я не могу сказать: — я невинен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен... Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся. И*

*совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, — но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра.*

*Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: — что лучше для моей родины — учредительное собрание, или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти в России должна теперь, после четырех лет революции, — вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным, — ив этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа. Но снова начать с прикладывания к русским зияющим ранам абстрактной, выношенной в кабинетах идеи, — невозможно. Слишком много было крови, и опыта, и вивисекции.*

В Советском Союзе это письмо приветствовали[43]и через десять дней перепечатали в «Известиях», сопроводив комментарием, что, мол, этого письма «не забудет русская литература, как не забыла письма Чаадаева и письма Белинского к Гоголю». В шутку это говорилось или всерьез, но вся акция с открытым письмом Алексея Толстого была, говоря современным языком, мощным пиаровским ходом: Советский Союз нуждался в двадцатые годы не только и не столько в писателе Толстом, сколько просто в русских людях, в беженцах, специалистах, врачах, инженерах.

Толстой в этом смысле хорошо поработал на Родину, он создавал общественное мнение и прорывал блокаду. В эмиграции же письмо осудили и блокаду усилили[44]; Толстой, по сути, подписал себе приговор.

Но что можно сказать теперь, восемьдесят с лишним лет спустя, читая эти строки и зная ход истории, какого не знали ни Толстой, ни его друзья и враги?

Прежде всего это очень ловко или, так скажем, грамотно написанная бумага. С одной стороны, она продолжила традиции открытых писем, каких много было в истории нашей литературы, с другой — это манифест, программа, концепция, ответ сразу на два любимых русских вопроса: кто виноват и что делать? Виноваты — все, делать — возвращаться и восстанавливать, вбивать свои гвозди.

Во-вторых, письмо Толстого выглядит искренним и основательным — и собственное признание в ненависти к большевикам, доходящая до исступления жажда их поражения, и исторические аналогии, и катастрофы последнего времени, как то голод в Поволжье (что не могло не быть Толстому, выходцу из Поволжья, особенно близко).

В-третьих, это свойство определенного мужества и разумный призыв к ответственности — от нас зависит, какой будет Россия, мы можем заставить большевиков смягчить свою позицию, и со всем этим трудно было спорить, и примечательно, что никто в эмиграции прямо и по существу Толстому не ответил.

В его поступке находили личную корысть, расчет, его оскорбляли, изгоняли, от него отворачивались и не подавали руки, но спорить с ним, по пунктам опровергать не смогли или не захотели. В каком-то смысле это сделал Бунин в статье «Миссия русской эмиграции»[45], но лишь через два года. Да и в мемуаре своем Бунин ничего о письме Толстого не говорит, вероятно потому, что Толстой — автор письма Чайковскому никак не вяжется с тем беспутным циником и ловкачом Алешкой, каким Бунин его рисует.

Нет никакого сомнения, что все было намного сложнее. Вот цитата из дневника В. Н. Муромцевой-Буниной: «Говорили и о будущем России, о том, что фактически ее поделят под

видом окрайных государств, где будут протектораты то англичан, то французов, то немцев…»[422]

Такие разговоры велись в бунинском доме и, судя по всему, ни у кого не вызывали возражений. Лучше Англия, Франция, Германия, лучше быть их колонией — только не оказаться под большевиками.

«9.4.22. Вечером разговор с Карташевым. Он, как и я, думает, что дело сделано, что Россия будет в иностранной кабале, которая, однако, уничтожит большевиков и которую потом придется свергать»[423].

Вот этого Толстой даже мысленно допустить не мог, целостность России была для него важнее всего, и его расхождение с эмиграцией носило, таким образом, принципиальный характер.

Однако Толстой обошел наиболее щекотливый и существенный вопрос: кто платит и заказывает музыку? Эмиграция на сей счет не обманывалась и именно поэтому восприняла поступок Толстого не как примиренческий объединяющий литературный и общественный жест, а как основанное на личном эгоистическом расчете предательство.

24 апреля 1922 года Алексей Толстой получил из Парижа от председателя Правления Парижского союза русских литераторов и журналистов П. Н. Милюкова письмо следующего содержания:

«Милостивый Государь! Правление Союза уведомляет Вас, что к нему поступило заявление одного из членов Союза о несовместимости Вашего дальнейшего пребывания в составе Союза с участием Вашим в органе печати «Накануне». Обсудив это заявление, Правление постановило просить Вас, предварительно до окончательного обсуждения и решения вопроса, ответить на вопросы:

1. Состоите ли Вы действительно сотрудником газеты «Накануне»?

2. Каковы мотивы, побудившие Вас вступить в число сотрудников названной газеты?

3. Считаете ли Вы Ваше участие в этой газете совместимым с духом Союза и с Вашим дальнейшим пребыванием в составе его членов?

Председатель П. Н. Милюков»[424].

На следующий день Толстой дал ответ:

«Милостивый Государь, Павел Николаевич!

Из второго и третьего вопросов в Вашем ко мне письме от 19 апреля сего года я понял, что Союз журналистов отказался от основной идеи своего устава — аполитичности — и ныне производит проверку политических убеждений членов Союза.

Не признавая за Союзом морального права такой анкеты, прошу не считать меня более членом Союза русских литераторов и журналистов в Париже.

Гр. Алексей Н. Толстой»[425].

Письма точно такого же содержания были получены двумя другими сотрудниками А. Ветлугиным и И. Василевским (Не-Буквой), и оба дали аналогичные ответы.

М. Алданов, недавний друг Толстого, с которым они были на «ты», с которым вместе редактировали «Грядущую Россию» и который называл Толстого одним из самых талантливых русских писателей, писал в эту пору Бунину:

«…Ему, разумеется, очень хочется придать своему переходу к большевикам характер сенсационного, потрясающего исторического события <…> он собирается съездить в Россию и там, за полным отсутствием конкуренции, выставить свою кандидатуру на звание «первого русского писателя, который сердцем почувствовал и осмыслил происшедшее» и т. д. как полагается»[{426}].

Замечание по-своему проницательное, в русской литературе в метрополии и в самом деле было на тот момент много вакансий, но все же следует отдать должное мужеству человека, который решился бросить все и ринуться в неизвестность за литературной славой, дамой весьма капризной, непостоянной и непредсказуемой.

Рискованность этого проекта подтверждают строки из письма доброго знакомого Толстого художниками-рискусника Белкина, который некогда расписывал «Бродячую собаку» и «Славны бубны» и после революции остался в Петрограде (Мертвограде, как он его называл) и который писал оттуда Ященке 2 мая 1922 года, то есть неделю спустя после того, как «Известия» перепечатали толстовский манифест:

«Прошу передать мой сердечный привет *Алихану* с робким, но искренним советом вспомнить пословицу русскую «Семь раз отмеряй, а один раз отрежь». И еще о Данайцах не надо забывать. Издали многое кажется лучше, чем вблизи, это можно без труда проверить по лицам уличных женщин, особенно вечером. Не оставляйте его, Александр Семенович, без Вашего совета, ибо Вы подобны хитроумному Одиссею, который у Калипсо просидел ровно столько, сколько было ему нужно»[{427}].

Передал или нет Ященко Толстому благоразумный белкинский совет, но Толстому отступать было некуда, и в течение всего 1922 года и половины 1923-го он занимался тем, что делал хорошую мину при очень сомнительной игре.

«Был у меня А. Н. Толстой со свитой из «накануневцев». Как всегда — колоритен. Слегка растерян собственным смелым прыжком от парижской эмиграции к «Накануне». Не совсем уверен в последствиях. Бравирует. Эмигранты потрясены «эволюцией». Потеря двойная: и писатель, и граф», — писал Е. Лундберг[{428}].

«Je m'en fous — было любимой присказкой Толстого в разных трудностях жизни. Переводить по-русски его присказку не решаюсь — весьма нецензурно, — вспоминал Гуль. — Помню, как-то мы с Ященко шли по Курфюрстендамм к нашей редакции на Аугсбургерштрассе. Навстречу — Толстой. Ященко, смеясь, говорит: «Ну что, Алешка, выкинули тебя за «Накануне» из Союза писателей и журналистов?» Толстой (он всегда был немножко актер, и хороший актер) удивленно уставился на Ященко, будто даже не понимая, о чем тот говорит. Потом харкнул-плюнул на тротуар, проговорив: «Je m'en fous. Да что такое вся эта эмиграция?.. Это, Сандро, пердю монокль — и только…»[{429}]

Одновременно Толстой начал срочно подготавливать общественное мнение в России, где его письмо тоже могло быть воспринято неоднозначно по самым разным причинам, например, по такой: хорошо пережить лихолетье в Европе, отсидеться в Париже и Берлине, пока у нас тут стреляли и голодали (см. далее открытое письмо Толстому Марины Цветаевой[46]), а потом на все готовенькое — издательства, журналы, театры — вернуться. И хотя Толстой несколько раз упоминал, что хлеб изгнания горек, с родным голодом эту горечь все равно было не сравнить.

Вероятно, граф это предвидел и тогда же, весной 1922 года, написал еще одно открытое письмо, на сей раз направленное непосредственно в Россию и в России же опубликованное. Формально адресат данного послания не называется, но реально им был литературный критик и детский писатель Корней Иванович Чуковский, который по-хорошему должен был Толстого за эту переписку проклясть, ибо она вылилась в крупный литературный скандал, едва не погубивший репутацию обоих.

Но сначала все выглядело пристойно. Толстой в стиле «жалоб турка» писал неизвестному другу:

«…Вы доставили мне большую радость Вашим письмом. Первое и главное — это то, что у вас, живущих в России, нет зла на нас, бежавших. Очень важно и радостно, что мы снова становимся одной семьей. Важно потому, что, как мне кажется, — никогда еще на свете не было так нужно искусство, как в наши дни: в нем залог спасения. Радостно потому, что эмиграции — пора домой. Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция — высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось, а в эмиграции была собачья тоска: — как ни задирались, все же жили из милости, в людях, и думалось, — быть может, вернемся домой, и там примут неласково: — без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, незнакомы. Признаваться в этом тяжело, но нужно. На чужбине мы ели горький хлеб. В особенности когда остыло безумие гражданской войны, когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а не призраки, — началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю — чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей? Должно быть, мы еще очень первобытны, или в нас еще очень много растительного, — и это хорошо, без этого мы были бы просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы.

Вот чему мы научились в эмиграции. Большему вряд ли чему по-настоящему мы научились на Западе. Европа не живет, а зализывает раны, рычит и скалится на старые обиды, над шелудивым телом вьются, липнут трупные мухи, — неистовая сволочь, паразиты. Лишь в Германии можно поучиться труду и мужеству. А на запад от Рейна, пожалуй, что и этого нет, — то есть мужества и труда. Деревня пустеет, работать не желают. Города переполнены. В городах скука, одурь и безразличие, пьянство. Это — современность, конечно.

Старая культура прекрасна, но это мавзолей: романский, пышный, печальный мавзолей на великом закате, а у подножия — уличная толпа, не помнящая родства, с отшибленной за годы войны памятью, с вылущенной совестью. Культурные, умные французы, — а если француз умен и культурен, то это человеческий образец, — очень понимают это и брезгуют своей республикой. Как это ни странно, но французская высшая интеллигенция в 19 и 20 годах была в большинстве большевиствующей, она с какой-то спокойной печалью готовилась к европейской, в особенности французской революции. Но эта чаша миновала.

К чему это все приведет? Должно быть, все же силы жизни возьмут верх, душевно опустошенное поколение будет сменено более здоровым. Но в жизни Европы решающую роль должна сыграть Россия. Оттуда, из России, должно подуть спасительным забвением смерти. Вы помните очень давнишнее настроение А. А. Блока, когда он сидел дома с выключенным телефоном, — у него было безнадежное уныние бессмыслицы, в каждом лице он видел очертание черепа. Вот так же и в Европе: — заперта дверь и выключен телефон с жизнью.

Я чувствую, как Россия уже преодолела смерть. Действительно — смертию смерть поправ. Если есть в истории Разум, а я верю, что он есть, то все происшедшее в России совершено для спасения мира от безумия сознания смерти. Я понимаю так: — смерть — такая же

безусловность, как звездное небо над головой. Так я и должен ее принять, — как безусловность. Но расширенными зрачками, отдав все силы души, глядеть в эту непостигаемую безусловность, — это болезнь. Европа, вообще не привыкшая к безднам, до сих пор не может отвести глаз, душа ее угнетена и мрачна.

Разумеется, все это лишь самые общие очертания, скорее — таково впечатление от Запада, когда поживешь в его городах. Но, может быть, это самая правда и есть: уныние опустошенных душ.

На этом печальном фоне искусство (туземное) чахнет и тускнеет. У русского искусства мало соперников. К нему тянутся, как к источнику живой воды. Сопротивления еще много, еще бы. Но покоряющая сила его поразительна. Его влияние выступает все яснее, об этом говорят все громче, правда — пока еще с оттенком изумления: — ведь все же мы — варвары, мы еще не новые Афины второго Рима. В Германии, в особенности, сильно влияние Достоевского. Его здесь чтут, может быть, больше, чем у нас.

Разумеется, успеху русского искусства помогает страшный ущерб искусства европейского: дорога свободна. Но есть и особая причина. Это уж из моих соображений. Я думаю, что русское искусство особенного типа, и тип этот теперь чем дальше, тем в более чистом виде будет проявляться. Его основа, его зерно — внутри полое. Например, зерно (романского искусства) в разрезе ровное, однообразное, очевидное. Русское — со свищем. Это ни хорошо и ни плохо, и думаю, что теперь только полое семя даст колос. С этой самой полости немцы и сходят с ума у Достоевского.

Искусство романское на закате. На закате и рационально-правовая мораль, и римское понимание государственности: людям в ней тесно. Жизнь стала обширнее и глубже романского сознания. Вот тут-то и нужна живая вода, которую, как Вам известно, приносит ворон в клюве. Все это давно уже сказано, но я воспринимаю это всей кожей, как воздух…»

Рискну предположить, что вот это письмо, в отличие от предыдущего, Толстой, «пиша, хохотал». А если не хохотал, то посмеивался и потирал ладони, удачно составляя слово к слову и умиляясь убогой крыше, тоске, первобытности и новым Афинам второго Рима, мавзолею на великом закате — прямо Шпенглер какой-то. Тут очень чувствуется игра и поза, тут есть самолюбование и элегичность, и томность, и деланая задушевность, и ссылки на Достоевского, которого Толстой не любил и, лишь сильно поморщившись, мог упоминать.

Вообще самый опасный вид письма тот, когда под видом частного пишется открытое (письмо к Чайковскому с самого начала было открытым). Однако Чуковский не понял, с кем имеет дело, и принял все за чистую монету. Он был так тронут толстовским «покаянием» перед Россией и его верой в силу нового искусства, что опубликовал письмо Толстого в петроградском журнале «Литературные записки», а когда Толстой написал ему еще одно письмо с приглашением участвовать в «Накануне», дал пространный, лихорадочный, сумасшедший ответ:

«Дорогой Толстой.

Я радуюсь тому, что происходит с Вами. Ваш ответ Ч-му прекрасен. Безо всякого злорадства, а напротив: с умилением — читал я его в «Известиях». Да, да, это что я чувствую давно! — с самого начала революции. Слава Богу, ненависти к своему народу у меня и мимолетной не было. Я сразу пошел читать лекции матросам, красноармейцам, милиционерам — всем *нынешним людям,* которых принято так ненавидеть и, читая, чувствовал: «Это Россия». И еще: «Хороша Россия!» Талантливые, религиозные, жадные к жизни люди. Они тысячу лет были немы, теперь впервые думают и говорят — еще косноязычно и нелепо, — но это они создали

Достоевского, Чехова, Державина, Блока, они, они, и у них еще тысячи лет впереди, и они силачи: прошли через такие войны, голода, революции — а вот смеются, все поют, купаются в Неве, козыряют за девками. А в деревне бабы рожают, петухи кричат, голопузые дети дерутся на солнце, крепкий народ, правильный народ, он поставит на своем, не бойтесь. Хоть из пушек в него пали, а он все будет возить навоз, любить землю, помнить зимних и вешних Никол, и ни своих икон, ни своих тараканов никому не отдаст. Я жил в этом году в деревне и видел, что в основе, в главном, в идеале все сложилось по мужику, для мужика, что мужик весь этот строй приспособил к себе, повернул на свою мельницу, взял из него то, что нужно мужику, остальное выбросил вон. Говорить о «гибели» России, если в основе — такой прочный, духовно одаренный, работящий народ, — могут только эмигранты — в Париже, Софии и Праге. Теперь эмигранты каются и «прозревают» — Достоевский сказал им, что презревшему свой народ остается одно: Смердяковская или Ставрогинская петля, — все они чувствуют себя (в потенции) висельниками, но, дорогой Толстой, не думайте, что эмигранты только за границей. <…>

В 1919 году я основал «Дом Искусств»; устроил там студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроили общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают — эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую власть. В этом-то я вижу Вашу основную ошибку: те, которые живут здесь, еще больше за рубежом, чем Вы. Вот сейчас вышел сборник молодежи — «Звучащая раковина». Ни одного стихотворения о России, ни одного русского слова, все эстетические ужимки и позы! Нет, Толстой, вы должны вернуться сюда гордо и с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым. Замятин очень милый человек, очень, очень — но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший. Серапионы — да! Это люди, прокипевшие в котле, — жаль, что Вы не знаете их лучших вещей, — но если бы Вы знали, как их душит вся эмигрантщина, в какой они нищете и заброшенности.

Вот, если б можно было им помочь — через Ара или как-нибудь Слонимскому, Лунцу, Веев. Иванову, Зощенке (больной, с пороком сердца, милый, милый), Конст. Федину. Я сказал им о Вашем приглашении, все они пишут для Вас, на днях вышлют. <…> Спасибо Вам за дивный подарок — «Любовь Книга Золотая» — Вы должно быть сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете так писать, что и смешно, и поэтично. <…> Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в «Литературные записки» (журнал Дома литераторов) — пускай и Россия знает о Ваших успехах <…>{430}».

Толстой это прочел, а потом взял — и, не спросись Чуковского, опубликовал в «Накануне» безо всяких купюр и замен фамилий начальными буквами[47].

Как справедливо отмечено в книге «Русский Берлин», вопрос о том, имел ли право Толстой частное письмо напечатать, остается открытым, «поскольку, во-первых, оно являлось ответом на письмо Толстого, прямо приглашавшее в «Накануне». С другой стороны, Чуковский сам только что напечатал «частное» письмо Толстого к нему в петроградских «Литературных записках»{431}.

К этому можно добавить, что, послав в те же сроки близкое по содержанию письмо Ященке (там тоже была брань в адрес петроградского «Дома искусств»), Чуковский оговорил: «Все это письмо — для Вас, для Александра Семеновича, а не для печати»{432}. В письме Толстому таких

оговорок нет. Случайно, по забывчивости, специально? Как знать… В письме Чуковского слишком много того, что пишется в расчете на публику, хотя одновременно с этим есть и очень личное. Автора «Крокодила» и «Мойдодыра» точно бросает из стороны в сторону, чувствуется, что его текст написан в сильном волнении, что у него накопилось за эти годы много горечи и обиды и он выплеснул их на первого попавшегося человека, отличного от тех, кто окружал его в Петрограде. А что сделал тот? Воспользовался чужой неосмотрительностью? Оказал медвежью услугу своему старому знакомому, который писал о нем восторженные рецензии еще десять лет назад и приводил к Короленке? Или же Чуковский сам, сознательно либо подсознательно, хотел скандала, и Толстой выполнил-угадал его тайное желание?

Как ни гадай и ни рассуждай, Толстой повел себя как журналист, в руки которого попал сенсационный материал, и не остановился ни перед чем, чтобы его опубликовать. А самому Чуковскому позднее писал:

«Мне ужасно тяжела вся история с письмом. Но, дорогой Корней Иванович, я был введен в заблуждение: я был уверен, что Ваше письмо есть ответ на мое письмо, и так как свое я послал Вам, предполагая, что Вы его напечатаете, то и Ваше я рассматривал, как присланное для печати. Но там были слишком горькие слова. Я пошел к Алексею Максимовичу и мы вместе читали письмо и вычеркнули из него одну треть. Фраза же о Волынском была вычеркнута, но в типографии ее почему-то набрали. (Вычеркивал Горький карандашиком.) Но, Боже мой, какие это мелочи! Снег уже стаял. Ругали меня с остервенением и сладострастием. Надоело и перестали. Но почему же не говорить правду? Неужели нужно всегда и везде притворствовать?»[48]{433}

Эмиграция отреагировала мгновенно:

«Письмо, по-видимому, не было предназначено для печати — такую наивно неприкрытую лесть, какой оно дышит, можно себе позволить только в частном исполнении и притом лишь к заведомо не очень взыскательному человеку. Иначе преувеличенная фальшь внушает мысль даже об издевательстве. Точно так же только в частном письме можно себе позволить те гаденькие сплетни, в которых изливает свою душу петербургский корреспондент графа Толстого, — писала газета «Руль» в редакционной статье под названием «Cloaca maxima». — К сплетням о товарищах по этому учреждению присоединяется заглядывание в чужие пайки и нечто весьма похожее на критику обоснованности их получения. Кто «милый-милый», так тому выслать посылку Ара, а кто не милый, так тот оказывается дармоедствующим даже и на пайке советском. Все это венчается доносом по части советской неблагонадежности некоторых лиц.

Именно это последнее обстоятельство всего более убеждает в том, что письмо не было предназначено его автором к опубликованию, ибо доносы надлежит направлять непосредственно начальству, а никоим образом не окольным путем чрез «Накануне» в Берлин. <…> Нет, такой оплошности не сделал Корней Чуковский, это просто его предал граф Толстой»{434}.

Граф Толстой не стал спорить, сделал вид, что со всем согласен и подставил свою могучую выю под чужую длань.

«Напечатанное в предыдущем номере письмо К. И. Чуковского было написано мне как частное письмо. Я напечатал его, не испросив предварительно разрешения на это К. И. Чуковского. Поэтому все упреки и бранные слова прошу направлять только по моему адресу.

Алексей Толстой»{435}.

Не помогло. Через несколько номеров Толстой добавил.

«Разъяснение.

В дополнение к заметке, что письмо К.И. Чуковского ко мне опубликовано мною без его разрешения, — сообщаю, что письмо это напечатано не целиком, но что это отрывки из его частного письма ко мне.

А. Толстой»[{436}].

Чуковский, положение которого было стократ ужаснее, написал в свое оправдание огромную путаную статью, где изо всех сил пытался дезавуировать выпады против собратьев из «Дома искусств», клялся, что никого не хотел обидеть и уж тем более заподозрить в нелояльном отношении к советской власти. Были там и такие строки:

«Мне больно, что Ал. Толстой напечатал мое частное письмо, так оно повредило тому, что мне дорого. <…> Если бы во время писания письма я знал эту газету, как знаю ее теперь, я не послал бы такого письма». Впрочем, заканчивалось все примиряюще:

«К самому Толстому я продолжаю относиться с доверием. Он не политикан, он органически простой человек, который всем нутром ощутил, что Россия, несмотря ни на что, все же осталась Россией, что русскому жить без нее невозможно.

За это я и послал ему свой (неправильно воспринятый) привет, в чем и посейчас не раскаиваюсь»[{437}].

Но все это было как мертвому припарки. На это внимания в Советской России особо не обращали, в то время как первое письмо Чуковского произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«На интимном вечере «Всемирной литературы», после удачной литературной шутки, сочиненной и прочитанной Замятиным, — вспоминал Николай Оцуп, — Чуковский подошел к писателю и который раз сказал ему:

— Восхищаюсь вами. Какой вы талантливый, какой настоящий!

«Новому Гоголю», как назвал его недавно тот же Чуковский, оставалось только поблагодарить за лестные слова.

А через несколько дней в «Накануне» Алексей Толстой опубликовал печально-знаменитое письмо Чуковского, где он писал между прочим: «Здесь нет настоящей литературы. Замятин? Но какой же он писатель? Это — чистоплюй»[{438}].

«Дом Искусств и Дом литераторов задымились от горькой обиды и негодования, — писал в мемуарах Евгений Шварц. — Начались собрания Совета Дома, бесконечные общие собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захворал. Он был близок к сумасшествию»[{439}].

Но что говорить про Замятина, Волынского и прочих обитателей «Дома искусств», если Борис Пильняк, который никоим образом от Чуковского не пострадал, в тот же день, когда было опубликовано письмо Чуковского, написал Ремизову для передачи Алексею Толстому письмо с отказом сотрудничать с «Накануне». В нем ни слова о Чуковском, и начинается оно в обычном для переписки Пильняка и Ремизова шутовском стиле, но совпадение дат — 4 июня — говорит само за себя:

«Коломна.

Никола-на-Посадьях.

4-го июня 1922 г.

Алексею Михайловичу Ремизову и

Алексею Николаевичу Толстому пишет

блоховод Пильняк.

Дорогие Алексей Михайлович и Алексей Николаевич!

(это письмо я Вам адресую, Алексей Михайлович, — перешлите Алексею Николаевичу: не пишу двух писем, потому что горько писать горькие письма дважды и… сижу без денег, а письмо стоит 400 тысяч —!) Вдруг, пачкой пришли ко мне «Накануне», — прочел «Россию, родину, мать» — и пришел в восхищение от твоего, Алексей Николаевич, «Жизнеописания (краткого) блаженного Нифонта». Но прочел, кроме того, и газеты — и по совести своей пишу письмо в редакцию, которое прошу тебя напечатать в «Накануне», т. к. точно такое же письмо шлю Ященко, в «Нов[ую] Русск[ую] Кн[игу]» — и лучше, если у Вас, в «Накануне», появится вперед.

Письмо же в редакцию вот:

Гражданин редактор.

Напечатайте, пожалуйста, это мое письмо. Я больше не буду сотрудничать в газете «Накануне». Я знаю и верю, что идет, пришла Новая Россия, и на обовшивевшем ее пути, — по новому пути поведет ее новая, народившаяся теперь, биологически теперешняя, общественность. Тем, кто хочет быть с Россией — должен быть в России — должен перепроверить свои вехи, — тем надо знать будни России.

Я приветствую сменовеховство, как искание. Сам я, в сущности, сменовеховец. Но «Накануне» не знает наших будней и просматривает нашу молодую, теперешнюю, революционную общественность, — тактика «Накануне» мне чужда. И это разводит наши дороги.

Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто искренне сменовеховствует, как ко всякому искреннему верованию, и думаю, что дружеские мои отношения с товарищами, работающими в «Накануне», — по-прежнему останутся товарищескими и дружескими.

Россия. Коломна. Никола-на-Посадьях.

4-го июня 1922.

Борис Пильняк-Вогау

«Накануне» в России расклеивается на заборах. То, что делает «Накануне», давно уже нами сделано, нам не нужно и чуждо. Алексей Николаевич, милый, хороший, — тебе не приятно прочесть это мое письмо в редакцию: не могу иначе. И не напечатать его не могу, ибо вступление мое в «Накануне» — должно иметь — мое же — противодействие»[{440}].

Примечательно, что Пильняк на этом не успокоился и точно такой же — слово в слово — текст отправил в тот же день Ященке с просьбой опубликовать его в «Новой русской книге»,

сопроводив это следующим комментарием:

«Вот какое письмо я прошу тебя возможно скорее обнародовать. Мне тут прислали пачку «Накануне», — я ознакомился, и *по совести моей* не могу сотрудничать в этой газете, — я, сотрудник «Печати о Революции», «Красной Нови», — лежачего не бьют. <…>

Я долго думал: надо ли писать «письмо в редакцию» —? и решил, что надо, ибо мое вхождение в «Накануне» было политическим жестом, которое письмом аннулируется»[{441}].

Таким образом, письмо Пильняка о выходе из «Накануне» было опубликовано сразу в двух берлинских газетах — «Голосе России» и «Новой русской книге».

Смысл его ясен. Метрополия требовала от писателя того же, что и эмиграция: определись, с кем ты, и не сиди на двух стульях. Либо с нами — тогда возвращайся, либо с ними, но тогда — ты нам чужой, ты жизни нашей не знаешь. Но ясен и подтекст — советский писатель Борис Пильняк открещивался от сомнительной, скомпрометировавшей себя по обе стороны границы газеты.

Письмо Пильняка порадовало эмиграцию. В берлинском «Руле» вышла статья, в которой говорилось о том, что «Накануне» получило поделом за свой сервилизм в связи с судом над эсерами; в пражской «Воле народа» Пильняка самого обвинили в двойной игре, но примечательнее всего грубоватое мнение, высказанное несколько позднее по поводу Толстого и Пильняка Пришвиным, также автором «Накануне»:

«Приехала Мар. Мих. Шкапская из Берлина. Иду к ней, говорят, Ремизов хочет через нее мне что-то передать. Если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в «Накануне», я отвечу Ремизову, что обнять Алешу ничего, в худшем случае он перднет от радости и через минуту дух разойдется, а довольно раз поцеловать Пильняка, чтобы всю жизнь от следов его поцелуев пахло селедкой»[{442}].

Однако снисходительный по отношению к Толстому Пришвин (да и то пока снисходительный, потом это отношение переменится) — скорее исключение. А удары сыпались со всех сторон.

Марина Цветаева, которая только что, в мае 1922 года, приехала из России в Берлин и была полна советскими впечатлениями, писала Толстому опять же в открытом письме — жанре, оказавшемся в тот год необычайно популярном.

«Алексей Николаевич!

Передо мной в № 6 приложения к газете «Накануне» письмо к Вам Чуковского.

Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.

Но Вы редактор, и предположение падает.

Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома.

«В 1919 г. я основал «Дом искусств»; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку.

Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую власть»… —…«Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым».

Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его), — то поступок Чуковского ясен: не может же он не знать, что «Накануне» продается на всех углах Москвы и Петербурга! — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.

Обратимся ко второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую…

Перечитываю — и:

«Спасибо Вам за дивный подарок — «Любовь книга золотая». — Вы, должно быть, сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы одни умеете так писать, что и смешно и поэтично. А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно рожденные: поднимешь его, а он — ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы, восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в «Литературные записки» (журнал Дома литераторов) — пускай и Россия знает о Ваших успехах».

Но, желая поделиться радостью с Вашими Западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком. Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России ГПУ (вчерашнее ЧК), ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии «Летописи Дома литераторов», ни о многом, многом другом…

Допустите, что одному из названных лиц после 4 1/2 лет «ничего-не-делания» (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?

Новая экономическая политика, которая, очевидно, является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.

Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности.

За 5 минут до моего отъезда из России (11 мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно знакомый, знавший меня только по стихам.

— «С Вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего». Жму руку ему и не жму руки Вам.

Берлин, 3 июня 1922 г.»[{443}].

Дата здесь, скорее всего, ошибочна. Раньше 4-го Цветаева ответить никак не могла, но уже 7 июня ее письмо было опубликовано в газете «Голос России», которая позднее, подытожив обмен письмами, обвинениями и извинениями, сопроводила разыгравшуюся историю

следующим замечанием: «Эта «полемика» — первый шаг к общению российских и эмигрантских изданий».

Вообще начало июня 1922 года выдалось более чем жарким. Вероятно, Толстой давно не переживал таких напряженных дней, никогда столько страстей, интересов, обид не сплетались вокруг его имени и никогда ему не приходилось так отбиваться, едва успевая считать отпадающих друзей и прибывающих врагов. Но это была его стихия, это была жизнь, литература, борьба, и как знать, быть может, подсознательно именно к этому стремилась его мятежная душа, унаследовавшая страсти буйного графа Николая Александровича Толстого.

Толстого несло… В разгар всех этих скандалов масла в огонь подлила газета «Руль», опубликовавшая статью «Голые люди».

«Вчера Берлин сподобился на короткое время переселиться в Москву с ее шумными «литературными» выступлениями доморощенных «гениев», поэтов-имажинистов и просто скандалистов. В Блютвер Зало под руководством графа Толстого ряд «каторжников» и «голых людей» обнажались перед берлинской публикой. Зало было почти переполнено, но публика в большинстве случаев была или «своя», или просто состояла из любителей сенсационных выступлений и скандалов. Однако ожидания их не оправдались. Вечер прошел сравнительно спокойно.

А. Толстой в своем вступительном слове указал на то, что перед публикой продефилируют сейчас хулиганы, каторжники, подлецы, бесшабашные люди и т. п. Ассортимент этих ласкательных эпитетов Толстого по адресу своих сотоварищей по выступлению мог бы быть еще значительно продолжен. Несмотря на это, Толстой, однако, указал, что их необходимо принимать такими, какие они есть, потому что они — талантливые люди. Их дает нам такими современная Россия, в которой, по выражению Толстого, людям вспарывают живот, конец кишки прибивают к дереву, а затем гоняют вокруг этого дерева. Русские поэты, музыканты, художники не могут отделиться от современной русской жизни, а она — в достаточной мере безобразная.

Выступивший затем «кандидат прав» Ветлугин, который должен был говорить о голых людях, успел только сказать, что он голый. Шумный хохот собравшихся приостановил его излияния, так что публика не могла узнать дальнейший ход мыслей почтеннейшего кандидата в этом направлении. Он указал на то, что хотя у нас латыши и китайцы расстреливали под шум автомобилей, а у них негры пороли население на Молдаванке, несмотря на гнилую курфюрстендамскую эмиграцию, несмотря на все эти препятствия, представители русской литературы и искусства, находящиеся в разных лагерях, протягивают друг другу руку для объединения, и этому объединению никто не сможет помешать.

С развязным видом, в расстегнутой шелковой рубахе и руки в карманах читал свои стихи новое светило «черкес» Кусиков. И поразил всех как своей сильной поэмой «Пугачев», так и покроем модного смокинга «крестьянин» Есенин.

Одинаковым с выступавшим вниманием публики пользовалась сидевшая в ложе Айседора Дункан.

Три четверти десятого г. Есенин заявил, что за поздним временем (?) их просят очистить зал, так что конец программы должен был быть смят. Было скучно.

Таков первый «московский» литературный вечер в Берлине»[{444}].

Говорил Толстой про вспоротые животы и намотанные кишки или это придумали в самом «Руле», чтобы подпортить его просоветскую игру, не столь важно. Важен факт, что не кто иной, как граф Толстой, возглавлял сие действо. И, вероятно, делал это с такой же невозмутимой миной, с какой служил старшиной в одесском игорном доме.

Вообще именно графство придавало всей ситуации с Толстым особую пикантность. Добро бы так вел себя плебей, но русский аристократ в роли перебежчика, изменника и литературного скандалиста и провокатора? Неслучайно двое берлинских знакомых Толстого — Роман Гуль и Нина Берберова — усомнились в эти дни в его титуле и свалили появление на свет этого *enfant terrible* на Александра Аполлоновича Бострома (который умер в 1921 году в безвестности в Самаре; литературным памятником ему стало «Детство Никиты», им не прочитанное).

Тут можно ответить словами Достоевского: когда аристократ идет в революцию, в этом есть свое обаяние.

Тогда же, в июне 1922-го, Толстой отправил письмо еще одному своему знакомому, Андрею Соболю, где снова и на сей раз, пожалуй, наиболее осязаемообразно как художник и мыслитель написал о своем восприятии революционной России:

«Видишь ли, Андрей: когда-нибудь настанет век, когда мы будем жить в прекрасных городах, общаться с прекрасними людьми, с природой, со звездами, писать прекрасные рассказы. Очень хорошо. Но раньше чем дожить до этого века, нужно перестать быть парием, презренной сволочью, каковыми мы, русские, являлись до сей поры в этом мире. Но перестать быть сволочью можно, только почувствовав себя частицей — единого, огромного, сильного и творящего добро. Таковое есть — отечество…

Мое отечество пережило страшнейшую из революций, известных в истории. Могу я принять отечество без революции? Могу я женщину, родившую дюжину детей, уверять в том, что она девственница?

Но ведь этим занимается одна часть нашей эмиграции: — дети не твои, подкидыши, ты отроковица. Другая часть эмиграции занимается тем, что считает отечество — лахудрой, последней б…ю. Одни — манил овцы, другие — смердяковцы. Наконец третьи — совсем чудаки: они говорят: «революция была, но в октябре 17го кончилась, дальше идет не революция…»

Революцию я должен принять со всею мерзостью и ужасами. Это трудно, очень. Но ведь те, кто делали революцию — интеллигенты, рабочие, крестьяне, солдаты, красные, зеленые, белые, перебежчики, разбойники — все составляют мое отечество. Ведь особого, «отечественного» народа помимо, — не творившего всего этого выворачивания России наизнанку, — нет. Я же отечества кровный сын, и если я физически не участвовал в делах, то мысленно и чувственно — совершал дела нелегкие и отделять себя — выгораживать, — быть чистеньким — у меня нет основания[49].

В принятии революции нет оправдания ее, ни порицания ее, — нет морального начала, как нет морального начала в том, чтобы стащить свою лодку с песка и поплыть по реке. Я думаю, что, вообще, рассматривание революции как начала морального, в особенности романтизирование ее — есть ложь и зло, так же как — ложь и зло восхищаться войной и воспевать ее. Война и революция — неизбежность…

Есть люди, принимающие русскую революцию без большевиков, — это четвертая категория чудаков. Впоследствии история разберется, кто кого породил: революция большевиков или большевики революцию. Это и есть столь модный сейчас спор о личности и коллективе. Во

всяком случае революция и большевики неотделимы. Если я прилепляюсь к отечеству, принимаю революцию, — я сознаю, что большевики сейчас — единственные, кто вытаскивает российскую телегу из оврага, куда завезли ее красные кони. Удастся вытащить? Не знаю. Но знаю, что делать нужно мне: завязло ведь мое отечество…

Русские эмигранты ведут себя как предатели и лакеи. Клянчат деньги, науськивают, продают, что возможно. В Европе (кроме Германии) Россию ненавидят и боятся. России не на кого сейчас рассчитывать, только на свои силы…

Я отрезаю себя от эмиграции. Эмиграция ругает меня с остервенением: я ее предал. Но меня ругают и в России: я нарушил давнишнюю традицию интеллигенции — будировать правительство. Но эту роскошь я не могу себе позволить, покуда отечество на самом краю бездны»[{445}].

Это письмо не было нигде опубликовано, хотя из трех писем Толстого о революции, России и эмиграции, написанных весной — летом 1922 года, оно, пожалуй, самое искреннее (равно как и прежде упоминавшееся письмо Ященке от февраля 1920 года). Тут окончательно сделанный выбор — пою и революцию, и большевиков, не хочется, а что поделать? — абстракция сменяется конкретикой, все договаривается до конца, и даже вопрос о сыновстве решен — сын России, готовый принять за свою любовь какую угодно хулу.

Однако на родину Толстой пока не торопился. Несмотря на то что редакторы «Накануне» Ю. В. Ключников и Ю. Н. Потехин 31 мая 1922 года отправились в Москву, где 1 июня открылась московская контора редакции, и расхваливали в своих корреспонденциях чудеса нэпа, Толстой за ними не последовал.

Зато к удивлению многих уехал еще совсем недавно настроенный непримиримо по отношению к большевикам И. С. Соколов-Микитов и писал своему товарищу:

«Дорогой Алексей Николаевич! Даю вам честное слово, что я теперь счастлив. *Тем, что в России,* что вижу своих, что хожу по утрам в лес с кузнецом Максимом посвистывать рябцов, тем, что здесь в России *необыкновенно много прекрасных людей…* Вас не зову, не маню, не соблазняю, но думаю твердо, что быть здесь — это ваш долг»[{446}].

А в другом письме:

«Давно прошло время самохвата и озорства, нет ни «помещиков», ни «бедноты», ни «пролетариев», ни «буржуев». Несчастье многому научило людей и обродило»[50][{447}].

Толстой опубликовал оба текста в «Накануне». Он много чего печатал в своем журнале, не обращая внимания на брань равно советских и эмигрантских газет. Редактируемое им приложение все более явно становилось площадкой для литературных провокаций, там печаталось то, что отказывались брать другие газеты и журналы.

Так, например, когда приехавший в мае 1922 года в Берлин Есенин написал по просьбе Ященки автобиографию и тот ее слегка отредактировал, смягчив самые острые места, ведущий фельетонист «Накануне» Василевский Не-Буква восполнил в своем издании все купюры: «Но вот, мне доставлена в *подлиннике* (выделено Не-Буквой) автобиография С. Есенина, и, сличая оригинал с напечатанным, я вижу, что так называемые «колючие» места в ней — безжалостно выпущены редакцией. Пропущена фраза Есенина: «Терпеть не могу патриарха Тихона», пропущено описание того, как к Есенину пришли гости и, так как не было щепок, то самовар поставили, расколов для этого две иконы, и «мой друг не мог пить этого чая»[{448}].

Складывается впечатление, что ведомое Толстым приложение сознательно шло на скандал и эпатировало публику, как некогда это делали в «Бродячей собаке».

«Такого хулиганства и растления, какое сконцентрировалось в сменовеховских Помоях, — никакое воображение представить себе не могло. И все это под редакцией гр. Толстого», — писала газета «Руль» 22 августа 1922 года{449}.

Но делал это Алексей Толстой руками своих корреспондентов, а сам продолжал рекламировать на Западе молодых советских писателей: «Новая литература» — это новое сознание, новая личность. То, что появилось сейчас в России, в литературе, — прозаики и поэты: Всеволод Иванов, Н. Никитин, Лунц, Зощенко, Зейдлер, Груздев, Слонимский, Ирина Одоевцева (петербургская группа «Серапионовы братья»), Яковлев, Тихонов, Плетнев, Герасимов, Обрадович, Казин, Филипченко и др. (московская группа), Баркова, Жижин, Дмит. Семеновский, Александровский (иваново-вознесенская группа), Есенин, Кусиков, Мариенгоф (московская группа «имажинисты»), Пильняк, К. Федин, Орешин и др. — все это прежде всего оголенная, иногда почти до схемы, новая личность, новое сознание мира. Все это жестко, колюче, молодо, свирепо. Эти хриповатые, гортанные голоса — крики орлят, перекликающихся на студеных вершинах»{450}.

Хвалил их, а ехать в Россию все-таки не спешил. Не то выжидал, не то вообще не собирался туда, где колюче, молодо, свирепо и орлята кричат на горных вершинах. Или не было ему сигнала, и Кремль был более заинтересован в том, чтобы граф оставался пока в Берлине. Или думал, может быть, все-таки еще переиграть и покаяться перед эмиграцией так же, как покаялся перед большевиками. Или все дело в том, что во второй половине 1922 года в Германии резко усилилась инфляция и русские эмигранты, державшие деньги в твердой валюте и драгоценностях, почувствовали себя разбогатевшими, культурная жизнь стала бить ключом, соответственно и спрос на книги и литературные вечера возрос. Или все было в том, что Наталья Васильевна в ту пору забеременела и было решено дожидаться, пока она родит. Как знать…

«У А. Н. Толстого в доме уже чувствовался скорый отъезд всего семейства в Россию, — писала в своих мемуарах вхожая в эту пору в толстовский дом Нина Берберова. — Поэтесса Н. Крандиевская, его вторая жена, располневшая, беременна третьим сыном (первый, от ее брака с Волькенштейном, жил тут же), во всем согласная с мужем, писала стихи о своем «страстном теле» и каких-то «несытых объятиях», слушая которые, я чувствовала себя неловко. Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писания, но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя, слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину, как «два кобеля» (он с Ходасевичем) поехали в гости к третьему (Горькому), уже можно было представить, до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах. «Детство Никиты» он писал еще в других политических настроениях. Между «Детством» и «Аэлитой» лежит пропасть. Я с удивлением смотрела, как он стучит по ремингтону, тут же в присутствии гостей, в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в Госиздат. И по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает. Ему надо было пережить бедствия, быть непосредственно вовлеченным во всероссийский катаклизм, чтобы ухитриться написать первый том «Хождения по мукам» — вещь, выправленную по старым литературным рецептам. Когда он почувствовал себя невредимым, он покатился по наклонной плоскости»{451}.

Но еще целый год прошел, прежде чем это произошло. А что касается «Аэлиты»

(первоначальное ее название «Закат Марса»), то странная судьба ждала эту впоследствии ставшую одной из самых популярных в Советском Союзе книг, родоначальницу нашей фантастики.

«Что с ним случилось, не знаем, он весь внезапно переменился. Переменившись, написал «Аэлиту»; «Аэлита» в ряду его книг — небывалая и неожиданная книга… В ней не Свиные Овражки, но Марс. Не князь Серпуховский, но буденновец Гусев. И тема в ней не похожа на традиционные темы писателя: восстание пролетариев на Марсе. Словом, «Аэлита» есть полный отказ Алексея Толстого от того усадебного творчества, которому он служил до сих пор, — писал Чуковский. — Роман плоховат… Все, что относится собственно к Марсу, нарисовано сбивчиво, неряшливо, хламно, любой третьестепенный Райдер Хаггард гораздо ловчее обработал бы весь этот марсианский сюжет…»{452}

«Аэлита прежде всего неприкрытое подражание Уэллсу… На Марсе, конечно, ничего не придумано… В «Аэлите» — скучно и не наполнено…» — отрезал В. Шкловский[51]{453}.

«Марс скучен, как Марсово поле. Есть хижины, хоть и плетеные, но в сущности довольно безобидные, есть и очень покойные тургеневские усадьбы, и есть русские девушки, одна из них смешана с «принцессой Марса» — Аэлитой, другая — Ихошка… И единственное живое во всем романе — Гусев — производит впечатление живого актера, всунувшего голову в полотно кинематографа…» — вторил ему Тынянов{454}.

«Фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну», — язвил Бунин{455}.

«Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у которого графский титул не только в паспорте, подарил нас «Аэлитой», вещью слабой и неоригинальной…» — давал классовую оценку рапповец Лелевич, и поразительно, как сходились во взглядах и эмигрант, и рапповец, и советский тайный оппозиционер.

Однако читатели более поздних времен увидели в этом произведении иное. Михаил Агурский, на которого я уже ссылался в этой главе, предложил свой взгляд на «Аэлиту», связывая идею повести с изменившимся мировоззрением Толстого:

«Естественно, что Толстой как писатель должен был отразить свой внутренний поворот в художественном творчестве. Таким произведением оказывается научно-фантастический роман «Аэлита». Толстой очень искусно выбирает форму своего произведения. Она дает ему возможность скрыть наиболее сокровенные мысли о такой форме, которая не должна была бы помешать его примирению с большевизмом. Он переносит действие на Марс, хотя все, что он пишет о нем, показывает, что это символ Запада, в то время как Земля — это символ России. Инженер Лось (Толстой) в отчаянии бежит на Марс (эмигрирует из Советской России на Запад). Его сопровождает типичный скиф, бывший красноармеец Гусев. Лось застает Марс-Запад в состоянии упадка и сознании обреченности. Вождь марсиан Тускуб (Шпенглер) говорит марсианам: «Мы не спасем цивилизации, мы даже не отстрочим ее гибели, но мы дадим возможность марсианскому (западному) миру умереть спокойно и торжественно». Противник Тускуба Гор (западный коммунист) полагает, что Марс (Запад) может быть спасен Землей (Россией). Для него «люди с Земли» (русские) — «здоровая свежая раса с горячей кровью». Но Толстой не верит в западных коммунистов. Он считает, что и у них не хватает воли к жизни. Конечно, он не мог выразить такие мысли прямо. Поэтому форма научно-фантастического романа помогает ему замаскировать их. Он приписывает гибнущему Гору следующие слова: «Мы упустили час… Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь». Но так могут любить жизнь только русские. Скиф Гусев только и думает о том, чтобы

присоединить Марс к РСФСР. Глубокий мистицизм самого Толстого, являющийся духовной основой его национал-большевизма, отражен в теории происхождения на земле зла. Первородным грехом человечества была его опора на разум. Здесь слышится влияние русской религиозно-философской мысли, видящей корень зла в кантианстве. Бытие и жизнь существ постигались как нечто выходящее только из разума. Все остальное объявлялось плодом воображения. Каждый человек стал утверждать, что он и есть единственный сущий.

Толстой противопоставляет этому знакомую нам доктрину преднамеренного грехопадения. Основным законом жизни должно быть «нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Разум должен пасть в плоть «и пройти через живые врата смерти». Падение разума совершается силою полового влечения. Здесь Толстой следует по проторенному пути всех нигилистических религиозных сект»[52].

Это весьма любопытная интерпретация, и Марс как метафора Запада, спору нет, идея остроумная, но дело не только в явных или неявных политических намеках или философских посылах. На самом деле все было гораздо проще. В 1924 году должно было состояться великое противостояние Земли и Марса, и четвертая планета Солнечной системы стала необыкновенно популярна. Именно к этому событию и подгадывал Толстой свой опус.
«Когда Марс восходит, он красный. Потом оранжевый. В 4-ом часу ночи проснулся. Истинно дивное небо! Все точно увешано золотыми цепями, созвездиями. Над горой направо, высоко — совершенно золотой серп месяца, ниже, под ним, грозное великолепие Ориона, а над ним, совсем в высоте, — стожар. Направо, почти над седловиной Наполеона, над горой крупной золотой звездой садится Марс»[456]— так писал в своем дневнике в дни великого противостояния Иван Бунин. Толстой выразил это же самое восхищение в прозе — почему бы и нет?

## Глава XV. Back in the USSR

1922 год был ознаменован еще рядом литературных скандалов с участием нашего протагониста.

В январе, то есть вскоре по приезде Толстого в Берлин, в издательстве «Геликон» вышел роман толстовского когда-то приятеля, а теперь литературного недруга Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников…». Роман писался после высылки Эренбурга из Парижа, быстро, лихорадочно, фельетонно, провокационно и успешно. Эренбург, который некоторое время жил в Бельгии, также переехал к этому времени в Берлин и с Толстым вынужденно сталкивался то в «Доме искусств», то на литературных вечерах, то в кафе, то в редакциях или на страницах газет.

Оба литератора формально относились к просоветскому крылу русского Берлина, но были антиподами и в жизни, и в творчестве. Как писал Ященко Глеб Алексеев в ноябре 1922 года: «Толстой с Эренбургом не укладываются в одну книгу. Очень прошу во избежание новых меж ними недоразумений…»[457]— но новых недоразумений избегать не удавалось.

«С Алексеем Николаевичем у меня отношения дурные (главным образом по причинам литературно-идеологическим)»[458], — сообщал Эренбург Лидину, но, очевидно, дело было не только и не столько в них.

Елена Толстая, которая весьма основательно изучила вопрос о творческих и личных взаимоотношениях двух писателей, высказала предположение, что Эренбург по меньшей мере дважды использовал колоритную фигуру графа Толстого в своих романах двадцатых годов и

Толстому отомстил самым изысканным и верным способом, каким может отомстить писатель своему обидчику, другому писателю, выведя его под видом несимпатичного героя.

В «Хулио Хуренито» таким героем стал Алексей Тишин.

«Похоже, что детство Алексея Тишина сконструировано из ранней биографии Алексея Толстого. Я имею в виду скандальную историю происхождения героя, — побег матери с французом, парикмахером местного предводителя дворянства; мать Толстого ушла от мужа, местного предводителя дворянства, к гувернеру шведского происхождения. Следует несомненная фантазия на темы толстовского цикла «Заволжье» и ею первого романа «Чудаки» с полным комплектом из отца-самодура, генеральства, запоя, гарема, турецкого дивана, телесных наказаний и психодрам в духе практикуемых Толстым в 1910– 1912 гг. новейших стилизаций под Достоевского: венчает все эпизод, когда отставной генерал спьяну расстреливает привязанного медвежонка, а мальчика заставляет на это смотреть. И хотя взросление и половое созревание этого героя строится уже на пародиях чеховских тем, а его причащение революционной деятельности — явно на опыте самого Эренбурга, но, начиная с парижской встречи, то и дело в текст вставляются черточки, релевантные в контексте привязки этой фигуры к Толстому.

Вот портретное поведение героя: «Заказывая модные костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поразивших его вещей, как то — специальный набор мазей и щеток для чистки мундштуков, электрические щипцы для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил высказывать свое преклонение перед «сермяжной Русью» и противопоставлять тупой и сытой Европе ее «смиренную наготу»».

Вспомним поведение Толстого из вышеприведенного очерка Эренбурга: «Перед витринами магазинов все глазел, как негр или дитя, — то сорок седьмую трубку с колечком купить хочется, то золотое перышко».

Есть еще более прямая аллюзия: Тишин решает, «что необходимо трудиться для «грядущей России». «Грядущая Россия» — так назывался парижский журнал, выходивший в 1920 году под редакцией М. А. Алданова, М. В. Вишняка и других. Именно там в первом и втором номерах появились первые главы толстовского «Хождения по мукам». (Как бы в подкрепление эмигрантской темы и прием Тишина в ученики Хуренито состоялся в порту среди дремавших на узлах эмигрантов, хотя действие пока еще происходит до революции.) Даже феноменальная душевная расхристанность сверхоткровенного Тишина находит соответствие в отмеченном Эренбургом в мемуарах неумении или нежелании молодого Толстого ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми он сталкивался.

В романе кратко обрисована московская литературная деятельность Эренбурга в первую революционную зиму: «Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных «кафэ поэтов» со средним успехом».

Упоминаются и кафе «Трилистник», и «Кафе поэтов», где он встречает «Алексея Спиридоновича, который, выслушав мои стихи, тоже начал плакать, но не литературно, а с носовым платком». Визит к Тишину описывается так: «Уже на лестнице мы услышали причитания и стоны: это наш друг читал газету. «Срублен «Вишневый сад», — закричал он, даже не здороваясь с нами, — умерла Россия! Что сказал бы Толстой, если бы он дожил до этих дней?»

Упоминание Толстого [Льва] в этом эпизоде звучит лукаво, если наша гипотеза верна. К слову сказать, «толстовство» и «непротивленчество» Тишина подчеркиваются многократно и

неизменно приводят его к конфликтам с реальностью.

Союзнику-французу Тишин объясняет, «что ко всему происходящему Россия никакого отношения не имеет, ибо это дело двух-трех подкупленных немцами инородцев». Невинный флер антисемитизма у бессознательного и безответственного Тишина, исполненного добрых намерений, вполне увязывается с появлением антисемитских обертонов в парижском романе Толстого, на которые, по нашему представлению, Эренбург реагировал в «Хулио Хуренито».

Без всякой связи с Тишиным, говоря о кафе «Бом», Эренбург кстати поминает и «веселые рассказы толстяка-писателя о псаломщике, вмещавшем в рот бильярдные шары» — рассказы явно в толстовском вкусе и прямо соотнесенные с ним в мемуарах»[{459}].

Все это крайне любопытно, потому что объясняет то неприятие, которое вызывала у Толстого и личность Эренбурга, и самый знаменитый его роман. Эренбург, как следует из рассуждений Елены Толстой, мстил таким образом своему приятелю за антисемитские обертоны. Вообще вопрос об антисемитизме Толстого непрост, не лишен оснований и признается многими литературоведами и литераторами (см. ниже мнение С. Боровикова, а также М. Слонимского и А. Ахматовой), но все же в первой части «Хождения по мукам» едва ли антисемитских обертонов так много, чтобы Эренбургу именно из-за них задирать могущественного графа.

Логичнее согласиться с Фрезинским — Эренбург мог считать Толстого виновником своей высылки из Парижа: наверняка он был оскорблен той холодностью, с какой приняла его русская эмиграция во Франции и Алексей Толстой в том числе. Мстил он не самым порядочным, но зато самым верным образом, касаясь больного пункта, своего рода толстовской пятой графы, которую граф Толстой мог доверить ему в часы московской дружбы, — а именно обстоятельств своего появления на свет, и понятна резкая реакция Толстого, тем более что о его графстве в связи с переходом в «Накануне» заговорили многие.

Сам Алексей Толстой при этом ни публично, ни в известных нам письмах об Эренбурге и его творении не высказывался, хотя Роман Гуль писал в воспоминаниях: «Толстой Эренбурга ненавидел, а когда-то были хороши. Помню, раз придя в редакцию, Толстой говорит мне: «Роман Гуль (он почему-то всегда меня так называл), зачем вы пишете хвалебно об этой сволочи? (Я напечатал несколько положительных рецензий в «НРК».) Вот так ведь и делается реклама, а он же и не писатель вовсе, а плагиатор и имитатор. Хотите знать, как он написал свой «Лик войны»? Попросту содрал всякие анекдоты, «пикантности» и парадоксы с корреспонденции французских газет — и получился «Лик войны». Это же фальшивка!

Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил не иначе как с язвительной иронией — старомоден»[{460}].

Однако это все писательские сплетни; главное — в руках у графа был журнал, и на его страницах начались ответные боевые действия писателя Толстого против писателя Эренбурга, о чем последний осенью 1922 года писал своей давней знакомой и бывшей возлюбленной, единственной среди «серапионовых братьев» сестре — Елизавете Полонской:

«Меня очень весело ненавидят. Вчера была здесь обо мне большущая статья в «Накануне» некого Василевского. Предлагает бить меня по морде костью от окорока. По сему случаю Василевского и Толстого хотят откуда-то исключать и прочее, а я веселюсь — в полное семейное удовольствие, сказал бы Зощенко»[{461}].

На самом деле веселья в душе Эренбурга было мало. Статья «некого Василевского» (это был очень известный литературный критик, редактор и фельетонист Илья Маркович Василевский,

первый муж Л. Е. Белозерской, писавший под псевдонимом Не-Буква[53], и не знать его Эренбург не мог) называлась «Тартарен из Таганрога», была груба и неостроумна, хотя потуги на остроумие в ней имелись.

«Мало била его мулатка в кафе. Еще бы. Ломтями ростбифа надумала по щекам шлепать. Тут ветчина нужна, окорок с костью и этого мало, — писал Не-Буква, адресуясь не то к герою Эренбурга, не то к самому автору. — Перед нами или безнадежно лишенный своего стиля и своих слов имитатор, графомански плодовитый коммивояжер, кривляющийся на разные лады суетливый «Тартарен из Таганрога», или и впрямь больной, которого надо лечить, от души пожалев его и по-человеческому пожелав ему скорейшего и радикального выздоровления»[462].

Даже если по этому тексту и не прошлась редакторская рука Толстого, то на клиническом диагнозе Василевский настаивал так решительно, что за его строками чувствовалась не взыскательность литературного критика, а личная обида, а для нее у гр. Толстого было куда больше оснований, чем у Не-Буквы:

«Что, если здесь срочно нужен психиатр, а вовсе не литературный обозреватель? Что, если здесь, меж нами, на Kurfursten-damm-е бродит душевнобольной, и гримасничает, и хихикает, и забрасывает нас этими своими разнокалиберными, разноликими книгами?»[463]

В Берлине на Курфюрстендамме, где располагался «Дом искусств», такой стиль не оценили, да и вообще за этот год главный редактор «Накануне» и его подчиненные своими литературными и политическими скандалами успели всем изрядно поднадоесть. 1 ноября 1922 года Глеб Струве, который никакой симпатии к Эренбургу не питал, называл в письме к брату Константину Василевского и Толстого соответственно прохвостом и хамом из «Накануне»[464].

В ноябре 1922 года берлинские газеты «Дни» и «Руль» сообщили, что в правление «Дома искусств» поступили заявления с требованием исключить из числа членов «Дома» А. Н. Толстого и И. Василевского (НеБукву), о чем Эренбург и сообщал с деланым равнодушием Полонской.

Итак, беднягу Толстого отовсюду гнали: из Парижского клуба, из Берлинского, из «Дома искусств» при том, что он стоял у истоков их всех. Но граф в ус себе не дул и продолжал петь свое. А Эренбург между тем приготовил новый роман и новую литературную месть похлеще прежней. В книгу «Люди, годы, жизнь» вошел один абзац («Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. <…> Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича — может быть, он ей говорил о причине нашей размолвки. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений»[465]), но что за ним стояло!

Снова дадим слово Елене Толстой:

«В следующем своем романе «Жизнь и гибель Николая Курбова» (Берлин, «Геликон», 1923), созданном именно в этот период, Эренбург выводит Толстого в отвратительном и, в отличие от обобщенно русского Тишина, нацеленном на прямое опознание образе князя Саб-Бабакина, в котором отразились и парижские эмигрантские сетования Толстого и, впоследствии, его берлинское сменовеховство:

«Слушая француза, дородный князь Саб-Бабакин, писатель и председатель, стонет. От горя породистые щеки виснут и ложатся на манишку. Знающие нравы русских бар и сан-бернаров ждут слюны. Ждут с основанием. Князь, подвыпив, голосит:

— Все дело в улицах. Были Хамовники, Плющиха, Мол-чаловка (sic!), Курьи Ножки, Мертвый переулок, челове-е-ек, селянка по-московски!

Осталась одна Лубянка. Щука по-жидовски. Трудовая кость в горле. Татьяна! Лиза! Ася! Наташа! Чистые русские девушки! Где вы? Три сестры! Спасите!»

Мы видим, что Саб-Бабакин совсем недалек от Тишина, оплакивавшего «Вишневый сад» в том же тембре. Добавлены вислые щеки, отмеченные в очерке Эренбурга о Толстом 1918 г., а также умело вставленная в список русских литературных персонажей Наташа, героиня нескольких толстовских рассказов 1914–1915 гг., которую Эренбург упоминал в том же очерке. «Три сестры» перекликаются с темой сестер, стержневой для романа Толстого.

Несомненно, Эренбург осмеивает ностальгические настроения, реставрационный пафос и ту наивную попытку вернуться к старорежимной системе ценностей, каковой — по мнению не только Эренбурга — был роман «Сестры» (1921). Эта аллюзия подкрепляется на той же странице.

«Саб-Бабакин пищит:

— Разве это святая русская земля? Разве это тульская, рязанская, калужская? Разве здесь топали стопочки Богородицины? Челове-е-ек, бутылку содовой!..»

Здесь стопы Богородицы перепутываются у пьяного Саб-Бабакина с водочными стопочками. Саб-Бабакин произносит эти слова, ползая на брюхе, — что, если мы вернемся к тексту эренбурговской статьи о Толстом, видимо, должно указывать на упомянутый в ней сюжет романа Толстого «Хромой барин». К этому же кругу аллюзий также относится гораздо резче, чем в образе Тишина, прочерченная антисемитская линия: «Осталась одна Лубянка. Щука по-жидовски». Кстати, Эренбург предусматривал отождествление Тишин — Саб-Бабакин: парижское кафе «Монико», где напивается и кается Саб-Бабакин, было излюбленным парижским приютом Тишина в дни процветания.

В конце романа, когда большевики объявляют нэп, «князь Саб-Бабакин — писатель и председатель» переселяется «пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к святой рязанской и калужской» и пишет манифест:

«Я, князь Саб-Бабакин, того… слегка заблуждался… Большевики, оказывается, русские — рязанские, калужские… Дальше ничего не выходило, — все равно — кого-нибудь попросит дописать. Главное — не опоздать бы».

Это — недвусмысленная пародия на письмо Толстого Н. В. Чайковскому, объявляющее о разрыве с русской эмиграцией. Характерно здесь стремление педалировать именно снятие Толстым антисемитского тона по отношению к большевикам. Поражает, до какой степени Эренбург, при всем своем страстном патриотизме, не склонен был тогда видеть в возвращении Толстого в СССР что-либо иное, кроме приспособленчества»[{466}].

И, добавлю, поразительно, насколько совпадает он в этом с Буниным и иными эмигрантами. Все как будто сговорились и не видели в поступке Толстого ничего другого — только корысть.

21 апреля 1923 года Эренбург писал Полонской: «Ты наверное уж получила моего «Курбова». Вот эту книгу я писал с великим трудом. Правда, я почти заболел от нее. Не знаю, вышла ли она от этого лучше. Напиши свое мнение — им я очень дорожу. Кстати или, вернее, некстати: вопреки всем серапионам вселенной — программа-максимум — писать легко (увы, это граничит с вздором и редко когда и редко кому дается)». А в другом письме добавлял: «Здесь

все то же, т. е. Берлин, холод и в достаточной дозе графалексейниколаевичтолстой (тьфу, какое длинное слово)»[{467}].

Если вспомнить, какое будущее ждало двух этих заклятых врагов несколько лет спустя — как они вместе станут ездить на мирные конференции и писательские конгрессы, как будут представлять свою великую страну на Западе, а в 1943 году — присутствовать при казни немцев в освобожденном Харькове, какие нежные напишет Эренбург о Толстом мемуары, в которых все забудет и простит своему обидчику («Он уже переехал от перьев рецензий к меди веков, проехал в будущее, милый, добрый. Хороший Алексей Николаевич…»[{468}])[54], — если все это вспомнить, то нельзя не порадоваться за стариковскую мудрость Эренбурга и не пожалеть о том, что Толстой не дожил до той поры, когда ему можно было бы написать более или менее свободные мемуары и рассказать о своем видении и Серебряного века, и революции, и эмиграции, и того же Эренбурга, и Бунина, и возвращения в СССР[55].

Но все же отношения Толстого с Эренбургом при всем своем отчасти даже комическом драматизме и то мнимых, то реальных обидах не имели такого литературного значения, как отношения Толстого и Горького. А между тем именно там, в Берлине, все в том же 1922 году встретились два будущих титана советской литературы, два ее классика и самых приближенных к кормушке деятеля, два ее кормильца, пока что пребывавших в сомнительном статусе полуэмигрантов.

Следили они друг за другом давно. Горький, как уже говорилось, заинтересовался Толстым в 1911 году, после опубликования «Заволжья», Толстой еще в пору учебы на механическом факультете Петербургского технологического института в 1905 году написал рецензию на пьесу «На дне», оба были волжанами, но ни близкой дружбы, ни приятельских отношений между ними не возникало. В 1916 и 1917 годах Горький дважды приглашал Толстого к своим литературным проектам. Первый раз «от имени «Русского общества изучения жизни евреев» с просьбой принять участие в намеченном обществом к изданию сборнике литературных и исторических произведений. Но, как пишет далее Горький, «к сожалению ответа от вас до сих пор не последовало…»[{469}]. А второй раз в 1917-м телеграммой, предлагая «участвовать в социалистической газете «Новая жизнь»[{470}], и Толстой снова никак не отреагировал, хотя его имя Горький в анонсе использовал, по поводу чего Ященко писал Толстому в 1917 году, еще не предполагая, какие виражи заложит судьба для всех троих: и его, Ященки, и Горького, и Толстого, и под солнцем какого города они сойдутся: «Скажи, пожалуйста, что за нелегкая тебя дернула дать свое имя большевистской германофильской газете «Новая жизнь»?.. Я не знал, что ты сделался большевиком»[{471}].

Как в воду глядел.

Революция и Гражданская война развели двух Алексеев по разным углам. Пока Толстой мыкался по югам и миграции, Горький налаживал литературную жизнь в голодном Петрограде и зорко присматривал за всем, что делается в литературе по обе стороны границы. Новый роман Толстого ему не понравился.

«Хождение по мукам» чрезвычайно интересно и тонко рисует психологию русской девушки, для которой настала пора любить. Фоном служит жизнь русской интеллигенции накануне войны и во время ее. Есть интересные характеры и сцены, но, на мой взгляд, роман этот перегружен излишними подробностями, растянут и тяжел, — писал он швейцарскому издателю Э. Ронигеру. — Во всяком случае эта книга не из лучших Алексея Толстого. Я бы очень рекомендовал Вам заменить ее рассказами: «Приключения Никиты Рощина», «Детство Никиты» и «Житие преподобного Нифонта»[{472}].

По иронии судьбы Горький, покинувший Советскую Россию в состоянии сильного раздражения осенью 1921 года (то есть тогда же, когда Толстой оставил Париж и двинулся ему встречь), был настроен по отношению ко всему советскому критически. Толстой, относящийся так же раздраженно и критически к эмиграции, напротив, вглядывался на восток с надеждой. Горький уехал оттуда, куда собирался Толстой. Он, еще вчера ненавидевший большевиков, был теперь куда большим большевиком, чем Горький. Это их, безусловно, разделяло, но было и то, что сближало.

Горький появился в Берлине в апреле 1922 года, в ту пору, когда Толстой разругался с эмигрантами. Горький собрата не осуждал, но и не одобрял. Вернее всего, выжидал, чем все закончится. Однако в октябре того же года в Берлине в издательстве И.П. Ладыжникова вышла его книга «О русском крестьянстве», которая ужаснула всех читателей, независимо от их политических пристрастий, ненавистью к тому, о чем в ней писалось. По Горькому, именно русское крестьянство виновно в ужасах революции. У Толстого ненависти к крестьянству не было, но и в этом вопросе общие взгляды с Горьким имелись. В горьковской книге встречались, например, такие пассажи:

«…Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их место займет новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей»[{473}].

Толстой осенью 1918 года в одной из своих статей писал: «Революция очистила воздух, как гроза. Большевики в конечном счете дали страшно сильный сдвиг для русской жизни. Теперь пойдут люди только двух типов, как у нас в Москве: или слабые, обреченные на умирание, или сильные, которые, если выживут, так возьмут жизнь за горло мертвою хваткой. Будет новая, сильная, красивая жизнь».

И то и другое — своеобразное ницшеанство, дань которому Горький отдал в большей мере, нежели Толстой, но факт, что именно эти двое и их настроения определят советский литературный официоз, — весьма примечателен.

Сошлись они в Берлине или нет?

На этот счет единого мнения среди мемуаристов не существует. Борис Зайцев полагал, что сошлись: «Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа». Тут, по-видимому, и возникла серьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне» и еще красневшим перед старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство изгнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно»[{474}].

Похожая интонация звучит и у Чуковского в том самом опубликованном Алексеем Толстым письме в «Накануне»: «Если Вы видите Алексея Максимовича, поклонитесь ему. Наша русская эмигрантщина относится к нему сволочно, а он много поработал для нее»[{475}].

Иначе вспоминала это время Нина Берберова: «Теперь Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на А. Н. Толстого и газету «Накануне», с которой не хотел иметь ничего общего. Но А. Н. Толстой, стучавший в то время на машинке свой роман «Аэлита», считал это блажью и, встретив Ходасевича на Тауенцин-штрассе в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака (на сей раз не переделанного «мишиного фрака», а перелицованного костюма присяжного поверенного Н.):

— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, собираетесь в Европе одеваться «идейно»? Идите к моему портному, счет велите послать «Накануне». Я и рубашки заказываю — готовые скверно сидят.

Писатель «земли русской» бедности не любил и умел жить в довольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в «Накануне» сотрудничать не собирался»[{476}].

Ходасевичу же принадлежит замечательная характеристика Горького в образе, прямо противоположном толстовскому: «Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей»[{477}].

На иждивении Толстого тоже вкусно жило немало людей, но младший из двух Алексеев никогда себя ни в чем не ограничивал, и в этом они были, безусловно, различны.

В популярном советском литературоведении берлинская встреча Горького и Толстого изображалась как судьбоносная, Горький-де благословил Толстого и окончательно убедил его в необходимости вернуться на Родину, о том же самом писал и Толстой: «Весной 22 года встреча с Горьким решила выбор: — я перешел на этот берег, — так же, как и много раз до этого, катастрофически покончив с прошлым»[{478}]. На самом деле если Горький и мог в чем-либо Толстого в эту пору убеждать, так это лишь в том, чтобы тот никуда не ехал.

«Куда ты едешь? — сказал он. — Там мрак, ты там со своей литературой совершенно не нужен!»[56][{479}]

Но, невзирая на политические разногласия, два писателя все же приятельствовали и, по воспоминаниям Ф. Волькенштейна, «случалось, что А. Толстой задерживался у М. Горького на два-три дня»[{480}].

В августе 1922 года Горький очень дружески писал Толстому:

«Дорогой Алексей Николаевич!

В Берлин ехать мне не хочется, а хотел бы прямо отсюда удрать куда-либо в теплые места — Испанию, Африку или на раскаленные острова и чтобы океан вокруг и чтоб — рыба. И — никаких газет, однако — книги.

В Петрограде арестован Замятин. И еще многие, главным образом — философы и гуманисты: Карсавин, Лапшин, Лосский и т. д. Даже — Зубов, несмотря на его коммунизм, видимо, за то, что — граф. <…>

По словам Пинкевича, там весьма настроены против вас литераторы за письмо Чуковского.

Будьте здоровы и не забывайте старика, простуженного, страдающего ревматизмом в правом плече и одержимого писательским зудом»[{481}].

Нетрудно увидеть в этих строках настоятельный совет в Россию не ехать: там арестовывают людей за то, что они графского рода, там арестовывают писателей и философов, и, наконец,

вас, Алексей Николаевич, там никто не ждет из-за истории с письмом Чуковского. Но, несмотря на это, Толстой не отказывался от планов плыть навстречу философскому кораблю, а газета «Накануне» факт высылки русских интеллектуалов осенью 1922 года проигнорировала с той же непринужденностью и послушанием Москве, что и суд над эсерами.

В наэлектризованной эмиграции к этому молчанию отнеслись как к проявлению полной зависимости от Кремля. Акции «Накануне» продолжали падать. Печататься в ней считалось даже хуже, чем в советских журналах (что не помешало тому же Горькому 21 сентября 1922 года выступить в «Накануне» с опровержением слухов о его якобы изменившемся отношении к советской власти). Когда возникла литературная группа «Веретено» и ее основатель А. М. Дроздов, будущий репатриант и редактор журналов «Молодая гвардия», «Новый мир» и «Октябрь», пригласил на один из творческих вечеров Толстого, это привело к тому, что из группы ушли Бунин, Вл. Сирин, Г. Струве и другие. Но еще раньше Дроздов писал: «Гр. А. Н. Толстой стосковался по России, по тем пашням, певцом которых он был, по тому быту, в котором он как рыба в воде. Гр. А. Н. Толстой принял поддужную газетенку за самый короткий коридорчик в официальную Россию. Гр. А. Н. Толстой ошибся: в Россию для писателя есть более короткая дорога — честная и открытая литературная работа, подобная той, которой заняты писатели в России»[{482}].

Впрочем, зимой 1922/23 года и сам Дроздов напечатал в приложении к «Накануне» несколько рассказов и фельетонов, а еще год спустя уехал в Советскую Россию. Горький же возвращаться никуда не собирался и 20 января 1923 года обращался к Толстому:

«Дорогой Алексей Николаевич!

…Затеян ежемесячник литературы и науки — без политики, — при постоянном сотрудничестве А. Белого, Ходасевича, Шкловского, моем, Ремизова, д-ра Залле, и очень желательно ваше участие на равных со всеми правах, конечно. Я бы и очень рекомендовал вам, и очень просил вас — согласитесь. Давайте работать вместе.

Слышал, что вы ушли из «Накануне» — это очень хорошо! Но вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав хотя бы в «Днях» коротенькое письмецо: больше в «Накануне» не сотрудничаю.

Сделайте это!

Крепко жму руку. Жду ответа.

Привет! А. Пешков»[{483}].

Советские литературоведы-публикаторы этого письма в 70-м томе «Литературного наследства», вышедшем в 1963 году, вероятно, находились в большом затруднении: откомментировать радость Горького по поводу ухода Алексея Толстого из просоветской газеты и настоятельный совет сообщить об этом в газете белоэмигрантской — задача не из легких. Но факт остается фактом: для Горького, во-первых, «Дни» были куда ближе «Накануне», а во-вторых, он прекрасно понимал, что если Толстой оттуда не уйдет, то ни один уважающий себя писатель печататься с ним под одной обложкой не станет.

И все же отделяя Толстого от «Накануне» и пиша о каких-то не очень понятных слухах, Горький выдавал желаемое за действительное — никуда из «Накануне» Толстой не уходил, никаких писем в «День» отправлять не собирался, он писал совсем другую — «антиэмигрантскую прозу», облекая идеологию национал-большевизма в жанр авантюрных

повестей.

Именно на этом стыке возник большой рассказ или же маленькая повесть «Рукопись, найденная под кроватью» — исповедь опустившегося русского эмигранта. По форме это не столько письмо, сколько лихорадочный, горячечный монолог, в котором выражены те же идеи исчерпанности, опустошенности эмигрантского существования, что и в публицистике, но только в художественной форме:

«Я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик.

Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я, — закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции».

Главный герой рассказа, русский дворянин и выродившийся аристократ, осуществляет свое «хождение по мукам» — Первая мировая, революция, интервенция, закат Европы и панмонголизм.

«За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка, — мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, — какая сволочь люди, — унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться».

При желании тут тоже можно найти антисемитские обертоны, но только для этого придется отождествить позицию автора и героя. А между тем Толстой пишет своего персонажа с явным отвращением, пишет в пику эмиграции, желая выплеснуть всю свою горечь и обиду на людей, его оттолкнувших. Он издевается и над ними, и над их ностальгическими чувствами не хуже Эренбурга, и герой его того же поля ягода, что и пресловутый князь Бабакин:

«А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег, — идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту…

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны…»

Все это немного напоминает ранний толстовский цикл — Заволжье, Мишука Налимов, чудаки — такая же жирная «насмешка над своим». И другой персонаж рассказа Михаил Михайлович Поморцев, самый близкий и самый ненавистный главному герою, «притворный, скользкий, опустошенный, как привидение» под стать уродам-помещикам из «Заволжья». Та же дьявольская похоть, то же бесчестие, те же бордели и неуемный разврат — Толстой как будто возвращается к тому, с чего начинал.

«В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю». «А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину».

Дальше — хуже: после революции, когда большевистское правительство отказывается платить по царским долгам и за русскую речь на улице могут побить, находящийся во Франции герой отрекается от своей аристократической фамилии и национальности и становится французом. Он живет в Сен-Дени с проститутками, морочит голову молоденькой француженке по имени Рене, ходит с ней по городу и поет уличные песни, а его друг изливается желчью в адрес России: «Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки, — запретить самый язык русский».

Художественно это было много слабее и «Хождения по мукам», и «Детства Никиты», однако авторская позиция была ясна: с такими настроениями делать в эмиграции нечего, и Горький здесь единомышленником ему не был. Они оба были разочарованы — только один в России, а другой в Европе. А главное друг в друге.

«В воскресенье были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно», — позднее записывал в дневнике Корней Чуковский[484].

Было от чего. Горький Толстого не понимал. Его вообще никто не понимал.

«Июльским вечером, двадцать пять лет назад, проходили мы с Алексеем Толстым по морскому берегу в местечке Мисдрой, близ Штеттина, — писал о последних днях Толстого в Европе Борис Зайцев. — Солнце садилось. Было тихо, зеркально на море. Паруса трехмачтовой шхуны висели мирно — казались черными.

Алексей собирался в Россию.

— Ну и поезжай, твое дело.

Но ему хотелось бы, чтобы я восхищался. Вот этого не было. И странный союзник у меня оказался — Максим Горький. Он жил в Херингсдорфе, тут же на побережье. Работу Толстого в «Накануне» и все предприятие с Россией не одобрял.

Алексей вдруг остановился, отшвырнул ногой камешек и уставился широким, полным, уж слегка обрюзгшим лицом на меня.

— Ты знаешь, кто ты?

— Ну?

— Ты дурак. Ты будешь нищим при любом режиме — а-а, ха-ха-ха…

Он заржал тем невероятным, нутряным смехом дельфина или кита — если бы те собрались засмеяться, — о котором и сейчас с улыбкой вспоминаешь. А тогда нельзя было сопротивляться. Я и сам захохотал.

Он меня обнял.

— Пойдем пить таррагону.

Что мы и сделали. Через несколько времени он уехал в Россию»[{485}].

«Я уезжаю с семьей на родину, навсегда. Если здесь, за границей, есть люди, которым я близок, — мои слова — к вам. Я еду на радость? О нет: России предстоят не легкие времена. Снова ее охватывает круговая волна ненависти. Враждебный ей мир вооружается резиновыми палками. <…>

Доллар — вот право на жизнь. В нем не только грубая покупная сила, в нем заря нового идеализма, романтические чудеса. Молодой человек в черепаховых очках разглаживает на столике кафе узкую бумажку доллара, глядит в нее и — открывается ослепительное видение: царь мира, Джиппи Морган. В котелке, надвинутом на глаза, он поднимается по ступеням нью-йоркской биржи. Двадцать тысяч глаз впиваются в его длинное, мертвенное лицо. Если сигара у него в левом углу рта, — девизы летят вниз.

В шикарных особняках пишут предсмертные записки и стреляются. На заводах рассчитывают рабочих. Жалкий обыватель, скопивший доллар на черный день, — с растрепанной головой бежит менять бумажку».

И так дальше в том же духе: гневные филиппики по поводу Запада и мужественный оптимизм по отношению к России. Так писал Толстой в статье «Несколько слов перед отъездом», опубликованной в «Накануне». Это было его прощание с заграничной жизнью и с двусмысленной газетой, переломившей его судьбу, это была его готовность нырнуть, как в котел, в советскую жизнь и помериться с ней силами: кто кого одолеет? Это была та порция адреналина, в которой он как писатель нуждался и без которой, как знать, может быть, и не написал бы своего «Петра». Его окончательный выбор, который было так трудно совершать.

И когда Дон Аминадо с некоторой даже брезгливостью писал: «Алексей Николаевич Толстой, уничтожавший Тэффины птифуры, тоже еще был далек от Аннибаловой клятвы над гробом Ленина. А с прелестных уст Наталии Крандиевской еще не сорвались роковые, находчиво-подогнанные под обстоятельства времени и места слова, которые я услышал в Берлине, прощаясь с ней на Augsburgerstrasse и в последний раз целуя ее руку: — Еду сораспинаться с Россией!»[{486}]— легко ему было так писать, а ведь Толстых действительно ждала в России неизвестность, особенно если учесть, что они возвращались с тремя детьми, младшему из которых было семь месяцев.

Тут можно снова сослаться на Степуна:

«Помню два перегруженных чемоданами автомобиля, в которых Толстой с женой и детьми отъезжал с Мартин-Лютерштрассе на вокзал. Несмотря на разницу наших убеждений и судеб, мы провожали Толстых скорее с пониманием, чем с осуждением»[{487}].

Если уж Толстого и осуждать, то не за то, что он оставил Берлин, а за тех, кого он там оставил, кто ему поверил и кому после его отъезда сделалось очень худо.

Так получилось, что почти одновременно с отъездом Толстого русский Берлин опустел: кто уехал в Париж, кто в Прагу, кто в Вильнюс. Кому-то жилось лучше, кому-то хуже, а кому совсем невыносимо, но все зарабатывали в поте лица свой хлеб. Гордый Бунин обращался в эти дни к норвежскому профессору-слависту Брону с просьбой порекомендовать какому-нибудь норвежскому издателю для перевода его книги и ссылался на «тяжелое положение эмигранта, все потерявшего в России и лишенного на чужбине почти всех средств к существованию… Живешь в нужде, в постоянной мучительной неуверенности насчет завтрашнего дня»[{488}].

Но если Бунину выкарабкаться удалось, если более или менее благополучно устроилась судьба Ященки, который оставил неверную литературу и занялся правом, то были те, кто, поверив в Алексея Толстого, оказались им обмануты. Чаще то были женщины. Одной из них оказалась еще одна героиня Серебряного века Нина Ивановна Петровская, в свое время не менее знаменитая, чем Елизавета Ивановна Дмитриева, и здесь нам снова предстоит вернуться назад, к началу века, и вспомнить Ходасевича: «Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети».

Алексей Толстой имел отношение к судьбе женщины, которая была возлюбленной сначала Андрея Белого, а потом Валерия Брюсова, которая весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея в первого стреляла (пистолет дал осечку) и которую второй вывел под именем Ренаты в «Огненном ангеле». Об этой женщине с любовью и состраданием написал Ходасевич и в связи с ней дал самую точную из всех существующих характеристику символистского жизнетворчества и символистской любви. Фатальную роль в ее жизни сыграл Брюсов, превративший, по выражению Ходасевича, «истеричку в ведьму», но если в «Огненном ангеле» Рената умирает, реальная Нина осталась жить, а «то, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом».

Алексей Толстой встретился с ней в 1922 году, когда она переехала из Рима, где жила в страшной бедности, в Берлин — «полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая» — та, что когда-то была на устах у всех. Толстой ей помог — дал работу в «Накануне». Скорее всего, искренне и бескорыстно, хотя не исключено, что определенный расчет привлечь женщину с богатым литературным прошлым к сомнительной газете и поднять ее акции у него имелся.

«В прошлом Н. И., вероятно, была привлекательна, — писал Роман Гуль. — Следы былой (пусть не красоты, но) привлекательности в ее облике были. <…> Но в «накануневские» времена это «мила» к Нине Ивановне уже, разумеется, не подходило.

Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакиированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка,

Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии — всегда черная шляпа с сногсшибательно широкими полями, как абажур. Острая на язык. <…> Настоящей писательницей Н. И. никогда не была, а сейчас уж и вовсе мало что могла написать. Но хорошо зная итальянский (всю войну прожила в Италии), Н. И. переводила какие-то короткие итальянские новеллы и снабжала ими «Литературное приложение». Печатал я их (да и Толстой до меня) не из-за их качества, а чтобы как-то поддержать Н. И.: грошовая построчная плата была ее единственным заработком. <…> Война застала ее в Риме в ужасающей нищете: просила милостыню, голодала, пила, а порой «доходила до очень глубоких степеней падения» (по Ходасевичу). Алексей Толстой не был густо населен добротой ни к ближнему, ни к дальнему. На тех и других ему было плевать в высокой степени. Но справедливости ради надо сказать: это он вытащил Нину в 1922 году в Берлин и устроил ее сотрудничество в «Накануне». Думаю, из-за того, что она несомненно была неким «живым памятником символизма»[{489}].

Это верно, но все же человеческого сочувствия наверняка было больше, да и были у них общие темы для разговоров и воспоминаний. В сентябре 1922 года, когда «Накануне» было всеми презираемо, Петровская писала своей знакомой итальянской переводчице О. И. Ресневич-

Синьорелли:

«Где, в какой я работаю, — боюсь Вам и признаться… в «Накануне»!.. Так вышло. Не потому, чтобы я «покраснела» здесь, а из соображений простых, материальных. Еще одно меня притянуло: там литературный редактор Алексей Толстой, большой писатель и приятный человек. Знаю его еще по Петербургу и Москве»[{490}].

А три месяца спустя, 8 декабря 1922 года: «Вообще Алексей Толстой сейчас один из самых лучших писателей (если не лучший). Как писатель и человек. Я его люблю тоже больше всех: в нем заложены всякие чудесные возможности»[{491}].

И когда Толстой вернулся из первой поездки в Россию в мае-июне 1923 года, она продолжала ему верить: «На Толстого все мои надежды, на Москву»[{492}], «Уезжает Толстой, единственный, кого я крепко и верно люблю»[{493}]. И когда на Толстого нападали за «Накануне», за письмо Чайковскому и письмо Чуковского, Петровская брала его под защиту: «Все они люто завидуют и ненавидят Толстого»[{494}].

Нина Ивановна напечатала в «Накануне» довольно много и фельетонов, и рецензий, и статей, в том числе посвященных Толстому, и трудно сказать, чего в ее восторженных строках было больше, искренней благодарности или определенного литературного сервилизма. В статье, посвященной 15-летнему юбилею начала творческой деятельности своего главного редактора, она пела ему хвалебную женскую песнь: «… огромные преодоления Алексея Толстого, каждой строчкой распинающего «канунную литературу»… — разве все это уже не колокольные звоны грядущего искусства? <…> Формула писательской личности А. Толстого определилась сразу и одним только словом: художник. Чистый, кристаллизованный художник, связанный с предшествующими литературными школами лишь благородной культурной преемственностью, но самобытный в методах творчества»[{495}]. Даже когда она писала о стихах Н.В. Крандиевской, там тоже была апология Толстого. Но, уехав в Россию насовсем, граф Толстой забыл о несчастной «ведьме» Серебряного века или же ничем не мог ей помочь, да и, по совести, она была ему больше не нужна.

3 февраля 1924 года: «Толстой ограничился одними обещаниями»[{496}].

2 апреля 1924 года: «С Толстым ничего больше выйти не может. Он занят в Москве исключительно собой»[{497}].

А между тем именно через Петровскую к нему пришел сюжет прославившего его «Буратино». Впервые сказка Коллоди «Пиноккио» вышла на русском языке в Берлине в 1924 году. На титуле ее стояло загадочное: «Перевод с итальянского Нины Петровской. Переделал и обработал Алексей Толстой». То есть нечто вроде подстрочника, из которого мэтр сотворил чудо[57].

Но это полбеды. Забыл и забыл. Мало ли кто о ком забывал и какие бывают обстоятельства? Толстой не только ей не помог, но и многое в ее жизни попортил, хотя и не нарочно. Сотрудничество с проклятой «Накануне» сыграло пагубную роль в судьбе «Ренаты».

«По всему вижу, что «Накануне» обречет меня на продолжительное пребывание в некоем карантине», — провидчески писала Петровская Айхенвальду, оказавшись в Париже, после того как «Накануне» закрылась, и судорожно ища хоть какой-нибудь литературный заработок.

Теперь она от «Накануне» и Толстого открещивалась, каялась и просила у эмиграции прощения.

«Мне очень и очень трудно. Боюсь, что здешние литераторы хотят меня законопатить в гроб из-за «Накануне»! Это несправедливо так карать заблуждения вообще, да еще заблуждения чисто романтического характера, как было со мной»[498].

Но ее не услышали. И не простили. В конце концов она ушла из жизни сама. Толстого нельзя обвинять в том, что он стал причиной этой смерти, точно так же, как неверно было бы обвинять его в смерти дочери Кузьминой-Караваевой Гаяны десять лет спустя. К самоубийству Петровской причастна не только и не столько история с «Накануне», но доля его соучастия тут есть.

Хотя, с другой стороны, что стала бы делать эта несчастная женщина в красной Москве?

«А там (в Москве) на трехгранном обелиске написано: «Кто не работает, тот не ест», — чеканил Толстой. — Там утверждают, что истина — в справедливости; справедливость в том, чтобы каждый осуществил право на жизнь; право на жизнь — труд. Государство берет на себя эту задачу — провести в жизнь эти принципы. Это волевое устремление проявляется в диктатуре. Диктатура государственной власти действует между крайними точками: военной борьбой и неподвижностью растительной жизни. Идея государства (коллектив) мыслится выше идеи личности. Коллектив понимается как понятие качественное, а не количественное (то есть собрание личностей). Личность свободна, покуда ее воля не направляется на разрушение коллектива. Такова Россия в пятый год революции, через девять лет после начала мировой войны».

Да и ему, индивидуалисту, эпикурейцу, что было делать в этом коллективном кошмаре, как уцелеть там и на что надеяться? Но, видно, на что-то надеялся — или подбадривал себя и играл в стоицизм, как играл на эмигрантском корабле в монархизм. Его жизнь была похожа на театр, и пьеса, в которой он играл, требовала новой роли. Но искренности в этих пассажах было мало. На советском новоязе Толстой давал клятву верности:

«То, что в России, — несовершенно. Но именно в русской революции загорелась полоса новой зари. <…> Я возвращаюсь домой на трудную жизнь. Но победа будет за теми, в ком пафос правды и справедливости, — за Россией, за народами и классами, которые пойдут с ней, поверят в зарю новой жизни. И тогда увидим с порогов мирных своих жилищ успокоенную землю, мирные поля, волнующиеся хлеба. Птицы будут петь о мире, о покое, о счастье, о благословенном труде на земле, пережившей злые времена».

И эта статья, и воспоминания Бориса Зайцева относятся к лету 1923 года. К этому времени Толстой в Советской России один раз побывал. Он приехал в Москву на разведку, без семьи, в мае двадцать третьего, то есть более чем год спустя после разрыва с эмиграцией, приехал не так пафосно и надрывно, как писал в «Накануне», но все же эффектно — барином, Дедом Морозом с заграничными подарками — шумный, веселый, блестящий, и для скудно живущих русских писателей его приезд стал примерно таким же событием, как звон колокольчика на большой дороге для уездных барышень из пушкинской «Барышни-крестьянки».

Родину он увидел первый раз после четырехлетнего перерыва в маленьком городе на границе с Латвией и записал в дневнике: «Себеж. Солдаты на скамейке. Собака при багажных весах <2 нрзб>. Станция Тушанис. Почтовые чиновники и барышня в тулупчике. Бабы кружками продают съестное.

Девочка с мешком: «Товарищ, этот куда поезд», «а нельзя ли без билета», «нельзя». <…>[499]».

Но печального виду не подавал, советским газетам с самого начала врал и в беседе «Об

эмиграции», опубликованной в «Известиях» 8 мая 1923 года, отмечал: «Начиная с самой границы, от Себежа, видишь совсем другой мир, других людей, людей живых. В Европе, в Германии, там все рушится, здесь же несомненнейший подъем».

В более позднем рассказе «Мираж» картина возвращения блудного сына выглядит не столь радужной, но не менее монументальной:

«У границы поезд медленно проходил сквозь деревянные ворота в Россию. На кочковатом поле, у полотна, стоял рослый красноармеец в шишаке, с винтовкой за спиной, и равнодушно глядел на окна вагонов. Ветер отдувал полы его шинели, видавшей виды.

За спиной его — холмы, леса, поля на многие тысячи верст. Грядами не спеша плывут серые облака».

Въезд в Аид, и красноармеец больше всего похож на цербера. Такой впустит, но не выпустит. Были ли когда-нибудь у графа такие мысли, сказать трудно, но если в «Мираже» описывается возвращение на родину никому не нужного проходимца, то в поезде Берлин — Москва 1 мая 1923 года ехал заслуженный писатель.

Воспоминания о литературном пиршестве в связи с его приездом молодые советские собратья оставили разные.

«Он вошел так, словно все окружавшие его расстались с ним только вчера, — вспоминал сотрудник московской редакции «Накануне» Э. Миндлин. — С места в карьер он послал к черту Шварцвальд и стал говорить, что ни в какие Шварцвальды он не поедет — отдыхать надо здесь, под Москвой! На свете нет ничего лучше милого Подмосковья. Там, в Берлине, у него с женой было решено провести лето в Шварцвальде. Но к черту Шварцвальд! Он сегодня же напишет жене, что отдыхать будет здесь — снимет дачу и купит шесть ведер, чтоб воду таскать. Пожалуй, шести ведер хватит для дачи? А каким борщом угощала вчера его бабушка! Боже мой, что за борщ! Он уже написал жене в Берлин об этом борще. Ни в каком Шварцвальде не найдешь подобного. Да, московские бабушки еще умеют варить борщи!»

«Кто был тогда с нами? Катаев, — Толстой вообще не отпускал Катаева от себя, — Михаил Булгаков, Левидов и я.

Толстой вспомнил, что «Книгоиздательство писателей в Берлине» дало ему денег с просьбой купить рассказы московских писателей для сборника в десять листов.

Он вдруг посмотрел на Катаева:

— Зачем я буду возиться и покупать рассказы для сборника у разных писателей? Катаев, быстро соберите свои рассказы. Я покупаю у вас книгу. Десять листов. У вас нет еще своей книги? У вас будет книга, а у меня не будет забот. <…>

Алексей Толстой был крестным первой книги Катаева. Из всех московских «накануневцев» Катаев более, чем кто-либо другой, сблизился с Алексеем Толстым»[{500}].

Катаев и Толстой были знакомы по Одессе. Катаев и Толстой были похожи общепризнанным сочетанием таланта и беспринципности, разве что первого у Катаева было поменьше. Об этой паре авгуров советского времени написал С. Боровиков: «Почему возник тандем Толстой — Катаев? Скорей всего из-за особой их бытовой благоустроенности и естественности конца».

*Я грех свячу тоской,*

*Мне жалко негодяев,*
*Как Алексей Толстой*
*И Валентин Катаев, —*

сложил стихи поэт Борис Чичибабин.

Но это если забегать вперед, да и тандем тут сомнителен и с негодяями не так все просто.

Пока же важнее их окутанное тайной знакомство в Одессе в 1919 году. Катаев в своей нашумевшей книге «Алмазный мой венец», в которой пишет почти о всех своих знакомцах, часто даже приукрашивая свою с ними дружбу (как с Есениным, например), демонстративно обходит Толстого стороной, Толстой ничего не пишет о Катаеве. Скупое упоминание о графе можно встретить разве что в повести «Святой колодец», где Бунин подыскивает для Алексея Толстого квартиру в Одессе. О самих же встречах Толстого и Катаева — ни слова.

Несомненно, двое «негодяев» встретились в Москве как старые знакомые, но в их прошлой одесской жизни, когда менялись белые и красные, были вещи, о которых оба предпочитали не упоминать. Катаев считал себя революционным писателем, Толстой — нет, но в какой-то момент они были друг другу нужны. Один — как мэтр начинающему, другой — как молодой советский прозаик, признавший своим эмигранта.

«Милый Катаев, с Новым Годом. Спасибо Вам за письмо. Вы думаете неприглядно когда хвалят — очень приглядно. Возьмите в Госиздате «Аэлиту» отдельное] изд[ание], прочтите и напишите мне по совести. Мне нужно Ваше мнение». Сейчас у меня острый роман с «Бунтом машин» — пьесой, которая идет здесь в феврале, в Москве — в марте.

Театр, театр, — вот угар.

Из Вас выйдет очень хороший драматург, если только Вы серьезно возьметесь за работу. <…>

Драматург должен сотворить (из действительности) своего зрителя и, когда он сотворен, взять его в сотрудничество. Вселите в себя призрак идеального зрителя.

Все что пишу — это найдено — много из своего опыта. Может быть Вам пригодится.

Я редактирую «Звезду», литературную] часть. Присылайте рассказ.

Передайте Булгакову, что я очень прошу его прислать для «Звезды» рукопись. Я напишу ему в ту минуту, когда буду знать его адрес.

Обнимаю Вас, целую мадам Мухе руки.

Наташа <нрзб.> Вам шлет привет. Всегда Ваш. А. Толстой»[{501}].

«Спасибо! Научил на свою голову. В. Кат[аев] (1)929 г.»[{502}], — сделал на этом письме приписку адресант шесть лет спустя. Летом 1923 года Толстой и безо всяких учеников, впоследствии от него отвернувшихся, собирал урожай: советская власть на самых первых порах по достоинству встретила того, кто так славно на нее поработал, и не хотела, чтобы он в последний момент соскочил.

«В Москве наступили своеобразные «Алексей-Толстовские дни».

В театре Корша поставили нашумевшую до революции пьесу Толстого «Касатка». <…>

Как водится, после премьеры — банкет в буфете театра.

Приглашенных вместе с актерами труппы было человек восемьдесят. Пили, поздравляли Толстого с приездом. Речей было так много, что каждый слушал только себя. Но вот нашелся оратор, привлекший внимание решительно всех — сколько бы кто ни выпил. Никто не мог вспомнить его фамилию — то ли это какой-то актер, то ли спившийся литератор. Он говорил долго и главным образом о широте творческого диапазона Алексея Толстого.

— Дорогой, достоуважаемый и многочтимый Алексей… э… Николаевич. Мы в восхищении вашими книгами и пьесами. Мы зачитываемся и вашими «Хождениями по мукам» и… вашими поэмами… Например, «Иоанн Дамаскин»… Изумительно, Алексей Николаевич!., и ваш «Князь Серебряный»… и, наконец, ваша очаровательная «Касатка», которую мы сегодня смотрели… Э… э… господа… Я хотел сказать, товарищи, граждане… Это настоящий творческий подвиг написать все эти произведения.

Встал Алексей Николаевич и поблагодарил всех за приветствия. Потом, обращаясь к оратору, перепутавшему его с Алексеем Константиновичем Толстым, произнес:

— А что касается «Князя Серебряного», то, сознаюсь, писать его было действительно трудно.

Вскоре после банкета в Большом театре происходил один из частых в ту пору митингов.

Издали — в первых рядах партера — я увидел Толстого. Но в театре мы так и не встретились. На другой день я встретил его на Неглинной. Остановились — и он с места в карьер стал говорить, как хорошо в Москве, надо поскорее выписать семью из Берлина.

Я сказал, что вчера видел его на митинге в Большом театре. Это был первый советский митинг, на котором побывал Толстой. Естественно, я спросил, понравилось ли ему.

Алексей Николаевич сразу нахмурился. Даже лицо его потемнело в досаде.

— Вы знаете, сколько человек задавали мне сегодня этот вопрос? Четырнадцать! Вы пятнадцатый. Это что, в Москве теперь мода такая — хвастать перед приезжими митингами? О-очень неинтересный митинг! И ни на какие митинги больше я не пойду. Я по Москве буду ходить. И еще хочу по Москве-реке на лодке. Есть на Москве-реке лодки? Не знаете?»[{503}]

То есть купить меня, низвести до уровня ваших идиотских митингов — дудки! Я граф — не пролетарий[58]. Профессор Преображенский — не Шариков и не Швондер.

«Этот зашел как власть имеющий, — писал в дневнике Фурманов, — дородный и сытый, без поклона — ждет, когда ему поклонятся. <…> Одет широко в шубу, по-помещичьи; на мясистом, породистом носу пенсне, а под ними умные, светлые глаза. <…> А умный, образованный ты, должно быть, человек! Хорошо это писателю»[{504}].

Толстой подчеркивал, что вернулся на родину не провинившимся эмигрантом, не заслужившим прощение отступником, но по праву, специалистом с соответствующим окладом и укладом, со своим размашистым образом жизни, да и профессор Преображенский тут упомянут не всуе, ибо один из самых интересных сюжетов в жизни Толстого в двадцатые годы — его отношения с Михаилом Булгаковым, которого Толстой фактически открыл и которому сделал имя.

Это не просто фигура речи. Булгакова главный редактор литературного приложения к «Накануне» печатал как никого другого и постоянно просил московскую редакцию присылать

ему как можно больше его текстов, он опубликовал «Записки на манжетах», «Красную корону», «Чашу жизни», «Сорок сороков», «Самогонное озеро», «Псалом», серию очерков «Столица в блокноте».

Это делает честь Толстому-редактору, и эти публикации буквально спасли Булгакова от голодной смерти. Дневник его за первую половину 1922 года, то есть до начала сотрудничества с Толстым, переполнен криками отчаяния:

«25 января. [Я] до сих пор еще без места. Питаемся [с] женой плохо. От этого и писать [не] хочется. [Чер]ный хлеб стал 20 т[ысяч] фунт, белый […] т[ысяч]».

«26.1.22. <…> Питаемся с женой впроголодь».

«9 февраля. Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки. У Бориса миллион. Обегал всю Москву — нет места.

Валенки рассыпались».

«14 февраля. <…> Живем впроголодь. Кругом должен»[{505}].

Толстой вытащил его из неизвестности и нищеты, и тем не менее к приезду своего благодетеля Булгаков отнесся безо всякого удовольствия:

«Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распущенно и нагловато. Много пьет»[{506}], — записал Булгаков в дневнике 11 мая 1923 года. А еще несколько месяцев спустя отметил: «Только что вернулся с лекции сменовеховцев: проф. Ключникова, Ал. Толстого, Бобрищева-Пушкина и Василевского-НеБуква. В театре Зимина было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева»[{507}].

Через некоторое время последовала и личная встреча: «Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно общаться с молодыми писателями.

Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.

Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать школу. Он стал даже немного теплым.

— Поклянемся, глядя на луну…

Он смел, но ищет поддержки во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны…»[{508}]

Толстой вел себя вполне органично: сначала Булгакова напечатал, потом отметил, потом позвал в гости и стал вести с ним литературные разговоры. Он стремился включить его в свою орбиту, делился с ним опытом и рассказывал о своем вхождении в литературу, но дружеских отношений между ними не сложилось, Булгаков Алексея Толстого избегал, но зато возник блестящий литературный образ писателя-возвращенца в «Театральном романе».

Часто цитируется знаменитая, вкусно написанная сцена встречи Толстого московскими

писателями в «Театральном романе». Но выпад против Алексея Толстого случился на страницах этого романа еще раньше, и причем очень демонстративный.

Вот разговор между Сергеем Максудовым и редактором единственного частного журнала «Родина» Ильей Ивановичем Рудольфи, в котором хорошо узнается сменовеховец И.Г. Лежнев, главный редактор журнала «Россия».

«— Так, — сказал Рудольфи.

Помолчали.

— Толстому подражаете, — сказал Рудольфи.

Я рассердился.

— Кому именно из Толстых? — спросил я. — Их было много… Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?»

Имя Алексея Николаевича Толстого, в подражании которому действительно Булгакова все же можно обвинить («Хождение по мукам» и «Белая гвардия» — параллель, напрашивающаяся сама собой), — здесь демонстративно отсутствует. Едва ли это забывчивость или небрежность — скорее продуманный литературный ход, Булгаков намеренно дезавуирует заслуги Толстого в своей литературной карьере; то же самое повторит потом в «Алмазном венце» Катаев.

Дело тут не в одном Толстом и его небрежных замашках, но и в репутации газеты «Накануне»: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой»[{509}].

По сравнению с Толстым, конечно, герой. И к литературе его отношение изначально было иное.

«Литература, на худой конец, может быть даже коммунистической, но она не будет садыкерско-сменовеховской. Веселые берлинские бляди!»[{510}]— писал Булгаков в дневнике, и это ведь и к весельчаку Алексею Толстому, из Берлина прибывшему, имело отношение.

«Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. Василевский одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. И единственная ошибка всех Павлов Николаевичей (то есть Милюкова. — *А.В.*) и Пасмаников, сидящих в Париже, что они все еще доигрывают первую, в то время как логическое следствие: за первой партией идет совершенно другая, вторая. Какие бы ни сложились в ней комбинации — Бобрищев погибнет».

Как в воду глядел. Действительно погибнет возвратившийся на одном корабле с Толстым Бобрищев-Пушкин, погибнут Ключников и Потехин, Толстой единственный из сменовеховцев уцелеет. Булгаковская желчь и горечь, когда он сравнивал, как живет Толстой и как живет он, которого так ни разу за границу и не выпустили; и его запрещенные к постановке спектакли, и

ненапечатанные книги, дикие критические статьи рапповцев в его адрес (хотя и Толстому от РАППа доставалось), странные отношения со Сталиным, который только один раз ответил на его письмо, а Толстой бывал в Кремле не раз, — вся неприязнь к Толстому, который достиг того, о чем Булгаков мог лишь мечтать и действительно мечтал, сконцентрировалась и вылилась на страницах «Театрального романа».

«…Вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. <…> Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

— Га! Черти!

И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал. Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой. <…>

Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро. — Расстегаи подвели! — слышал я голос Измаила Александровича. — Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели? Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы: «Про Париж! Про Париж!» — Ну, были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи… между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка… Ну, француз, конечно, речь говорит… на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю — Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять!

Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь… Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги… Ну, вывели его, напоили водой, увезли… — Еще! Еще! — кричали за столом. В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича. — Баклажанов! Почему ты не ешь?.. — Дальше! Просим! — кричал молодой человек, аплодируя… — Дальше что было? — Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу… Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!.. — Ай-яй-яй! — Да-с… Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения, он неврастеник жжуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку… — На Шан-Зелизе?! — Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже… Скандалище жуткий!

Тут хлопнуло в углу, и желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале… Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича. И опять я слушал про Париж. — Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот… ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш! — В Гранд-Опера?! — Подумаешь! Плевал он на Гранд-Опера! Тут двое

министров во втором ряду. — Ну, а тот? Тот-то что? — хохоча, спрашивал кто-то. — По матери, конечно! — Батюшки! — Ну, вывели обоих, там это просто… Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги — неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными».

Похоже ли это на Толстого? Очень. Булгаков был, как и Алексей Толстой, человеком театральным, он умел хорошо чувствовать и передавать манеру говорить, одеваться, двигаться у чужих людей, умел их передразнивать. И толстовская показная вульгарность, и желание быть в центре — все это очень точно. Очень значительно в этой сцене и короткое упоминание о том, что Измаил Александрович признает Максудова, а тот убежден в том, что приехавшая из Парижа знаменитость ошиблась: Булгаков решительно отказывает Толстому в самом факте их знакомства.

В «Театральном романе» игра в литературу не ограничивается одним Толстым, на сцену выходит еще один классик, в чертах которого угадывается Горький. Тут налицо смешение времени и места. Горький вернулся в Советский Союз много позднее Толстого, но надо отдать Булгакову должное — в его романе это объединение очень удачно:

«Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, держа, прижав к себе, даму. Егор Агапенов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.

— Измашь тут? — воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.

Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:

— Га! Егор! — и погрузил свою бороду в плечо Агапенова».

Встреча Толстого и Горького в России произойдет гораздо позднее, и вряд ли Булгаков будет при ней присутствовать, но акценты расставит верные — вот они, два хозяина русской литературы, два самых дорогих гостя на ее пиру.

Тут все очень точно, литературный статус Алексея Толстого был несомненно высок и сравним разве что с горьковским. Но так будет лишь в тридцатые годы, в двадцатые же, сразу по приезде из эмиграции, все оказалось не так весело, и с Горьким складывалось худо[59], и бороться и выживать было так же трудно, как в Париже в первые годы, и кто знает, жалел или нет красный граф о своем решении. В дневнике Булгакова встречается и такая фраза:
«23 декабря 1924 года. Василевский же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил: — Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов. Грязный, бесчестный шут»[{511}].

## Глава XVI. Патент на тараканьи бега, или как Янычар обошел Абдулку

Горькая запись, которой заканчивается предыдущая глава, относится к той поре, когда Толстой обнаружил, что его обманули, и все оказалось совсем не так, как он ожидал. Кратковременный разведывательный визит на Родину весной 1923 года прошел успешно, и 1

августа, то есть практически ровно через пять лет после бегства в Харьков, Толстые вернулись на Родину всей семьей, где им предстояло заново все наживать, но тут советская сторона повернулась, как избушка на курьих ножках, к нашему герою задом.

«Ну и врут тут ваши эмигрантские газеты, пишут будто бы Алешка как приехал, так и начал загребать миллионы, — рассказывал Роману Гулю о Толстом хорошо знавший последнего Константин Федин. — А на самом деле первые два-три года Толстые еле-еле сводили концы с концами и к нам — то Наталья Васильевна (Крандиевская), то ее сын, то сам Толстой прибегали за десятирублевкой, чтобы на базар сходить. Да и травили его всякие РАППы, ведь Маяковский орал, что в РСФСР Толстой не въедет на белом коне своего полного собрания сочинений»[512].

В сентябре 1923 года, вскоре по возвращении в Россию, Толстой отправился для заработка в турне по Украине и писал жене: «В Харькове было очень гнусно. <…> Антрепренер меня жестоко надул, не заплатил ни копейки за лекцию и за обратную дорогу»[513].

«Толстой был важен, жаловался, что фирма Liveright не уплатила ему следуемых долларов за последние детские стишки, которые он написал, «так как ему страшно нужны деньги». Стишки его плохие. Но обстановка у Толстого прелестная — с большим вкусом, роскошная — великолепный старинный диван, картины, гравюры на светлых обоях и пр. Дверь открыла мне Марьяна, его дочь от Софьи Исааковны — очень повеселевшая»[514].

Так писал о Толстом в дневнике Корней Чуковский, которому принадлежит любопытное свидетельство о семейной жизни Толстых в первые месяцы после возвращения в Россию:

«Был вчера у Толстых. Толстой был прежде женат на С. И. Дымшиц. Его теперешняя жена Крандиевская была прежде замужем за Волькенштейном. У нее остался от Волькенштейна сынок, лет пятнадцати, похожий на Миклухо-Маклая, очень тощий. <…> У него осталась от Софьи Исааковны дочь Марьяна, лет тринадцати. <…> Но есть и свои дети: 1) Никита, совсем не соответствующий своему грузному имени: изящный, очень интеллигентный, не похожий на Алексея Николаевича, и 2) Мими, или Митька, 10 месяцев, тяжеловесный, тихий младенец, взращенный без груди, с титаническим задом, типический дворянский ребенок. Тих, никогда не плачет.

Крандиевская в поддельных бриллиантах, которые Толстой когда-то привез из Парижа.

Сегодня именины ее Миклухо-Маклая, и она по его требованию надела это колье. Толстой чувствует себя в Питере неуютно. <…> Он очень хочет встретиться с Замятиным. Все просит меня, чтобы я пригласил их к себе.

Денег у него сейчас нет. Пьеса «Бунт машин» еще когда пойдет, а сейчас денег нужно много. Кроме четырех детей у него в доме живет старуха Мария Тургенева, тетка. Нужно держать восемь-девять человек. Он для заработка хочет написать что-нибудь детское. Советовался со мной…»[515]

Описание первых месяцев жизни Толстого на родине можно встретить также в письме В. П. Белкина к А. С. Ященке:

«Например, Ал. Толстой живет на Ждановке д. 3/1, кв. 24, т. е. у нас над головой. А случилось это так потому, что я ему внушил мысль: «не следует мозолить глаза публике и великим мира сего и не жить в Москве, где, кстати, квартир нет и жизнь дорога, а принять тактику кавалерийскую, т. е. производить опустошительные и неожиданные набеги на Москву, наводя

панику и смятение умов, брать крупные авансы конечно не у дам, а в редакциях, и после быстрых и решительных операций возвращаться к своей базе на Ждановку д. 3/1, кв. 24».

Этой осенью опыт был произведен и дал прекрасные результаты, т. е. добыча или авансы спешно пересылались мне в Петроград, а я в 2-х месячный срок построил ему квартиру в 6 комнат + кухня, людская, ванная и 2 клозета и много других угодий. <…> Квартира вышла теплая, чистая и комфортабельная.

А главное чудо в том, что целый год Алексей не будет платить квартирной платы и деньги, затраченные на ремонт, не погибли бесследно. Мебель он привез из Москвы, кое-что необходимое прикупил и зажил прочно и оседло.

Семья у него очень большая стала, самих с теткой Марьей Леонтьевной семеро, да домочадцев 3, итого 10 человек. Трудновато кормить такую ораву, но пока все идет, как следует, затруднения, естественно, возникают и проходят, и, слава Богу, живет хорошо. Написал он на этой своей квартире пьесу и продал в малый драматический (бывший Суворинский театр) «Бунт машин» — пойдет в начале февраля. Пьеса отличная, комедия и смешная, и весьма интересная, превосходная пьеса. Мелочей, т. е. статеек, рассказов написал за это время немного — да вот сказку для маленьких детей (в стихах) «Кот — сметанный рот», которую я иллюстрирую для издательства «Брокгауз и Эфрон».

Дальше следовала приписка самого Толстого:

«Милый Сандро, получил оба твоих письма. Пора, давно уже пора бы возвращаться домой. Если у тебя есть средства прожить, скажем, месяца 2, 3 — то несомненно, ты сможешь осмотреться и найти подходящую работу. Разумеется для заработка — Москва, для научной работы — Питер. Мы живем хорошо (в квартире над твоей № 24), проживаем — 45 приблизительно червонцев (англ. фунтов) в месяц. Но нас много, — 4 детей, 3 прислуги и тетка старая с нами…»[{516}]

Итак, Толстой искал литературных связей и способов заработать деньги, но и то и другое выходило у него худо. Молодая советская литература встретила его отчужденно. То ли не могли простить историю с письмом Чуковского, то ли завидовали, то ли не доверяли и держали за провокатора, но знаться с Толстым никто из крупных писателей не хотел. Фактически Толстому была объявлена война и он оказался в новой литературной ситуации не классиком, не учителем, не мэтром — на что рассчитывал. Как и думали в эмиграции — Толстой оказался мишенью, мальчиком для битья.

В самом начале 1924 года именно из-за Алексея Толстого состоялась весьма примечательная дискуссия между двумя революционными журналами — «ЛЕФ» и «На посту». Сравнивая «напостовцев» с тупым милиционером, который размахивает оглоблей вместо того, чтобы регулировать движение, «лефовцы» призывали союзников повернуть свою волшебную палочку в ту сторону, где движутся «графские» рыдваны с перевозимой из-за границы стародворянской рухлядью быта, сменовеховства, психологизма и грозящие выехать триумфаторами на очищенное их заботливыми руками от лефовских надоедливых мотоциклеток мостовые»[{517}].

В МАППе (Московская ассоциация пролетарских писателей) прислушались. «Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у которого графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице, подарил нас «Аэлитой», вещью слабой и неоригинальной»[{518}], — писал один из самых ярых пролетарских идеологов Г. Лелевич.

«Против Алексеев Толстых — наша линия»[{519}], — объявлял журнал «На литературном посту»,

и продолжалась эта кампания много лет, до самого закрытия РАППа.

«Помесь водяночной тургеневской усадьбы с дизелем, попытка подогреть вчерашнее жаркое Л. Толстого и Боборыкина в раскаленной домне, в результате — ожоги, гарь и смрад: Вс. Иванов, Леонов, К. Федин, А. Толстой. Вообще в длиннозевотные повествования современная мировая напряженность не укладывается. В такт грохочущей эпохе попадают только барабан и трещотка немногих речетворцев Лефа»[520], — утверждал Алексей Крученых. Это презрительное отношение со стороны «левых» и пролетарских сопровождало Толстого всю жизнь. Единственным исключением среди новых советских писателей стал автор «Чапаева» Дмитрий Фурманов, который, словно полемизируя с собратьями по перу, записывал у себя в дневнике:

«Толстой — не обыватель-злопыхатель, как Замятин, не скептик-циник, как Эренбург, не пессимист, как Белый, — он свеж, оптимистичен, сочувствует активно. <…> Честный эмигрант»[521].

Что же касается тех писателей, на чье сочувствие Толстой мог рассчитывать, тех, кому он помогал, кого печатал в «Накануне» — то поначалу никто не отзывался. Ни Пильняк, который еще недавно уговаривал его вернуться, ни Замятин, ни Зощенко, ни Булгаков, ни Катаев. И уж тем более не искали с ним встреч старые знакомые Ахматова и Мандельштам, а с Чулковым и Кузминым, возможно, у него и самого не было охоты встречаться. Бывшие кумиры стали отверженными, а Толстой в париях ходить не собирался. Ничего не известно о его отношениях в эти годы с другом молодости Волошиным, хотя как раз в 1923 году узаконенная постановлениями Крымского ВЦИКа коктебельская дача действовала вовсю, и Максимилиан Александрович на свой лад процветал у себя в Крыму, принимая летом столичных писателей. Но Толстой приехал за все советские годы в Коктебель лишь однажды — в 1930 году, а до этого будто чувствовал, что будет персоной нон-грата в шумном, веселом обществе, где когда-то был так желанен. С неприязнью следил за ним из-за границы Горький и в начале 1924 года, когда Толстой стал работать во вновь образованном журнале «Звезда», писал Б. И. Николаевскому: «Я вчера отказался от предложения сотрудничать в журнале «Звезда»[522].

Живым укором Толстому, странной насмешкой над ним и над всем Серебряным веком был проживавший над его головой Федор Сологуб, по милости которого молодого Толстого выгнали из литературного класса.

«От Сологуба мы по той же лестнице спустились к Алексею Толстому»[523], — писал Чуковский.

«…Из комнат Сологуба снята хрустальная люстра, бывшая в столовой, и дана для красы в столовую к Толстым»[524], — сообщал Белкин Ященке.

Надо же было случиться такому совпадению, чтобы во всем огромном Петрограде, в целой стране поселились в одном доме, в одном подъезде два литературных антагониста десятых годов — мэтр и дебютант, гонимый и гонитель. Вероятно, Сологубу это ехидное соседство досталось бы много тяжелее, когда б не обрушившееся на него несчастье:

«Вчера 5-го Мая хоронили тело Настасьи Николаевны Чеботаревской-Сологуб, которое всплыло в Ждановке недалеко от нас через 7 месяцев после гибели (23 сентября). Вы конечно слыхали, что она, вследствие нервного переутомления, заболела психастенией и ее идеей-фикс было самоубийство»[525], — писал Белкин Ященке еще в мае 1922 года.

Это была та самая Анастасия Чеботаревская, которая отчитывала, как мальчишку, Ремизова за отрезанный хвост обезьяны и язвительно называла графиню Софью Исааковну Толстую

госпожой Дымшиц. Времена поменялись. В 1921-м товарищ Дымшиц стояла у кормила нового искусства, а Анастасия Николаевна рвалась в эмиграцию, но, получив отказ, бросилась в Неву. Именно после ее смерти Сологуб переехал на набережную Ждановки, и пышущий здоровьем в окружении чад и домочадцев Алексей Толстой как призрак возник перед доживающим последние годы поэтом.

*Бедный, слабый воин Бога,*
*Весь истаявший, как дым,*
*Подыши еще немного*
*Тяжким воздухом земным, —*

писал Сологуб незадолго до смерти.

Это не просто замечательные стихи, не просто итог жизни великого русского символиста, но и полное отрицание того, к чему стремился в советской жизни Алексей Николаевич Толстой. И здесь эти двое, как полтора десятка лет назад, оказались антагонистами. Сологубу — в смирении доживать, Толстому — покорять советскую литературу. Сологубу — писать в стол и не печататься, Толстому — заполнять страницы новых журналов, планы издательств, репертуары театров. Сологубу — быть внутренним эмигрантом, Толстому — апологетом советского строя. Сологубу — смерть, Толстому — жизнь.

Позднее это различие между двумя писателями четко обозначил в своих мемуарах еще один видный литератор Серебряного века, критик и издатель Р. В. Иванов-Разумник.

«Сологуб до конца дней своих (он умер в декабре 1927 г.) люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как «туполобые». Жил он в 1923–1924 гг. в Царском Селе, стена в стену с нашей квартирой на Колпинской улице, и ежедневно — в ответ на мой условный стук в стену — приходил к нашему послеобеденному чаю. Как-то раз, летом 1924 г., он пришел мрачный, насупленный, сел за стакан чая, помолчал — и неожиданно спросил:

— Как вы думаете, долго ли еще останутся у власти туполобые?

Не имея возможности серьезно ответить на такой вопрос, я отделался шуткой:

— По историческим аналогиям, дорогой Федор Кузьмич: в России триста лет стояли у власти татары, триста лет царили Романовы, вот и большевики пришли к власти на триста лет…

Сологуб очень — и по-серьезному — рассердился:

— Какой вздор: теперь — век телеграфов, телефонов, радио, аэропланов! Время летит безмерно быстрее, чем в эпоху Романовых или татар! Триста лет! Теперь не средние века с их ползучим временем!

— Ну, хорошо, Федор Кузьмич, пусть так; сколько же времени, по-вашему, большевики будут стоять у власти?

Сологуб сперва серьезно задумался, потом искорки юмора блеснули у него в глазах (он был чудесный юморист, о чем знали только немногие) и как будто нехотя, но с полной серьезностью (что было особенно пикантно) он ответил:

— Ну… лет двести!

И тут же сам расхохотался»[{526}].

А вот про Толстого:

«Талантливый писатель (Федор Сологуб грубо, но метко говорил про него, что он «брюхом талантлив»), весьма беспомощный в области «идеологии» и вполне равнодушный ко всякого рода моральным принципам — он проделал классический путь приспособленчества: от эмиграции к «сменовеховству», от «сменовеховства» (после возвращения в Россию) — к писанию халтурных пиес, вроде «Заговора императрицы», от этой театральной халтуры — к халтуре публицистической, детски беспомощной, на столбцах «Известий». Зарабатывая ежегодно больше сотни тысяч (переиздания сочинений! пьесы! кинофильмы!), он сам откровенно признавал, что делать это он может лишь благодаря беззастенчивой халтуре! рядом с «Петром Великим» или «Хождением по мукам» — приходится писать для прославления начальства такие ужасные романы, как «Хлеб» или «Черное золото». Ничего не поделаешь — приходится приспособляться, чтобы заслужить и благоволение начальства, и сотни тысяч, и титул «пролетарского графа»...[60]{527}».

Обвинений в адрес Толстого можно найти сколько угодно. Но правда и то, что у Толстого не было черты, которую Бунин видел в другом «продавшемся» писателе — «истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ни рыдал Горькій». Толстой был честным литературным дельцом. Он усвоил правила новой игры, их соблюдал и никому намеренно не причинял зла. Ему надо было кормить семью. И если в 1918 году для этого приходилось читать похабные стишки перед спекулянтами и проститутками в «Музыкальной табакерке», он шел и читал. Если позднее нужно было славить большевиков, шел и славил. К этому можно как угодно относиться, но Толстой был прежде всего литературным работником, готовым взяться за любое дело, чтоб заработать. Героем труда. Хоть капиталистического, хоть социалистического.

«Вообще в первые же месяцы после своего возвращения на родину он стал трудиться с удесятеренной энергией — брался за десятки дел, и признаюсь, мне казалось в ту пору, что слишком уж часто распыляет он свое дарование, то и дело отрываясь от одной недоконченной вещи ради того, чтобы приняться за другую, — отчего вся его духовная жизнь представлялась мне клочковатой, обрывистой, пестрой»{528}, — деликатно писал позднее в своих мемуарах Чуковский, который, не помня обиды, встречал Толстого на вокзале с Белкиным во время его первого приезда в Петроград в 1923 году и который единственный его привечал.

Чуковскому же принадлежит один из самых первых литературных портретов Толстого советского времени:

«А. Толстой завершает собой вереницу наших усадебных классиков. Правда, он относится к ним, как, например, велосипед к дилижансу, но едет он по той же дороге. Его творчество подвижнее, ловчее, бойче, его синтаксис эластичнее, его эпитеты громче, но не только герои, не только сюжеты, а самые приемы письма у него в большинстве его книг — дворянские, почти гончаровские, особенно в его лучших, наиболее типических книгах: в сборнике рассказов «Под старыми липами», в «Детстве Никиты» и в романе «Хождение по мукам».

Нет свойственной современным писателям дерганой, неврастеничной композиции, с перебоями, сдвигами плоскостей, ежеминутными сюрпризами и словесными выстрелами. Повествование плавное, как Волга в Симбирске...

Ни у кого из наших беллетристов нет такого инстинктивного чутья русской речи. Всеми ее оттенками А. Толстой пользуется, как старинные русские люди, т. е. почти не замечая своего мастерства...

Если бы он родился лет за 70 до нашего времени, из него вышел бы осанистый матерый писатель гончаровско-тургеневской школы. 70 лет назад в качестве органического представителя еще не окончательно раздребезженной дворянской Среды он обладал бы немалым комплексом устойчивых идей; но он возник в начале 20 века, когда дворянство со всеми своими Никитами, жеребцами и елками рассыпалось у него на глазах, и от прошлого ему осталась лишь осанка…»

Под распылением Чуковский имел в виду, скорее всего, пьесу «Бунт машин», написанную Толстым по мотивам пьесы Чапека «R.U.R.», историю в биографии Алексея Толстого и в самом деле довольно странную: зачем человеку, у которого творческой энергии хватало на десятерых, было браться за чужой текст и приспосабливать его к нуждам советского театра?

Вс. Ревич, на которого я ссылался в одной из предыдущих глав, предполагает, и скорее всего небезосновательно, что Толстым в данном случае двигала инерция «Аэлиты».

«Может быть, загадочные и на первый взгляд бессмысленные действия Толстого, который после «Аэлиты» ни с того, ни с сего взялся переписывать знаменитую пьесу Чапека о роботах «RUR» и издал ее под названием «Бунт машин», принципиально ничего не изменив, объясняются тем, что в 1924 году писатель еще чувствовал инстинктивный страх перед сотнями тысяч марширующих под красными флагами серийных гусевых. Позже он и сам влился в их ряды. Но интуиция Толстого позволила ему угадать — во многом именно эти шелапутные, безответственные парни сделали революцию. Результаты их самоотверженных усилий мы расхлебываем уже семьдесят пять лет»[{529}].

Но это взгляд нашего современника. Тогда же пьеса навлекла на Толстого одни неприятности. Находившийся в Италии Горький был возмущен действиями своего недавнего товарища по эмигрантскому несчастью.

«С его (Чапека. — *А.В.*) пьесой «RUR» случилось, на мой взгляд, — нечто нехорошее и, пожалуй, небывалое в русской литературе. Посылаю Вам пьесу Алексея Толстого «Бунт машин». Хотя Толстой и не скрывает, что он взял тему Чапека, но он взял больше чем тему, — Вы убедитесь в этом, прочитав пьесу. Есть прямые заимствования из текста Чапека, а это называется словом, не лестным для Толстого, и весьма компрометирует русскую литературу. Лично я очень смущен и возмущен»[{530}], — писал он одному из своих многочисленных корреспондентов.

Чуковскому пьеса первоначально понравилась: «Читал мне отрывки своей пьесы «Бунт машин». Мне очень понравилось. Обыватель — страшно смешное, живое, современное лицо, очень русское. И, конечно, как всегда у Толстого, милейший дурак. Толстому очень ценно показать, как великие события, изображенные в пьесе, отражаются в мозгу у дурака. Дурак — это лакмусовая бумажка, которой он пробует все. Даже на Марс отправил идиота»[{531}].

Но когда он увидел театральную постановку, его мнение переменилось:

«5 мая 1924 года. «Бунт машин». Был два раза, и оба раза ушел с середины — нет сил досидеть до конца. Второй раз в зале оказался Алексей Николаевич Толстой с Айседорой Дункан. Монахов заприметил их и сказал публике:

— Здесь находится по контрмарке зайцем один человек, Алексей Николаевич Толстой, автор этой пьесы. Советую вам аплодировать!

Все зааплодировали.

— Не так! — сказал Монахов. — Нужно организованнее!

Театр зааплодировал в такт. Но это были аплодисменты авансом. А когда кончился 1-й акт, ни одного хлопка»[{532}].

Летом 1924 года Толстого привлекли к суду. Журнал «Новый зритель» писал 15 июля 1924 года: «31 июня в Народном суде разбиралось дело о переделке А. Н. Толстым пьесы Карела Чапека «РУР». Переводчик «РУРа» Кролль передал в прошлом году А. Толстому перевод пьесы для проредактирования. Согласно договора, Толстой, в случае постановки «РУР» в театре, должен был уплатить Кроллю половину авторского гонорара. Кролль полагает, что «Бунт машин» Толстого является переделкой его перевода, и требует от Толстого авторские (согласно их договора)»[{533}].

Чуковский сообщал сыну: «Алексей Толстой был у меня — в совершенной тоске. У него впереди процесс — из-за «Бунта машин». Я вполне утешил его, сказавши ему, что Шекспир тоже списал «Укрощение строптивой». Он судорожно ухватился за сие обстоятельство»[{534}].

И хотя Толстой сумел выпутаться из этой ситуации, заработав в театральной среде прозвище «победитель Чапека», стало понятно, что на переделке чужих произведений далеко не уедешь.

Его снова вывезла эмиграция, тот огромный жизненный опыт, который он получил в своих житейских перипетиях, но теперь он написал о них насмешливо, едко, и так появилась на свет одна из лучших его повестей, этот, по выражению Шкловского, второй том «Хождения по мукам» — повесть под названием «Похождения Невзорова, или Ибикус».

Но прежде — о рассказе «Черная пятница», действие которого происходит в Берлине и герой которого авантюрист по имени Альфред Задер, спекулируя на валютном курсе, пытается помочь русским эмигрантам, населяющим бедный берлинский пансион, с той же энергией, с какой Толстой в бытность редактором «Накануне» поддерживал русскую литературу как в эмиграции, так и в метрополии. Разумеется, ставить знак равенства между Алексеем Толстым и Адольфом Задером так же неправомерно, как уравнивать графа Толстого и графа Невзорова, но то, что Толстой щедро передавал своим шебутным персонажам частичку себя, несомненно.

Так было с образом фельетониста Антошки Арнольдова в «Хождении по мукам», так было и с героем «Черной пятницы», «плотным, большого роста, громогласным человеком», который «шумно ел, выпил шесть полубутылок пива», который «хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», который «сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным».

В этом портрете легко узнать самого щедрого, широкого, общительного, легко сходящегося с самыми разными людьми и подстраивающегося под любые характеры Толстого, и даже различные варианты своего происхождения, которые сообщает Задер жильцам пансиона, этот театр одного актера — это тоже толстовское.

«— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине, — так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи, — мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек, он видит — я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

А вот иная версия происхождения того же героя:

«Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца — вы, наверно, слыхали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, гозыри, кинжал, — удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в конвое его величества». Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы… Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел, — дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терещенко, Гаккебуш со своей «Биржевкой»… Наконец между нами — Суворин… Я организую, я даю деньги, я всюду, но я — инкогнито… Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин Константинович… Но об этом я буду писать в своих мемуарах… Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк… Сейчас я приехал в Берлин — осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств… Что вы на это скажете?»

Умри, Денис, лучше не придумаешь. Толстой и здесь смеялся над своим, над самым близким, своими терзаниями писателя, который ищет, где ему напечататься. «Черная пятница» — в этом смысле одновременно и горький, и смешной рассказ. Даже свое сомнительное происхождение Толстой здесь обыграл.

«Я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно, — вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, — плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. <…> Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов».

Из образа Альфреда Задера, вокруг которого вращаются остальные персонажи, — вырастет Остап Бендер: Ильф с Петровым и не скрывали, от кого вели происхождение своего героя, дав ему очень похожее имя, но из него же вырастет и подпольный миллионер Корейко:

«Началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит: «Адольф, что ты там?..» Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лекторы должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся, мои агенты не дремали, — за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я

перешел финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия, — пробормотал Убейко».

Это тоже толстовское, признаваемое всеми — брызжущий жизнью, неунывающий человек. Однако кончается все печально. Задер, этот игрок на разнице валют, совершает ошибку и пускает пулю в лоб: «Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба, — все, что от него осталось».

Остапу Бендеру повезло больше — он переквалифицировался в управдомы.

Хороший, хотя и несколько беглый рассказ. «Похождения Невзорова, или Ибикус» в этом смысле вещь более искусная, более протяженная по времени и по охвату событий, по числу действующих лиц, хотя в литературной ее основе — история мелкого петербургского чиновника, традиционного маленького человека, которому удивительным образом была подарена необыкновенная судьба: богатство, приключения, роскошные женщины, клубы, рестораны, взлеты и падения — словом все, в чем и сам Толстой хорошо знал толк, к чему и сам стремился и над чем одновременно с этим смеялся, как вообще смеялся над собой.

А. Н. Тихонов (Серебров) докладывал Горькому 8 августа 1924 года о состоянии литературных дел в Советской России:

«… и несколько «маститых» — Толстой, Замятин, Пильняк. Что про них скажешь?! Все они достигли половой зрелости и, по закону Фрейда, прекратили свое развитие: иные лысеют, вроде Толстого, иные толстеют (Пильняк), но на их творчестве это пока не отражается. Прочтите «Ибикус» Толстого и еще раз (который) удивитесь, до чего легко пишет этот человек!»[{535}]

«Первые части «Ибикуса» писались, так сказать, у меня на глазах, — вспоминал Корней Чуковский, — ибо в ту пору я был одним из редакторов «Русского современника», в котором эта повесть печаталась. Толстой писал ее с феноменальной быстротой, без оглядки, хотя и перенес в это время затянувшийся грипп. Он не придавал большого значения «Ибикусу» и пожимал плечами, когда я говорил ему, что это одна из лучших его повестей, что в ней чувствуешь на каждой странице силу его нутряного таланта.

Повесть эта все еще недооценена в нашей критике, между тем здесь такая добротность повествовательной ткани, такая легкая, виртуозная живопись, такой богатый, по-гоголевски щедрый язык.

Читаешь и радуешься артистичности каждого нового образа, каждого нового сюжетного хода. Власть автора над своим материалом безмерна. Оттого-то и кажется, что он пишет «как бы резвяся и играя», без малейшей натуги, и будто бы ему не стоит никакого труда вести своего героя от мытарства к мытарству. <… >

Герой этот — родной или двоюродный брат бессмертного Остапа Бендера при всей своей дрянности был все же привлекателен для Алексея Толстого своей неутомимой энергией, «стремлением к действиям и деяниям» (как признавался Алексей Николаевич в одной записке по поводу «Ибикуса»)»[{536}].

Это все абсолютно верно, хотя начало повести отнюдь не предвещало такого развития событий, и меньше всего герой повести (в отличие от Альфреда Задера) был похож на «бессмертного»

Бендера. Вот экспозиция «Ибикуса», превосходный образчик легкости толстовского стиля:

«Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозванию Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же, — судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать, — пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение, — привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон…»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы — рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши… А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса… Духи, ароматы… Происходил файфоклок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный, — просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно».

Казалось бы, что может ждать такого героя и что о нем можно написать? Что сделали бы из

этого сюжета Горький, Леонид Андреев, Куприн? «Гранатовый браслет» или «Большой шлем»?

Толстой пишет почти что феерию. Начинается война, Кнопку увозят с собой драгуны, а вслед за этим приходит в феврале революция, и ерническое описание ее в корне отлично от того, что было и в публицистике Толстого, и в «Хождении по мукам».

«Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стукало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

По всей вероятности, именно под влиянием революции Невзоров совершает примерно то же самое действие, которое за полвека до него осуществил петербургский студент Родион Раскольников, но вместо отвратительной старухи-процентщицы выступает владелец антикварной лавки, да и мыслей о сверхчеловечестве у Невзорова нет, есть чисто толстовское желание вкусно пожить. Невзоров, впрочем, не убивает своими руками богатого антиквара, но, придя по следу грабителей, не сумевших взять в его доме богатство, делает это сам. Что же касается метафоры «наказания», то она укладывается в несколько строчек: «Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха, — Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать».

Собственно, именно с этого момента у главного героя начинается жизнь. Он переезжает в Москву летом 1917 года, где тогда жил сам Толстой, веря, что революция принесет народу счастье. Теперь его беллетризованные воспоминания о том времени окрашены в иронические тона.

«Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сиживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, — видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы, — думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, — нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

В «Ибикусе» Толстой снова сводит счеты с футуристами: «Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло: «Вечер-буф молодецкого разгула футуротворчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение — всеобщая вакханалия».

Здесь же, в кафе, граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, — как это понял Семен Иванович, — но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть», — подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами, — вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки… Граф Невзоров только пожимал плечами».

Тут все узнаваемо: лохматый с трубкой — это Эренбург (которому Толстой мог литературно отомстить, но делать этого не стал), а здоровенный детина, кроющий публику, — Маяковский. Автор использует те же приемы, что в «Егоре Абозове», но изображая события глазами не правильного писателя-реалиста, а графа-самозванца Симеона Невзорова, добивается гораздо большего эффекта. Он показывает героя, созвучного времени и созвучного… себе. В самом деле, не будь революции, был бы я Потапенкой, писал Толстой. Не будь революции, Семен Невзоров так и остался бы маленьким петербургским чиновником, мечтающим о графинях и княгинях. Революция воплотила мечты обоих, и ей был обязан тот, кто вчера еще был никем.

Но сближает автора и героя и общее хождение по революционным мукам, только у Невзорова оно богаче событиями, головокружительнее, сказочнее: бегство на юг, переход через границу, приобретение сомнительного имения и столкновение с мужиками, приключения в банде анархистов и побег с их кассой в Одессу — вещи, Толстым лично не пережитые, но знакомые с чужих слов, и если во второй части «Хождений по мукам» описания банды Махно выглядят скучно и недостоверно, то в «Ибикусе» все оправдывается легкостью и нарочитым гротеском.

В «Ибикусе» Толстой дает волю сарказму. Выше уже говорилось, что в 1919 году он не простил Белой армии ее поражения и своей в нее веры. Именно эти мотивы и обыгрываются в описании Одессы накануне ее падения:

«Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту, — он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, — он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя, — важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу, — он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». — «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

Кто скрывается под желчным и презрительным писателем — сам ли Толстой или Бунин — сказать трудно, да и не так это важно. Писатель, вития. Но ведь и Толстой верил в 1919 году, что красные в Одессу не придут. И ему французские корабли казались самой надежной защитой, и он с радостью и доверием смотрел на генералов Белой армии. А вышло все совсем не так. Вышло как у Булгакова — драп да авантюрная история убийства большевистского агента француза Жоржа Делафара, рассказанная Толстому чекистом Иваном Кабанцевым. Но помимо горькой иронии есть у Толстого своего рода ностальгия, какой у Булгакова нет. Он действительно любил все это — бульвары, нарядных дам, игорные дома, рестораны, кабаре, витрины ювелирных магазинов — это было его, кровное, и он, наверное, дорого бы дал, чтоб осталась такая Одесса, как останется впоследствии «остров Крым» в романе Василия Аксенова, писателя несомненно Толстому очень близкого.

В «Ибикусе» много такого, что наталкивает на размышления, так ли уж безоговорочно отрекся красный граф от старого мира и если бы дали ему выбрать советский коллективный рай или прежнее ужасное, классовое общество, основанное на эксплуатации человека человеком, еще неизвестно, к чему бы он склонился. А точнее, известно, конечно, он хотел бы жить, как прежде, и себе такую прежнюю, вкусную жизнь он и устроит в СССР, но даже в ностальгических нотах присутствуют жирная толстовская ухмылка и полемика с эмигрантским плачем по России.

Достаточно положить рядом два текста: «Окаянные дни» Бунина и «Ибикус» Толстого.

Вот Бунин (и что характерно — эти мысли приходят ему в Одессе): «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…»[{537}]

А вот Алексей Толстой и его одесский плач по России:

«— А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке…

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским, — помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, Лев Плевако, именитое купечество, — все во фраках… Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи… Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это, — и развел руками под куполом, — не мое, все это ваше, на ваши денежки построено…» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну…»

Тут ведь и искренность, и юродство, и сокрушение, и зубоскальство. У Бунина тоже есть эта горечь, но Бунин в конечном итоге проклял одних большевиков, Толстой — тех, кто отдал страну в их руки.

«…Наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, — свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц… Сазоновы, Каляевы, — доктор хрустнул зубами, — Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободушка подвалила».

Или такое признание человека, в котором можно опознать кого угодно — хоть дядю Сережу Скирмунта, хоть Цетлина, хоть не дожившего до революции Савву Морозова:

«— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в этих газетах, — у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать, — горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, — мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, — прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже».

И наконец, квинтэссенция всего:

«А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там… Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского… Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза…»

Это все было ведомо и Бунину, который именно такими словами крыл и большевиков, и Блока, и Белого, а заодно и весь русский народ. Бунин не хуже Толстого знал, с кем имеет дело в эмиграции и какова вина, если не всех, то очень многих из России бежавших и проклинавших задним числом русскую революцию, которую сами они призывали. Знал. Но Бунин так же принял и простил эмиграцию за ее слепоту и вину перед Россией, как Толстой простил большевиков. Он поверил в ее миссию, как Толстой поверил в их миссию. Отчего такое различие? Не от того ли единственного, не такого уж страшного, но унизительного испытания, которого Бунину удалось избежать, а Алексей Толстой вместе со своим героем через него прошел.

«А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французскаго доктора, — вспоминал Бунин, — но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Безсмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Россшской Императорской Академш), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от него»[{538}].

Толстой не был академиком, Толстого от дезинфекции не освободили, и со знанием дела он описывал банную процедуру в «Ибикусе»:

«Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа, — думал он, несколько стыдясь своих ног, — ну, не знали… Аи, аи, аи!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться, — систематически доведут до конца… Это вам — Европа…

— Я решительно протестую… Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый…»

И наконец, последнее, объясняющее название этой главы. Повесть Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» не так хорошо известна, как пьеса Михаила Булгакова «Бег». Но общего между ними много — окончание Гражданской войны, повальное бегство людей самых разных сословий, нищета, страдание, унижение мужчин и женщин (женщин в особенности), злой Стамбул, мечта о Париже, но самое главное:

«В эту самую минуту через стол *бежал таракан*. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак», — и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— *Тараканьи бега.* — Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов. — Этого оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного, — плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения *беговой дорожки,* то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара: «БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ. НАРОДНОЕ РУССКОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ».

Запатентовать свое изобретение Толстому удалось, но бренд все же принадлежит не ему[61], спроси любого современного читателя, кто придумал «тараканьи бега», скажут — Булгаков. Янычар обошел Абдулку, Булгаков превзошел Толстого. И в «Белой гвардии», и в «Беге», и в памяти потомков — но проиграл ему в искусстве жить и не оставил после себя ни дачи в Барвихе, ни роскошной квартиры-музея, на которую зарятся в наши дни по-толстовски предприимчивые люди. Каждый получил свое[62]. Получил свое и герой «Ибикуса» Невзоров:

«Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и этак старался — нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я нисколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — *Ибикус».* Семен Иванович нажил большие деньги и женился...
Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, — поживем, увидим. Поставь точку...» Не поставил ее Толстой. Не такой он был человек.

## Глава XVII. Зеркальце феминизма

Как ни был по-своему хорош «Ибикус», больших денег эта повесть Толстому не принесла, и, невзирая на неудачу с «Бунтом машин», граф снова взялся за драму. 9 марта 1925 года Мария Федоровна Андреева сообщала Горькому последние литературные новости:

«А. Н. Толстой написал пьесу «Заговор императрицы», где действует Александра Федоровна, Распутин, Дмитрий Павлович, Стенбок и проч., вплоть до Врубеля. Видела рабоче-крестьянского графа воочию, не понравился он мне, и даже Туся стала какой-то женой литератора...»[{539}]

В этой оценке много женского, пристрастного, хотя о Крандиевской неодобрительно отзывалась не только Андреева.

«С Толстыми прервали отношения из-за Натальи Васильевны, женщины самовлюбленной, капризной и далеко не доброй»[{540}], — писал несколько позднее Белкин Ященке, но «Заговор императрицы» оценил: «Алексей очень много и плодотворно работает; после переселения в СССР написал уже 4 пьесы. Из которых 2 особого успеха не имели, зато одна имела огромный

материальный успех — это «Заговор императрицы»[{541}].

«Заговор императрицы» — не лучшая, но, пожалуй, самая известная пьеса Алексея Толстого. Это пьеса о недавнем российском прошлом, о последних днях империи, о государе, его окружении, о Петербурге, о Распутине, то есть о том же, о чем писал Толстой в «Хождении по мукам». Но если в романе преобладает более или менее объективный взгляд на историю, то здесь, как справедливо заметил Бунин, все «ужасно по низости, пошлости».

В романе Толстой писал: «Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак перед смертью в доме, и он умер с ужасным трудом — последний защитник трона, мужик, конокрад, исступленный изувер.

С его смертью во дворце наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование; люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал Кате из Минска: «В ночь получения известия офицеры штаба главнокомандующего потребовали в общежитие восемь дюжин шампанского. Солдаты по всему фронту кричат «ура»...»

В своей пьесе Толстой тоже прокричал «ура», но прежде счел необходимым написать в марксистском духе пролог, чтобы никаких сомнений в авторской позиции не было:

«Этот центр — кучка изуверов и авантюристов, — я говорю о Вырубовой, Распутине, министре внутренних дел Протопопове, министре юстиции Добровольском, аферисте князе Андронникове, журналисте-охраннике Манасевиче-Мануйлове, банкире Дмитрии Рубинштейне, ювелире Симановиче и так далее, — эта пестрая компания возглавлялась императрицей Александрой Федоровной. Система царской власти позволила им взять вожжи управления империей. Они сажали на посты нужных им министров. Они перетасовали Государственный совет. Они подготовляли уничтожение Государственной думы путем периодического ее разгона. Они деятельно вмешивались в дела Ставки верховного главнокомандующего. Они сносились с агентами германской контрразведки. Они выписывали колдунов и хиромантов. Страна истекала кровью».

«Заговор императрицы» был написан Толстым в соавторстве с Павлом Елисеевичем Щеголевым, участником комиссии по расследованию преступлений царского режима и, пожалуй, самым близким его другом в это время. Собственно, именно через Щеголева, историка-марксиста, пушкиниста, члена ремизовского Обезвелволпала и доброго знакомого всего литературного Петербурга — Петрограда — Ленинграда, и осуществилось возвращение графа в питерскую литературную среду.

«Когда я встретил его через несколько месяцев (чуть ли не у Павла Елисеевича Щеголева), оказалось, что он полностью вернул себе былую импозантность. Снова походка его стала уверенной, голос решительным, снова полюбил он подолгу сидеть вечерами в дружной компании старых (и новых) друзей — в обществе поэтов, актеров, певцов, музыкантов и, похохатывая, рассказывать им всякие гротескные истории»[{542}], — писал Чуковский.

«Они были неразлучны. Толстого и Щеголева мы видим всегда вместе — в театре на премьере, на литературном вечере, в гостях, в ресторане, на извозчике. Один расползающийся, огромный, еле сидит в пролетке. Толстому рядом с ним тесно, он умещается боком на краешке. Один — небрежный, широкий, одежда его состоит как бы только из складок. Другой — несмотря на свою полноту — всегда подтянутый, словно отглаженный, всегда с новой шуткой, которой он готов поделиться. Это было сочетание русского Фальстафа и русского принца Гарри. Карикатуристы не разделяли их в своих рисунках»[{543}], — вспоминал писатель Николай

Никитин.

Брат Осипа Мандельштама Евгений писал: «Они дружили и вместе бражничали. Чаще всего их можно было найти в сильном подпитии в шашлычной у Казанского собора. Бывало такое, что расплатиться уже нечем. Тогда звонили в Драмсоюз, и оттуда посылали им деньги с агентом этого общества В. Ромашковым, старым актером, колоритной фигурой, дородной и импозантной»[{544}].

Сотрудничество писателя и историка оказалось не только приятным, но и весьма плодотворным. «Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» — вот что привлекало зрителей. Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн, знаменитый петроградский банкир военных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, «Митьке» пьеса понравилась. Вскорости Толстым была изготовлена по тому же рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии. «Азеф» был поставлен актерами театра б. Корша, где Н.М. Радин играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой. Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности»[{545}], — отмечал позднее в своих мемуарах Варлам Шаламов.

Но, быть может, лучше всего о Щеголеве и созданной им в соавторстве с Толстым пьесе написал историк Натан Эйдельман:

«Огромный, толстый, подвижный, «моторный», авантюрный, веселый, *«одаренный талантливостью в каждом слове»* — таким запомнился современникам Павел Елисеевич Щеголев, происходивший из воронежских крестьян, едва не исключенный из гимназии по закону о «кухаркиных детях», то есть за «низкое происхождение» (спасла репутация лучшего ученика); в 16 лет он совершает паломничество к Льву Толстому, а студентом оказывается в вологодской ссылке вместе с Луначарским, Савинковым, Ремизовым, Бердяевым. Оттуда он сумел на краткий срок прибыть в Петербург для сдачи государственных экзаменов (за него хлопотали академики Шахматов и Веселовский); с самого начала Щеголев так много работает, что даже великий труженик Шахматов вздыхает: «Берегите себя для науки!» <…>»

Число щеголевских трудов при всем при этом соперничало с количеством легенд, преданий и анекдотов о Павле Елисеевиче. Он спасает от голодной смерти Корнея Чуковского, отыскивает адвоката для Веры Фигнер, пишет и диктует сотни писем, беспрерывно пополняет огромную коллекцию автографов (от Вяземского до Ахматовой и Мандельштама) — и не упускает случая развлечься.

Мы еще встречаем людей, которые помнят, как Щеголев незадолго до смерти любил всем разливать вино, ибо ему самому оно уже запрещалось; как, вкусив все-таки «блаженного нектара», являлся на свою петербургскую квартиру и засыпал в дверях, причем жена и домработница не имели сил его ни внутрь втащить, ни вытолкнуть (в результате квартира застужена, женщины больны, а проспавшемуся богатырю хоть бы что!).

В 1977 году, к 100-летию со дня рождения Павла Елисеевича, известный пушкинист Н. В. Измайлов поместил в научном журнале «Русская литература» статью-воспоминание, где в академический рассказ неожиданно вторгаются впечатляющие бытовые подробности. «В 20-х годах, — рассказывает Измайлов, — Павел Елисеевич много работал над Пушкиным, исследовал его социальный и материальный быт, написал интереснейшую книгу «Пушкин и мужики» (1928) и многое другое… А вместе с тем не гнушался принять участие (и это было

широко известно) в составлении «Дневника А. А. Вырубовой», издание которого вызвало сенсацию; в сочинении вместе с Ал. Н. Толстым еще более сенсационной пьесы «Заговор императрицы», поставленной в 1926 году в Большом драматическом театре с великолепным актером Н. Ф. Монаховым в роли Распутина… За эту пьесу, долго шедшую «с аншлагом», каждый из авторов получил по 75 тысяч гонорара, что было тогда огромной суммой. Но эта сумма была прокучена Щеголевым за три месяца, и вслед за тем была описана его библиотека за неуплату подоходного налога. Конечно, библиотеку не продали, но этот случай характерен для широкой русской натуры Павла Елисеевича, в чем-то, вероятно, созвучной шаляпинской». К подробностям, сообщенным Измайловым, добавим одну красочную деталь из рассказа другого очевидца: Щеголева упрекнули, что в пьесе «Заговор императрицы» он, столь известный историк, много раз погрешил против исторической истины, сгустив разные «пикантные детали»; на это Щеголев, ничуть не смутившись и по-волжски окая, отвечал: «Да, конечно, вранья много, но зато какие деньги плочены!»[{546}]

Великолепие этого отрывка в том, что по меньшей мере в половине фраз фамилию Щеголева можно было бы заменить на Толстого. Талант, веселость, широта натуры, циничное отношение ко всему — вот что их объединяло, и что бы они ни «творили», делалось это, по-видимому, так изящно и непринужденно, так по-светски, что даже в окружении строгой Ахматовой не вызывало осуждения.

Ахматова в середине двадцатых годов к Толстому неожиданно потеплела. Павел Лукницкий записывал в дневнике: «Ждет, что сегодня к ней придут Алянский и Каплан по поводу такого случая: Каплан передал Алянскому, будто АА в тот вечер, когда она была на блинах у Рыбакова (там был Озолин, Сергеев и др.), отозвалась об Алянском очень неблагожелательно. Алянский приходил к АА объясняться! Сегодня — опять придет с тем же.

Алянский заявил, что Блок не позволил бы себе так о нем отозваться.

«Жаль, что это произошло не с А. Толстым, например. Тот бы такого Алянского просто к черту послал»[{547}].

Последнее — слова самой Ахматовой. Умение Толстого не обращать внимания на сплетни, слухи и пересуды литературной среды что в эмиграции, что в метрополии и быть по-своему независимым и толстокожим — она приветствовала. В 1925 году, когда у двух предприимчивых авторов — Толстого и Щеголева — начались неприятности, Анна Андреевна встала на их сторону.

«28.02.1925. Ал. Толстой будет судиться с неким Луниным, обвиняющим его в плагиате (Ал. Толстой взял много положений, отдельных мест и пр. для «заговора императрицы» — из рукописи Лунина, присланной ему для просмотра). Сообщил это Рыбаков. АА с большим недоверием отнеслась к этому сообщению»[{548}].

А несколько дней спустя: «История с Луниным и Толстым оказалась чушью. Лунин возмущенно звонил в редакцию газеты, чтоб узнать, кто дал туда неверные сведения. Выяснилось — что С. Радлов…»[{549}]

Ахматова саму фамилию Радловых ненавидела: и Анну Радлову, поэтессу, про которую все говорили «Анна, да не та», и мужа ее Сергея Радлова. А враг моего врага, как известно, — мой друг. Так Алексей Толстой сделался на время ее другом, и она близко к сердцу принимала все перипетии его отношений со столичными театрами, что и фиксировал педантичный Лукницкий.

«Разговоры <…> об Ал. Толстом и суде над ним (продал вместе со Щеголевым «Заговор Императрицы» монопольно в Александр, театр, а затем продал — в Московский театр)… Забыл еще записать: в 8 час., приблизительно, АА вызвали к телефону. АА возвращается, говорит, что ей звонил Замятин — радостный, потому что дело А. Толстого и П. Щеголева с «Заговором Императрицы» выиграно ими. Суд постановил отказать в иске театру, по этому случаю сегодня — пьянство… АА передает слова Замятина:

«Вы незримо будете с нами…»

АА смеется: «Хорошее представление обо мне — там где пьют, там я должна быть!»[{550}]

И все-таки в ахматовской приязни много странного. Ведь как раз в эту пору у Ахматовой были все основания чувствовать себя со стороны Толстого оскорбленной. В первой части «Хождения по мукам» Толстой не только Блока в образе Бессонова вывел, но и двух женщин, которые Бессонову отдаются. В одной из них, Елизавете Киевне, узнается Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, во второй, актрисе Нине Чародеевой, — Ахматова.

«У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, — одни кружевные юбки.

Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, — так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.

— Изумительная женщина, — проговорил Николай Иванович сквозь зубы.

— Нет, Коля, нет, Чародеева — просто падаль. В чем дело?.. Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи… Смотри, смотри, — рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это — гиена».

Слухи о том, что у Ахматовой был роман с Блоком, ходили по Петербургу, худоба ее и гибкость спины были притчей во языцех. Вот что позднее вспоминал об ахматовской оценке «Сестер» Вяч. Вс. Иванов: «Ахматова заговорила об Алексее Толстом: сказала, что она умеет показать по его роману («Сестры»), как он совсем не знал Петербурга. Потом разговор вернулся к началу двадцатых годов, и Федин с еще тогда присущей ему живописной словесной лепкой стал вспоминать, как Ахматова удивляла всех своей гибкостью: перед собравшейся в кафе литературной компанией показывала свое акробатическое мастерство, сгибаясь кольцом, так что пальцы ее ног касались головы»[{551}].

Независимо от того, возникла у Федина эта ассоциация («Хождение по мукам» — ахматовская гибкая спина) случайно или же — что более вероятно — он намеренно провоцировал Ахматову высказаться не только о топографии Петербурга, но и о собственной зыбкой тени в этом романе, АА не удостоила Федина ответом.

Существуют также воспоминания Михаила Будыко, который отдыхал с Ахматовой в Комарове в 1962 году и которому она многое рассказывала о прошлом и о своих литературных вкусах. Воспоминания эти служат хорошим добавлением к сюжету «Ахматова и третий Толстой».

«А. Н. Толстой. «Желтая литература». Книгу «Хождение по мукам» А. А. отрицала не читая. Однажды она собралась с силами и прочла часть, сейчас у нее есть «точные доказательства»

ничтожности этой книги. Образ Бессонова — недопустимое оскорбление Блока. Отрицание этого Эренбургом неправда (А. А. при этом назвала его «круглогодичный лжесвидетель», добавив, однако, что не относится плохо к Илье Григорьевичу). Роман сильно изменился после первого парижского издания. Там эмигрант Толстой порицал «Двенадцать» Блока. Потом все изменилось.

Толстой вырос на Волге и в Петербурге был чужой. Он не был похож на человека из общества. Сначала он учился в Технологическом институте, но из-за революции 1905 года учеба оборвалась, и он уехал в Париж. Потом провел несколько зим в Петербурге, пытаясь заниматься литературой, но с полууспехом. Вячеславу Иванову и другим знатокам он не нравился. Затем он переехал в Москву, где прославился, у него появились большие деньги. Тогда он развелся со своей женой С.И. Дымшиц и женился на Наталье Крандиевской, добившись ее развода (бывшего мужа Крандиевской он очень боялся). В «Хождении по мукам» клеветнический образ Елизаветы Киевны — это Елизавета Кузьмина-Караваева, человек необычайных душевных достоинств (католическая святая). О Бессонове лучше не говорить, его приключения на островах — это, может быть, приключения Толстого, но не Блока. Блок не любил Толстого, о котором имеется очень грубая запись в дневнике Блока. Блок был вообще груб. Он, вероятно, сказал это Толстому. Пример несдержанности Блока: А. А. надевала ботинки в каком-то гардеробе, за ее спиной стоял Блок и бубнил: «Вы знаете, я не люблю стихов вашего мужа». Это было абсолютно ничем не вызвано. Показал мне книгу А. Н. Толстого с надписью для А. А., очень сдержанной: «Толстой меня обожал». Когда А. А. отказалась от его помощи для получения квартиры, Толстой назвал ее «негативисткой». А. А. считает, что такое ее качество относится только к Толстому»[{552}].

К отношениям Толстого и Ахматовой мы еще вернемся, а пока что заметим, что в середине двадцатых ахматовские оценки и Алексея Толстого, и его поэзии были куда более снисходительными скорее всего потому, что в эту пору у Ахматовой был к нашему герою свой интерес, ради которого она могла простить ему и Чародееву (все же актрису, не поэтессу), и Елизавету Киевну, и даже Бессонова. Толстой был важен Ахматовой как ценный свидетель, которого надо изо всех сил беречь. Он единственный мог дать нужные показания по делу о дуэли между Гумилевым и Волошиным, Ахматову чрезвычайно в эти годы волновавшему.

«*12.05.1926.* Пришел к АА, она рассказывала о вчерашнем вечере у Щеголева с Толстым, — записывал Лукницкий. — Я поехал к А. Н. Толстому. Он еще не встал. Ждал его в столовой. Вышел он в белой пижаме. Пил с ним кофе. Алексей Николаевич рассказывал медленно, но охотно о Николае Степановиче и дуэли его с Волошиным. И о подноготной этой дуэли, позорной для Волошина. Я спросил Толстого, есть ли у него автографы. Он предложил мне перерыть сундук с его архивами — письмами. Пересмотрел подробно все — нашел одно письмо. «Вам вернуть его после снятия копии?» — спросил я. Толстой махнул рукой: «Куда мне оно! Берите».

Толстой отнесся ко мне исключительно хорошо. Это не Кривич, дрожащий над своими архивами. Толстой знает, что у него будет собственная биография, и почему не сделать хорошего дела для биографии другого? Звал меня обедать, обещая за обедом рассказывать о Гумилеве; сказал, что записать все придется в несколько приемов. Хорошо, что А. Толстой, свидетель всей истории дуэли, жив и что его можно спросить обо всем; сегодня Толстой мне подробно рассказал все, и мне очень важно его сообщение. Не будь его — Волошина трудно было бы изобличить, тем более, что он сумел создать себе в Москве целые кадры «защитников»[{553}].

Таким образом, в середине двадцатых Толстой считался сторонником Гумилева и противником Волошина, а о том, чьим он был тогда секундантом, в ахматовском кругу предпочитали не

вспоминать и все прощали. Хорошо, что жив… В начале шестидесятых, когда вопрос о дуэли между Гумилевым и Волошиным стал менее актуальным, а Толстого в живых уже не было, надобность в нем как свидетеле отпала, и Ахматова к нему переменилась. Да и репутация у него была совсем не та. А за репутацией щепетильная и прагматичная Ахматова следила строго: ее друзья должны были оставаться вне подозрений.

Что же касается мнения Анны Андреевны о «Заговоре императрицы», то, в отличие от суждений о «Хождении по мукам», оно осталось неизвестным[63](«Я должна была с Людмилой сидеть в авторской ложе, со Щеголевыми. Когда мне сказали это, я очень жалела — значит, нельзя было бы выражать свое мнение…»{554}), но именно эта пьеса заставила ее саму отказаться от собственной поэмы под названием «Трианон»:

«АА говорит, что это поэма, что «тут и Распутин, и Вырубова — все были»; что она начала ее давно, а теперь «Заговор Императрицы» (написанный на ту же, приблизительно, тему) помешал ей, отбил охоту продолжать…»{555}

Наконец, и фантастический гонорар двух сочинителей, о котором пишут и Эйдельман и Белкин, не прошел мимо Ахматовой:

«Говорили о А. Толстом, о том, что он много авторских денег с «Заговора Императрицы» получает.

АА заметила, что это нехорошо, потому что «Алешка их пропивать будет…»{556}

На одной из таких пьянок у Толстого Ахматова присутствовала и была поражена грубостью мужской компании, состоявшей из артистов МХАТа и советских писателей от Федина до Замятина. «Качалов в присутствии АА сказал Толстому, указывая на АА: «Алеша, поцелуй ее…» — на что Толстой справедливо, хоть и грубо, возразил: «Не буду, она даст мне по морде…»{557}

А пропито у Алексея Толстого разным народом было действительно много, потому что уже в 1926 году граф писал Полонскому, жалуясь на безденежье: «Я буквально в эти дни погибаю. Уплата налога исчерпала мои средства»{558}.

«Я только что пережил страшнейший натиск фининспектора. 2 раза меня приходили описывать. Пришлось собрать отовсюду деньги и уплатить, и сейчас я общипан как рождественский гусь»{559}.

В этих эпистолах был свой расчет, от Полонского как главного редактора «Нового мира» Толстой хотел добиться более высоких гонораров и авансов, но, возвращаясь к замечанию Ахматовой про «Алешкино пьянство», можно было бы заключить, что репутация Толстого недалеко ушла за пятнадцать потрясших Россию лет с той поры, когда Кузмин называл нашего героя пьяной компанией и поглотителем рюмок.

На самом деле это было не совсем так. «Алешка» был не тот, что раньше. Сколько бы граф Толстой ни пил и ни ел, он принадлежал к тем людям, кто живет по принципу: «Пей, да дело разумей», — тем более что дела вокруг творились нешуточные и большевики относились к своему аристократу непросто.

Времена, в которые Толстой вернулся в Советский Союз, были относительно либеральными, в том числе и по отношению к тем, кто совершил «ошибочный шаг», покинув революционную Россию. Оценивая эмигрантскую литературу, Троцкий писал в 1923 году в книге «Литература и

революция»: «Некоторые, довольно впрочем неявственные признаки жизни обнаруживает Алексей Толстой. Но за это-то он и отлучен от круговой поруки хранителей твердого знака и прочих отставной, с позволения сказать, козы барабанщиков»[560].

Занятые во время болезни и после смерти Ленина политической борьбой советские вожди ослабили вожжи, но ненадолго, а потом снова продолжилось, по выражению Пришвина, «садическое совокупление власти с литературой», и вот уже в 1924 году появилась коллективная охранная грамота советских литераторов, где А. Толстой вместе с Катаевым, Пильняком (он и был автором текста), Есениным, Лидиным, Верой Инбер, Чапыгиным, Мандельштамом, Бабелем, Шишковым, Тихоновым, Вс. Ивановым, Ольгой Форш, Пришвиным и Мариэттой Шагинян заявляли о своей лояльности и обращались с просьбой к новому руководству не быть с ними чересчур строгими.

«Мы считаем, что пути современной русской литературы, — а стало быть, и наши, — связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живем и работаем, — ас другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основных ценности писателя. <…> Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас… Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен и полезен для нее»[561].

В ряду подписантов положение Толстого было едва ли не самое сложное. На нем лежало несмываемое клеймо сменовеховства. А между тем игра в эту историческую мечту закончилась. Как справедливо сказано в книге М. Агурского «Идеология национал-большевизма», «ненужное более сменовеховство было с презрением выброшено за борт. Оно сыграло свою роль перекладных лошадей, довезших партийную карету до следующей станции».

Сменовеховцы, таким образом, сделали свое дело, вернули в Россию тех, кого можно было вернуть, вернулись сами, и больше нужны не были. В них видели теперь скорее опасность: из внешних союзников советской республики, разлагавших изнутри эмиграцию, какими они были два-три года назад, они мало-помалу превращались в свою противоположность: потенциальных внутренних врагов. Те, кто предал старых друзей, могли предать и новых. Им не верили. Да и вообще у большевиков никогда не было единого мнения по вопросу о сменовеховцах, так что Толстой сильно рисковал, вступив сначала в эту партию, а вслед за тем, в их компании, на советскую землю и превратившись в заложника меж- и внутрипартийной борьбы.

Весной 1922 года на XI съезде ВКП(б), когда наш герой только начинал ссориться с эмиграцией и делал первые явные шаги в сторону большевиков, за использование сменовеховцев в интересах революции выступали Ленин и Троцкий, против — Антонов-Овсеенко, Скрыпник и Зиновьев. Казалось бы, первые сильнее, но не тут-то было. Зиновьев был настолько в те годы всемогущ, что изгнания из Петрограда Горького годом раньше ему показалось недостаточно, и в августе 1922-го, когда Ленин был уже болен, он снова обрушился на сменовеховцев, называя их квазидрузьями и утверждая, что они никогда не станут поддерживать коммунистическую партию. Весной 1923 года, когда Толстой окончательно собрался переезжать в Россию, в Москве проходил XII съезд партии, на котором к Зиновьеву в вопросе о сменовеховцах неожиданно присоединились Сталин и Бухарин. Как пишет М. Агурский, «съезд принял решение, где содержалась более враждебная оценка сменовеховства, чем на XII партконференции. В нем, в частности, говорилось, что «пережитки (великодержавного шовинизма)… получают подкрепление в виде новых сменовеховских велико-русско-шовинистских веяний, все более усиливающихся в связи с нэпом».

Таким образом, был сделан акцент на отрицательных чертах сменовеховства, не уравновешенный ссылками на его полезность».

Все это имело отношение и к литературе, и к так называемым писателям-попутчикам. В 1925 году ЦК принял известное постановление «О политике партии в области художественной литературы». Тогда же нарком просвещения А. В. Луначарский писал в своих «Тезисах о политике РКП в области литературы»:

«Гораздо более спорным является вопрос о ныне живущих старых писателях, обладавших в прежнее время порою довольно большой литературной известностью. Сюда относятся А. Белый, Замятин и Алексей Толстой и некоторые другие из старых писателей, целиком примкнувший к ним Пильняк, ими в значительной степени испорченный, серапионовцы и т. д. <…> В этой группе сменивших вехи писателей вряд ли можно найти хоть одного, который действительно сознательно делал бы свое литературное дело во имя революции. Можно сказать с уверенностью, что если бы дать им полную свободу слова, полную гарантию безнаказанности за все, что они ни писали бы, то из-под их пера вышли бы ужасающие нападки на весь наш строй и быт, которые конечно им самим субъективно казались бы самой настоящей художественной правдой»[{562}].

Вот так — не больше не меньше. И вдруг оказалось, что все, что сделал Толстой на благо русской революции и советской власти, все, из-за чего его подвергли бойкоту и остракизму в эмиграции, было оценено с недоверием, что он ничем не лучше мистика и теософа Белого, автора «пасквильного романа» «Мы» Замятина, серапионов и тому подобных подозрительных персонажей. Нужно было зарабатывать новые кредиты. Да плюс еще многие из тех литературных начальников, на кого Толстой рассчитывал как на своих союзников, и сами попали под подозрение.

«Положение Воронского, что эти крупнейшие «попутчики» могут, так сказать, построить главный хребет нашей послереволюционной литературы, совершенно неверно. Рекомендовать их в качестве учителей слога, манеры, подхода абсолютно невозможно. Даже наиболее приемлемый среди них и наиболее близкий к классикам Алексей Толстой относится к жизненному материалу с каким-то озорным легкомыслием. Его талант дает ему иногда возможность остроумно отметить какие-нибудь социальные взаимоотношения, но полное отсутствие теоретической подготовки или даже серьезной вдумчивости делает его произведения досадными, а положение, будто он может быть учителем наших новых писателей, странным. Таким образом, я никак не могу согласиться на оценку писателей-сменовеховцев как главного элемента нашей литературы»[{563}].

Это писал Луначарский, либерал, культурный человек, который вообще-то лояльно относился к сменовеховцам и только боялся, как бы они не вздумали, вернувшись в Советскую Россию, создавать свою политическую партию, и который в конце концов, отечески пожурив старых мастеров, закончил разбор их творчества милостиво:

«Писатели-сменовеховцы должны считаться очень ценным элементом литературы, не только им должна быть предоставлена свобода творчества, но и оказана известная поддержка, без которой в переживаемые нами годы писатель почти не может выполнять своих функций. В то же время, однако, эта группа должна рассматриваться как социально чужая нам группа, как эпигоны классиков, в значительной мере пропитанные соком буржуазного декаданса, наступившего перед революцией и на Западе и в России. <…> Сменовеховцы лицемерно или неумело подходят к требованиям нашей эпохи»[{564}].

Что было говорить о других, о том же РАППе? Еще в 1923 году, когда в Госиздате вышла книга

Алексея Толстого «Лунная сырость», в рапповском журнале «На посту» появилась рецензия следующего содержания:

«О творчестве А. Н. Толстого и К**0**, за последние годы, не стоило бы и говорить, если бы кой у кого не существовала наивная вера в возможность действительной «Смены Вех», — в сторону пролетарского строительства жизни, со стороны тех или иных буржуазных писателей. Для нас ясно, что всякие Толстые, как бы они ни меняли свои вехи, останутся бывшими писателями: новая жизнь — чужда их пониманию, а копаться в гнилом отребье прошлого — для нас бесполезно.

Указанная книга А. Н. Толстого довольно ярко иллюстрирует данное положение. Книга содержит четыре повести. Первая повесть, «Лунная сырость» (позднее названная «Граф Калиостро». — *А.В.*), является обыкновенным хламом: богатый помещик-холостяк всю жизнь сосредоточил в мечте о недосягаемой любви, навеянной ему портретом покойной троюродной сестры, которую он воскресил при помощи одного чародея, но не мог полюбить и поджег в спальне, а тихую радость нашел в жене чародея; разумеется, после многих бурь. Словом, повесть которую можно бы печатать в эпоху падения рыцарства, а не в наши дни. В повести «Актриса» та же любовь помещика, только без чудес и кончается самоубийством промотавшегося героя.

Две следующих повести так же связаны одной нитью: революция, эмиграция и мечтания эмигрантов. Конечно, все это дано в свете воздыхания о добрых старых временах и сдержанного ропота на революцию, безнадежность борьбы с которой очевидна. Приходится сожалеть, что подобная литература (с позволения будь сказано) издается Госиздатом»[{565}].

Известный левый критик Г. Лелевич писал о Толстом и его круге: «Остатки буржуазной дворянской литературы, продолжающие доживать свои дни за границей, все больше просачиваются в СССР и воссоединяются с отдельными внутренними эмигрантами. Эта литература во всех своих оттенках — от явно контрреволюционных (Гиппиус, Бунин, Мережковский и др.) до кающихся дворян (Ал. Толстой) и кающихся и некающихся мистиков (Андрей Белый) — враждебна рабочему классу и не может не встретить самого резкого отпора со стороны партии».

Возвращение Толстого в Россию заставило недругов укротить ярость, но не изменило отношения к нему в корне. В 1926 году еще один из рапповских идеологов Г. Горбачев писал: «Однако, далеко не так легко рядовому читателю-партийцу или беспартийному, доверяющему в своем ознакомлении с литературой распространеннейшим и «авторитетнейшим» специально литературным советским журналам «Красной Нови», «Печати и Революции», «Новому Миру», не легко ему увидеть действительное развитие современной русской литературы. На деле происходит рост пролетарской литературы, и предвиденная резолюцией ЦК «дифференциация попутчиков», из которых левое крыло подпадает под все большее влияние пролетарской литературы и художественно крепнет, а правое — «формирует идеологию новой буржуазии», явно обнаруживая себя, как писателя «сменовеховского толка» (говоря словами резолюции ЦК), и одновременно снижает свое творчество до уровня потребностей нэпмановской улицы с ее страстью к бессмысленному авантюризму, грубой эротике, дешевому цинизму и надсмехательству над революцией, приправленным розовым сентиментализмом (Ал. Толстой «Заговор императрицы», «Гиперболоид инженера Гарина», «Азеф»; Эренбург: «Любовь Жанны Нэй», «Рвач»; Замятин: рассказы из «Новой России», Булгаков и т. д.). Но все это ни в коем случае не будет видно тому читателю, который, доверившись тт. Воронскому и Полонскому, станет глядеть на литературу через очки их журналов»[{566}].

Толстой, таким образом, снова оказался в компании с ненавистным Эренбургом, с

сомнительными Булгаковым и Замятиным, и все это было крайне дурным знаком. Конечно, РАПП не был официальным рупором партии. Партия-то как раз в своей резолюции от 1 июля 1925 года по вопросу политики в области художественной литературы взяла попутчиков под защиту, но партия штука ненадежная: сегодня поет одно, завтра — другое, тем более что в августе 1925 года, то есть чуть больше месяца спустя после принятия резолюции ЦК, Зиновьев затеял новый поход против сменовеховцев и национал-большевиков, и, хотя его главной мишенью был харбинский профессор Устрялов, косвенно это могло задеть и Толстого.

В 1926 году был закрыт журнал «Россия», а его главный редактор Исайя Лежнев, пользовавшийся репутацией внутреннего сменовеховца, выслан за границу. Толстого едва ли грела перспектива последовать за ним, и задача писателя заключалась в том, чтобы отмазаться от сменовеховства и из правых попутчиков перекинуться в левые, из буржуазных в промежуточные, но для этого нужно было изменить отношение не только к государственному строительству, но и к революции. Идеология писем что Чайковскому, что Чуковскому более не работала. Самостоятельность мышления и разговор на понятном эмиграции языке исключались. О симпатиях к идеям национального возрождения и патриотических чувствах лучше было помолчать, чтобы не быть заподозренным в буржуазности. Позднее в «Автобиографии» Толстой писал: «Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа».

Но покуда ни троцкисты, ни РАПП разгромлены не были, требовалось переходить на новояз так же, как перешли на новую орфографию. В середине двадцатых Толстой сообразил это не сразу и по инерции продолжал делать то же, что и раньше — иронизировать над своим. Недаром у рапповского критика встречается то же самое слово, что и в письме поэта Александра Блока: надсмехательство. Вот чего не могли простить Толстому ни символисты, ни пролетарии.

Толстой защищался и отказывал своим новым оппонентам в литературной состоятельности: «За восемь лет революции еще не создано пролетарского искусства. По этому поводу много было изломано перьев и много сказано кинжальных слов. Художников обвиняли в тайных пристрастиях к буржуазности, в нежелании понимать, что революция совершилась и возврата нет. Был поднят вопрос о личности в искусстве, — одни обрушивались на личность даже там, где ее участие необходимо, другие защищали ее права на утверждение даже там, где она вредит делу. Одно время можно было опасаться, что восторжествует формула: «Если зайца бить, он сможет спички зажигать». Это междоусобие окончилось резолюцией ЦК.

Как безусловно и неумолимо человечество пройдет через революцию пролетариата, так литература неотвратимо будет приближаться к массам. Но это процесс долгий и сложный. Здесь весь секрет в том художественном процессе, который я назвал первым, — в наблюдении и обобщении. Здесь зайцу битьем не поможешь»[{567}].

Однако ж все равно били. Пусть не так больно, как Булгакова или Замятина, а позднее Платонова и Пильняка, Клюева и Клычкова, пусть без обысков ЧК и запретов на публикацию, но поколачивали. И повелось еще с «Аэлиты», из истории с которой Толстой не \сделал должных выводов. Он только начинал жить в Советском Союзе и, как справедливо пишет Вс. Ревич, «еще не вполне усвоил правила игры. Его попытка сделать небольшой шажок в сторону от ортодоксии и отдаленно не предполагала преступного замысла. Но не спасал даже крепнущий с каждым годом официальный статус Толстого. При появлении «Аэлиты» на поле критические судьи немедленно вытаскивали красную карточку. Так, скажем, в журнале «Революция и культура» можно было встретить такие оценки приключенческой литературы:

«…Империалистических тенденций своих авторы (Ж. Верн, Г. Уэллс, Майн Рид и т. д. — *В.Р.*) не скрывали и разлагали ядом человеконенавистнической пропаганды миллионы своих юных читателей… Традиции приключенчества в литературе живучи. За советское время написан целый ряд романов, аналогичных по духу своему майнридовщине. К такому роду творчества руку приложил даже маститый Алексей Толстой. И вред от этих романов вряд ли меньший, чем от всей прежней литературы авантюрного толка… У этих романов грех, что они возбуждают чисто индивидуалистические настроения читателя… и отвлекают его внимание от действительности то в межпланетные пространства, то в недра земные, то в пучины морей…» (И не понять, какая же природная обстановка устроила бы автора статьи?) А вот другой гособвинитель из этого же журнала: «В отношении же идеологии у Толстого дело обстоит настолько печально, что его романы лишь условно (по месту и времени появления) можно отнести к советской фантастике…»[{568}]

Нужно было чистить идеологию, учиться в совпартшколе, и Толстой послушно выполнял домашние задания. Для начала он почистил «Аэлиту». В первом ее издании красноармеец Гусев говорит о себе:

«У Махно был два месяца, ей-Богу. На тройках, на тачанках гоняли по степи, — гуляй душа! Вина, еды — вволю, баб — сколько хочешь. Налетим на белых, или на красных, — пулеметы у нас на тачанках, — драка. Обоз отобьем, и к вечеру мы — верст уж за восемьдесят. Погуляли. Надоело, — мало толку, да уж и мужикам махновщина эта стала надоедать».

В последующих изданиях разгул с вином и бабами выносился за скобки, и прилетевший устанавливать на Марсе советскую власть боец говорил о своем прошлом скупее: «У Махно был два месяца, погулять захотелось… ну, с бандитами не ужился…»

Сама революция также преподносилась Толстым совершенно иначе, чем прежде. Ничего подобного тому, что писал он Андрею Соболю о выворачивании России наизнанку, о мерзости и ужасах революции, о том, что «рассматривание революции как начала морального, в особенности романтизирование ее — есть ложь и зло», больше не было. Наоборот, ученик Вячеслава Иванова и Брюсова, товарищ Гумилева и Волошина, единомышленник независимого интеллектуала профессора Устрялова писал теперь как первый ученик другой уже школы захлебывающимся романтическим слогом и с прописными буквами:

«Революцию одним «нутром» не понять и не охватить. Время начать изучать Революцию, — художнику стать историком и мыслителем. Задача огромная, — что и говорить, на ней много народа сорвется, быть может, — но другой задачи у нас и быть не может, когда перед глазами, перед лицом — громада Революции, застилающая небо»[{569}].

Лукавил? Врал? Лицемерил? Играл. Толстой мог исполнить любую роль и придумать для себя любое происхождение. Но вместе с тем он пытался учить, как литературный спец (сменовеховцы недаром в качестве спецов советской властью и рассматривались), и предлагал учредить в молодой советской литературе новый критический метод — монументальный реализм:

«Герой! Нам нужен герой нашего времени. Героический роман.

Мы не должны бояться широких жестов и больших слов. Жизнь размахивается наотмашь и говорит пронзительные, жестокие слова.

Мы не должны бояться громоздких описаний, ни длиннот, ни утомительных характеристик: монументальный реализм! Взгромоздим Оссу на Пелион»[{570}].

Если учесть, что это писал человек, только что создавший «Ибикус», ерничество Толстого слишком очевидно и как будто предвосхищает речи Остапа Бендера про автопробег по бездорожью. Но вместе с тем проговаривались и вещи серьезные, например излюбленная толстовская идея о значении жеста:

«Опыт прошлого слишком велик, чтобы вновь повторять истины: жест рождает слово, слово — форму (стиль), форма предопределяет содержание. Задача писателя, заряженного определенным идеологическим содержанием, найти первооснову художественного произведения, то есть верный жест.

Вот этого как раз и нет за немногими исключениями в современной урбанической литературе: она идет не от жеста, вернее, жест взят не тот, не верный. И отсюда — неверный язык, стиль, чуждый пролетарскому читателю, сухая оголенность идеологии, общая надуманность всего произведения.

Недавно прочел деловое описание мастерской на заводе; оно начинается фразой: «Розовые пальцы рассвета обшаривали звонкую тишину токарной мастерской» и т. д. Откуда это? — подумалось мне. И вспомнил: «Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко звучной тишине» (Брюсов, девяностые годы)»[{571}].

Последнее ему было особенно близко. Пользуясь отрицательным отношением большевиков к буржуазной культуре прошлого, писатель с удовольствием занимался тем, что пощипывал Серебряный век в духе неопубликованного «Егора Абозова». Сводить счеты с тем временем, когда Толстого вытуривали из Петербурга в Москву и относились свысока, теперь было и безопасно, и полезно, и приятно:

«Веселое время был петербургский сезон.

Начинался он спорами за единственную, подлинную художественность того или иного литературного направления.

Страсти разгорались. Критика пожирала без остатка очередного, попавшего впросак, писателя. К рождеству обычно рождался новый гений. Вокруг него поднимались вихрь, ссоры, свалка, летела шерсть клоками.

Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочки беллетриста. Щелкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями.

В грозовой атмосфере модные писатели писали шедевры, швыряли их в общую свалку. Каждый хотел написать неслыханное, по-особенному.

Шумели ротационные машины. Шумно торговали книжные лавки. Девицы бросались с четвертых этажей, начитавшись модных романов. Молодые люди принципиально отдавались извращениям. Выпивалось море вина и крепкого чая. Публика ломилась в рестораны, где можно было поглядеть на писателей. Колесом шел литературный сезон.

Иные, желая прославиться, мазали лицо углем, одевались чучелой и в публичном месте ругали публику сволочью. Это тоже называлось литературой. <…>

После революции 1905 года лицо читателя сделалось зыбким, совсем расплывчатым. Приходится его начисто выдумывать.

Так Леонид Андреев придумал себе читателя — крайне нервное, мистически-мрачное существо

с расширенными зрачками. Он, Андреев, шептал ему на ухо страхи и страсти.

Так Иван Бунин представлял себе русского читателя брезгливым, разочарованным скептиком (из разорившихся помещиков), злобно ненавидящим расейские грязи и будни.

Писатели помельче недолго держались за суровые брови Льва Толстого»[572].

Алексей Толстой посмеивался над своими обидчиками, как смеялся, сидя на сосне, Буратино над Карабасом-Барабасом, и кидался шишками, держась за ветки и ствол дерева, под которым росли разнообразные грибы.

«За последние десять лет русская литература была тем грибным делом, которого не запомнят старожилы. Школы, направления, кружки выскочили на ней в грибном изобилии.

Еще до войны появились футуристы, — красные мухоморы, посыпанные мышьяком. Их задача была героична: разворочать загнившее болото мещанского быта. Они разворотили. Лезли чахоточные опенки, выродки упадничества, последыши с их волшебным принцем Игорем Северяниным. Выскочили плесенью, какая бывает в старых пнях, поэты, принципиально не желающие говорить на человеческом языке. После ливня революции полезли крепкие пунцовые сыроежки — имажинисты, притворившиеся чудовищно ядовитыми. Был и такой гриб, что жуть берет в лесу: гриб не гриб — черт знает что такое. Наконец пошел боровик, новый романист-бытописатель. Сорвешь его — совсем как боровик, но и не боровик, ни белый, ни красный.

И вот, как будто изобилие, но лукошко почти пусто. Где же литература? Одни разрушали, другие изумляли, третьи — силились подняться вровень эпохе, четвертые — принялись описывать то, что мы видим каждый день своими глазами.

Но ведь над страной пронесся ураган революции. Хватили до самого неба. Раскидали угли по миру. Были героические дела. Были трагические акты. Где их драматурги? Где романисты, собравшие в великие эпопеи миллионы воль, страстей и деяний?

Я вижу несколько молодых поэтов, коснувшихся кончиками пальцев купола нынешних времен. Но разве не сто поэтов, сто романистов, сто драматургов должны были выдвинуться в наши дни?

Или время изобилия еще не настало? Я верю — оно придет. Но все же причина скудности в каком-то основном изъяне»[573].

Можно почти не сомневаться, что Толстой хохотал, пиша эти строки, и ни во что кроме себя самого не верил. Во всяком случае, в сотню поэтов-романистов-драматургов не верил точно, ибо знал, что литература — дело штучное. Он валял дурака, насмешничал, строил рожицы, а когда надо, делал кувшинное рыло и говорил «есть!», — но ни за домашние задания, ни за поучения, ни за мемуары, ни за прогнозы, ни за насмешки денег не платили. Платили за театр и прозу, и основное желание советского графа было писать успешные романы и зарабатывать деньги, чтобы жить не хуже, чем до громадной, застлавшей небеса Революции. Однако его простодушное человеческое стремление не находило поддержки ни у правых, ни у виноватых.

«В «Красной нови», где напечатаны «Родники», все серо: советский граф Толстой пишет моторные романы, гонит монету»[574], — скупо отмечал в дневнике Пришвин.

«В седьмой книге рабоче-крестьянский граф Алексей Толстой начал печатать тоже бульварный

роман. Это очень жаль»[{575}], — сообщал одному из своих корреспондентов Горький.

«Толстой пробовал несколько желтых жанров. Он пробовал желтую фантастику — провалился»[{576}], — записывал в дневнике слова Тынянова Корней Чуковский.

Все эти записи относятся ко второму «научно-фантастическому» роману Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», действие которого происходило на этот раз не на Марсе (великое противостояние свою актуальность потеряло), а на Земле, но зато нашу планету автор охватил с присущим ему размахом — Россия, Европа, Америка, острова в океане, Камчатка, двойники, агенты, миллионеры, погони, подкупы, переодевания, яхты, дворцы, голые женщины, сутенеры, убийства, взрывы — весь джентльменский набор шпионского чтива, в котором попадались, впрочем, и неплохие страницы, и удачные образы. Особенно женские, такие, как красавица Зоя Монроз, которая говорит о себе: «Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива… я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью». Эта женщина, чей образ как будто предвосхищает Ольгу Зотову из «Гадюки», покоряет всех — от уличных актеров до миллионеров, но кроме как в самом романе поклонников у нее не нашлось.

«Гиперболоид инженера Гарина» Ал. Толстого образец плоского и лишенного всякого общественного содержания детектива, — свидетельствует о невысоком уровне требований, которые предъявляет редакция «Красной Нови» к писателям, не грешащим революционностью. <…> Не имеют никакой общественной ценности ни рукодельно-красивая «Юность Алпатова» Пришвина, ни протокольно-натуралистическая «Жестокость» Сергеева-Ценского. Наряду с этими центральными вещами «Нового мира» — там же помещены идеологически сомнительные и художественно-легковесные вещицы Ал. Толстого и Соколова-Микитова»[{577}], — утверждал Горбачев, попадая в унисон что с Горьким, что с Тыняновым, что с критикуемым им же Пришвиным.

Позднее «Гиперболоид инженера Гарина» наряду с «Аэлитой» стал одной из самых популярных книг Алексея Толстого. Его неоднократно издавали, по нему снимали фильмы, извлекая из романа немало ярких образов и остроумных сюжетных ходов, но для середины двадцатых годов с точки зрения пролетариев все это смотрелось слишком буржуазно, а с точки зрения людей серьезных — низкопробно. Толстой не угодил никому, а значит, надо было искать что-то более подходящее и отвечающее требованиям эпохи.

Трудовой граф в этом смысле совсем не походил ни на Андрея Платонова, ни на Михаила Булгакова, не желавших или, скорее, не способных изменить свою творческую манеру в угоду времени. И если бы ему сказали, что его ждет путь непризнания, непечатания при жизни, бедности, гонений, но зато и посмертная слава, как у них, едва ли бы он на такое согласился. На такой обмен вообще, наверное, мало кто из писателей согласится, но Алексей Толстой в приспособляемости к обстоятельствам и жажде хорошо жить был чемпионом. Даже если принять точку зрения Агурского, отрицающего оппортунизм Толстого, нельзя не признать правоту Бунина: Толстой как никто хотел денег и признания здесь и сейчас, как никто прикладывал к этому все мыслимые и немыслимые усилия и оттого постоянно менялся. В двадцатые годы, когда в русской литературе продолжался грандиозный эксперимент и поиск большого стиля, граф метался. Его проза этой поры отмечена невероятным разнообразием. О ком и о чем он только не писал. Фантастика, история, пьесы, сценарии, очерки, статьи, и вместе с этим — попытка понять эту новую страну, пропустить ее через себя и стать ее автором.

«Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским

билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо: он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914–1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему»[{578}], — вспоминал Варлам Шаламов, хотя журналистика Толстого середины двадцатых была ненамного лучше его беллетристики.

В 1924 году Толстой совершил поездку по Белоруссии и Украине, откуда привез рассказ «Голубые города». В нем тоже есть фантастический элемент, но он несколько ослаблен по сравнению с реалистической канвой событий. Главный герой Василий Алексеевич Буженинов — бывший красноармеец, который «семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции», воевал везде где можно, был несколько раз ранен и чувствовал себя на войне нужным и полезным человеком. Однако война закончилась, фантастический бег остановился, началась новая жизнь, которую надо как-то жить, и в этой жизни победитель Гражданской войны терпит фиаско.

На первый взгляд обращение Толстого к такому сюжету не менее странно, чем к планете Марс. О людях Гражданской войны, о бойцах Красной армии логично было писать Фурманову, Фадееву, Гайдару, Вс. Иванову или Бабелю, то есть тем, кто войну прошел и мог сравнить ее с нэпом, кто на своей шкуре испытал психологическую ломку, но что мог понимать в этом чисто советском сюжете эмигрант Толстой? Тем не менее каким-то особым чувством он понял, что это пойдет, это ко времени и ко двору, и сотворил свой опус путем не столько внутренних переживаний, сколько домысливания. Может быть, поэтому его герой по мировоззрению оказался мечтателем и в будущее смотрел абстрактно-утопически:

«Возврата нет, старое под откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей земле наши братишки догнивают, — построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады… Для себя теперь строим… А для себя — великолепно, по-грандиозному…»

Но по образу жизни Буженинов, скорее, герой платоновского склада. Такие чудаки, мечтатели, бывшие красноармейцы и бродяги, девственники и философы встретятся потом в «Чевенгуре» или «Реке Потудани». Толстой же знал эту породу людей приблизительно и писал о ней скупо, наугад: «Одно время, говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда».

Герой мечтает о будущем: «Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стариком, правительство включило меня в «список молодости». Попасть туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сделано «полное омоложение» по новейшей системе: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез».

Не то Булгаков с «Собачьим сердцем», не то опять же Андрей Платонов, у которого в его ранних рассказах тоже была фантастика, но не такая рациональная и плоская, без лобового столкновения мечты и действительности. Толстой изо всех сил напирает на контраст между грезами Буженинова и окружающим его миром — захолустным русским городом середины нэпа. В этом городе жизнь скучна, уныла, главное место в нем — рынок, единственная пивная называется «Ренессанс», милиционера рыночные торговки зовут «снегирем», и на толстовского героя край, где не было революции, наводит такой же ужас, какой, вероятно, на самого автора во время его славянского турне наводили Гомель или Могилев. В «Голубых городах» вообще чувствуется взгляд гастролера, мечтающего поскорее унести ноги оттуда,

куда он отправил своих марионеток.

«Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здрравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете прредпрринять?»

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом — погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти — вернуться, скрипнув калиткой… вытереть ноги о рогожку на крыльце… И у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать».

Или картина торга, который доведенный до отчаяния Буженинов в конце рассказа подожжет:

«Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы в рогожных палатках, задирал ухо собачонке, сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

— Почем веники?

— Два миллиарда, — сердито ответила баба».

Такой вопрос вполне мог задать из любопытства и сам путешествующий на манер графа Калиостро Алексей Толстой, а потом сообщить своему герою крамольные мысли:

«Взрыв нужен сокрушающий… Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина… Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел».

С одной стороны обыватели, нэпманы, утевкины, веники, с другой — советский декадент Буженинов и голубые города в туманной дымке будущего. Новые конфликты новой действительности, при том что невыносимо убогими оказываются обе стороны. Мечты Буженинова стоят действительности «Ренессанса», и даже у не самого проницательного читателя мог возникнуть вопрос: а стоило ли вообще устраивать революцию и проливать реки крови, если к этому все пришло и так кончилось? И откуда пойдет в таком случае национальное возрождение, когда это слово в итальянском переводе, словно в насмешку над своим, национал-большевистским, отдано пивной?

Вероятно для того, чтобы себя от таких посылов обезопасить, Толстой вводит в текст рассказа еще одного героя, который отражает правильную, комиссарскую точку зрения на происходящее.

«Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, — этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи, во весь голос — романтика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг — трудно: полета нет — будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова. Революция — это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос

должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь — ни железной, ни огненной. Оно въедчивое. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов, — если хотите, соглашусь, — наше время трагическое…»

Что делает такой комиссар Хотиянцев в этом городе, неясно, никакой сюжетной роли в рассказе он не играет, но зато призван выразить авторскую позицию, хотя бы и изложенную языком полуграмотного большевика. Да и язык этот весьма условный, подражательный, как условен сам Хотиянцев, взятый напрокат у пролетариев (за исключением разве что взвившегося рыжего коня, позаимствованного из Апокалипсиса). И по-настоящему толстовское в рассказе не эта дешевая политграмота, а одна-единственная фраза, которая и выражает идею «Голубых городов»: «Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе, — так по крайней мере объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотиянцев».

Объяснял, да только герой ничего не понял и оказался, как сказала бы Раневская из «Вишневого сада», ниже любви. И драма его не в том, что никому не нужны «голубые города», и не в том, что кончилась война и настал «нэп», а в том, что он не смог совладать, овладеть девушкой, в которую влюблен. Поражение красноармеец Буженинов терпит не от нэпа, а от своего мужского бессилия, от отсутствия в нем той жизненной силы, которая есть в других. В обывателях. А значит, и правды в нем никакой нет.

Сама же барышня Надя выглядит отчасти пародией на Дашу из «Хождения по мукам». Та же коллизия — девушка на пороге расставания со своей невинностью. Но если девственность Даши Толстой называл здоровой и она определяла нравственное чувство его героини, то здесь он следует в традициях не то весьма раскрепощенной литературы двадцатых годов, где «вся революция пропахла половыми органами Ордыниной» (знаменитая фраза из романа Пильняка «Голый год»), не то собственным опытам заволжского цикла.

«Всего хотеть — хотелок не хватит», — говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка — все это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно страстную любовь с молодым женатым доктором». Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывает меня омут, июньские дни», — и отчего-то — не страшно».

Вот и затянул. И ее, и Буженинова, и кончилось все совращением девушки в духе «Недели в Туреневе», убийством и поджогом целого города и пролетарским судом над поджигателем. Художественно неубедительно, идейно плоско и беззубо — новая действительность Толстому не давалась. Он уступал и Бабелю, и Зощенке, и Пильняку, не говоря уже о Булгакове и Платонове. Середина двадцатых годов в этом смысле вообще была по сравнению с предшествующим и последующим периодом его литературной деятельности неудачной. Рабоче-крестьянский граф не мог найти себя и заговорить своим голосом.

И все же эта довольно примитивная и внятная социальная проза была по-своему успешной или

по крайней мере на том фоне заметной. Луначарский, который еще недавно отказывал Толстому в революционном доверии, упомянул его в «Правде» в числе писателей, «являющихся безусловно вспомогательным отрядом революции»[{579}]. А в статье «На фронте искусства» развил эту мысль: «Так, например, такой большой писатель, как Алексей Толстой, не будучи ничуть коммунистом и не зачисляемый многими даже в разряд попутчиков, не только дает безотносительно интересные литературные произведения (в наше время бестенденциозное искусство должно быть отнесено к низшему разряду развлечений), но часто волнующе ставит в художественной форме проблемы дня. Это, например, сделано в превосходном рассказе «Голубые города»[{580}].

Рапповская критическая мысль также Толстого вниманием не обошла, но с Луначарским не согласилась и продолжала верстать Толстого под литературного сменовеховца.

«За последнее время успешно формируется, говоря словами резолюции, «идеология новой буржуазии среди части попутчиков сменовеховского толка». Мы читали не только наглые статьи и фельетоны Устрялова, проповедующего, что «сменовеховцы, превратясь в наканунцев, стали коммуноидами… объективно исторически и коммуноиды имеют свой смысл, своей мимикрией приносят пользу… Мы видели тонкие «для посвященных» написанные статьи Лежнева, проповедующего сдачу деревни кулаку, постепенную передачу госпромышленности частному капиталу и переход власти к разбольшевиченным коммунистам в союзе с беспартийными буржуазными интеллигентами.

Идейным заданием этой литературы является доказать неизбежность буржуазного перерождения нашей революции, реставрации у нас капитализма, неизбежность разложения коммунистической партии, осмеять эпоху военного коммунизма; провозгласить сущностью нашей революции нескончаемый, возведенный в вечную категорию, нэп; всячески издеваться над марксизмом, ленинизмом, над коммунистическим идеалом разумно организованной жизни. Именно, выполняя задание буржуазного реставраторства, Эренбург, предсказавший в «Тресте ДЕ» капитализацию Москвы, а в «Николае Курбове» — гибель коммунистов под разлагающим влиянием нэпа, пишет «Рвача», — самый откровенно контрреволюционный из своих романов, на днях, по сообщению ленинградских газет, издаваемый нашим смекалистым Гизом, хотя и с предисловием Когана <…> Ал. Толстой в «Голубых Городах» пытается доказать безнадежность попыток революции завоевать варварский русский уездный город»[{581}].

Устрялов, Лежнев — знакомые все лица. И снова Толстой идет рядом с Эренбургом. Их как будто нарочно из года в год увязывали друг с другом и видели у них общее — издевку над коммунизмом, насмешку над своим и тайное желание буржуазной реставрации в России. Скорее всего, так и было, для людей Серебряного века, какими все же были Толстой с Эренбургом, для тех, кто пожил за границей и был способен сравнить два образа жизни, слишком очевидно было интеллектуальное убожество новой культуры, и хотя умом они пытались ее принять и ей служить, у Эренбурга бастовало воспитанное Парижем эстетическое чувство, а у Толстого протестовало талантливое русское брюхо. Это брюхо корчилось, ныло, его раздувало, щемило, пучило, оно требовало очистки, и, тем яростнее раздувая щеки, красный граф лепил в своей публицистике:

«На нас, русских писателей, падает особая ответственность.

Мы — первые.

Как Колумбы на утлых каравеллах, мы устремляемся по неизведанному морю к новой земле.

За нами пойдут океанские корабли.

Из пролетариата выйдут великие художники.

Но путь будет проложен нами»[{582}].

Если сопоставить этот пафос с унынием «Голубых городов», противоречие получается абсурдное. Какой путь, какие художники? Куда плывете вы, ахейские мужи? Опять жирная насмешка над своим, и ничего больше.

Но руки у графа не опускались, что такое творческие простои, он не знал и продолжал писать, писать, писать, оправдывая прозвище «трудовой» куда более успешно, нежели «красный» или «рабоче-крестьянский».

«В журналах печатались «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером. Но все напечатанное до «Гадюки» встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы, в сущности, ни о чем. «Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности. Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал»[{583}].

Рассказ «Гадюка», о котором пишет Варлам Шаламов, часто ставят в один ряд с «Голубыми городами», и в общем это справедливо. Там тот же конфликт: Гражданская война и нэп, только теперь главным героем оказывается не мужчина, а женщина. А их Толстой умел чувствовать и писать лучше. Может, поэтому и рассказ получился куда более интересный и значительный. И почти без насмешки.

Композиционно он несколько напоминает историю про мечтателя Буженинова — в обоих произведениях совершается преступление, и там и там все оканчивается судом над героем Гражданской войны, но охват событий намного шире и исторический фон позамысловатей.

Главная героиня рассказа Ольга Вячеславовна Зотова — дочь богатых купцов, старообрядцев, погибших в результате бандитского налета в 1917 году. Девушка чудом остается жива и оказывается сначала между белыми и красными, а потом, обиженная первыми, уходит ко вторым и получает от них свое ласковое прозвище.

«Должен вам сказать, — повторял он ей для бодрости, — живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...»

Он — это красный командир Емельянов, в которого Оля влюбляется сразу и бесповоротно и ради которого прошлое от себя отрезает. Или прошлое отрезает ее от себя — сюжет, через который прошла половина страны. И убитый гимназист с маленькими ножками тут очень символичен, может это тот, с кем она танцевала и который был в нее влюблен.

Судьба Оли Зотовой чем-то напоминает извилистый жизненный путь Зои Монроз из «Гиперболоида», только попадает прошедшая огонь и воду девушка не к белым, а к красным, не к миллионерам, а к пролетариям, и, быть может, оттого женская судьба ее оказывается несчастливой. Она становится бойцом рабоче-крестьянской армии, ее руки, созданные для игры на фортепиано, выучиваются держать клинок и разрубать лозу, ноги, обученные танцевать, привыкают сжимать бока лошади, которая слушает ее, как овечка; а сама она знает

политграмоту и может бойко и без запинки ответить на вопрос: «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» — «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...»

Поверить в такую деградацию русской гимназистки из благочестивой старообрядческой семьи нелегко, но надо, потому что иначе рухнет вся конструкция. А главное, что все это в голове, в сердце же у Ольги — любовь неразделенная. Только никто, кроме нее и ее любимого, этого не знает.

«В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой».

А ей хотелось быть сестренкой, и даже не сестренкой, а невестой, женщиной, женой. И Толстой изображает ее очень женственной: «Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы».

Это совсем не то, что у едкого Булгакова в «Собачьем сердце», где встречается товарищ, одетый как и остальные пролетарии, но поменьше ростом и помоложе на вид:

«— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых — персикового вида.

— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?..

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор...»

Оля любит Емельянова, а он любит революцию, и для иной любви в его сердце места нет. Она мучается, не находит выхода для своего женского естества, ревнует его, а потом он на глазах у нее погибает, так и не подарив ей своей любви, и с его смертью теряет всякий смысл ее жизнь. Нечто похожее — девушка, любовь и Гражданская война — будет у Лавренева в «Сорок первом», и хотя там вспыхнет любовь между врагами, но — именно любовь. А у Толстого — оба товарищи, но нет любви. И опять, как в «Голубых городах», вьется подводная мысль: где нет любви, там и правды нет. И счастья нет. И по-женски лавреневская Махрютка, вынужденная застрелить своего любимого, Говоруху-Отрока, оказывается счастливее Ольги Зотовой, которая так и останется революционной девой до конца своих дней.

«Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища

болтались на ней, как на скелете, — пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать».

Она доходит до Тихого океана, но там заканчивается поход, и как жить дальше — непонятно, ибо Ольга с этой войной сроднилась, стала ее женой, сестрой, подругой и к мирной жизни готова еще меньше, чем недоучившийся архитектор Буженинов. Однако, в отличие от Василия Алексеевича, Ольгу и автору, и читателю гораздо жальче. Буженинов своими мечтами и сексуальной неудовлетворенностью раздражает, Оля Зотова — девушка с именем героини «Обломова» и «Душечки» — вызывает сострадание.

«Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»…»

На этом можно было бы поставить точку, но Толстой сталкивает свою героиню с нэпом.

«Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, — Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной… В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны».

Дальнейшее несколько предвосхищает известный советский фильм «Служебный роман» — собственно, именно у Толстого, возможно, и позаимствовали главный сюжетный ход драматурги эпохи застоя — Ольга пытается преобразиться, но вместо кинокомедии эпохи застоя выходит нэпманский жестокий романс.

«В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.

— Елки-палки, — сказал он, — это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы… руки отмыла от чернил, — одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком.

— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и

шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу».

Но счастья это превращение ей не принесло. Тот, кто положил на нее глаз, оказался пошляком:

«— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо… В ударном порядке… Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность… Романтику всякую там давно пора выбросить за борт… Ну — вот… Предварительно я все объяснил… Вам все понятно…

Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула, — она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед не лезь, не спросившись, дурак, — сказала она».

А тот, кого полюбила она, презрительно ее отверг, и кончилось все пулей, выпущенной Ольгой в свою соперницу — хорошенькую мещаночку, у которой не было ни кержацкой крови, ни военной пыли на сапогах, ни глубокой любви — а деловитая сексуальность нэпа.

В тридцатые годы советские женщины развлекались тем, что устраивали открытые суды над Ольгой Зотовой. Выбирали обвинителя, выбирали адвоката, судью и начинали по косточкам разбирать — права красная девушка или нет. Толстой даже вынужден был оправдываться и утихомиривать их. Отвечая 12 апреля 1935 года читателям, он писал: «…товарищи ошибаются, упрекая меня в том, что я не захотел до конца перевоспитать Ольгу, поднять ее до высоты, когда она знала бы, за что дралась в 1919 году, когда в годы нэпа она сознательно пошла бы на партийную работу, когда задачи революции стали бы для нее выше ее личных дел.

Я нарочно написал Ольгу такой, какая она есть. Не нужно забывать, что литература: 1) описывает типичных живых людей, а не идеальные абстрактные типы (Ольга была одним из живых типов эпохи нэпа. Сейчас таких людей уже нет) и 2) что время, в которое Ольга совершила свое преступление, было до начала пятилеток, то есть в то время, когда не началось еще массовое перевоспитание людей.

Для перевоспитания людей нужно изменить материальные и общественные условия. Не забывайте, что в эпоху нэпа был еще жив и кулак, и единоличник, и купец, и концессионер. И перед всей страной не был еще поставлен конкретный план строительства бесклассового общества… Тогда такой, как Ольга, легко было соскользнуть к индивидуализму»[{584}].

А потом случилась другая война и стало не до индивидуалистки Ольги Зотовой, и прекратились суды над ней, но «Гадюка» не забылась. В наше время рассказ Толстого неожиданно оказался востребованным по иным причинам: за него ухватились феминистки. И надо признать, довольно удачно. Вот что пишет главный редактор женского журнала «Преображение» Елена Трофимова:

«Сюжетно повесть Алексея Толстого представляет рассказ о двух революциях: революции внешней, социальной и революции внутренней, которая меняла общую психологию общества и затрагивала основополагающую систему ценностей, в том числе и отношения полов. Между

этими слоями существует прямая связь, придающая происходящим переменам особую остроту и драматизм, поскольку столкновение идей и сил сопровождается коренной ломкой прежних жизненных традиций и человеческих судеб. Однако из множества явлений и процессов, сопровождавших революционную эпопею, Алексей Толстой выбрал частный аспект, связанный с таким феноменом, который можно условно назвать «революционный трансвестизм». <…>

Походы, жизнь среди солдат, постепенное подчинение коллективистской идеологии — все это способствовало превращению барышни Зотовой в красного кавалериста товарища Зотову. <…> Ольга Вячеславовна достигла уровня мужчины и «стала человеком» в понимании аристотелевском, где мужчина — мера вещей, а женский — «слабый» — пол есть лишь материал, коему придает форму господствующий мужской ум и воля. Война, несомненно, является высшей степенью проявления агрессивного характера существующей цивилизации. Именно в это время женщина наименее защищена и в наибольшей степени подвергается всякого рода насилию и влиянию. Жизнь Зотовой в эскадроне, ее стремление слиться с солдатской массой, трансформация ее имиджа под товарища-бойца были результатом маскулинистской идеологии, которая усиливалась культом насилия, царившего кругом. Хотя подлинная драма женщины, о которой рассказывает Толстой, произошла позже, когда военный коммунизм сменился либеральным нэпом.

Итак, писатель показал, что Зотова как бы стала «новой женщиной»[{585}].

Тут точнее всего любимое наше слово «как бы». Для Толстого, пожалуй, важнее всего было то, о чем автор статьи не пишет: дать своей героине шанс отомстить обидчикам, которые убили ее отца и мать, а ее саму попытались изнасиловать. Убийство негодяя и есть момент ее торжества, то, ради чего она идет в отряд, и характерно, что выживает героиня в бою с двумя мужчинами, потому что второй, увидев перед собой женщину, теряет на осмысление этого факта мгновение и получает по голове шашкой из хорошеньких рук. В этом смысле рассказ Толстого не просто феминистский, но апологетический: торжество феминизма за полвека до его официального провозглашения. Да только горькое — победа, оборачивающаяся своим поражением.

«По мысли автора, Ольга Вячеславовна, изменив в себе многое, не смогла изменить главного, а именно, своей женской сущности, своей анатомии, а следовательно, судьбы. В повести постоянна мысль, что женщине надо получить мужчину и подчиниться ему, уничтожать в переносном и прямом смысле своих соперниц, других женщин…»[{586}]

Этой мысли, конечно, у Толстого нет, а есть ее отрицание. Женщина, борющаяся за мужчину, вызывает в одном случае насмешку, в другом — брезгливость.

Первый раз над Ольгой посмеивается Емельянов, и эту сцену Толстой пишет очень весело:

«…свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький…» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портянки были стираны.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугунком под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:

— Точно ждали мы вас, уж и борщ… — Голос у нее был тонкий, нараспев, — бойка, нагла… — Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут… — И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно покрякивал, хлебая, — весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, — помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:

— Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах ты дурочка…

У нее едва не брызнули слезы».

Но второй раз все выходит безобразно и грустно. Вместо душки Емельянова появляется директор махорочного треста, начинающий полнеть мужчина в парусиновой толстовке, в портрете которого при желании можно опознать черты самого Толстого («Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой…»). В него Ольга влюбляется, хотя понять, почему она выбирает себе именно такого мужчину, довольно трудно.

Похоже, что советская жизнь вызывала у Толстого брезгливость. Войну и ее героев он мог романтизировать по незнанию, но от наступившего мира его тошнило так же, как и героиню. Его — потому, что ничего советского он не любил, а ее…

«С полей сражений, из кочевий гражданской войны Ольга Вячеславовна попадает в другой мир. Мир, где в той или иной степени восстановлены былые принципы отношений полов, где доминирование мужского как бы закамуфлировано, скрыто (конечно, только в сравнении с тем, что творилось во время войны). В середине 20-х годов общество, манипулируя женской сексуальностью, восстанавливает в правах «куртуазность», кокетство, игру. На смену прямому насилию мужчины над женщиной приходит насилие административное и бытовое. Конечно, Ольге Вячеславовне трудно примириться с новой ситуацией, и ее «мужская прямота» не может ужиться с необходимостью лгать, изворачиваться, подлаживаться, угождать. Даже трансформация внешнего облика, облачение в женскую одежду дается ей с большим психологическим надрывом. <…> Сначала требовался отчаянный «братишка» или комиссар вроде Ларисы Рейснер, готовый положить жизнь за мировую революцию, а спустя всего несколько лет были востребованы фильдеперсовые чулки, кудряшки и милое глупое щебетанье. <…> Но основой для трагедии и «потерь» изменившейся и ничего не приобретшей женщины, по мысли автора, являются так называемая природа женщины и отсутствие рядом мужчины. Бой за мужчину проигран. Его нет рядом: Емельянов убит. <…> Нет мужчины в жизни, нет и ей там положенного (природой, судьбой и т. д.) места, что и приводит героиню к преступлению и жизненной катастрофе. Неспособность преодолеть приобретенный комплекс мужского типа поведения, пойти изворотливым, так называемым женским путем для владения любимым мужчиной приводит Зотову к любовной драме: ей предпочли обладавшую всеми

«женскими» качествами Лялечку.

<…> Хотя и трудно предположить, что Толстой осознанно ставил перед собой задачу чисто феминистского свойства, тем не менее как талантливый и проницательный писатель, он сумел почувствовать и выразить в своей повести некоторые проблемы женской эмансипации. Я думаю, что писатель по-своему хотел осветить так называемый женский вопрос, постоянно проводя мысль о биологической детерминированности жизни женщины и о том, что, чем больше разведены жизни мужчины и женщины, тем лучше для обоих полов. Современное сближение и смешение полов в общении, не говоря уже о равенстве, являются свидетельством происходящего упадка и катастрофы — такова одна из идей Алексея Толстого в повести «Гадюка», поскольку все это приводит лишь к несостоявшейся женской жизни и к драме. Таким образом, через конфликт своей повести, через драму героини Алексей Толстой демонстрирует тупиковый путь эмансипации женщины в абсолютном приятии маскулинистской системы ценностей, в отказе от суверенных прав своей личности и в полной трансформации в «другое»[{587}].
На сегодняшний день это, должно быть, исчерпывающая оценка «Гадюки» и самый справедливый женский суд. Лет через двадцать-тридцать появится что-то новое. Следовательно — перед нами классика.

# Глава XVIII. Третий слева

«Гадюка» была написана в 1928 году, однако годом раньше Алексей Толстой взялся за продолжение романа «Хождение по мукам» и принялся сочинять его вторую часть. Выше говорилось, что первая часть романа, впоследствии названная «Сестры», не подвергалась значительным изменениям по сравнению с берлинским изданием. Однако первому советскому изданию было предпослано предисловие, которое в него, правда, в итоге не вошло. А между тем это предисловие, вероятно, лучшее, что Толстой сочинил для второго тома.

«Вторая часть трилогии, еще не оконченная, происходит между 17 и 22 годами, в то время, когда Россия переживала не радостную радость свободы, гнилостный яд войны, бродивший в крови народа, анархию и бред, быть может гениальный, о завоевании мира, о новой жизни на земле, междоусобную войну, разорение, нищету, голод, почти уже не человеческие деяния *и новый государственный строй, сдавивший так, что кровь брызжет между пальцами, тело России, бьющейся в анархии.* Грядущее стоит черной мглой перед глазами. В смятении я оглядываюсь: действительно ли Россия — пустыня, кладбище, былое место? Нет, среди могил я вижу миллионы людей, изживших самую горькую горечь страдания и не отдавших земли на расточение, души — мраку. Да будет благословенно имя твое Русская Земля».

Это было опубликовано в 1922 году в Берлине Толстым-сменовеховцем, курсивом здесь выделено то единственное место, которое Толстой-возвращенец собирался изъять, дабы не смущать советского читателя, но при публикации первой части романа в советском варианте изъято было все. А между тем из предисловия можно заключить, что замысел романа «Восемнадцатый год» был куда интереснее, чем его воплощение.

В статье «Как мы пишем» Толстой вспоминал: «Первый том «Хождения по мукам» начат под сильным моральным давлением. Я жил тогда в Париже (19-й год) и этой работой хотел оправдать свое бездействие, это был социальный инстинкт человека, живущего во время революции: бездействие равно преступлению. В романе «Восемнадцатый год» руководил инстинкт художника, — оформить, привести в порядок, оживотворить огромное, еще дымящееся прошлое. (Но также и контракт с «Новым миром» и сердитые письма Полонского.)»[{588}].

О письмах Полонского и контрактах с «Новым миром» речь пойдет ниже, но если все обстояло так, как писал романист, надо признать, что моральное давление для нашего героя оказалось благотворнее инстинкта художника, ибо первый том вышел интереснее второго. Впрочем, начало нового романа (по всей вероятности, написанное еще в эмиграции) было впечатляющим, хотя и несколько подражательным, что-то вроде поэмы «Двенадцать» в прозе, не иначе как дух Бессонова-Блока носился и над этими страницами:

«Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор — обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы… Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там — кусочек сыру, там — засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули — на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.

Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.

Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется — отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, — заламывая пальцы, повторяли:

— Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему… Смерть!.. <…>

Настает ночь. Черно — ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах — свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-ус-ту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады… В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди… Черт с ними, пусть горят заживо!

О, русские люди, русские люди!»

Именно в связи с этим началом возникла страстная переписка между Алексеем Толстым и Вячеславом Полонским, главным редактором журнала «Новый мир», для которого роман предназначался.

Полонский имел репутацию одного из самых смелых и независимых главных редакторов советского времени. При нем «Новый мир» печатал Бабеля и Пильняка, Пришвина и Замятина, Полонский защищал от нападок РАППа Сергея Клычкова и всю крестьянскую купницу, однако

зачин толстовского романа его испугал.

«Такой большой художник, как Вы, вызывает к себе и отношение соответственное. В романе не должно быть (по нашему мнению) ничего такого, что неправильно освещало бы крупные события, что бросало бы неверный свет. Нельзя конечно требовать (и мы не требуем), чтобы Алексей Толстой, которого мы хорошо знаем и высоко ценим, — чтобы Алексей Толстой рисовал события не такими, какими они ему кажутся. Но мы хотели бы, чтобы воспроизведение событий не противоречило нашим представлениям (объективным) об историческом недавнем прошлом, чтобы роман не бросал на события свет, враждебный революции и т. п. В первых главах есть на этот счет сомнительные места…

Вы рисуете революцию, находясь пока в том стане, против которого революция обратила свое острие. Такая позиция может быть даже очень полезной в том смысле, что, кроме Вас, вряд ли кто сумеет, да и сможет с яркостью и знанием дела закрепить навсегда все, что происходило в этом стане. Но вместе с этой положительной стороной такая позиция чревата опасностями: если вообще революция будет изображаться под углом зрения людей, пострадавших от революции. Эта точка зрения Вам, разумеется, не свойственна. Наши неоднократные беседы меня в этом убедили. <…> Роман будет печататься в дни, когда исполняется десятилетие Октябрьской революции»[{589}].

Отчего Полонский перестраховывался? Скорее всего, по той же причине, по какой нападали на Толстого рапповцы. Дело не в самом тексте, не таком уж крамольном по сравнению с «Голым годом» Пильняка, булгаковской «Белой гвардией» или «Россией, кровью умытой» Артема Веселого, дело в эмигрантском, сменовеховском прошлом автора, отбрасывавшем на страницы его романа неверный свет. Полонскому и хотелось напечатать роман о революции, и было боязно. Он резонно опасался, что Толстого станут бить и припомнят все его «заслуги», покопаются в его московской, харьковской, одесской и парижской публицистиках, найдут в романе ее перепевы и обвинят в контрреволюции, а заодно достанется и «Новому миру», который во все времена был под огнем и очень трепетно относился к своей репутации.

Полонский в этом смысле был первый по-настоящему новомирский редактор, для которого интересы журнала стояли превыше всего и за них он был готов костьми лечь. Но и о своих статьях по поводу «Хождения по мукам» он напоминал Толстому очень своевременно. В 1923 году, по выходе берлинского издания романа, Полонский писал о том, что в нем изображалась «Русь с одного боку… Неверные ноты не перестают звучать на страницах, где автор говорит о революции. Причина здесь — извращающая призма «того берега»[{590}]. Нечто подобное померещилось Полонскому и на этот раз.

Толстой ответил Полонскому моментально, категорично, решительно, напористо, и скорее всего его мощный, решительный, в духе открытого письма Чайковскому ответ означал, что у него была в этот момент какая-то поддержка, дававшая красному графу рабоче-крестьянскую уверенность, и это диктовало смелый тон:

«Дорогой Вячеслав Павлович, что Вы делаете? С первых шагов Вы мне говорите, — стоп, осторожно, так нельзя выражаться. Вы хотите внушить мне страх и осторожность, и, главное, предвидение, что мой роман попадет к десятилетию Октябрьской революции. Если бы я Вас не знал, я бы мог подумать, что Вы хотите от меня романа-плаката, казенного ура-романа. Но ведь Вы именно этого и не хотите.

Нужно самым серьезным образом договориться относительно моего романа. Первое: я не только признаю революцию, — с одним таковым признанием нельзя было бы и писать роман, — я люблю ее мрачное величие, ее всемирный размах. И вот — задача моего романа, — создать

это величие, этот размах во всей его сложности, во всей его трудности. Второе: мы знаем, что революция победила. Но Вы пишете, чтобы я с первых же слов ударил в литавры победы, Вы хотите, чтобы я начал с победы и затем, очевидно, показал бы растоптанных врагов. По такому плану я отказываюсь писать роман. Это будет одним из многочисленных, никого уже теперь, а в особенности молодежь, не убеждающих плакатов. Вы хотите начать роман с конца.

Мой план романа и весь его пафос в постепенном развертывании революции, в ее непомерных трудностях, в том, что горсточка питерского пролетарьята, руководимая «взрывом идей» Ленина, бросилась в кровавую кашу России, победила и организовала страну. В романе я беру живых людей со всеми их слабостями, со всей их силой, и эти живые люди делают живое дело.

В романе — чем тяжелее условия, в которых протекает революция, тем больше для нее чести. <…>

Я вполне разделяю Ваше опасение о том, что могут говорить о Вас, как о редакторе, печатающем мой роман. В партии могут быть течения такие, которые захотят видеть в моем романе агитплакат и будут придираться к каждой строчке. Я предлагаю Вам снять с себя ответственность за мой роман. Сделать это можно многими путями. В конце концов я сам должен нести всю ответственность. Я ее не боюсь, так как я безо всякой для себя корысти люблю, — жаль, нет другого, более мощного слова, — русскую революцию. Люблю ее, как художник, как человек, как историк, как космополит, как русский, как великоросс. И уже позвольте мне говорить в моем романе, не боясь никого, не оглядываясь. <…>

Нет, революция пусть будет представлена революцией, а не благоприличной картиночкой, где впереди рабочий с красным знаменем, за ним — благостные мужички в совхозе, и на фоне — заводские трубы и встающее солнце. Время таким картинкам прошло, — жизнь, молодежь, наступающее поколение требует: «В нашей стране произошло событие, величайшее в мировой истории, расскажите нам правдиво, величаво об этом героическом времени».

Но едва только читатель почувствует, что автор чего-то не договаривает, чего-то опасается, изображает красных сплошь чудо-богатырями, а белых — сплошь в ресторане с певичками, — со скукой бросит книжку.

Я пишу Вам, зная, что Вы со мной согласны. Вы же сами писали об этом. Я знаю, что Вас страшит ответственность. Но пусть роман предварительно пройдет через Политбюро. Пусть лучше запретят его печатание, но я во время писания не хочу и не могу ощущать опаски, оглядки. Лучше заранее условиться обо всем этом.

Напишите предисловие. Сделайте, если нужно, выдержки из этого письма, но, ради бога, не давите на меня так, как Вы это сделали в Вашем письме.

Заранее уверен, что многие останутся недовольны романом, — один скажет: это место неверно, другой — этого не было на самом деле, а было так, третий — возмутится моим тоном, четвертый обидится, что мало говорится о партии, пятый скажет, — какой черт мне знать, что делали во время революции Катя и Даша, и т. д…Тут ничего не поделаешь. Важен факт: роман о победившей революции, в общих своих линиях изображающий правду, какой она была»[{591}].

Цитируемая здесь переписка примечательна. С одной стороны, вроде бы деловые письма автора и издателя, с другой — верительные грамоты, предназначенные высоким лицам. И эта двойственность весьма характерна, к 1927 году стало окончательно ясно, что русская литература превратилась в государственное дело, и надо думать не только о красоте стиля и художественной стороне, но и об идеологической непорочности, о верности революционным

заветам и общественном признании в любви к революции, чем Толстой с Полонским на пару занимались, исполняя своего рода дуэт для партийной публики.

«Дорогой Алексей Николаевич,

выходит, будто я хочу от Вас агитплаката! Но ведь это не верно! Я с Вами совершенно согласен; с литаврами и казенным подходом настоящего романа о революции не напишешь. И если я обрушился на Вас с письмом (наспех, многое выразил неудачно, не так как надо), то именно потому, что от Вашего романа жду большой и художественной правды. Я могу не кривя душой сказать Вам, как высоко я ценю Вашу кисть художника. Но, дорогой Алексей Николаевич, разве эта кисть не изменила Вам в первой части трилогии, изданной в Париже (в той части романа, где Вы изображали революцию?). Не знаю, читали Вы или нет мою статью об этой напечатанной части, не знаю, убедила ли она Вас или нет, — но я знаю, что первую часть Вы писали «со стороны», «с того берега» — революция во многом была Вами не понята (со стороны ее целей, ее подлинного смысла, ее всемирно-исторического значения) — и потому извращена. Теперь Вы пишете вторую часть — помните, ведь я толкал Вас на ее продолжение! — а ведь я знал, что Вы не «казенный писатель» — и не такой попутчик, к-рый хочет видеть в революции только светлые черты. Но ведь прошло много лет — Вы революцию оценили по-другому, Вы ее полюбили (не за ее мрачность же, и не за кровь, и не за буйство) — и мне, как читателю, как почитателю Вашего таланта, — не хотелось и не хочется, чтобы в романе повторялись прежние ошибки или были фальшивые звуки»[{592}].

Все это действительно очень похоже на попытку уйти от ответственности, хотя с таким обвинением сам Полонский не соглашался (уйти от ответственности было бы не по-большевистски) и как будто оправдывался:

«Меня не ответственность страшит. Об этом и говорить не надо. И Вас я не хотел испугать ответственностью. Но я хотел только указать, на мой взгляд, неверные ноты. Или Вы не допускаете возможности ошибок с Вашей стороны? Разве художник не ошибается? <…> Именно потому, что Ваш роман будут читать и через 50 лет, и на всем земном шаре — именно поэтому в нем следует истребить все, что бросало бы субъективный, узкоклассовый, буржуазный свет на характер событий, что удаляло бы от «правды»[{593}].

Тем не менее почти ни одно из замечаний Полонского учтено не было и роман вышел фактически в авторской редакции (за исключением небольшой правки — см. далее письмо Толстому И.И. Скворцова-Степанова). Он имел успех и стал советской классикой, его множество раз издавали, переводили на иностранные языки, снимали по нему фильмы, хотя сегодня его слабость очевидна.

Главное, что было в первой части — живые человеческие судьбы, — оказалось здесь принесено в жертву истории. Если в «Сестрах» Толстого интересовали лица, а история была фоном, то теперь пирамида перевернулась. На это можно возразить, что подобное превращение входило в сверхзадачу автора, так диктовало время, и люди действительно становились жертвами истории, попадали в ее водовороты, но у Толстого в «Восемнадцатом годе» и людей-то собственно почти нет, а есть по преимуществу масса, что, кстати, подметил тот же Полонский:

«Вы показываете «русских людей» — бегущими с фронта. Но ведь «русские же люди» — создали Красную Армию, «русские же люди» вели такую борьбу со всем миром, какой никогда дотоле Россия не вела, да и никто не вел. Так что кроме «бегунов» были и др. «русские люди» — почему же только «бегуны» фигурируют в качестве представителей «русских людей»? Опять здесь, мне кажется, брошен субъективный взгляд на массу»[{594}].

В этой человеческой массе «Катя, Даша и Телегин» затерялись. Несколько удачнее вышел образ Рощина, который уходит к белым, но не находит среди них понимания, хотя до Булгакова с «Белой гвардией» Толстому было далеко. И не потому что Булгаков с большей симпатией относится к Белому движению, а потому что, говоря словами Максудова — «героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте»…

У Толстого этой любви к большевиствующим интеллигентам в романе нет, да и неоткуда было ей взяться. Он только живых, полнокровных умел любить, а тут были бледные мерцающие тени, бродящие по страницам от первой до последней и лишь изредка вспыхивающие прежним светом. Поместить четверых русских дворян в революционную действительность и заставить их ее принять — сразу или не сразу, не важно — оказалось невыполнимой задачей даже для такого талантливого писателя, как Толстой.

Особенно это касалось симпатяги Телегина, который по замыслу автора перешел к пролетариям в одночасье. Его разговор с рабочим Рублевым, который всегда цитируют, говоря о «Восемнадцатом годе», неправдоподобен до крайности:

«— Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии… Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?

— Слыхали.

— Либо я на Дон уйду… Либо с вами…

— Это как же так: либо?

— А вот так — во что поверю… Ты за революцию, я за Россию… А может, и я — за революцию. Я, знаешь, боевой офицер…»

Как и в первой части, все военные приключения Телегина, включая его побег из плена, были надуманны (что, кстати, очень точно подметил немецкий переводчик Толстого А. С. Элиасберг), так то же самое повторилось и во второй. Но в ней удельный вес войны гораздо больше и, соответственно, больше недостоверного.

Если рассматривать «Хождение по мукам» с точки зрения «войны и мира», то надо признать, что Алексей Толстой хорошо писал «мир», а войну видел и понимал только как журналист, да и то Первую мировую — отсюда несомненная удача — образ репортера Антошки Арнольдова, который, к сожалению, во второй части, мелькнув, красочно пропадает: «При Временном правительстве ворочал всей прессой, два собственных автомобиля… Жил с аристократками… Одна у него была, — венгерка из «Вилла Родэ», — такой чудовищной красоты, — он даже спал с револьвером около нее. Ездил в Париж в прошлом июле, — чуть-чуть его не назначили послом… Осел!.. Не успел перевести валюту за границу, теперь голодает, как сукин сын. Да, Дарья Дмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой… Антошка Арнольдов погиб потому, что завел шикарную квартиру на Кирочной, золоченую мебель, кофейники, сто пар ботинок».

Вот про это: про ботинки, золоченую мебель, венгерок, около которых спят с револьверами козырные мужики, — Толстой писать умел, это он видел, чувствовал и знал, а Гражданскую войну не видел вовсе, и по справедливому замечанию Елены Толстой, «Восемнадцатый год» Толстого (1927–1928) уже кажется переложением сложного материала для школьников»[595].

Поразительно, что похожая мысль прозвучала и в тогдашнем журнале «На литературном посту»: «Почему так нестерпимо тоскливо читать эти страницы? Да потому, что писатель показывает только исторические марионетки, гораздо более интересно освещенные в

мемуарной литературе».

«Восемнадцатый год» сильно уступает не только «Белой гвардии», но и «Тихому Дону», и при сопоставлении с этими произведениями разница между подлинностью и приблизительностью становится особенно очевидной.

«Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках.

— Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под Колдыбанью из орудия? Непременно, думаю, это мой Яшка, сукин сын… Вот ведь вовремя уши ему не оборвал… А здорово мы вас пуганули… Хорошо, ты мне тогда не попался…

— Хвастай, хвастай! А взяла наша…

— Ничего, придет случай — опять разойдемся.

— Что ж, и разойдемся… Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался.

— Выпьем, сынок!

— Выпьем, батя!»

Этой упрощенности, этой беллетризованности у Шолохова и Булгакова не найти. Ее же, к слову сказать, видел и Горький, который самому Алексею Толстому позднее писал:

«Вот читаю сейчас «Хождение по мукам» — «18 год». Какое умение видеть, изображать! Но — есть досадные, недописанные страницы»[{596}].

Писатель Иван Вольнов приводит другие слова Горького об этом романе: «Какой талантище А. Н. Толстой! Прочитал его «18-ый» год. Но как он небрежно пишет!., из «превосходного бархата» были сделаны «портянки»[{597}].

И даже подлинное проговаривается здесь вскользь, не как выстраданная правда, а красивый жест в стиле провозглашенной писателем теории жеста, да плюс еще эффектная фраза.

«Наутро Деникин шагом объезжал поле боя. Куда только видел глаз — пшеница была истоптана и повалена. В роскошной лазури плавали стервятники. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям — через древние курганы и балки — линии окопов, из них торчали руки, ноги, мертвые головы, мешками валялись туловища. Он находился в лирическом настроении и, полуобернувшись, чтобы к нему подскакал адъютант, проговорил раздумчиво:

— Ведь это все русские люди. Ужасно. Нет полной радости, Василий Васильевич…»

И в том, что касается мира в «Восемнадцатом годе», и в том, что касается более близких Толстому дворян, много надуманного и нарочито упрощенного. Надуман разлад Даши и Телегина из-за того, что у Даши родился и умер ребенок, и она разлюбила мужа (в записных книжках это формулировалось так: «Телегин не по росту этому времени. Даша разлюбила. Когда он вырос и возмужал в боях, она увидела в нем нового человека и через него приняла (со страстью) новое»[{598}] — в окончательной редакции не по росту оказалась Даша, но все равно разлюбила); еще более надуман разлад Кати и Рощина по политическим убеждениям: Рощин

хочет уйти к белым, а Катя — нет.

Куда больше правды было в судьбах не героинь Толстого, но их прототипов — сестер Крандиевских: Натальи Васильевны, которая безропотно следовала за своим мужем по маршруту Москва — Харьков — Одесса — Константинополь — Париж — Берлин — Петроград, и Надежды Васильевны (Дюны), вышедшей замуж за инженера Петра Петровича Файдыша (именно он стал прообразом Телегина) и едва не потерявшей ребенка, о чем свидетельствует записная книжка Толстого: «Рассказ Дюночки.

Рождение. Муки кормит. Прикорм. Ребенок угасает. Зазывают нищенку, кормить. Кормит еврейка 1 месяц. Лето. Дюна борется, Евр[ейка] уезжает.

Отчаяние. Дюна ходит по улицам, слушает, где кричит ребенок. Мещанка. Одна неделя кормления. Взвешивание. Отказ. Переезд в Замоскворечье. Кукольный домик, коза. Солнечный свет. Коза заболевает. Клистир козе, сдохла.

Церковь, березы, солнечный свет. Достали молоко. У нее борьба за жизнь ребенка и свою, это одно и то же»[{599}].

Так люди жили и выживали, без погонь, лишних перестрелок и найденных сокровищ, но этой обыденности и повседневного реализма в романе нет, а есть надуманная схема, точно взятая напрокат не то из античного романа, не то из «Капитанской дочки», — история о том, как две сестры в водоворотах Гражданской войны сохраняли женскую верность своим мужьям и отбивались от всех, кто на них покушался в гостиницах, теплушках и госпиталях. Ужасного декадента Бессонова заменила вся мужская часть человечества с ее разнузданными инстинктами: сначала артист-анархист Мамонт Дальский, которому Даша уже почти готова отдаться, как некогда была готова пасть перед Бессоновым («Возьму и дам себе волю… Хочешь идти в «Метрополь» — иди… Для кого прятать все это, что не хочет быть спрятано, душить в груди крик счастья? Для кого с такой мукой сжимать колени? Для чьих ласк? Дура, дура, трусиха… Да разожмись, кинься… Все равно — к черту любовь, к черту себя…»), а потом, когда Дальский погибает, попав под трамвай, озверевшее белое офицерье:

«В Ярославле работала три дня под огнем как милосердная сестра… Ночью, руки — в крови, платье — в крови, повалилась на койку… Будят, — кто-то задирает мне юбку. Вскочила, закричала. Мальчишка, офицер, какое лицо — не забыть! Озверел, валит, молча вывертывает руки… Мерзавец! Папа, я выстрелила в него из его револьвера — не понимаю, как это случилось».

Потом появляется еще один — Куличок, который «подошел к делу очень просто, — ложись…».

И это нагромождение охочих до Даши, но так и не преуспевших мужчин в конце концов становится чрезмерным, как окажется чрезмерным в третьей части трилогии, «Хмуром утре», посягательство на благородную Катю со стороны то мерзавцев белых офицеров, то «мужепеса» и кулака Алексея Красильникова.

Еще одна потеря — образ доктора Булавина, отца двух сестер. В первой части он намечен скупо, но очень емко — это несентиментальный, ироничный, но очень глубокий и чуткий человек. Он читает газеты, интересуется политикой, любит рассуждать на отвлеченные темы и не любит показывать своих чувств, но за всем этим стоит страдание из-за неустройства дочерей, он тяжело переживает смерть трехлетнего ребенка, умершего от скарлатины. И точно так же переживает за рушащуюся на его глазах страну: «Эти ребята — без всяких признаков морали — «богоискатели». Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице,

завтра начнут озоровать во всем государстве Российском. А в целом народ переживает первый фазис «богоискательства» — разрушение основ».

Во второй части мало того что Толстому потребовалось окунуть этого человека в политику и сделать членом самарского правительства, демагогом и фразером, но к тому же вдруг выясняется, что доктор Булавин «дьявольски честолюбив», что он был всю жизнь «старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым «святым». Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания».

Милейший доктор готов теперь из-за своих политических убеждений выдать своего зятя Телегина контрразведке, которую возглавляет, естественно, гадкий земский статистик Говядин, некогда ездивший с Дашей на острова, предлагавший ей отбросить всякий стыд и получивший за это туфлей по роже. Но главное, что и у доктора с сексуальной стороной жизни не все в порядке:

«— Мерзавец, — сказала она, — что ты беснуешься? Ты мне не отец, сумасшедший, растленный тип!»

Что такого сделал министр здравоохранения самарского правительства, чтобы Даше назвать его растленным, остается тайной, но советский читатель точно должен знать: те, кто на той стороне, — нелюди. У них омерзительно все: и политические убеждения, и нравственный облик, и половое влечение. Позднее это все войдет в эстетику политических процессов тридцатых годов. Чем больше черной краски, тем лучше. Чтоб не было никаких сомнений. А остальное в романе — беллетризованная история Гражданской войны, лубочные картины разложения у красных и белых, но у красных по недосмотру центральных властей и из-за анархии на местах, а у белых как органический порок, и всю вину за их злодеяния Толстой сваливает даже не на генералов, а на одного человека:

«Но на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство под звон стопочек, похвалы братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица «крестоносцев» обезображены нетерпением убивать, карать, мстить; вот они, стоя со стопочками девяностопятиградусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда Лжедимитрий, и если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере…»

Так писал Толстой об убиенном императоре Николае Александровиче, и, поди спроси, за что он так государя ненавидел? Может, за то же самое — за свои обманутые надежды? Но место это в романе ключевое. Отсюда начинается разлад Рощина с белыми. Собственно и сам Рощин показан у Толстого как человек в Белой армии случайный. Толстой тем самым и спорил, и отрицал булгаковских офицеров, по-человечески куда более симпатичных и органичных, преданных своему делу и присяге. У Толстого же белые за редким исключением звери, которые рыдающе смеются, с бледными лицами непроспавшихся убийц, и которые перед смертью хрипят:

«— Мерзавцы, хамы, крррразная сволочь! В морду вас, в морду, в морду! Мало вас пороли, вешали, собаки? Мало вам, мало? Всех за члены перевешаем, хамовы сволочи…»

Даже Хлудов-Слащев в булгаковском «Беге» себе такого не позволяет. И благородный Рощин среди них воистину белая ворона. Или красная. И все раздумья его — об одиночестве. «Его мучило: откуда все же такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен, что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России? Не за генеральскими

погонами он пошел в эти страшные степи…»

Но главное — классовый, можно сказать, марксистский подход к делу. Папа Востром мог быть доволен своим сыном: азбуку марксизма тот усвоил и со знанием дела писал:

«У Рощина недоставало беспощадно ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз, от назойливого он морщился. И мир представлялся ему законченной системой. Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства, от многих поколений благодушествующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благ ставила мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пороли мужика на конюшне, — ну, что же, покричит-покричит мужик и после лозы раскается, ему же будет лучше — раскаянному и умиротворенному. Протестуют векселя, имение идет с торгов, — что ж поделаешь? Можно прожить и во флигельке, в лопухах и крыжовнике, без шумных пиров: пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет… Никакими усилиями судьбе не удавалось сбить с толку благодушествующего помещика. И вырабатывалось у него особое мягкое зрение — видеть во всем лишь прекраснейшее и благороднейшее!»

«Идиотская болезнь благодушие», — скажет по схожему поводу через несколько лет товарищ Сталин, но никакого отношения к немногословному, твердому Вадиму Рощину, каким он был показан в первой части, дворянский недоросль из второй части трилогии не имеет. Прежний Рощин, очевидно, из другого теста слеплен, но в «Восемнадцатом годе» Толстому важна не личность как таковая, а определяющий надстройку базис, мечтательность в стиле Аггея Коровина. Среди своих однополчан ничего прекрасного и благородного Рощин не видит, как не видит среди заволжских помещиков Аггеюшка. Они в массе своей нелюди, насильники. И перспективы у них автор не видит также, но здесь Толстой идет еще глубже и зрит в самый корень:

«Казалось (на это и жмурился Рощин), этот мертвый гимн был единственной идеей у его однополчан… Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы. Колокольный звон… Деникин въезжает в Кремль на белом коне… Да, да, все это понятно. Но дальше-то что, — самое-то главное? Про Учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит: гимн мертвецу?

Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Рощин жмурился… Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, — устарело. Этим занимались и храбрые и трусы. Преодоление страха смерти вошло в обиход, жизнь стала дешевой.

Героизм был в отречении от себя во имя веры и правды. Но тут опять жмурки, без конца жмурки… В какую правду верили его однополчане? В какую правду верил он сам? В великую трагическую историю России? Но это была истина, а не правда. Правда — в движении, в жизни, — не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течет в грядущее.

Во имя какой правды (если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее) нужно убивать русских мужиков? Этот вопрос начинал шататься в сознании Вадима Петровича, зыбиться, как отражение в воде, куда бросили камень. Тут-то и начиналось его мучительное расщепление. Он был чужой среди однополчан, «красные подштанники», «едва ли не большевичок».

Именно это и было названо «хождением по мукам». Идеология душила толстовских героев, уродовала их характеры и внушала совершенно нелепые мысли. Толстой решал образ Рощина как математическую задачу: находил кратчайший путь от белого к красному, но придавал ему

вид изломанности. В этом и была беда романа, в его изначальной заданности, в очевидности решения. И касалось это не только Рощина.

«Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза, и думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды: одна — кривого, этих фронтовиков, этих похрапывающих женщин с простыми, усталыми лицами; другая — та, о которой кричал Куличек. Но двух правд нет. Одна из них — ошибка страшная, роковая…»

Умные, благородные русские дворяне Рощин, Даша, Катя мучились и не понимали, а советскому читателю с самого начала все было понятно. Понятно, где какая правда, понятно, что Иван Ильич прав, а Вадим Петрович нет, понятно, что Рощин ошибается, но одумается, придет к красным и будет радостно принят «Катей, Дашей и Телегиным», потому что все хорошие люди соберутся на одном полюсе, а все плохие на другом.

И как ни пытался изломать автор эту пародирующую Страшный суд схему и наполнить ее жизнью, ничего у него не получалось. Получался не русский классический роман, а марксистская беллетристика, Потапенко, но красный, идеологически выверенный. Это, пожалуй, годилось для самого массового из искусств — кино, в романе были эффектные кинематографические сцены вроде встречи Рощина и Телегина на вокзале в занятом белыми Ростове, когда Рощин не выдает Телегина деникинской контрразведке, но в книге все тонуло в рассуждениях, объяснениях, пояснениях, собственных толстовских перестраховках и опасениях, как бы чего не вышло. Даже внутренние монологи Рощина написаны так, будто это передовая статья из «Накануне».

«Ну, что же, — думал он, — умереть легко, жить трудно… В этом и заслуга каждого из нас — отдать погибающей родине не просто живой мешок мяса и костей, а все свои тридцать пять прожитых лет, привязанности, надежды, и китайский домик, и всю свою чистоту…»

Граф Толстой явно учел «неудачный» опыт своего любимого в «Накануне» автора и вовсе не хотел, чтобы его били за апологию Белого движения, так что напрасно Полонский переживал за чистоту риз.

«Ему еще трудно было сознаться, что Катя, должно быть, права, что он безнадежно запутывается, что все меньше понимает — откуда берется, растет, как кошмар, сила «взбунтовавшейся черни», что сгоряча объяснять, будто народ обманут большевиками; — глупо до ужаса, потому что еще неизвестно, кто кого призвал: большевики революцию или народ большевиков, что ему сейчас больше некого обвинять, — разве самого себя».

Формулировка эффектная, но такое впечатление, что она писалась не для романа, а для начальства. А для романа, для читателя, который, как следовало из письма Полонскому, должен будет читать творение Толстого полвека спустя на всем земном шаре, автор пытался оставить то же, что было в первой части — вечные человеческие ценности, женскую любовь, сострадание, верность, и тогда выходили прежние нежные страницы:

«Из старой жизни она унесла в эти смутные времена одну защиту, одно сокровище — любовь и жалость. Он вспоминал, как она шла по Ростову, в платочке, с узелком, — кроткая спутница его жизни… Милая, милая, милая… Положить голову на ее колени, прижать к лицу ее нежные руки, сказать только: «Катя, я изнемог…» Но нелепая гордость сковывала Вадима Петровича. На пыльной улице станицы, в строю, в офицерском собрании появлялась его худая фигура, будто затянутая в железный корсет, голова, совсем уже седая, высокомерно поднята… «Елочки точеные, — говорили про него, — тон держит, подумаешь — лейб-гвардеец, сволочь пехотная…»

Но этого было мало, и большевизм застилал все вокруг и окутывал фигуры героев. Что Кати, что Даши, что Рощина, что Телегина.

«Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный…» — так пишет Даша отцу о своем муже.

Большевик, но беспартийный. Большевик, но не коммунист. Дань сменовеховским увлечениям — одно из немногих скользких мест в романе. Задушенные ростки изначального замысла, потому что захоти Толстой написать ту правду о хождении по мукам, которую знал, смог бы это сделать. Он мог написать, почему на самом деле шли дворяне к большевикам и чего им это стоило, но не написал. Граф обладал счастливой для жизненного успеха способностью — врать, — и таких задушенных ростков в романе почти не осталось. Разве что кое-где, по недосмотру.

«— Зеркальце мы для безопасности к стене лицом повернули, знаете — ценная вещь, — говорил Тетькин. — Ну, придут с обыском и сейчас же — стекло вдребезги. Лика своего не переносят. — Он опять засмеялся, потер череп. — А впрочем, я отчасти понимаю: такая, знаете, идет ломка, а тут — зеркало, — конечно, разобьешь…»

Лика своего не переносят. Хоть соломку и постелил, а правда про большевиков вырвалась. За нее можно было не только от РАППа получить. И по контрасту с этим зеркальцем режут слух высокопарные слова того же героя, который в споре с Рощиным объясняет свое нежелание участвовать в Белом движении, как комиссар на политзанятиях:

«Лично я вполне удовлетворен, читая историю государства Российского. Но сто миллионов мужиков книг этих не читали. И не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена… Сытую историю… С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди — пролетариат. Эти идут еще дальше — дерзают творить, так сказать, мировую историю… С этим тоже ничего не поделаешь…»

История, развернутая в будущие времена. Ну какой подполковник Тетькин станет так выражаться? Это не иначе как для Анатолия Васильевича Луначарского писалось.

Однако самым скользким местом в «Восемнадцатом годе» явился у Толстого не Тетькин, и не Телегин, и уж тем более не две сестры, но образ двух самых главных большевиков. Двух вождей.

«В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек — в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темны от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба, стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий, в ременном снаряжении, военный, приносил бумаги для подписи.

Председательствующий, пятый за столом, небольшого роста человек, в сером куцем пиджаке, сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос; был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с двигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый, лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников.

Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил вполголоса, отрывисто: «Совнарком. Совещание. Нельзя…» Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем.

Докладчик кончил. Сидящие — кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, поблескивающему стеклами пенсне.

Третий слева прочел, усмехнулся, написал на той же записке ответ…

Председательствующий не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки».

Ленин и Троцкий. Ленин, советующийся с Троцким. Троцкий, дающий Ленину совет.

Если б он знал тогда, чем это обернется…

Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Алексей Николаевич Толстой работал не за идею. Или не только за идею. Он работал за деньги.

16 июня 1927 года соредактор Полонского в «Новом мире» И. И. Скворцов-Степанов писал Толстому:

«Дорогой Алексей Николаевич, только что прочитал начало второй части Вашей трилогии. Оно захватило меня. Если дальше не спуститесь с достигнутого уровня, получится своего рода «гвоздь» художественной литературы за 27 год. И как кстати к 10-летию! Большой мастер виден в каждой строке и в каждом штрихе.

Но я нашел целесообразным вычеркнуть несколько строк на 2-й странице. Они совершенно правильно изображают настроение растерянного пришибленного человека. Но читатель не так умен и догадлив, как мы иногда думаем, — не поймет, что это мысли не автора, а именно пришибленного человека. Не ругайтесь»[600].

Толстой ругаться не стал. Он выпустил весь свой пыл в мае, когда перечислял Полонскому пять пунктов своей верности революции, и теперь его куда больше интересовало другое.

«Глубокоуважаемый и дорогой Иван Иванович, только что приехал с дачи и прочел Ваше письмо. Оно меня очень обрадовало и укрепило — стало быть, тот тон, который я с таким трудом искал, художественная концепция романа — производит нужное мне впечатление. Роман только-только разворачивается. Он охватит всю эмиграцию и революцию. Хватило бы у меня только сил…

Мне кажется справедливым просить Вас об увеличении моего гонорара до 400 рублей за лист…»[601]

Дать ответ на последнюю фразу Скворцов-Степанов один не мог. 5 июля 1927 года Толстой писал Полонскому:

«Я получил от Ивана Ивановича крайне одобрительное и любезное письмо, что меня подбодрило в работе. Я ему ответил…

Я считаю справедливым увеличить мне полистный гонорар до 400 рублей за лист. Поверьте, что не жадность диктует мне об этом, а насущная необходимость. Слишком большое дело я на себя взял, чтобы в работе над ним мешали разные мелкие и досадные случайности, вроде того, чтобы экстренно доставать 100 рублей и проч.»[602].

«Признаюсь, я не предполагал, что Вы находитесь в таком тяжелом материальном положении, которое чуть не лишает Вас возможности закончить роман на тех условиях, которые Вами же были намечены, — отвечал Полонский Толстому. — Я, разумеется, ни на секунду не принял Ваших слов как угрозу. Какие могут быть угрозы редакции, которая со своей стороны предоставила автору исключительные условия для работы. Я помню, с большим трудом преодолел сопротивление конторы, заявившей, что аванс в 2000 рублей — сумма слишком большая. Тем не менее этот аванс Вам был выдан. Кроме того — гонорар в 300 рублей за лист — самый крупный гонорар, который мы платим.

Если при таких условиях Вы не сможете закончить роман — я первый очень пожалею об этом… Не скрою от Вас, этим Вы причините большой ущерб журналу, который всегда шел навстречу всем Вашим требованиям. Но, повторяю, здесь я поделать ничего не могу»{603}.

Увеличил ли Полонский в конце концов гонорар, не так важно, потому что в любом случае жил пролетарский граф четыре года спустя после возвращения в СССР совсем не плохо, и уж во всяком случае намного лучше, чем любой из писателей-эмигрантов, от Бунина до Мережковского. Но не только благодаря роману.

К 10-летию Октябрьской революции на пару с Щеголевым Алексей Толстой развил успех пьесы «Заговор императрицы» и заработал крупные деньги еще на одной халтуре, а точнее сказать, фальшивке — «Дневнике А. А. Вырубовой». Строго говоря, утверждать стопроцентно, что опубликованный в альманахе «Минувшие дни» дневник подруги императрицы принадлежит перу Алексея Николаевича Толстого и Павла Елисеевича Щеголева, невозможно, но на 99 процентов это так. Анализу этого дневника посвящена серьезная работа современного российского историка, руководителя Федеральной архивной службы России члена-корреспондента РАН В. П. Козлова «Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке».

«Не так легко найти на протяжении всего XX столетия подделку русского письменного исторического источника, столь значительную по объему и со столь масштабным использованием подлинных исторических источников, как «Дневник» А. А. Вырубовой, фрейлины последней российской императрицы Александры Федоровны. Не менее знаменательно и то обстоятельство, что, разоблаченный как откровенный подлог почти сразу же после опубликования, «дневник» тем не менее имел пусть кратковременный, но шумный успех.

Невозможно пересказать содержание этого документа. В нем каждая фраза — фиксация исторически значимых событий конца XIX — первых полутора десятилетий XX столетия. «Дневник» буквально напичкан историческим материалом. Последний российский царь, царица, наследник престола царевич Алексей, Г. Е. Распутин, министры, послы иностранных государств, промышленники, финансисты, члены Государственной думы и другие знаменитости мелькают едва ли не в каждой строчке этого документа. Проблемы большой политики, связанные с судьбами государств и народов, чередуются здесь с рассказами о придворных интригах, с сальными подробностями интимной жизни представителей великосветского общества, с пересказом сплетен, слухов, с цитатами из многочисленных документов, в том числе личного характера. «Дневник» поначалу кажется очень эмоциональным документом, чему в немалой степени способствуют записи прямой речи, диалогов исторических лиц, многоточия, вопросительные, восклицательные знаки, междометия и проч. Здесь в изобилии представлены жалкие, рвущиеся к государственному пирогу лица, описаны скандалы, даны впечатляющие образы мятущегося царя, мрачно пророчащего его бесславный конец Г. Е. Распутина, стремящейся выполнить до конца свои царские обязанности Александры Федоровны. Подробности политической жизни, бытовые

детали буквально завораживают, хотя на каком-то этапе знакомства с документом возникает впечатление однообразия, а затем и скука»[{604}].

Таким образом, перед нами не просто исторический документ, но художественное произведение, под документ стилизованное. Как дневник оно пользовалось огромной популярностью среди читателей, но почти сразу же после начала публикации и в Советском Союзе, и на Западе стали высказываться сомнения в подлинности дневника.

«Слухи о «дневнике», а затем и его текст дошли до западных, прежде всего французских и германских, газет, которые начали публиковать из него отрывки. Появились объявления об отдельных зарубежных изданиях. Острая полемика по поводу подлинности «дневника» Вырубовой вспыхнула на страницах белоэмигрантской периодической печати. Газета «Дни», издававшаяся А. Ф. Керенским, начала перепечатку «дневника» Вырубовой, как и другая белоэмигрантская газета «Сегодня».

Вырубова, жившая в то время в Выборге, вынуждена была отреагировать на приписываемое ей сочинение. 23 февраля 1928 года в эмигрантской газете «Возрождение» появилось ее первое опровержение, в котором она писала: «По слухам, дошедшим до меня, в Советской России появилась в печати книга «Дневник А. А. Вырубовой», якобы найденный у одного нашего старого слуги в Петербурге и переписанный некоею Л. В. Головиной… Считаю своим долгом добавить, что единственный наш старый слуга Берчик умер еще у нас в Петербурге в 1918 г., был нами же похоронен и ничего после себя не оставил». Вскоре западным журналистам удалось встретиться и с Л. В. Головиной, которая решительно опровергла свое участие в переписке «дневника». В интервью шведской газете «Хювюд стадсбладет» Вырубова вновь заявила о подложности «дневника», подчеркнув, что он является плодом «большевистской пропаганды для сенсации среди легковерных людей». Вообще представление о «дневнике Вырубовой» как о «грубобольшевистском памфлете» было широко распространено в кругах российской эмиграции»[{605}].

В современной, особенно патриотической среде распространено мнение, что эта фальшивка была подготовлена по заказу ГПУ. Однако интересно, что как к подлогу к дневнику Вырубовой отнеслись и в СССР. В газете «Правда» писали о «вылазке бульварщины», отрицательно высказались о «дневнике» историк-марксист М. Н. Покровский, филолог М. А. Цявловская и поэт Демьян Бедный. Известный историк и археограф А. А. Сергеев замечательно объяснял, почему марксистская наука не может принять таких методов борьбы: «Опубликование этой литературной подделки под видом подлинного документа заслуживает самого строгого осуждения не потому только, что «дневник» может посеять заблуждения научного характера, а потому, что пользование этой фальшивкой компрометирует нас в борьбе с уцелевшими сподвижниками Вырубовой и защищаемым ими строем. Следовательно, значение разобранной нами здесь публикации выходит за рамки литературного явления, становясь уже фактом политического порядка»[{606}].

Неожиданную поддержку «дневнику» оказал Горький (который, как известно, с Вырубовой после революции встречался и пытался ей помочь, от чего бывшую фрейлину предостерегала императрица). Находясь в Сорренто, он очень огорчился, когда на уровне Политбюро было принято решение приостановить публикацию, и попытался воздействовать на Сталина, Бухарина и Рыкова, однако из его попыток ничего не вышло.

Более того, публикация «Дневника А. А. Вырубовой» не только не получила одобрения наверху, но привела к тому, что альманах «Минувшие дни» был закрыт, а потому, если даже согласиться с заказной версией «заказного политического убийства Вырубовой и Распутина», то заказчик преступления, очевидно, находился в меньшинстве.

Участие в этом проекте вменяют Толстому в вину и считают еще одним доказательством его продажности. Отчасти это справедливо: в дневнике много мерзкого.

«30 ноября 1910 г. Приехала новая гадалка, Гриппа. Ей 30 лет. Она очень хороша, очень ловка, обжигает как печь. Папа (Николай II. — *А.В.*) говорит про нее: «В одну ночь она может принять три поколения царской семьи, а потом пить свой шоколад в кровати». К ней льнут все кобели».

В другом месте рассказывается о том, как грубо император овладевает самой Вырубовой, и во всех этих записях чувствуется дух «заволжских» повестей Алексея Толстого.

Но писал бывший граф свой похабный антираспутинский и антиниколаевский «документ» совершенно искренне. Если он возненавидел и окарикатурил генералов Белой армии, не простив им поражения в войне, если по той же причине, мстя за политическую и государственную слабость, дурно отзывался о царе-страстотерпце, на что было ему заботиться о Распутине и Вырубовой, которых молва убежденно называла виновниками всех русских бед?

«Прошли мимо домика, где прежде жила фрейлина Вырубова — та, что первой способствовала возвышению Распутина, — вспоминал Ираклий Андроников. — Толстой с брезгливой гримасой стал говорить о Распутине:

— Наглый темный мужик с белыми страшными глазами. Обладает чудовищной гипнотической силой. Никто не мог устоять перед ним… Аристократки, которые никому не давали дотронуться до себя, ехали к нему на Гороховую, чтобы он возложил на них руку. Привозили к нему пятнадцатилетних дочек, потому что старец захотел вкусить благодати… Распутин — последний срам царской России, высшее выражение ее деградации. Он из царя Николая последние мозги вышиб…

Записки писал безграмотные: «Министрик миленький. Ты этова мальчика назначь в большие начальники, а то я на тебя стану сердица. Гриша»… Вареную рыбу хватал руками, с костями жрал, сидел весь перемазанный, рыгал, вытирал руки о волосы истеричек, которые дрались за право сидеть у его ног. А он их стравливал… История дома Романовых закончилась непристойным фарсом…»[607]

Разумеется, в этих словах много глупостей и напраслины, которую на Распутина с пылкостью наводят одни, а другие с неменьшим жаром доказывают, что на самом деле он был святым старцем, но Вырубова-то в любом случае была просто очень несчастная женщина, и грех был двум преуспевающим жизнерадостным мужам ее обижать, какими бы соображениями они ни руководствовались.

Однако Толстой Вырубову буквально изничтожал и уже не в дневнике, анонимно, а под своим именем писал в «Красной газете»:

«Ее роль была — живая физическая связь с Распутиным, нечто вроде пуповины, по которой текла благодать от Григория во дворец.

В этой пуповине весь секрет Вырубовой. Царица вышивала Григорию рубашки, целовала ему руки и кланялась в ноги, но этим и ограничивалось ее прикосновение к старцу. Все остальное предоставлялось Вырубовой. <…> Григорий из озорства и чтобы показать свою власть, мыл Вырубову вместе с провожавшими ее дамами в бане и потом долго хвалился»[608].

Член чрезвычайной комиссии при Временном правительстве по «Обследованию деятельности темных сил» коллега Щеголева В. М. Руднев, который допрашивал фрейлину императрицы в

Петропавловской крепости, позднее писал о ней:

«Много наслышавшись об исключительном влиянии Вырубовой при Дворе и об ее отношениях с Распутиным, сведения о которых помещались в нашей прессе и циркулировали в обществе, я шел на допрос к Вырубовой в Петропавловскую крепость, откровенно говоря, настроенный враждебно. Это недружелюбное чувство не оставляло меня и в канцелярии Петропавловской крепости, вплоть до момента появления Вырубовой под конвоем двух солдат. Когда же вошла г-жа Вырубова, то меня сразу поразило особое выражение ее глаз: выражение это было полно неземной кротости. Это первое благоприятное впечатление в дальнейших беседах моих с нею вполне подтвердилось. После недолгой же беседы я убедился в том, что она, в силу своих индивидуальных качеств, не могла иметь абсолютно никакого влияния, и не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику Государства…»

Распутин действительно имел на Вырубову сильное влияние, но все разговоры о том, что она находилась с ним в связи (равно как и в связи с государем), были полным бредом: в Петропавловской крепости, по распоряжению чрезвычайной следственной комиссии (членом которой были, в частности, Щеголев и Блок), ее подвергли медицинскому освидетельствованию и установили факт ее девственности. И тем не менее крепостная стража измывалась над этой женщиной. Руднев пишет о «печальных эпизодах издевательства над личностью Вырубовой тюремной стражи, выражавшихся в форме плевания в лицо, снимания с нее одежды и белья, сопровождаемого битьем по лицу и по другим частям тела больной, едва двигающейся на костылях женщины» и угроз лишить жизни «наложницу Государя и Григория».

Чем-то все это напоминает толстовскую девственницу Ольгу Зотову, которую все также считали распутной, а если учесть, что «Гадюка» писалась одновременно с «Дневником А. А. Вырубовой», совпадение это не выглядит случайным и лишний раз доказывает, что Алексей Толстой был непрост и в его книгах можно найти немало подводных камней. Но едва ли тогдашняя критика могла обратить на это внимание. Замечательные историк с писателем не гнушались ничем, они зарабатывали деньги, зарабатывали репутацию у большевиков и не боялись за репутацию в глазах друзей. И выходило это действительно небесталанно.

«Читал дневник Вырубовой в журнале «Минувшие дни», — записывал Пришвин 3 февраля 1928 года. — Григорьев говорит, будто этот дневник поддельный и что можно даже догадываться, чья работа (Толстой — Щеголев?). Не знаю, если даже и подделано, то с таким знанием «предмета», с таким искусством, что дневник, пожалуй, может поспорить в своем значении с действительным: веришь вполне, что люди были такие. Трагедия их в том, что в царском положении никому нельзя довериться, вокруг людей нет, и это одиночество порождает особенно сильные привязанности в кругу немногих людей (царь, царица, Вырубова, Распутин). И так понятно становится равнодушие царя в последние дни крушения монархии к государству: это что-то внешнее, неважное, «их дело» в сравнении с желанием быть в своей семье, среди любящих лиц»[{609}].

Неизвестно, какой гонорар получили Алексей Николаевич с Павлом Елисеевичем за свою ударную работу, но известно, что в 1927 году трудовой граф писал в Берлин Ященке: «За это время мне удалось собрать коллекцию картин европейского значения. Это моя гордость»[{610}].

Да плюс еще мебель, фарфор, одежда — граф обрастал жирком точь-в-точь как его герой Симеон Невзоров. Ни в Берлине, ни в Париже такой коллекции ему было не собрать.

«Квартира нас поразила, — описывал Андроников ленинградское жилище Толстого. — Ковры. На стене — географические карты, на шкафу — глобус. В шкафу — новейшие книги по физике, химии, философии. Классики. Сочинения А. Н. Толстого. Мебель Александра Первого.

Старшие уехали в театр. Младшие спали. В десять часов нас повели в квартиру родителей — пить чай.

Комната, в которой нас посадили за стол, украшенная полотнами мастеров 17 и 18 веков, произвела на нас еще более сильное впечатление. Мы боялись насорить, уронить, разбить. Угощала нас тетка Алексея Николаевича — «баба Маша» Тургенева — Мария Леонтьевна, родная сестра его матери. Старенькая, сгорбленная, гостеприимная. Наклоняясь над каждым из нас, она говорила:

— Кушай, мой миленький, кушай. Чаю хочешь еще? Ты не стесняйся. Да ты не объешь их. У Алеши сейчас деньги есть. Тебя звать-то как? Ираклий? Это кто ж тебе имя такое дал? Мама? А по батюшке как тебя величать? Как? Алу… Ба-сар… Луарсаб? Господи, чего это она так постаралась!.. А тебя миленький, Элевтер? Ну, Федя, как это ты не путаешься! И не запомнишь. Возьми еще пирожок. Кушай, кушай, мой миленький.

Пока мы прохлаждались горячим чаем, раздался звонок. И мы и хозяева наши выпрямились. Баба Маша сказала:

— Это Алеша с Тусей приехали. Да вы не пугайтесь. Алеша добрый. Он хороший, Алешка…

В дверях столовой появился высокий, элегантный, гладко выбритый барин. Мы вскочили. Помигав и всмотревшись в нас, он спросил:

— Фефочка! Это что за ребятишки такие?

В этот миг в комнату вошла, смеясь и протягивая к нам руки, прелестная Наталья Васильевна:

— Алеша, я тебе говорила. Это — мальчики Андрониковы, дети Луарсаба Николаевича.

— А, знаю. Их отец, — сказал Толстой медленно, отчеканивая каждое слово и скрывая улыбку, — тот благородный грузин, который помог мне вырвать тебя из объятий Фы. А. Волькенштейна. Фефочка! Эти мальчишки — грузины. Почему они у вас хлещут чай? Тащи сюда каберне и бокалы.

Налили нам по огромному зеленому фужеру, и, радуясь и потирая лицо ладошкой, Толстой скомандовал:

— За здоровье дома и женщин!

Мы выпили.

— Теперь за вас! Молодое поколение.

И десяти минут не прошло, как скованность наша совершенно исчезла. Толстой рассматривал нас в упор. Посмотрит и похохочет:

— Фефочка! Где таких взял?.. Туся, зови их на воскресенье обедать. Радловы, Щеголевы, ПеПеЛаз (так звали в их доме Петра Петровича Лазарева, академика), дикий Алешка — да они все тут просто с ума сопрут. Охо-хо! Держите меня, меня душит смех!..

Так мы попали в толстовский дом»[{611}].

Но оставался в этом доме Толстой недолго. Держать богатство даже в самой просторной городской квартире было не с руки, места для экспонатов не хватало, и в мае 1928 года

Толстой с домочадцами переехал из Ленинграда в Царское Село, о котором насмешливо писал Буданцеву: «В Царском сейчас, как в раю, ясные дни, весенний ветер, на улицах течет говно <…> Скоро в Царском будет литературная колония»[{612}].

Колония действительно возникла — в Царское переехали Федин, Шишков, Петров-Водкин, Толстой был пионером. Бывший теперь уже сосед Алексея Николаевича по ленинградской квартире художник Белкин писал Ященке: «Он (Алексей) с семьей поселился в Детском Селе (быв. Царское) и живет, как вельможа, судя по слухам»[{613}].

Эти слухи подтверждались многими современниками Толстого. Один из них, Дмитрий Гаврилов, студент Ленинградского института литературы и истории и будущий литературный секретарь Толстого, писал в своих воспоминаниях:

«Красный граф, как еще прозывали в спину Алексея Николаевича, обосновался в большом особняке по улице Церковной, дом № 6[64]. Это и вовсе отдельная история, но если вкратце — дело было так. Гуляя по голодному Питеру холодной весной 1928 года и имея последнюю наличность в кармане — кажется, полтину — Толстой встретил цыганку. Неотвязчивая предложила погадать. Толстой отдал ей пятьдесят копеек, и она предсказала, что скоро барин станет богатым и знаменитым… Предсказание не замедлило сбыться: Алексей Николаевич опубликовал вторую часть трилогии «Хождение по мукам», семья красного графа покинула северную столицу, полную суеты, и Толстые перебрались в Царское, тогда уже Детское Село. Сперва снимали квартиру на втором этаже, а затем въехали в дом на Церковной»[{614}].

Насчет цыганки и последней полтины — скорее всего миф, и уж тем более ошибка с годом, это могло быть в крайнем случае в 1927 году, но никак не в 1928 м, когда были опубликованы и «Восемнадцатый год», и «Дневник Вырубовой», но вот описание толстовского обеда в мемуарах Дмитрия Гаврилова поразительным образом перекликается с аналогичной сценой в «Театральном романе».

«Толстой вспоминается мне величавым, медлительным, ироничным. Как-то Алексей Николаевич созвал к обеду к себе домой нескольких собратьев по перу. Я, тогда еще молодой специалист, имел наглость напроситься на прием под предлогом получения рецензии на свою рукопись белозерских былин, словом — терялся среди всех этих «маститостей». За обеденным столом, большой и громкоголосый, Толстой показал себя большим любителем вкусно поесть, хотя мне запомнилось почему-то, что подавали сардельки с зеленым горошком.

Между делом граф рассказал о жизни в Париже. Мы, не видевшие заграницы даже во сне, слушали, разинув рты. А Толстой повел речь, как поутру он выдвигался на рынок Муфтар, что в Латинском квартале, и закупал съестное к обеду.

— Перво-наперво — вино! — громогласно выпалил Толстой, и я подумал, что в нем Россия потеряла величайшего из актеров, сумевших воплотить на сцене гоголевского Ноздрева. Незабвенный Борис Ливанов был много позже, и я тогда о нем не подозревал.

— Это дело, я вам скажу, понимать надо, — многозначительно подтвердил граф, сопровождая речь мощными жестами рук. — Ведь там тысячи сортов. Выберешь пуи, да такое древнее, что от пыли рук не отмоешь. Потом — сыр. Беру рокфор со слезой, камамбер, да только свежий, чтобы утренняя роса не обсохла. Ну, конечно, мясо для бургуньона. Но венец всему — это vitre, устрицы. Вы их ели? — спрашивал он, несомненно зная ответ заранее.

Писатели уныло качали головами. Питер голодал, и собратья по перу едва ли завтракали в этот день.

— Ну, хоть видели, — жизнеутверждающе продолжал Толстой. — В Эрмитаже. На картинах… Геда, Рейсдаля? Обрызнешь их лимончиком, подцепишь двурогой вилкой, а они пищат по дороге в рот. К обеду придут, бывало, Бунины и, если не поссорятся, то Бальмонт с женой. Так однажды жена Бальмонта устрицами этими объелась. От жадности. Она все экономила, а тут на дармовщинку. Чуть Богу душу не отдала…

Писатели ели с большим аппетитом, я не отставал…»[65]{615}

«*21 ноября.* Прогулка по Неве. Вечер в Царском у Толстого. В 111/2 с курьерским в Москву. Ночью снег. Утром мороз и пороша, — отметил Пришвин. — У Толстого были: Разумники, Замятины, Булгаков и какой-то адвокат с женой (адвокат пресмешного вида, потому что нос попугайчиком на очень широком лице). Я читал рассказ «Журавлиная родина», Толстой пьесу «Петр». Шампанское рекой. Толстой в год проживает 40 тысяч. Есть ли сейчас еще кто-нибудь такой?»{616}

И чуть позднее (24 ноября 1928 года): «Слышал от Раз. (то есть Р. В. Иванова-Разумника. — *А. В.),* что Толстой проживает до сорока тысяч в год! Был я у него, обедал. Я могу пересчитать те случаи, когда до революции мне приходилось в Москве поглощать такие обеды, пить столько шампанского. Но это не видимость хорошего прежнего, а самое настоящее: хозяин роскошен в своем добродушии, хозяйка очень добра, мальчики свободны и воспитаны, на стенах не дурные копии, а подлинники всяких мастеров, ковры, драгоценная мебель, посуда из вкусного стекла… Стоит съездить к Толстому, вероятно, это единственный в стране реликт московского барского быта… До того удивительно, что в голову ни на мгновение не приходит мысль, что я тоже писатель и пишу, может быть не хуже Толстого, что и я мог бы… Нет! Напротив, когда Алексей вызвался приехать ко мне в Сергиев, я почувствовал себя как бы виноватым в своей бедности. Тут не в деньгах и не в таланте, тут в характере счастье. Мое счастье в пустынности… Толстой счастлив на счастье близости вплотную к человеку. Мои гости, невидимые мне, читают где-то мои книги. Толстовские гости наедаются вместе и напиваются»{617}.

Гости у Толстого действительно любили гульнуть, и кого только не было в царскосельском доме — писатели, композиторы, художники, артисты, и чего только не было на столе.

«Кроме неожиданных обедов, без повода, а ради одной возможности пригласить и угостить с широтой римского вельможи Лукулла, получая от этих угощений неизъяснимое удовольствие, устраивались званые обеды «по поводу». То «Алеша написал новый рассказ и хочет его почитать». То «Алеша закончил пьесу, будет читать режиссеру, актерам, кроме них будут свои — детскоселы. И еще двое или трое писателей»{618}.

Когда в 1933 году Толстой принимал Герберта Уэллса, то угощал его, как впоследствии рассказывал писателю-эмигранту Вл. Крымову, по-русски, по-купечески: «Стерлядь, большущая, не стерлядь, а невинная девушка в семнадцать лет, и кругом еще раками обложена. Потом рябчики в сметане, икра, разумеется, балык, тешка из белорыбицы, гурьевская каша с гребешками из пенок».

Он жил по своим законам, устраивая праздники и взрослым, и детям. Крестница Толстого и его племянница Наталья Петровна Крандиевская вспоминала: «Тетя Наташа устраивала нам елки. Толстые не прятали свою елку, и она гордо стояла наверху в детской, украшенная, нарядная»{619}.

И детей воспитывал не совсем по-советски.

«Однажды родители стали совещаться между собою, и по тому, как они гнали меня прочь,

когда я подходил, я понял, что речь шла обо мне, — писал Дмитрий Толстой. — Любопытство мое скоро разрешилось. Через несколько дней меня познакомили со старушкой в черном платье, которая стала мне читать и объяснять Евангелие <…> Отец мой не был верующим, мама тоже не была религиозна. Впоследствии я убедился в том, что отец и мать хотели лишь не выпустить важного звена в моем так называемом классическом образовании»[{620}].

Случались, правда, в этой независимой жизни и неприятные моменты. То попадется какой-нибудь настырный идейный гость и начнет стыдить графа за приспособленчество и беспринципность («Толстой жадно и неряшливо ел бутерброды, говорил сумбурно и, теснимый железной логикой Разумника[66], махнул рукой и сдал свои позиции»[{621}]), то — еще хуже — нагрянет сборщик податей:
«Фининспектор довольно долго сидел в кабинете у отчима. Предварительно он прошелся по всей квартире. Мебель красного дерева, старинные картины и драгоценный фарфор произвели на него должное впечатление. Он установил колоссальную сумму налога, которую отчим должен был уплатить. После ухода фининспектора отчим выбежал из кабинета в совершенно разъяренном состоянии и с криками: «Я не могу больше писать! Я не буду больше писать! Пишите сами!» — и схватив рукопись, лежащую на письменном столе рядом с пишущей машинкой, разорвал ее на куски и выбросил в окно. Фининспектор тем временем спокойно удалялся от дома с толстым портфелем под мышкой. Вся семья (мама, Юлия Ивановна и все дети) ползала на коленях по саду, собирая разорванные страницы рукописи»[{622}].

## Глава XIX. Петр и Алексей

По логике вещей окрыленному успехом «Восемнадцатого года» Толстому надо было писать продолжение своего бестселлера. Было готово и название — «Девятнадцатый год». Однако третья часть трилогии «Хмурое утро» была завершена только в 1941 году. Отчего Толстой резко поменял планы, отложил «Хождение по мукам» больше чем на десять лет и занялся совсем другими вещами?

Лучше всего об этом говорят его письма Полонскому: «Мне все советуют несколько обождать с «19-ым» годом. Тема настолько острая, что в нынешней напряженной обстановке — кто знает — как будет принят роман? Не случилось бы и мне и Вам неприятностей, как с Бор. Пильняком? <…>

По «19-му году» у меня собран огромный материал, все наготове, но боюсь, боюсь, и не напрасно. А ну как скажут, что здесь что-нибудь вроде кулацкой идеологии? Ведь вся 1-я часть о Махно»[{623}].

В который раз мы сталкиваемся с отменным толстовским чутьем. Подходил к концу нэп, приближался год великого перелома, наступала решающая фаза в борьбе мужиков и большевиков, как аттестовал советскую историю Пришвин, и быть заподозренным в условиях нового военного времени в симпатиях к мужикам было слишком опасным. Крестьянский вопрос, крестьянская война и анархия были на тринадцатом году революции скользкой материей, Толстой это понимал[67] и своего опасения от Полонского не скрывал.

«Мое непосредственное ощущение и убеждение (логическое) заставляет меня погодить месяца три-четыре с печатанием романа. Я боюсь, т. е. я боюсь той оглядки в романе, которая больше всего вредна. «18 год» я писал безо всякой оглядки, как историческую эпоху, а в «19-м году» слишком много острых мест и наиострейшее — это крестьянское движение, — махновщина и сибирская партизанщина, которые корнями связаны с сегодняшним днем. А эти точки связи сегодняшнего дня крайне воспалены и болезненны, и отношение к ним неспокойное… Вот

пример: Вячеславу Шишкову зарезали в ЗИФе 20 листов, а уж что может быть лояльнее Шишкова? Вы знаете, что «18 год» вышел в Госиздате недели три тому назад и кажется, уже распродан, среди читателей успех очень большой. Но — ни одной строчки отзывов в печати. Как будто такого явления не существует. Это настораживает…[{624}]»

Полонский на этот раз не был склонен драматизировать ситуацию: «Я первый раз слышу о Ваших затруднениях с продолжением романа. Мне Вы об этом не писали. Ответ, по-моему, может быть один. Вы — художник, пишете исторический роман. Это значит, что Вы его будете писать так, как Вы видите материал, не опуская ничего существенного, не изменяя и не подменяя событий в зависимости от тех или иных изменений, которые существуют теперь. Ведь это основное требование. Что же касается редактора и цензуры, — то они, вероятно, будут делать свои замечания и т. д. — но все это может быть сделано по поводу *Вашей* картины, сделано с максимальным объективизмом. Поэтому мой совет таков: пишите как Вы находите нужным, с точки зрения Ваших художественных задач»[{625}].

Но Толстой его не послушал. Речами о свободе творчества, правах художника и максимальной объективности цензуры в СССР его было не обмануть, и интуиция подсказывала, что вернее всего — уйти в историю или, как он позднее сам, ухмыляясь, выразился в одной из своих статей, «зайти в современность с глубокого тыла». Так, именно благодаря коллективизации, русская литература получила «Петра I». Опять же компенсация при всех достоинствах романа неравноценная, но выбирать не приходится.

Обращение к истории не было для Толстого новым. Еще в Февральскую революцию он написал несколько исторических рассказов и среди них «День Петра». Облик самодержца в этом рассказе отличается от Петра-преобразователя, Петра-работника, победителя, строителя и учителя из будущего романа. В «Дне Петра» царь показан большевиком в самом подлинном значении этого слова, то есть человеком, не любящим, не понимающим и не жалеющим свою страну.

«Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалившимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрельцовской вольницей.

Налетел с досадой, — ишь угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстановляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся, — куда тут! Разъярилась царская душа на такую непробудность, и полетели стрелецкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоенной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много».

Ничего этого в будущем романе не будет. Останутся отдельные картины жестокости, беспощадного подавления Стрелецкого бунта, сопротивления бояр и царская ярость против них, но они уйдут в тень, померкнут по сравнению со славными делами Петра, его победами, муками, трудами и стараниями на благо Отечества. Главным героем толстовской книги станет тронувшаяся с места страна, Толстой благословит это движение и признает, что оно было во благо России. Но двенадцатью годами раньше автором руководила иная мысль, и сопоставление двух произведений о Петре важно не только само по себе, но и как показатель толстовской эволюции.

В рассказе было:

«И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность, — окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены».

Петр показан в рассказе как деспот, безжалостный владыка униженной, раздавленной России[68], в романе же империя при Петре поднимается и расправляется, заставляет считаться с собой остальной мир. Впоследствии свой старый рассказ Толстой назовет такой же политической ошибкой, как эмиграцию, как контрреволюционную публицистику, Одессу, Константинополь, Париж и так вплоть до Берлина, до смены вех. «Повесть о Петре I была написана в самом начале Февральской революции. Я не помню, что было побуждающим началом. Несомненно, что эта повесть написана под влиянием Мережковского. Это слабая вещь.

Началом эпопеи была пьеса о Петре. Я тогда еще не понимал того, что понимаю теперь, в пьесе еще много романтики. В ней не было настоящего изучения материала. Писатель растет вместе с эпохой. Каждая его новая вещь — это одновременно и его университет и продукт его роста».

То, что Толстой пытался задним числом переписать и переоценить собственную литературную историю и свалить все грехи на Мережковского, понятно. Но произошла эта переоценка далеко не сразу и уж тем более не одновременно с большевистским переворотом. И даже не была напрямую связана с политической эволюцией автора в 1922–1923 годах. В дневнике Пришвина 1924 года есть такая запись:

«Какой смешной Толстой: разобрав историю Петра В., сказал: «Нет, не буду о нем писать, он был дурной человек» (наверное, отдавая в то же время уважение как «спецу по государственным делам»)»[{626}].

Пользовавшийся репутацией циника Алексей Толстой неожиданно выступил тут как моралист и выразился о Петре примерно в том же духе, что и его дальний родственник Лев Николаевич,

который, как известно, примерялся роман о царе написать, но передумал, в своем герое разочаровавшись. Толстой же за эту работу взялся и в феврале 1929 года сообщал Полонскому: «Дорогой Вячеслав Павлович, не писал Вам так давно, потому что готовился к серьезнейшей и крайне ответственной вещи, — повести о Петре Первом. Теперь я начал ее, хотя и с большим трудом… Мне передают, что Вы ужасно сердитесь на меня. Напрасно…»[627]

А еще несколько дней спустя, желая задобрить главного редактора: «Дорогой Вячеслав Павлович, мне кажется, Вы будете довольны «Петром», — лучшего я не писал»[628].

Забегая вперед, скажем, что это не было преувеличением. «Петра Первого» приняли все. И в России, и в эмиграции. И в те времена, и в наши. По сей день наряду с «Детством Никиты» эта книга считается лучшим художественным произведением Алексея Толстого и лучшей книгой о Петре, при том что вообще в литературе XX века к эпохе Петра обращались многие и очень нехудые писатели: сначала Мережковский, потом одновременно с Толстым Пильняк, позднее Платонов, Тынянов, еще позднее в «Осударевой дороге» Пришвин.

Исторически можно соглашаться или не соглашаться с толстовской концепцией, а вернее с апологией Петра Великого; есть множество свидетельств патологического характера государя, существует аргументированное мнение о том, что Петр на самом деле разорил страну и нанес ей удар, от которого она не смогла оправиться, но художественно Толстой убедил всех, даже самых строгих и враждебно настроенных по отношению к нему критиков, за исключением разве что рапповцев.

Один из них, Н. Иезуитов, писал в журнале «На литературном посту»: «Историческая концепция Алексея Толстого груба, примитивна и реакционна. В итоге длительной работы Алексея Толстого над «эпохой» Петра I автор не пошел дальше буржуазной концепции русского исторического процесса, изложив только с большей тщательностью и в художественной форме то, что имелось в идеалистических трудах Ключевского»[629].

Однако к рапповцам в данном случае мало кто прислушивался, и главная победа Толстого была в том, что поверх любой критики он завоевал ума и сердца читателей.

«Роман «Петр I» имеет исключительный успех в России, — писала нью-йоркская газета «Новое русское слово». — Он расходится в десятках тысяч экземпляров, в столичных и провинциальных библиотеках на эту книгу выстраивается длинная очередь. Последнее обстоятельство вызывает теперь особую тревогу критиков, пытающихся дискредитировать роман в глазах советского читателя. Ал. Толстого раньше обвиняли в идеализации Петра как носителя идеи «торгово-промышленного капитала». В последнее время роман объявлен «сменовеховским произведением».

Не меньший успех был и за границей. Так, например, в библиотеке Гельсингфорсского Русского купеческого общества роман Толстого занимал первое место, опережая (в порядке популярности) Шолохова, Алданова, Шмелева, Крымова, Бунина, Сирина, Куприна, Зайцева, Катаева, Горького. А сколько было таких больших и маленьких библиотек по всему русскому зарубежью…

Вслед за читателями роман признали и писатели, и даже те, кто по разным причинам был настроен к Толстому враждебно. Так, если Фадееву первая часть «Петра» не понравилась, то позднее его мнение переменилось и он писал Ермилову: «За время путешествия прочел вторую книгу «Петра» и в свете ее перечитал первую. Вижу, что в оценке этого произведения — ошибся. Вещь — замечательная. Полнокровная, блестящая по языку. Петр и многие другие фигуры как отлитые — хороши мужики, хотя им не так-то много уделено внимания (это

конечно недостаток) — читается с увлечением.

Я почувствовал просто уважение к старику, — он прямо в расцвете своего дарования. Даже зависть берет»[{630}].

Мнение Фадеева очень важно. Это писательская верхушка, начальство, и к тому же человек с очень острым чутьем. А что касается мужиков, которых Фадееву в романе было мало, то самым главным из них Толстой считал самого Петра. И. Сельвинскому он однажды сказал: «Петр — настоящий мужик. Ведь он был незаконным сыном патриарха Никона, а тот-то уж подлинный мужик. Да и воспитание у Петра мужицкое, не то что у деда и отца, не духовное <…> Вот и надо писать его гениальным русским мужиком-самоучкой. В сущности, тот же Левша! Тот блоху подковал, а этот Россию. — И он густо захохотал, как смеялся обычно, когда шутка или острота казалась ему удачной»[{631}].

С точки зрения исторической предположение совершенно бредовое, но Толстому мысль о незаконнорожденности царя так понравилась, что он высказывал ее не раз, и это момент принципиальный, потому что здесь раскрываются толстовские рецепты: вбить себе в голову какую-то мысль и, даже не проговаривая ее вслух — ведь в самом тексте ни слова о том, что Петр был сыном Никона, нет, — а погрузив в глубину, спрятав ее, вести напряженное повествование. Однако удача романа была связана не только с образом главного героя. Толстому удалось гармонически соединить стиль эпохи и населявших ее людей. Ни одна толстовская книга, за исключением разве что «Детства Никиты», не написана так легко и свободно, как эта. При сопоставлении ее с тем же романом «Восемнадцатый год» легче вообразить, что Толстой жил в XVIII веке, нежели в XX, и Петровскую эпоху знал и описал намного лучше, чем период Гражданской войны. В «Петре» у Толстого страха не было, в «Петре» настало — перефразируя известную бунинскую книгу — *освобождение Алексея Толстого.*

«Я в восхищенье от толстовского «Петра» и с нетерпеньем жду его продолженья, — писал в одном из писем в 1929 году Борис Пастернак. — Сколько живой легкости в рассказе, сколько мгновенной загадочности придано вещам и положеньям, именно той загадочности, которою дышит всякая подлинная действительность. И как походя, играючи, и незаметно разгадывает автор эти загадки в развитии сюжета! Бесподобная вещь»[{632}].

Во Франции, в Грассе, молодая писательница, ученица Ивана Бунина, Галина Кузнецова записывала в своем дневнике: «Читаю весь день «Петра Первого» Алексея Толстого. Зуров говорит, что это лубок, но, по-моему, все-таки талантливо. Чувствую тенденцию, освещение временами как будто издевательство «над заказом», но все талантливо»[{633}].

Она же приводит оценку Бунина, тем более драгоценную, что Бунин Толстого в тот момент недолюбливал: «В автобусе говорили об «Алешке Толстом» и о его Петре Первом. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И.А., лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И.А., хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, — говорил он об А. Н. Толстом. — Он ведь сам глубоко русский человек, в нем это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против этих генералов. У него такая натура»[{634}].

В книге Бахраха «Бунин в халате» приводится еще одно восхищенное бунинское высказывание о Толстом: «Прекрасно все чувствует, даже петровскую эпоху почувствовал, от которой

отказался Лев Николаевич»[635].

Наконец согласно воспоминаниям литературного секретаря Бунина Андрея Седых Толстому по прочтении «Петра» была послана из Парижа открытка следующего содержания: «Алешка. Хоть ты и сволочь, мать твою… но талантливый писатель. Продолжай в том же духе»[636].

И в дневнике своем в годы Второй мировой войны Бунин восклицал с какой-то странной интонацией — восхищения ли, ревности, недоумения: «Перечитывал «Петра» А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!»[637]

Перечитывал — не просто читал. И не просто талантлив — очень. Про кого еще из своих современников Бунин так говорил?

Шаляпин писал дочери: «В прошлом году я читал 1-ю книжку, т. е. 1 и 2-й том Толстого, и скажу откровенно, был в восторге, превосходно написано»[638].

Алданов сообщал Амфитеатрову: «Все в восторге, Ходасевич в «Возрождении» хвалит каждый отрывок в гиперболических выражениях»[639].

«Петр» — первый в нашей литературе настоящий исторический роман, книга — надолго», — резюмировал Горький[640].

Итак, не отнял Господь таланта у своего отступника и грешника, чревоугодника, циника, пьяницы и бабника, не покарал за измену Белому делу и для каких-то высших целей не только не забрал, но и упрочил его дар. Или же дан ему был талант не от Бога, но от врага рода человеческого. Как знать… Сам Алексей Толстой в более поздних своих статьях охотно объяснял секрет своего успеха и технику писательского ремесла.

«Я в 1917 году пережил литературный кризис. Я почувствовал, что, несмотря на знание огромного количества русских слов, я все же русского языка не знаю, так как, желая выразить данную мысль, могу ее выразить и так, и этак, и по-третьему, и по-четвертому. Но каково ее единственное выражение — не знаю.

Вывело меня на дорогу изучение судебных актов XVII века. Эти розыскные акты записывались дьяками, которые старались записать в наиболее сжатой и красочной форме наиболее точно рассказ пытаемого. Не преследуя никаких «литературных» задач, премудрые дьяки творили высокую словесность. В их записях — алмазы литературной русской речи. В их записях — ключ к трансформации народной речи в литературу. Рекомендую всем книгу профессора Новомбергского «Слово и дело»[641].

Об этой же книге и об этих признаниях под пытками шла речь и в другой толстовской статье: «В 1917 году я сделал одно величайшее для себя открытие. Я об этом много раз говорил и писал. Мне довелось прочесть книгу «Слово и дело» проф. Новомбергского. Это судебные акты XVII и XVIII веков. Они писались таким образом: в приказе (в подвале) на дыбе висел допрашиваемый, его пытали, хлестали кнутом, жгли горящим веником. Он говорил безумные слова и чаще всего неправду. Его пытали второй раз и третий раз для того, чтобы совпали показания.

Записать такого рода показания — вещь очень ответственная. Дьяки, записывавшие показания, были люди ученые. Они должны были в сжатой форме написать так, чтобы сохранить весь индивидуальный характер данного человека, точно и сжато записать его показания. Нужно было соблюдать сжатость, точность выражения, дать краткие энергичные фразы не на

книжном, но на живом языке. Эти записи — высокохудожественные произведения. По ним вы можете изучить русский язык. Это памятники настоящего народного языка, литературно обработанного»[642].

Вообще, если вдуматься, выглядит это жутковато: были одни люди, которых подвергали чудовищным пыткам, были другие — которые записывали их показания в алмазной чистоте и первозданности, и, наконец, были третьи, которые пишут на основе всего этого высокоталантливые тексты, сочащиеся кровью. Что-то вроде Микеланджело Буонарроти, который, по версии пушкинского Сальери, приказал распять человека, чтобы правильно изобразить Христа. А если вспомнить, что рассуждения Толстого относятся к тем годам, когда истязали и мучили добрую половину русского народа, то поневоле задумаешься о соотношении цели и средств. Вероятно, именно это натолкнуло Александра Солженицына на мысль изобразить Толстого в одном из своих двучастных рассказов, который называется «Абрикосовое варенье». Толстой в этом рассказе по фамилии не называется, но узнается легко во всех извивах своей биографии:

«У Писателя было даже заливистое чёрное пятно, всем известное: в Гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР».

В уста своего героя Солженицын вкладывает почти те же самые фразы, который произносил или начертал реальный Алексей Толстой.

«Я, признаюсь, в Девятьсот Семнадцатом году — тогда ещё в богеме, с дерзновенной причёской, а сам робок, — пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов XVII века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником — из груди пытаемого вырывалась самая оголённая, нутряная речь. И вот это — дымящаяся новизна! Это — язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал. Вот, — переливал он из чайной ложки над малым стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья, — вот такая прозрачная янтарность, такой неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке».

Солженицынский рассказ построен на контрасте — талантливый автор рассуждает о страданиях людей, сидя на благоустроенной даче, наслаждаясь вкусной едой и черпая живую речь из полных отчаяния писем, которые ему как знаменитому писателю в надежде на его заступничество и помощь присылают крестьяне Советской страны, поднятые на дыбу последователями Петрова дела. Он показан как эстет и своего рода паразит на народном горе. И действительно, в жизни Толстого настанет период, когда как депутат Верховного Совета он будет получать множество писем от замордованных советской жизнью избирателей, и мало кому из них поможет, но неуязвимую позицию неприкасаемого классика, мыслящего категориями общими, а не частными, Алексей Толстой выстрадал и очень долго выстраивал, и в этом смысле цель толстовского существования в СССР заключалась в том, чтобы обезопасить себя от той участи, что ждала многих. В конечном итоге он преуспел, но были периоды, когда ходил по лезвию ножа.

Почти одновременно с романом «Петр Первый», первая часть которого касалась только детства Петра, Толстой написал пьесу «На дыбе», в ней царь выглядит иначе, чем в романе. Вообще приступая и к роману о Петре, и к пьесе о нем, автор оказался на перепутье: с одной стороны Петр — царь, то есть по определению главный кровопийца народа, с другой —

преобразователь, революционер, первый большевик. Как пройти между Сциллой и Харибдой и не задеть ни догматиков марксизма, ни строителей новой империи, для которых марксизм был лишь вывеской, но этого они никогда не признавали и в верности Марксу клялись, положив ладонь на том «Капитала»? Каким образом легализовать в молодой советской республике монарха, эксплуататора трудящегося народа, чтобы потом с полным основанием писать в отчете о проделанной работе: «И мой путь от «Сестер» к «Петру I» — это путь художественного вживания в нашу эпоху. Вживания диалектического»?

В пьесе Толстой оказался несколько левее, чем в романе, пьеса роман опережала, в романе, в опубликованной его первой части Толстой остановился на детстве и молодости Петра, а в пьесе дошел до его последних дней, и Петр там оказался кровожаден, в стиле раннего рассказа.

«Двадцать лет стену головой прошибаю… Двадцать лет… Гора на плечах… Я — сына убил. Для кого сие? Миллионы народу я перевел… Много крови пролил. Для кого сие?.. Что делать? Ум гаснет…»

Петр одинок. Это фигура трагическая. Он один против всех — против бояр, против семьи, против врагов внутренних и внешних, против целого народа, наконец. В финале, убедившись в измене жены и казнив ее любовника, он говорит: «Умирать буду — тебя не позову. Никого не позову. Сердце мое жестокое, и друга мне в сей жизни быть не может… Да. Вода прибывает. Страшен конец».

В романе одиночества не будет, Толстой придумает семейство Бровкиных, которое не за страх, а за совесть служит Петру и получает за это свою награду (русским self-made man’ом справедливо назовет Бровкина Жорж Нива), он почти идиллически изобразит отношения Петра с Немецкой слободой и с Францем Лефортом, будут у героя русской истории верные друзья и среди сподвижников. Совсем не то в пьесе, и судьба у нее оказалась такая же несчастливая, как у главного героя.

Толстой читал «На дыбе» — одно название для года великого перелома чего стоило! — сначала основному составу МХАТа, но там ее не приняли, как не принимали почти ничего, Толстым написанного, и тогда он отдал пьесу МХАТу-2. Режиссером второго МХАТа был Иван Николаевич Берсенев, возглавивший театр после того, как СССР покинул Михаил Чехов. Берсенев пьесу принял. Потому ли, что она ему понравилась или потому, что в жизни Берсенева была долгая полоса, когда его пути с Толстым пересекались. После голодной московской зимы 1918 года Берсенев, уроженец Киева, отправился вместе с театром на гастроли на Украину и вскоре оказался на территории, контролируемой белыми. Группа артистов сначала гастролировала по югу Россию, затем перебралась в Европу, давала спектакли в Константинополе, Софии, Белграде, Вене, Праге, Берлине и только в мае 1922 года вернулась в Москву.

Таким образом, Берсенев проделал примерно такое же «хождение по мукам», что и граф Толстой. Именно Берсенев и взялся за постановку толстовского «Петра».

Премьера состоялась 23 февраля 1930 года, однако пьеса была встречена в штыки РАППом, причем выражение «встречена в штыки» принадлежит в данном случае самому Толстому, который утверждал в автобиографии, что спас его пьесу «товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 г., давший правильную историческую установку петровской эпохе». Это писалось уже после того, как РАПП был расформирован, но вот что касается ссылки на Сталина — то история эта темная и вместе с тем очень существенная, потому что здесь проливается скупой свет на начало личных отношений советского вождя и красного графа.

По сообщению И. Гронского, одного из самых крупных партийно-литературных функционеров советского времени, спектакль «На дыбе» был оставлен Сталиным без внимания, то есть Сталин то ли Толстого простил, то ли остался к пьесе равнодушен[{643}].

Вместе с тем существует мемуар, принадлежащий перу Р. В. Иванова-Разумника, носящий, правда, несколько апокрифический характер, в котором поведение Сталина согласуется с толстовской версией о заступничестве вождя.

«На дневной генеральной репетиции театр был переполнен всеми властями, на коммунистических заставах командующими: от членов Политбюро — во главе с «самим Сталиным» — в ложах, до многочисленных представителей «красной профессуры» в партере и до бесчисленных представителей ГПУ во всех щелях театра. Партер и весь театр смотрели не столько на сцену, сколько на «правительственную ложу» и на «самого Сталина», чтобы уловить, какое впечатление производит пьеса на «хозяина земли русской», и соответственно с этим надо ли ее хвалить или стереть с лица земли.

Пьеса подходила уже к концу — и все не удавалось определить настроение «хозяина»: сидел спокойно и не аплодировал. Но часа за четверть до конца, когда Петр уже агонизировал, а «Ингерманландия» тонула — произошла сенсация: Сталин встал и, не дождавшись конца пьесы, вышел из ложи. Встревоженный директор и режиссер Берсенев побежал проводить высокого гостя к автомобилю и узнать о судьбе спектакля.

Он имел счастье довольно долго беседовать в фойе с вершителем судеб пьесы и России, и, когда вернулся в зрительный зал, — занавес уже упал при гробовом молчании публики, решившей, что судьба «Петра Первого» уже предрешена…

Маленькое отступление: позвольте напомнить подобный же случай «в анналах русского театра». В собрании сочинений Козьмы Пруткова, при рассказе о постановке на Александрийской сцене в 1851 году водевиля «Фантазия», сообщается, что присутствовавший на спектакле Николай I, не дождавшись конца водевиля, «с признаками неудовольствия изволил выйти из ложи» — публика начала свистеть, шикать, выражать негодование… Во все времена и при всех режимах лакеи остаются лакеями.

Занавес упал, но публика оставалась на местах, ибо по окончании пьесы тут же, на сцене, должна была состояться «дискуссия», решающая судьбу спектакля. Через немного минут занавес снова поднялся: на сцене стоял стол для президиума и кафедра для ораторов; записалось уже до сорока человек — все больше из состава «красной профессуры».

Заранее можно было предсказать содержание речей, — в иных случаях легко быть пророком в своем отечестве. Один за другим выступали «красные профессора», «литературоведы-марксисты», театральные критики-коммунисты — и, стараясь перещеголять друг друга в резкости выражений, обрушивались на пьесу, требуя немедленного ее запрещения. Требовали привлечения к ответственности деятелей Главреперткома, пропустивших к постановке явно контрреволюционную пьесу; обрушивались на театр и режиссера, изобразивших Петра «героически», явно в целях пропаганды монархизма; взывали к «мудрости Сталина», который, конечно же, разглядел всю контрреволюционность спектакля и несомненно запретит распространение его в массах; нападали и на автора, требуя не только запрещения пьесы, но и конфискации самого романа «Петр Первый», — первого его тома, — и запрещения цензурой предстоящего второго тома… В таком же духе высказались в течение часа один за другим десять ораторов, причем каждый последующий старался «увеличить давление» и оставить за флагом всех предыдущих в выражении своих верноподданнических чувств и своего безмерного негодования.

На кафедре появился одиннадцатый оратор, — толстый «красный профессор» с таким же толстым желтым портфелем под мышкой. Он прислонил портфель к подножию кафедры, поднялся на нее — и едва начал речь словами: «Товарищи! в полном согласии с предыдущими ораторами, не нахожу достаточно сильных слов негодования, чтобы заклеймить эту отвратительную контрреволюционную пьесу, в которой так героически подан Петр, явно в целях пропаганды монархизма...» — как его перебил директор и режиссер Берсенев, попросивший у председателя слова «с внеочередным заявлением». Получив его, Берсенев, не поднимаясь на кафедру, где оставался одиннадцатый оратор, а стоя за спиной президиума, сказал приблизительно следующее:

«Товарищи! Французская народная мудрость говорит, что из столкновения мнений рождается истина, — и сегодняшний наш обмен мнениями о спектакле «Петр Первый» несомненно послужит лишним доказательством справедливости этой поговорки.

Я рад, что десять-одиннадцать первых ораторов высказались столь единогласно в своем отрицательном и резком суждении о пьесе, — рад потому, что уверен, что многие из последующих ораторов выскажутся об этой пьесе в смысле совершенно противоположном. По крайней мере мне уже известно одно из таких суждений. Час тому назад товарищ Сталин, в беседе со мной, высказал такое свое суждение о спектакле: «Прекрасная пьеса. Жаль только, что Петр выведен недостаточно героически».

Я совершенно уверен, что если не все, то по крайней мере некоторые из последующих ораторов присоединятся к этому мнению товарища Сталина, и таким образом из столкновения мнений родится истина. А теперь прошу меня извинить за то, что я прервал столь поучительный обмен мнениями своим внеочередным заявлением»...

Впечатление от этой краткой речи, которой нельзя отказать в ехидстве, было потрясающим. Сначала наступило гробовое продолжительное молчание, затем — вихрь землетрясения, буря оваций и крики: «да здравствует товарищ Сталин!» Волной этого землетрясения был начисто смыт с кафедры толстый «красный профессор» — исчез неведомо куда, забыв даже свой толстый желтый портфель у подножия кафедры. (Берсенев потом рассказывал, что портфель этот три дня лежал в конторе театра, пока за ним не явились от имени толстого «красного профессора».)

Его сменил на кафедре новый, двенадцатый оратор, очередной «красный профессор», который начал свою речь примерно так: «Товарищи! Слова бессильны передать то чувство глубочайшего возмущения, с которым я прослушал речи всех предыдущих ораторов. Как! Отрицательно относиться к замечательной прослушанной и виденной нами сегодня пьесе, о которой товарищ Сталин так верно и мудро сказал: «Прекрасная пьеса». Как! Считать героической фигуру Петра, про которую товарищ Сталин так мудро и верно заметил, что он выведен недостаточно героически, — в чем, действительно, единственная ошибка и автора, и театра...»

И так далее.

Стоит ли досказывать? Ну, конечно же, и само собой понятно, что все последующие ораторы «всецело присоединились к мудрому суждению товарища Сталина», что они клеймили негодованием контрреволюционные выступления десяти первых ораторов, что пьеса была единогласно разрешена к постановке и что автор немедленно принялся за вторую редакцию пьесы, чтобы Петр был в ней выведен более героически...

Ну разве не пророчески прав был Герцен? Какая замечательная лестница восходящих господ,

— если смотреть снизу, и лестница нисходящих лакеев, — если смотреть сверху!»[644]

Мемуар красочный, эффектный, хотя справедливости ради надо сказать, что пьесу громили после постановки, и если Сталин ее чем и спас, так это роспуском РАППа. Но то было лишь два года спустя после премьеры. Да и преувеличивать симпатию Сталина к Петру в ту пору не следует. Во всяком случае в 1932 году, беседуя с немецким писателем Эмилем Людвигом, Сталин так ответил на его вопрос о том, допускает ли он параллель между собой и Петром Великим и считает ли себя «продолжателем дела Петра Великого»:

«Ни в коем роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна»[645].

И уж тем более вряд ли, создавая Петра, имел в виду Сталина Толстой. Все это более поздние реконструкции, равно как и собственные построения автора, который настаивал на марксистском творческом методе: «На «Петра Первого» я нацеливался давно, — еще с начала Февральской революции. Я видел все пятна на его камзоле, — но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане. Начало работы над романом совпадает с началом осуществления пятилетнего плана. Работа над «Петром» прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Прежде всего — переработка своего художнического мироощущения. Результат тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства. Под наложенной сеткой марксистского анализа история ожила во всем живом многообразии, во всей диалектической закономерности классовой борьбы.

Марксизм, освоенный художнически, — «живая вода». Я не могу не верить, что мы — на заре невиданного в мире искусства».

Левые критики в ответ презрительно называли графа «марксовидным».

«Пьеса А. Н. Толстого — бывшего графа — вчерашнего певца разорившегося дворянства, до последнего времени числившегося в рядах мелкобуржуазных попутчиков, злобная, бешеная вылазка классового врага, прикрытая искусной маской «историчности» <…> искусно замаскированная контрреволюционная вылазка, во много раз более активная, чем «Дни Турбиных» или «Багровый остров», — утверждал критик И. Багелис в «Комсомольской правде» в статье с характерным названием «Для кого сие?»[646].

В мае 1931 года Авербах, выступая на пленуме ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей), с высокой трибуны говорил:

«Тех писателей, которые идут к нам, мы должны каждый день заставлять выбирать, — нет единой грузинской, армянской, украинской национальных литератур, выбирайте, с кем вы? Вот вам даны пролетарские писатели и даны такие писатели, как Алексей Толстой, выбирайте — с кем вы?»[647]

Критик А. Селивановский писал о том, что Алексей Толстой «входит в литературную агентуру буржуазии»[648].

Граф искал сочувствия в писательской среде, но сочувствия не было. Русские писатели, те, кто не были убиты или не кончили жизнь самоубийством, как Есенин, Андрей Соболь или Маяковский, выживали поодиночке — писали письма Сталину, просились за границу, на работу в театры и издательства, уходили в переводы, и чувствовалось, что затеянная в стране коллективизация коснется не только крепких деревенских мужиков. Вся советская литература рисковала превратиться в большой колхоз с Фадеевым в роли председателя. В феврале 1930

года Пришвин, наблюдавший за писательскими делами издалека, писал в дневнике: «Алеша Толстой, предвидя события, устраивается: собирается ехать в колхозы, берет квартиру в коллективе и т. п. Вслед за ним и Шишков. Замятин дергается… Петров-Водкин болеет…»[649]

Колхозы упомянуты Пришвиным не случайно. Существует довольно любопытное свидетельство Юрия Либединского, которое было предназначено для книги «Воспоминания об Алексее Толстом», но в ее состав не вошло и осталось в архиве. Либединский описывает разговор нескольких писателей и драматургов, среди которых был и Толстой:

«Один из присутствующих драматургов сказал, обращаясь к Алексею Николаевичу:

— А все-таки жаль этой уходящей деревни, ее поэзии, ее садов…

Алексей Николаевич устремил на него недоуменный взгляд:

— То есть, позвольте, чего это вам жаль?

— Ну как же, — ответил изрядно оробевший товарищ, почувствовав, что попал впросак. — Сады, соловьи… Ну всего того, что было прелестно в старой деревне…

— Послушайте, вы понимаете, что вы говорите? — спросил Алексей Николаевич. — Старая деревня, это мрак, это невежество, это бездорожье, это одичание! Да если хотите знать, я потому и стал поддерживать Коминтерн, — он именно так и сказал, не Коммунистическую партию, не Советскую власть, а именно Коминтерн, — что коммунисты всерьез покончат на всей планете с этими отвратительными гирями на ногах, с этой мировой деревней.

Он долго не мог успокоиться и все возвращался к этой теме.

Потом, когда мы возвращались домой, Штейн и Чикмадурин время от времени подтрунивали над незадачливым апологетом поэтической деревни.

— Что, решил к графу подлизаться? Думал, что он сразу клюнет на деревенскую поэзию? А ты бы лучше вспомнил его «Овраги», как человек тонет среди бела дня. Вот он тебе и показал деревенскую поэзию.

Когда я спустя некоторое время рассказал А. А. Фадееву эту историю, он усмехнулся и сказал:

— Ну что говорить, у Алеши большой политический масштаб, и это, конечно, характерно — то, что он сказал о Коминтерне. Но при этом он очень русский человек и его патриотическое чувство всегда настороже»[650].

Так или не так думал Толстой про русскую деревню и старые дворянские гнезда с садами и соловьями, но эту ситуацию нетрудно себе представить. Толстой в присутствии нескольких свидетелей, близких к РАППу, подвергается явной, не важно, сознательной или нет, провокации и дает резкий ответ. И понятно внутреннее состояние человека, которому в любой момент кто угодно мог в шутку или всерьез напомнить о его происхождении, взглядах, привычках, заблуждениях.

В иных вещах он был вынужден быть большим католиком, нежели папа, и усмешка Фадеева, все это видевшего, характерна не меньше, чем признание им толстовского политического масштаба. Самый страшный грех Толстого в глазах Фадеева был все же не в буржуазном прошлом, а в той ловкости и расторопности, с какой граф обделывал свои литературные дела при пролетарском настоящем. Этой ловкости не было, пожалуй, ни у кого из его худородных

собратьев, и, как заметил уже в наше время литературовед Мирон Петровский, «продуктивность заводского конвейера сочеталась в его работе с художественным изяществом ювелирной мастерской»[651], причем, добавим, неизвестно, чего было больше.

Во всяком случае, Фадеев, став в 1931 году главным редактором «Красной нови», писал Толстому по поводу публиковавшейся в журнале очередной литературной халтуры красного графа:

«Алексей Николаевич!

Письмо Ваше, адресованное товарищу Анову (от 8 августа), удивило меня до крайности. Вы, совместно с Сухотиным, предложили редакции «Записки Мосолова», обязавшись представить материал в определенные сроки. Вещь эта всем нам крайне не понравилась, написана она — Вы сами это знаете — чрезвычайно неряшливо, бегло, безыдейно, читать ее можно с любого конца. Но, во-первых, не нам судить Вас — старого опытного писателя, а во-вторых, журнал наш, где совсем недавно сменилась редакция, находится в таком положении, что не может пока что печатать только такой материал, который ему нравится и который действительно находится на высоте — материала, попросту говоря, не хватает. Поэтому мы согласились на Ваше предложение и приняли «Записки Мосолова».

В результате, Вы нам давали через час по столовой ложке этой скучной и кислой микстуры (уверяю Вас — и Вы опять-таки сами это знаете, — что никакой принципиальной разницы между главами, написанными Вами, и главой, написанной Сухотиным, нет) — так или иначе, мы уже обязались перед читателем, — и вдруг (в силу причин, которые никому не интересны, так как они имеют отношение к Вашей с Сухотиным личной биографии, но никакого отношения к художественной литературе) повесть мы обязаны прервать.

Ваше письмо, разъясняющее дело, приходит уже тогда, когда последний номер сверстан, то есть тогда, когда уже ничего изменить нельзя без материальных убытков и длительной задержки номера. Единственный выход для нас — написать конец первой части. Мы это и сделали. Зачем же громкие и фальшивые слова о пролетарской художественной литературе и т. п.? Благодарите Бога, что я (вопреки моим привычкам) ограничиваюсь только этим письмом, но стоило бы Вас высмеять на весь Союз Советских Республик.

Ал. Фадеев»[652].

Пилюлю от будущего генерального секретаря Союза советских писателей Толстой проглотил, а что ему оставалось? Фадеев был со всех сторон прав. Толстой часто халтурил, писал только ради того, чтобы заработать, не забывая надувать изо всех сил щеки, и после смерти Щеголева продолжал сотрудничать с другими писателями, нимало не заботясь о собственном имени, но борясь за гонорары. Продажность Алексея Толстого была не политической, но экономической — продажность в прямом и для него совершенно неоскорбительном смысле этого слова.

«Я, Толстой, обязуюсь принять и включить в комедию и рассказ все тезисы валютного и пропагандного характера, которые мне даст Валютное управление НКФ»[653]. Нетрудно представить, что выходило в таких случаях из-под его пера. Зато деньги шли хорошие. Художник уживался с коммерсантом, так что — редкий случай — один не мешал другому.

Толстовскую страсть к халтуре подмечал не только Фадеев. В 1932 году Горький разругал написанную в соавторстве с А. Старчаковым пьесу «Патент 119», с чем ведущий драматург покорно и почтительно согласился: «Дорогой Алексей Максимович, когда я поразмыслил над Вашим письмом, — то понял, что Вы правы, и я Вам благодарен за верный тон и

художественный анализ»[654]. Разругают одну, похвалят другую. Вообще, если посчитать, сколько Алексей Толстой всякого мусора написал[69], какое количество пинков за это *в* двадцатых — начале тридцатых годов за свою неряшливость получил, сколько раз подавали на него в суд за плагиат, то может возникнуть впечатление, что красный граф был из породы людей, про которых в народе сложена поговорка: «Ему хоть плюй в глаза, все Божья роса».

На самом деле это не совсем так. Как ни презирал Толстой советскую литературную общественность, сколько ни искал, подобно Булгакову, отдохновения в театральной среде, но от своего литературного глубинного одиночества страдал и жаловался прозаику Николаю Никитину:

«Милый друг Коля, ты мне доставил очень большое удовольствие письмом. У нас нелепая жизнь. Когда-то такие письма между писателями, — о впечатлении, критические, полемические, хвалебные — составляли часть литературной жизни <…> Теперь, конечно, смешно немного читать, как Аксаков ночью ворвался к Грановскому, разбудил его, обнял и со слезами прощался с другом навсегда, потому что они идейно разошлись. Злоба и зависть, конечно, были и тогда, и не в меньшей степени, но было и другое, а у нас именно этого другого, перекидывающего мостки друг к другу, и нет…

Мы все страшно одиноки, как волки одиночки… Во время наших сборищ — водка — ты знаешь, с какой торопливостью все стараются одурманиться…»[655]

«Когда я бываю на людях, то веселюсь (и меня считают очень веселым), но это веселье будто среди призраков»[656], — признавался Толстой жене.

Литературных друзей да и просто близких людей у него было мало, хотя дом в Царском был полон народа.

В 1930 году Толстой занимал уже целый особняк на Церковной улице, где жил совсем по-барски. Дочь Константина Федина вспоминала: «Вокруг дома был красивый сад… В доме Толстого всегда жили гости. Было шумно, устраивались пышные приемы, приезжали гости из Ленинграда»[657].

А вот с самим Фединым у Толстого были отношения крайне неровные. Федин вывел его в образе несимпатичного драматурга, пижона и эстета Пастухова[70] в своей трилогии «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер» и, возможно, таким манером отомстил за Бессонова-Блока. Любопытно, что именно о Блоке шла речь у двух друзей во время возлияний.

«1930.12.1. Я пил с ним третьего дня у Сергеева, за вином мы просидели до восьми утра, часами перечитывая Блока — «Пушкина нашего поколения». Потом утром Толстой пришел ко мне, мы пили чай, и ночь все так же по сумасшедшему продолжалась»[658], — писал Федин в дневнике.

«20.4.30. У Толстого в Детском. Новый прилив нежности ко мне и клятвы в дружбе»[659].

Позднее, уже после смерти Толстого, Федин писал Никитину: «С Толстым я сблизился в 23–24 годах, и как у всех с ним, отношения мои с ним восходили до нерушимой дружбы и низвергались до неприязни. Это собственно роман, а не дружба»[660].

Заходил в этот дом и Корней Чуковский, которому графская роскошь не понравилась: «Не застал ни Толстого, ни Толстихи: она в Ленинграде, он в Москве. Дом у них действительно барский, стильный, но какой-то неуютный. Столовая как музей»[661].

Не было у Толстого больше дружбы ни со своим литературным критиком, ни с другими писателями, от души выпивавшими и вкусно евшими у него в доме. Были романы. И по-настоящему близок хозяин особняка на Церковной, 6 был, пожалуй, только с одним романистом — Вячеславом Шишковым.

Летом 1930-го вместе с ним Толстой отправился в путешествие по Волге, откуда писал полные жизни письма: «Питаемся мы хорошо: осетрина, судак, иногда стерлядь, икра, балык. На пристанях много яиц, молока, копченой рыбы, огурцов, ягод. Вчера я слопал кило малины с топленым молоком… Только что вернулись с прогулки по Самаре, был в доме, где я вырос, видел дом отца, — в развалинах. Узнавал отдельные дома и то, что с ними связано в детстве. Дивная вещь воспоминания. Не знаю, как у тебя, — у меня не вспоминается никаких фактов, ни лиц, не помню ни людей, ни обстановки, но только что-то необъяснимое, как печаль, как будто неслышимые уху вздохи ушедших теней снова проносятся по эту сторону глаз…

Я катастрофически толстею»[{662}].

С Волги поехали в Крым, но там изобилия не было, а напротив, случился голод: «Берег пуст, фруктов никаких нет, пить нечего, вина нет… Из Ялты бегут, крымские курорты голодные, нет ни мяса, ни рыбы, ни фруктов…

Здесь Андрей Белый. Мы виделись уже с ним… О здешней обстановке расскажу словами…»

О пребывании Толстого в Коктебеле летом 1930 года сохранился довольно ядовитый и нелицеприятный мемуар поэта Семена Липкина: «У Волошина гостил тогда Алексей Толстой, они вообще были на «ты» и дружили. Вересаев, живший рядом, часто приходил.

Из Феодосии мы приехали на тарантасе — еще не было машин. И приехали очень рано, часов в 6–7 утра. Георгий Аркадиевич мне предложил пойти искупаться в море, пока нас устроят, и указал место, где плавают мужчины. Я пришел и увидел, что спиной ко мне стоит крупная голая женщина. Решив, что не понял и попал не туда, пошел на другую сторону пляжа. Там плескались две молоденькие девушки. Я вернулся обратно. И оказалось, что стоявшая спиной полная женщина — это Алексей Николаевич Толстой. Повернувшись, он бросил: «Холодно в море, но бодрит, мерзавец».

Почти каждый вечер в кабинете Волошина собирались люди и беседовали в основном о литературе. Мне было всего 19 лет и, признаюсь, не каждый раз меня приглашали на эти вечеринки. Но пару раз я все-таки на них бывал. Во время одной из встреч обсуждали рассказ Алексея Толстого, который он читал накануне. И я застал беседу на эту тему. Какой именно рассказ, я до сих пор не знаю, но помню хорошо, как Волошин сказал тогда Толстому: «Алеша, каким бы ты был замечательным писателем, если бы был пообразованней»[{663}].

И еще одно довольно существенное место в воспоминаниях Липкина: «Я заметил на дереве в саду почтовый ящик. Мне объяснили, что все, кто имеет деньги, туда вкладывали кто сколько мог, чтобы помочь Волошину. Я тоже опустил туда деньги, но немного, ведь я был студентом и особых средств не имел. Больше, чем все остальные вместе взятые, давал Алексей Толстой — и в ящик, и в руки хозяину»[{664}].

Рабоче-крестьянский граф о друзьях своей молодости помнил, хотя, конечно, Волошин в 1930 году был ему бесконечно далек: слишком разошлись пути двух изгоев Серебряного века, дуэлянта и его секунданта, некогда разводившего как можно дальше сомнительного Волошина и контрреволюционера Гумилева. Больше двадцати лет прошло с той поры, одного давно не было в живых, другой стоял на пороге смерти, и только Толстой продолжал свой путь. Однако

назвать этот путь легким и гладким было бы несправедливо.

В начале тридцатых он снова писал как проклятый и снова метался, и, казалось, ни последовательности, ни логики в его творческих замыслах не было. После первой части «Петра», вместо того чтобы писать продолжение этого успешного и неопасного произведения, взялся за авантюрный роман из жизни эмиграции, в котором наряду с вымышленными действовали исторические лица, и в том числе те, кого Толстой лично знал: князь Львов, редактор «Общего дела» Бурцев, старший Набоков, а также уже известный нам талантливый журналист Рындзюн-Ветлугин, названный в романе Владимиром Лисовским.

В «Черном золоте» (позднее роман был назван «Эмигранты») было немало личного, Толстым когда-то пережитого и заново оцененного с высоты прожитых лет. «Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия когда-то была удобнейшим местом. Неожиданно поставленная вне закона, она с угрозами и жалобами помчалась через фронты гражданской войны. Она докатилась до Парижа, где попала в разреженную атмосферу, так как здесь никому не была нужна. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто его «я». Если нет меня, то что же есть? Если я страдаю — значит нужно изменить окружающее, чтобы я не страдал. Я — русский, я люблю мою Россию, то есть люблю себя в окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого не вернут, то такая Россия мне не нужна».

Идеи опять же чисто сменовеховские, но по сравнению с «Ибикусом» и «Рукописью, найденной под кроватью» в «Эмигрантах», с одной стороны, больше политики, с другой — меньше ерничества. Во всяком случае, три красивые русские женщины, которые становятся дорогими проститутками, написаны Толстым с жалостью, как и бывший офицер Семеновского полка Василий Налымов, неслучайно носящий фамилию одного из его ранних героев.

Их горькие судьбы и тоже своего рода хождение по мукам, но без счастливого финала были описаны в остросюжетной, граничащей с бульварной форме, и уже во время публикации романа в «Новом мире» появилось много резких отзывов[71], что заставило автора в двенадцатом номере за 1931 год написать: «С первых же глав «Черного золота» меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же к удовольствию или неудовольствию читателей, я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны»{665}.

Обыкновенно этот роман проходит по ведомству «ужасного и низкого по пошлости», и неслучайно именно по поводу «Эмигрантов» Бунин писая: «Страсть ко всяческий житейским благам и к пріобретенію их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россію, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только за писаніе гнусных сценаріев, но и за сочиненія пасквилей на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирая «в долг» в эмиграции, и за нелепейшія измышленія о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русскіе «белогвардейцы»{666}.

Последнее напрямую связано с образом князя Львова, у которого Толстой действительно в Париже часто бывал («Знакомых много, чаще всего бываем у Львова — и я и Алеша, оба, очень полюбили его»{667}, — писала в декабре 1919 года Н. В. Крандиевская в одном из своих писем) и которого вывел в «Черном золоте» не самым симпатичным, хотя и не самым ужасным образом. И все же, если беспристрастно этот роман перечитать, в нем нетрудно увидеть не только описание белогвардейских злодейств и коварных заговоров против молодой советской

республики, но и нечто вроде ностальгии, обратной той, что испытывал Алексей Толстой в Париже и Берлине. Там писатель тосковал по России, здесь — по Европе и с деланым осуждением и скрытым сожалением описывал парижские злачные места («Здесь было развратно и не слишком шумно — обстановка, всегда вдохновлявшая Николая Хрисанфовича»), бульвары, улицы, площади, рестораны, парижскую толпу и хорошеньких парижанок.

К этому времени граф уже восемь лет как не был в Европе. Еще в 1926 году Белкин писал Ященке про заграничные планы Толстого: «На весну он хочет отдохнуть и проехаться в Италию через Одессу»{668}. Сам Толстой в 1928-м извещал Полонского о том, что в январе должен будет ехать в Париж, так как часть действия его романа происходит в Париже, а воспоминания о нем у него «стерлись»{669}.

Но Толстого не выпускали за рубеж ни отдыхать, ни работать, хотя многие из его более молодых коллег — Пильняк, Леонид Леонов, Вс. Иванов, Тынянов, Федин, Илья Груздев, Николай Никитин, Лидия Сейфуллина, Михаил Слонимский — ездили, и по большому счету «Эмигрантов» Толстой написал для того, чтобы окончательно доказать свою политическую лояльность и отрезать все пути возвращения в эмиграцию. В пользу этой версии говорит и короткая заметка «Выпускают писателей» из парижской газеты «Последние новости» (где некогда печатался Толстой) от 30 ноября 1931 года:

«Кроме находящегося уже в Берлине Евгения Замятина… ожидается прибытие в Германию Всеволода Иванова, Ник. Никитина и давно уже добивающегося заграничного паспорта Ал. Толстого, заслужившего эту милость пасквильным «Черным золотом».

Для сравнения четыре года назад та же самая газета устами Георгия Иванова благожелательно провозглашала в рецензии на 33-й выпуск журнала «Современные записки»: «В отделе «Культура и жизнь» заслуживает быть всячески отмеченной статья Георгия Адамовича о Ал. Н. Толстом. Нельзя не согласиться с доводами автора, что и нынешний, «падший» Ал. Толстой остается прекрасным и по существу недооцененным писателем, от которого, несмотря на все его промахи, можно еще очень многого ожидать»{670}.

Вот и дождались романа, где эмиграция осмеяна, унижена и окарикатурена. Но то, что в СССР Толстому не вполне доверяли и он должен был зарабатывать свою лояльность, многое объясняет в его поступках и резких высказываниях, а также в мотивах многих его книг.

После «Черного золота» его выпустили.

«Зав. ОГИЗ тов. Халатову.

М. Горький советовал мне теперь же, в начале 1932 года, приступить к написанию второй части романа «Петр Первый» и предложил начать эту работу в Сорренто, где я буду находиться в постоянном общении с ним. Я принял это предложение.

Пребыванием за границей я намерен воспользоваться также для того, чтобы закрепить права по изданию моих произведений на Западе (в частности, романа «Черное золото») и добиться того, чтобы мой авторский гонорар в валюте поступал не литературным спекулянтам, но переводился бы в СССР, что может составить немалую сумму.

На основании всего вышеизложенного, прошу Вас, тов. Халатов, посодействовать мне в получении разрешения на выезд в Сорренто (Италия).

Вернуться я намерен вместе с Алексеем Максимовичем в конце апреля 1932 года»{671}.

«Дела мои таковы. Халатов присылает завтра приказ печатать «Черное золото». Здесь на конференции уже наметился поворот к осуждению «левого перегиба». О разрешении за границу он сказал, что до 18–20 будет устроено»[{672}].

«У меня странное ощущение — мне как-то зябко думать о поездке за границу, знаю, что нужно, и очень интересно, и много оттуда вынесу, но ощущение, что нужно нырнуть в ледяную воду»[{673}].

«Слухи о вашем визите в Европу уже донеслись до Парижа, — сообщал графу последние литературные новости русского зарубежья Горький, — и Мария Игнатьевна, на днях приехав оттуда, рассказала: Иван Бунин был спрошен одним из поклонников его:

«Вот приедет Алексей Толстой и покается перед тобой, гений, в еретичестве своем, — простишь ли ты его?» Закрыл Иоанн Бунин православные очи своя и, подумав не мало, ответил со вздохом: — «Прощу!»

Весьма похоже это на анекдот, сочиненный человеком недоброжелательным Бунину, но рассказано сие как подлинная правда, и я склонен думать, что так оно и есть — правда! Жутко и нелепо настроен Иван Алексеевич, злопыхательство его все возрастает и — странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдумана им для самосохранения. Так — бывает: В. И. Икскуль однажды любезно предложила себя Дм. Мережковскому, но он, испуган этим, почему-то — заявил ей: «У меня — люэс!» Сходство — отдаленное, но есть.

Плохо они живут, эмигранты. Старики — теряют силы и влияние, вымирают, молодежь не идет их путями и не понимает настроения их»[{674}].

Это письмо (равно как и последующие письма Горького к Толстому и обратно) любопытно сопоставить с отрывком из дневника Галины Кузнецовой, где говорится об эмигрантском восприятии жизни советских писателей:

«19 марта 31 г. Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой «ясноликой и хорошо одетой», как рассказывал о ней ИА <…> Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, концессионер, она, его жена — сестра Германовой. Рассказывали о России в таком духе:

Он (с акцентом). О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д.)

Говорили и о писателях. ИА расспрашивал. О Ал. Толстом они рассказали, что он отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, что он жалеет здешних.

— А мы их жалеем, — сказал ИА.

Вообще разговор был грустный. ИА пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. «У нас в Ленинграде», — в первый раз за много лет мы это услышали»[{675}].

В 1932 году в Париже Толстой не был и с Буниным не встречался, потому что маршрут его был определен в Италию через Берлин и никаких отклонений не предусматривал. По возвращении Толстой описал свою командировку в статье «Путешествие в другой мир», опубликованной в «Известиях», где политически грамотно заклеймил капиталистический город, который он так

нахвалил некогда Бунину и в котором провел почти два самых бурных и насыщенных года своей бурной и насыщенной жизни: «Берлин — «великолепный» клинический случай мировой болезни. Кажется, что у нас в СССР массовый читатель недостаточно вещественно представляет всю глубину отчаяния, куда рушится эта грандиозная цивилизация, эти квадрильоны затраченных человеческих усилий. Нельзя повторять расточительную гибель античного Рима, нужно спасти накопленные сокровища, спасти все ценное: — вот первые ощущения наблюдателя. Но вся система — больна, желудок начинает переваривать сам себя»[{676}].

Несколько интереснее в этом смысле его письма жене, хотя и они могли писаться с оглядкой на возможную перлюстрацию:

«У Гринфельда (магазин в Берлине. — *А. В.*) я лучший покупатель (на 120 марок), и я уже хамлю. Вообще говоря — в первый же день я, в первый раз в моей жизни, почувствовал себя не как раньше бывало: приехал из России и чувствуешь, что варвар, и робеешь, после каждого слова — bitte, — я теперь почувствовал себя так, будто немец, а они — варвары. Между прочим — если в магазине ты показываешь красный советский паспорт, а во многих даже в KDW — 10 % скидки, а часы я купил, как советский гражданин, — с 30 % скидки. Вот лихо!»

Описание берлинских магазинов встречается и в саркастической известинской статье: «Советский путешественник сворачивает к чудовищным окнам обувного магазина. Сапожный храм. Серый ковер в цветах, сверкающие прилавки. Посредине — хрустальные шкапчики-витрины, на бархате — туфли и туфельки, созданные вдохновенным воображением, — все в одной цене: пятнадцать марок пятьдесят пфеннигов. И в храме, кроме вас, — ни одного посетителя, только из-за прилавков — шесть пар горящих приказчичьих глаз. По розовым цветам ковра к вам идет сдержанной иноходью сам шеф магазина. Приветствие с добрым утром. Вас усаживают в сафьяновое кресло, вашу советскую ножку ставят на блистающую медью скамеечку. Две элегантные девушки, стоя на коленях на ковре, поблескивая наманикюренными ноготками, подобрали на вашу ножищу практичные, последнего крика моды башмаки, предложили, кроме того, никелированные с пружинами колодки (семьдесят пять пфеннигов). И вы, если вас предварительно научили, предъявляйте в кассе советский паспорт… У многоопытной кассирши торопливая улыбка, — пожалуйста, битте шён, — десять процентов скидки советскому гражданину».

Что могли думать советские граждане, читая в своих очередях к полупустым после свертывания нэпа прилавкам об изобилии берлинских магазинов и о предупредительности продавщиц, можно только гадать и для сравнения припомнить главу о торгсине из «Мастера и Маргариты». Однако Толстой заклинал соотечественников, как будто в Германию ездил каждый второй и следовало срочно уберечь их от соблазна потратить имевшуюся у них валюту:

«Бойтесь этих витрин, они пострашнее сирен Одиссея: мысль фабриканта легкой индустрии и ловкость магазинного продавца далеко опережают ваши потребности и желания: вам на ходу мгновенно создадут новую эмоцию… Вообще-то говоря, — много ли человеку нужно?»

Самому Толстому, судя по воспоминаниям Романа Гуля, нужно было немало.

«Встретились 20 марта 1932 года. 18 получил в Фридрих-стале письмо от Толстого: на короткое время в Берлине и хотел бы встретиться (телефон и адрес). Я приехал. Остановился А. Н. в прекрасном отеле на Курфюрстендамм. Вид Толстого — веселый, беззаботный, «в хорошем настроении». Одет как всегда по-барски. За восемь лет, что я его не видел, мало изменился (чуть пополнел, пожалуй). А все ухватки те же, толстовские. Только поздоровались, сели и: — «Роман Гуль, будьте другом, выручьте, — говорит, — вчера тут намазался и переспал с

девчонкой. Сдуру дал ей адрес и телефон. Телефон уж звонил, я не подходил, уверен, что она. Как позвонит, подойдите, пожалуйста, и скажите, что герр Толстой, мол, выехал из Берлина… надо от нее отвязаться». Действительно, во время нашего разговора раздался телефонный звонок и какой-то маловыразительный женский голос спросил (по-немецки) Толстого. Я ответил все просимое. И получил от Толстого спасибо: «отвязался от девчонки» Алексей Николаевич.

Разговор перескакивал с одного на другое. О своей жизни в СССР Толстой сказал, что до пятилетки материально ему было очень трудно, порой даже «ужасно трудно» (его слова. — *Р.Г.*). «Тогда ведь всякие Авербахи правили. Нас ни за что считали, так, в хвосте где-то. Ну, а теперь иной коленкор, культура взяла свое…»

Помню, мимоходом Толстой заговорил о писателях-стукачах и первым таким назвал Глеба Алексеева (как называли его и Федин, и Груздев), а вторым некоего петербургского поэта, который еще жив, хоть и очень стар. Я спросил о Льве Никулине. «Нет, — сказал Толстой, — о нем ходят слухи потому, что Никулин раньше же работал в ЧеКа «чиновником», как и Бабель». <…>

Обед был где-то на Унтер ден Линден в подвальном (весьма приятном) кабачке-ресторане, любимом Толстым. И в смысле кулинарии и в смысле разговоров обед был хорош. <…> Толстой за обедом был в ударе: весел, оживлен, как рассказчик неистощим и всегда в стиле «толстовеко-анекдотическом». Помню, рассказывал он про парад на Красной площади, который принимал сам Клим Ворошилов: войска выстроены в каре, все замерло, никто не шелохнется — и в эту тишину из кремлевских ворот выезжает на буланом жеребце Ворошилов. Серебряные фанфары ударили как бешеные («русские ведь любят все эти штуки!»), крики «ура», черт знает что такое… Потом рассказывал о самом Ворошилове: «Клим — чудесный парень, выпить любит, русские песни любит, поет, фифишек любит, вот евреев недолюбливает, думаю, нет…» <…>

Красочен был рассказ об известном большевике Шатове (псевдоним, сначала был анархистом, после Октября из Нью-Йорка приехал в Россию делать карьеру, и сделал большую, но кончил, кажется, тоже в ежовском подвале. — *Р. Г.).* О Шатове Толстой рассказал, как Шатов строил Турксиб. «Жара, степь, пески, женщин нет, мужчины с ума сходят. Шатов в Москву телеграмму: «Прошу спешно двести пятьдесят блядей!» Не поверили в серьезность, а Шатов — вторую. Не верят. Он в Москву своего «эмиссара» прислал: объяснить положение. Тот и привез на Турксиб сто пятьдесят, поместили их в бараках и… Турксиб построили».

Толстой был все тот же любитель анекдотического, великолепный, артистический рассказчик. Миклашевский что-то спросил: о «всероссийском старосте» Калинине, и Толстой сказал: «Вовсе не глуп. Это тут чепуху о нем всякую в эмиграции пишут. Он во всем разбирается. И — умно. Был он раз на вечере в «Новом мире». Читали там всякие писатели, поэты, старались как могли. Безыменский с товарищами особенно. Один прочел поэму о ГПУ. Читал и Пастернак что-то свое, лирическое. По окончании вечера все обступили Калинина, спрашивают: «Ну как, мол, Михаил Иваныч, вам понравилось?» — «Да что же, говорит, вот Пастернак хорошие стихи читал. А эта вот полька о ГПУ, простите, это не стихи. Так писать нельзя. Конечно, ГПУ может быть темой, но трагического искусства, ГПУ для коммуниста — это трагедия…» Все, кто старались угодить, так и сели… Нет, нет, Михал Иваныч человек разбирающийся… и (Толстой смеется) тоже, как Ворошилов, фифишек любит, факт общеизвестный…»

Я спросил о сменовеховцах. Толстой сказал: «Беззвучно. Потехин написал пьесу, плохую, не вышло. Ключников — сгинул с вод. Василевский — куда-то канул. Дюшен где-то работает. Кирдецов вот, кажется, в «Наркоминделе»».

Миклашевский спросил о Троцком. Толстой сказал: «Кончен. Бесповоротно. Никакой популярности. Опозорен и забыт. Если у нас на границе появится, его каждый может убить. И убьет». Спросил о Зиновьеве. «Кончен тоже. Ректором в Казанском университете сидит. Ему — не пошевельнуться. Каменев в лучшем положении, он в Москве, в Ком-академии, работает «культурно», к нему отношение лучше, но политически — тоже человек конченый».

Когда Толстой говорил о параде на Красной площади и о Ворошилове на буланом жеребце, Мария Игнатьевна спросила:

— Если я вас правильно понимаю, Алексей Николаевич, вы считаете, что возрождается русский национализм?

— Нет, нет, не национализм, — поспешно поправил Толстой, — а настоящий патриотизм! А посмотрели бы вы, какие у нас военные ребята! Они никого не боятся, ничего не признают — отчаянные черти! А какая дисциплина в армии — железная! А песни какие поют! Только пьют в России здорово, все пьют! Как двое встретятся — так и намажутся обязательно, хоть водка и дорогая — семь с полтиной, а шампанское пятнадцать рублей.

— А что вы думаете, Алексей Николаевич, может быть — война? Ведь тут нарастает национал-социализм, и это довольно серьезно должно изменить положение на всем Западе? — спросил Миклашевский.

Толстой полным глотком отпил красное вино. И — категорически:

— Нет. Войны не будет. Если будет, то «рейд» без объявления войны. А уж если будет война, то и решится она на Висле. А для Вислы у нас есть специалист — Тухачевский, Ленинградским округом командует. Поседел. Но моложав и крепок. Одно время было покачнулся близостью с Троцким, но потом выправился.

Весь обед Толстой был весел, жовиален, говорил без умолку и все в тоне мажорного советско-патриотического оптимизма. Последним номером — рассказал полуанекдот об актере Ровном.

— В Краснопресненском районе, в театре, заполненном старой рабочей гвардией, видавшей еще 1905 год, в феврале месяце перед представлением актер Ровный (еврей) выступил самотеком с политической речью, желая, вероятно, выдвинуться. Нес он обо всем, и о международном положении, и о пятилетке в четыре года, причем говорил целый час. Рабочие слушали очень уныло. Тогда Ровный стал бросать в зал лозунги: «Долой такой-то загиб и такой-то перегиб, да здравствует мировой пролетариат» и прочее. И наконец кричит: «Да здравствует наш вождь, товарищ... Троцкий!» Это произвело в зале впечатление разорвавшейся бомбы. Поднялся крик, шум, провокация, бросились на сцену. А Ровный присел, бледный, и, схватившись за голову, только кричит: «Сталин! Сталин! Сталин!» Оказывается, он попросту оговорился. Вся Москва хохотала над этим. В другой бы раз ему за это не поздоровилось, но тут решили, что с дурака взять? Доложили Кагановичу, тот сказал: «Дурак!» Так и не сделал карьеры товарищ Ровный, а даже наоборот...

Мы засиделись в подвальчике допоздна. За обед Толстой заплатил какой-то астрономический счет. И мы вышли на Унтер ден Линден»[{677}].

А потом были Сорренто, Горький, совсем другие обеды и разговоры, манеры, тон — другая пьеса. Но в Сорренто Толстой пробыл недолго, ибо как раз в это время Горький сам засобирался в СССР, готовясь окончательно решить вопрос с переездом на новое местожительство. Ситуация почти зеркальная той, что была в Берлине ровно десять лет назад.

Что мог сказать Толстой Горькому, какие дать или услышать советы? Насколько искренни были эти двое, чья встреча чем-то напоминала свидание Гринева со Швабриным в пугачевском стане? 16 апреля 1932 года Толстой конфиденциально писал находящемуся на лечении за границей Федину о том, что у Горького есть план выделить группу человек в тридцать наиболее ценных писателей и поставить их в особые условия, чтобы вся их забота была об искусстве только. Очевидно, что и Федин, и Толстой в эту тридцатку избранных должны были войти, и с этого момента в преддверии крушения РАППа, когда началась работа по подготовке создания Союза советских писателей, стало понятным, кто будет играть первые роли в будущей писательской организации страны. До поездки в Сорренто Толстой при всем его таланте и литературной известности к руководящей работе не допускался, но теперь его положение изменилось, а возобновившаяся после восьмилетнего перерыва переписка с Горьким начинает напоминать какое-то новое авгурство и надувание щек, как с Волошиным, только очень выспренное.

«Дорогой Алексей Максимович и земляк!

Что делается! Декретом о барраже Волги открывается новая страница мировой истории. Так и будет когда-нибудь написано: в то время, когда на Западе гибли цивилизации и миллионы людей выкидывались на улицу, когда Восток заливался кровью и страны искали спасения в войне и истреблении, — Союз, поднявшись над временем, издал декрет о барраже Волги. Аркольские мосты, Аустерлицы и Иены кажутся игрой в оловянные солдатики»[{678}].

Горький дал Толстому в высшей степени замечательный ответ и, можно сказать, поставил пятерку с минусом за творческое поведение:

«Дорогой друг — письмо ваше получил, прочитал и — обрадовался. Очень хорошо! Вы поистине, земляк, — человек, влюбленный в свою планету, в родину свою, человечище такой же талантливый, как богата она талантами…

Вы, землячок, революционер по всем эмоциям Вашим, по характеру таланта. Мне кажется, что Вам мешает взойти на высоту, достойную Вашего таланта, Ваш анархизм — качество тоже эмоционального порядка. Вам, на мой взгляд, очень немного нужно усилий для того, чтобы несколько взнуздать это качество, гармонизировать его с Вашим умом и воображением. Простите меня, тезка, за эти слова и не принимайте их как «поучение», я очень далек от желания «учить» Вас, но я много о Вас думаю, мне кажется, что — понимаю Вас, и — очень хочу видеть Толстого Алексея там, где ему следует быть и где он в силах быть, вполне в силах»[{679}].

Теперь бывшие оппоненты стали единомышленниками или по меньшей мере свое единомыслие декларировали, а вот про другого берлинца и давнего своего друга Александра Семеновича Ященко, с которым Толстой встретился по пути к Горькому и имел весьма сухую беседу, граф написал в дневнике: «Ященко проворонил Россию. Потому и обиделся, что почувствовал вдруг, что — нуль, личная смерть, а Россия обошлась без него»[{680}].

Без Толстого Россия, в том числе и Россия советская, не обошлась. И все же завоевал в ней свое место граф не сразу. И полного доверия к нему тоже долго не было. Когда в октябре 1932 года в доме у Горького состоялись подряд две исторические встречи Сталина с советскими писателями (сначала в более узком кругу с писателями-коммунистами, а неделю спустя — с писателями-беспартийными), Толстого в особняк Рябушинского не пригласили[72]. Не пригласили, правда, и Зощенко, и Бабеля, и Замятина, и Пришвина, и Булгакова, и Олешу, и Эренбурга, и Пильняка[73]. Последний приехал к Горькому разбираться, почему его обошли. Толстой не суетился — ждал своего часа и дождался. Но сказать, когда именно произошла его

первая встреча со Сталиным, сложно.

Наверняка можно утверждать только то, что еще в 1923 году Сталин читал второй номер журнала «Красная новь», где была напечатана «Аэлита» (об этом говорят разрезанные страницы журнала из личной библиотеки Сталина); что в 1930 году Сталин писал Горькому: «… мы (наши друзья) целиком принимаем Ваши предложения <…> издать рад популярных сборников о «Гражданской войне» с привлечением к делу А. Толстого и др. художников пера»[{681}], и наконец, известно, что в составленной в 1932 году спецзаписке ОГПУ «Об откликах писателей на помощь, оказанную правительством сыну писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина» писатель А. Н. Толстой говорил: «Я восхищен Сталиным и все больше проникаюсь к нему чувством огромного уважения. Мои личные беседы со Сталиным убедили меня в том, что это человек исключительно прямолинейный»[{682}].

Что же касается того, когда именно эти встречи состоялись, то здесь мы оказываемся в области мифов. Роман Гуль в своей книге воспоминаний приводит устный рассказ Вл. Крымова, в гостях у которого под Парижем в тридцатые годы бывал Толстой.

«На вопрос Крымова, встречался ли Толстой со Сталиным, Толстой ответил утвердительно. И рассказал, как эта встреча произошла: «Встретил я его у Горького. Был в Москве, и вот звонит Алексей Максимович, зовет к нему на ужин, у него, говорит, собралась большая компания. О Сталине, конечно, ни слова. Я поблагодарил, говорю, сейчас приеду. Приезжаю — у Горького дым коромыслом! Народу масса, уже наелись, загрузились. Здороваюсь. И изо всех людей мне навстречу встает только один, Сталин, небольшой человек, в кителе, в сапогах, немного сутулый, лицо чуть в оспинах, подстриженные усы, по внешности очень скромен. И, здороваясь со мной, говорит: «Очень приятно с вами познакомиться» (тут Толстой как-то смутился, что ли, и скороговоркой добавил: «Это, конечно, не лично со мной, а как с представителем литературы, искусства»). Я говорю: «Очень рад, Иосиф Виссарионович». И больше тут на вечере никаких разговоров с ним не было. Да какой тут разговор, когда, говорю, дым коромыслом! Ворошилов сильно намазался, посадил кого-то к себе на колени, по ошибке, что ли, приняв за женщину. Шум, говор, смех… Сталин сидел с Горьким, отпивал кахетинское. А ведь власть у него какая! — неограниченная! — стоит палец поднять — и человек падает. Всем оппозиционерам, о ком упомянет хоть в коротенькой заметке, — смерть. Во всяком случае гражданская смерть. Он Демьяна Бедного одним росчерком пера убил. После поездки Демьяна по Уралу и его фельетонов, где было больше о Демьяне, чем о деле, — «Агитпропы, агитпропы, агитпропы, тут и там», — хозяин приказал — не платить Демьяну больше полтинника за строчку, и Демьян — убит наповал».

Этот вечер у Горького и встреча с «хозяином» и стали «восхождением» А. Н. Толстого к вершинам советской славы, обилию денег и наград и наконец к посмертному памятнику. На представленном Сталину списке писателей, которые долженствовали высказаться о стиле новых совзданий (так у Гуля. — *А. В.)* на месте взорванного храма Христа Спасителя, Сталин всех зачеркнул, написал: «Толстой»[{683}].

Разобраться, что тут правда, а что нет, не так просто. Судя по рассказу Толстого, изложенному Крымовым и приводимому Гулем (то есть через третьи руки), речь все-таки идет о встречах писателей с руководством партии в октябре 1932 года. Других встреч в доме Горького, где были и писатели, и Сталин с Ворошиловым, не проходило. Корнелий Зелинский, которому принадлежит описание этих встреч, Толстого в списке участников не называет. С другой стороны, по версии Гуля — Крымова — Толстого, писателя могли позвать несколько позже, когда все серьезные разговоры кончились и началась пьянка. Но скорее всего, это миф. И если Толстой нечто подобное рассказывал, то потому, что ему было стыдно сознаться в том, что его

не пригласили. Зато история о стиле «новых совзданий» на месте взорванного храма Христа чистая правда.
«Ежедневно работаю в Комиссии по Дворцу Советов и пользуюсь здесь большим почетом, — писал он Крандиевской в январе 1932 года. — Оказывается, меня назначило в комиссию верховное правительство, и это большой почет, вроде ордена»[684].

## Глава XX. Тот, кто получает пощечины

В самом начале 1933 года красному графу исполнилось 50 лет. Если предыдущий сорокалетний юбилей пришелся на смутные годы разрыва с эмиграцией и отмечать его было толком негде и не с кем, то в свои пятьдесят Толстой заслужил чествование по высокому разряду. К этой поре после роспуска РАППа он мог считать основные задачи по вживанию в советскую жизнь и завоеванию самого удобного места под солнцем в общих чертах решенными. Враги были разбиты, он находился на пути к славе, однако праздник, если верить дневнику Корнея Чуковского, вышел так себе:

«Более казенного и мизерного юбилея я еще не видел. Когда я вошел, один оратор говорил: «Нам не пристала юбилейная лесть. Поэтому я прямо скажу, что описанная вами смерть Корнилова не удовлетворяет меня, не удовлетворяет советскую общественность. Вы описали смерть Корнилова так, что Корнилова жалко. Это большой минус вашего творчества». Я вышел в прихожую, где Миша Слонимский, Тихонов, Лаврентьев… Лаврентьев сказал чудесную речь, по-актерски — от имени театра им. Горького. Встал на эстраду, возле Толстого, чего другие не делали — и сказал о том, что «все сделанное тобою, — это только первая твоя пятилетка — и у тебя еще все впереди». Толстой похудел, помолодел, — несколько смущен убожеством юбилея. В президиуме Старчаков, Лаганский, Шишков и Чапыгин и какие-то темные безымянные личности. Лаганский вышел с пучком телеграмм, но ни от Горького, ни от Ворошилова — ни от кого нет ни одного слова, а только от Рафаила (!), от Мейерхольда, от театра Мейерхольда, еще две-три — «и больше никаких поздравлений нет», наивно сказал Лаганский»[685].

На самом деле, хоть и не телеграмма, но письмо от Горького было: «Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю ваш большой, умный, веселый талант. Да, я воспринимаю его, талант ваш, именно как веселый, с эдакой искрой, с остренькой усмешечкой, но это качество его для меня где-то на третьем месте, а прежде всего талант ваш — просто большой, настоящий, русский и — по-русски — умный, прекрасно чувствующий консерватизм, скрытый во всех ходовых «истинах», умеющий хорошо усмехнуться над ними»[686].

Поразительно, но Горький видит в Толстом то же самое, что Блок и рапповцы — насмешку. Однако Горькому она нравилась, а кроме того, пролетарский писатель не мог не оценить определенную скромность рабоче-крестьянского графа. Толстой при всем своем желании первенствовать никогда не пытался конкурировать с Горьким, не стремился создать параллельный литературный центр, не отталкивал основоположника социалистического реализма, но признал горьковское верховодство и почтительно писал своему тезке, строго соблюдая литературную иерархию в духе отчета перед вышестоящей инстанцией:

«Сейчас для меня стоит вопрос — что продолжать в 32 году? Вторую часть «Петра» или «19-й год»? Решение это зависит от моего участия в «Истории гражданской войны», вернее от сроков, которые Вы поставите для сдачи рукописи»[687].

«Дорогой дедушка и тезка! — витиевато отвечал Горький. — На все вопросы, поставленные вами, вы услышите исчерпывающие ответы из моих красноречивых уст, кои вскорости окажутся вне посредственной с вами близости и будут пить чай»[688].

«Дорогой друг, Алексей Максимович. Я был очень обрадован и взволнован Вашим письмом. За двадцать пять лет работы было нужно, чтобы такой художник, как Вы, дали оценку работы. В этот год я, как никогда, чувствую, что все еще впереди, все еще начинается. Может быть, это неверно, но важно так ощущать. И в этом, во многом, повинны Вы. Обнимаю Вас, дорогой Алексей Максимович. Сдал в печать первые листы «Петра». Снова работаю над пьесой для МХАТа. В Ленинграде и здесь были мои юбилейные дни. Все хорошо, если бы в сутках было бы 48 часов. Мне очень хотелось быть и эту весну у Вас, в Сорренто, — но невозможно, покуда не кончу первую книгу 2-й части, никуда не двинусь из Детского. Что Вы пишете? На днях видел у вахтанговцев «Булычева». Вы никогда не поднимались до такой простоты искусства. Именно таким должно быть искусство, — о самом важном, словами, идущими из мозга, — прямо и просто — без условности форм.

Спектакль производит огромное и высокое впечатление. Изумительно, что, пройдя такой путь, Вы подошли к такому свежему и молодому искусству. В театре мне говорили, что «Достигаев» лучше. Не знаю».

Тон абсолютно серьезный и столь же неискренний. Да и не мог Толстому нравиться Горький. Ни как человек, ни как писатель. Слишком разными были два Алексея при некотором подобии творческого пути и отношений с большевиками, но тактический союз они заключили, и продвижение беспартийного Толстого в советскую литературную номенклатуру с помощью беспартийного Горького продолжалось.

Летом 1933 года Толстой по предложению Горького участвовал в поездке на Беломорканал, оказавшись, вероятно, единственным аристократом в писательской бригаде, и снова посылал Горькому отчеты об увиденном:

«Дорогой Алексей Максимович, я только что три недели провел на севере (Хибиногорск, Нивастрой, Кандалакша, канал). О замечательных впечатлениях расскажу Вам при свидании. Дело вот в чем: повсюду — на стройках, в лагерях, в городках — ужасающий книжный голод, проще говоря — никаких книг нет, какие-то жалкие обрывочки. Книга нигде так не нужна, как на севере. Первый вопрос у каждого — дайте книг <…> Я только передаю Вам вопль десятков тысяч людей»[{689}].

О другом ужасающем голоде и других вопросах, просьбах и воплях понятно — ни слова. И замечательные впечатления так замечательны, что и писать о них нельзя, а лишь говорить на кухне, как говорил он с женой о голоде в Крыму. Народолюбие осталось в рассказах про мерзости дореволюционной жизни, в нынешней Толстой такими категориями себя не обременял и милость к падшим не призывал. Если в его письмах Чайковскому с Чуковским искренность мешалась с ложью и фальшью, то в 30-е годы от искренности не осталось и следа. Толстой очень хорошо усвоил правила новой игры и еще раньше во время работы Второго пленума оргкомитета Союза советских писателей в феврале 1933 года бросал взгляд в будущее:

«Все мы понимаем размеры великого плана перестройки страны, еще недавно бывшей унылыми задворками Европы, в страну с высшими, на наших глазах впервые осуществляемыми формами хозяйства, духовной культуры и человеческой личности.

Товарищи, перестройка совершается по-большевистски, взрывая революционное напряжение всех сил страны. Для остального мира наш процесс представляется как величественное зрелище, для одних грозное, для других долгожданное. Мы видим чудовищное сопротивление остального мира тому, что уже пришло в мир. Картины человеческой трагедии торопливо сменяются одна другой с неумолимой логикой. Художник, творец, драматург не может не быть

захваченным до последнего атомного ядра всем совершающимся. Иначе это не творец, не художник, не драматург, а серый мещанин, следящий за кончиком своих калош, чтобы не поскользнуться на кровавых плевках.

Наше искусство не может не быть великим и должно быть великим. Каждый новый день встает перед нами огромной исторической задачей, и наше дело — глядеть ему не в спину, не на его калоши, а видеть его во весь рост от головы до ног»[{690}].

Особенно кровавые плевки были здесь хороши. Как дальнее эхо пыточных актов петровского лихолетья. Но задача писателя-монументалиста — глядеть поверх.

Год спустя Толстой выступал в том же духе с докладом о драматургии на Первом съезде советских писателей и на следующий день по прочтении отчитывался перед женой:

«Тусинька, моя любимая, одинокая, вчера вечером наконец прочел доклад. Все говорят, что очень хорошо, — самый содержательный и короткий доклад. Тысячи три человек слушали очень внимательно…

Вчера Молотов предложил мне через Крючкова подать заявление об импортной машине. К весне у нас будет дивный зверь в сто сил <…> Здесь мне такой почет отовсюду, какого никогда не бывало»[{691}].

На съезде Толстого выбрали в президиум, еще раньше он стал депутатом Ленсовета, вступая в касту избранных, что очень точно почувствовал Даниил Хармс в известном литературном анекдоте: «Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал. Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на двор и принялись разыскивать подходящий камень. Камня они не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой Константин Федин съездил Ольгу Форш по морде. Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на Фонтанку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили: «Вот ржет крупный современный писатель». И никто Алексея Толстого не тронул»[{692}].

И действительно, трогать его теперь не могли. Те времена, когда какие-нибудь Лелевич, Горбачев или Иезуитов позволяли себе небрежно высказаться о Толстом и ткнуть в его прошлое, миновали. Даже Фадеев едва ли теперь решился бы писать Толстому в таком же тоне, что два-три года назад. Но один человек его все же тронул. Причем тронул буквально, физически. Это был маленький тщедушный человек и великий поэт, про которого Толстой в своей речи на съезде сказал: «Ложью была и попытка «акмеистов» (Гумилева, Городецкого, Осипа Мандельштама) пересадить ледяные цветочки французского Парнаса в российские дебри. Сложным эпитетом, накладыванием образа на образ акмеисты подменяли огонь подлинного поэтического чувства…»[{693}]

О столкновении Алексея Толстого с Осипом Мандельштамом не писали в советское время, хотя у этой драматической истории было множество свидетелей. Ее начало относится к осени 1932 года, когда два писателя, Осип Мандельштам и Саркис Амирджанов, позднее выступивший под псевдонимом Сергей Бородин, поссорились из-за того, что Амирджанов занял у Мандельштама денег, но отдавать их не собирался, а вел себя вызывающе и оскорблял жену Мандельштама Надежду Яковлевну. Мандельштам подал на Амирджанова в третейский суд. Судьей назначили Толстого.

Для задерганного, болезненно чувствительного Мандельштама этот суд был делом чести, для Толстого…

«Не успел я в Москве появиться, как на другой день сейчас же меня в председатели суда выдвинули. Там они все в этом Доме Герцена перессорились, перегрызли друг друга, по трешнице занимают, потом, конечно, не отдают, друг друга подлецами обзывают… А теперь вот тащись после обеда вместо того, чтобы вздремнуть… Разбирай тут, кто прав, кто виноват, распутывай литераторские дрязги! Но надо тащиться, а то подумают, что зазнался. Беда! Там этот Осип Мандельштам у кого-то трешницу занял и не отдал или наоборот…» — вспоминал слова Толстого художник Милашевский, который шел вместе с Толстым на суд и во время разбирательства присутствовал.

«Я смотрел… смотрел на этого рыхлого, развалисто мясистого графа и думал: «Откуда у него все это? Это чутье «что сейчас надо», чутье «уровня воды», чутье кому кадить и как кадить!» Это «царедворство» предков ему пригодилось в эпоху «культа». <…> Стали вдруг все замечать, что во время самых исступленных и страстных обвинений друг друга председательствующий стал клевать носом. <…> Как потом утверждали многие… в том числе и Осип Мандельштам, что на суд Толстой пришел пьяным. <…> Среди разбирательства дела Мандельштам воскликнул:

— Я вообще считаю, что все превращается в какой-то анекдот, когда председательствующий позволяет себе спать во время разбирательства, касающегося чести писателя. <…>

Толстой встрепенулся и, взяв слово, предложил кончить дело полюбовно и позабыть о случившемся…»[{694}].

«Алексей Толстой старался вести дело к примирению. Возможно, он и достиг бы этого, если бы не присущее ему чувство юмора. Он несколько раз мягко пошутил, показав тем самым, что считает все происшествие крайне незначительным. Мандельштам, торжественно относившийся к вопросам чести, счел это новым оскорблением. Он заявил, что за оскорбление, нанесенное ему председателем суда, он расплатится, как найдет нужным. И, высоко задрав голову, вместе с женой покинул заседание»[{695}].

Этот несколько недоброжелательный по отношению к истцу и крайне лаконичный мемуар принадлежит Николаю Чуковскому. Более пространно описывал ту же историю Федор Крандиевский:

«…Заседание товарищеского суда должно было происходить в помещении столовой в доме Герцена. Это старинный желтый особняк со столовой, библиотекой, бильярдной, с разными редакциями и другими писательскими учреждениями, а также с небольшим писательским общежитием, коммунальной кухней, в которой всегда пахло кислыми щами. Одну из комнат в этом общежитии занимал Осип Мандельштам с женой, в другой жил какой-то молодой поэт, не русский. Я не помню сейчас ни его имени, ни национальности. Он вел себя довольно нагло: отказывался вернуть сорок рублей, взятых когда-то у Мандельштама взаймы. Оскорбительно вел себя по отношению к жене Мандельштама. Уже много месяцев среди горячих конфорок и кастрюль с супом шла нескончаемая коммунально-кухонная писательская склока. В конце концов Мандельштам подал на своего обидчика жалобу в товарищеский суд. Председателем этого суда был почему-то назначен Толстой.

Дом Герцена находился в густом саду, отделявшем его от Тверского бульвара. В летние теплые вечера в саду расставлялись столики, зажигались разноцветные лампочки. Здесь можно было попивать пиво или есть мороженое, рассматривая проходящих по бульвару.

Сейчас здесь было совсем темно. Лишь в первом этаже светились окна столовой. Нам навстречу выбежал молодой человек, поздоровался, помог раздеться, а затем, взяв отчима под

локоток, повел его через залу и через сцену в какую-то заднюю комнату. Там в течение десяти-пятнадцати минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс: проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии.

Все столы в столовой (небольшой зал со сценой) были сдвинуты в угол, а стулья — расставлены перед сценой, как в театре. Мы с мамой сели в одном из первых рядов. В зале было много народу: вставали, садились, собирались группками и тихо беседовали. На нас с мамой смотрели с опаской. Все устали от полуторачасового ожидания. Наконец зазвонил колокольчик. Все сели.

— Суд идет!

Все встали. Толстой с папкой под мышкой поднялся на сцену и сел на приготовленное для него место. Воцарилась тишина. Толстой открыл заседание. Проведя ладонью по лицу, как бы смывая паутину (такой знакомый, всегдашний его жест!), он сказал:

— Мы будем судить диалектицки.

Все переглянулись. Раздался тихий ропот. Никто не понял, и сам председатель не знал, что это значит. Начались вопросы, речи, суд протекал, как ему положено. Истец, Мандельштам, нервно ходил по сцене. Обвиняемый, развалясь на стуле, молчал и рассматривал публику. На его лице не было ни тени волнения. Казалось, что на сцене протекает никому не нужная процедура. Мандельштам произнес темпераментную речь. Обвиняемый молчал как истукан. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта.

После выступлений всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Довольно быстро Толстой вернулся и объявил решение суда: суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Мандельштаму взятые у него сорок рублей. Поэт был неудовлетворен таким решением и требовал формулировки: вернуть сорок рублей, когда это будет возможно. Суд, кажется, принял эту поправку.

Народ в зале не расходился. Все были возмущены. Ожидали, что суд призовет к порядку распоясавшегося молодого поэта. Зал бурлил. Раздавались возгласы: «Безобразие!», «Позор!» Не стоило созывать заседание суда, чтобы вынести постановление, что, мол, надо отдавать взятые взаймы деньги.

Щупленький Мандельштам вскочил на стол и, потрясая маленьким кулачком, кричал, что это не товарищеский суд, что он этого так не оставит, что Толстой ему за это еще ответит. Это было похоже на выступление Камилла Демулена перед Люксембургским Дворцом во время Французской революции. Атмосфера накалилась. Отчим, мама и я сочли разумным ретироваться…

На этом рассказанная здесь история не кончается… У нее есть свой эпилог…

В Ленинграде на Невском, против Казанского собора, стоит большой дом. Это бывший дом Зингера, немецкой фирмы по продаже швейных машинок. Стена украшена великорусской красавицей в кокошнике, которая крутит ручку машинки. Теперь это Дом книги. На первом этаже расположен громадный книжный магазин. На следующих этажах — различные редакции и издательства. Здесь в коридорах всегда можно встретить разных писателей. Однажды Толстой столкнулся в дверях лицом к лицу с Осипом Мандельштамом. Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину.

— Вот вам за ваш «товарищеский суд», — пробормотал он.

Толстой схватил Мандельштама за руку.

— Что вы делаете?! Разве вы не понимаете, что я могу вас у-ни-что-жить! — прошипел Толстой.

И когда спустя некоторое время Мандельштам был арестован, а затем сослан и след его утерялся, возник слух, что это дело рук Толстого. Я знаю и заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его дальнейшей судьбе Толстой не имел никакого отношения… Да разве мог человек произнести такую угрозу, имея в виду ее осуществление?»[{696}]

Писала об этом случае и поэтесса Елена Тагер, причем ее несколько отличающиеся от мемуара Крандиевского воспоминания примечательны тем, что в них одновременно присутствуют и симпатия к Алексею Толстому, и сочувствие к Осипу Мандельштаму, а также добрая порция иронии.

«Не все хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь. В течение зимы 1932/33 года все чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивавших по пустяковому поводу, о преувеличенном болезненном раздражении с его стороны. Он держал себя как человек с глубоко пораженной психикой. Литературные деятели Москвы держались с ним как недруги, как чужие люди. К тому же в это время Мандельштам материально был очень стеснен. И вот пронесся слух, что московский писатель Саркис Амирджанов (Сергей Бородин) учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил Надежду Яковлевну — его «нежняночку», его драгоценного друга. Товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию, вроде того, что Мандельштамы сами-де виноваты.

Приблизительно в середине 1934 года Мандельштам с женою опять посетили Ленинград. Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы, Л. М. В. Добрая Л. М. обращалась с Мандельштамом как с больным ребенком. В силу этого разговор прошел сравнительно мирно. Но общий тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в Издательстве писателей в Ленинграде. Оно тогда помещалось внутри Гостиного двора.

В назначенный час я приближалась к цели, когда внезапно дверь издательства распахнулась и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Надежда Яковлевна. Через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, напомнило последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А. Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине за своим директорским столом застыл И.В. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин, как будто хотел выскочить из-за стола и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления — все это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: «Что случилось?» Ответила З.А. Никитина, которая раньше всех вышла из оцепенения:

— Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

— Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены».

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись, появился М. Э. Казаков и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он. — Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал Казаков. — Безусловно, в суд!

В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, побойся Бога! — увещевал его Стенич. — При чем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное, — изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

— Нет, я не буду подавать на него в суд, — объявил Толстой.

— Алексей Николаевич! Да что вы! Да разве можно?

Уже не один Казаков, а двое-трое товарищей бросились убеждать Алексея Николаевича. Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве.

Суд этот, насколько я знаю, не состоялся или кончился ничем. Мандельштама ожидали другие испытания. Он очутился в поле воздействия мрачных сил»[{697}].

«Лева должен был подстерегать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму, — писала Эмма Бернштейн. — Тогда Осип Эмильевич должен был возникнуть перед «графом» и дать ему пощечину. В связи с этой затеей, оба друга, старый и юный, просиживали в какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот недалеко от дома Алексея Толстого. Этот район имел и другую притягательную силу: неподалеку был Гранатный переулок, где жила Петровых. Она не служила, и несомненно, они забегали к ней в дневные часы»[{698}].

Но самая лаконичная и жесткая версия столкновения Толстого с Мандельштамом принадлежит Ахматовой, которая рассказала английскому подданному сэру Исайе Берлину поздней осенью 1945 года (и как раз с Ахматовой не соглашался Федор Крандиевский):

«…Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла ни слова, глаза ее наполнились слезами,

и она попросила меня не говорить о нем: «После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено…»[699]

Вообще интересно, сознательно Ахматова наговаривала на Толстого или действительно думала, что Мандельштам погиб из-за той пощечины, но весь этот сюжет впоследствии обрастал самыми разными слухами: будто бы писатель Перец Маркиш с восхищением воскликнул: «О, еврей дал пощечину графу!», будто бы Горький наоборот сказал: «Мы ему покажем, как бить русских писателей…»[700].

Вряд ли Горький так говорил, и вряд ли Толстой был причастен к аресту Мандельштама в мае 1934 года. Скорее наоборот, тот факт, что Алексей Толстой в августе тридцать четвертого сосланного Мандельштама в своем докладе упомянул, пусть даже и в сдержанно-негативном контексте, говорит в пользу Толстого, не склонного своему обидчику мстить. Но пощечина Мандельштама имела и символическое значение. Она была жестом отчаяния и психического надрыва с одной стороны и досадной помехой и напоминанием — с другой.

По большому счету это была пощечина неудачника человеку удачливому. И очень существенно, что Мандельштам ударил именно Толстого, а не Амирджанова. Мандельштам знал, кого бить. Подобно тому, как в прежние времена антагонистом жизнелюбивого графа был Федор Сологуб, теперь, после его смерти, это место занял Мандельштам. Непризнанный, бездомный, бездетный еврей-скиталец был полной противоположностью домовитому патриархальному русскому барину, с кем когда-то они отдыхали в Коктебеле, с кем имели общих знакомых, друзей, учителей. Разумеется, история с нелепым третейским судом, которой Толстой просто не придал значения, была почти случайной. И вместо Толстого судьей могли бы назначить кого угодно другого, но если кто-то должен был дать Толстому пощечину, этим человеком неслучайно был Мандельштам. И если кому-то Мандельштам должен был дать пощечину, то именно Алексею Толстому. Конечно же не звонкую, как пишет Крандиевский, при том не присутствовавший, совсем не такую, как дал Волошин Гумилеву, не такую, какую получит Пьеро в «Золотом ключике», а слабую, детскую, неуверенную, за которую не вызовешь на дуэль да и вообще не будешь знать, как и что ответить.

Вся эта ситуация несколько напоминает суд, устроенный над Толстым двадцать лет тому назад, и если тогда судьи во главе с Вячеславом Ивановым равнодушно отнеслись к молодому Толстому, то теперь так же равнодушно отнесся он. Толстой был, по существу, и наказан за свое человеческое равнодушие, которому его сын Дмитрий позднее пытался найти оправдание: «Он часто забывал про людей, не замечал их. Проявлявшееся иной раз неожиданное равнодушие к людям не было, по существу, равнодушием; это была просто «нехватка места» в нем для людей»[701].

«Вот, может быть, что ты мало знаешь во мне: это холод к людям», — признавал и сам Толстой в одном из писем к жене[702]. Однако это все же не значит, что он не обращал внимания ни на кого, и, как знать, если бы поэзия Мандельштама была ему близка, не исключено, что он отнесся бы к истцу иначе. Недаром в том же, 1934 году Толстой оказался в роли заступника другого гонимого поэта — Павла Васильева.

«…Встречаюсь с А.М. Горьким. Сидим, обедаем, — вспоминал Гронский. — Напротив сидит Алексей Толстой. Мы с А.М. Горьким «царапаемся». Мы с ним часто «царапались», хотя в общем дружили.

— Вы на меня сердитесь? — спрашивает Горький.

— За что?

— За Васильева.

— Да нет. Не сержусь. Проблема П.Н. Васильева куда сложнее и серьезнее (в это время я знал, что руководители партии одобрили мое выступление о П.Н. Васильеве, а не А.М. Горького).

Пока мы спорили, А. Н. Толстой вышел, принес целую пачку журналов и говорит:

— Что вы все лаетесь? Вот послушайте стихи.

И начал читать стихи П.Н. Васильева.

У А.М. Горького потекла одна слеза, другая. Он вообще часто плакал.

Толстой продолжает читать.

— Кто это? Это же гениально! Это потрясающие стихи! Это замечательно написано!

А. Н. Толстой нагнулся и говорит:

— Это — Павел Николаевич Васильев.

— Как, как? Ну-ка покажите. Да… Неловко получилось, неловко, — сказал А.М. Горький»[{703}].

Возможно, именно эта любовь Толстого к пользовавшемуся репутацией антисемита Васильеву дала основание многим современникам Толстого говорить о его собственном антисемитизме, о чем, в частности, писал в дневнике Чуковский: «Слонимский доказывает, что Алексей Толстой — юдофоб, хотя никаких доказательств и не приводит»[{704}]. Антисемитом назовет позднее Толстого Ахматова и скорее всего за Мандельштама.

«Надменный, замкнутый, нарочито сухой — с «чужими», людьми не писательского круга, — его лицо тогда строго, покатая, с четырехугольным лбом голова туго поворачивается на шее, от восьми до двенадцати вечера может не сказать ни одного слова, — не заметит; лихоумец, выдумщик, балагур — с людьми ему приятными, людьми, которых приемлет: тогда одним анекдотом может свалить под стол…»[{705}] — писал сменовеховец Глеб Алексеев, которому самому не так долго оставалось гулять на свободе.

Конечно, и Мандельштам, и Слонимский были для него чужими. Но в портрете, написанном Алексеевым, тоже лишь маски, а не истинное лицо Толстого. И что испытывал в душе граф, которому словно в насмешку приделали все эти прозвища, как отражались на нем все житейские сюжеты и взаимоотношения с советскими писателями, сказать трудно. Очевидно, что очень многие его не любили. Одни — за сервилизм, другие — за умение писать талантливо, третьи — за умение халтурить, четвертые — за красивую жизнь, пятые…

В дневнике Чуковский ссылается на еще одно высказывание Слонимского о Толстом: «Слонимский жаловался на то, что Накоряков (директор Госиздата. — *А.В.*) сбавил гонорары за повторные издания:

— Это все Горького работа… Горький судит о писателях по Ал. Толстому и не подозревает, как велика кругом писательская нужда!»[{706}]

Если судить о советских писателях по Толстому, то действительно гонорары были немаленькие.

«Чтобы представить себе уровень жизни нашей семьи, достаточно указать следующие факты. В

доме держались две прислуги: полная немолодая кухарка Паша и Лена — молоденькая веснушчатая деревенская девушка, в обязанности которой вменялось следить за чистотой в доме и, кроме того, в зимние дни топить печи, — писал в своих мемуарах Федор Крандиевский. — Кроме них в доме было два шофера, Костя и Володя, и три автомобиля, стоявших в гараже. В доме было 10 комнат (5 наверху и 5 внизу) <…> Как не похож был наш дом на детскосельские захламленные коммунальные квартиры!»{707}

В воспоминаниях Крандиевского, в общем-то настроенного по отношению к отчиму неприязненно, хотя эта неприязненность и завуалирована, сквозит упрек. Но сказать тут можно одно: и эти деньги, и этот дом Толстой действительно заработал. Если советские чиновники, партийные и государственные деятели жили, грубо говоря, за счет народа, то Толстой — за свой счет. Своей роскошной жизнью Толстой походил только на одного писателя — Горького. А вместе с тем и резко отличался от него, и эта разница существенна.

«Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим, — писал Ходасевич о Горьком. — Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними»{708}.

О Толстом такого не скажешь. Он не был до такой степени отравлен ни честолюбием, ни жаждой славы («у меня нет острого самолюбия», — писал он жене{709}). Он просто хотел хорошо писать и хорошо жить. Глубокие метафизические искания Горького, его ницшеанство, его тяжба с Богом, та роль вождя, к которой Горький стремился, которую завоевал, с радостью на себя взвалил и нес — все это Толстого не занимало нисколько. Он был в этом смысле простодушнее, ребячливее[74], он был чистой воды художник («процесс творчества доставляет истинное наслаждение»{710}), и вот, вероятно, та причина, по которой Бунин его принял, а Горького нет. Толстой не был никому соперником, и в десятые, и в двадцатые, и в тридцатые годы, и до революции и после, и под большевиками и без них ему главное было дело делать, работа была для него всем: и источником благосостояния, и смыслом жизни, и его оправданием, и наслаждением. «Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц — и лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет»{711}, — вспоминал Чуковский. Все остальное служило подспорьем, и, быть может, поэтому его дружба с советскими вождями, и его цинизм, и беспринципность — все это в воспоминаниях людей, даже настроенных по отношению к нему не слишком доброжелательно, часто даже помимо воли мемуаристов, окрашено в снисходительный тон.

«Поскольку Надежда Васильевна была очень хороша собой, то поползли слухи, что она «живет с Климентом Ворошиловым», — писала племянница Толстого и его крестница художница Н.П. Навашина-Крандиевская. — Эта мерзость дошла до мамы. Очень раздосадованная, как-то, сидя рядом с А. Н. Толстым на банкете, она пожаловалась ему: «Вот, Алеша, что братья-художники говорят обо мне». Алексей Николаевич утробно крякнул, громко захохотал, ударив кулаком по столу, так что зазвенели бокалы, и, глядя на нее, произнес: «Дюнка, не опровергай». А папе моему, когда они с тетушкой приезжали в Москву и видели, как мы бедствуем, Толстой говорил: «Если ты, Петр, не можешь обеспечить семью — воруй!»{712}

Петр — это тот самый П. П. Файдыш, с которого Толстой писал Телегина. Так что последнее

можно считать советом, который автор дает своему герою. А в сущности, здесь то же самое, что и в революцию и в войну, — принцип Скарлетт О'Хара: никогда моя семья не должна голодать.

Но полагать, что Алексей Толстой был таким весельчаком, бодряком, жизнерадостным автоматом, который только и умел, что хорошо жить и писать, тоже было бы неверно. За все надо было платить — он и платил.

В ночь на 27 декабря 1934 года с Толстым случился первый приступ инфаркта миокарда. Через день он повторился.

«Вот, сударь мой, Алексей Николаевич, получили щелчок по лбу? Так вам и надо, гулевая голова! — по-отечески вразумлял его Горький. — В 50 лет нельзя вести себя тридцатилетним бокалем и работать, как 4 лошади или 7 верблюдов. Винцо пить тоже следует помаленьку, а не бочками, как пили деды в старину, им, дедам, нечего было делать, а вам нужно написать еще 25 томов, по одному в год. Вино и совсем не надо бы пить, заменив его миндальным молоком с нарзаном — напиток бесполезный, но весьма противный. И все формы духовного общения с чужеродными женщинами нужно ограничить общением с единой и собственной женой — общением, кое установлено и освящено канонами православной кафолической церкви… Вообще, дорогой и любимый мною сердечный друг, очень советую, отдохните недельки три или хотя бы годок от наслаждений жизнью, особенно же от коллективных наслаждений, сопровождаемых винопитием и пожиранием поросят…»[{713}]

Толстой и в самом деле много работал и щедро жил, жизнь распирала его изнутри, в нем бродили могучие силы, и если бы не они, едва ли бы он выдержал такой темп, но в конце концов волжский организм надорвался. В Детском Селе стало тихо. Гаврилов, литературный секретарь Толстого, писал в своих мемуарах:

«Дом встретил нас мертвый, опустелый. «Тишины боюсь. От нее тоскую, у меня всегда был этот душевный изъян, боязнь скуки. Тишина для меня — как смерть!» — сказал Толстой как-то раз. Вот и привычный удар гонга, возвещающий о прибытии гостей. Правда, вечный приворотник не ответил нам: «Господин граф уехал в горком». Он вообще ничего не сказал, сухо пригласил раздеться.

Наталья Васильевна, встретив в покоях, на мое осторожное рукопожатие обеими ладонями ее иссохших утонченных пальцев, почти что шепотом сообщила:

— Он совершенно измотал себя. Эти бесконечные чтения в редакциях. Едва окончил вторую часть про царя Петра… Статьи, сценарии, а потом эти граждане, лезущие туда, куда должно бы входить с уважением. А ему каждая хамская рожа интересна, как объект наблюдения. Это ужасно, Александр![75]

Творческая жадность Алексея Николаевича, как истинного русского писателя, не знала границ. Он работал на износ. Мне осталось лишь посочувствовать ей, супруге, но, увы, не соратнику:

— Он умирает? — спросил я жестоко.

— Врачи опасаются самого худшего»[{714}].

Однако граф выкарабкался и именно тогда, весной 1935 года, написал третье после «Детства Никиты» и «Петра», а точнее — самое первое, самое известное и выдающееся, самое читаемое

свое произведение.

«…С ним случилось что-то вроде удара, — вспоминал Николай Никитин. — Боялись за его жизнь. Но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях, как пюпитр, он уже работал над «Золотым ключиком», делая сказку для детей. Подобно природе, он не терпел пустоты. Он уже увлекался.

— Это чудовищно интересно, — убеждал он меня. ~ Этот Буратино… Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак.

Он захохотал»[{715}].

Ни одна книга Толстого не была удостоена такого тщательного литературоведческого внимания, как «Золотой ключик». Кто только и что о невинной детской сказке, впервые напечатанной в «Пионерской правде», не писал. Каких только мотивов и подтекстов, литературных переливов и интерпретаций в ней не находили! Особенно модным сделался «Золотой ключик» среди литературоведов в наши дни, когда каждый стал волен писать кто во что горазд.

Досталось всем — и Мальвине, и Буратино, и Пьеро, и папе Карло, и Карабасу, и Дуремару, и самым актуальным, как водится, стал эротический подтекст. Если сделать подборку не самых экстремальных цитат из стремящихся перещеголять друг друга литературоведов нового рубежа веков, то картина получится примерно такая.

«Буратино сразу окунает нас в мир фаллической фазы — со всеми ее комплексами и эрогенными зонами <…> путешествующий одушевленный кусок бревна предстает перед нами метафорой высвобожденного либидо, раскованной сексуальности. Его символом безусловно является фаллос, сюрреалистическое акцентирование которого заключается не только в прообразе — исходной палке-бревне, но и в длинном носе <…> Буратино представляет собой не просто сексуального гиганта, он гипостазированная идея либидо, воплощение мужской сексуальности, ищущий приключений на свой длинный *«нос»* <…>

Карабас бессмысленно истязает действительность; Буратино же ее практически дефлорирует, пронзая холст своим специфическим носом, превратив реальность тем самым из лягушки в писаную красавицу. Древние сексуальные страхи сменяются просвещённым сексуальным энтузиазмом. Сексуальный конфликт перемещается из сферы физиологической в сферу идеологическую; Буратино как фаллос — эмблема легко побеждает в идеологической среде»[{716}].

Обо всем этом можно было бы и не упоминать, если б не одно обстоятельство. Толстого считали циником и грубияном, но едва ли даже ему пришло бы в голову, что сотворят с его сказкой (повторю, здесь приведены самые безобидные отрывки) товарищи потомки.

Более ценны исторические параллели, которые встречаются, в частности, в трудах Константина Дегтярева:

«Например, знаменитое «пациент скорее жив, чем мертв» становится по-человечески понятным, если учесть, что Толстой писал «Ключик», выполняя просьбу врачей не напрягаться после перенесенного инфаркта. Вот он и не напрягался — развлекался, как мог. И чего только не придумал! Старый сверчок, которому *«грустно покидать комнату, где прожил сто лет»*, скорее всего символизирует «философский пароход», русскую интеллигенцию, вынужденную жить в эмиграции. А может быть и только-только начавшиеся гонения на евреев в Германии. А

как насчет доберманов-пинчеров, *«которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях»,* а на все вопросы задержанных отвечали *«там разберутся «2* Тоже персонажи узнаваемые, особенно если учесть, что появились они накануне печально известного 37-го года»[{717}].

Далее исследователь приводит целую таблицу соответствий, кого мог иметь в виду в своем романе Алексей Толстой.

| | |
|---|---|
| Буратино | Сам Толстой, или Андреи Белый, или Максим Горький |
| Пьеро | Однозначно Блок |
| Мальвина | Возможно, актриса Мария Андреева |
| Театр Карабаса-Барабаса | Театральная система Мейерхольда |
| Карабас-Барабас | Однозначно Мейерхольд |
| Страна дураков | Предоставляю догадаться читателю |

Но таблица еще что… Существует фундаментальный буратиноведческий труд, принадлежащий екатеринбургскому исследователю В. А. Гудову, который создал энциклопедию «Золотого ключика». В ней много спорного, но иные из энциклопедических статей наводят на мысль, что сказка действительно не так проста, как может на первый взгляд показаться, и в рассуждениях многочисленных литературоведов интерпретационное фокусничество порой смешивается с очень точными замечаниями.

«***Евангельские аллюзии***. Обычный и оттого показательный для русской литературы набор символики. К наиболее очевидным ЕА относятся: непорочное зачатие главного героя; мессианский характер его деятельности, в частности, проповедь социальной справедливости, провозглашение жизни вечной и Царства Божьего, по сути наступающих с открытием нового театра (обидчики Буратино Карабас, Алиса и Базилио в эту новую жизнь не вошли, потому что у них нет — буквально! — билета в грядущую гармонию); мотив искушения главного героя (поле чудес); дважды настигающее героя распятие (Карабас вешает Буратино на гвоздь, лиса и кот — на дерево); воскресение духовно преображённого Буратино после символической смерти — утопления в пруду; мессианская предначертанность судьбы Буратино, которого с первого взгляда узнают и признают куклы, слушаются звери (см. *Бой на Опушке),* а на древней-предревней двери в светлое будущее, как выясняется в последней главе, нарисовано его изображение. Многократно повторяющееся число «4» отсылает к притче о воскрешении Лазаря, сочетающей в себе семантику полной погибели с надеждой на преодоление таковой. Четверка символически вторит заблуждениям Буратино: 4 музыканта играют у входа в театр, 4 сольдо стоит вход в театр Карабаса, именно 4 из 5 карабасовых золотых Буратино закапывает на поле чудес; за 4 сольдо Дуремар нанимает крестьянина — живца для ловли пиявок; наконец, действие сказки разворачивается в течение 4 дней.

***Старый шарманщик***. 1. Карл Маркс, пророк пролетариата. Самостоятельно в новую жизнь войти не может; никогда не заглядывал за волшебную дверь в собственной каморке — не хватало революционного пороху. Тем не менее, создал (открыл) Нового Человека, изменившего мир. Среди типологически родственных ему героев советской литературы того периода — Левинсон («Разгром» А. Фадеева) и Андрей Бабичев («Зависть» Ю. Олеши).

***Тортила***. Черепаха, на которой держится мир, чьим главным секретом она, обиженная на прежних людей, делится с новым человеком Буратино.

***Пьеро.*** Проводит время в тоске по исчезнувшей возлюбленной и страдая от повседневности: В силу надмирного характера стремлений тяготеет к вопиющей театральности поведения, в

которой усматривает практический смысл: например, пытается внести вклад во всеобщие поспешные сборы на бой с Карабасом тем, что «заламывал руки и пробовал даже бросаться навзничь на песчаную дорожку». Вовлечённый Буратино в борьбу против Карабаса, превращается в отчаянного бойца, даже говорить начинает «хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники», вместо обычных «бессвязных стихов» производит пламенные агитки, в конце концов именно он пишет ту самую победно-революционную пьесу в стихах, которую дают в новом театре. Эволюция Пьеро напоминает историю жизни и творчества А. А. Блока в интерпретации советского литературоведения»[718].

Мысль о том, что в образе Пьеро Толстой зашифровал Блока, высказал еще в 1979 году в своей работе «Что отпирает «Золотой ключик»?»[719] Мирон Петровский. Он первый провел серьезный, тонкий и, что немаловажно, неспекулятивный сравнительный анализ «Золотого ключика» и «Пиноккио» («У Коллоди морализируют все, у Толстого — никто» или «Пейзажи Коллоди отличаются от пейзажей Толстого, как треплевское детальное перечисление всех примет ночи от лаконичного тригоринского «горлышка бутылки, блестящего на плотине»[720]) и доказал оригинальность толстовской сказки. Петровский также истолковал литературный жест с толстовским предисловием, в котором говорится о том, что сказку про Пиноккио автор читал в детстве, хотя на самом деле Толстой прочитал ее впервые в Берлине в переводе, сделанном несчастной Ниной Петровской, но благодаря этой мистификации скрыл все аллюзии на Серебряный век.

«Толстой словно бы заворожил всех своим предисловием — не было замечено даже то, что отличия кричат, как говорится, с переплета: ведь в итальянской сказке нет главного образа сказки о Буратино, нет ее ключевой метафоры и наиболее значимого символа — именно золотого ключика».

В принципе, согласиться с этим можно, хотя не очень ясно, для чего и от кого было Толстому в середине тридцатых свои пародии на символистов скрывать и кто бы тогда стал всерьез в них разбираться? Что же касается версии о том, что в образе Буратино могли быть зашифрованы либо сам Толстой, либо Андрей Белый, либо Горький, то этот ряд можно продолжить хоть Волошиным, который раздавал пощечины и обольщал чужих возлюбленных и вечно влипал в неприятные истории. Во всяком случае, у него не меньше прав, чем у Белого, который пусть и соперничал с Блоком из-за Любови Дмитриевны Менделеевой, но с здравомыслящим Буратино имел общего совсем не много. Но утверждать что-либо однозначно о прототипах всегда трудно.

Так, Лев Коган позднее вспоминал: «Ироническое отношение к символистам и ко всякой мистике осталось у Алексея Николаевича до конца его жизни. Помню, в тридцатых годах приезжал в Детское Андрей Белый. Как-то вечером он посетил Толстого. На следующий день Алексей Николаевич рассказывал о Белом:

— Чудак какой-то! Ни слова в простоте не скажет. Подумает, воззрится куда-то в пространство и вдруг загнет что-нибудь ошеломительное. Спросили его, нравится ли ему нынешняя Москва, а он поглядел в угол и говорит: «Москва — это носорог».

Алексей Николаевич захохотал и добавил:

— Мозги у него набекрень. И все врет, все врет!»[721]

Буратино это или нет? Тот хоть и врал, но с мозгами у него все было в порядке. Мозги набекрень скорее у Мальвины, хотя именно Буратино все зовут безмозглым. И уж чего точно не было у Буратино, так это мистицизма, которым славился поклонник Штейнера Борис Бугаев.

«Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина:

— Открой тайну, несчастный, открой тайму!

Карабас Барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуремара.

— Это ты?

— Нет, это не я…

— Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?

Дуремар был суеверен…

— Открой тайну, — опять завыл таинственный голос из глубины кувшина, — иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!»

Существует также версия, изложенная в академической по духу статье литературоведа Марка Липовецкого, стремящегося доказать, что сказка Толстого отразила душевное состояние автора в 1935 году, когда он окончательно превратился в придворного писателя и вынужден был проститься и со своей литературной независимостью, и с литературной молодостью.

«Противопоставление Буратино Мальвине и Пьеро не абсолютно, а относительно: недаром Буратино «отдал бы даже золотой ключик, чтобы увидеть снова друзей». Точно так и ирония Толстого над модернистскими темами и мотивами граничит с попыткой самооправдания — перед самим собой, перед своим прошлым, перед кругом идей и людей, с которыми он был близок и от которых он так решительно отдалился, двинувшись по пути официального советского признания»[{722}].

Со всем этим можно было бы согласиться, если бы еще в 1912 году Толстым не была написана пьеса «Спасательный круг эстетизму», а в 1915-м — «Егор Абозов», а потом — «Хождение по мукам»… И от друзей декадентов Толстой решительно отдалился вовсе не в 1935-м и даже не в 1923 году, а гораздо раньше. Или же они отдалили его от себя. В любом случае вряд ли в 1935 году Алексей Толстой чувствовал потребность оправдываться перед кем бы то ни было.

«Работая над «Хлебом», Толстой, по-видимому, не может уйти от мысли о том, какую же роль он принял, согласившись вставить в дорогой для него роман заказную и насквозь фальшивую повесть, — не превратился ли он в продажного Дуремара, перестав быть неунывающим Буратино, ведущим свою игру в своем театре <…> согласившись работать над «Хлебом», Толстой-художник очутился в сфере прямых и недвусмысленно выраженных интересов власти <…> Вот почему тот, с кем связывались надежды Толстого на обретение своего театра и своей игры под протекторатом власти, оборачивается в процессе работы над «Хлебом» новым, куда более жестким кукольником-карабасом»[{723}].

Не могли такие мысли приходить автору «Хлеба» и «Ключика» лишь в пору написания этих вещей; сладкоголосая птичка попала в клетку намного раньше и давно ее позолотила, и уж тем более сатира Толстого не шла дальше Мейерхольда или Станиславского и он ничего не замышлял и не шифровал против Сталина. Рассуждения о том, что до «Хлеба» Толстой был Буратино, а после стал Дуремаром, несколько упрощают жизненный путь Толстого.

В статье Липовецкого скорее можно согласиться с тем, что «неуместность, непристойность и даже аморальность художника — превращаются в свидетельства творческой свободы. Можно увидеть в этой утопии апофеоз цинизма и нравственной безответственности, но нельзя не

признать ее эстетической привлекательности <…> Буратино оказывается одним из ярчайших примеров медиаторов между советским и несоветским, официальным и неофициальным дискурсами»[{724}].

Последнее звучит почти как оправдание Алексея Толстого. И примечательно, что индульгенция идет по линии постмодернизма, но не реализма, как у Солженицына. Это абсолютно точно. Если Толстому и прощать его сервилизм и цинизм, то лишь за умение играть в литературные игры, за талант превращать свою жизнь в театр и тем спасаться и так оправдывать абсурд собственной жизни. И как ни странно, нечто подобное восхищало в Толстом и Бунина. «Это был человек во многих отношеніях замечательный. Он был даже удивителен сочетаніем в нем редкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, после его возвращения в Россію из эмиграціи, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служенія советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром»[{725}].
«Приключения Буратино», о которых Бунин не говорит ни слова и которые скорее всего не читал, — едва ли не лучшее тому доказательство. А посвящена эта дивная сказка, которая по сей день продолжает не только восхищать, но и кормить стольких людей и в мире литературы, и в мире театра, и кино, — Людмиле Ильиничне Толстой. Но первым претендентом, а точнее претенденткой на посвящение была другая женщина.

## Глава XXI. Город женщин

«По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставлял машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: «Вы еще меня не знаете, я все могу». Растерянная Тимоша жаловалась маме»[{726}].

Тимоша — это домашнее прозвище невестки Горького Надежды Алексеевны, в которую были влюблены и лысый человек в военной форме Генрих Ягода, и писатель Алексей Толстой, а также множество других знаменитых и незнаменитых мужчин. Именно ей и двум ее дочерям, внучкам Горького Марфе и Дарье, читал Толстой историю про плохо воспитанного мальчика с длинным носом и девочку с голубыми волосами[76]. Тимоша была не слишком на нее похожа — простосердечная, кроткая, неизбалованная и в семейной жизни несчастливая. Познакомившись с ней еще в Сорренто в 1932 году, где они вместе бродили по старым итальянским улицам («С Тимошей — по узким ступенчатым улицам»[{727}]), Толстой потерял голову так же, как двадцать лет назад, когда был влюблен в балерину Маргариту Кандаурову. И когда весной 1934 года умер муж Тимоши Максим, действия Толстого сделались особенно решительными, а намерения очевидными, что и имел в виду Тимошин свекор, иронически призывая Толстого ограничить все формы духовного общения с чужеродными женщинами общением с единой и собственной женой. Жаловалась ли Тимоша Наталье Васильевне на настойчивые ухаживания со стороны ее мужа, вопрос открытый, но взаимностью Толстому она не отвечала, хотя вместе их иногда видели. Знаменитый летчик М. Громов (в будущем сосед Толстого в Барвихе) вспоминал, как Алексей Толстой и Надежда Алексеевна Пешкова приезжали осмотреть новый советский самолет «Максим Горький».

«Самолет интенсивно готовился к первому испытательному полету. В один прекрасный день, нежданно-негаданно, вдруг подъезжает автомобиль. Из него выходят: Алексей Николаевич Толстой и Надежда Алексеевна Пешкова, большие друзья уже в то время. Они пожелали ознакомиться с самолетом. Я рассказал им все — и про размеры, и про летные данные, и про оборудование. Они остались очень довольны»[{728}].

Граф был настроен серьезно, и невестка Горького была для него не просто увлечением. После без малого двадцати лет совместной жизни с Крандиевской он твердо собрался сменить жену, и дело было не только в том, что она постарела и Толстой в соответствии со «свирепыми законами любви» искал себе женщину помоложе, как полагали впоследствии и Наталья Васильевна, и ее взрослые дети. Трещина в отношениях между супругами наметилась давно. Еще в 1929 году Толстой писал Крандиевской:

«Что нас разъединяет? То, что мы проводим жизнь в разных мирах, ты — в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я в фантазии, которая меня опустошает. Когда я прихожу в столовую и в твою комнату, — я сваливаюсь из совсем другого мира. Часто бывает ощущение, что я прихожу в гости <…> Когда ты входишь в столовую, где бабушка раскладывает пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян — боязнь скуки»[{729}].

Крандиевская размышляла в ответ в своем дневнике: «Пути наши так давно слиты воедино, почему же все чаще мне кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно всякое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину. Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: «Тишины боюсь. — Тишина — как смерть».

Порой удивляюсь, как же и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы — такие — противоположные люди?»[{730}]

И вот пять лет спустя после этой записи оказалось, что зацепились они друг за друга не так прочно, не было больше глубокой любви, настало охлаждение, притупление чувств, рутина, скука, от которой страдали оба, но больше, как водится, женщина. И если у нее все было в прошлом, то Толстой продолжал строить новые планы, и это разводило их еще дальше друг от друга.

«Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: — если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же все остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маниаков громадим столько лет? Неужели все рухнуло, все строилось на песке? Я спрашивала в тоске:

— Скажи, куда же все девалось?

Он отвечал устало и цинично:

— А черт его знает, куда все девается. Почем я знаю? <…>

Мне хотелось ехать с ним за границу, на писательский съезд. Он согласился с безнадежным равнодушием — поезжай, если хочешь. Разве можно было воспользоваться таким согласием? Я отказалась. Он не настаивал, уехал один, вслед за Пешковой.

Это было наше последнее лето, и мы проводили его врозь. Конечно, дело осложняла моя гордость, романтическая дурь, пронесенная через всю жизнь, себе во вред. Я все еще продолжала сочинять любовную повесть о муже своем. Я писала ему стихи. Я была как лейденская банка, заряженная грозами. Со мною было неуютно и неблагополучно»[{731}].

Толстой это чувствовал, неуюта и неблагополучия он не любил. Преодолевать семейные кризисы, что-то строить, терпеть, отказываться от своего «я» — все это было не для него. Он

искал вдохновения.

«В одном из последних писем ко мне Горький пишет: «Экий младенец эгоистический ваш Алеша! Всякую мягкую штуку хватает и тянет в рот, принимая за грудь матери». Смешно и верно. Та же самая кутячья жажда насыщения толкнула его ко мне 22 года тому назад. Его разорение было очевидным. Встреча была нужна обоим. Она была грозой в пустыне для меня, хлебом насущным для него»{732}.

Если сравнить эти горькие строки с тем, что писал счастливый Алексей Толстой своей возлюбленной Наташе в декабре 1914 года, если посчитать, сколько сделал он для своей большой семьи (включая мать Крандиевской и ее сына), если вспомнить, что не так давно, в январе 1932 года (то есть за несколько месяцев до знакомства с Тимошей), Толстой писал жене: «Моя любимая, родная, одна в мире. Тусинька, неужели ты не чувствуешь, что теперь я люблю тебя сильнее и глубже, чем раньше. Люблю больше, чем себя, как любят свою душу. Ты неувядаемая прелесть моей жизни. Все прекрасное в жизни я воспринимаю через тебя»{733}, то выражение «кутячья жажда насыщения» покажется не самым справедливым. Но понять Крандиевскую можно. Ей было по-настоящему обидно за ту стремительность и небрежность, с какой муж расставался с ней после двадцати прожитых вместе лет, хождений по общим мукам, после Кати, Даши, синицы и козерога, после того, как он пользовался ею в жизни и в литературе. Наталья Крандиевская, обаятельная, красивая, талантливая женщина, прекрасная поэтесса, делила общую судьбу всех оставленных жен, и этой обиды она не простила Толстому и много лет спустя.

«Было счастье, была работа, были книги, были дети. Многое что было. Но физиологический закон этой двадцатилетней связи разрешился просто. Он пил меня до тех пор, пока не почувствовал дно. Инстинкт питания отшвырнул его в сторону. Того же, что сохранилось на дне, как драгоценный осадок жизни, было, очевидно, недостаточно, чтобы удержать его»{734}.

Это было не вполне справедливо. Толстого в семье тоже «пили». Позднее он писал в одном из писем: «Я для моей семьи — был необходимой принадлежностью, вроде ученого гиппопотама, через которого шли все блага. Но кто-нибудь заглядывал в мой внутренний мир? Только бы я выполнял обязанности и не бунтовал. Все испугались, когда я заболел 31 декабря. Но как же могло быть иначе: — зашаталось все здание. Наташа мне несколько раз поминала о заботах, которыми она меня окружила. Но как же могло быть иначе? Они радуются удачам моего искусства. Было бы странно не радоваться. И я жил в одиночестве и пустоте, так как от меня требовали, но никто не отдавал мне своего сердца»{735}.

Наталья Васильевна и сама это видела, но считала виноватым мужа: «Наш последний 1935-й год застал Толстого физически ослабленным после болезни, переутомленным работой. Была закончена вторая часть «Петра» и детская повесть «Золотой ключик».

Убыль его чувств ко мне шла параллельно с нарастанием тайной и неразделенной влюбленности в Н.А. Пешкову. Духовное влияние, «тирания» моих вкусов и убеждений, все, к чему я привыкла за двадцать лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Я замечала это с тревогой. Едва я критиковала только написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов:

— Тебе не нравится? А в Москве нравится. А 60-ти миллионам читателей нравится.

Если я пыталась, как прежде, предупредить и направить его поступки, оказать давление в ту или другую сторону, — я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот. Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне не все нравилось в Горках.

— Интеллигентщина! Непонимание новых людей! — кричал он в необъяснимом раздражении. — Крандиевщина! Чистоплюйство!

Терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, быть может, враждебных.

Тем временем семья наша, разросшаяся благодаря двум женитьбам старших сыновей, становилась все сложней и утомительней. Это «лоскутное» государство нуждалось в умной стратегии, чтобы сохранять равновесие, чтобы не трещать по швам. Дети подрастающие и взрослые, заявляющие с эгоизмом молодости о своих правах, две бабушки, две молодые невестки, трагедии Марьяны, Юлия, слуги, учителя, корреспонденты, поставщики, просители, люди, люди, люди… Встречи, заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая суета! Над основной литературной работой всегда, как назойливые мухи, дела, заботы, хозяйственные неурядицы. И все это по привычке — на мне, ибо кроме меня, на ком же еще? Секретаря при мне не было. Я оберегала его творческий покой как умела. Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала все»[{736}].

Вышеприведенные фрагменты из воспоминаний Крандиевской не входили в ее мемуарную книгу советского времени, и разрыв между Толстым и женой никогда не объяснялся некоей общественной подоплекой. Да и трудно сказать, была ли эта подоплека на самом деле или восторжествовала позднее, когда утвердилось мнение о Толстом-приспособленце и Наталья Васильевна под эту легенду подстраивалась, а может быть, и сама ее творила. Она писала с осуждением о толстовском «сталинизме» и «сервилизме», о «новых» веяниях, которые в силу своей интеллигентности отвергала.

Она действительно по-другому смотрела на то, что и как происходит в стране, но было бы странно предположить, что лишь разница в политических воззрениях стала причиной их разрыва. «Ты понимаешь происходящее вокруг нас, всю бешеную ломку, стройку, все жестокости и все вспышки ужасных усилий превратить нашу страну в нечто неизмеримо лучшее. Ты это понимаешь, я знаю и вижу. Но ты как женщина, как мать инстинктом страшишься происходящего, всего неустойчивого, всего, что летит, опрокидывая. Повторяю, — так будет бояться всякая женщина за свою семью, за сыновей, за мужа. Я устроен так, — иначе бы я не стал художником, — что влекусь ко всему летящему, текучему, опрокидывающему. Здесь моя пожива, это меня возбуждает, я чувствую, что недаром попираю землю, что и я несу сюда вклад»[{737}].

Так писал Толстой жене в год «великого перелома». Но были вещи и иного порядка. И иные письма и резоны. «О заграничной машине говорил с Генрихом Григорьевичем, — он мне поможет <…> Несколько раз виделся с Генрихом Григорьевичем, он мне дает потрясающий материал для «19 года», материал совершенно неизвестный. В романе это будет сенсационно»[{738}], — сообщал Толстой жене в 1934 году. Советовала ли ему тогда отказаться от отношений с Ягодой и от заграничной машины та, что жаловалась когда-то Бунину, что в эмиграции с голоду не умрешь, но придется ходить в разорванных башмаках?

Такого рода письма и советы неизвестны. Известны другие, и в 1935-м отношения Алексея Толстого с Генрихом Ягодой развивались не только в связи с Тимошей, а также заграничной машиной и романом о 1919 годе. После убийства Кирова в декабре 1934 года, когда по всей стране и особенно в Ленинграде начались массовые репрессии, к Толстому и его жене обращались очень многие с просьбой о помощи. Будучи женщиной милосердной, Наталья Васильевна пыталась помочь и писала мужу:

«Дорогой мой Алешечка!

Так все складывается, я сажусь за письмо к тебе и опять одолевают несчастные люди, звонят, приезжают. Что я могу сказать или сделать, кроме того, что пообещать написать тебе в Москву? Вот и обещаю и пишу»[{739}].

«Тусинька, милая, о детях Жирковичей я уже говорил с Г.Г., — отвечал Толстой. — Думаю, что это дело можно будет устроить. Сегодня буду говорить еще раз. Я в колебании — возвращаться ли домой или переждать еще немного»[{740}].

А в другом письме: «Живу я частью у Коли, частью в Горках, но больше бегаю, мотаюсь, звоню, пишу и пр. Веду себя благоразумно настолько, что Крючков (в Горках в 2 часа ночи за столом, уставленным бутылками), когда я готовил коктейли, а сам пил нарзан с апельсиновым соком, — Крючков сказал, что пришел Антихрист! <…>

Тусинька, милая, в связи с тем, что из Ленинграда столько теперь высылают, думаю, что мне благоразумнее подождать числа до 20–25 здесь. Меня же замучат звонками и просьбами. Лучше такое острое время просидеть здесь, в Горках. Правда?»[{741}]

Разумеется, он не мог помочь всем. Да и не собирался. Но кое-кому все же помогал. Сотруднику библиотеки Академии наук Г. М. Котлярову, родственнику первого мужа Крандиевской Алексею Волькенштейну, писателю-сатирику Жирковичу. Однако поток просьб не уменьшался, и в конце концов Толстой взмолился:

«Тусинька, больше писем *таких* мне не пиши. Пока нужно передохнуть и дать возможность другим передохнуть от меня»[{742}].

Эти строки в наше время любят цитировать как пример толстовского жестокосердия и равнодушия. Последнее действительно имело место, нужды идеализировать красного графа нет, но и доброго не стоит забывать. Сам же Толстой, по-видимому, в 1935-м, пока был жив Горький, пока дружил с Ягодой и Крючковым, чувствовал себя в безопасности. Потом эта дружба едва не вышла ему боком, но именно эти двое давали ему советы, как правильно себя вести.

Вяч. Вс. Иванов позднее писал о невестке Горького: «Я видел каждого из ее мужей (или друзей — не со всеми она успевала расписаться) после Макса. Их всех арестовывали <…>[{743}]».

Толстой мог пополнить этот ряд. Но его вовремя предупредили.

Вяч. Вс. Иванов: «Зимой 1950 года я жил на даче в Переделкине вдвоем с Андрониковым. Он мне рассказал историю ухода из семьи Алексея Николаевича Толстого, в чьем доме Ираклий Андроников был своим человеком. По словам Ираклия (которые вызывают сомнение в отношении хронологии событий), Толстой был влюблен в Надежду Алексеевну и вскоре после смерти Макса думал на ней жениться. По словам Ираклия, ему объяснили, что этого делать нельзя. Толстой тогда женился на Л.И. Баршевой»[{744}].

Крандиевская этого, скорее всего, не знала. Да и Андроникову трудно вполне верить. Эпоха тридцатых мифологизировалась впоследствии как никакая другая, и отстал ли Толстой от Тимоши, потому что так ему велели, или же она его решительно отвергла сама и он убедился в бесплодности своих усилий, доподлинно неизвестно. Известно точно одно: он страдал.

«В конце лета 1935 года Толстой вернулся из-за границы. Неудачный роман с Пешковой пришел к естественному концу. Отвергнутое чувство заставило его, сжав зубы, сесть за работу в Детском. Он был мрачен. Казалось, он мстил мне за свой крах. С откровенной жестокостью

он говорил:

— У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни»[{745}].

И тогда Наталья Крандиевская ушла из дома сама. Первая. Ушла — потому что находиться рядом с разлюбившим ее человеком больше не могла. Или хотела таким образом на него воздействовать. Общественное мнение в таких случаях всегда бывает на стороне женщины; на стороне матери были дети и виноватым однозначно объявили Толстого — и Никита, и Дмитрий, а тем более Федор. И только Марьяне, той самой Марьяне, о которой Толстой написал однажды Крандиевской, что любит Марьяну только отчасти, совсем не так, как Никиту и Митю, никогда по ней не скучает и может расстаться как с чужой на много лет, Марьяне, оставленной им в голодной Москве в 1918 году, в феврале 1945 года за день до смерти Толстой сказал: «Я никогда бы не разрушил свою семью, если бы Туся не переехала в Ленинград»[{746}].

«Я уехала из Детского в августе 35 года. Помню последний обед. Я спустилась к столу уже в шляпе. Утром уехал грузовик с последними вещами. У подъезда меня ждала машина. Толстой шутил с детьми. Об отъезде моем не было сказано ни слова. На прощанье он спросил:

— Хочешь арбуза?

Я отказалась. Он сунул мне кусок в рот:

— Ешь! Вкусный арбуз!

Я встала и вышла из дома. Навсегда.

Дальнейшие события развернулись с быстротой фильма. Нанятая в мое отсутствие для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне. (Позднее она говорила как-то, что вины за собой не чувствует, что место, занятое ею, было свободно и пусто.) Через два месяца она возвратилась из свадебного путешествия в тот же дом полновластной хозяйкой. Таков свирепый закон любви. Он гласит: если ты стар — ты не прав и ты побежден. Если ты молод — ты прав и ты побеждаешь»[{747}].

В этих воспоминаниях есть неточность. «Это маме пришла в голову идея предложить Людмиле Баршевой взять на себя обязанности секретаря. Людмила жила со своей матерью во дворе какого-то большого дома на Невском проспекте. Где-то служила. Она принадлежала не к поколению родителей, а к нашему поколению, была на тридцать лет моложе мамы. С детских лет она дружила с моей женой Мирой Радловой. Это была интеллигентная женщина, близкая литературе. Все считали эту кандидатуру очень удачной»[{748}], — вспоминал Федор Крандиевский.

Но дело даже не в том, когда и по чьей инициативе пришла Людмила Баршева в дом Толстых. Важнее иное. Крандиевской ее уход из дома вспоминался как решительный шаг романтически настроенной женщины. Перед тем как уйти, она оставила мужу стихи:

*Так тебе спокойно, так тебе не трудно,*
*Если издалека я тебя люблю.*
*В доме твоем шумно, в жизни — многолюдно,*
*В этой жизни нежность чем я утолю?*
*Отшумели шумы, отгорели зори,*
*День трудов закончен. Ты устал, мой друг?*
*С кем ты коротаешь в тихом разговоре*

*За вечерней трубкой медленный досуг?*
*Долго ночь колдует в одинокой спальне,*
*Записная книжка на ночном столе…*
*Облик равнодушный льдинкою печальной*
*За окошком звездным светится во мгле…*

«Тусинька, чудная душа, очень приятно находить на подушке перед сном стихи пушкинской прелести. Но только образ равнодушный не светится за окном, — поверь мне. Было и минуло навсегда, — снисходительно написал в ответ Толстой. — Вчера на заседании я провел интересную вещь: чистку писателей. Это будет ведерко кипятку в муравейник.

Сегодня пробовал начать писать роман. Но чувствую себя очень плохо, — кашляю, болит голова, гудит как колокол в пещере.

Целую тебя, душенька»[{749}].

Он писал шутливо, в обычном стиле, уверенный, что Туся вернется и все пойдет, как прежде. Он не воспринимал ее демарш всерьез, однако она была настроена решительно. Поэтесса спорила в ней с женщиной и одолевала. Уже много лет она не писала стихов, как вдруг женская обида разбудила уснувший дар. Трудно сказать, что это было — последняя попытка спасти семью или же переживание особого поэтического состояния покинутой женщины. Но в любом случае не Толстой ушел от жены, а она его оставила. Пусть вынужденно, пусть из каких-то высших соображений, обид, уязвленного достоинства, но ушла она. А Толстой оскорбился. И тон его писем резко изменился, от былой снисходительности и шутливости не осталось следа, а началось жесткое сведение супружеских счетов.

«Милая Наташа, я не писал тебе не потому, что был равнодушен к твоей жизни. Я много страдал, много думал и продумывал снова и снова то решение, к которому я пришел. Я не писал тебе, потому что обстановка (внутренняя) нашего дома и твое отношение и отношение нашей семьи ко мне никак не способствовали ни к пониманию меня и моих поступков, ни к честной откровенности с моей стороны.

Я остался в Детском один. Я понимал, что это была «временная мера», вроде некоторой изоляции, с той мыслью, что я, «насладившись» бы одиночеством, снова вернулся к семье. Но я действительно был одинок как черт в пустыне: старухи, Львы и Федины и собутыльники. С тобой у нас порвалась нить понимания, доверия и того чувства, когда принимают человека всего, со всеми его недостатками, ошибками и достоинствами и не требуют от человека того, что он дать не может. Порвалось, вернее, разбилось то хрупкое, что нельзя склеить никаким клеем.

В мой дом пришла Людмила. Что было в ней, я не могу тебе сказать или, вернее, — не стоит сейчас говорить. Но с первых же дней у меня было ощущение утоления какой-то давнишней жажды. Наши отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными.

Так бы, наверное, долго продолжалось и, может быть, наши отношения перешли в горячую дружбу, т. к. у Людмилы и мысли тогда не было перешагнуть через дружбу и ее ко мне хорошее участие. Вмешался Федор. Прежде всего была оскорблена Людмила, жестоко, скверно, грязно. И тогда передо мной встало, — потерять Людмилу (во имя спасения благополучия моей семьи и моего унылого одиночества). И тогда я почувствовал, что потерять Людмилу не могу.

Людмила долго со мной боролась, и я честно говорю, что приложил все усилия, чтобы

завоевать ее чувство.

Людмила моя жена. Туся, это прочно. И я знаю, что пройдет время и ты мне простишь и примешь меня таким, какой я есть.

Пойми и прости за боль, которую я тебе причиняю»[{750}]. После этого приговора ей осталось одно — отвечать стихами.

*Люби другую. С ней дели*
*Труды высокие и чувства,*
*Ее тщеславье утоли*
*Великолепием искусства.*
*Пускай избранница несет*
*Почетный труд твоих забот*
*И суеты столпотворенье*
*И праздников водоворот.*
*И отдых твой, и вдохновенье,*
*Пусть все своим она зовет.*
*Но если ночью, иль во сне*
*Взалкает память обо мне*
*Предосудительно и больно*
*И сиротеющим плечом*
*Ища мое плечо, невольно*
*Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно!*
*Я не жалею ни о чем!*

Долго еще они продолжали выяснять отношения в жанре эпистолярном. Крандиевская писала Толстому, что он поступил с ней точно так же, как когда-то с Софьей Дымшиц.

«Никакой аналогии в моих отношениях к тебе — с моими отношениями 20 лет тому назад к С. И. Здесь к тебе совсем другое… — сердито отвечал он. — Ты хотела влюбленности, но она миновала, что же тут поделаешь. Ни ты, ни я в этом не виноваты, и, с другой стороны, оба причиной того, что она миновала»[{751}].

А в другом письме изливал свой гнев на всех домашних и прежде всего на детей: «Когда отец их полюбил человека, они возмутились (да и все вдруг возмутились) — как он смеет! А мы? А наше благополучие? Отец живет с другой, отец их бросил, брошена семья и т. д.… Все это не так, все это оттого, что до моей личной жизни, в конце концов, никому дела не было»[{752}].

В отношения между супругами попыталась вмешаться сестра Натальи Васильевны Надежда, и задетый за живое резкими словами своей «Даши». Толстой писал жене, уже сбросив все и всяческие маски: «В Дюнином письме и в твоих стихах снова и снова поразило меня одно: — это безусловная уверенность в том, что я существо низшего порядка, проявившее себя наконец в мелких страстишках. Я никогда не утверждал себя как самодовлеющую и избранную личность, я никогда не был домашним тираном. Я всегда как художник и человек отдавал себя суду. Я представлял тебе возможность быть первым человеком в семье. Неужели все это вместе должно было привести к тому, что я, проведший сквозь невзгоды и жизненные бури двадцати лет суденышко моей семьи — оценивался тобой и, значит, моими сыновьями как нечто мелкое и презрительное?..

Художник неотделим от человека. Если я большой художник, значит — большой человек.

Искусство вообще в нашей семье никогда не пользовалось слишком большим почетом. Напрасно. Погибают народы и цивилизации, не остается даже праха от их величия, но остается бессмертным высшее выражение человеческого духа — искусство. Наша эпоха выносит искусство на первое место по его культурным и социальным задачам. Все это я сознаю и к своим задачам отношусь с чрезвычайной серьезностью, тем более что они подкреплены горячим отношением и требованиями ко мне миллионов моих сограждан»[753].

Но Наталье Васильевне до миллионов сограждан дела не было, личная обида била в ней через край:

«Если не искусство — *то что же,* собственно говоря, пользовалось у нас пиететом в семье за все 20 лет? Вот чего я не понимаю.

Алеша, за последнее время я столько выслушала от тебя горьких «истин», что совершенно перестала понимать свое прошлое. Ты только и знаешь, что порочишь его по-новому в каждом новом письме.

Мне хочется спросить иногда — неужели ты в самом деле веришь сам (в спокойную и беспристрастную минуту) тому чудовищному огульному отрицанию всего хорошего в бывшей нашей общей жизни?

Подумай только — и «тирания», и «ложь», и «плен», и «болото пошлости», и одиночество, «непонимание»… Теперь ты прибавляешь — «равнодушие к искусству» и «высокомерное» неуважительное отношение к тебе — да мало ли еще какой неправдой можно поглумиться над своим прошлым, благо оно прошлое. Ты все еще сводишь со мной счеты.

Неужели «прошлое» чернить и пачкать *необходимо,* чтобы выгоднее оттенить *настоящее* и его преимущества? Неужели такова скрытая цель?..

Чтобы импозантнее выглядело твое 2-х месячное сотрудничество с Людмилою, необходимо утвердить, что «Туся в сущности никогда твоей работой не интересовалась и в ней не участвовала».

Это «предательство» всего старого, Тусиного, — неужели неизбежно? Оно будет продолжаться во славу Людмилы до тех пор, пока ты любишь ее?

Во всяком случае, я предвижу, что на мой остаток жизни мне хватит этого предательства и этой неправды.

Сражаться с ней бесполезно… Пусть этой ценой покупается твое безупречное «настоящее», его вес и значение. Будь счастлив им, Алеша, но не злобствуй и не клевещи на меня, — ибо я и так *раздавлена* — твоим счастьем»[754].

Несколько лет спустя они предприняли попытку примириться.

«Поздравляю тебя, милый Алеша, с днем твоего рождения, — писала Наталья Васильевна бывшему мужу 10 января 1940 года, — и хочу тебе сказать, что давно уже прошло все злое, что было в сердце против тебя. Спасибо за все хорошее, что ты дал мне когда-то, а в плохом — вероятно, я сама виновата. Не думай, милый, что я пишу тебе в ожидании каких-либо выводов с твоей стороны или хотя бы ответа на мое обращение.

Нет. Я ничего не жду и мне ничего не надо. Просто мы живем в такое тяжелое время, и неизвестно, что будет со всеми нами. Быть может, дни наши сочтены, и мне не хочется уходить

из жизни непримиренной с тобой. Пожалуйста, поклонись твоей жене и скажи ей, что я ей желаю долгой и счастливой жизни с тобой»[{755}].

«Милая Туся, спасибо тебе за хорошее письмо. Я очень рад всем вашим семейным событиям и тем, что у тебя внуки. Тяжелые времена преходящи. А мы — такое поколение людей, которое ничем уж особенно не напугаешь»[{756}].

Она оставалась в блокадном Ленинграде и Толстого пережила на восемнадцать лет, но в своих воспоминаниях не смогла сдержать обиду. Толстой же мемуаров не писал…

Итак, четвертой и на сей раз последней женой Алексея Николаевича Толстого стала Людмила Ильинична Баршева, урожденная Крестинская. Эта миловидная изящная женщина скрасила его последние годы, пережила его на много лет (она умерла в 1982 году) и стала его наследницей и хранительницей его огромного архива, однако между Тимошей и Баршевой в жизни Толстого промелькнула еще одна женщина, точнее девушка, чья судьба, будь граф хотя бы чуть менее равнодушным и занятым собой человеком, стала бы вечным укором для его совести.

Ее звали Гаяна. Такое имя дала ей мать, известная поэтесса Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева. Толстой знал Кузьмину-Караваеву давно, с 1911 года, у нее в гостях бывал еще с Соней Дымшиц, о ней писал в раннем своем рассказе «Четыре века» и в «Хождении по мукам», где Караваева выведена в образе отчаянной, распутной и несколько вульгарной девицы Елизаветы Киевны, безнадежно влюбленной в Телегина и отдающейся Бессонову. Письмо в защиту Кузьминой-Караваевой Толстой подписал, когда она была арестована контрразведкой белых по подозрению в большевизме в марте 1919 года, снова с ней встретился в Париже летом 1935-го, когда Елизавета Юрьевна уже приняла постриг и стала для всех известна под именем мать Мария. За образ Елизаветы Киевны в «Хождении по мукам» у Кузьминой-Караваевой были все основания дать Толстому еще одну пощечину (а заодно и за Блока, которого она действительно в молодости боготворила), но мать Мария простила. В эмиграции ей жилось трудно, еще больше тосковала ее дочь, и с ведома и по благословению матери Толстой увез Гаяну в Советский Союз.

Трудно сказать, была ли это его собственная инициатива или нечто вроде задания по линии НКВД. Никто не знает наверняка, какого рода миссии возлагались на Толстого во время его пребывания за границей, но известно, что переговоры о возвращении на Родину он вел с разными людьми, в том числе и со своим родным братом Мстиславом; позднее именно Толстой будет причастен к возвращению в Советский Союз Куприна и предпримет попытку вернуть Бунина, но самой первой и самой несчастной жертвой его усилий стала не причинившая никому зла девушка со странным именем Гаяна — «земная».

О том, что произошло с ней в СССР, существует несколько версий. Одну из них излагала Никите Струве Анна Ахматова.

«У Алексея Толстого, который соблазнил ее вернуться, ей было очень плохо, она должна была от него выехать и через несколько дней умерла в больнице якобы от тифа, но ведь от тифа так быстро не умирают… Алексей Толстой был на все способен»[{757}].

На самом деле — это такая же ахматовщина, как и легенда о гибели Мандельштама из-за пощечины Толстому. Все было не совсем так, но все равно очень и очень грустно…

«Из Парижа я вывез дочь Лизы Кузьминой-Караваевой, Гаяну. Она жила в нечеловеческих условиях и, кроме того, была лишена права работы. Девочка умная, коммунистка, ей нужно

учиться в вузе. Я думаю так: до осени она будет жить в Детском Селе, а осенью — в прежней комнате Марьяны у Дымшица. Всю историю про Лизу (она монахиня) и про Гаяну расскажу подробно»[758], — писал Толстой Крандиевской летом 1935 года незадолго до их разрыва.

«Однажды мы приехали на машине в Ленинградский порт встречать возвращающегося из Франции отчима, — вспоминал Федор Крандиевский. — Мы увидели его, машущего нам рукой с верхней палубы. Он спускался по трапу, сопровождаемый носильщиком, нагруженным черными заграничными чемоданами. С ним рядом шла тоненькая девушка, пугливо озирающаяся вокруг. Взяв ее за руку, отчим сказал: «Вот я вам привез подарок. Ты помнишь, Туся, Лизу Кузьмину Караваеву? Это её дочь Гаяна. Она коммунистка и хочет жить в Советском Союзе. Гаяна пока будет жить у нас <…> Гаяна стала жить у нас, постепенно свыкаясь с новой обстановкой и новыми людьми. Спустя некоторое время она поступила на Путиловский завод, чтобы получить, как говорил отчим, «рабочую закалку», а затем поступить в вуз. Она вставала в пять часов утра, возвращалась домой измученная. Часто по вечерам она подолгу молча сидела на ступеньках нашей террасы. Как на заводе, так и у нас в семье мало кому до неё было дело»[759].

Это очень понятно. Летом 1935 года, когда рушился дом в Царском Селе, никому из членов толстовского клана было не до Гаяны. Но даже если бы она приехала на год, или на два, или на пять раньше, едва ли бы это что-то изменило. Существует легенда о счастье этого дома, его изобилии, радости, о некоем даже пире во время чумы. На самом деле скелетов в его шкафах хватало. С одной стороны, царскосельский дом был блестящим. В нем собиралась элита советского времени — Прокофьев соревновался (а заодно и ссорился) здесь с Шостаковичем, всех веселил молодой Ираклий Андроников, представлявший в лицах Качалова и Толстого, здесь пел Иван Козловский, бывали Мейерхольд и Райх (последняя читала Есенина и плакала). Дети этого дома были разносторонними людьми: Федор и Никита серьезно занимались физикой, Дмитрий музыкой, Марьяна химией, тут спорили о литературе, читали стихи и рассказывали анекдоты, но в соседних комнатах жили в этом доме совсем другие люди. Призраки былой жизни. Одним из них была тетка Толстого, сестра его матери Мария Леонтьевна, та, что была в курсе всех перипетий ухода графини Александры Леонтьевны Толстой от мужа и получения ее сыном графского титула, та, которую Толстой некогда выводил в своих ранних повестях и получал от нее укоризненные письма. Теперь она была уже совсем старой и походила на героиню ненаписанной повести на тему о том, как жили бы толстовские чудаки, доживи они до советских времен.

«Тетя Маша почти все время проводила в постели. У нее под тюфяком лежал большой толстый лист бумаги с двуглавым орлом, датированный каким-то числом еще прошлого века. Она берегла эту бумагу как зеницу ока. В ней удостоверялось, что тетя Маша — Мария Леонтьевна Тургенева была владелицей большого поместья в Симбирской губернии. Тетя Маша берегла эту бумагу «на всякий случай»[760], — несколько иронически отзывался о Марии Леонтьевне Федор Крандиевский.

Иной тон мемуаров Дмитрия Толстого: «Все, что ее окружало, представлялось ей, привыкшей к вековому размеренному укладу жизни, каким-то страшным сном, который должен скоро кончиться <…>[761]».

Этот страшный сон начинался не просто за стенами царскосельского дома. Он был и внутри этих стен. В 1932 году Крандиевская писала мужу: «Безбожник Никита за это время «ликвидировал» Екатерининский собор в Детском Селе, бабушки в панике. Как ни дик этот факт сам по себе, но надо признать, что он последовательно и неизбежно логичен. Раз комсомол, то и все вытекающее из него надо принимать или не принимать, не так ли?»[762]

Вероятно, Гаяна тоже пробовала принять, но у нее не получилось, и она стала в Детском Селе таким же чужеродным телом, как старуха Мария Леонтьевна. Ее сторонились, ее разыгрывали, провоцировали, однажды пришел какой-то человек и предложить ей вступить в троцкистское подполье, она растерялась и рассказала обо всем Толстому. Тот посоветовал пойти в НКВД.

Друзей у нее не было, хорошенькая парижанка работала на заводе, но не жаловалась на жизнь, не унывала, а больше недоумевала, как Алиса в Зазеркалье, и писала своим домашним в Париж поразительные письма и про себя, и про графа:

«Дорогие мои!

Вообще я больше ничего не понимаю, всё мутно и как-то странно, чтобы не сказать, что забавно выше всякой меры <…> Перед праздниками у нас будут раздавать награды и как ударнице-стахановке мне, кажется, будет преподнесено полное собрание сочинений Сталина. Я так довольна, что мне трудно описать.

Сейчас вот уже две недели как я сижу дома, хожу в театры, концерты и вообще ничего не делаю, кроме писания, так как я поранилась на заводе, разрезала довольно сильно палец. Наталья Васильевна страшно испугалась, и поэтому были подняты все знаменитости города, чтобы смотреть мой палец и лечить его, когда ничего в общем нету. Одним словом, прописали «аква дистилата». Самый печальный факт в моей биографии, если это можно назвать моей — это то, что Алёша разошёлся с Натальей Васильевной, и это были совершенно феноменальные драмы, в которых я себя очень глупо чувствовала. Алёша ещё не вернулся из Чехии, а когда вернётся, ходят слухи, что мы с ним переедем в Москву. А там не знаю.

Вообще в всеобщем представлении кажется, что приехала дочь поэтессы Кузьминой Караваевой, развела Алешу, и они поженятся в ближайшем будущем и уедут в Москву. Это совершенно достоверно говорят все до такой степени, что я не знаю, как мне отбояриваться от всяких обедов, вечеров и т. д.

Я хотела вам послать мои карточки, но, к сожалению, не могу никак их проявить, пока мой палец не заживет. Всегда со мной происходят какие-то феноменальные истории. Так и тут, как и везде, не могу же я быть нормальным человеком, и вот того и гляди я стану моряком. Другими словами — матросом, а там чего доброго и штурманом. Буду ездить по всему свету на «Смольном» или на «Дзержинском» и стану морским волком. А может, буду знаменитой писательницей. Если, конечно, до того времени не кинусь в политику. Мне уже не раз тут говорили, что при некотором желании я смогу, т. к. у меня есть нюх на международные темы и что я могу стать хорошим бойцом, какой нужен нашему СССР.

Мама, кажется, Алеша тебе не соврал, когда говорил обо мне!!! Пока сижу в Детском Селе, но, может, поеду с Алешей на юг в Крым, Кавказ. Как я этого хочу. Сначала получала изредка письма от Жоржа, теперь он, кажется, совсем рассердился на меня за то, что запереть на ключ не может и даже не знает, к кому ревновать.

Написал, что между нами все кончено. Ну и тем лучше, а то матрос с мужем — это странно. Вдруг вспомнила, что забыла подразниться немного. Это в огород Насти. Скажите ей, что скоро я смогу ее заткнуть по всем интересующим ее вопросам. Я не говорю о медицине, зачем. Какие у меня книги. Мне жаль, мама, что ты их не можешь почитать и поучить, а это тебе было бы интересно; поэтому, чтоб не пропадало, я занялась этим делом.

Мама, у тебя есть моих 100 франков. Не могла ли бы ты спросить у Константина Вас. Мочульского, какие за последние месяцы вышли хорошие книги, и прислать их мне. Ты знаешь

мой вкус. Если вышел Жид или что-нибудь в этом роде, пусть К. В. постарается для меня.

В мою же очередь я могу тебе послать кое-что, если это тебя интересует. О, если бы у меня были деньги, какая бы у меня была Библиотека. Тут такие букинисты, что Париж им в подметки не годится. Черезвычайно весело находить то тут, то там рисунки небезызвестной вам личности. Конечно, мама, ты наверно их не помнишь, а мне приятно их видеть, даже и на чужих стенах. Ну вот, кажется, и все мои новости. Кроме всего прочего, жива и здорова; хорошо, очень хорошо себя чувствую и довольна жизнью. Мне хочется, перед тем как кончить письмо, пуститься в лирику или просто развести романтизм.

Сейчас уже глубокая осень и наверно на днях пойдёт снег. Я его жду с таким нетерпением. Уже 2 градуса только, и по вечерам я сижу часами у камина и смотрю, как горят дрова. На улице воздух такой прозрачный, такой вкусный; немного пощипывает в носу и так хорошо пахнет. Листья все опали, и в парке как-то совершенно волшебно. Через голые деревья виднеются старые постройки, ещё времен Екатерины Второй. Озеро такое чудное, что кажется таким оно может быть только на картинке. Последние цветы доцветают, воздух особый, и звуки уже совсем какие-то своеобразные.

Теперь только я поняла, почему мама любила бродить по Ленинграду. Я это так хорошо понимаю, что сама брожу часами и когда уже от усталости ноги не идут, мне все же еще хочется ходить и ходить. Я совершенно влюбилась в этот город, и мне кажется, что на свете ничего не может быть лучше.

Была на премьере в Мариинском театре; мне очень понравился балет «Бахчисарайский фонтан», и Галя Уланова была бесподобна. Была и в Филармонии и в Александринке — все мне тут нравится, и всем я довольна, но поверьте, что я от этого не забываю вас и часто думаю о вас и крепко люблю.

Крепко целую вас всех и очень-очень люблю»[{763}].

Она хотела жить, хотела быть счастливой, но в рассыпающемся доме Толстого едва ли это было возможно. И уж конечно никто не повез ее ни в Крым, ни на Кавказ. И тогда Гаяна помирилась со своим ревнивым Жоржем, вышла за него замуж, а меньше чем через год ее не стало. Но не потому, что ее убили по заданию НКВД, как предполагала Ахматова. Нина Берберова написала в «Железной женщине», что Гаяна умерла от неудачного подпольного аборта, и в этом гораздо больше горькой правды. Аборты в Советском Союзе запретили в июне 1936 года. Гаяна умерла в августе. А во второй половине сентября мать Мария получила письмо от мужа Гаяны Г. Мелия о кончине ее дочери и похоронах со схемой расположения могилы на Преображенском кладбище.

Толстой в общем тут был ни при чем. Как и в случае с Ниной Петровской, и с судом по иску Осипа Мандельштама. Он не был отцом этого ребенка, он ее не бросал, не выгонял из дома, ни в чем ей не отказывал, просто когда ей стало туго, ей не с кем было посоветоваться и не к кому прийти. Он был виноват разве что косвенно.

«…Совершенно безответственное поведение отчима, который неизвестно для чего привёз Гаяну из-за границы, а затем, занятый своими личными делами, бросил ее на произвол судьбы. Все жили своими жизнями. Алексей Николаевич вырвал Гаяну из ее какой бы то ни было жизни, а затем бросил! Судьба Гаяны тяжелым камнем лежит и на моем сердце»[{764}], — писал Федор Крандиевский в одном из писем.

По общему мнению, образ Гаяны никак не отразился в творчестве Толстого, хотя я почти

уверен в том, что комсомолка Маруся из третьей части «Хождения по мукам», которая, не стесняясь, раздевается при Рощине и которая дарит ему свою любовь, а потом погибает — все это было навеяно Гаяной.

Но это позднее, а тогда, летом и осенью 1935 года, Толстому и в самом деле было не до дочери русской монахини.

«Любимая, обожаемая, прелестная Мика, вы так умны и чисты, вы так невинны и ясны, — чувствуешь, как ваше сердце бьется, прикрытое только легким покровом… Мика, люблю ваше сердце, мне хочется быть достойным, чтобы оно билось для меня… Я никогда не привыкну к вам, я знаю — если вы полюбите — вы наполните жизнь волнением женской и человеческой прелести, я никогда не привыкну к чуду вашей жизни

Счастье — это безграничная свобода, когда ничто вас не давит и не теснит и вы знаете, что перед вами какие-то новые дни, все более насыщенные чувством, умом, познанием, достижением, и какие-то еще не исхоженные дивные пространства… Мика, вы хотите сломать себе крылья и биться в агонии. Когда столько сомнений, столько противоречий, — начинать ли жизнь с ним, — тогда можно только надеяться: — стерпится, слюбится. Но это разве то, на что вы достойны: умная, талантливая, веселая (это очень важно — *веселая!).* Веселая, значит протянутые руки к жизни, к свободе, к счастью. Мика, целую ваше веселое девичье сердце. Мика, я очень почтительно вас люблю. Я всегда буду сидеть позади вас в ложе, глядеть на вашу головку. Мика, клянусь вам, в вас я первый раз в моей жизни *полюбил человека,* это самое чудо на нашей зеленой, скандальной, прекрасной земле. Мика, пройдут годы, меня уже не будет, рядом с вами будет бэби, мое дитя от вас, — дочь, — из вашего тела, из вашей крови, и в сердце ее будет биться моя любовь к вам.

Мика, нужно *решать.* Или жить так. Или влачить дни: — у вас сломанные крылья, у меня — парочка новых романов, парочка пьес да прокисшее вино и тоска, тоска по тому, что давалось и могло быть и не удалось… Что же с вами делать? Только сказать, — Мика, будь твердой и выбирай счастье.

Ваш нареченный муж *А. Толстой*»[{765}].

Письмо написано так, как если бы Толстой адресовал его девушке (вроде Гаяны), которая не может решиться расстаться со своей невинностью. На самом деле Людмила Ильинична Баршева, которой исполнилось в тот год, когда она встретилась с Толстым, 29 лет, была замужней, точнее ушедшей от мужа дамой. Ее супругом был писатель Николай Баршев, не слишком успешный, но и не самый последний в литературной иерархии тех лет.

Он происходил, как и Алексей Толстой, из дворян, хотя и не таких знатных. Отец Баршева служил полковником в царской армии. Баршев был на 18 лет старше своей жены, его имя было довольно известно в двадцатые годы, в ленинградских театрах шли его пьесы, и тогда же он стал вхож в толстовский дом. Ираклий Андроников позднее писал:

«Очень хорошо помню чтение первого варианта пьесы о Петре Первом, которая вскоре пошла во МХАТе Втором. Было очень много гостей. В их числе писатель Баршев с женой Людмилой Ильиничной, которая через несколько лет стала женою А. Н. Толстого»[{766}].

Однако в тридцатые годы положение Баршева ухудшилось. «Николай Баршев постарел, потишел. Потерял свою начинавшуюся полноту и добродушие, — отмечал в своих записях Иннокентий Басалаев. — В его словах теперь часто сквозит ирония.

Он говорит Всеволоду Рождественскому: «Нелады, Севушка, у меня с эпохой».

Он давно оставил свое инженерство. Работает в Издательстве писателей. Пишет мало. Желая пошутить, он говорит за чаем в гостях о своей жене Людмиле Ильиничне:

— Да вы не обращайте на нее внимания, она ведь у меня тае…»[{767}]

Вот эта самая «тае» (которой Толстой между тем со знанием дела писал: «Но говорю тебе, подумав: твое письмо мне напомнило письма Пушкина. От него — аромат твоей прелести. Мики, ты талантлива, недаром у тебя три линии от безымянного пальца»[{768}]) и ушла от него. Сначала к матери, потом в секретари к Толстому, а потом в жены. Со скоростью головокружительной. И это стало для Баршева ударом не меньшим, чем для Крандиевской скорый уход от Толстого.

На объединенном заседании правления Ленинградского отделения Союза писателей и Литературного фонда 16 декабря 1935 года Слонимский говорил о Баршеве: «Он находится в очень плачевном материальном положении: он не может уплатить за квартиру, у него описаны вещи, и в то же время Баршев в литературном смысле человек, которого нельзя назвать бессильным, окончившим литературное существование <…>. Здесь нужно найти какой-то особый вид помощи. Баршев отличный редактор…»[{769}]

Судя по всему, Людмила Ильинична переживала за оставленного мужа, и Толстой вразумлял ее с высоты прожитых лет и имея за спиной опыт трех разводов: «Мики, ты сделала выбор, тебе очень тяжело. Ты все думаешь, ты в чем-нибудь винишь себя. Но сделать по-иному — ты должна была съежиться, войти в ореховую скорлупу. Зачем? Чтобы дать другому (ему) счастье? Но такая, в скорлупе, — ты все равно счастья бы не дала. И если ты меня жалеешь — то пойми — я бы не пережил теперь без тебя. Об этом страшно подумать. Он страдает и, наверное, долго будет вспоминать тебя, потому что тебя нельзя забыть. Но пойми, Мики, что если бы между вами все было благополучно, то сразу бы начались серые будни и скорлупа.

Это безнадежно и обречено. В жизни, как на войне — нужно решаться жертвовать, чтобы выигрывать победу. Но нигде и никем не сказано, чтобы человек приносил себя в жертву другому без цели, без надежды, только потому что ему жаль другого. Жить с жертвой нельзя, — ее в конце концов возненавидишь как вечное напоминание. Мики, ты поступила мудро, — инстинкт жизни и счастья — важнейший из инстинктов человека, им жива вселенная. Ложно понятое христианство исковеркало его. Человек по дороге к счастью — всегда в состоянии творчества. *Я тебе дам* когда-нибудь перечесть твои письма, — в них как лепесток за лепестком, расцветает твоя душа. Я буду строго следить за собой и тобой, чтобы наша жизнь не споткнулась о благополучие. Но думаю, что ты сама, лучше меня понимаешь, что это больше относится ко мне. Благополучие — есть остановка, а мы — вперед, к безграничному, покуда хватит жизни».

Наверное, уговаривать ее долго не пришлось. Но и Баршев не остался один. Скоро он женился на 27летней женщине, у него родилась дочь Алена, а еще через год, в тридцать седьмом, его арестовали и дали семь лет лагерей. Он пережил только первый год и умер в Хабаровске.

Обычная литературная история советских времен. Были две писательские жены. Одна стала вдовой репрессированного. Другая вытащила счастливый билет и получила все, о чем могла мечтать советская женщина.

Из Праги, куда Толстой поехал в октябре 1935 года, он писал Людмиле Ильиничне: «С 12 до 17 покупались по списку вещи для Алешиной жены Мики, какие куплены штучки! Я взял в

посольстве одну даму, ростом и фигурой приблизительно как ты, и загонял ее насмерть. В семь вернулся, взял ванну, переоделся, пошел в какое-то черт его знает учреждение, где меня дожидалось человек 200 с моими книжками (переводами), чтобы я дал автограф. Некоторые продавщицы в магазине тоже просили автограф. Я совершенно дьявольски, оказывается, знаменит. (Хотя одна дамочка подсунула мне для подписи «Анну Каренину», но все вокруг загудели: «Позор».) Говорю это вот для чего. Мики, у меня так мало качеств, чтобы ты меня любила, мне хочется разбудить в тебе честолюбие, чтобы ты мной гордилась, — тогда я стану совершенно невероятно знаменит — чтобы ты гордилась своим мужем, Мики…»[{770}]

Александр Борщаговский в своем очерке «Зрители дешевого райка» воспроизводит рассказ писателя Ивана Микитенко, который вместе с Толстым ездил за границу, о том, как это выглядело со стороны:

«Двухместное купе международного вагона занимали Микитенко и Валентин Катаев, соседнее купе было загромождено чемоданами, баулами, саквояжами и портпледами Алексея Николаевича Толстого. Стоянка под Шепетовкой задерживалась. К моменту, когда подали сменный паровоз и вагоны уже подрагивали, поскрипывали, как застоявшиеся кони, показался наконец Толстой в обнимку с последним угрожающих размеров чемоданом с болтающимися ремнями и незакрытыми замками.

Поезд тронулся. Толстой успел толкнуть в тамбур свою ношу и не по возрасту резво вскочил на ступеньку вагона. Он упал массивной графской грудью на распахнувшийся чемодан, в груду кружев, тончайших и светлых, как подвенечные одежды. Лицо Толстого светилось блаженством. Лежа ничком в тамбуре, он поднял глаза от своих сокровищ и увидел во внутренних дверях своих спутников: мефистофельская маска Катаева и лукавая физиономия Микитенко. Их театрально воздетые руки не обещали Алексею Николаевичу снисхождения. Он поторопился, запросил пощады, боднув тяжелой головой копну бело-розового дамского белья, и простонал:

— Но женщина-то какая! Ах, какая женщина!

Он тогда то ли состоялся уже в роли молодого мужа, то ли был еще женихом, отняв невесту у сына («Ты молод, еще найдешь себе!»), но выражение полного блаженства на его лице заставило прикусить язык двух записных циников… потрясенный поздней любовью Алексей Толстой утопал в белопенных кружевах молодой жены-красавицы»[{771}].

В этом рассказе много несуразностей (вроде того, что Толстой отбил невесту у сына), но в любом случае влюбленный граф, несмотря на иронию Микитенко (в 1938 году расстрелянного), выглядит здесь трогательно и человечно.

Значит ли все это, что знаменитый богатый писатель просто купил себе молодую жену и одел ее как куклу в заграничные тряпки? Так, да не так. Людмила Ильинична вдохнула в него жизнь и заставила позабыть о любовных неудачах, он был ей искренне благодарен, а она после унизительной советской нищеты, после жизни с неудачником радовалась, как девочка, и радовала своей радостью его. Она сыграла ту роль, которая от нее требовалась, послужила источником вдохновения, и черты ее современники угадывали в образе Екатерины из романа о Петре. «Круглый, крепкий, как литой, веселый Алексей Николаевич любовался Екатериной. Опыт и любовь немолодого, но не состарившегося человека выражена в третьей части «Петра I», — писал Шкловский. Он, правда, так и не смог вопреки обещаниям зачать с ней ребенка, но в остальном подарил ей все.

«Мика, в вас — живой женщине (обожаемой от лесных глаз до пальчиков на ногах) — я слышу

эту гармонию, эту дивную музыку жизни. Вы должны это знать и в себе развивать. Вы скажете: я вас порчу? Нет. Человек должен знать свой путь. Люди должны стать прекрасны. Мы создаем для этого все условия, все предпосылки <…>. Пусть это называется неуклюжим, книжным словом — социалистическое строительство… Но это и есть начало, первая зеленоватая (еще не румяная) заря нового мира, где будет жить прекрасный человек…

Мика, обожаемая, сердце мое… Мне очень вас жалко, вашего смятения. Я протягиваю вам твердую руку. Будем мужественны, найдем в себе силы — идти туда, в это будущее. Только для этого стоит жить <…>. Мика, меня ужасно взволновало, когда вы пели (у Шишкова) «Я помню чудное мгновение» <…>. Но у Пушкина были только мечты, нереальные, как сон… А мы уже ступаем по реальной земле будущего»[{772}].

«Мики, ты должна стать государственной женщиной. Мики, теперь вся Москва знает, что ты моя будущая жена: — я сказал об этом вчера в ЦК партии. (Так было нужно.) Мики, не сердись, я не ускоряю событий. Может быть, мое восприятие времени (темпы) слишком стремительны для твоей тихой, нежной, милой, чистой, до слез обожаемой души. Но я действую разумно. Мики, — или ты, или отчаяние, когда остается грызть подушку…»[{773}]

## Глава XXII. Красный шут

Слухи о переменах в личной жизни Толстого докатились и до заграницы. Отпросившийся у Сталина и проживавший с советским паспортом в Париже член Союза советских писателей Евгений Замятин интересовался у Толстого: «Дорогой товарищ-греховодник, ты что это там начудесил, а? Тебя тут по всем заграницам женят, и всяк по-своему: кто на балерине Улановой, кто на семнадцатилетней секретарше, кто на Тимоше (версия Людмилы)[77]. Это дым, а где огонь и какое у него крещеное имя? Не грех бы написать»[{774}].

В той роли, которую играл Замятин за границей, много неясного. Писатель Юрий Давыдов в своем романе «Бестселлер» высказывает предположение, что дом Замятина был местом, где происходила вербовка просоветски настроенных людей, и Алексей Толстой имел к этому самое непосредственное отношение.

«В доме 14, rue Raffet, который Бурцев называет «советским», эти агенты имеют одну из главных явок. В этом же доме живет писатель Замятин, находящийся в постоянных сношениях с чекистами. На квартире Замятина устраивает свидания с нужными ему людьми граф Толстой. Алексей Н. Толстой командирован в Париж с заданием ГПУ. Замятин возил Толстого на виллу Крымова, которого посещают и другие советские агенты, в том числе писатель Илья Эренбург, журналист Михаил Кольцов»[{775}].

Документальных подтверждений этому предположению нет. Спецслужбы своих агентов не раскрывают. И, разумеется, ничего не писал о своих связях с НКВД Эренбург, но трудно предположить, чтобы этих связей не было и все конгрессы в защиту мира, в которых участвовали советские писатели, проходили без участия ведомства Ягоды — Ежова — Берии.

Что касается Толстого, то одна из эмигрантских газет писала: «Бывший граф Толстой, подававший надежды стать неплохим писателем, ныне гнусный лакей на службе ГПУ, занимался вербовкой наших сотрудников у самого подъезда нашей редакции».

Это в чистом виде пропаганда наоборот, разумеется, так вульгарно Толстой не работал, но, в любом случае, поездки рабоче-крестьянского графа за границу начиная с 1935 года стали более частыми и его имя вновь замелькало в письмах и мемуарах писателей русского

зарубежья в самых скандальных контекстах. Однако при этом относились к Толстому в эмиграции по-разному.

«Когда А. Толстой приезжает в Париж, Анненков с ним пьет коньяк, беседует, хотя знаком вполне с моральным обликом Алешки Толстого; он почему-то везет «графа» на своей машине к Вл. Крымову, — возмущался в своей книге «Елисейские Поля» Вас. Яновский. — То же с Эренбургом, с мерзавцем, который в продолжение десятилетия обманывал и соблазнял французских интеллектуалов, рассказывая им про сталинский рай, хотя сам валялся в истерике, когда его вызывали на очередную побывку в Москву»[{776}].

Яновский и Крымова, и Анненкова безусловно осуждал, а между тем именно эти два человека, писатель и художник, с которыми встречался Алексей Толстой в Париже, оставили о нем крайне любопытные мемуары, которые по-новому освещают фигуру красного графа и его роль в советской литературе, а также его взгляды на советскую жизнь.

«…Алексей Толстой не интересовался политической судьбой своей родины, он не стремился стать официальным пропагандистом марксизма-ленинизма… Весельчак, он просто хотел вернуться к беззаботной жизни, обильной и спокойной. Жизнь за границей, жизнь эмигранта не отвечала таким желаниям, несмотря даже на успех его пьесы в Париже и на другие возможные успехи в дальнейшем… Я вновь встретился с Толстым в 1937 году, в Париже, куда он приехал на несколько дней в качестве знатного советского туриста, «советского графа». Мы провели несколько часов с глазу на глаз.

Пойми меня, — говорил он, — я иногда чувствую, что испытал на нашей дорогой родине какую-то психологическую или, скорее, патологическую деформацию. Но знаешь ли ты, что люди, родившиеся там в 1917 году, год знаменитого Октября, и которым теперь исполнилось двадцать лет, для них это отнюдь не «деформация», а самая естественная «формация»: советская формация…

Я циник, — продолжал он, — мне на все наплевать! Я — простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы? Черт с ним, я и их напишу! Но только это не так легко, как можно подумать. Нужно склеивать столько различных нюансов! Я написал моего «Азефа», и он провалился в дыру. Я написал «Петра Первого», и он тоже попал в ту же западню. Пока я писал его, видишь ли, «отец народов» пересмотрел историю России. Петр Великий стал без моего ведома «пролетарским царем» и прототипом нашего Иосифа!

Я переписал заново, в согласии с открытиями партии, а теперь я готовлю третью и, надеюсь, последнюю вариацию этой вещи, так как вторая вариация тоже не удовлетворила нашего Иосифа. Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных и прочих Распутиных реабилитированными, ставшими марксистами и прославленными. Мне наплевать! Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбрюки — все они акробаты. Но они — не графы. А я — граф, черт подери! И наша знать (чтоб ей лопнуть!) сумела дать слишком мало акробатов! Понял?

Моя доля очень трудна…

Что это? Исповедь или болтовня? — спросил я.

Понимай как хочешь, — ответил Толстой»[{777}].

И в самом деле: понимай как хочешь. Но, скорее всего, Толстой был искренен, хотя и

неосторожен и болтлив, и наверняка этот разговор происходил по пьяному делу, да и Анненков, воспроизводя его много лет спустя, мог неточно его пересказать. Одно не подлежит сомнению: графство, титул свой — вот что более всего с годами ценил Алексей Толстой, с чем никогда не шутил, презирая всех этих мишек, сашек и илюшек с той неподдельной барской спесью[78], что и заставила Анненкова назвать его не красным, не советским, не пролетарским, а *неподдельным* графом. Что-то вроде принцессы на горошине. Не было на тот момент ни одного аристократа в русской литературе. Ни по эту сторону границы, ни по ту. Толстой, таким образом, находился за своей границей, в рубежах собственного графства. Это и был его принцип, а остальные — побоку.

Только кому такой странный суверенитет и это своеобразное высокомерие могли понравиться? Высланный в 1922 году из Советской России писатель Михаил Осоргин писал А. С. Буткевичу: «Я считаю большим мастером, конечно, Ал. Толстого, хотя он некультурный человек. Знаю его, мы были друзьями и на «ты» <…> Разве может Алексей Толстой представлять новую Россию? Он беспринципнейший человек»[{778}].

Людей, так считавших, было большинство. Толстого полагалось презирать. Исключение, кроме Крымова и Анненкова, составлял разве что всегда мысливший независимо Федор Степун: «В последний раз я видел автора «Петра» (несмотря на правильные возражения академика Платонова, все же замечательная вещь, которую Толстой никогда не написал бы в Берлине) в Париже в 1937 году на представлении «Анны Карениной». Самоуверенной осанистости в нем было много меньше, чем раньше; волосы заметно поредели; но главное изменение было в глазах, в которых мелькал неожиданный для меня в Толстом страх перед жизнью. На нем был костюм табачного цвета, живо напоминавший гороховое пальто царских охранников. Несмотря на эту ассоциацию мы встретились по-приятельски.

То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идейных и твердых парижских эсеров. «Если оправдывать Толстого, — говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных записок», — выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?»

Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уж наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку»[{779}].

Толстой, как и четырнадцать лет назад, вольно или невольно вносил в эмиграцию смуту и раздор. Осенью 1936 года Марк Алданов сообщал Амфитеатрову (тому самому Амфитеатрову, которому много лет назад нахваливал юного Толстого Горький): «Кстати, об Алешке. Месяца два тому назад Бунин и я зашли вечером в кафе «Вебер» — и наткнулись на самого А. Н. Толстого (с его новой женой). Он нас увидел издали и послал записку. Бунин, суди его Бог, возобновил знакомство, а я нет — и думаю, что поступил правильно. Мы с Алексеем Толстым были когда-то на «ты» и три года прожили в Париже, встречаясь каждый день. Не спорю, что меня встреча с ним (т. е. на расстоянии 10 метров) после пятнадцати лет взволновала. Но говорить с ним мне было бы очень тяжело, и я воздержался: остался у своего столика. Он Бунина спрашивает: «Что же, Марк меня считает подлецом?» Бунин отвечал: «Что ты, что ты!» Так я с новой женой Алешки и не познакомился. Об этом инциденте было здесь немало разговоров. Но, разумеется, это никак не для печати. Кажется, Бунин сожалеет, что не поступил, как я»[{780}].

Упоминание молодой жены Толстого неслучайно. Людмила Ильинична сопровождала мужа везде. Вероятно, это было чем-то вроде одной из статей негласного брачного контракта (Крандиевскую Толстой не взял за рубеж ни разу), но примечательно, что, когда в июне 1937 года была арестована Наталья Ильинична Сац, один из вопросов, который задавал ей следователь, касался подозрительно часто путешествующей по миру Людмилы Ильиничны Толстой, и имя ее упоминалось в одном ряду с Михаилом Кольцовым. Последствий этот интерес ни для Толстого, ни для его молодой жены не имел, но косвенно все это свидетельствует о непрочности толстовского семейного счастья.

Еще одним проявлением зыбкости положения Толстого было письмо члена Политбюро ЦК А. А. Андреева Сталину по поводу внесенного в ЦК списка писателей, представленных к государственным наградам.

«В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы на следующих писателей…» — писал Андреев, а дальше следовал список, в котором значился и Алексей Толстой. Сопровождалось это все припиской: «Необходимо отметить, что ничего нового, неизвестного до этого ЦК ВКП(б) эти материалы не дают»[79]{781}.

Орден Толстому вручили, и не однажды, но компромат на него имелся и в последний раз всплыл уже в самом конце его жизни, о чем речь еще впереди. А что касается Марка Алданова, то он недобро смотрел на Толстого, блестящий вид которого мозолил глаза обнищавшим русским писателям, но об оборотной стороне его богатства не задумывался. «Эмиграция нигде не в моде (также и эмигранты немецкие, австрийские и другие, Генрих Манн, по слухам, бедствует). Советские же писатели процветают. Алешка Толстой имеет в СССР миллионный доход и, как говорят, считается «фаворитом» на Нобелевскую премию этого года!»{782} — писал он Амфитеатрову.

«Эмигрантство есть драма и школа смирения, — как будто отвечая ему, писал Борис Зайцев. — Это разговор длинный, отдельный. Драму свою эмигрант-литератор знает. Но вот речь зашла о российских собратьях, о воспоминаниях, о чужих судьбах. Могут спросить — как же относится здешний писатель к ремеслу своему в России: жалеет ли, что с Толстым не поехал, завидует ли дачам, автомобилям и тысячам?

Ответ простой (за себя): не жалеет. Каждый живет, как ему следует. «Сии на конях, сии на колесницах, а мы именем Господа Бога нашего». Одни банкиры и миллионеры, а другие пешочком или в метро. И без вилл. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать — пишут. Что любят, того не боятся любить. Какой образ художника получили в рождении, какой дар у кого есть, тот и стараются пронести до могилы. В меру сил приумножить. А богатство, успех… Нет, зависти нет.

Есть другое. За многое мы жалеем собратьев наших. Жалостью не высокомерною, а человеческой. Мы желаем им хартию вольности, желаем тем из них, кто художники, а не дельцы, чтобы их художество могло процветать свободно. Чтобы страшный склад жизни не уродовал человека. Чтобы голоса стали людскими, а не граммофонными. Чтобы они ничего не боялись»{783}.

С Толстым в Париже Зайцев не встречался. «Фондаминский только и говорит, что о России, о большевиках, виделся с Алешкой. Передал Боре, что Толстой хочет с ним повидаться. Зайцев отказался»{784}, — записала В.Н. Муромцева-Бунина 19 июня 1935 года. А вот с Буниным виделся.

О встрече Толстого с первым русским нобелевским лауреатом, с кем не виделся он до этого

четырнадцать лет и кто единственный в эмиграции мог поспорить с ним своими успехами и признанием, писал не только Алданов, но и сам Бунин. И никакого сожаления не высказывал. Скорее наоборот. В феврале 1950 года он объяснял в письме к Андрею Седых суть своих отношений с Толстым:

*«Когда* я был «дружен» с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше — уже хотя бы потому, что был в сто раз откровеннее их. *Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже.*

А Марк Александрович гораздо дальше, — Марк Александрович человек на редкость щепетильный. И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантливости и шарма!»[{785}]

Дальше рассказывал уже сам Седых: «В моих записных книжках за 1936 год есть рассказ о случайной встрече И. А. Бунина и М. А. Алданова в Париже с А. Н. Толстым. Встретились в кафе на Монпарнасе. Произошла заминка. Наконец Бунин подошел к Толстому. Облобызались… Алданов, также очень друживший с автором «Петра Первого», отказался подойти и подать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.

Бунин просидел с Толстым весь вечер. «Алешка» расточал комплименты и звал вернуться в Москву.

— По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели… Да тебя примут с триумфом…

Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

— Мерси, мерси!

Прошли две или три недели. В «Литературной газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он примерно так: «Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Боже, что стало с этим когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура» и т. д.

Дальше следовали еще 20 строк в таком же духе[80]. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным… Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как говорят французы, la vengeance est un plat que l'on mange froid (Месть — это блюдо, которое надо есть холодным)»[{786}].

Про холодное блюдо все правильно, но только «Третий Толстой» — никакая не месть. И то, что Бунин Толстому не отомстил, хотя мог бы (дневниковые записи Бунина о Толстом, повторю, намного жестче мемуаров), — свидетельство не только широты его вкусов, но и благородства и просто любви, какой Бунин любил очень немногих — Льва Толстого, Чехова, отчасти Куприна.

«Особой нежностью пропитаны его высказывания об «Алешке» Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому, — писал А. Бахрах, автор книги «Бунин в халате». — Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал его проделки и измышления. «Что с Алешки взять», — неоднократно говорил Бунин»[{787}].

Описание их парижской встречи не исключение. В нем тоже сквозят нежность и снисхождение, хотя и мотив вербовки со стороны Толстого здесь присутствует, но вербовки искренней, простодушной:

«В последній раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 г., в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, — зачем-то пріехал в Париж, где не был со времени отьезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомый мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжая разговор еще на ходу:

— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в Россіи…

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, на- пример, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных англійских трубок, каких у самого англійскаго короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей нобелевской преміи?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней»[{788}].

Встреча была действительно последней, а вот письма между ними еще были, но о них Бунин не написал ни слова. Это право любого мемуариста: писать о том, о чем считает нужным. Но само молчание красноречивее любых слов, а полное отчаяния письмо, посланное Буниным Толстому в мае 1941 года, обязывало его быть благородным по отношению к человеку, которого так презирала и ненавидела большая часть эмиграции и немалая часть писателей в России.

«Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, — стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной.

У вас издавали немало моих книг, — помоги, пожалуйста, — не лично, конечно: может быть, ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей — отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно.

Желаю тебе всего доброго.

2 мая 1941 г. Ив. Бунин.

Я написал целую книгу рассказов, но где ж ее теперь издать?»[{789}]

Толстой отреагировал мгновенно.

«Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи.

Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: «Хочу домой».

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, но он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил Нобелевскую премию. В 1937 году я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом.

С глубоким уважением и с любовью,

Алексей Толстой»[{790}].

Трудно сказать, чего было больше в этом письме — тревоги за Бунина и желания ему помочь или удовлетворения от того, что мог выслужиться перед вождем в поимке крупного зверя. Но так или иначе Толстой в письме Сталину дал Бунину характеристику, рекомендацию, точно тот в партию собирался вступать. А Бунин между тем о возвращении домой не просил[81], он лишь хотел получить причитавшиеся ему гонорары да, может быть, новую книгу издать (книгой этой были «Темные аллеи»), но Толстой, опираясь на открытку Телешову, торопил события[82].

Но то, что не удалось с Буниным, удалось с Куприным, и к его возвращению Толстой приложил руку.

Ортодоксальный марксистский критик Александр Дымшиц, племянник Софьи Исааковны Дымшиц, хорошо знавший Толстого, встречавшийся с Куприным после его возвращения в СССР и решительно оспаривавший популярную (и скорее всего гораздо более достоверную) версию о том, что Куприн был невменяем и не соображал, куда его везут, писал в своих мемуарах «Звенья памяти», опубликованных в 1966 году в журнале «Знамя»: «Разум у Куприна был совершенно ясный, ум живой. Он острил, улыбался, вспоминая былое… В разговоре со мной Куприн говорил о радости встречи с родиной, о трудных судьбах той части эмиграции, которая, отойдя от «белой идеи», еще не решалась вернуться в Россию. Куприн заметил, что сам он долго колебался, но внял советам Алексея Толстого и твердо решил ехать домой. О Толстом он сказал с нежностью: «Спасибо Алеше — похлопотал за меня»[{791}]~787~.

Ю.А. Крестинский, литературный секретарь и биограф Толстого, наиболее информированный о его жизни человек, писал: «Очевидно, в этот приезд в Париж (осенью 1936 года. — *А. В.*) Толстой встретился с А. И. Куприным, и тот просил помочь ему вернуться на родину. В декабре 1936 г. Толстой ходатайствовал перед Ленсоветом о предоставлении квартиры возвращавшемуся из эмиграции Куприну. 20 апреля 1937 г. Толстой писал полпреду СССР во Францию В. П. Потемкину о своих хлопотах по возвращению Куприна на родину»[{792}].

Так, во второй половине тридцатых годов Алексей Толстой стал не просто одним из самых крупных русских писателей, а после смерти Горького писателем номер один, но и особо доверенным лицом, эмиссаром, которому поручались самые щекотливые задания. Он выступал на международных конгрессах, был во Франции, в Англии и даже в Испании во время гражданской войны. И, пожалуй, не было такого писателя, который мог с ним в этой роли сравняться. Шолохов ездить не любил, Пастернак побывал единственный раз на конгрессе в Париже в 1935 году и больше не выезжал, Булгакова не пускали, Симонов был еще очень молод. Разве что Эренбург, с которым Толстой когда-то так жестоко рассорился, а теперь примирился и мирно путешествовал по дорогам старой Европы. Но как писатель Эренбург был все же мельче Толстого. В своих воспоминаниях он не раз давал понять, что его положение было отчаянным и в любой момент его могли схватить, как хватали многих из тех, кто был рядом с ним. Толстой по сравнению с ним казался неуязвимым — царедворец, особа, приближенная к императору.

И позволялось ему то, чего не позволялось другим. О пребывании Толстого на антифашистском конгрессе, открывшемся в 1937 году в Испании и позднее переехавшем во Францию, да и вообще о повседневной жизни советских писателей за рубежом в тридцатые годы писал в письмах к своим возлюбленным женщинам Фадеев, у которого во время заграничных поездок завязалась с Толстым недолгая дружба.

«Последние остатки нашей делегации выезжают завтра в Москву (Барто, Вишневский, Микитенко). А я выеду с Толстым между 7 и 10-м августа. Причина раннего отъезда большинства делегации в том, что люди с самого начала поездки и до конца набивали свои чемоданы вещами и остались без денег <…> ужасно противно смотреть со стороны, как люди, задыхаясь от жадности на деньги, выделенные им государством, покупают по 6–7 чемоданов барахла, и на этот процесс уходит у них буквально все время»[83][{793}].

Из всей советской делегации лишь три человека: Фадеев и Толстой с женой — презрели материальное и предпочли остаться за границей еще ненадолго, чтобы походить по музеям и отдохнуть. Они действительно замечательно отдохнули, Фадеев писал, что Людмила Ильинична, которая хорошо знала французский, для него переводила, однако, когда возвращались в Москву, оказалось, что чемоданов с барахлом у четы Толстых столько же, сколько и у тех, кто задыхался от жадности.

«Едем с приключениями. Около Берлина испортился вагон, в котором мы ехали. Пришлось без всяких носильщиков в течение 10 минут перетаскивать огромный толстовский багаж в другой вагон. Поезд опоздал в Берлин на полтора часа, стояли — полторы минуты <…> представляешь себе, сколько было паники! Вместе с моим чемоданом у нас 13 мест! Все это нужно было выгрузить в течение 1,5 минут и в течение 8,5 минут погрузить в другой поезд, стоящий у другого перрона. Граф буквально обливался потом, а графинюшка стала издавать даже какие-то глухие стоны»[{794}].

Толстые, таким образом, убили двух зайцев: и отдохнули, и прибарахлились. Средства им выделила партия. Никому больше не дала — только им. За полтора месяца до описываемых событий Ставский сообщал Жданову, что Толстой с женой хотят после антифашистского

конгресса отдохнуть на заграничном курорте и просят 500 долларов. Одновременно с этим и сам Толстой писал Жданову, что ему предстоит напряженная работа — завершение работы над романом «Оборона Царицына», и заключал свое послание так:

«Я прошу ЦК дать мне возможность этого отдыха <…> три недели подлечиться и отдохнуть в Виши»[795].

24 июня 1937 года Политбюро постановило: «Разрешить А. Н. Толстому с женой 3-х недельный отдых на заграничном курорте с выдачей на лечение 500 долларов»[796].

Казалось бы, какие еще нужны доказательства исключительности положения Алексея Толстого даже в среде хорошо подкормленных советских писателей?

А между тем был в эти годы в судьбе красного графа момент, когда жизнь его висела на волоске и не то что лишних долларов и заграницы, а могло статься, что свободы ему было не видать.

В дневнике Натана Эйдельмана есть запись: «А. Толстого хотели брать. Он сказал — «месяц у меня есть?» Месяц был: написал «Хлеб»[797].

Разумеется, это миф, слух, литературная байка из серии «писатели шутят». «Хлеб» не был написан так быстро, Толстой работал над этой книгой два года, но именно эта повесть не только окончательно легализовала красного графа и сподвигла Молотова публично произнести на всю страну фразу, с которой началось наше повествование о Толстом («Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской — товарищ А. Н. Толстой»). Эта книга его спасла.

За словами Молотова стоял Сталин, с которым Толстой был знаком с начала тридцатых и которого, по словам Дмитрия Толстого, боялся до дрожи. И было отчего. Сначала белая эмиграция, потом сменовеховство, которого Сталин не любил и последовательно отстрелял в 1937-м всех приехавших возрождать империю и вбивать гвозди в разрушенный революцией корабль, потом дружба с Ягодой и Крючковым, поездка на канал — все это были слишком серьезные минусы в толстовской анкете. Сажали и не за такое. Да плюс еще страсть к роскоши, которую аскетичный Сталин в своих подданных высмеивал, и, согласно одной из легенд, однажды после того, как Толстой велел установить у себя вывезенный из Польши фонтан, вызвал его в Кремль, заставил долго себя ждать и о чем только не передумать, а потом, выйдя из-за ширмы, изрек одну только фразу: «Стыдно, граф» — и скрылся[84][798].

Но главное даже не это. Не фонтаны, не смена вех, не эмиграция и статьи против революции, не паркет и даже не Беломорканал. Главное — страшная ошибка, допущенная в романе «Восемнадцатый год», ошибка, которую Толстой осознал только несколько лет спустя.

Вспомним еще раз: «Докладчик кончил. Сидящие — кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, поблескивающему стеклами пенсне.

Третий слева прочел, усмехнулся, написал на той же записке ответ…

Председательствующий не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки».

Конечно, все было давно исправлено. И во всех отдельных изданиях романа после 1927 года третий слева уже не поблескивал дурацким пенсне, а был «худощавый, с черными усами, со стоячими волосами». И теперь вся читающая Россия знала, что третий слева прочел и не просто усмехнулся, но «усмехнулся в усы». И знала, чьи это усы.

Но разве это было достаточным и неужели всерьез можно было думать, что у большевиков короткая память? И могли ли понравиться Сталину такие политические кульбиты и механические замены? Иосиф честность и прямоту любил — как у Булгакова в «Днях Турбиных», а тут получалось чистой воды двурушничество, и вот уж где точно было — стыдно, граф!

Неслучайно, по воспоминаниям современников, Толстого пробирал холодный пот, когда в середине тридцатых он перечитывал вторую часть своей трилогии, из-за которой было сломано столько копий в спорах с главным редактором «Нового мира» Вячеславом Полонским. Сколько всякой крамолы Полонский углядел в романе, а мимо этого, самого главного, прошел. Но Полонский лежал в могиле, а Толстому надо было жить дальше.

«Однажды я застал его в кабинете за чтением, — вспоминал Лев Коган. — Мне показалось, что он как-то сразу постарел лет на десять. Лицо было одутловатое, пожелтевшее, глаза потускневшие, губы надуты, как у обиженного ребенка.

— Вот! — горько пожаловался он. — Сижу, читаю и думаю, какой осел мог написать эту книгу.

Книга оказалась «1918 годом».

Было бы наивностью считать, что Толстой так сильно переживал из-за того, что какие-то страницы показались ему неудачными с точки зрения стиля. Из-за этого враз не стареют, и уж тем более не стал бы убиваться из-за таких пустяков Толстой. Граф постарел, потому что ему стало страшно.

«Я редко видел его столь раздраженным. Это было, помнится, летом 1934 года.

— Надо посоветоваться с Горьким. Если Горький не поможет, конец мне, — решил он и помчался в Москву».

И это тоже понятно: кто еще мог его поддержать и кто мог перед Сталиным за него заступиться? Только один человек.

«Вернулся Толстой через некоторое время освеженным, помолодевшим и очень оживленным. Общение с Горьким всегда ободряло и возбуждало его. Он с увлечением рассказывал о встречах и беседах с Горьким. Услышав о «забастовке» героев, Горький усмехнулся и сказал:

— Знакомо… Бывает… Потерпи…»

Горький усмехнулся и устроил Толстому встречу с Ворошиловым, и тот прочистил писателю мозги с большевистской прямотой. Характерно употребление мемуаристом наречия «оживленно» в его прямом значении — Толстой после этой встречи ожил.

«— И знаете, кто разрешил загадку? Кто помог? — оживленно говорил Алексей Николаевич, лукаво поблескивая глазами через очки. — Климент Ефремович Ворошилов.

Случилось так, что в день приезда Толстого в Москву К. Е. Ворошилов навестил Горького и, встретив Алексея Николаевича, начал расспрашивать, над чем он работает.

К. Е. Ворошилов считал, что необходимо кончать «Хождение по мукам» как роман весьма актуальный для переживаемого времени. Тогда Толстой поведал ему о своих затруднениях. В ответ на это К. Е. Ворошилов сказал, что иначе и быть не могло, если Алексей Николаевич хотел сразу перейти к 1919 году. Дело в том, что Толстой совершенно обошел Царицынскую оборону, а борьба за Царицын ключ ко всем дальнейшим событиям. В Царицыне решалась судьба революции и Советского государства.

По словам Алексея Николаевича, К. Е. Ворошилов долго и увлекательно рассказывал о царицынских событиях, а Горький с Толстым слушали его как завороженные.

— Плохо же знал я историю революции, — признавался Толстой, — если мог допустить такой чудовищный просчет, недооценил царицынских событий. Все стало ясно. И тут нельзя было обойтись починочкой, добавлением нескольких глав к написанному. Необходимо было дать широкую картину, не менее значительную, чем все, что было до сих пор написано о 1918 годе.

У Толстого сразу возникла мысль о повести «Хлеб» как о посредующем звене между романами «1918 год» и «1919 год»[{799}].

Это был выход. Толстой создал новый роман или повесть, которая — вот странный случай и находка для литературоведов — с одной стороны, в трилогию формально не входит, но сюжетно с ней связана. Трудно сказать, почему так вышло, и ни Даша, ни Катя, ни Рощин, ни Телегин в «Хлебе» не появились и Сталина не увидели (кто-то из литературоведов предположил, что Толстой не хотел портить конъюнктурой дорогие ему образы), зато вождю в новом романе было посвящено столько места, сколько было нужно автору, чтобы не разделить участь троцкистов, сменовеховцев, вредителей, шпионов и иных контрреволюционеров.

«В «Хлебе» говорится о философии нашей революции, о больших ее людях, об организации беспримерно победоносной борьбы, о ее великом оптимизме, о том, как в огне жесточайших боев создавался характер советского человека.

Чтобы показать смысл революции, я решил взять самых больших людей, самых великих наших современников. Ленин, Сталин, Ворошилов стоят в центре моего романа»[{800}].

С художественной точки зрения роман вышел нечитабельный, непропеченный, схематичный. Это убожество «Хлеба» даже Троцкий, который был объявлен в этой вещи злодеем номер один, разглядел: «Алексей Толстой, в котором царедворец окончательно пересилил художника, написал специальный роман для прославления военных подвигов Сталина и Ворошилова в Царицыне. На самом деле, как свидетельствуют нелицеприятные документы, Царицынская армия — одна из двух дюжин армий революции — играла достаточно плачевную роль. Оба «героя» были отозваны со своих постов. Если самородок Чапаев, один из действительных героев гражданской войны, оказался увековечен в советском фильме, то только благодаря тому, что не дожил до «эпохи Сталина», когда он, наверняка, был бы расстрелян, как фашистский агент. Тот же Алексей Толстой пишет пьесу на тему 1919 года: «Поход четырнадцати держав». Главные герои пьесы, по словам автора, Ленин, Сталин и Ворошилов. «Их образы (Сталина и Ворошилова), обвеянные славой и героизмом, будут проходить через всю пьесу». Так талантливый писатель, который носит имя величайшего и правдивейшего русского реалиста, стал фабрикантом «мифов» по заказу!»[{801}] Существует также воспоминание Ивана Семеновича Козловского, которое приводит хорошо Козловского знавший замечательный литературовед, специалист по творчеству Бунина А. К. Бабореко. «И. С. Козловский рассказал: «были приглашены на дачу Сталина писатели, артисты. С Толстым разговаривал Ворошилов, о чем — Иван Семенович не слышал, стоял в отдалении. Неожиданно Ворошилов выплеснул в лицо Толстому бокал красного вина, оно потекло по рубашке и

костюму. Поднялся шум, их «обступили, разъединили. Сталин сказал: «Прекратите», — и все «смолкли»».

Это было после того, как вышел «подхалимский «Хлеб»» (1937), в котором Толстой превознес Ворошилова»[{802}].

Было это или нет, главное — Сталину понравилось. Сталин не сказал, как в случае с булгаковской пьесой «Батум» «Нэ так все было»[85]. А неподдельному графу пощечины и плевки получать было не впервой. Он лишь отряхнулся и вальяжно отписывал Ромену Роллану, с чьей женой Майей Кудашевой когда-то в одной компании веселился в Коктебеле:

«В романе мало отрицательных персонажей. Мне больше не хочется писать ни о ничтожестве маленьких душ, ни о человеческой мерзости, мне не хочется изображать из моего искусства зеркало, подносимое к физиономии подлеца.

Зачем обращать свой взгляд на огромные груды мусора, устилающего путь, по которому шествует человеческий гений? Зачем разглядывать в увеличительное стекло его подметки?

У искусства — другие, более высокие и необозримые, восхитительные и величественные задачи: — формирование новой человеческой души.

Я старался сделать свой роман занимательным, — таким, чтобы его начать читать в полночь и кончить под утро и опять вновь перечитать. Занимательность, по-моему, — это композиция, пластичность и правдивость»[{803}].

Тут что ни слово, то ложь, «Хлеб» невозможно начать читать в полночь, кончить читать под утро и снова перечитывать. Но значит ли это, что Толстой, пиша «Хлеб», хохотал? Едва ли. У каждого запасливого писателя своя «охранная грамота». Толстовской стала повесть «Хлеб». Она же «Оборона Царицына». А «охранные грамоты» можно и в самом деле читать без конца, точно вытаскивать из кармана ножик и проверять, хорошо ли он наточен.

Он защищал свою повесть и в автобиографии сорок третьего года: «Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением, — без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира».

После «Хлеба» Толстой делал все, что велела партия. Когда надо — ругал последними словами Зиновьева и Каменева («Я не думаю, чтобы в истории революции был момент более жуткий, когда перед глазами всего мира распахнулись столь зловонные бездны человеческой души»[{804}]), сравнивал их с «петляющими зайцами» и «извивающимися сколопендрами», требовал «беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц» и предупреждал, что «так будет с каждым, кто не пересмотрит свою жизнь»[{805}]. Когда надо — славил Сталина: «У всех у нас, у сотен миллионов людей, в день 60-летия Сталина одно пожелание: долгой жизни вам, Иосиф Виссарионович».

Он писал о том, что «любовь к родине *несет свою ревнивую бдительность*»[{806}] и, сам проявляя ее щедро, от души, с литературными отступлениями, служил вождю: «Когда Достоевский создавал Николая Ставрогина, тип опустошенного человека, без родины, без

веры, тип, который через 50 лет предстал перед Верховным судом СССР как предатель, вредитель и шпион, — я уверяю вас, — Достоевский пользовался для этого не столько записными книжками, сколько внутренней уверенностью…»[807]

Знаменитый призыв «За Родину, за Сталина!», с каким шли на смерть солдаты Великой Отечественной, придумал Алексей Толстой. В 1939 году в газете «Правда» появилась статья с таким названием.

«У него, — писал в ней Толстой, — нет особых требований или особых привычек. Он всегда одет в полувоенный, просторный, удобный костюм. Курит тот же табак, что и мы с вами. Но для тех, для кого он мыслит и работает, он хочет побольше всего и получше, чтобы вкусы и требования росли у нас вместе с культурой и материальным благосостоянием. Он всегда весел, остроумен, ровен и вежлив. <…> Сталин — это сила, которая сражается за новую жизнь и творит ее, это сила, неизмеримо превосходящая все капиталистические банки, вместе взятые, всю полицейско-провокаторскую систему буржуазного порабощения, все вооружение, накапливаемое капитализмом».

В 1938 году Толстой был награжден орденом Ленина. Еще раньше его избрали в Верховный Совет, потом Толстой стал академиком. И снова посыпались к нему письма с криками о помощи, вроде того, что воспроизводит Солженицын в «Абрикосовом варенье»:

«Добрейший Алексей Николаевич!

Мы, коллектив верующих Полновской церкви Демянского района просим Вас: потрудитесь походатайствовать, нельзя ли нам вернуть нашего священника Владимира Михайловича Барсова <…>. Священник Барсов для нас был очень хороший, за требы он брал кто сколько даст, а с бедных и ничего не брал»[808].

«Москва

Редакция «Правды»,

Алексею Толстому (писателю)

Многоуважаемый товарищ!

Мы все возмущены поступком по отношению евреев, проживающих в Германии. Но они могут кричать, вопить и весь цивилизованный мир, в том числе и Вы уважаемый писатель можете протестовать и возмущаться. Но я не думаю, чтобы Вы не знали, что делается у нас и в наших лагерях. Они кричать не могут, ибо большинство там женщины, уже обезумевшие от страха, невинные, оторвали от них крошечных детей, приказали подписаться на приговоре, а то еще избивали. В страшных условиях живут они эти несчастные женщины, не имеют права написать: за что? за что? за что?!»[809].

«Товарищ Толстой!

Вы хороший писатель, это правда, Вами все гордятся. Но вы бы имели еще больше любви от народа Дона и Украины, если бы описали Голодные годы 1932– 1933. Описать это можно. Мне не верится, чтоб Вы не решились описать ту страшную сталинскую голодную пятилетку, от которой умерли с голоду *миллионы* людей. Когда есть факты, что матери ели своих детей (село Рудка Диканьского района Полтавской обл.). Есть живые свидетели этих голодных трагедий и они могут рассказать Вам <…>

Народ любит таких писателей, которые пишут одну правду. Но которые пишут неправду, подхалимничают под существующий строй и славят одно имя это *Сталин,* от которого плачут народы и который создал искусственную голодовку, от которой умерли *миллионы* 1932–1933 г., таких писателей зовут *«попками».*

Народу нужна Историческая правда.

Козуб»[{810}].

«Люди, называвшие себя отцами отечества, люди, ставшие во главу народа — вдруг обрушивают на наши головы самый гнусный, дикий и бессмысленный террор! По всему многострадальному лицу России несется вой и стон жертв садистов, именующих себя «бдительным оком революции». Два года диких, открытых издевательств. Об этом циничном разгуле нечего и писать Вам. Вы знаете и… молчите?»[{811}]

Были и совсем жесткие:

«Алексей Толстой! Сегодня я сняла со стены ваш портрет и разорвала его в клочья. Самое горькое на земле — разочарование. Самое тяжелое — потеря друга. И то и другое я испытала сегодня. Еще вчера я, если можно так выразиться, преклонялась перед вами. Я ставила вас выше М. Горького, считала Вас самым большим и честным художником… Вы казались мне тем инструментом, который никогда, ни в каких условиях не может издавать фальшивую ноту. И вдруг я услышала вместо прекрасной мелодии захлебывающийся от восторга визг разжиревшей свиньи, услышавшей плеск помоев в своем корыте… Я говорю о вашем романе «Хлеб», содержание которого я прочла в «Лит. газете». Мне стало стыдно, горько и очень, очень больно. Ведь вы очень наблюдательный, умный, чуткий человек с огромным сердцем, вы, написавший «Гадюку», «Любовь», «Хождение по мукам», «Морозную ночь», вы, так умевший передать всю «милую тяжесть любви», проникший в тайное тайных человеческой души и с опытностью мастера разбирающийся в сложной механике Жизни… И вдруг вы вступили в свору завывающих с пеной у рта подхалимов, двурушников, разбивающих лоб от усердия кликуш… Неужели вы не видите объективной действительности? Где ваша орлиная зоркость? Андре Жид за два месяца пребывания в СССР сумел разглядеть то, чего не увидели вы, живущий здесь постоянно. Как не стыдно вам присоединяться к хору, вопящему, что «у нас светлая, радостная, счастливая жизнь, данная нам любимым Сталиным». Неужели вы не чувствуете всей духоты атмосферы, в которой задыхается 170 000 000 советских людей? Неужели вы не видите буквальной нищеты во всем Союзе? Или вы оторвались от подлинной жизни? По всей стране волной разлилась реакция. Лучшие люди, преданные ленинской идее, честные и неподкупные, сидят за решетками, их арестовывают тысячами, расстреливают, они не в силах перенести грандиозную Подлость, торжествующую по всей стране, сами уходят из жизни, кончают самоубийством…

История… Как ее извращают! В угоду необъятному честолюбию Сталина подтасовываются исторические факты. И вы тоже приложили свою тонкую руку, тоже стали заправским подпевалой. Ведь в «Хлебе» вы протаскиваете утверждение, что революция победила лишь благодаря Сталину. У вас даже Ленин учится у Сталина… Ведь это прием шулера. Это подлость высшей марки!

Произвол и насилие оставляют кровавые следы на советской земле. Диктатура пролетариата превратилась в диктаторство Сталина. Страх — вот доминирующее чувство, которым охвачены граждане СССР. А вы этого не видите? Ваши глаза затянуты жирком личного благополучия, или вы живете в башне из слоновой кости?.. Смотрите, какая комедия — эти выборы в Верховный Совет… Ведь в них никто не верит. Будут избраны люди, угодные ЦК ВКП(б).

Назначенство, а не выборы, ведь это же факт… Партия ушла от массы, она превратилась в диктаторскую партию. Сейчас честные люди не идут в партию. Идут в нее лишь карьеристы и люди беспринципные, аморальные…

Вы показываете Троцкого предателем. Вы негодяй после этого! Пигмей рядом с этим честнейшим гигантом мысли! Ведь это звучит анекдотом, что он и тысячи благороднейших людей, настоящих большевиков, сейчас арестованных, стремились к восстановлению у нас капиталистического строя… Этому не верит никто! Как вы не замечаете, что сверкающая идея Ленина заменена судорожными усилиями Сталина удержать власть. Где тот великолепный пафос, что в Октябре двинул миллионы на смертельную битву? Под зловонным дыханием Сталина и вот таких подпевал, как вы, вековая идея социализма завяла, как полевой цветок в потных руках мерзавца! И вы, инженер души человеческой, трусливо вывернулись наизнанку и мы увидели неприглядные внутренности продажного борзописца.

Вы, увидя вакантное место, освободившееся после смерти М. Горького, чтобы его занять, распластались в пыли, на брюхе поползли, расшибая лоб перед Сталиным, запев ему хвалебные гимны. Где же ваша беспристрастность? Где честность художника? Идите в народ, как Гарун аль Рашид и послушайте чутким ухом. И вы услышите проклятия и неприязнь по адресу Сталина. Вот где настоящая правда!

Или, может, вас прикормили? Обласкали, пригрели, дескать, Алеша, напиши про Сталина. И Алеша написал. О, какой жгучий стыд!

Оглянитесь кругом и вы увидите, что небо над страной готовит бурю. Народ не потерпит глумления над собой, над идеей социализма, он ударит по зарвавшейся, обнаглевшей кучке деспотов. Уже сейчас, как рокот дальнего грома, доносятся отовсюду отголоски брожения в массах. Сталин это слышит. Он знает, что не долго ему еще царствовать. И с ним началась истерика. Он не чувствует под собой почву. Массовый террор — ведь это доказательство слабости.

Наступит время и ветер истории сбросит вас с пьедестала, как литературную проститутку. Знайте, что уже сейчас, когда люди прочтут ваш «Хлеб», они увидят, что ошиблись в вас и испытают разочарование и горечь, какие испытываю сейчас я.

Я вас как художника искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Ненавижу, как друга, который оказался предателем…

И я плюю вам, Алексей Николаевич Толстой, в лицо сгусток своей ненависти и презрения. Плюю!!!

Неизвестная. Ноябрь 1937 г.»[{812}].

На эти письма он не отвечал, но и не сжигал их. Возможно, прав Солженицын, какими-то из них пользовался. Но они пролежали в его архиве до наших дней. И сказать, что Толстой был равнодушен ко всему, кроме себя, и до такой степени демоничен, каким увидала его неизвестная троцкистка (чье письмо очень похоже на провокацию вроде той, что была устроена и Гаяне), было бы несправедливо.

Иногда он заступался. По свидетельству Эренбурга, спас от смерти одного старого мастера, изготовлявшего курительные трубки, заступился за писателя Петра Никаноровича Зайцева.

«В Президиум Верховного Совета СССР

М. И. Калинину

Многоуважаемый Михаил Иванович!

Посылаю Вам прошение Зайцева Петра Никаноровича, осужденного в 1935 году на 3 года лагерей, отбывшего срок и сейчас работающего на советской службе. Так как он считает себя и повидимому совершенно оправданно непричастным к обвинению, предъявленному ему в 1935 году, и чистым перед советской властью, партией и правительством, он обращается к Вам с горячей просьбой о снятии с него позорного пятна судимости, которое до сих пор тяготеет над ним.

Депутат Верховного Совета Алексей Толстой»[{813}].

В 1938 году Толстой вторично вступился за писателя-сменовеховца Георгия Венуса, автора известного в свою пору романа «Война и люди», о котором еще давно, в берлинскую пору, писал Толстому Шкловский: «Дорогой Шарик! Посылаю тебе молодого и талантливого писателя Георгия Венуса. Я уже доучиваю его писать. Пока ему надо есть. Не можешь ли ты дать ему рекомендацию? Он красный. Я уехал на море. Твой В. Шкловский»[{814}].

Венус был арестован в январе 1935 года и сослан в Иргиз, но благодаря заступничеству Толстого Иргиз заменили на Куйбышев. Весной 1938 года его арестовали вторично.

«Глубокоуважаемый Николай Иванович, — обращался Толстой к наркому Ежову, — я получил известие, что в Куйбышеве недавно был арестован писатель Венус. Венус был сослан в Куйбышев в марте 1935 года, как бывший дроздовец. Он этого не скрывал и в 1922 году написал книгу «Пять месяцев с дроздовцами». Эта книга дала ему право въезда в Советскую Россию и право стать советским писателем. Он написал еще несколько книг. Вся ленинградская писательская общественность хорошо знает его как честного человека, и, когда его выслали, писатели несколько раз хлопотали за него, чтобы ему была предоставлена возможность писать и печататься. Он в Куйбышеве работал и печатался в местных органах и выпустил неплохую книгу рассказов. Но жил очень скудно и хворал малярией. Основной материальной базой его семьи (жена и сын) была переписка на машинке, перепиской занималась его жена. После ареста у его жены был обыск и была взята машинка. Прилагаю при этом моем письме — письмо его сынишки (к моей жене), которое нельзя читать равнодушно. Николай Иванович, сделайте так, чтобы дело Венуса было пересмотрено. Кроме пятна его прошлого, на его совести нет пятен с тех пор, когда он осознал свою ошибку и вину перед Родиной. Во всяком случае, я уверен в этом до той поры, покуда он не уехал в Куйбышев. Его письма из Куйбышева содержали одно: просьбу дать ему возможность печататься и работать в центральной прессе.

В чем теперь его вина, я не знаю, но я опасаюсь, что он арестован все за те же откровенные показания, которые в марте 1936 года дал следователю, то есть в том, как он, будучи юнкером, пошел с дроздовцами. Нельзя остаться равнодушным к судьбе его сынишки. Мальчик должен учиться и расти, как все наши дети.

Крепко жму Вашу руку.

Алексей Толстой.

22.11.1938. г. Пушкин»[{815}].

Письмо сына Георгия Венуса не сохранилось, но сохранились его воспоминания об отце,

которые трогают даже нынешнего искушенного в советской тюремной прозе читателя.

«Сначала мы поселились под Куйбышевом в деревне Красная Глинка. Отец стал бакенщиком, зажигал вечером и тушил утром фонари, указывающие судоходный фарватер. Все свободное время мы вдвоем проводили на Волге. Заработка бакенщика на жизнь не хватало, ловили рыбу и меняли на молоко, фрукты, овощи. Это, пожалуй, самое счастливое время моего детства. Много бывая с отцом, я в это лето особенно привязался к нему, а любовь к рыбной ловле сохранилась у меня до сих пор. <…> 9 апреля 1938 года отец зашел в местное управление НКВД и из проходной позвонил следователю, чтобы навести справки об изъятой рукописи. Следователь Максимов вежливо поинтересовался, располагает ли отец временем, чтобы зайти к нему за рукописью, которая по делу редактора интереса не представляет. Был выписан пропуск, отец прошел в управление, мать осталась ждать в проходной… Прошло три часа. Отца не было. Мама позвонила Максимову. Ответ был лаконичен: «Венус арестован». «Разве так арестовывают?» — спросила ошеломленная мать. «Ну, знаете ли, нам лучше знать, как арестовывают!» — ответил следователь и повесил трубку. Больше отца мы никогда не видели. Через два дня к нам приехали с обыском. Это было днем, я был дома. Долго рылись в вещах, забрали письма, рукописи. Мы с мамой подавленно смотрели на происходящее. Вдруг она резко обернулась ко мне: «Тебе тут делать нечего. Забирай ранец и иди в школу!» Я догадался: в старом, плотно набитом ранце хранились почти все отцовские книги, рукопись повести «Солнце этого лета», письма и другие бумаги. Я взял ранец, надел его на спину и беспрепятственно вышел. Так удалось все это сохранить. Потом было бесконечное стояние в очередях у справочной НКВД, отказы в свиданиях и передачах. Наконец, уже летом приняли передачу и в ответ пришла первая записка отца. «Родная! Посылаю тебе через следователя мою вставную челюсть и очень прошу отдать ее в починку, пусть там постараются склеить. Передай эту челюсть опять следователю. Передачу получил. Большое спасибо! Целую тебя и Бореньку. Ваш Юра». На германском фронте отец был ранен осколком в верхнюю челюсть, зубы пришлось удалить и с двадцати пяти лет он пользовался зубным протезом. Позднее, от сидящего в одной камере с отцом человека, я узнал, как был сломан протез. Это произошло на допросе при ударе по лицу пресс-папье. Побои при допросах послужили и причиной заболевания плевритом. Легкие у отца были ослаблены. Я уже писал, что в легком после ранения с времен гражданской войны оставалась пуля. После окончания следствия отец, до так называемого суда, был переведен в Сызранскую городскую тюрьму. Мама почти все время находилась в Сызрани. Таких, как она, было множество. Ночевали на окраине города под открытым небом. По ночам их разгоняла милиция, грозя арестами. Днем у тюрьмы выстраивалась длинная очередь. В сызранской тюрьме отец заболел гнойным плевритом и 30 июня был переведен в тюремную больницу. Последнюю записку от отца мы получили 6 июля. Ее тайком передала вольнонаемная санитарка. Записка написана карандашом на клочке бумаги. Почерк был почти неузнаваем. Записка сохранилась: «Дорогие мои! Одновременно с цингой у меня с марта болели бока. Докатилось до серьезного плеврита. Сейчас у меня температура 39, но было еще хуже. Здесь, в больнице, не плохо. Ничего не передавайте, мне ничего не нужно. Досадно отодвинулся суд. Милые, простите за все, иногда так хочется умереть в этом горячем к вам чувстве. Говорят, надо еще жить. Будьте счастливы. Живите друг ради друга. Я для вашего счастья дать уже ничего не могу. Я ни о чем не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же. Юра». Это были последние строчки, написанные рукой моего отца. 8 июля 1939 года он умер. Сомнений быть не могло. Санитарка, с большим риском для себя передавшая эту записку, потом рассказала матери, что видела на теле мертвого отца шрамы, которые сохранились с детства и о которых знать могли только мы»[{816}].

Не получилось у Толстого спасти ни Венуса, ни Петра Зайцева, но ведь пытался он им помочь. И Людмила Ильинична Толстая тоже помогала[86]. Тот же сын Георгия Венуса пишет о том,

что у него сохранились письма жены Алексея Толстого, «доброй и отзывчивой к чужому горю женщины. Она материально помогала нам в самое трудное время»[817].

А с другой стороны, существует рассказ Вениамина Каверина о том, как Толстой «потопил» в 1936 году писателя Леонида Добычина, которого дважды вызывали для чистки на общее собрание ленинградской писательской организации и довели до самоубийства.

«На втором собрании центральной фигурой был А. Н. Толстой — его привезли из Москвы с целью утихомирить взволнованное общественное мнение. Он не выдвигал идеологических обвинений — речь была построена тонко. Он не воспользовался, как это сделал Берковский, близорукостью подростка, героя «Города Эн», чтобы обвинить сорокалетнего инженера-экономиста и писателя в *политической* близорукости. Он держался снисходительно, доброжелательно и даже пожалел Добычина как человека старого, отжившего, мертвого мира.

— В лице Добычина озлобленный, беспомощный завистник жадными, но пустыми глазами следит за расцветающей жизнью, за полетом молодости, и эта слепая зависть мстит, убивает его, — говорил он (или что-то в этом роде) <…>.

Знал ли Толстой, что его роль гастролера — позорна? Без сомнения. Но он шагал и не через такое.

Федина не было на собрании. Он тогда уже переехал в Москву. Но была его жена, Дора Сергеевна. В перерыве я подошел и поздоровался с ней.

— Каков подлец! — громко сказала она о Толстом, не обращая внимания на присутствующих (Это было в переполненном коридоре.) — Вы его еще не знаете! Такой может ночью подкрасться на цыпочках, задушить подушкой, а потом сказать, что так и было. Иуда!..»[818]

Но в то же время благодаря этому «иуде» в 1940 году был издан сборник стихов Ахматовой; вместе с Фадеевым и Пастернаком Толстой пытался представить книгу на Сталинскую премию, о чем донесли Жданову, и тот наложил на это предложение резолюцию, предвосхищающую знаменитое постановление сорок шестого года:

«Просто позор, когда появляются в свет, с позволения сказать, сборники. Как этот Ахматовский «блуд с молитвой во славу божию» мог появиться в свет? Кто его продвинул?»[819]

В ответ на партийный окрик 19 октября 1940 года начальник пропаганды и агитации Г. Ф. Александров и его заместитель Д. А. Поликарпов докладывали Жданову: «…стихи Ахматовой усиленно популяризирует Алексей Толстой. На заседании секции литературы Комитета по Сталинским премиям Толстой предложил представить Ахматову кандидатом на Сталинскую премию за лучшее произведение литературы. Предложение Толстого было поддержано секцией»[820].

На Толстого у Жданова рука не поднялась. Когда стихи Ахматовой обругал критик В. Перцов, Пастернак написал Ахматовой: «Тон Перцова возмутил нас всех, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, не в газете»[821].

Толстой не написал, книгу Ахматовой изъяли. Но все же неизвестно, какая чаша перевесит на весах его добрых и злых дел…

«А потом пошли «Хлеб», переделка «Хождения по мукам», «Хмурое утро», второй и третий

тома «Петра Первого», «Иван Грозный». После убийства чекистами М. Горького — А. Н. Толстой занял кресло убитого, став фактическим председателем ССП. Он и член Верховного Совета СССР, и член Академии наук, и трижды сталинский лауреат, а после смерти — памятник у Никитских ворот», — писал Роман Гуль.

То, что Толстой был фактическим председателем Союза писателей, так же верно, как и убийство Горького чекистами. В дневнике Пришвина за 1939 год описывается смешная сцена: «2 февраля. Митинг орденоносцев. Ни слова не дали, не выбрали и в президиум, и глупо вел себя я с репортерами, глупо говорил — ничего моего не напечатали. Сижу в перекрестном огне прожекторов, щелкают лейки (одно слово не прочитывается) в жаре. А. Толстой пришел, прямо сел в президиум, и после, как сел, Фадеев объявил: «Предлагаю дополнительно выбрать Толстого». Все засмеялись — до того отлично он сел. И даже мне, обиженному, понравилось»[{822}].

Он умел и держать себя, и преподносить. Он презирал их всех, сидящих и в зале, и в президиуме, знал, что равных ему здесь нет, как не было полвека назад равных его дальнему родственнику-однофамильцу. Он был настолько в этом убежден, что даже не считал нужным это доказывать, а просто шел и занимал свое место.

«Когда Бернард Шоу приехал в Ленинград, — писал Каверин, — он на вокзале спросил первого секретаря (вероятно, Прокофьева), сколько в городе писателей.

«Двести двадцать четыре», — ответил секретарь.

На банкете, устроенном в «Европейской» гостинице по поводу приезда Шоу, он повторил вопрос, обратившись к А. Толстому.

«Пять», — ответил тот, очевидно имея в виду Зощенко, Тынянова, Ахматову, Шварца и себя»[{823}].

Список Толстого придуман, скорее всего, Кавериным, граф назвал бы, возможно, других, но не в этом дело. Каким бы список ни был, на первое место Толстой ставил себя.

Валентин Берестов, в ту пору юноша, начинающий поэт, привеченный Толстым во время войны, так описал свой разговор с ним о кумирах его молодости:

«Я повел прямую атаку:

— Алексей Николаевич, расскажите что-нибудь о писателях, которых вы знали.

— Кто тебя интересует? — хмуро спрашивает Толстой.

— Герберт Уэллс. Ведь вы с ним встречались!

На лице Толстого возникает хорошо знакомое мне озорное выражение, губы обиженно выпячиваются.

— Слопал у меня целого поросенка, а у себя в Лондоне угостил какой-то рыбкой![87] Ты заметил, что все его романы заканчиваются грубой дракой? Кто еще тебя интересует?

— Как вы относитесь к Хемингуэю? (Хемингуэй — один из моих кумиров. Толстой не может не любить этого мужественного писателя.)

— Турист, — слышится непреклонный ответ. — Выпивка, бабы и пейзаж. Кто еще?

— А Пастернак? — дрожащим голосом спрашиваю я.

— Странный поэт. Начнет хорошо, а потом вечно куда-то тычется.

Спрашиваю о Брюсове и, узнав, что тот читал стихи, завывая как шакал («или как ты»), теряю интерес к мировой литературе. Но Толстой уже вошел во вкус игры:

— Почему ты ничего не спрашиваешь про Бальмонта?»[824]

Точно так же он мог отозваться о ком угодно. Он мало кого любил, но, когда надо, умел перевоплощаться, быть обаятельным, умел быть строгим, умел надувать щеки и выглядеть очень важным и представительным. «Ему не стоило большого труда быть блестящим. Это была его работа, его профессия, и она была ему по душе», — вспоминал Дмитрий Толстой[825].

Но и к писателям, и к читателям относился по-разному. К одним небрежно, к другим приятельски. Мария Белкина так описывала свою встречу с Толстым, у которого ей нужно было взять интервью: «Алексей Николаевич действительно не захотел меня принимать, хотя и был предупрежден и дал согласие. Он посмотрел на меня сверху, с лестничной площадки, выйдя из своего кабинета, и потом скрылся, захлопнув дверь. Я стояла внизу под лестницей, наследив на зеркальном паркете валенками. На улице было снежно, мела метель. На мне была старенькая мерлушковая шуба, капор, я выглядела совсем девчонкой и явно была не в тех рангах, в которых надо было быть для беседы с маститым писателем, а может, его разгневали следы на паркете; но, во всяком случае, он наотрез отказался вести со мной разговор. Его молодая супруга Людмила Ильинична, сверкая брильянтами, в накинутой на плечи меховой пелеринке бегала по лестнице, стуча каблучками, и щебеча пыталась сгладить неловкость положения. Она меня узнала, мы с ней встречались в доме известной московской «законодательницы мод», с которой мой отец был знаком еще до революции по театру. Спас телефонный звонок: Людмила Ильинична сняла трубку и я поняла, что это звонил Алексей Алексеевич:

— Да, да, конечно, мы очень рады, уже приехала, я сама отвезу ее на машине в Москву, я вечером туда еду…

Мне было предложено раздеться, снять мои злополучные валенки, Алексей Николаевич принял меня любезно, куря трубку, и мы беседовали часа полтора или два»[826].

Что же касается Алексея Алексеевича Игнатьева, то Толстой с ним действительно был дружен, они выпивали, избирая для этих целей дом Горького. «Бывало к Липе (домоправительнице Горького. — *А.В.*) придут два бывших графа — Игнатьев и Алексей Толстой — поздно вечером: Липа, сооруди нам закуску и выпивку — Липа потчует их, а они с величайшим аппетитом и вкусом спорят друг с другом на кулинарные темы»[827].

Об этих выпивках и закусках в литературных и артистических кругах ходили легенды.

«Приехали как-то в дом Герцена в Москве Алешка Толстой и Пашка Сухотин поздно ночью, пьяные. Толстой требует водки. Но лакей видит, что «гражданин в доску», да и поздно, не дает. — «Как! Нет?! Позови мне сейчас же е… т… м… Герцена!» — А Герценом в доме Герцена называется управляющий рестораном, некий «метр д’отель», человек с ассирийской бородой. — Приходит Герцен. — «Дай водки!» — «Не могу, час поздний…» — «Что?! Да ты знаешь, кто я и кто ты?! Ты — хам, я тебе сейчас морду горчицей вымажу!» — «А вы поосторожней,

гражданин Толстой». — «Ах, так прорастак твою мать!» — Толстой делает скандал, кроет лакеев и «метрдотеля» матом, называет хамами. — «Кто я и кто вы!» — Но под конец, хоть и пьян Толстой, но почувствовал, что может выйти скверно, все же «рабоче-крестьянская» власть. Идет на кухню. И как будто спьяну бормочет поварам и лакеям: «Ну, я вас крыл е..., теперь вы меня кройте», — садится на плиту. — «Нет, это вам даром не пройдет, гражданин Толстой, не пройдет...» Утром Толстой торопливо уехал в Ленинград. Лакеи поершились, поершились, грозили в суд подать, пошумели, но сверху все дело замяли...» Федину Толстой говорил: «Я за границей, Костя, везде могу жить, только не в Париже, в Париже мне обязательно набьют морду, ха-ха-ха!» гомерический хохот Толстого»[828].

Или другая история:

«Из времен, когда Толстой в СССР уже пошел в гору, Федин как-то рассказал о неприличном, но весьма характерном для Толстого хамском дурачестве. Был у Толстого прием, много народу: писатели с женами, высокие военные с женами, актеры, актрисы, вообще советский бомонд. Собрались в гостиной, но хозяин почему-то не выходит. «Наконец, — говорит Федин, — вышел Алешка в прекрасном костюме, надушенный, выбритый, но сквозь ширинку просунут указательный палец. И так, с серьезным видом, подходит к дамам, целует ручки и говорит: «Василий Андреич Жуковский... Василий Андреич Жуковский...» Одних этот палец шокировал, ничего не могли понять, «не оценили», другие смущенно засмеялись, и сам Толстой под конец разразился гомерическим хохотом на всю квартиру и вынул палец из разорванного кармана», — писал Роман Гуль и продолжал: — Рассказ Федина меня не удивил, я знал, что Толстой был способен на дикие и хамские дурачества. За этот «палец» Федин ругал Толстого: «Понимаешь, в гостиной — уважаемые дамы, актрисы, пожилые женщины, но с Алешки все как с гуся вода. Разразился хохотом и — всему конец, даже не извинился»[829].

Правда это или нет?

Вспомним еще раз, как одноклассник Толстого по реальному училищу в Самаре Е. Ю. Ган писал: «Лешка Толстой любил «отмочить» какую-нибудь штуку, огорошить кого-нибудь (включая и учителей) неожиданной выходкой». Точно так же мочил Алешка шутки и когда ему исполнилось тридцать, хватая в «Бродячей собаке» и в московской «эстетике» дам за ноги («Толстой дурил», — лаконично писал в дневнике М. Кузмин), и в сорок в Берлине («Алеша обожает валять дурака», — говорила Н. В. Крандиевская), и в пятьдесят в красной Москве, и плевать графу было, что о нем думают и говорят. Но дело не только в причудливой смеси подросткового инфантилизма, своеволия и пренебрежения к окружающим в стиле Мишуки Налымова.

Любопытно свидетельство Валентина Берестова, настроенного по отношению к Толстому весьма благожелательно:

«Я спросил Людмилу Ильиничну:

— Почему Алексей Николаевич, такой умный человек, все время говорит всякие глупости?

Оказывается, нечто подобное она сама когда-то спрашивала у него. Толстой подумал и ответил так:

— Если бы я и в гостях находился в творческом состоянии, меня б разорвало».

Вот это правда наверняка. Толстовские возлияния, розыгрыши, дурачества, скандалы — были необходимы ему для творческой разрядки. Он снимал таким образом напряжение, в котором

находился во время работы, и чем труднее эта работа была, тем сильнее буйствовал.

В советское время эти развлечения в духе Всесвятейшего шутовского собора из «Петра» были сокрыты от широкой общественности и ничто не бросало тень на заслуженного советского писателя, академика и депутата. Но когда это время истончилось и стало истекать, хлынул поток разоблачительных воспоминаний об Алексее Толстом, первым из которых стал опубликованный в перестройку в журнале «Огонек» мемуар бывшего артиста театра имени Вахтангова Юрия Елагина, оказавшегося после войны в эмиграции и издавшего в 1952 году в Америке книгу под названием «Укрощение искусств». Алексею Толстому в ней была посвящена глава, состояла она из двух частей. В первой рассказывалось о том, как Толстой пригласил жениха своей дочери комбрига Хмельницкого в компанию своих друзей, людей блестящих, талантливых и отчаянных выпивох — артиста Московского театра драмы Николая Радина, артиста Малого театра Александра Остужева и литератора Павла Сухотина (того самого, в соавторстве с кем Толстой написал возмутившие Фадеева «Записки Мосолова»). Прием этот как будто состоялся на квартире у Радина, все было по высшему разряду, лакеи из «Метрополя», хрустальные сервизы, изысканные закуски, тонкие вина, коньяки, друзья были предупреждены, чтобы до свинского состояния не напивались и говорили исключительно о высоком, но вот незадача: комбриг оказался непьющим. Этим он вызвал страшный гнев Сухотина, который, напившись, стал кричать:

«— Ты что сидишь, как болван, сукин сын? Ты что думаешь — мы тут все собрались глупее тебя? Ты мизинца нашего не стоишь, идиот…

Комбриг не знал, как реагировать, то ли морду бить, то ли звонить куда следует, а перепуганный Толстой будто бы схватил шубу, бросился на улицу и с тех пор, пишет Елагин, «как мне говорили, он ни разу не встречал мужа своей дочери»[{830}].

Сколько правды в этой байке, сказать трудно. Во всяком случае, неправды явно больше. Начиная с того, что фамилия комбрига была Шиловский и на прием, устроенный в его честь Толстым, он никак не мог попасть раньше 1934 года, когда и Радин, и Сухотин были уже тяжело больны, и заканчивая тем, что Алексей Николаевич Толстой и Евгений Александрович Шиловский были всю жизнь в очень хороших отношениях, отмечали вместе праздники, и, по всей вероятности, дружба и родственные связи с Толстым спасли Шиловского от ареста (точно так же, как спасли они известного переводчика Михаила Лозинского, на дочери которого женился сын Толстого Никита).

Что касается второй части мемуара, то, по-видимому, она более достоверна, потому что писалась не по слухам, а по непосредственному впечатлению автора, хотя и сильно приукрашенному. Это история о том, как Толстой написал пьесу «Путь к победе», за которой начали охотиться все московские театры, и артисты театра Вахтангова решили устроить в честь Толстого и его жены пикник, чтобы убедить его отдать «Путь к победе» им.

«Из кабины легко выпорхнула очаровательная элегантно одетая молодая женщина лет 28 и медленно выбралась грузная и неуклюжая фигура его сиятельства «рабоче-крестьянского графа» Алексея Николаевича Толстого. Толстой был уже весьма и весьма в летах. Лицо его с некогда красивыми и породистыми чертами сильно обрюзгло и расплылось. Под подбородком висела огромная складка жира. Большую сияющую лысину окаймляли постриженные в кружок волосы — прическа странная и несовременная (в старой России так стриглись извозчики)…»[{831}]

А вот как по контрасту с ним описывается жена Толстого, графиня Людмила Ильинична:

«В ней не было ничего от того спортивного, несколько простоватого, но в своем роде очень привлекательного типа, к которому принадлежали лучшие московские девушки советского времени. У жены знаменитого писателя внешность была совершенно не советская. Это была скорее изящная парижанка или, может быть, хороший образец дамы с Пятой авеню, но уж никак не москвичка сталинской эпохи. На красивом лице незаметен загар, но зато можно обнаружить мастерский грим первоклассной косметики, положенный со вкусом и умением. Фигура у нее была стройная, женственная и миниатюрная. Одета она была очень хорошо, даже великолепно — в дорогие вещи, сделанные явно в презренном капиталистическом мире. В маленькой руке, затянутой в светло-серую перчатку, чудесная сумка из крокодиловой кожи. Но Людмила Ильинична оказалась дамой на редкость приветливой и любезной»[{832}].

А дальше начинается собственно пикник — угощения, возлияния, икра, осетрина, жареные поросята, маринованные белые грибы, цыплята, картошка, печенная на костре, и водка, охлажденная в ручье.

«Кому чару пить, кому выпивать?
Свету Алексею Николаевичу!»

Тут надо сделать одно отступление. Бунинский очерк «Третий Толстой» заканчивался такими словами: «Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большія роговыя очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского…»

Если же верить Елагину, то Толстой был все тот же и пил все так же.

«Тут Толстому подносился довольно большой граненый стаканчик водки, и, пока он выпивал до дна, хор все время повторял:

*Пей до дна, пей до дна…*

Когда же стакан был выпит, мы начинали следующий куплет, опять все с тем же припевом. Всего в песне было три куплета, и Толстой выпил таким образом три стаканчика водки, одобрительно крякая, причмокивая и ухая. Закусывал он маринованными грибками, которые доставал прямо руками из большой банки. Когда же песня была окончена и хор замолчал, то неожиданно раздался голос нашего высокого гостя, уже совсем хриплый, хотя еще твердый:

— Давай сначала всю песню»[{833}].

Через час Толстой был мертвецки пьян, вместе с ним напились и все прочие участники пикника, писателя начали грузить в лодку, но уронили в воду, и так как ни одеяла, ни сухой одежды не оказалось, завернули в ковер, чтобы он не замерз. Потом в тот же ковер завернули и подвыпившую актрису. Толстой сладко заурчал.

«В сырой туманный вечер на маленькой лодке с нетрезвыми гребцами в чьих-то чужих подштанниках и нижней рубашке, завернутый в грязный и пыльный ковер, лежал депутат Верховного Совета СССР, личный друг Сталина, знаменитый писатель, краса и гордость советской литературы Алексей Толстой»[{834}].

Было, не было?

Что тут скажешь? Наверное, было, пусть даже и несколько иначе, чем описано Юрием Елагиным. Вряд ли столичные театры так уж гонялись за пьесой Толстого. В мемуарах Л. Когана говорится, что Толстой должен был написать для Вахтанговского театра пьесу про

Пушкина, но с условием, что самого Пушкина в ней не будет. Эту пьесу он так и не написал (зато похожий замысел был осуществлен Булгаковым в «Последних днях»).

«— Ничего путного из этого не выйдет. Не буду писать.

— Значит, придется аванс возвращать?

Он посмотрел на меня с удивлением и спросил:

— А вы видели когда-нибудь писателя, который возвращает аванс? Дам какую-нибудь другую пьесу, вот и все»[{835}].

Вот и дал, пусть не очень удачную, которая быстро сошла со сцены, но вот чего не было точно — так это вывода, к которому приходит Юрий Елагин и ради которого пикник на берегу Пахры так вкусно им и описывался:

«Алексея Толстого споили, разложили морально и заставили лгать. И талант его погиб так же быстро и так же окончательно, как и таланты тех, кого расстреляли или сослали <…> был это не писатель и никакой не певец, а некое декоративное существо, вроде «свадебного генерала»[{836}].
Не стал Толстой свадебным генералом, не спился, не отнял Господь у трудолюбивого и лукавого раба таланта. Халтурить халтурил, подличать подличал[88], но и хорошие вещи продолжал писать. А главное — жил так же размашисто, по-толстовски вкусно и страстно, как генерал настоящий, а никакой не свадебный.

## Глава XXIII. Стамбул для бедных

1941 год начался для Алексея Толстого удачно. Весной ему присудили Сталинскую премию I степени за «Петра», к лету он закончил третью часть «Хождения по мукам», от которой шарахнулся десять лет назад, но теперь, подстрахованный «Хлебом», поставил точку в своей многострадальной эпопее, соединив разлученных революцией и Гражданской войной героев в Большом театре, где Катя, Даша, Рощин и Телегин слушают доклад Кржижановского об электрификации и смотрят на разгромившего Деникина Сталина.

А перед этим у них были война, анархисты, батька Махно, садист Левка Задов, был расколотый и обманутый народ (чего стоит один только образ попа-расстриги Кузьмы Кузьмича, который обводит вокруг пальца крестьян зажиточного села и наводит на них продотряд с той же ловкостью, с какой это делал немец-оккупант в «Восемнадцатом годе»), а еще были тиф, голод и бездомье. И герои подолгу не задерживались нигде, как если бы какая-то сила их уносила.

«— Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки, — сколько они исходили в поисках счастья, и все напрасно, и все напрасно… — говорит Телегин Даше, и слова эти отбрасывают неверный свет не только на ее настоящее, но и будущее. Особенно если учесть, что П. П. Файдыша в 1942-м арестовали и больше никто его не видел.

Это призрачное, обманчивое счастье мерцало и в «Восемнадцатом годе»: «Все исчезло; как птички, мы скитаемся по России. Зачем? и если, после всей пролитой крови, мы вновь обретем наш дом, нашу чистенькую столовую, играющих в карты друзей… будем ли мы снова счастливы?»

В «Хмуром утре» Толстой написал, что вроде бы будем, но так ли думал на самом деле? Подводных течений в романе хватало, и одним из них стало увлечение писателя театром,

каким и предстала по большому счету в романе Гражданская война. Мотивы «Золотого ключика» с толстовской легкостью перекочевали в описание будней бойцов Красной армии, которые в свободное от боев время с удовольствием смотрят, как их товарищи играют в наскоро сделанных декорациях Шиллера.

«Русский человек любит театр… У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то необыкновенная, жадность… Скажи — полтора месяца боев, истрепались люди — одна кожа да кости, ведь так и собака сдохнет… При чем тут еще Шиллер? Сегодня — будто это тебе в Москве премьера в Художественном театре».

Так говорит красный командир Иван Телегин своей жене, для которой он нашел подходящее занятие, хотя истинное свое призвание Даша обретает не в искусстве, а в поэзии домашней жизни:

«В полутемном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой, — та ее не боднула и не лягнула. Даша помыла теплой водой вымя и начала тянуть за шершавые соски, как учил Кузьма Кузьмич, присевший сзади. Ей было страшно, что они оторвутся, а он повторял: «Энергичнее, не бойтесь». Широкая корова обернула голову и обдала Дашу шумным вздохом, горячим и добрым дыханием.

Тоненькие струйки молока, пахнущие детством, звенели о ведро. Это был бессловесный, «низенький», «добрый» мир, о котором Даша до этого не имела понятия. Она так и сказала Кузьме Кузьмичу — шепотом. Он — за ее спиной — тоже шепотом:

— Только об этом вы никому не сообщайте, смеяться будут: Дарья Дмитриевна в коровнике открыла мир неведомый! Устали пальцы?

— Ужасно.

— Пустите… (Он присел на ее место.) Вот как надо, вот как надо… Ай, ай, ай, вот она, русская интеллигенция! Искали вечные истины, а нашли корову…»

И, перебесившись, намучившись всласть сама и намучив добряка Телегина, мечтает она в конце о самом простом — о бревенчатом доме, чистом, с капельками смолы, с большими окнами, где в зимнее утро будет пылать камин, о доме, какой построит себе Толстой в Барвихе, стилизуя свою зимнюю дачу под деревенскую избу. А другая героиня, старшая Дашина сестра Катерина после долгих и опасных приключений в лагере анархистов и упорной осады ее супружеской верности со стороны бывшего вестового Рощина Алексея Красильникова становится народной учительницей, воюет с советским бюрократизмом, обещает своим ученикам мороженое и голубые города. Так, обе красавицы, одна из которых когда-то не знала, что делать с демонической любовью Бессонова, а вторая — со своей невинностью, заканчивают сырую женскую маету и находят утешение в молодой республике.

Да и сам Бессонов формально окончательно отделяется от Блока. «Катя присела на бульваре, кажется, на ту самую скамейку, где они с Дашей в шестнадцатом году встретили Бессонова, он шел — весь пыльный, едва волоча ноги… Какая чушь! Две абсолютно ни к чему не пригодные женщины не знали, что им делать от переизбытка времени, и переживали невесть какую трагедию, когда Бессонов — совсем из стихов Александра Блока: «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться…» — поклонился им и медленно прошел мимо, и они глядели ему вслед, и особенно жалким показалось им то, что у него будто сваливались на ходу полувоенные штаны…»

Были ни к чему не пригодны две русские женщины дворянского роду-племени, теперь —

пригодились. Находят себя в новом мире и их мужья. Телегину ужасно хочется работать, а Рощин мечтает перестраивать мир для добра и находит себе в этом деле верных товарищей, каких не было ни в царской армии, ни тем более в Белой, зато с избытком хватает среди большевиков.

«Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах, — они знали, какое дело сделано, они поработали… Их спокойствие — вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное — выдержало пять столетий, а уж, господи, чего только не было… Странная и особенная история русского народа, русского государства. Огромные и неоформленные идеи бродят в нем из столетия в столетие, идеи мирового величия и правдивой жизни. Осуществляются небывалые и дерзкие начинания, которые смущают европейский мир, и Европа со страхом и негодованием вглядывается в это восточное чудище, и слабое, и могучее, нищее, и неизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые зарева всечеловеческих идей и замыслов… И наконец, Россия, именно Россия, избирает новый, никем никогда не пробованный путь, и с первых же шагов слышна ее поступь по миру…

Понятно, что с такими мыслями Вадиму Петровичу было все равно — какие там грязные ручьи за окнами гонят по улице мартовский снег и бредет угрюмый и недовольный советский служащий, с мешком для продуктов и жестянкой для керосина за спиной, в раскисших башмаках — заседать в одной из бесчисленных коллегий; было все равно — какой глотать суп, с какими рыбьими глазками. Ему не терпелось — поскорее самому начать подсоблять вокруг этого дела».

Последний абзац замечателен тем, что дистанцирует героя от его создателя. В критических работах о романе Алексея Толстого иногда встречается утверждение, будто идейные искания Рощина чем-то напоминают извивы в отношениях с большевиками самого автора.

Вадим Рощин с некоторой натяжкой может быть назван «сменовеховцем», но ни на каком этапе жизни Алексею Толстому нельзя было впарить суп с рыбьими глазками и заставить его ходить в раскисших башмаках. Подсоблять вокруг дела он был согласен лишь при сохранении всех своих привилегий, о чем и повествовали предыдущие страницы этой книги.

И хотя всем сестрам в итоге досталось по серьгам и «хождение по мукам» завершилось благополучным выходом в советский рай, если сравнить, с чего начинали четверо блестящих молодых подданных империи в первой части и к чему пришли в третьей, то наяву — деградация, или, вернее сказать, мутация, образующая смысл русской советской истории и русского коммунизма — вывод, который также можно отнести на счет подводных камней романа. Да и композиционно, как финал трилогии ни толкуй, неслучайно он вышел в духе Льва Толстого, но не в смысле глубины, а по той причине, что автор извещает читателя о судьбах лишь тех, кто ему интересен (в отличие, скажем, от Тургенева, который всегда очень пунктуально описывал жизненные пути всех своих героев). Куда делись Елизавета Киевна, идейный бандит Жадов, большевик Акундин, что случилось с доктором Булавиным, актрисой Чародеевой и множеством других занимательных персонажей, так и осталось неизвестным. Но, видимо, на их долю ни домов, ни призрачного счастья, ни даже тарелки супа в России не нашлось.

Еще одно, что сделал Толстой в последней части романа, — он аккуратно свел счеты со своими именитыми литературными собратьями во взглядах на народ.

«Утверждаю: нашего народа мы не знаем и никогда не знали… Иван Бунин пишет, что это — дикий зверь, а Мережковский, что это — хам, да еще грядущий…» — говорит автор устами бывшего футуриста Сапожкова; заодно дискутирует он и с Горьким, который по имени не

называется, но угадывается в образе посланца рабочего класса Якова, приехавшего в деревню:

«— Русский мужик есть темный зверь. Прожил он тысячу лет в навозе, — ничего у него, кроме тупой злобы и жадности, за душой нет и быть не может. Мужику мы не верим и никогда ему не поверим».

Горький так и умер, мужику не поверив. Толстой вроде бы поверил. Пришел к тому, что если народу дать правильную цель, то он и дурить перестанет и возьмется за ум. «Русский человек горяч, самонадеян и сил своих не рассчитывает. Задайте ему задачу, — кажется, сверх сил, но богатую задачу — за это в ноги поклонится».

Отбунтует, отанархиствует, отыграет в батьку Махно и поклонится поставившему перед ним ясную цель вождю, начнет созидать — к подобному выводу пришел в последние годы жизни и Пришвин. А между тем на пути у этого народа, который успешно закончил кровавую большевистскую школу, встало новое испытание — война, и хотя тот же Пришвин писал, что противостояние между мужиками и большевиками кончилось тем, что мужики сделали большевиков своим орудием в войне с немцами и победили, теперь, по истечении времени, нам легче, точнее тяжелее признать, что орудием стали именно мужики, миллионами легшие на полях Великой Отечественной от Сталинграда до Берлина.

Алексею Толстому было уже под шестьдесят, когда началась война, мобилизации он не подлежал, но в стороне не остался и с первых дней начал сражаться тем единственным оружием, которым умел воевать и воевал уже четверть века назад, — словом. Он снова писал для фронта — писал жестко, резко, доходчиво, умея зацепить сердца читателей и возбудить в них два одинаково великих чувства — любовь к своей родине и ненависть к врагу, и второе было, пожалуй, даже сильнее первого. Если Толстой-журналист образца 1914 года оставался относительно политкорректен и на немецкие зверства особенно не напирал, то теперь ситуация изменилась. Про тогдашнего Толстого никто не говорил, что он попал под угар шовинизма, к нынешнему это определение подошло бы.

«Из репродуктора неслись взволнованные, но полные уверенности и силы слова: «Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей в Германии», — описывал первые дни войны Ю. Крестинский.

Алексей Толстой сразу понял, что на этом тезисе контрпропаганды не построишь. Война шла между двумя народами, и для него врагами были не фашисты, а именно немцы, германцы, варвары…

«Встанем стеной против смертельного врага. Он голоден и жаден. Шесть столетий он с завистью глядит на наши необъятные просторы. Сегодня он решился и пошел на нас… Это не война, как бывало раньше, когда войны завершались мирным договором, торжеством для одних и стыдом для других. Это завоевание такое же, как на заре истории, когда германские орды под предводительством царя гуннов Атиллы двигались на запад — в Европу, для захвата земель и истребления всего живого на них.

В этой войне мирного завершения не будет. <…> Красный воин должен одержать победу. Страшнее смерти позор и неволя. Зубами перегрызть хрящ вражеского горла— только так! Ни шагу назад!.. Ураганом бомб, огненным ураганом артиллерии, лезвиями штыков и яростью гнева разгромить германские полчища!»[837]

«Я обвиняю гитлеровскую Германию в небывалых преступлениях, совершенных и совершаемых

немцами в здравом уме и твердой памяти. Я требую возмездия»[838].

Годами советским людям вбивали в голову, что немецкие рабочие — их классовые товарищи, что они страдают от гнета собственной буржуазии и, если начнется война, обратят оружие против своих поработителей.

Начиная с 22 июня 1941 года все происходило наоборот, немецкие пролетарии ожесточенно уничтожали русских людей, не видя большой разницы между солдатами, женщинами и детьми, и образ братьев по классу нужно было срочно заменить образом немца-врага, немца-зверя. Толстой в этом преуспел так, что сравняться с ним мог один Илья Эренбург — поразительно пересеклись в который раз пути двух людей, вышедших из волошинского «обормотника», прошедших через революцию, эмиграцию, насмерть поссорившихся и снова вставших плечом к плечу.

«Мы должны объединиться в одной воле, в одном чувстве, в одной мысли — победить и уничтожить Гитлера, — писал Толстой в июле 1941 года в статье «Я призываю к ненависти». — Для этой великой цели нужна ненависть. В ответ на вторжение Гитлера в нашу страну — ненависть, в ответ на бомбардировки Москвы — ненависть. Сильная, прочная, смелая ненависть! <…> светлая, священная ненависть, которая объединяет и возвышает»[839].

Эту святую ненависть надо было разжигать, и Толстой знал, как это делать и на какие чувства давить.

«Фашисты любят сильные ощущения. Книга, театр, кино могут дать только суррогат переживаний. То ли дело — подойти к белорусской колхознице, вырвать у нее из рук младенца, швырнуть его на землю и слушать, кривя рот усмешкой, как баба кричит и кидается, беспомощная и безопасная словно птица, у которой убили птенца, и под конец, когда до нервов дошли эти вопли наглой бабы, — ткнуть ее штыком под левый сосок… Или приволочь с хутора на лесную опушку, где расположились танки для заправки, полтора десятка девушек и женщин, приказать им, — четкой, мужественно-немецкой хрипотцой, — раздеться догола, окружить их, засунув руки в карманы и отпуская жирные словечки, разобрать их по старшинству и чину, потащить в лес и наслаждаться их отчаянными криками и плачем, а потом вперевалку вернуться к своим танкам, закурить и уехать, чтобы впоследствии написать в Германию открытки о забавном приключении: «Должен тебе признаться, Фриц, эти проклятые русские девки под конец нам до смерти надоели своими воплями и царапаньем…»[840]

«Не оскорбляйте варваров, называя этим именем солдат Гитлера. Не обижайте природу, называя дикими зверями солдат Гитлера. Они просто — *падшая сволочь*»[841].

Значительная часть из того, что писал Толстой, печаталась в «Красной звезде», главным редактором которой был Давид Ортенберг, публиковавший и Эренбурга, и Симонова, и Шолохова, и Андрея Платонова.

Толстой впервые опубликовался в «Красной звезде» 9 июля 1941 года. Ортенберг позднее вспоминал о том, как состоялась эта публикация:

«Накануне я позвонил Алексею Николаевичу на дачу, в подмосковную Барвиху. Он сразу же взял трубку, словно дежурил у аппарата. Я назвал себя и спросил, не сможет ли он приехать к нам в редакцию.

— Сейчас приеду.

Часа через полтора открылась дверь — и в мой кабинет вошел Толстой вместе с женой Людмилой Ильиничной. Большой, грузный, в светлом просторном костюме, в широкополой мягкой шляпе, с тяжелой палкой в руках. Едва переступив порог, сказал своим высоким баритоном:

— Я полностью в вашем распоряжении…

Нетрудно понять, как мы были рады согласию выдающегося советского писателя сотрудничать в «Красной звезде». Я усадил Алексея Николаевича и Людмилу Ильиничну в кресла, заказал для них чай с печеньем. Прежде чем начать деловой разговор, признался: — А знаете, Алексей Николаевич, я человек не из трусливых, но звонить вам боялся. Толстой с недоумением посмотрел на меня. Я напомнил ему случай двухлетней давности. Мы готовили тогда номер газеты, посвященный 21-й годовщине Красной Армии, и нам очень хотелось, чтобы в этом номере выступили большие писатели. Я набрал номер Толстого. Откликнулся секретарь. Я объяснил, зачем нам понадобился Алексей Николаевич, и попросил пригласить его к телефону. Через несколько минут последовал ответ секретаря:

— Алексей Николаевич занят. Он не сможет написать для вашей газеты.

Не скажу, чтобы это меня обидело, но какая-то заноза засела в душе. По тогдашней своей наивности, что ли, я не мог понять, что ничего шокирующего в таком ответе нет. Выслушав теперь мое напоминание об этом, Толстой, как мне показалось, несколько смутился. Даже стал вроде бы оправдываться:

— Как раз в то время я работал над «Хождением по мукам». Людмила Ильинична «отрешила» меня ото всех других дел… <…>.

Толстой часто приходил к нам в редакцию. И не только по приглашению, а и просто так, на правах постоянного сотрудника газеты. Писал он для нас безотказно, каждую просьбу «Красной звезды» воспринимал как боевой приказ…»[{842}]

Помимо всего прочего работа в «Красной звезде» имела для Толстого и практическое значение. Ортенберг рассказывает, как однажды предложил Толстому перекусить что-нибудь «получше» и пояснил, что «получше» означало: «немного колбасы, тарелку винегрета да чай с печеньем», а когда вернулся, то увидел, с каким аппетитом Алексей Николаевич уминает угощение, и понял, как скудно жилось в те дни большому писателю.

«Я сразу же позвонил наркому торговли, попросил заменить этот паек, назвал другую — более высокую категорию снабжения.

— Та норма установлена для заместителей наркомов! — последовал ответ.

— Да, но заместителей-то наркомов сколько! А Толстой ведь один! — возразил я.

— Это верно, — согласился нарком и отдал соответствующее распоряжение…»[{843}]

Так что и в Великую Отечественную стеснять себя графу не пришлось. А между тем немцы наступали и — хотя в своих реляциях они торопились рассказать, что Москва почти полностью разрушена и среди обломков домов пробираются и что-то ищут растерянные люди, а Толстой писал опровержения («Разрушений, в общем, так немного, что начинаешь не верить глазам, объезжая улицы огромной Москвы… По своим маршрутам ходят трамваи и троллейбусы. Позвольте, позвольте, Геббельс сообщил, что вдребезги разбита Центральная электростанция. Подъезжаю, но она стоит там же, где и стояла, даже стекла не разбиты в окнах… Кремль с

тремя соборами хорошего древнего стиля, с высокими зубчатыми стенами и островерхими башнями, столько веков сторожившими русскую землю, и чудом архитектурного искусства псковских мастеров — Василием Блаженным — как стоял, так и стоит»[{844}]) — дела на фронте складывались совсем не так, как хотелось.

Особенно страшно было в октябре 1941 года, когда казалось, что вот-вот сдадут Москву. Никто не знал, что происходит на самом деле, столица жила слухами, говорили, что немцев видели в Химках, что Сталин бежал; НКВД минировал город и готовил подпольные группы. До отъезда в Горький Толстой узнавал о том, что происходит на фронте в редакции «Красной звезды». Судя по осторожным воспоминаниям Ортенберга, он был мрачен, но призывал не торопиться объявлять об оставленных городах, а что думал об этом сам и насколько был уверен в победе осенью сорок первого, неведомо. Однако никаких следов растерянности в его публицистике не было. Напротив, она звучала мужественно и призывала к героизму. Но высшее достоинство его статей было в том, что они не были безличными и казенными, но обращались к сердцу каждого. Толстой очень хорошо понимал, что защищать надо не идеи, не самый передовой общественный строй, но Родину, землю свою.

«Ни шагу дальше! — писал он в «Правде» 18 октября 1941 года. — Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь дороже родины, дороже сердца родины — нашей Москвы, — гибнет без славы, ему нет и не будет места на нашей земле.

Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся — в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны»[{845}].

«Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не оценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, — пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, — хранители и сторожа родины нашей.

Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за ее поругание, и вся наша готовность — умереть за нее. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя!»[{846}]

Те из его собратьев, советских писателей, которые по возрасту или состоянию здоровья не могли надеть военную форму, эвакуировались к тому времени в Ташкент, настроение у многих было упаднническим, не исключали и самого худшего. Да и не все считали поражение в войне самым худшим. Ждали немцев в 1918-м, ждали и теперь. Толстому отступать было некуда. За первые месяцы войны он написал столько, что в случае победы фашистской Германии его могла ожидать только виселица. И когда в начале декабря 1941 года началось первое контрнаступление наших войск, он отчеканил, как если бы цитировал собственный роман о Петре: «Один немецкий пленный будто бы сказал: «Не знаю, победим мы или нет, но мы научим русских воевать». На это можно ответить так: «Мы победим — мы знаем, и мы вас — немцев — навсегда отучим воевать»[{847}].

Полгода спустя, весной 1942-го, когда наши предпринимали попытки наступать, граф был настроен оптимистично, и бодрый тон его писем чем-то напоминал мажор Антошки Арнольдова из «Хождения по мукам».

«События грандиозно разворачиваются. К августу месяцу Германия будет в развалинах и

задымятся пожарищами кое-какие острова. Триста дивизий Гитлера на нашем фронте изломают гнилые зубы о штыки Красной Армии и подавятся советской сталью. Если примерить июнь 41 и июнь 42 года — какая неизмеримая разница в соотношении сил — наших и фашистских! И какой проделан путь нашей страной — путь, равный столетию. В августе мертвые услышат грохот падающей Германии»[848].

В августе мертвые слышали стон отступающей по донским степям Красной армии, приказ «Ни шагу назад!» и глухой треск пулеметов заградотрядов.

«Ты любишь свою жену и ребенка, — выверни наизнанку свою любовь, чтобы болела и сочилась кровью, — писал в эти дни Толстой в статье «Убей зверя», напечатанной сразу в «Правде», «Известиях» и «Красной звезде», — твоя задача убить врага с каиновым клеймом свастики, он враг всех любящих, он бездушно приколет штыком твоего ребенка, повалит и изнасилует твою жену и в лучшем случае пошлет ее под плети таскать щебень для дороги. Так, наученный Гитлером, он поступит со всякой женщиной, как бы ни была она нежна, мила, прекрасна. Убей зверя, это твоя священная заповедь.

Ты молод, твой ум горяч и пытлив, ты хочешь знания, высокой мудрости, твое сердце широко <…> убийство фашиста — твой святой долг перед культурой»[849].

Он умел находить слова. И для победы делал все, что мог. И на войну, как умел, работал. Однако — это была лишь часть его жизни. Была и другая.

В самом начале войны он принялся за пьесу об Иване Грозном. В обращении к этому сюжету сказалась поразительная разбросанность графских интересов. Не доделал Петра, странно оборвал «Хождение по мукам» — перекинулся на Иоанна.

«Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября-ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть»[850].

На самом деле интерес к фигуре Грозного появился у Толстого задолго до войны. Еще в январе 1935 года, когда перенесший инфаркт писатель начал выкарабкиваться, Бонч-Бруевич докладывал Максиму Горькому о выздоравливающем Алексее Толстом: «Тут же очень много посвящает времени истории Ивана Грозного, собирает материалы — книги, портреты — и говорит, что в его сознании Петр имеет свои истоки в Иоанне Грозном и что Иоанн Грозный для него даже интереснее, чем Петр. Колоритнее и разнообразнее. Вообще весь в творчестве».

Но Ивана Грозного сначала опередил Карабас-Барабас с Буратино, потом «Хлеб», потом две сестры с их мужьями, и только в 1940 году Толстой наконец заключил договор с Комитетом по делам искусств на создание пьесы о Грозном.

«Личность Ивана Грозного — один из ключей, которым отворяется тайник души русского человека, его характера, — объяснял Толстой свой замысел, в котором Иоанн сильно смахивал на Сталина. — Феодалы его ненавидели и сеяли клевету, которая попала в исторические сочинения о Грозном. Народ его любил, потому что видел высокую разумность его дел, направленную к созданию и укреплению единого государства. Он был жесток, но это было в духе того сурового времени, жестокость его никогда не была бессмысленной, но обусловленной борьбой за поставленные цели <…>. В достижении своих целей он не останавливался ни перед какими трудностями, так как считал себя выполнителем исторически предначертанных идей.

Он верил в то, что Московское царство должно стать источником добродетели и справедливости»[{851}].

Пьеса «Орел и орлица», повествующая о молодости царя Ивана Васильевича, была закончена в начале 1942 года и впервые публично прочтена в узком театральном кругу, о чем под заголовком «Новая пьеса А. Н. Толстого» сообщила газета «Правда» 16 февраля 1942 года:

«В Куйбышеве в кругу писателей, работников искусств и журналистов писатель А. Н. Толстой прочел свою новую пьесу «Иоанн Грозный», которая принята к постановке Государственным академическим Малым театром.

Среди слушателей присутствовали народные артисты СССР С. Михоэлс, С. Самосуд и другие. Пьеса произвела на слушателей огромное впечатление».

Вскоре после этого сообщения отрывок из пьесы напечатала газета «Литература и искусство», а Толстой получил письмо от литературного критика, который некогда писал о нем очень много и сверхдоброжелательно, а потом на долгие годы замолчал и даже Петра не удостоил отзывом. Иван Грозный пришелся ему по сердцу.

«Ваш Иоанн — самая большая радость, которую мне довелось испытать за последние 8 месяцев. Как будто меня вытащили из моего горя и траура и дали мне на три часа передышку.

Я предвидел, что трагедия будет полемической, что Вы пойдете наперекор всем «Князьям Серебряным», Иловайским и проч., и в общем схема трагедии представлялась мне достаточно отчетливо. Но чего я не предвидел — это той *духовной высоты,* на которую Вы поднимете свою тему. Вы могли пойти по линии наименьшего сопротивления — заставить Иоанна почаще говорить про «общее житие земли нашей», изобразить бояр — врагами общего с народом интереса России, и Ваша адвокатская миссия была бы выполнена. Мы *поняли бы* Иоанна по-новому, но мы никогда не полюбили бы его так, как мы любим его теперь. А мы любим его — как любят поэтов, широких и даровитых людей.

Ваш Иоанн — раньше всего артистическая натура, художник. Разнообразие его душевных качеств — поразительно. Никто до сих пор даже и не дерзал показать его влюбленным; в этом Ваша великая смелость и великая удача…

Язык пьесы конечно великое литературное чудо. Никакой археологии, никакой стилизации, никакой филологической мозаики, которая так мертва у А. К. Толстого и так безвкусна у всевозможных Чаплыгиных»[{852}].

Автор этого письма — Корней Чуковский, влюбленный в Иоанна Грозного, пусть увиденного глазами Алексея Толстого, — интересное добавление к образу детского писателя и литературного критика, пользующегося устойчивой репутацией либерала. Понравилась пьеса и Михоэлсу, и, словом, все шло как по маслу, но вдруг оказалось, что противной, не либеральной стороне «Иван Грозный» не показался. Заказчик произведения председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко в той же газете «Литература и искусство», где печатался отрывок из «Орла и орлицы», опубликовал статью, в которой вынес пьесе приговор: «…Кипучая деятельность Ивана Грозного по «собиранию» земли русской, созданию централизованного государства не нашла отражения в пьесе. Широкий размах государственных преобразований, осуществленных Иваном Грозным, также остался вне поля зрения автора. Борьба Ивана Грозного с боярством сведена в пьесе к внутридворцовым распрям. Роль опричнины, на которую опирался Иван Грозный, по существу не показана… Несомненно, что пьеса А. Н. Толстого не решает задачи исторической реабилитации Ивана

Грозного»[853].

Еще раньше секретарь ЦК партии Щербаков в письме к Сталину от 28 апреля 1942 года информировал адресата: «Пьеса «Иван Грозный» писалась по специальному заказу Комитета по делам искусств, после указаний ЦК ВКП(б) о необходимости восстановления подлинного исторического образа Ивана IV в русской истории, искаженного дворянской и буржуазной историографией <…> постановка этой пьесы или издание ее усугубили бы путаницу в головах историков и писателей по вопросу об истории России в XVI веке и Иване IV»[854]. После чего предлагал «запретить постановку пьесы А. Н. Толстого «Иван Грозный» в советских театрах, а также запретить опубликование этой пьесы в печати»[855].

Пьесу лауреата Сталинской премии, депутата и академика Толстого не то чтобы запретили, а поступили с ней лукаво: опубликовали тиражом 200 экземпляров. Можно сказать, не опубликовали вовсе[89]. Для человека, давно привыкшего к успеху и отвыкшего от критики, это должно было стать сильным ударом.

«Все, кто проходят мимо, спрашивают друг друга о том, как реагирует Алексей Толстой на статью Храпченко, где он обвиняется в искажении образа Ивана Грозного», — отмечал в дневнике Вс. Иванов[856].

Утверждать однозначно, что репрессии исходили от самого Сталина, не приходится. С другой стороны, едва ли Храпченко или даже Щербаков самостоятельно решились бы на такой шаг. Но если Сталин это произведение читал, то можно попытаться предположить, чем именно оно ему не приглянулось.

Корней Чуковский не обманывался: Иван Грозный был нарисован Алексеем Толстым с большой теплотой, но слишком уж очеловечен, лиричен, по-своему даже чувствителен и великодушен. Влюбленный Иоанн Грозный… Благородный, пылкий человек, переживающий предательство близких друзей и ищущий утешения в женской любви. Драматургически — любопытно, но с точки зрения государственной — сомнительно. Толстой в своей пьесе и государственности отдал дань, противопоставив царя боярам как единого хозяина и радетеля земли русской, но этот мощный гимн не мог заглушить лирическую ноту и тоску: «Меня не ждет жена… На жесткой лавке сплю. Неладно одному, нехорошо… Вечер долог, сверчки в щелях тоску наводят».

Вдовому Сталину такое было в самый раз читать.

Потом появляется женщина, черкесская княжна Марья Темрюковна, которой царь изливает душу, рассказывает о своем детском унижении и доверяет тайные мысли, приходит к ней в самые тяжелые минуты. Любовь его к ней страстная, юношеская:

«Не сыт я тобой. До гроба сыт не буду. Ярочка белая, стыдливая… Глаза дикие, глаза-то угли. Ну, что, что дрожишь? Косами меня задушить хочешь? Задушусь твоими косами, царица».

В конце пьесы царица умирает, отравленная двоюродным братом царя князем Владимиром Андреевичем Старицким, и только тогда обнаруживается чудовищный размах заговора против Грозного, в который вовлечены почти все бояре. На царя совершается покушение, и от стрелы его закрывает собой ни больше ни меньше — юродивый, Василий Блаженный. Хорош был также Курбский, который накануне бегства говорил жене: «Сыновей береги больше своей души… Заставят их отречься от меня, проклясть отца, — пусть проклянут. Этот грех им простится, лишь бы живы были…»

Возможно, Сталин решил, что это уже чересчур. А может быть, вождь хотел видеть другого Ивана. Сотворение кумиров всегда было самой опасной частью литературного творчества, положительных героев писать труднее, чем отрицательных. Петр по этой логике удался, Иван Грозный нет. Но были читатели, которые полагали иначе.

«Храпченко сказал мне (по телефону), что Ваш «Грозный» пока что от постановки отклонен. С двойным чувством пишу я это письмо: и какого-то соболезнования, и определенно улыбчивой надежды, что не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Храпченко сказал еще, что есть статьи с указанием причин отклонения пьесы. Я этих статей не читал. Но я так много думаю о Вашем «Грозном» и так увлечен исключительными его качествами, что имею свое собственное крепкое суждение…

1. Толстой — талант огромный. В исторических картинах по выписанности фигур, по языку я не боюсь сказать, что не знаю ему равных во всей нашей литре. Ряд сцен в его пьесе превосходит все, что им до сих пор написано.

2. Но для драмы беда в том, что проявление его силы — кусками, пятнами. За одной, другой, третьей блестящей сценами следует совсем слабая. И не потому слабые они, что бледные краски, а потому, что автор занялся вдруг не тем, чего требует основная линия…

3. Толстой должен наконец написать пьесу замечательную — данный материал в его руках должен и может дать пьесу мудрую. А эта пьеса благодаря такой ответственности перед историей должна быть именно мудрой…

Исполнение Грозного Хмелевым может стать историческим. Более подходящего актера решительно по всем заданиям образа нельзя заказать…

Не могу Вам передать, до чего меня охватывает желание и вера в нечто, наконец-то исключительное; тут сливаются и увлеченность чертами Вашего таланта[90], и жажда крупного явления на сегодняшнем театре, и убеждение, что никакой другой театр не может достичь в данной области большего, чем МХАТ»{857}.

Этим письмом, которое принадлежало Немировичу-Данченко, на протяжении всего своего долгого пути Алексею Толстому как драматургу отказывавшему, наш герой мог бы гордиться больше, чем всеми критическими отзывами, опубликованными, неопубликованными, произнесенными и непроизнесенными. Это было настоящее признание[91].

Немирович-Данченко, которому оставалось жить меньше года, не льстил и не лукавил, его не волновали конъюнктура момента и отчасти даже мнение сталинского окружения, он искренне хотел, чтобы Толстой улучшил пьесу, отдал ее во МХАТ и главную роль в ней исполнил Хмелев, который когда-то сыграл Алексея Турбина. Хмелев в роли Турбина Сталина покорил, с тем же успехом мог покорить вождя и Хмелев — Иван Грозный. Немировичу был нужен гвоздь сезона. К тому же это были времена, когда прогремел фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и снималась вторая серия. Одному великому режиссеру хотелось потягаться с другим, театральному с режиссером кино, да и у Хмелева были свои резоны сыграть Грозного, роль которого в кино досталась другому.

Забегая вперед, скажем, что так почти и случилось. Ободренный письмом Немировича и возмущенный отношением к себе со стороны Комитета по делам искусств, в котором Толстому померещился новый РАПП, академик и депутат стал не просто переделывать пьесу, а написал продолжение («Трудные годы»), назвав все это драматической дилогией (и намереваясь ее продолжить[92]), и направил Верховному главнокомандующему письмо:

«История советского двадцатипятилетия и неистощимые силы в этой войне показали, что русский народ — почти единственный из европейских народов, который два тысячелетия сидит суверенно на своей земле — таит в себе мощную, национальную, своеобразную культуру, пускай до времени созревавшую под неприглядной внешностью. Идеи величия русского государства, непомерность задач, устремленность к добру, к нравственному совершенству, смелость в социальных переворотах, ломках и переустройствах, мягкость и вместе — храбрость и упорство, сила характеров, — все это особенное, русское и все это необычайно ярко выражено в людях шестнадцатого века. И самый яркий из характеров того времени — Иван Грозный. В нем — сосредоточие всех своеобразий русского характера, от него, как от истока, разливаются ручьи и широкие реки русской литературы. Что могут предъявить немцы в XVI веке? — классического мещанина Мартина Лютера?»{858}

После этого состоялся телефонный разговор между Сталиным и Толстым, а за ним следом Толстой отправил в Кремль новое послание:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я переработал обе пьесы <…>. Отделал смыслово и стилистически весь текст обоих пьес; наиболее существенные переделки я отметил красным карандашом.

Художественный театр и Малый театр ждут: будут ли разрешены пьесы.

Дорогой Иосиф Виссарионович, благословите начать эту работу»{859}.

Вождь благословил, и осенью 1944 года в Малом театре была поставлена первая часть «Орел и орлица». Ю. Оклянский в книге «Разговор с тираном» пишет, что Сталин был на премьере и ушел разгневанный, после чего состоялся еще один его телефонный разговор с Толстым. По всей вероятности, последний и тяжелый. Вслед за этим вышла критическая статья в «Правде» и спектакль сняли[93].

Что касается второй части дилогии «Трудные годы», где ярче были оттенены прогрессивная роль опричнины, любовь народа к царю и предательство бояр, то ее поставил МХАТ. Главную роль репетировал Хмелев, но на генеральной репетиции 1 ноября 1945 года, прямо в зале, в костюме и гриме Иоанна он умер.

«…На сцене стоял гроб с Хмелевым. Когда-то он снимался у меня в «Бежином луге». А позже, в 42-м году, когда незадолго до сталинградских боев я прилетел в Москву, он вломился ко мне в номер гостиницы, осыпая пьяными упреками за то, что не его я пригласил играть Грозного у меня в картине.

Сейчас он лежит в гробу. И уже с мертвого с него сняли грим и бороду, облачение и кольца, парик и головной убор Ивана Грозного. Он умер во время репетиции», — писал в мемуарах Сергей Эйзенштейн{860}.

Тень Грозного настигла Хмелева, как настигла еще раньше Немировича-Данченко, а потом и самого Толстого, так и не увидевшего свою последнюю и лучшую пьесу на сцене, за которую в 1946 году ему посмертно присудили третью Сталинскую премию (вторую в 1943-м Толстой получил за «Хождение по мукам» и передал ее в фонд обороны). А свидетелем его смерти стал и описал ее все тот же Эйзенштейн, переживший Толстого и Хмелева всего на три года. Так туго закрученным окажется этот грозный сюжет.

Однако до окончательной развязки был в биографии у Алексея Толстого еще один топоним —

Ташкент — едва ли не последняя щедрая пора в его судьбе, когда прощально блеснул великий талант нашего героя вкусно и размашисто жить. Ташкент, ставший порой подведения жизненных итогов и прощания с жизнью.

«А на улицах Ташкента все москвичи, ленинградцы! Знакомые в жизни, знакомые по кинолентам, знакомые по портретам в журналах — Тамара Макарова, кинозвезда с мужем режиссером Сергеем Герасимовым; грузный, брюзжащий всегда, с трубкой во рту Алексей Толстой со своей Людмилой в каком-то сверхэлегантном костюме; старый сказочник Корней Чуковский, сошедший с картины Кукрыниксов; Раневская, широко, по-мужски шагая, пройдет и бросит на ходу какую-нибудь острую реплику; а позже Анна Ахматова еле заметным кивком головы даст понять, что заметила; Лавренев с женой; Володя Луговской; вдова Булгакова Елена Сергеевна…»[861] — вспоминала Мария Белкина.

Толстой приехал в Ташкент в декабре 1941 года и сразу попал в причудливый мир, где мыкала горе столичная публика, учила английский язык и за полвека до распада СССР толковала о том, что Узбекистан в случае немецкой победы отойдет к Великобритании. Граф почувствовал что-то давно знакомое и окрестил Ташкент Стамбулом для бедных. Шутка прижилась и загуляла среди беженцев. И в самом деле, советские эвакуированные 1941–1942 годов, кучно жившие без денег и работы в чужом перенаселенном восточном городе, чем-то напоминали русских эмигрантов 1919-го в Константинополе.

Толстой пребывал в Ташкенте на особом, «бунинском» положении — академик, депутат, но, как когда-то на эмигрантском корабле в Черном море и на острове Халка, граф делал одно — работал, оправдывая эпитет «трудовой».

«Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц — и лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет. Таким я наблюдал его в Петербурге, в Москве, в Ташкенте, за границей, в Барвихе — повсюду»[862], — писал о Толстом Чуковский, и эти строки поразительно контрастируют с мыслями Толстого о самом себе, высказанными тринадцатью годами раньше в исповедальном письме к Крандиевской: «Будь я обеспеченным человеком, как бы я работал? Наверное, в 10 раз меньше. Я, может быть, нашел бы другую забаву, чтобы скрасить много, много лет дребезжащую во мне тоску земного существования»[863].

Теперь давно уже денег у него было предостаточно, но он все продолжал каждый день писать и не мог остановиться, будь на дворе война, будь мир — не важно.

«Его все узнавали по характерной внешности: барственный вид, берет на голове, курительная трубка в зубах, академические очки с большими стеклами, трость в руке, плащ через локоть.

Он был депутат Верховного Совета, деятель, участник множества правительственных комиссий. В первый раз я увидел его на премьере пьесы «Фронт» с Берсеневым в Театре Ленинского комсомола. Он приехал в открытом фаэтоне, запряженном двумя фурштатскими лошадками.

На протяжении всего спектакля он сидел на виду у всех в партере с каменным выражением лица. И всем своим видом он указывал на то, что вы находитесь не где-нибудь, а именно на премьере пьесы «Фронт». Присутствие Алексея Толстого придавало театральному действу политический смысл, — красочно описывал Толстого литературовед Эдуард Бабаев. — В другой раз я видел его в Ташкентском драматическом театре, где он читал главу из книги «Хмурое утро». На сцене был установлен старинный письменный стол, украшенный большой настольной лампой с абажуром из оранжевой набойной ткани. К столу было придвинуто

глубокое кресло.

В самом построении литературного вечера были элементы театральности. Сначала свет горел и в зале и на сцене, слышался сдержанный говор собравшейся публики. Но вот на сцену вышел Алексей Толстой с портфелем. Уселся в кресло, протянул руку и включил лампу под оранжевым абажуром.

Осветители притушили свет на сцене и уменьшили накал ламп в зале. И сразу наступила тишина. В тот вечер Алексей Николаевич читал главу о самозванце, который в конце гражданской войны объявился в зауральском селе. Глава жутковатая по смыслу, но наполненная историческим озорством и ерничеством»[{864}].

Читал в Ташкенте Толстой и «Ивана Грозного». Светлана Сомова, автор одного из многочисленных мемуаров об Анне Ахматовой, вспоминала: «Алексей Николаевич Толстой читал свою новую пьесу об Иоанне Грозном. Толстой был весьма значителен со своей львиной, откинутой назад головой и то мягким, то рокочущим голосом. Особенно запомнилось, как он читал ласковые, обращенные Грозным к жене слова, «лебедушка», и поглядывал на потупившуюся Людмилу Ильиничну. Сцена, где Грозный у гроба отравленной жены вглядывается в лица, ища убийцу, показалась вершиной драматизма.

Анна Андреевна на обратном пути сказала задумчиво: «Вот, как будто благополучный и уверенный в себе человек, а внутри — такая тоска по любви. Добротная речь и острый сюжет — все, что нужно для счастья»[{865}].

Наверное, не напрасно Толстой говорил Михаилу Булгакову, что писатель должен жениться не менее трех раз. Людмила Ильинична вдохнула в своего мужа новые силы, поколебав даже стойкую в своем неприятии Толстого Ахматову. Но к размышлениям Анны Андреевны о Толстом мы еще вернемся, а пока что приведем важное свидетельство из дневника Чуковского, подытоживающее те долгие отношения, которые существовали между двумя людьми, некогда встретившимися в финском местечке Келломяки и прошедшими через Серебряный век, Первую мировую, революцию, скандал с письмом в «Накануне», литературный Ленинград двадцатых, писательские съезды и страх тридцатых.

«Вчера в Ташкент на Первомайскую ул. переехал Ал. Н. Толстой. До сих пор он жил за городом на даче у Абдурахмановых. Я встречался с ним в Ташкенте довольно часто. Он всегда был равнодушен ко мне — и хотя мы знакомы с ним 30 лет, — плохо знает, что я такое написал, что я люблю, что хочу. Теперь он словно впервые увидел меня и впервые отнесся сочувственно. Я к нему все это время относился с большим уважением, хотя и знал его слабости. Самое поразительное в нем то, что он совсем не знает жизни. Он — работяга: пишет с утра до вечера, отдаваясь всецело бумагам. Лишь в шесть часов освобождается от бумаг. Так было всю жизнь. Откуда же черпает он все свои образы? Из себя. Из своей нутряной, подлинно-русской сущности. У него изумительный глаз, великолепный русский язык, большая выдумка, — а видел он непосредственно очень мало. Например, в своих книгах он отлично описывает бедных, малоимущих людей, а общается лишь с очень богатыми. Огромна его художественная интуиция. Она-то и вывозит его»[{866}].

Здесь много правды. Толстой был действительно равнодушен ко всем, кого считал ниже себя. Но дело не в бедности и богатстве. Толстой общался не с богатыми. Он общался с талантливыми и всегда стремился быть первым из них, центром. Это ревниво подчеркнул в «Театральном романе» отодвинутый на периферию литературной жизни Булгаков, это подмечал и раздражался, рассуждая о нетворческом поведении Толстого, добровольно находившийся на обочине литературного процесса Пришвин. Это много кому не нравилось, но

в таком своеобразном «литературоцентризме» сказалась та черта в характере графа, от которой он, даже если бы захотел, не смог бы избавиться. Его врожденный порок — желание быть главным и первым.

В Ташкенте Толстой тоже первенствовал. Для начала он попытался организовать переворот в Союзе писателей и свалить Фадеева, о чем секретарь ЦК КП (б) Узбекистана Н.А. Ломакин докладывал 17 декабря 1941 года члену Политбюро ЦК А. А. Андрееву:

«3 дня тому назад в ЦК КП Узбекистана пришел Алексей Толстой и от имени всех московских писателей, находящихся в Ташкенте, поставил вопрос о необходимости «полной реорганизации и обновления руководства Союза советских писателей СССР», имея в виду получить у нас поддержку в такой постановке вопроса. А. Толстой заявил, что Фадеев и его помощники распоясались, потеряли всякую связь с писателями, судьбой их не интересуются и занимаются, главным образом, устройством личных дел в г. Чистополе. Он, в частности, высказал свое возмущение тем, что т. Фадеев, под пьяную руку, выдает безответственные мандаты отдельным писателям на право «руководить» различными отраслями писательской работы в Узбекистане <…>.

В эту групповую возню за последние дни начали вовлекаться и некоторые узбекские писатели.

Явно неправильное поведение московских писателей нашло свое яркое выражение в проекте их письма в ЦК ВКП(б) на имя т. Андреева и т. Щербакова. В этом письме, написанном Алексеем Толстым, Николаем Виртой и Иосифом Уткиным, делаются прямые намеки на необходимость отстранения Фадеева от руководства Союза писателей и ставится вопрос о создании нового полномочного органа Союза Советских писателей с тем, чтобы он находился в одном из крупных центров СССР. В этом письме утверждается, что организация (Союз писателей) по сути дела распалась и не представляет из себя целостной политической группы.

Тов. Юсупов предложил т. Толстому этого письма в ЦК ВКП(б) не посылать, прекратить составление такого рода «коллективных документов», никаких собраний без ведома ЦК КП(б) Уз впредь не проводить <…> Тов. Толстой согласился с этими указаниями и заявил, что письмо, написанное на имя т. Андреева и т. Щербакова, послано не будет…

Посоветовавшись между собой, мы решили проинформировать Вас об этом»[{867}].

Итак, бунт против Фадеева, который четырьмя годами раньше стоически переносил чемоданы четы Толстых с поезда на поезд в фашистском Берлине, удалось погасить, а сам Фадеев позднее писал Безыменскому: «Всему свету известно о довольно плохом и при этом застарело плохом отношении Толстого ко мне, что не мешает мне относиться к нему как к крупнейшему русскому писателю с большим уважением»[{868}].

В Ташкенте Толстой возглавил худсовет ташкентского филиала «Советского писателя», готовился выпускать антологию современной польской поэзии (польский художник и поэт Юзеф Чапский позднее вспоминал: «К десяти часам вечера в большой гостиной мы собрались вокруг стола с вином и великолепным кишмишем, а также другими сластями. Жара спала. Было свежо и прохладно»), придумал устроить благотворительный спектакль в пользу детей, для которого сам написал шутливую пьесу и сыграл в ней роль. Его дом был снова полон народа, он помогал деньгами, продуктами, звонками, письмами, работой. Разумеется, выручить всех он не мог да и не стремился, но одним из тех, кому Толстой, словно искупая вину перед Гаяной Кузьминой-Караваевой, помог очень, продлив и скрасив жизнь, был шестнадцатилетний юноша.

Ребенком его вывезли из Франции в Россию, где он сильно страдал и мучил свою мать характером таким же изломанным, как и его судьба и жизнь, к несчастью, очень короткая. Звали этого молодого человека Георгий Сергеевич Эфрон, а домашние дали ему прозвище Мур. Был он сыном покончившей с собой поэтессы Цветаевой.

В Стамбуле для бедных, куда Мур попал, сбежав из Елабуги и Чистополя, он оказался на первых порах едва ли не самым несчастным подростком. Гордый, плохо приспособленный к советской жизни, Георгий Эфрон голодал, болел, однажды голод его стал так силен, что он украл у своей квартирной хозяйки вещи и купил на них еды. Кража раскрылась, хозяйка обратилась в милицию, и возникшую из-за этого историю удалось замять с большим трудом.

Толстые стали принимать участие в его судьбе.

«Часто бываю у Толстых. Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех, — писал Мур находившейся в лагере сестре Ариадне. — Очень симпатичен сын Толстого — Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у нее вкус и она имеет возможность его проявить. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово «учеба». Дом Толстого столь оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий «литфон»...[{869}]».

Характеристика необыкновенно живая и точная, в Муре, как к нему ни относись, действительно погиб огромный талант.

«Мне нравятся Толстые — он молодец, вершит судьбы, пишет прекрасные, смелые статьи, живет как хочет»[{870}].

Последнее важнее всего: Толстой был в глазах Мура свидетельством того, что и в Советском Союзе талантливый человек может жить свободно, независимо и богато, чего не смогла добиться несчастная Мурова мать и о чем мечтал ее сын. Толстой в этом смысле вселял надежду. «Я конечно очень рассчитываю на Толстого, благо Алексей Николаевич помогает мне из-за мамы, его жена — из-за личного расположения ко мне»[{871}].

Мур надеялся, что Толстой поможет ему поступить в Литературный институт, и в апреле 1943 года писал тетке: «Успешно кончил 3-ю учебную четверть. Это было трудно — из-за призыва и болезней. По-прежнему держу курс на Москву; по совету жены Алексея Николаевича написал заявление в Союз писателей; Алексей Николаевич поддержит, и вызов весьма будет вероятен»[{872}]. А в другом письме: «Отсутствие аттестата не помешает мне поступить в ВУЗ. Надеюсь, в Москве Толстые подсобят в этом плане»[{873}].

В архиве Литинститута хранится письмо А. Н. Толстого на бланке депутата Верховного Совета Союза ССР на имя директора института Федосеева с просьбой зачислить Георгия Эфрона на переводческое отделение.

Это для человека, чей отец был расстрелян как враг народа в октябре 1941 года, чья сестра отбывала срок в лагере, а мать повесилась, Толстой сделал. Освободить его от армии он не мог да и не считал, наверное, нужным[94]. Весной 1944 года Мура призвали, а 7 июля того же года рядовой красноармеец Георгий Эфрон погиб. Место его упокоения так же неизвестно, как могилы матери и отца.

В Ташкенте же начался новый и на сей раз последний раунд в сложных отношениях между Алексеем Толстым и Анной Ахматовой, отношений, которым исполнилось более тридцати лет, и те, кто молодыми начинали в «Аполлоне», кто прожили такие разные жизни, разводились, создавали новые семьи, а теперь постарели и стали грузными, должны были договориться до конца. Здесь Алексей Толстой относился к Ахматовой с особой нежностью и заботой, чем, к слову сказать, вызвал ревность и обиду за покойную мать со стороны Г. Эфрона.

«В Ташкенте Ахматова, окруженная неустанными заботами и почтением всех, и особенно Алексея Толстого»[{874}], — писал Мур своим теткам, а в другом письме добавлял: «Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами. Подчас мне завидно — за маму. Она бы тоже могла быть в таком «ореоле людей», жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была «богиней», «сфинксом», каким являлась Ахматова. Она не была способна вот так просто сидеть и слушать источаемый ртами мед и пить улыбки. Она была прежде всего человек — и человек страстный, неспособный на бездействие, бесстрастность, неспособный отмалчиваться, отсиживаться, отлеживаться, как это делает Ахматова»[{875}].

Ахматова действительно играла роль королевы, и все вокруг, включая Толстого, ей подыгрывали, но граф был особенно предупредителен и почтителен, как будто это не он, а она обладала государственными почестями и регалиями. Он стремился загладить недоразумения, которые между ними были, и, по всей вероятности, царственная Ахматова принимала знаки уважения сталинского лауреата, но в сердце своем его не простила[95] и немногим позднее, в том самом разговоре с Исайей Берлиным, когда она обвинила Толстого в гибели Осипа Мандельштама, сказала о нем: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках a la russe и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все, он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего «Петра Первого», потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. «Что мне делать с ними всеми старыми?» Он был похож на Долохова и называл меня Аннушкой, — меня это коробило, — но он мне нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня»[{876}].

Как это часто у Ахматовой бывает — тут рассыпано много глубоких и одновременно сомнительных мыслей. Толстой действительно не окончил ни Ивана Грозного, ни Петра, потому что писать о смерти ему было тяжело, и Ахматовой он доверял самое сокровенное, что было в его сердце, — не только свое нежелание писать о старости своих героев, но и страх перед собственной надвигающейся старостью[96].

Наверное, он и впрямь по-своему любил ее, любил в ней свою собственную молодость, о которой так грустно было думать, что она навсегда ушла, любил «Аполлон», «Бродячую собаку». Он любил теперь и само то время, над которым посмеялся в «Егоре Абозове» и «Хождении по мукам», любил свои ранние стихотворные опыты и уроки поэтического мастерства. Отсюда та напористость, с какой Толстой говорил о «Башне» Вячеслава Иванова с Константином Симоновым в сорок третьем году. И Муру, сыну Цветаевой, он помогал по той же причине. И хотя он мало что понимал в «Поэме без героя», да и вообще они по-разному понимали поэзию[97], все равно он искренне провозглашал тост за Ахматову — первого поэта эпохи (себя, вероятно, считая первым ее писателем). Душевно они все — и Ахматова, и Цветаева, и Вяч. Иванов — были ему гораздо ближе, чем Горький, Фадеев, Симонов, Шолохов,

Вс. Иванов — чем вся эта новая, жадная советская литература, которая его принимала и называла своим учителем. Но они Толстому были чужие, а Ахматова — родней, хотя и коробило ташкентскую королеву от «Аннушки». Но он от сердца, а не из фамильярности так ее называл.

Ахматову он любил, этого у Толстого не отнять. И как знать, проживи Толстой чуть дольше, не посмели бы в 1946 году назвать Ахматову на всю страну блудницей.

А Ахматова… А Ахматова говорила Юзефу Чапскому, с которым познакомилась в доме у Алексея Толстого и который ее после этого затянувшегося вечера провожал, что приходила к Толстому с единственной целью — чтобы тот помог ее сыну, и очень может быть, что все ее общение с Толстым ограничивалось материнским желанием спасти Льва Гумилева, и бесцеремонная забота графа глубоко ее резала, потому что нагрубить, покуда сын был в заложниках, она не могла. Может быть, противен ей был как никто вечно сытый и вальяжный лауреат, и, жившая в комнатушке под раскаленной железной крышей, она стыдилась быть гостьей его прохладного, просторного дома и принимать из его рук помощь (неслучайно Толстой, когда она отвергла его предложение помочь ей с квартирой[98], назвал Ахматову «негативисткой»).

Она не мерилась с Алексеем Толстым талантом, признанием, деньгами, количеством выпущенных книг и хвалебных статей. Она знала, даже слишком хорошо знала, что рано или поздно все встанет на свои места, а общение с ним может испортить биографию, к которой так ревниво относилась Анна Андреевна. Но были еще у обоих сыновья. И так получалось, что свой родительский долг Толстой исполнил лучше, чем она.

«— С двух лет бабушка объяснила ему, что мать — божество. Он поверил и до последнего дня верил каждому слову матери. А мать говорила ему: видишь, вот в машине едет Никита Толстой. У тебя никогда не будет машины, у тебя никогда ничего не будет, я могу дать тебе только…»{877}

Полагают, что это многоточие заменяет тюрьму.

Так где ж ей было Толстого любить?

И последнее в ахматовском отзыве об Алексее Толстом: «был чудовищным антисемитом». На страницах этой книги тема толстовского юдофобства возникала не раз. Многие писатели называли Толстого антисемитом, интересные наблюдения над образами евреев в произведениях Толстого имеются у Елены Толстой; выводил в своих романах двадцатых годов в качестве антисемита красного графа Эренбург; можно наконец вспомнить рощинский крик, обращенный к Кате: «К черту!.. С вашей любовью… Найдите себе жида… Большевичка…»

А с другой стороны, летом 1943 года в «Правде» на целой полосе была опубликована статья Толстого о жертвах Холокоста. Еще раньше, в 1939-м, Толстой писал в связи с юбилеем Шолом-Алейхема: «Мудрый, добрый иронически — горький писатель любил свой народ за его страдания, за его верность, за его горькую нищету, за его вечный юмор, за его утонченную человечность.

Вот где лежат глубокие истоки высокого гуманизма Шолом-Алейхема, вот что поднимает его в ряды великих писателей»{878}.

Но главное, пожалуй, не это. Главное — что самым близким, самым дорогим другом Толстого в последние годы его жизни был человек, которого назовут главным евреем Советского Союза и которого за его еврейство убьют.

«Соломон, — заявил он при этом, — вот купил подсвечник, — сказали, что редкий, персидский. Отмыли надписи — оказалось, твой — «субботний». Вот я и принес. Пусть у тебя стоит»[879].

Едва ли можно было ненавидеть евреев, их религию, традиции, лица, их кровь, чтобы, купив иудейский подсвечник, прийти с ним к Соломону Михоэлсу и простодушно его подарить: твой — субботний.

Соломон дарил Толстому свои подарки.

«Когда Михоэлс показал Людмиле Ильиничне ручку, привезенную им для Толстого из Америки, Людмила Ильинична трогательно сказала: «Соломон! Это чудесно, но можно я тебе дам для нее футлярчик. Алеша очень любит разворачивать подарки и всегда радуется, когда дорогая вещь хорошо упакована»[880].

Они были очень дружны — великий еврейский актер и режиссер Соломон Михоэлс и русский писатель граф Алексей Толстой.

«Знаешь, мало с кем так интересно спорить! — говорил Михоэлс о Толстом. — Мы с ним друг у друга не в долгу, ни в чем не заинтересованы в смысле просьб и ходатайств даже для других, а не то что для близких! А поспорить есть с кем! А поспорить иногда так хочется! И талантлив же он! Всегда видит вещи не в одной плоскости! А юмор! А любовь к жизни!»[881]

Михоэлсу читал Толстой пьесу про Ивана Грозного и, по воспоминаниям дочери главного режиссера Еврейского театра, тот слушал ее с восторгом: «В зале театра собралось всего несколько человек. Алексей Николаевич сидел на сцене, а Соломон Михайлович примостился на ступеньках лесенки, которая вела из зрительного зала на сцену. Маленький человек, почти гномик, сидел на лесенке, поджав ноги, повернув свою некрасивую, прекрасную голову к Алексею Николаевичу. Иногда оборачивался, поглядывал на слушателей, и в его взгляде читалось: «Ну как? Что я вам говорил?» Пьеса и впрямь была поразительная. В некоторых сценах угадывался Сталин. Особенно запомнилась сцена у гроба жены. Сидел Иван Грозный и цепко, испытующе вглядывался в лица тех, кто пришел с ней проститься: «Кто из них отравил?»

Читал Толстой великолепно <…>. Потом, припоминая это чтение, думая о Михоэлсе, о его трагической судьбе, я видела его именно таким, сидящим на ступеньках лесенки. Маленький человек, гномик и — величественный король Лир. Один и тот же человек. Удивительно»[882].

В Ташкенте в 1942 году они вместе — Толстой и Михоэлс — играли в спектакле, устроенном в пользу голодающих детей. Традиция дореволюционная, несоветская (в СССР не может быть голодающих детей), но в военном Ташкенте можно было все.

«На высоком театральном сундуке рядышком сидели уже одетые «плотники».

Сундук был высокий даже для Толстого, а Михоэлс болтал ногами в воздухе и давал последние наставления:

— Понимаешь, Алексей, главное — это полное совпадение ритма и жеста. В этом — наш текст. Ты только смотри и повторяй в ритме! Да что тебе говорить. Сам понимаешь! <…>

И тут появляются два плотника. Впереди Михоэлс, за ним Толстой. Михоэлс в сплющенной кепке, Толстой в рваном берете. Оба в рубахах, в передниках, из карманов торчат поллитровки. Молчаливый проход по авансцене (почти марш). Движения, абсолютно совпадающие и

повторяющие друг друга. Прошли…

Остановились. Двинулись дальше, опять остановились, молча «поговорили», присели и начали исступленно вколачивать гвозди, неистово стуча молотками.

Вбегает целая толпа… Скандал! Съемка сорвана! Плотников куда-то выпихивают! Вновь тишина! Опять вспыхивает транспарант и повторяется точно такой же выход плотников. И было такое подлинное мастерство в этом молчаливом дуэте, что зал мог заглушить стук любых молотков своими аплодисментами!

К великому счастью, сохранился изумительный фотоснимок «плотников».

Копию этого снимка, подаренного Л.И. Толстой, Михоэлс свято хранил»[{883}].

Свою версию этого спектакля рассказывала и Фаина Раневская:

«— Было очень-очень смешно, — сказала Ф.Г. — Алексей Николаевич отлично знал быт киностудий — во время съемок его «Петра» он не вылезал из «Ленфильма». Скетч, что он написал тогда, — пародия на киносъемку. Действие разворачивалось в павильоне, где якобы снимался фильм из зарубежной жизни. Скетч, по-моему, так и назывался — «Где-то в Берлине».

На бутафорскую крышу большого дома (самого дома, как и водится в кино, никто не строил) выходила Таня Окуневская, тоскующая героиня фильма, — красивая, глаз не отвести!.. Вспыхивали прожектора, режиссер — Осип Абдулов — кричал магическое:

— Мотор!

Хлопала эта безумная хлопушка — ненавижу ее всеми фибрами души! — и Таня пела, как ни странно, на мотив «Тучи над городом стали»:

*Вышла луна из-за тучки,*
*Жду я свиданья с тобой!*

И еще тому подобную чепуху.

В это время появлялся Гитлер — Сережа Мартинсон, — он шел на свидание с Окуневской. Завидев его, двое рабочих студии — плотники в комбинезонах — их гениально изображали Соломон Михайлович Михоэлс и сам Толстой, изображали без единой репетиции, на сплошной импровизации — угрожающе двигались на него, сжав кулаки и молотки.

Гитлер-Мартинсон в страхе пускался наутек, режиссер хватался за голову, орал:

— Стоп!

Съемка останавливалась, но стоило появиться Мартинсону, все начиналось сначала.

— Ребята, — чуть не плача, просил Абдулов Михоэлса и Толстого, — это не настоящий! Это артист, он зарплату получает нашими советскими рублями, и у него карточка на хлеб и на крупу есть!

Начиналась съемка, снова пела Окуневская: «Вышла луна из-за тучки!..»

Публика уже не могла слушать ее — покатывалась от смеха. И снова на съемочную площадку

пробирался Гитлер-Мартинсон, ища уже обходные пути, но плотники, удивительно точно повторяя движения друг друга, как заведенные устремлялись к нему, не в силах сдержать гнев. Режиссер впадал в истерику, в сотый раз пытаясь объяснить, что Гитлер ненастоящий, прибегая уже к самым абсурдным аргументам: «Его только вчера исключили из комсомола!» Но после команды «мотор» все начиналось снова. Хохот в зале стоял гомерический»[884].

Этот живой мемуар ценен не только сам по себе, но и как свидетельство толстовского блестящего таланта и очередного… хулиганства. То, что устраивали в Ташкенте Толстой с Михоэлсом, Раневской и Окуневской, можно было бы назвать современным словом «хеппенинг». Но дело даже не в легкости и раскованности, которые принес граф на ташкентскую сцену. Дело в том, что Алексей Толстой мог в своих публицистических статьях крыть Гитлера и всю немецкую нацию последними словами, воспитывая в советских людях ненависть к врагу, мог писать антинемецкие пьесы[99], но одновременно сам же над этой ненавистью смеялся. И в этом соединении двух противоположных начал, в этой автопародии, чего бы она ни касалась, сказался его подлинный дух. Не злодеем он был, не лакеем, не негодяем, а шутом. Антошкой Арнольдовым. Или, как уже говорилось, булгаковским котом Бегемотом, за шутовством которого скрывался рыцарь, который однажды неудачно пошутил…

Толстой, в отличие от Бегемота, шутил часто, с этим шутовством всю жизнь прожил, с ним из жизни и уходил. Только не простое было его шутовство, а горькое, отравленное. Толстому б не в XX веке жить, а столетием раньше. И был бы он хлебосольный русский барин, и писал бы щедрую прозу, и прожил бы долгую жизнь, на которую был задуман и рожден, но выпали ему революции, войны, страх, ненависть, гнев… Они-то и свели его раньше срока в могилу.

## Глава XXIV. «Не люблю ее финала»

Почти все, кто знал Алексея Толстого в последние годы его жизни, уверены, что его убила работа в комиссии по расследованию злодеяний фашистского режима.

«Его включили в комиссию по расследованию нацистских преступлений. Была большая группа: ученые, писатели, криминалисты и, по-моему, священники. Алексей Николаевич приезжал в Москву после этих поездок совсем другой: не разговаривал, почти ни с кем не встречался, лицо черное, мрачное. Долго не был сам собой. Наверное, много видели они невыносимо страшного»[885].

«Он возвращался с этих страшных процессов как с того света, — вспоминала Анна Алексеевна Капица. — Вместить в себя столько ужасов он не мог: «Я каждый раз умираю с этими людьми». Это его уничтожило — для нас это очевидно»[886].

«Он боялся покойников, но тщеславие привело его к харьковским виселицам: как член Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию немецких злодеяний он присутствовал на казни немецких палачей и должен был смотреть, как они дергаются в петлях. Он был разбит после этого зрелища для толпы, и — странно — жизнь его омрачилась после прикосновения к казни», — писал Федин[887].

Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс также считала, что Толстой смертельно заболел в декабре 1943 года, после того как побывал в освобожденном Харькове, где устроили первый показательный процесс над немецкими офицерами, виновными в гибели советских людей.

«Господи, боже мой, какая же сволочь эти трое, прижатые вилами, холодные мучители. Хоть лица у них были, что ли, сатанинские, а то так, дрянь, плюнуть не на что», — писал Толстой в

отчете о казни трех военных преступников. Но именно эти ничтожества и увели его за собой.

«Толстой погибает от распада тканей в легких, от последствия своей поездки в Харьков, ускорившей ход его болезни.

Понимала я и то, что вся его болезнь, все его страдания — это результат огромного его гнева. Гнев Толстого я чувствовала, а не только знала — по его поведению во время войны, по его статьям, высказываниям во время эвакуации <…>.

В его гневе и ненависти к врагу было слито все в один кулак, протестующий против гибели, смерти, до конца защищающий свое заветное! Родину — Землю — Цвет — Язык — Слово — Литературу <…>. И Толстой и Михоэлс ездили в послефашистский Харьков. Оба они были включены в Чрезвычайную Государственную комиссию по расследованию злодеяний фашистов на оккупированных территориях.

Поразительно, что так жадно, ненасытно любящий жизнь (повторяю это сознательно) — Алексей Толстой был настолько потрясен увиденным, что заболел смертельно»[{888}].

О поездке в Харьков вспоминал и Эренбург: «В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский…»[{889}]

Итак, Эренбург не пошел, поберег себя, а Толстой не удержался или не смог уклониться, как не уклонился от работы в самой комиссии — Федин все же скорее наговаривал на Толстого, что его-де привело тщеславие: ненависть загорелась в сердце Толстого раньше, чем в сорок третьем году, достаточно перечесть его военную публицистику — но именно работа в комиссии его добила.

«Кадры были такие: только что разрытый ров, забитый трупами. На краю рва Толстой. Крупным планом лицо Алексея Николаевича…

Вернувшись, он ничего об этом не рассказывал», — вспоминал об одной из документальных съемок военных лет на освобожденной земле Валентин Берестов[{890}].

В 1944 году тяжелая болезнь Толстого уже не была ни для кого секретом.

«…мысли об А. Н. Толстом в связи с продолжением Петра в Н[овом] М[ире], читать которое наслаждение в каждой строчке. Большой писатель с обширным самостоятельным хозяйством. И весь переиздается — от дореволюционных до нынешних. На всем печать работы художника, которая чувствуется, и для него не что иное, как главное и м. б. единственное] в жизни истинное наслаждение. Сколько на свете таких ненаписанных писем, как то, которое отвлекало меня сегодня от работы, пока писал! Говорят, он серьезно болен. Старая штука: помрет, увидим сразу, кто был среди нас, какого человека потеряли», — отмечал в августе в своих записных книжках Александр Твардовский[{891}].

Знал ли Толстой, что умирает? Скорее всего, да.

Что об этом думал?

На этот вопрос ответить непросто, хотя ответ поискать надо, ибо любой человек, а тем более

писатель более всего раскрывается в своих отношениях со смертью. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Андрей Платонов — у каждого был с ней свой роман, и каждый в своем творчестве отдал смерти дань. «Гробовщик», «Завещание (Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть)», смерть Базарова в романе «Отцы и дети» и рассказы о смерти в «Записках охотника», «Смерть Ивана Ильича», «Тоска», «Жизнь Арсеньева», «Господин из Сан-Франциско», «Третий сын» — этот ряд русских шедевров можно продолжать и продолжать. Но из немалого литературного наследия Алексея Толстого поставить сюда почти нечего, разве что Мишуку Налымова с его безобразной кончиной да Франца Лефорта, приказавшего играть в минуты его кончины танцевальную музыку.

У третьего Толстого были странные отношения со смертью и с тем, что ждет человека после нее. Старший сын его приводит в своих мемуарах один рассказ:

«— Что ты думаешь по поводу человеческой души после смерти?

— Видишь ли, когда я был, как тебе известно, в Англии, я познакомился с Конан-Дойлем. Роскошный писатель и человек приятный. Но с бзиком. Верил в загробную жизнь и спиритизм. Мы понравились друг другу, мне было лестно: он — маститый, знаменитый, я еще молодой. Так вот, он начал уговаривать меня, что вся эта загробность непременно существует, что после смерти душа покойного может подать сигнал живущим и тому подобное. Мы гуляли вдоль Темзы, я вежливо слушал, кивал головой, но он, конечно, понял, что я ни черта не верю в эту мистику, и тогда он сказал мне с любезной веселостью:

— Дорогой друг, я намного старше вас и умру, естественно, первым. Давайте сразу заключим джентльменское соглашение: после моей смерти я сразу являюсь к вам и подаю ясный знак и напоминаю о нашем условии. Вы признаете, что я был прав…

Лицо отца приняло значительный и загадочный вид, как у человека, который хранит важную тайну. Опустил глаза, молчал, ковырял трубку.

Я, с волнением ожидая чудес, пробормотал:

— Ну и что? Он умер в прошлом году…

Отец посмотрел на меня с издевательским сожалением:

— Надул проклятый англичанин… Не по-джентльменски…»[892].

«Вообще это был мажорный сангвиник, — вспоминал Чуковский. — Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему.

Когда мы жили в Ташкенте, мы условились, что будем ежедневно ходить в тамошний Ботанический сад, который нравился Толстому своей экзотичностью.

Два раза совместные наши прогулки прошли благополучно, во время третьей я неосторожно сказал:

— Теперь, когда мы оба уже старики и, очевидно, очень скоро умрем…

Толстой промолчал, ничего не ответил, но едва мы вернулись домой, тут же с порога заявил своим близким:

— Больше с Чуковским никуда и никогда не пойду. Он такие га-а-адости говорит по дороге.

Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах, немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андроникова, что Андроников повсюду, куда бы ни являлся, вносил с собой радостный праздник <…>. Человек очень здоровой души, он всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов, и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток»[{893}].

Толстой избегал ходить на похороны друзей, даже самых близких. В 1935 году не пришел на похороны Радина, еще раньше не был на похоронах Щеголева. Горького ему пришлось хоронить. Но тут уж невозможно было отвертеться, и хоронил Толстой Горького с видимым отвращением.

«Ругайте меня… Но смерть… — он как будто отпихивает что-то руками. — Я… Я не могу…

Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти. Он слишком любил жизнь.

— Я не люблю ее финала, — сказал он, как бы подшучивая над собой»[{894}].

А между тем его собственный финал был уже совсем близок. «Сейчас надвигается угроза потери Толстого: он безнадежно болен, ему хуже с каждым днем. Сейчас он в санатории «Барвиха», откуда его не выпускают. Положение, по-видимому, такое, что нельзя даже ждать и чуда!» — писал в дневнике Федин[{895}].

Свой последний Новый год Алексей Толстой встречал 31 декабря 1944 года. Хранитель толстовского музея в Самаре А. Г. Романов рассказывал в одном из интервью, что, когда на Новый, 1945 год Толстого с женой пригласили на прием в посольство, у Алексея Николаевича начался приступ кровохарканья, и они не поехали. «Тогда Людмила Ильинична выговорила ему, что он испортил ей Новый год»[{896}].

Эта версия несколько расходится с мемуарами Потоцкой, и дело тут не в том, где и как встречал Толстой свой последний Новый год, но в том, какую роль играла в его последние дни Людмила Ильинична, к которой большинство мемуаристов склонны вслед за детьми Толстого относиться отрицательно[100]. А между тем вдова Михоэлса вспоминала так:

«В 1944 году мы должны были вместе встречать Новый год в ЦДРИ. Однако в самый последний момент встречу в ЦДРИ отменили. Соломон Михайлович позвонил об этом Алексею Николаевичу, который, не задумываясь, сказал по этому поводу, что раз так, то все решается очень просто. Мы должны приехать к ним на дачу и встретить Новый год совсем особенно, то есть вчетвером, «у очага». Несколько раз Алексей Николаевич повторил это выражение и говорил: «И даже очень хорошо! Сейчас столько людей должно вспомнить о том, какое счастье, если к концу этой чертовой войны очаг остался и можно около него посидеть!»

Мы приехали. Был накрыт великолепный праздничный стол. У Толстых в доме всегда было много прекрасных цветов, но на этот раз в центре стола стояло какое-то поистине необыкновенное цветущее дерево. Оно было почти фантастическим по изобилию цветов.

— А это — древо жизни, так и называется, — с удовольствием наблюдая наше изумление, сказал Алексей Николаевич. Мы просидели всю ночь за столом веселые, но трезвые, увлеченные разговорами, несколько раз хозяева вставали из-за стола, чтобы поднять телефонную трубку и принять поздравления. Никто не танцевал, резко не двигался, но утром

«древо жизни» нашли надломленным!

Так и неизвестно, что было причиной, — чей-то неудачный жест, толчок…

Надо было видеть тревогу и горе Михоэлса, когда он узнал об этом… Не говоря о всех его актерских суевериях, это было для него каким-то внутренним ударом: «древо жизни» подкошено, и такая необычайная, взволновавшая красота этих цветов осуждена на гибель. Алексей Николаевич переживал это именно так же. Они были поэтами!

Болезнь Алексея Николаевича особенно близко связала нас с ним и с Людмилой Ильиничной. Борьба Людмилы Ильиничны за его жизнь была ни с чем не сравнимой.

Мне привелось быть на консилиуме врачей в Кремлевской поликлинике, на консилиуме, где присутствовала и Людмила Ильинична, и лечившие Толстого врачи, и сам Алексей Николаевич.

Знал ли Алексей Николаевич о приговоре себе? Никто никогда не сможет об этом сказать с уверенностью. Но одно не может уйти из памяти, так же, как не уйдет из памяти вопрос, почему Михоэлс перед отъездом в Минск побывал у всех друзей и позвонил Капице. Совершенно так же остается без ответа, почему Алексей Николаевич, уходя с консилиума, открывая дверь, сказал:

«Спасибо! А вот Михоэлс привез жене из Америки раковых мышей». И с этим ушел.

И когда мы были в Барвихе на даче Толстых в последний раз в день рождения Алексея Николаевича, он — нарядный, веселый, удивительно праздничный — отвел нас с Михоэлсом в свою комнату и сказал:

— А Миля… Миля борется за каждую минуту моей жизни. Она настоящий герой! Но об этом сегодня ни слова, обещайте мне оба!

Вечером за огромным столом собрались близкие: дочь Алексея Николаевича, Марианна Алексеевна, ее муж генерал Шиловский, приехавший ко дню рождения из Ленинграда близкий друг Толстых профессор В. С. Галкин. Алексей Николаевич и Людмила Ильинична возглавляли концы стола. Юрий Александрович Крестинский, вероятно, был в том убийственном положении, когда человек знает, что придется вести машину в Москву после ужина. А ужин, как и всегда у Толстых, дышал обилием, вкусом и приглашающим убранством стола. Горели свечи. Юрий Александрович принес Алексею Николаевичу гранки последней главы из «Петра Первого», написанной Толстым, кажется, уже в санатории. Соломон Михайлович, зная, что Алексея Николаевича «выдали» из санатория только на этот вечер, испугался, что чтение утомит Толстого.

Но Толстой, повернувшись к нему всей фигурой и покачав укоризненно головой так, что на подаренной феске задрожала кисточка, сказал:

— Ты что это, Соломон? Я, может, этого часа ждал… почитать тебе! Вам! Кому я еще буду читать? Кому? Нет уж, извини!

И Толстой начал читать.

Тот, кто только читал Толстого, но не слышал его собственного чтения, — не имеет представления о том, что он потерял. Алексей Николаевич был не только превосходный чтец. Нет! Это был замечательный актер… Притом актер, держащий в руках текст большого

писателя, драматурга, язык которого зачаровывал.

Надо было видеть, как очаровывал Михоэлса язык Толстого, Михоэлса, на глазах превращавшегося в слух, впитывавшего не только драматургию текста, но и музыку толстовского языка.

Когда Алексей Николаевич кончил читать, было так тихо, что я вдруг услышала приглушенное рыданье где-то в дальнем углу. Это ничего не слыхавший, верней, ничего не слушавший Галкин неудержимо рыдал о том, что он прощается со своим другом»[{897}].

«Он остался верен себе, — вспоминал тот же самый день рождения Толстого и Чуковский, — за несколько недель до кончины, празднуя день рождения, устроил для друзей веселый пир, где много озорничал и куролесил по-прежнему, так что никому из его близких и в голову прийти не могло, что всего лишь за час до этого беспечного пиршества у него неудержимым потоком хлынула горлом кровь»[{898}].

«Последнюю встречу с ним не забуду, — записала в своем «Дневнике на клочках» Фаина Раневская. — Он остановил меня на улице, на Малой Никитской. Я не сразу его узнала, догадалась — это Толстой. Щеки обвисли, он пожелтел, глаза были не его. Он сказал: «Я вышел из машины, не могу быть в машине — там пахнет. И от меня пахнет, понюхайте…» Я сказала, что от него пахнет духами.

А он продолжал говорить: «Пахнет, пахнет, всюду пахнет».

Машина стояла рядом, но он не хотел в нее садиться. Я предложила проводить его до дому. Взяла его под руку. По дороге он просил меня запомнить и сказать всем, что с фашистами нельзя жить на одной планете, что их надо поселить к термитам, чтоб термиты ими питались, или же фашисты питались термитами.

Его не надо было вводить в состав комиссии, которая изучала все злодеяния фашистов, нельзя было.

Вскоре после этой последней с ним встречи его не стало. Я его очень любила <…>.

Нельзя, нельзя было заставить его смотреть на то, чего нельзя вынести, после чего нельзя жить. Это зрелище убило его, прикончило…»

Толстому оставалось жить уже совсем чуть-чуть. А между тем именно тогда, зимой 1945 года, над головой красного графа возникла страшная угроза, и как знать, что случилось бы на его веку и как и где окончил бы он свою жизнь, когда б не тяжелая болезнь.

Летом 1945 года, когда Толстого уже с почестями похоронили, Фадеев рассказывал Корнелию Зелинскому о своем разговоре со Сталиным последней военной зимой:

«Меня вызвал к себе Сталин. Он был в военной форме маршала. Встав из-за стола, он пошел мне навстречу, но сесть меня не пригласил (я так и остался стоять), начал ходить передо мною:

— Слушайте, товарищ Фадеев, — сказал мне Сталин, — вы должны нам помочь.

— Я коммунист, Иосиф Виссарионович, а каждый коммунист обязан помогать партии и государству.

— Что вы там говорите — коммунист, коммунист. Я серьезно говорю, что вы должны нам

помочь как руководитель Союза Писателей.

— Это мой долг, товарищ Сталин, — ответил я.

— Э, — с досадой сказал Сталин, — вы все там в Союзе бормочете «мой долг», «мой долг»… Но вы ничего не делаете, чтобы реально помочь государству в его борьбе с врагами. Вот вы, руководитель Союза Писателей, а не знаете, среди кого работаете.

— Почему не знаете? Я знаю тех людей, на которых я опираюсь.

— Мы вам присвоили громкое звание «генерального секретаря», а вы не знаете, что вас окружают крупные международные шпионы. Это вам известно?

— Я готов помочь разоблачать шпионов, если они существуют среди писателей.

— Это все болтовня, — резко сказал Сталин, останавливаясь передо мной и глядя на меня, который стоял почти как военный держа руки по швам. — Это все болтовня. Какой вы генеральный секретарь, если вы не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами.

Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.

— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.

Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.

— Почему я должен вам сообщать имена этих шпионов, когда вы обязаны были их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищ Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и в чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И наконец, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион?»[899]

Шпиономания Сталина, его чудовищная подозрительность, фабрикация самых нелепых уголовных дел и осуждение неповинных людей всем известны, известно также, что Сталин любил зловещие шутки и провокации, но задумаемся на минуту, была ли под утверждением, что Алексей Толстой — английский шпион, хоть какая-то основа?

Первый раз Толстой был в Англии в 1916 году. Теоретически тогда его могли завербовать. Но только теоретически, и вряд ли Сталин, говоря об английском шпионе, имел в виду ту далекую поездку, равно как и путешествия красного графа в Европу в тридцатые годы. Более практическим является то соображение, что в годы войны среди советских писателей бытовали самые разные настроения. В том числе и у Толстого. 22 июля 1943 года он записал в дневнике: «Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйство. После мира будет нэп, ничем не похожий на прежний нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении основы колхозного строя, в сохранении государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. Будет длительная борьба между старыми формами бюрократического аппарата и новым государственным чиновником, выдвинутым самой жизнью. Победят последние. Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Он будет требователен и инициативен. Расцветут

ремесла и всевозможные артели, борющиеся за сбыт своей продукции. Резко повысится качество. Наш рубль станет международной валютой. Может случиться, что будет введена во всем мире единая валюта. Китайская стена довоенной России рухнет. Россия самим фактом своего роста и процветания станет привлекать все взоры»[{900}].

Сама по себе эта запись замечательна и доказывает недюжинный толстовский ум и независимость его суждений. Толстой не зря так и не стал членом партии, его собственные взгляды были весьма далеки от коммунистической ортодоксии. Можно даже сказать, что по его сценарию осуществлялась сорок с лишним лет спустя перестройка, и кто знает, если бы она началась сразу после войны, возможно, мы жили бы теперь в совсем другой стране. Но все же сколько бы умной крамолы ни содержали толстовские записи военных лет, вряд ли они были кому-то известны и могли стать причиной для сталинских подозрений.

Что же тогда? Как уже говорилось выше, в 1942 году в Ташкенте Толстой затеял издавать сборник переводов современной польской поэзии (к работе над которым и была привлечена Ахматова). Это была акция не столько литературная, сколько политическая. Издан сборник — опять же главным образом по политическим причинам — не был, но общался Толстой в ту пору с поляками часто, в том числе и с Владиславом Андерсом, некогда бывшим офицером царской армии, затем польским генералом, отсидевшим два года в советском лагере после оккупации восточной Польши в 1939 году, а с августа 1941 года командующим польской армией, создававшейся на территории СССР после начала войны. Эта армия должна была воевать вместе с советскими частями, но сражаться на Восточном фронте Андерс отказался, вместе со своей армией отправился в Иран и фактически перешел на сторону англичан, закончив свои дни антисоветчиком.

Разумеется, Толстой не был причастен к метаморфозам судьбы Владислава Андерса и его армии, но Сталин мог на Толстого разозлиться: не увидел, недоглядел, не проявил бдительность. В сентябре 1943 года Толстого, словно в отместку за благодушие, включили в комиссию по расследованию обстоятельств Катынской трагедии. Теперь ему часто вменяют подпись под протоколом в вину. И хотя откуда Толстому знать, по чьему приказу, кем и когда были расстреляны польские офицеры, — в его подписи тем больше горькой иронии, что граф Алексей Толстой был хорошо знаком с графом Юзефом Чапским, который, выполняя задание Андерса, ездил по Советскому Союзу в поисках пропавших поляков и впоследствии описал эти поездки в своих мемуарах под названием «На бесчеловечной земле».

Так Толстой попал в большую политику, где не могли спасти ни награды, ни почести. Так оказался причастным к провалу во внешней политике (как окажется впоследствии причастным к провалу проекта с созданием послушного Сталину государства Израиль Соломон Михоэлс).

Но Алексей Толстой умирал. Он лежал в кремлевской больнице, где по соседству с ним находился Сергей Эйзенштейн. Так шутила над ними грозная тень.

«Я никогда не любил графа, — писал Эйзенштейн в мемуарах. — Ни как писателя, ни как человека. Трудно сказать почему.

Может быть, потому, как инстинктивно не любят друг друга квакеры и сибариты, Кола Брюньоны и аскеты? И хотя на звание святого Антония я вряд ли претендую — в обществе покойного графа я чувствовал себя почему-то вроде старой девы…

Необъятная, белая, пыльная, совершенно плоская солончаковая (?) поверхность земли где-то на аэродроме около Казалинска или Актюбинска.

Мы летим в том же 42-м году из Москвы обратно в Алма-Ату. Спутник наш до Ташкента — граф. Ни кустика. Ни травинки. Ни забора. Ни даже столба. Где-то подальше от самолета обходимся без столбика. Возвращаемся.

«Эйзенштейн, вы пессимист», — говорит мне граф. «Чем?»

«У вас что-то такое в фигуре…»

Мы чем-то несказанно чужды и даже враждебны друг другу. Поэтому я гляжу совершенно безразлично на его тело, уложенное в маленькой спальне при его комнате в санатории. Челюсть подвязана бинтом. Руки сложены на груди.

И белеет хрящ на осунувшемся и потемневшем носу. Сестра и жена плачут.

Еще сидит какой-то генерал и две дамы. Интереснее покойного графа — детали. Из них — кофе.

Его сиделка безостановочно наливает кофе всем желающим и не желающим. Сейчас вынесут тело. Уберут палату.

Ночью же тело увезут в Москву. А утром уже кто-нибудь въедет сюда. Можно не заботиться о скатерти. Кофе наливается абсолютно небрежно.

Как бы нарочно стараясь заливать скатерть, на которой и так расплываются большие лужи бурой жидкости. Нагло, на виду у подножия стола лежит разбитый сливочник. Но вот пришли санитары. Тело прикрыли серым солдатским одеялом. Из-под него торчит полголовы с глубоко запавшими глазами. Конечно, ошибаются. Конечно, пытаются вынести его головою вперед. Ноги нелепо подымаются кверху, пока кто-то из нянечек-старух не вмешивается.

Носилки поворачивают к выходу ногами. Еще не сошли со ступенек первого марша, как в ванной комнате, разрывая тишину, полилась из крана вода. И почти задевая носилки, туда прошлепала голыми ногами уборщица с ведром и тряпкой…»[{901}]

Едва ли найдется более материалистическое описание смерти. И быть может, тот, кто не оказывал ей при жизни достойных знаков внимания, этого рассказа заслужил. Но не только его.

Я не имею в виду советский официоз — «Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) с прискорбием извещают о смерти выдающегося русского писателя, талантливого художника слова, пламенного патриота нашей Родины, депутата Верховного Совета СССР Алексея Николаевича Толстого», не говорю о статьях в «Правде» и «Литературной газете»[101].

Я имею в виду отклики людей, Толстому гораздо более близких, хотя и разделенных с ним верстами и милями. Тех, от кого он ушел.

На следующий день после смерти Толстого Бунин писал в дневнике:

«24.2.45. Суббота. В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: умер Толстой. Боже мой, давно ли все это было — наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!

Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы

еще 20 прожить.

25.2.45. Урну с его прахом закопали в Новодевичьем»[902]. Больше ничего в те дни Бунин в дневнике не писал.

Чисто по-толстовски, по-алексей-толстовски отреагировал на смерть своего друга Соломон Михоэлс.

«Михоэлс был болен и лежал в постели, когда позвонили и сообщили о смерти Толстого. Соломон Михайлович, бледный до какой-то серости, приподнял голову и сказал:

— Что ж! Провожать Алексея ты пойдешь одна. Прошу тебя сразу — сегодня достань мне рюмку водки и обещай мне не плакать…»[903]

«Целая эпоха связана у меня с Алексеем — двадцать лет, наполненных серьезнейшим общением в искусстве, дружбой, приятельством, размолвками, мировыми, охлаждениями и вспышками привязанности, — писал Федин. — Все это вытекало из его характера — женского, коварно-лукавого, широкого и мелочного одновременно. Все соединенное с его образом неизгладимо, как сама жизнь. Гаргантюа, помещик, грубый реалист и циник, эстет и благородный русский сказочник, осмеятель символистов и сам символистический мастер, труженик, собутыльник — он жил с философией Омара Хайама и ненавидел в жизни только одно: смерть. <…> Его девиз был: *делать все для того, чтобы делать свое искусство.* Но для того, чтобы сделаться великим художником, ему недоставало нищеты. Дар его был много выше того, что им сделано.

Никто после него не займет его положения, потому что ни у кого нет его жажды занимать положение, в сочетании с великолепными данными для этого. Но Россия пожалеет не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был занимать по природе. Художник в нем вечно бился с человеком за свои *высшие* права, но чересчур часто человек брал верх своими *выгодными* правилами.

И все же это было существо гармоническое. Толстой не любил душевного раздора и не терзался им, как не любил житейских неприятностей. В сущности он был «наслаждением», и главная его сила заключалась в плотском обожании жизни. Никто не умел так описать счастье и бездумную радость бытия, как он. Размышления он допускал в свое душевное хозяйство только тогда, когда мысль утверждала силу, радость, удовольствие. Среди русских писателей он был поэтому редкостью.

Я хотел бы, чтобы за упокой его души было выпито столько, сколько я выпил с ним во время наших пирований…»[904]

Была и другая реакция на смерть писателя, своего рода *vox populi.* О ней рассказывала Валентину Берестову Людмила Ильинична Толстая:

«Не помню, где я записал ее разговор с управдомом. «Такой обеспеченный человек, все у него было, а умер»[905].

Вот уж точно, на что нечего возразить. Но, пожалуй, самый верные слова для жизни и смерти Алексея Толстого, поднявшись над материальным и плотским, нашел Борис Зайцев:

«По таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан) в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но и мутную, со славой, огромными

деньгами, домом-музеем в Царском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.

В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой… От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал «Петра» с яркостью иногда удивительной, с удивительной не-духовностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью <…>. Теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то»[{906}].

И последнее. В самом начале книги я привел пренебрежительный отзыв графа Игнатьева о графе Толстом. Но вот запись из дневника Федина в день похорон Алексея Толстого: «Помню, как, подходя к гробу Алеши, Игнатьев опустился на колени и долго стоял с опущенной головой»[{907}].

На этом и поставим точку.

**ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Н. ТОЛСТОГО**

*1882, 29 декабря (10 января 1883 по н. ст. )* — В городе Николаевске в семье А. А. Бострома и гр. А. Л. Толстой родился Алексей Николаевич Толстой. Отец — гр. Николай Александрович Толстой (1849– 1900), мать — гр. Александра Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева (1854–1906). Отчим — Алексей Аполлонович Востром (1852–1921).

*1883, 12 января* — Алексей Толстой крещен в Старом Иоанно-Предтеченском Николаевском соборе. В метрическую книгу записано, что отец ребенка — гвардии поручик граф Николай Александрович Толстой.

*19 января* — Суд над гр. Н. А. Толстым в связи с покушением на А. А Бострома летом 1882 года. Вынесен оправдательный приговор. *Сентябрь* — Решение самарского епархиального начальства о расторжении брака Н. А. Толстого и А. Л. Толстой.

*1883–1896* — А. А. Востром, А. Л. Толстая и А. Н. Толстой живут на хуторе в Сосновке.

*1891–1892* — Толстой учится в частной школе в Саратове.

*1894–1897* — Толстой готовится к школе с домашним учителем А. И. Словохотовым, позднее с Н. П. Забельским.

*1896, 16 марта* — А. Л. Толстая подает прошение «о внесении в надлежащую часть Самарской Дворянской родословной книги сына ее Алексея Толстого». Прошение отклонено.

*1897, 14 января* — А. Л. Толстая вторично подает прошение в депутатское собрание.

*Май* — Толстой неудачно сдает экзамены в самарское реальное училище.

*1 июля* — Гр. Н. А. Толстой отказывается признавать своего сына Алексея.

*1897–1898*— Учеба А. Н. Толстого в Сызрани.

*1898, 11 января* — Второе голосование по прошению А. Л. Толстой о причислении ее сына к роду Толстых. Снова получен отказ.

*Лето* — Семья живет в Сосновке, в августе переезжает в Самару.

*1899, лето* — Продажа Сосновки и покупка А. А. Бостромом дома в Самаре на Саратовской улице.

*1898–1901* — А. Н. Толстой учится в самарском реальном училище, участвует в любительском театральном кружке, знакомится с Ю. В. Рожанской; пробует себя в литературе (рассказ «Мишка», автобиографическая повесть «Жизнь»).

*1900, 9 февраля* — Смерть гр. Н. А. Толстого в Ницце.

*27 февраля* — похороны графа в Самаре. Толстой и А. Л. Толстая присутствуют на похоронах.

*1901* — Толстой получает официальные документы о причислении его к роду Толстых.

*Июль* — учеба в частной подготовительной школе проф. Войтинского в Териоках.

*Август* — Толстой поступает в Технологический институт.

*1902, 3 июня* — Толстой женится на Ю. А. Рожанской.

*Лето* — практика на Сугинском стекольном заводе под Елабугой.

*1903, январь* — У Толстых родился сын Юрий.

*1904, весна* — Работа практикантом на Балтийском судостроительном пушечно-литейном заводе.

*1905, весна* — Практика на Уральском Невьянском заводе.

*Лето* — Поездка по Уралу с доктором В. М. Рожанским и участие в экспедиции по разысканию золотых приисков.

*Ноябрь* — В связи с закрытием учебных заведений в Петербурге Толстой уезжает в Казань и пишет много стихов, в том числе и революционного характера.

*1906, февраль* — Поездка на учебу в Дрезден на механическое отделение

Саксонской высшей технической школы. Знакомство с революционером Л. И. Дымшицем и его сестрой Софьей. По настоянию брата Софья Дымшиц уезжает в Петербург.

*Лето* — Толстой возвращается в Россию.

*26 июля* — смерть матери Толстого Александры Леонтьевны.

*Осень* — Возвращение в Петербург, знакомство с К. П. Фан-дер-Флитом. Толстой пишет стихи в декадентском духе. Продолжается знакомство с С. И. Дымшиц. Помимо поэзии Толстой занимается живописью.

*1907, апрель* — Выход первой книги стихов «Лирика» тиражом 500 экземпляров.

*Лето* — Толстой и Ю. Рожанская едут в Италию. Толстой вскоре возвращается и селится с С. Дымшиц в деревне Лутахенде на берегу Финского залива. Знакомство с литературным критиком К. И. Чуковским и писателем Л. Н. Андреевым.

*Осень* — Толстой вместе с Дымшиц поступает в школу живописи Е. Н. Званцевой (в числе

преподавателей К. Сомов и Л. Бакст).

*Декабрь* — Поездка Толстого в Самару.

*1908, январь* — Толстой и С. Дымшиц едут в Париж. Знакомство с В. Я. Брюсовым, М. А. Волошиным, Н. С. Гумилевым, А. Ремизовым, Андреем Белым, а также с художниками В. П. Белкиным, К. Петровым-Водкиным и Е. С. Кругликовой. Успешное чтение стихов.

*11 мая* — Смерть сына Юрия.

*Октябрь* — Возвращение в Россию. Выступление в Обществе свободной эстетики, приглашение участвовать в журнале «Весы».

*1909, весна* — Толстой на «Башне» Вяч. Иванова. Участие в Академии стиха. Знакомство с И. Ф. Анненским и Ф. К. Сологубом. Выход журнала «Остров» со стихами Толстого. Работа над сборником «Сорочьи сказки». Издан в конце 1909 года в издательстве «Общая польза».

*Лето* — Поездка в Коктебель. Работа над сборником «За синими реками».

*Осень* — Участие в журнале «Аполлон». Работа над повестью «Неделя в Туреневе» и рассказом «Смерть Налымовых». Знакомство с И. А. Буниным.

*Ноябрь* — Участие в дуэли Волошина и Гумилева в качестве секунданта. Поездка в Киев. Смерть И. Анненского.

*1910, лето* — Работа над романом «Две жизни» в дачном месте под Ревелем.

*Осень* — В издательстве «Шиповник» выходит книга «Повести и рассказы» (в ее составе «Заволжье», «Неделя в Туреневе», «Аггей Коровин», «Два друга», «Сватовство»). Положительный отзыв на книгу дают М. Горький и П. Б. Струве. Знакомство с Г. И. Чулковым.

*1911, январь* — Конфликт с Сологубом из-за происшествия на маскараде. Знакомство с М. И. Цветаевой. Третейский суд над Толстым под председательством Вяч. Иванова.

*30 марта* — Знакомство Толстого с В. Г. Короленко.

*Апрель* — Поездка в Париж.

*Август* — Рождение дочери Марьяны.

*Октябрь* — Возвращение в Петербург.

*В конце года* — открытие артистического кафе «Бродячая собака». Толстой один из организаторов. Вступление в «Цех поэтов». *Декабрь* — Толстой сообщает А. В. Гольштейн о работе над романом о любви «Хромой барин».

*1912, начало года* — Толстой выходит из «Цеха поэтов», оставляет «Бродячую собаку» и покидает Петербург.

*Весна* — Работа над повестью «Начальник» (вторая редакция — «Слякоть»).

*Лето* — Отдых в Коктебеле, работа над пьесой «День Ряполовского», знакомство с В. И. Немировичем-Данченко.

*Осень* — Толстой и С. Дымшиц переезжают в Москву. Работа над пьесой «Насильники» («Лентяй»). Знакомство с Р. М. Хин-Гольдовской. Интерес Толстого к футуризму. Частые посещения волошинского «обормотника».

*1913, весна* — Толстые едут в Париж. Знакомство с И. Г. Эренбургом. *Лето* — поездка по Волге.

*Сентябрь* — В «Русских ведомостях» печатается повесть «За стилем».

*Зима* — Знакомство А. Н. Толстого с Н. В. Крандиевской (1888–1963).

*1914, лето* — Разрыв с С. И. Дымшиц. Коктебель, увлечение балериной М. В. Кандауровой.

*Август и октябрь* — Поездка на фронт в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости».

*Декабрь* — Начало совместной жизни с Н. В. Крандиевской.

*1915, февраль* — Поездка Толстого на Кавказский фронт.

*Лето* — Толстые отдыхают в деревне Иваньково под Москвой и в Коктебеле. Работа над романом «Егор Абозов». Написаны рассказы «Для чего идет снег», «Рожь», «Спасенный».

*Декабрь* — Знакомство с актером Н. М. Радиным.

*1916, январь* — Премьера пьесы «Нечистая сила» в Московском драматическом театре.

*Февраль-март* — Поездка в Англию и Францию в группе русских журналистов.

*Лето* — Толстые живут в деревне Антоновке на Оке. Работа над пьесами «Ракета», «Касатка».

*Декабрь* — Толстой назначен уполномоченным Всероссийского земского союза.

*1917, январь* — Встреча на фронте с Александром Блоком.

*16 января* — Неудачная премьера пьесы «Ракета» в Малом театре («Ракета не взлетела, не огорчайся, подробности письмом»[102], — телеграфировала Крандиевская Толстому).

*Февраль* — Рождение сына Никиты.

*29 марта* — Толстой назначен комиссаром по регистрации печати (председатель комитета В. Я. Брюсов). Участие в организации Клуба московских писателей, в числе которых И. Бунин, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, Б. Зайцев, М. Волошин, Андрей Соболь, В. Ходасевич и др.

*Май* — Венчание с Н. В. Крандиевской.

*Август* — Толстой присутствует на Московском государственном совещании в Большом театре и приветствует А. Ф. Керенского. Работа над пьесой «Горький цвет» и «Рассказом проезжего человека».

*Октябрь-ноябрь* — Бои в Москве и тревожные записи в дневнике.

*1918, зима* — Обращение Толстого к исторической теме. Работа над рассказами «Первые террористы» и «День Петра». Знакомство с книгой Н. Новомбергского «Слово и дело».

*Весна — лето* — Создание исторической трагедии «Смерть Дантона» и рассказа «Милосердия!» Литературные вечера в доме у С. Г. Кара-Мурзы.

*Август* — Толстой вместе с женой и сыном Никитой уезжает в Харьков, затем в Одессу. Турне по Украине. Толстой работает старшиной в одесском игорном доме Зейдемана.

*1919, начало года* — Работа над пьесой «Любовь — книга золотая» и повестью «Лунная сырость» («Граф Калиостро»).

*Апрель* — Толстые спешно покидают Одессу.

*Апрель-май* — Карантин на острове Халка в Черном море.

*Июнь* — Толстые прибывают во Францию. Живут на даче С. А. Скирмунта в Севре под Парижем. Толстой возвращается к работе над романом «Хождение по мукам».

*Конец года* — Переезд в Париж на улицу Ренуара, 48.

*1920*— Выход журнала «Грядущая Россия» и публикация в нем начальных глав романа «Хождение по мукам».

*Февраль* — Письмо Толстого А. С. Ященке, содержащее переоценку ситуации в России.

*Лето* — Толстые отдыхают в деревне в Бретани.

*Осень* — Написана повесть «Детство Никиты».

*1921, август* — Лето под Бордо. Разочарование Толстого в возможности литературной жизни в Париже. Закончена первая часть трилогии «Хождение по мукам». Выход в Праге сборника «Смена вех». Толстой участвует в обсуждении пьесы Ю. В. Ключникова «Единый куст».

*Октябрь* — Переезд Толстого в Берлин. Повесть «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта» («Повесть смутного времени»). Смерть в Самаре А. А. Бострома.

*1922, февраль* — Совместный творческий вечер А. Толстого и Б. Пильняка на квартире у И. В. Гессена.

*Март* — Выход в Берлине просоветской газеты «Накануне» и участие Толстого в литературном приложении к ней.

*Апрель* — Фактический ультиматум эмиграции Толстому. Открытое письмо А. Н. Толстого Чайковскому. Исключение из Парижского союза русских литераторов и журналистов. Работа над повестью «Аэлита» (напечатана в конце 1922-го — начале 1923 года в советском журнале «Красная новь»).

*Июнь* — Публикация письма Чуковского в «Накануне». Ответ Марины Цветаевой.

*Май — август* — Личное знакомство и общение А. Толстого с М. Горьким.

*Лето* — Знакомство с И. С. Соколовым-Микитовым и прощание с Б. К. Зайцевым.

*Осень* — Конфликт А. Толстого с И. Эренбургом.

7 *ноября* — Толстой выступает в советском полпредстве в Берлине на вечере, посвященном

пятой годовщине революции (в числе выступающих В. В. Маяковский).

*1923, январь* — Рождение сына Д. А. Толстого.

*Весна* — Окончание работы над рассказом «Рукопись, найденная под кроватью».

*Май-июнь* — первый приезд А. Толстого в СССР после революции. Встречи с советскими писателями — Катаевым, Булгаковым, Э. Миндлиным.

*1 августа* — Окончательное возвращение в СССР вместе с семьей. *Сентябрь* — Поездка в Харьков и Москву.

*Октябрь* — Поездка на Волховстрой.

*1924, январь* — Нападки на Толстого со стороны журналов «Леф» и «На посту».

*Февраль* — Начало публикации повести «Ибикус» (позднее «Похождения Невзорова, или Ибикус»).

*Весна* — Поездки Толстого в Белоруссию, на Украину и юг России. *14 апреля* — премьера пьесы «Бунт машин» в Ленинградском Большом драматическом театре.

*Лето* — Суд над Толстым по обвинению в плагиате. Поездка Толстого по русской провинции. Возникновение творческого союза Толстого и П. Е. Щеголева, работа над пьесой «Заговор императрицы».

*1925* — постановка пьесы «Заговор императрицы». Работа над рассказом «Голубые города» и романом «Гиперболоид инженера Гарина», пьесой «Азеф».

*1926, 3 апреля* — Премьера пьесы «Азеф» в БДТ.

*8 ноября* — Заключен договор с редакцией журнала «Новый мир» о публикации второй части романа «Хождение по мукам».

*1927, весна* — Переписка с В. П. Полонским в связи с готовящейся публикацией «Восемнадцатого года».

*Лето* — Поездка по югу России (Ростов, Новочеркасск, Махачкала, Астрахань).

*Август-сентябрь* — работа над пьесой «Фабрика молодости».

*Конец года* — Начало публикации подложного «Дневника Вырубовой» в альманахе «Минувшие дни». Написан рассказ «Древний путь».

*1928, май* — Толстой переезжает в Царское Село.

*Июнь* — Работа над повестью «Гадюка».

*Конец года* — Толстой отказывается писать третью часть романа «Хождение по мукам» и приступает к пьесе «На дыбе» (закончена 12 декабря). Отрицательное отношение к пьесе со стороны актеров МХТ (Качалова, Москвина, Леонидова). Толстой отдает пьесу в МХТ-2.

*1928–1930* — Выход 15-томного собрания сочинений Толстого в издательстве «Недра».

*1929, февраль* — Начало работы над романом «Петр I». Публикация первых глав романа в журнале «Новый мир», начиная с июльской книжки.

*Август* — Путешествие Толстого, Л. Сейфуллиной и В. Правдухи-на по реке Урал.

*1930, 17 января* — Письмо Сталина Горькому с упоминанием А. Н. Толстого.

*23 февраля* — Премьера пьесы о Петре I во втором МХТ. Отрицательные оценки в прессе.

*12 мая* — Закончена первая часть «Петра I».

*Лето* — Путешествие с Шишковым по Волге. Поездка в Коктебель.

*Осень* — Начало работы над романом «Черное золото» (окончен 12 декабря 1931 года).

*1931* — «Новый мир» в течение всего года печатает «Черное золото». Участие Толстого в конкурсной комиссии по строительству Дворца Советов.

*1932, весна* — Поездка за границу по приглашению М. Горького (Германия, Италия).

*23 апреля* — Постановление ЦК партии о ликвидации РАППа. Толстой входит в состав оргкомитета по проведению Первого съезда Союза советских писателей.

*Лето* — Посещение вместе с М. Горьким Болшевской трудкоммуны ОГПУ; работа над пьесой «Патент 119» в соавторстве со Старчаковым.

*Осень* — Суд по иску О. Э. Мандельштама, Толстой — третейский судья. Продолжение работы над романом «Петр I».

*1933, январь* — 50-летие Толстого.

*Апрель* — Толстой избран членом бюро Ленинградского горкома писателей и депутатом Детскосельского горсовета VII созыва. *Лето* — Поездка на Беломорско-Балтийский канал.

*1934, май* — Пощечина О. Мандельштама.

*Август* — Выступление на Первом съезде писателей. Толстой избран в правление ССП и в президиум.

*Декабрь* — Толстой избран депутатом Ленсовета.

*1935, январь* — Работа над пьесой «Золотой ключик».

*Март* — Участие в работе пленума правления ССП.

*Апрель* — Встреча с Ворошиловым.

*Лето* — Участие в работе Первого международного конгресса писателей в защиту культуры в Париже. Посещение Германии, Англии, Франции, Голландии. Возвращение в СССР вместе с дочерью Е. Кузьминой-Караваевой Гаяной.

*Август* — Разрыв с Н. В. Крандиевской.

*25 августа* — Смерть Н. М. Радина. Начата работа над «Обороной Царицына».

*Октябрь* — Поездка в Чехословакию. Женитьба на Л. И. Баршевой.

*1936, лето* — Поездка в Сталинград.

*Август* — Смерть Гаяны Кузьминой-Караваевой.

*3 сентября* — Встреча в Париже с Буниным и Куприным.

*19 сентября* — Толстой избран делегатом от Ленинградского округа на Восьмой чрезвычайный съезд Советов. Участие в Международном конгрессе мира в Брюсселе.

*1937, весна* — Второй конгресс мира и дружбы с СССР в Англии. Второй международный конгресс ассоциации писателей в защиту культуры в Мадриде и Париже.

*Декабрь* — Толстой избран депутатом в Совет Союза Верховного Совета СССР.

*1938, март* — Работа над пьесой «Поход четырнадцати держав» («Путь к победе»).

*Апрель* — Переезд в Москву в квартиру на улице Горького. Дача в Барвихе.

*1939* — Толстой избран действительным членом Академии наук (вместе с М. А. Шолоховым).

*Апрель* — Конфликт с Комитетом по делам кинематографии из-за сценария к фильму «Серго».

*Лето* — Начало работы над третьей частью «Хождения по мукам».

*1940, конец года* — Толстой заключает договор с Комитетом по делам искусства на создание пьесы об Иване Грозном.

*1941, март* — Сталинская премия за роман «Петр I».

*27 июня* — Публикация статьи «Что мы защищаем» в «Правде».

*10 августа* — Толстой избран председателем Всеславянского митинга в Москве.

*17 октября* — Начало работы над пьесой об Иване Грозном. Первая редакция закончена в феврале 1942 года. Всего существует три редакции.

7 *ноября* — Статья «Родина». В ноябре Толстой переезжает в Ташкент.

*Декабрь* — Попытка сместить Фадеева с поста генерального секретаря Союза писателей.

*1942, 16 февраля* — Сообщение «Правды» о пьесе Толстого «Иоанн Грозный».

*28 апреля* — Письмо Щербакова Сталину с отрицательным отзывом о пьесе Толстого.

*Лето* — Возвращение Толстого в Москву.

*Июль* — Поездка на фронт под Калугу. Создает цикл «Рассказы Ивана Сударева».

*Осень* — Возвращение в Ташкент. Поддержка А. Н. Толстым и Л. И. Толстой Г. Эфрона.

*2 ноября* — Опубликовано постановление СНК СССР об организации под председательством Н. М. Шверника Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

*Конец ноября* — Окончательный переезд в Москву.

*1943*— Работа над второй частью «Иоанна Грозного».

*10 апреля* — Закончена первая редакция «Иоанна Грозного». Всего пьеса имеет четыре редакции. Присуждение А. Н. Толстому Сталинской премии за роман «Хождение по мукам». *Июль* — Поездка на Северный Кавказ.

*Декабрь* — Поездка в Харьков на судебный процесс фашистских преступников. Начало смертельного заболевания у Толстого.

*1944, январь* — Участие в сфальсифицированном расследовании обстоятельств расстрела польских солдат и офицеров в Катыни.

*Апрель* — Опубликован рассказ «Русский характер».

*Лето* — Врачи установили у Толстого рак легкого. Работа над третьей частью «Петра I».

*1945, 23 февраля* — Смерть А. Н. Толстого.

Литература

*Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1946–1953.

*Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. М., 1958–1961.

*Толстой А. Н.* Хождение по мукам. М., 2001.

А. Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1985.

А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. М., 2002.

А. Н. Толстой и Самара. Куйбышев, 1982.

Переписка А. Н. Толстого. В 2 т. М., 1989.

*Андроников И. Л.* А теперь об этом. М., 1981.

*Анненков Ю.* Я. Дневник моих встреч. М., 1991.

*Баранов В. И.* Революция и судьба художника. М., 1967.

*Басинский П. В, Федякин С. Р.* Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции. М., 1998.

*Белкина М. И.* Скрещение судеб. М., 1992.

*Блок А. А.* Дневник. М., 1990.

*Бороздина П. А.* А. Н. Толстой и театр. Воронеж, 1975.

*Булгаков М. А.* Под пятой. Мой дневник. М., 1990.

*Бунин И. А.* Сочинения: В 8 т. М., 1994–2000.

Власть и художественная интеллигенция. М., 2002.

*Волошин М. А.* Лики творчества. Л., 1988.

Воспоминания об А. Н. Толстом. М., 1982.

*Гуль Р. Б.* Жизнь на Фукса. М., 1927.

*Гуль Р. Б.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. М., 2001.

*Зайцев Б. К.* Братья-писатели. Воспоминания. М., 1991.

*Иванов В. В.* Дневники. М., 2001.

*Иванов Г. В.* Сочинения: В 3 т. М., 1994.

*Иванов-Разумник Р. В.* Тюрьмы и ссылки. М., 2000.

*Каверин В. А.* Эпилог. М., 1989.

*Козлов В. П,* Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. М., 2001.

*Крандиевская-Толстая Н. В.* Воспоминания. Л., 1973.

*Крестинский Ю. А.* А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., 1960. *Крюкова А. М.* А. Н. Толстой. М., 1989.

*Кузмин М .А.* Дневник: 1908–1915. М., 2005.

Литературный фронт: История политической цензуры: 1932–1946. М., 1994.

*Милашевский В.* Вчера, позавчера… М., 1989.

*Миндлин Э. Л.* Необыкновенные собеседники. М., 1979.

*Навашина-Крандиевская Н. П.* Облик времени. М., 1997.

Николай Гумилев глазами сына. М., 2004.

*Оклянский Ю. М.* Роман с тираном. М., 1996.

*Оклянский Ю. М.* Шумное захолустье. Самара, 1982.

*Петелин В. В.* Жизнь Алексея Толстого: Красный граф. М., 2002.

Письма Г. Эфрона. Калининград, 1995.

*Пяст В. А.* Встречи. М., 1997.

Русский Берлин. М., 2003.

С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002.

*Степун Ф. А.* Бывшее и несбывшееся. М., 1998.

Счастье литературы: Государство и писатели. М., 1997.

*Ходасевич В. Ф.* Некрополь. М., 1996.

*Фадеев А. А.* Письма и документы. М., 2001.

*Чуковский К. И.* Дневник. М., 1997.

*Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989.

Устами Буниных. М., 2005.

*Шешуков С. И.* Неистовые ревнители. М., 1984.

*Эйзенштейн С.* Мемуары. М., 1997.

*Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. М., 1961.

[1] Такой же генеалогический интерес Бунин испытывал и по отношению к Горькому: «Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горькаго точнаго представленія. Кто знает его бюграфію достоверно? И почему большевики, провозгласившіе его величайшим геніем, издающіе его несметныя писанія милліонами экземпляров, до сих пор не дали его біографій?»

[2] Позднее, когда Алексей Аполлонович и Александра Леонтьевна поняли, что своих детей у них не будет, они взяли приемную дочь Шуру, о которой Александра Леонтьевна писала сыну: «Тебя я любила и люблю совсем исключительной любовью против других моих детей. <…> А ведь я никогда не была с тобой ласкова. Ведь, пожалуй, я Шуру ласкаю больше, чем тебя, а разве Шура для меня составляет хоть одну десятую того, что был ты?» (А. Н. Толстой. Новые материалы и исследования. М., 2002. С. 127).

[3] Примечательно, что, хотя в отроческих и юношеских письмах Толстой продолжал называть Бострома папой, почти все мемуаристы отмечают, что позднее он называл его только отчимом (и отзывался о нем нелицеприятно).

[4] Ю. А. Крестинский, биограф А. Н. Толстого, указывает еще на одну причину отъезда: «Примитивность нравов среды, окружавшей Толстого в Казани, и живучесть в нем самом классовых предрассудков в понимании «дворянской чести» иллюстрируется случаем, который ускорил отъезд Толстого за границу. Один из знакомых Рожанских, приревновав Толстого к своей жене, оскорбил его, а вызова на дуэль не принял. Этот эпизод Толстой тяжело переживал и год или два спустя положил в основу незаконченного рассказа без заглавия, а позже использовал в сцене князя Краснопольского с Мордвинским в романе «Хромой барин» (*Крестинский Ю. А.* С. 45).

[5] Ср. у П. Лукницкого: «Весной 1907 Николай Степанович приехал в Киев, а летом 1907 на дачу Шмидта. На даче Шмидта были разговоры, из которых Николай Степанович узнал, что АА (Ахматова. — *А. В.*) не невинна. Боль от этого довела Николая Степановича до попытки самоубийства в Париже…» (*Лукницкий П. Н.* Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1).

[6] Штука, о которой ляпнул Толстой у Вяч. Иванова, упоминается со слов Волошина Эренбургом в его книге мемуаров: «Зашел разговор о Блаватской и Штейнере. Толстому

захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются...»
Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс эту историю с египтянами. Толстой рассмеялся: «Я, понимаешь, сел в лужу...» *(Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. М., 1961. С. 196. Об этом эпизоде А. Н. Толстой упоминает в письме к М. А. Волошину от 8 января 1909 года. См.: Литературное обозрение. 1983. № 1. С. 110).

[7] Позднее прозвище «Калошин» будут вести от галоши, якобы потерянной Волошиным во время дуэли с Гумилевым, но это неверно. Прозвище появилось раньше.

[8] Нужен усидчивый зад... а? *(фр.).*

[9] Стихи А. Н. Толстого.

[10] Ср. также в дневнике М. Кузмина: «Как удивительно, что Дмитриева — Черубина, представлял все в неприглядном свете. Действительно, история грязная. Любовница и Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса, пугающая бедного Макса, рядом Гюнтер и Макс, компания почтенная» (*Кузмин Л.* Дневник. С. 186).

[11] Не исключено, что на позицию Толстого могла повлиять С. И. Дымшиц. Ср. в дневнике П. Н. Лукницкого: «АА говорит, что Дымшиц-Толстая — умная. И была очень красивой в молодости. Сейчас этого... (Обрыв.)

Софья Дымшиц-Толстая не любит АА. Дымшиц-Толстой кажется, что она имеет на это причины. Тут при чем-то Париж, АА что-то знает такое, по поводу чего С. Дымшиц-Толстая боится, что АА воспользуется своим знанием... Улыбнулась.

«Но я не воспользуюсь...» С. Дымшиц-Толстая к Николаю Степановичу относилась недоброжелательно. Была сторонницей Волошина».
Ср. также в дневнике М. Кузмина: «У Толстых была куча народа, ругавшего Гумилева» (Дневник. С. 124).

[12] Эти определения взяты из статьи Е. Д. Толстой «Литературный Петербург в ранней пьесе Алексея Толстого». Ср. также: «Жена Ситникова поэтесса Елена Грацианова старательно создает себе репутацию «фантастической женщины» и femme fatale, оставаясь при этом холодной как лед. Антиэротичная Елена соблазняет людей, чтоб воспользоваться ими для литературного и социального успеха. Ее мечта — слава, пусть дурная, лишь бы стать над другими, пусть на час. Интересно, что она диктует влюбленному в нее критику слова похвальной статьи. Эта страсть к тотальному контролю своего литературного и публичного имиджа также вполне вписывается в гипотезу о портретности или, вернее, памфлетности пьесы Толстого: ср. похожие стратегии А. Ахматовой, описанные недавно в серии статей А. Жолковского и суммированные в работе О. Лекманова.

Итак, за несложными конструктами Толстого встают заведомо узнаваемые его товарищи по молодой редакции «Аполлона» и по «Цеху». Невольным свидетелем их любовных перипетий Толстой стал в 1908 г., когда Гумилев рассказал ему о своем отчаянии и попытке самоубийства. Через год, в 1909-м, Толстой был секундантом Волошина, противника Гумилева по знаменитой дуэли. Он был на свадьбе Гумилева с Ахматовой, осенью провожал друга в Африку, а в 1911 г. жил в Париже, куда Ахматова приехала без Гумилева (с героем одного из ее тогдашних романов, Георгием Чулковым, Толстой дружил).

Нет никакого сомнения, что Ахматова оставила свой след на психике молодого Толстого; «фантастическая» женская фигура и ее любовная игра (не продвигающаяся, впрочем, дальше начального околдовывания и внезапного отторжения) описаны в нескольких текстах Толстого. К ним относятся рассказ 1911 г. «В степи» (девушка с длинной шеей, «говорящая» стихи, пародирующие ахматовские, провоцирует героя с тем, чтоб его жестоко наказать) и фрагмент «Обезьянка» из подготовительных материалов к «Егору Абозову» (ряд черточек оттуда сохранен, со смягчением и снятием портретного сходства, в главном женском образе «Егора Абозова»).
Сходными же чертами наделена и фатальная героиня неопубликованной пьесы 1913 г. «Геката», которую герой, как планировалось и в «Абозове», убивает. Эта серия загадочных и губительных женских персонажей Алексея Толстого окрашена резко негативным отношением в сочетании с мучительной заинтригованностью неординарной личностью».

[13] Ср. также у Волошина: «О "Сорочьих сказках" Алексея Толстого не хочется — трудно говорить. И это самая большая похвала, которую можно сделать книге. Она так непосредственна, так подлинна, что ее не хочется пересказывать - ее хочется процитировать всю от начала до конца».

[14] «Мордатые гротески Алексея Толстого, при всей живописности его письма, никогда не фрески. Старая Россия вся у Толстого в утробе. Поэтому он и пишет ее (да простится мне это сравнение), словно отрыгивает» *(Степун Ф. А.* Портреты. СПб., 1999. С. 185).

[15] От французского «je m'en fiche!» (наплевать!), — циник. *(Прим. З. Гиппиус.)*

[16] *Юрий Никандрович Верховский* — филолог, литературовед, известный пушкинист и специалист по поэзии пушкинского времени.
С именем Верховского связано название Б. Л. Пастернаком вымышленного уральского города в романе «Доктор Живаго» — Юрятин. Блок, хорошо знакомый с Юрием Верховским, называл в обиходе Пермь, где сам никогда не бывал, «Юрятиным городом». Об этом узнал Пастернак и взял звучное имя в свой роман.

[17] Вспомним еще раз свидетельство М. Кузмина: «Исаковна дралась с Сологубом и Настей» (Дневник. С. 107).

[18] Е. Д. Толстая имеет в виду, очевидно, тот факт, что Вяч. Иванов после смерти своей жены Зиновьевой-Аннибал женился на ее дочери, своей падчерице Вере Шварсалон. Ср. в книге П. Н. Лукницкого: «3.07.1925. Скандал в театре Яворской. Вячеслав Иванов после смерти его жены говорил дома, что жена является ему во сне, говорил очень много о своей жене.

Кузмин написал «Покойница в доме». Это был, конечно, пасквиль на то, что происходило в доме В. Иванова. В. Иванов вступил в связь со своей падчерицей — Верой Шварсалон, убедив ее, что этого хочет ее покойная мать, являющаяся ему во сне. В результате у В. Шварсалон должен был появиться ребенок. Тогда В. Иванов стал настаивать, чтоб Кузмин женился на Вере Шварсалон.

Кузмин все это рассказывал всем, а брат Веры Шварсалон, не поверив всему этому, решил избить Кузмина…

В 1912 г. в театре Яворской (впоследствии сгоревшем) шла «Изнанка жизни»… В театре были Кузмин, Николай Степанович, Зноско и другие — все та же компания. АА в антракте вышла в фойе и увидела там человека страшного вида, в смокинге. Он ходил из угла в угол. Лицо и губы его были белее бумаги. Его лицо показалось АА знакомым, но АА не узнала, что это был брат

Веры Шварсалон — Сергей Константинович Шварсалон — так искажено было его лицо. АА из фойе вышла за кулисы (из фойе вход был прямо за кулисы, от которых фойе отделялось только небольшим помещением). В этом помещении АА увидела Николая Степановича, Кузмина и других, взволнованно обсуждавших происшествие. Был и полицейский, составлявший протокол. Оказывается, Сергей Константинович Шварсалон только что избил Кузмина… И Николай Степанович, и другие их разнимали, оттаскивали Кузмина, Кузмин пострадал довольно сильно — пенсне было разбито, лицо — в крови. В протоколе расписался Николай Степанович в качестве свидетеля. Кузмин все же из театра поехал в «Бродячую собаку»…

А Вяч. Иванов потом объяснял брату, что это действительно так, что он любит Веру Шварсалон и т. д. (Потом он с ней уехал в Грецию, где нашел какого-то священника, согласившегося их повенчать. После этого они уже жили в Москве — здесь, конечно, им было неудобно жить.)».

Ср. запись в дневнике Блока осенью 1911 года: *«Вячеслав Иванов.* <…> Если хочешь сохранить его — окончательно подальше от него. Постриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия, глубоко врезалась. Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает — большое, но меньше, чем *должно* (могло бы) быть. Дочь (т. е. — Вера Шварсалон) — худа, бледна, измучена, печальна. Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит».

[19] Ср. с воспоминаниями машинистки М. Н. Яковлевой: «Я встретилась с ним еще до революции; должно быть, в 1910–11 году. Тогда я — еще молодая девушка — работала в Толстовском музее, по составлению карточного каталога, машинистка была другая пожилая, и вот к ней-то и явился в один прекрасный день молодой человек довольно странной наружности — полный, с румяным, почти женским лицом, с красиво зачесанными, немного на лоб, волосами. Держал он себя очень скромно и застенчиво. <…>
Ему было в то время меньше 30 лет, и он казался каким-то «взрослым мальчиком»… Так и остался в моей памяти облик какого-то неловкого, застенчивого провинциала — степного помещика».

[20] Ср. с записью в дневнике А. Н. Толстого: *«Сентябрь.* «Бродячая собака». Спор Евреинова, Чекан и Мгеброва с Таировым. <…> У Мге-брова рот дерзкий и обиженный, глаза загораются и вдруг в них недоверие, робкая усмешка. <…> Мгебров: «Продавать себя ничуть не стыдно» (Материалы и исследования. С. 299).

[21] Заду *(фр.).*

[22] Добрый малый *(фр.).*

[23] На самом деле к этому времени Толстой оформил развод с Рожанской, взяв всю вину на себя. «Развод с Юлией Васильевной был, и недели через три я подписываю бумагу и буду свободен», — писал он Вострому в 1910 году (Новые материалы и исследования. С. 127).

[24] Правда, в 1914 году Толстой встречался со своей старшей сестрой Елизаветой. Той, что решительнее всех в семье была настроена против матери и писала прозу, причем очень мрачного свойства. Один из ее рассказов «Самоубийца» был опубликован в журнале «Русское обозрение» в 1896 году. Главная героиня этого рассказа — девушка по имени Маша, у нее есть два брата, она обожает отца, а мать ей чужда. В финале девушка кончает с собой. В 1898 году Елизавета Николаевна против воли отца вышла замуж, в связи с чем Александра Леонтьевна писала Вострому: «… Свадьба Лили была в Саратове. Рахманинов — это тот самый, которого она любит пять лет и из-за которого стрелялась (этого последнего никто не знает). Граф свадьбы признавать не желает, и он и бабушка на свадьбе не были. Значит, Лиля отстояла-таки

себя и свою любовь. Я этому очень порадовалась…» (пит. по: Шумное захолустье. С. 89). 22 февраля 1914 года Мария Леонтьевна писала Вострому о встрече Толстого с сестрой: «…свиделись и сразу установились душевные отношения. Могу сказать, что такой женщины не видела — и хороша царственно, и прелестна — сразу все сердца взяла… Алеша так был светел и счастлив, что у него есть сестра и что она пришла» (там же). Умерла она от голода в Югославии во время немецкой оккупации.

[25] *Майя Кювилъе* (по первому мужу Кудашева) — поэтесса, в будущем жена Ромена Роллана.

[26] Ср. также в письме к Вострому: «Милый папочка, я уезжаю на войну военным корреспондентом от «Русских ведомостей». В случае моей смерти прошу тебя завещать в духовной дочке моей Марьяне, сколько ты можешь. Прошу тебя об этом горячо. Пусть Марьяна не испытает бедности, до тех пор пока сама не сможет работать. Бедность придавляет человека, Марьяна слишком нервна и нежна, чтобы вынести очень тяжкие испытания в детстве» (Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 213).

[27]А вот Гершензон Толстого любил. Ср. в воспоминаниях Ходасевича: «Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым, Вячеславом Ивановым; Сологуб, Блок были его любимыми поэтами; высоко ставил и лично любил А. М. Ремизова, любовно говорил о таланте Алексея Толстого».

[28] Портрет Льва Толстого будет фигурировать и в «Хождении по мукам»: «Какие-то болезненные девушки — работницы с табачной фабрики — ходили по городу с портретом Льва Толстого, и он сурово посматривал из-под насупленных бровей на все эти чудеса».

[29] И очень характерно продолжал: «Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь, еще раз, если *нас* перережут, во имя ПОРЯДКА» *(Блок А.* Дневник. С. 219).

[30] Ср. у Блока: «Буржуазные вечерние газеты — одна лихорадка: злобная травля, исторический ужас, угрожающие крики. А русский народ «блажит» добродушно, тупо, подловато, себе на уме. Вот наша пьяненькая правда: «окопная правда». За что нам верить? За что верить государству? Господа, хоть и хорошие, да чужие. Если это возобладает, будет полный государственный крах, но — разве я смею их за это травить? Глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый, а каким же ему еще, Господи, быть?» (Дневник. С. 229).

[31] Ср. у Блока: «Не знаю (или — знаю), почему вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло бы быть во много раз больше» (Дневник. С. 275).

[32] Ср. в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной: «Нет отваги. Страх перед жизнью! […] Вот разница — Толстой. Что за жизнеспособность — нужно пять тысяч в месяц, и будет пять […]» (Устами Буниных. Т. 1. С. 155).

[33] За исключением дневниковой записи В. Н. Муромцевой-Буниной: «12/25 августа [1918 года] Ян совершенно забыл, что Толстой вел против него кампанию в «Среде». Как он будет держаться с нами?» (Устами Буниных. Т. 1. С. 155).

[34] Ср. в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной: «Когда, уходя, я сказала Наташе, что Эренбург рисует жизнь в России не так, как есть, она вдруг громко стала говорить:

— Нет, лучше быть в России, мы здесь живем Бог знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была там, я помогала бы хоть своим родителям таскать кули. А тут мы все погибаем в разврате,

в роскоши.

Я возразила — живем мы здесь в работе, какая уж там роскошь! <…> Кто им велит здесь вести такую жизнь, какую они ведут?» (Устами Буниных. Т. 2. С. 33).
Ср. также с более поздней оценкой Н. В. Крандневской у Ахматовой: «Она всегда была изнеженной, избалованной барыней — такой и осталась: пять тысяч в месяц ей мало…» (*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 69).

[35] Бунин писал И. Ф. Наживину: «Я мерзавцем и скотом не был и никогда, надеюсь, не буду (ни ради какой России, хотя бы уже потому, что на черта мне нужна мерзавская и скотская Россия!)» (С двух берегов. С. 307).

[36] Ср. у Мирона Петровского: «Тяжба с Блоком сопровождала Алексея Толстого на протяжении всего его творчества. Если, скажем, в романе «Петр Первый» какой-то голландец молодого Петра оскорбил, а Петр Первый отвесил ему оплеуху, то можете не сомневаться, что у этого голландца фамилия Блок. И если где-то в провинции застрелили какого-то губернатора, то можете не сомневаться, что у этого губернатора фамилия будет Блок. Это исторически достоверные факты, но Толстой выбирает именно их. Ему непрерывно нужно свести какие-то свои счеты с Блоком. Эти счеты, по-видимому, имеют и личный характер, что-за пределами моих интерпретационных возможностей, и идеологический характер, потому что Блок и Толстой, в сущности, два национальнейших, я бы сказал, националистичнейших русских художника. Но их национализмы резко контрастируют. Изобразив всю мерзость российского существования, Блок добавляет: «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Для Толстого такого рода патриотизм и национализм совершенно немыслим. Для него Россия просто всех краев дороже, без всяких уступительных придаточных предложений».

[37] Ср. в дневнике Бунина: «Казни в Одессе продолжаются с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его одежду. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности: — теперь они часто врываются по ночам к заключенным уже без приказов <…> пьяные и убивают кого попало; недавно ворвались и кинулись убивать какую-то женщину, заключенную вместе с ребенком. Она закричала, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы убили и ее, и ребенка, крикнув: «Дадим и ребеночку твоему маслинку!» Для потех выгоняют некоторых заключенных во двор чрезвычайки и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно долго делая промахи».

[38] Ср. также: «Был секретарь Чешск[ого] посольства — 5000 фр. от Бенеша и приглашение переехать в Тшебову. Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя. О Тшебове подумаю».

[39] Сманивал не один Пильняк. Ср. запись в дневнике Бунина: «21 ян./ 3 февраля. Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, — говорит Белый, — дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет».

[40] Ср. с письмом Есенина Р. В. Иванову-Разумнику 6 марта 1922 года: «С тоски перечитывал «Серебряного голубя». Боже, до чего же изумительная вещь. Ну разве все эти Ремизовы, Замятины и Толстые (Алекс.) создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним».

[41] Ср. также: «Анализ творчества Толстого занял бы целую книгу, и он не является нашей задачей. Хотелось бы лишь сказать, что Толстой до конца своей жизни не изменил своих позиций. В той или иной форме все его творчество — это развитие того комплекса идей, которые сложились у него к 1922–1923 гг.» *(Агурский М.* Идеология национал-большевизма).

[42] Ср. в дневнике Бунина: «6 авг. (н. с.) 21 г. <…> В газетах все то же. «На помощь!» Призывы к миру «спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!» А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. <…> И как надоела всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!»

[43] Причем не просто приветствовали, а удивились — почему так поздно? 25 апреля 1922 года «Известия» писали: «Давно уже следовало ждать этого заявления от большого русского писателя. Странно было, что среди имен А. Франса, Р. Роллана, Барбюса, Брандеса, Синклера мы не встречали имени русских писателей. Теперь первый шаг сделан. Вопль, вырвавшийся из души одного из крупнейших представителей эмиграции, — великий симптом». Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 123.

[44] За исключением разве что А. Ветлугина (Рындзюна), который писал: «Письмо Толстого Чайковскому — первые человеческие слова, прозвучавшие на русском языке за пять лет… После стольких чугунных ликов наше родное человеческое лицо».

[45] «Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать свершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. <…> «Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца, да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно останутся и такие, что не сдадутся никогда. «Народ не принял белых…» Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа» (*Бунин И. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 415–416).

[46] Ср. также в воспоминаниях Дм. Толстого: «Больше всех его ненавидел писатель Всеволод Вишневский. Однажды он, сильно выпивший, встретил отца в пивной и буквально набросился на него: «Пока мы здесь кровь проливали за советскую власть, некоторые там по «Мулен Ружам» прохлаждались, а теперь приехали на все готовенькое!»

[47] В очерке о Гумилеве Алексея Толстого Волошин, например, назван В., Дмитриева — Д.

[48] Ср. в письме Горького Ольденбургу 20 июня 1922 года: «Письмо Чуковского, верно, очень оглушило многих? Хорошо еще, что мне удалось уговорить Толстого вычеркнуть несколько фраз из этого письма, и очень сожалею, что не смог уговорить совсем не печатать эту <…> эпистолу. Толстой, конечно, был заинтересован опубликовать это письмо, его беднягу, так травят здесь…» (Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 129).

[49] Ср. у Пришвина в письме к Иванову-Разумнику: «…Я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое маленькое, бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и

пр., но все-таки…» *(Пришвин М. М.* Дневник. 1920–1923 гг. М., 1995. С. 236).

[50] Ср. также в письмах к Ященко: «А ты поверишь ли, на что всего больше похожа нынешняя Россия — на монастырь. Со святостью и с развратцем, и много монашеских лиц. Город погиб — Россия жива в деревне (Россия здоровая — от Пушкина и Толстого) — если вообще жива Россия. <…> В Москве о России знают меньше, чем знали мы в Берлине. Здесь так же много слепых, как и там. <…> Россия еще тяжко больна, *еще бредит*, но кризис миновал, — Россия выздоравливает. В эту верю, верю, верю» (Русский Берлин. С. 191–192).

[51] А некоторое время спустя скажет то же самое про «Роковые яйца» Булгакова: «Он берет вещь старого писателя, не изменяя строения и переменяя тему. Это сделано из Уэллса…»

[52] Ср. также с новейшей точкой зрения Вс. Ревича: «Она была написана в точке перелома, перехода от Толстого дореволюционного к Толстому советскому, и уже в ней дали себя знать противоречия, которые перекорежили многие страницы отечественных творцов: несомненный художественный талант, зоркое видение действительности оказывались в неразделимом переплетении с идеологическими догмами, отчасти усвоенными, отчасти навязанными. Ленин говорил о кричащих противоречиях в творчестве Льва Толстого. У талантливых писателей советского времени противоречия «кричали» куда громче. Фигурально говоря, это был непрекращающийся десятилетиями вопль. <…> С одной стороны, в самой идее полета на Марс из голодного, неустроенного Питера отразились энтузиастические настроения тех лет. Они сродни все тому же каналу из Арктики в Индию. Но — с другой стороны — что-то сопротивляется попытке записать полет Лося в актив Советской власти. Не грандиозное, общегосударственное шоу, какие мы не раз наблюдали в дальнейшем, а рядовое, почти заурядное событие — ракета стартовала чуть ли не тайком из обыкновенного двора. Частная инициатива рядового петербургского инженера, которого даже типичным представителем революционной интеллигенции не назовешь. На Марс летят случайные люди. Но это закономерная случайность. Революция взбаламутила разные социальные слои, они перемешались и не сплавились. Странно, не правда ли, что у Лося нет не только сподвижников, но и помощников, и он вынужден пригласить с собой в полет незнакомого солдата? Для Лося это бегство от действительности, от тоски по умершей жене, попытка преодолеть душевное смятение, даже разочарованность в жизни. (А с чего бы — в нашей-то буче боевой, кипучей?) В сумбурной, бессвязной предотлетной речи он верно оценивает себя: «Не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя… Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец…» В последующих изданиях автор подубрал пессимистические настроения героя, но тем не менее его Лось решительно не похож на звездных капитанов, напоминающих по бездуховности металлический памятник Юрию Гагарину, который воздвигнут в Москве на площади его имени». И далее: «Все это давно неактуально, и если бы в книге действовали только Гусев и Лось, она вряд ли бы устояла на полках. Роман выжил благодаря образу, которого Чуковский и другие не замечали. Когда мы начинаем искать символ вечно женственного, марсианка Аэлита непременно приходит на ум. Аэлита — изящество, ум, красота, любовь. На последних страницах романа образ Аэлиты расширяется до вселенских масштабов, до образа идеальной женщины вообще: «…Голос Аэлиты, голос любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной…» В книге скрыт какойто секрет, плохо поддающийся литературоведческому препарированию» (*Ревич Вс.* Алексей Толстой как зеркало русской революции. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998. С. 47–68.)

[53] Над этим псевдонимом часто потешались, но И. М. Василевский избрал его по той причине, что был еще один фельетонист, его однофамилец Ипполит Федорович Василевский, писавший под псевдонимом Буква.

[54] Но и Толстой в своем докладе о советской литературе в 1943 году добрым словом помянет «Хулио Хуренито», и Эренбург с радостью отметит это в своих мемуарах.

[55] Ср. с мнением Ахматовой в книге Л. Чуковской: «Разговор перешел на воспоминания Эренбурга. Я сказала: «интересно».
— Ничуть, — с раздражением отозвалась Анна Андреевна. — Ни слова правды — ценное качество для мемуариста. О Толстом все наврано: Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог» ~*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 429).

[56] Ср. также в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной: «18/31 дек 1921 г. Горький написал Манухину, что он разочаровался в русском народе и коммунистах. В Россию он больше не вернется. Хочет написать книгу о русском народе. «Теперь, — пишет он, — я узнал его досконально и почувствовал презрение к нему» (Устами Буниных. Т. 2. С. 59).

[57] Подробнее об этом в статье Мирона Петровского, из которой приведем лишь один фрагмент: «Каков бы ни был стиль перевода (нам неизвестного), он вытеснялся реалистической живописью Толстого, насыщался бытовыми реалиями и оборотами живой разговорной речи. Правда, полностью вытеснить чужой стиль Толстому тогда не удалось, и в берлинском пересказе нет-нет да и всплывет абсолютно чуждая ему фраза. Трудно представить себе, чтобы из-под пера Петровской вышли такие простецкие реплики, чарующие своей непосредственностью, а порой — и выразительной «неправильностью»: «Значит, это мне просто примстилось» — «Вот дурак беспонятный!» — «Вот так штука»» — «Болтаи, пустомеля!» — «Купи? Купишек нет»» — «Нечего зубы скалить!» — «А за то, что не суйся не в свои дела!» — «Стрекнул в кусты» — и так далее. Конечно, от Толстого, а не от переводчицы, чуждой фольклорному стилю, в тексте берлинского издания «Пиноккио» типично русские фразеологизмы, пословицы, поговорки, экспрессивные, еще не остывшие, словно только сейчас из языковой печи выхваченные речения, вроде «одного сшиб пинком, другому устроил «вселенскую смазь»»... — и прочее в этом же роде».
Сама Петровская, впрочем, так не считала. 18 мая 1924 года она писала О. И. Ресневич-Синьорелли: «Без Толстого лучше, уверяю Вас, — он совершенно разрушил своей редакцией (это без знания языка редактировал) «Приключения Пиноккио» (Минувшее. Вып. 8. С. 128).

[58] Неплохой словесный портрет красного графа вскоре по возвращении из эмиграции оставил в своих записях литератор Иннокентий Басалаев: «По Невскому шел Алексей Толстой. В сером костюме, с перекинутым на левую руку летним пальто, не торопясь, он переходил мост через канал Грибоедова у Дома книги. В полных губах — большая сигара — может быть, сигара, привезенная им из Европы, откуда он только что вернулся. Крупный, тяжелый, коротконогий, он шел, как всегда почему-то немного сердитый, оглядывая прохожих, дома и улицу глазами хозяина, давно не бывавшего дома, и заставлял любопытных оглядываться на его не по-невски сытую и гладкую фигуру.
Трудно его слить с нашим бытом. Он вываливался из него анекдотами, какими-то смешными и нелепыми рассказами и устойчивыми историйками о его привычках, вкусах, образе жизни» (Минувшее. Вып. 16 М.; СПб., 1994. С. 454).

[59] В 1923 г. в одном из своих писем Горький писал: «Приехал Алексей Толстой, все говорят, что поездка в Россию отразилась на нем очень плохо. Зазнался». Цит. по: *Крюкова А. М.* А. Н. Толстой. М., 1989. С. 82.

[60] Впрочем, если уж быть совсем точным, то имена Сологуба (которого в середине двадцатых избрали председателем правления Петербургского отделения Всероссийского союза писателей и Ленинградской ассоциации неоклассиков) и Толстого порой оказывались рядом в самых

неожиданных контекстах. В дневнике Павла Лукницкого встречаются такие записи:

«Веев. Рождественский в Союзе при мне передал Ф. Сологубу заявление Кубуча, что Кубуч, устраивая лит. вечера, будет брать на себя все предварительные расходы по их устройству и платить Союзу 50 % чистого сбора только в том случае, если Союз обеспечивает участие Ахматовой, Сологуба и Ал. Толстого. Если же Союз не может обеспечить участие этих 3-х лиц, Кубуч снимает с себя упомянутые обязательства и ставит Союзу совершенно иные, гораздо менее выгодные для Союза условия.

Хорошее дело! Не могут же АА, Сологуб и Толстой устраивать благополучие Союза, отдуваясь за всех! Да и помимо всего — из этих трех — одна постоянно болеет, у другого подагра, а третий — пьяница! <…>
Говорили о литерат. вечере, устроенном 16.III.1925 Кубучем. Ал. Толстого участвовать в вечере приглашал Вс. Рождественский и получил ответ от жены А. Т., что А. Толстой в отъезде; в действительности же А. Т. был дома — мне сказал Ф. Сологуб».

[61] Строго говоря, бренд принадлежит тому, кто действительно тараканьи бега первый придумал. В печати же впервые написала об этом газета «Последние новости», на которую ссылается другая эмигрантская газета «Новый мир»: «В Константинополе, как сообщают «Последние] Нов[ости]», один русский беженец Д., бывший владелец кинематографической фирмы в Петрограде, открыл… тараканьи бега. По длинному столу, на котором устроены желобки, бегут запряженные в легонькие колясочки — тараканы. Масса публики. Довольно крупная игра в тотализатор на этих усатых рысаков. Некоторые из игроков приносят с собою в коробочках свои «конюшни». Тараканов осматривает особое жюри, взвешивает и т. д. Есть беговые и судьи, отменяющие иногда неправильные бега. Успех тараканьих бегов среди русской эмиграции огромный. Способная нация гг. эмигранты. Они быстро усвоили наставление своей белой прессы — Мы должны вернуться в новую, будущую Россию обновленными» (Новый мир. 1921. 1 мая. Рубрика: Среди эмигрантов).

[62] Ср. с мнением С. Боровикова: «Я уже писал о принципиальной близости Алексея Н. Толстого и Михаила Булгакова, волею нашей прогрессивной общественности и ее выразителей-критиков разведенных подальше по принципу борец — конформист, гонимый — гонитель, конфетка — какашка и даже белый — красный.

Стиль отношения к действительности, мелодия этого отношения роднит Толстого и Булгакова более, чем кого бы то ни было из их поколений. Катаев — да, близок и тому и другому, но они ближе друг другу. Катаев отравлен югом, что бы и когда бы ни делал Катаев, он одесский писатель, тогда как Толстой и Булгаков, невзирая на поволжское происхождение одного, киевское — другого, — писатели среднерусские, даже великорусские. И повесть «Хлеб» — такая же деталь различия, как внешность или бытовые привычки. Булгаков такой же русский государственник монархо-буржуазного толка, как и Алексей Толстой. Он такой же сменовеховец, позитивист. Булгаков столь же не был либералом, как и Алексей Толстой — коммунистом.

Формулировка «монархо-буржуазный» может показаться диковатой, из словаря какого-нибудь лектора сталинской поры вроде право-троцкист или эсеро-фашист.

Поясню: оба выросли, как бы срослись с монархией как гарантией русского порядка, причем Булгаков более, чем Толстой, при своем «графстве» проведший детство и юность в весьма демократической среде. Обоих отличала пусть не кричащая, но очевидная сословная спесь, так же, как и приличный, не кровожадный, но антисемитизм. Оба очень высоко ставили понятие семьи при весьма свободном отношении к женщине и небоязни сменить команду. (В Дневнике

Ел. Серг. Булгаковой есть о том, что Толстой советовал (так!) Булгакову жениться непременно трижды.) Филиппики проф. Преображенского — это кредо самого Булгакова, с семью комнатами, с «Аидой», горячими закусками под водку, французским вином после обеда и проч. Булгаков как мог, и неплохо,» поддерживал подобие такого быта. Алексей Толстой превзошел его истинно лукулловскими масштабами, известно какой ценой Булгаков сохранил лицо, Алексей Толстой почти потерял, но это не значит, что идеалы их были различны. Булгаков был смелее, прямее, неуступчивее, наконец, честнее Алексея Толстого. Но то лишь сравнительные степени близких писательских натур.

Алексея Толстого я начал читать, естественно, куда раньше, чем Булгакова, и когда открыл второго, был поражен общностью этих двух писателей. Можно сказать и резче, вспомнив замечательные по откровенности слова о себе самого Алексея Николаевича в письме 1918 года Андрею Соболю: «Милый Андрей, я уехал, не простился с тобой, от того, что я сволочь, ты сам это знаешь».

Замечательнее всего здесь не то, что сволочь, а то, что ты сам это знаешь — т. е. любой, кто со мной потеснее общался, это знает. Это для писателя как цвет глаз или лысина — и шутки здесь Толстой допускает куда меньше, чем правдивой откровенности. Он, если и не кичился, то, во всяком случае, не скрывал своего негодяйства, что отчасти восхищало того же Бунина, как чистый беспримесный цинизм.

А Булгаков не был циником. Но мы родним писателей не по степени их личной порядочности. В противном случае о каком, скажем, историческом, стилистическом или ином сопоставлении может идти речь. Я позволил себе привести два отрывка из Толстого и Булгакова. У них можно найти и иные родственные мелодии, темы (известно, что о тараканьих бегах Булгаков написал через несколько лет после Толстого), но показались наиболее показательными именно описания буржуазной (слово нехорошее? ну, скажите как-нибудь еще, ведь ясно, о чем речь) стабильной жизни. Они оба и насмешничали над этой жизнью, иронизировали над теми, кто ею живет, во всяком случае, или жили так (большую часть жизни Толстой), или желали, или предполагали так жить, как малую часть жизни сумевший так жить Булгаков. Это был — их мир» *(Боровиков С.* В русском жанре-17.).

[63] Зато известно весьма любопытное мнение Федина, которое приводит в своих мемуарах Р. Гуль: «Помню, я спросил как-то Федина о гремевшей по всей Советской России пьесе Толстого (и П. Щеголева) «Заговор императрицы», приносившей ему дикие барыши, но неожиданно снятой. Пьеса халтурная, ерундовая, но поставлена была замечательно, и актеры были изумительные. Особенно Монахов — Распутин. «Ты представь, поднимается занавес, на авансцене, у себя в Петербурге — Распутин, один, растрепанный со сна, босой, в русской рубахе — перед ним посудина с кислой капустой, и он — с похмелья — жрет эту капусту. Ни одного слова. Только жрет. Казалось бы, ничего особенного, а Монахов, с похмелья, молча, так жрал эту капусту, что через две минуты зал разражался неистовыми аплодисментами. Монахов — гениальный актер…» — «Но почему же пьесу внезапно сняли, несмотря на такой успех?» — Федин улыбнулся: — «А сняли наверное правильно. У нас ведь наверху люди хитрые, и вот вдруг поняли, что народ-то валит вовсе не для того, чтобы смотреть «Заговор», а для того, чтобы увидеть живую «императрицу». Вот и сняли» *(Гуль Р.* Россия в Германии. С. 302–303).

[64] Примечательно, что на той же Церковной улице (Церковная, 2) находился домик Вырубовой, где часто бывал Распутин.

[65] Точно такой же эпизод описан в мемуарах ученого В. М. Фридкина, который ссылается на устный рассказ Ф. Ф. Крандиевского. Кто у кого списал, неясно, да и не суть важно, главное, что так рождались легенды.

[66] То есть Р В. Иванова-Разумника.

[67] Позднее, оказавшись в Берлине, Толстой говорил Роману Гулю: «А знаете, Роман Гуль, какая тема для нас была бы сейчас самая современная, самая актуальная? Махно! Да, да, если бы сейчас в России появился Махно, он бы мог всю Россию кровью залить... Ведь от коллективизации ненависть крестьян живет приглушенная, но страшная...» *(Гуль Р.* Россия в Берлине С. 376).

[68] Ср. в дневнике В. И. Муромцевой-Буниной: «Были разговоры и о Петре Великом, главным образом, между Куприным и Толстым. Куприн нападал на Толстого, что он не так написал Петра. Куприн был сильно на взводе...» (Т. 2. С. 18).

[69] В воспоминаниях Валентина Берестова есть забавный эпизод. «Юрий Тынянов говорит: «Я, Тынянов, хороший писатель. Поэтому обязан писать хорошо. А Толстой феноменально талантлив и поэтому может позволить себе писать гнусно» (*Берестов В.* Избр. В 2 т. Т. 2. С. 304). Нечто подобное можно прочесть и в дневнике Чуковского: «И он (Тынянов. — *А. В.*) перешел на свою любимую тему: на Ал. Толстого.
— Алексей Толстой — великий писатель. Потому что только великие писатели имеют право так плохо писать. Как пишет он» *(Чуковский К.* Дневник. 1930– 1968. С. 134).

[70] «Перед Меркурием Авдеевичем сидел молодой, но из-за полноты и видимой рыхлости тела казавшийся старше своего возраста человек. В дородности и спокойствии его лица заключалось некоторое превосходство над тем, кого он в эту минуту наблюдал, но его рот и щеки приподнимала любезная, гипсовая улыбка, а глаза совершенно не были связаны ни со спокойствием лица, ни с обязательностью улыбки, — любопытные, щучьим любопытством, жадно-холодные глаза».

[71] Один из самых резких отзывов принадлежит Авербаху в его уже цитировавшейся речи на пленуме ВОАППа в мае 1931 года: «Роман «Черное золото» — бульварная авантюрщина. <...> Там дан стандартный сюжет из любого второсортного авантюрного романа, для интереса добавлены некоторые исторические фамилии, Денисов, Милюков, для обывательского интереса показано, как они пьют чай и т. д., а затем определенное количество эротики для того, чтобы можно было пережить те «идеи», которые в порядке принудительного ассортимента от большевизма вкладывает Алексей Толстой в свое произведение <...> Это даже не материал для сравнения, для отталкивания, а это материал для отбрасывания *(аплодисменты).* Когда я говорю о «Черном золоте», я хочу указать на мимикрию писателя...» (цит. по: *Шешуков С.* Неистовые ревнители. С. 237).

[72] Возможно, потому, что Толстой был убежденным противником РАППа, а Горький на той встрече отнесся к пролетарским писателям совершенно иначе. «Расположение и даже любовь Горького к рапповцам бросается в глаза», — писал Корнелий Зелинский (Одна встреча у Горького // Вопросы литературы 1991. № 5. С. 146).

[73] А было сорок три человека и среди них — М. Шолохов, Вс. Иванов, А. Фадеев, Л. Леонов, М. Кольцов, С. Маршак, И. Гронский, Ф. Гладков и др.

[74] Ср. в письме Ф. Степуна к И. Бунину: «Сейчас перечитываю Горького, скорблю о его загубленном таланте и не могу понять, как один и тот же человек мог написать и «Детство», и «Мать», и «Дело Артамоновых». <...> Алеша Толстой менее проблематичен (только что прочел его «Хождение по мукам»); он и врет и творит одним махом. Творчество его от нутра, глубоко талантливого, а ложь от подлости натуры. Связь творчества и лжи чисто психологическая

проблема» (С двух берегов. С. 129).

[75] Ср. в письме к Крандиевской: «На тебя болезненно действует убожество окружающей жизни, хари и морды, хамовато лезущие туда, куда должно бы входить с уважением. Дегенерат, хам с губами и волосатыми ноздрями, — повергает тебя в содрогание, иногда он заслоняет от тебя все происходящее… Я стараюсь этого не замечать, иначе я не увижу того, что тот заслоняет. Хамская рожа мне интересна как наблюдение…» (Переписка… Т. 2. С. 80).

[76] «Очень хочется почитать эту книжку в Горках, — писал он Горькому в феврале 1935 года, — посадить Марфу, Дарью и еще кого-нибудь, скажем, Тимошу, и прочесть детям».

[77] Жена Замятина.

[78] И не только их. Ср. в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной:
«— Не смей делать мне замечания, — закричал Толстой вне себя. — Я граф, мне плевать, что ты — академик Бунин!» (Устами Буниных. Т. 2. С. 30).

[79] Ср. также в книге П. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы»: «Учитывая личные контакты Ильина с такими писателями, как Алексей Толстой, и прославленными музыкантами и композиторами, его часто принимал у себя Берия».

[80] «Случайно в одном из кафе Парижа я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня. Я спросил, что он намерен делать. Бунин сказал, что хочет переехать в Рим, так как ему не хочется еще раз связываться с революцией. Так он и сделал. Но эта поездка окончилась неудачей. Фашисты оказали Бунину такой прием, что ему, полуживому, пришлось вернуться в Париж. На границе его раздели донага, осматривали вплоть до зубов, продержали голым в течение нескольких часов на каменном полу, на ледяном сквозняке.
Я прочел три последних книги Бунина — два сборника мелких рассказов и роман «Жизнь Арсеньева». Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка прежнего мастерства. Судьба Бунина — наглядный и страшный пример того, как писатель-эмигрант, оторванный от своей родины, от политической и социальной жизни своей страны, опустошается настолько, что его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии».

[81] Бахраху вообще вся эта история казалась очень странной: «Ведь я в те дни буквально ежечасно общался с Буниным, подолгу с ним беседовал, и он нередко говорил со мной на довольно сокровенные темы <…> но ни разу за эти жуткие годы (как и после того, как они миновали) я не слышал от него хотя бы отдаленного намека на желание перекочевать в Советский Союз. Не слыхал я от него и о том, что он с чем-то обращался к Толстому, хотя в то время выполнял при нем обязанности «почтмейстера» *(Бахрах А.* Бунин в халате. С. 224).

[82] Существует рассказ Ариадны Цветаевой (дочери Марины Цветаевой) о том, как перед отъездом в СССР она пришла проститься с Буниными и Бунин принялся ее отговаривать. «Дура, тебя там сгноят в Сибири! — говорил он. Но потом, помолчав, с грустью добавил: — Если бы мне было столько лет, сколько тебе… Пусть Сибирь, пусть сгноят! Зато Россия».

[83] Об этом конгрессе писал также и М. Кольцов в «Испанском дневнике»: «Ночью город основательно бомбили… Я приказал телефонистке «Метрополя» разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрестанно… издалека слышались глухие разрывы бомб… Толстой сказал, что наплевать, какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в малиновой пижаме здесь, в погребе» (цит. по: *Крестинский Ю. А.* А. Н. Толстой: Жизнь и творчество. М., 1966. С. 238).

[84] Другую версию поездки Толстого на Западную Украину вскоре после ее «освобождения» приводит в своей книге «Сталин: власть и искусство» Е. Громов: «Толстой по следам Красной Армии вступил в Западную Украину и, выломав паркет у Радзиллов, объяснялся на границе: «Я депутат Верховного Совета!» Сталин насмешливо бросил тогда: «Я-то думал, вы настоящий граф» *~Громов Е.* Сталин: власть и искусство. М., 1998. С. 256).

[85] Любопытно, что американский славист Р. Такер пишет о том, что Сталин послал Толстому на отзыв булгаковскую пьесу «Батум» и тот нашел «оскорбительной ту сцену, в которой будущий вождь «страдал от физических ударов». *Tacher G. Robert.* Stalin in power. The Revolution from above 1928–1941/ N.Y.; London, 1992. P. 583 (цит. по: *Громов Е.* Сталин: власть и искусство. М., 1998. С. 128).

[86] И не только при жизни Толстого, но и после. В дневнике К. Чуковского от 23 ноября 1965 года есть запись: «Вчера. Были две аристократки: графиня Л. Толстая и баронесса Будберг (Мура). Заговорили о Солженицыне. Людмила: «С удовольствием отдам ему комнату Алеши — одну из пяти в моей квартире» (Дневник 1930–1968. С. 381–382). Знал или нет об этом Солженицын, но в «Абрикосовом варенье» он вывел жену писателя из-под удара, удалив ее со страниц рассказа («Жены Писателя не было дома»).

[87] Ср. в воспоминаниях Яновского: «Алексей Толстой, человек очень ширрроκий, побывал в Англии и возмущался скупостью тамошних писателей: его угостили скудным обедом — демьяновой ухой наизнанку. То ли дело у нас в Москве.
Герцен, благородный, смелый, умнейший барин, Алешка Толстой, почти противоположность всего этого… Но «мелочность» англичан они порицают одинаково. Тут что-то странное и легкомысленное» *(Яновский В.* Елисейские Поля. С. 164).

[88] Ср. у Романа Гуля: «Помню, Толстой, рассказывая что-то смешное Ященке, сам говорил: «Признаюсь, Сандро, люблю «легкую и изящную жизнь» (это он произносил в нос, изображая фата), для хорошей жизни и сподличать могу…» — и он заразительно-приятно захохотал барским баритоном» *(Гуль Р.* Россия в Германии. С. 101).

[89] Такие прецеденты уже были. В 1940 году в связи с пьесой Л. Леонова «Метель», не понравившейся Сталину, А. А. Кузнецов писал в ЦК ВКП(б): «Я бы предложил сделать так: пьесу издать, но к постановке в театре запретить. Это более правильно, потому что, во-первых, даст возможность подвергнуть автора серьезной литературной критике; во-вторых, покажет, что не всякая пьеса может быть на сцене — это закономерная и очень целесообразная форма критики» (Литературный фронт. С. 47).

[90] Вспомним еще раз строки из письма Немировича-Данченко жене в 1913 году. «Но упускать его не хочется. Все думается, что он может что-то написать выдающееся» Вот и написал.

[91] Для Толстого письмо Немировича-Данченко было неожиданностью. Ср. в дневнике Вс. Иванова: «Заходил В. Гусев, сказал, что запрещение «Ивана Грозного» Алексей Толстой относит за счет Немировича-Данченко» (С. 91).

[92] Но впоследствии от этой идеи отказался. Ср. в воспоминаниях Шкловского: «Третью часть писать не буду, — неожиданно говорит он. — Это страшно. Это такой мрак. Крушение всех его надежд. Нельзя писать в такое время. Не подниму. После войны как-нибудь» (Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 455).

[93] Ср. также в воспоминаниях дочери С. Михоэлса: «... пьеса производила сильное впечатление. Поставленная в Малом театре, она стала неузнаваемой: настолько велика была разница между первым вариантом, который слышала, и тем, что шло на сцене».

[94] Впрочем, своих детей Толстой от армии освободил. Ср. в книге В. Петелина устный рассказ Л. И. Толстой: «Алексей Николаевич не любил говорить об этом, но ято знаю, как все это было... Просила и Наталья Васильевна... Но сначала Толстой был неумолимым... Шли на фронт писатели, художники, артисты, ученые, дети советской и партийной элиты... Много талантливых людей погибло на фронтах. Но сыновья Толстого действительно не воевали... Никита упал на колени перед отцом, умоляя его сделать все для того, чтобы его не призывали в армию... «Не для того я учился, чтобы бггь пушечным мясом в этой войне», — со слезами говорил он. Также и Дмитрий... Толстой испытывал вину перед сыновьями за то, что бросил их... Толстой был очень влиятельным человеком. У него повсюду были друзья... Что он сделал, не знаю, этот вопрос был как бы запретным в наших разговорах, но сыновья его не пошли на фронт, продолжали учиться» (цит по: *Петелин В. В.* Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. М., 2002. С. 934).
Косвенным подтверждением этой версии может служить запись из дневника Вс. Иванова: «Толстой ухаживал за заместителем Коваленко, а тот, хам в белом костюме, величественно вякал. Ужасно» *Иванов В. В.* Дневники. М., 2001. С. 90). *Коваленко* — ташкентский генерал.

[95] Ср. у Л. Чуковской в «Записках об Анне Ахматовой» слова самой Ахматовой: «Утром открылась дверь и шофер Толстого принес дрова, яблоки и варенье. Это мне совсем не понравилось. Я не хочу быть обязанной Толстому» (Записки об А. Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 373).

[96] Об этом же он говорил когда-то Ираклию Андроникову во время их прогулки по парку в Детском Селе:

«Он допил кофе, мы вышли. За ним выскочил из дому сеттер по кличке Верн. И сразу стал метаться в разные стороны, нюхал снег, лаял. Толстой недовольно следил за ним:
— Еще недавно был дивный охотник. А сейчас — старье, абсолютно бессмысленный, беспамятный пес. Нюх отбило, ему все равно, что куча навозу, что палка. Вон побежал — собачонку увидел... Нет, забыл, за чем побежал, отвлекся. На грудных детей лает, разбойникам лижет подметки... И люди такие же в старости: бестолковые, суетливые...» *(Андроников И.* Указ. соч. С. 29).

[97] Ср. у Лидии Чуковской: «Алексей Николаевич заставил ее (Ахматову. — *А. В.*) прочесть поэму дважды, ссылаясь на все ту же знаменитую трудность и непонятность По-моему, он и после двух раз ничего не понял» (Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 403). Ср. также: «NN возмущалась очень горячо словами Толстого за столом о «ясности» Пушкина» (там же. С. 406).

[98] Ср. у Л Чуковской: «Потом приехала Толстая и разъяснила присутствующим, что переезд NN уже предложен самим ЦК и отказываться неудобно» (Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 407).

[99] Еще одна пьеса, которую Толстой написал в Ташкенте, называлась «Нечистая сила». О ней есть довольно любопытные упоминания в дневнике Вс Иванова. «11 сентября 1942 года. Беззаботный, веселый Алексей Толстой, за стаканом вина, читал первый акт такой же беззаботной комедии «Нечистая сила». 16 октября. Жена Толстого после чтения сказала Тамаре — «А пьесу, может быть, и не поставят». — «Почему же? Помимо художественных достоинств она противонемецкая...» — «Да, но может быть окажется к тому времени, и немцев

ругать не надо». Т. е. в кругах Алексея Толстого идут разговоры о возможности сепаратного мира» (*Иванов Вс.* Дневник. С. 161).

[100] И не только они. Ср. с воспоминаниями В. Милашевского: «Я подхожу, здороваюсь… Несколько незапоминающихся фраз… Супруга Толстого явно меня не замечает… Я не знаменит… Не из высшего общества» Как быстро освоилась она со своим положением, эта дочь скромного провинциального железнодорожника» (*Милашевский В* Вчера. позавчера… С 294).

[101] Ср. в статье В. Баранова: «Первой в тот же день выступила «Правда» со статьей «Тяжелая утрата», принадлежавшей Демьяну Бедному, который никогда не был близок к усопшему, зато был очень близок к Кремлю. На следующий день опять-таки в центральном органе партии публикуются статьи Михаила Шолохова «Могучий художник» и Николая Тихонова «Писатель великого народа». А дальше хлынут статьи крупнейших писателей и деятелей искусства: «Народный писатель», «Верный сын народа», «Он будет жить», «Верный сын родины», «С гордо поднятой головой», «Русский талант», «Он вечно будет с нами», «Живой в памяти поколений»…»

[102] Переписка. Т. 1. С. 267.

{1} *Молотов В. М.* Статьи и речи. 1935–1936. М., 1937. С. 225.

{2} *Белкина М. И.* Скрещение судеб. М., 1992. С. 35–36.

{3} *Бунин И. А.* Сочинения: В 8 т. М., 1994–2000. Т. 8. С. 302.

{4} Там же.

{5} Там же. Т. 7. С. 522.

{6} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1985. С. 142.

{7} *Волошин М. А.* Лики творчества. Л., 1988. С. 536.

{8} Русский Берлин. М., 2003. С. 114.

{9} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. М., 2002. С. 16–17.

{10} Там же. С. 17.

{11} *Оклянский Ю. М.* Шумное захолустье. Самара, 1982. С. 26–27.

{12} Цит. по: *Петелин В. В.* Жизнь Алексея Толстого: Красный граф. М., 2002. С. 19.

{13} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 28.

{14} Там же. С. 49–50.

{15} Там же. С. 49–50.

{16} Там же. С. 28–29.

{17} Там же. С. 30–31.

{18} Там же. С. 32.

{19} Там же. С. 34.

{20} Там же. С. 50.

{21} Там же. С. 35.

{22} Цит. по: *Петелин В. В.* Указ. соч. С. 48.

{23} *Бунин И. А.* Сочинения: В 8 т. Т. 8. С. 303.

{24} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 36.

{25} Там же. С. 32.

{26} Там же. С. 37.

{27} Там же. С. 49.

{28} Там же. С. 17.

{29} Там же. С. 18.

{30} Там же.

{31} Воспоминания об А. Н. Толстом. М., 1982. С. 71.

{32} А. Н. Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. С. 307.

{33} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 78.

{34} Там же. С. 79.

{35} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1946–1953. Т. 13. С. 414.

{36} Цит. по: Письма А. Л. Толстой и А. Н. Толстого — А. А. Вострому из Сызрани. www.lib.syzran.ru/kraeved/Tolstoy

{37} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 147–148.

{38} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 123.

{39} А. Н. Толстой и Самара. С. 327.

{40} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 122.

{41} А. Н. Толстой и Самара. С. 300–301.

{42} Там же. С. 69–70.

{43} Там же. С. 304.

{44} Переписка А. Н. Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 37.

{45} А. Н. Толстой и Самара. С. 117.

{46} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. М., 1958–1961. Т. 1. С. 53.

{47} РГАЛИ. Ф. 2553. Оп. 1. Ед. хр. 500.

{48} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* А. Н. Толстой: Жизнь и творчество. М., 1960. С. 10.

{49} Цит. по: Письма А. Л. Толстой и А. Н. Толстого — А. А. Вострому из Сызрани. www.lib.syzran.ru/kraeved/Tolstoy

{50} А. Н. Толстой и Самара. С. 10.

{51} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 43–44.

{52} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 22–23.

{53} А. Н. Толстой и Самара. С. 300–301.

{54} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 71.

{55} А. Н. Толстой и Самара. С. 304.

{56} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 68.

{57} Там же. С. 67.

{58} Там же. С. 73.

{59} Там же. С. 74–75.

{60} А. Н. Толстой и Самара. С. 305.

{61} Цит. по: Письма А. Л. Толстой и А. Н. Толстого — А. А. Вострому из Сызрани. www.lib.syzran.ru/kraeved/Tolstoy

{62} Там же.

{63} Там же.

{64} Там же.

{65} Там же.

{66} Там же.

{67} Там же.

{68} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 62–64.

{69} Там же. С. 69.

{70} Там же. С. 90.

{71} *Чириков Е. Н.* На путях жизни и творчества // Лица. Вып. 3. М.; СПб., 1993. С. 340.

{72} А. Н. Толстой и Самара. С. 312.

{73} *Оклянский Ю. М.* Указ. соч. С. 83.

{74} А. Н. Толстой и Самара. С. 307.

{75} Там же. С. 151.

{76} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 70.

{77} Там же. С. 74.

{78} *Толстой А. Н.* Из воспоминаний // Аврора. 1983. № 1. С. 89.

{79} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 66.

{80} Там же. С. 64.

{81} Там же. С. 69.

{82} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 104.

{83} Там же. С. 108.

{84} Там же. С. 110.

{85} Там же. С. 123–124.

{86} Цит. по: Georges Nivat. http://nivat.free.fr/livres/retour/16.htm

{87} *Толстой А. Н.* Из воспоминаний. С. 88.

{88} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 224.

{89} А. Н. Толстой и Самара. С. 34.

{90} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 119.

{91} Там же. С. 119–120.

{92} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 59.

{93} Там же.

{94} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 411.

{95} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 303.

{96} *Пяст В. А.* Встречи. М., 1997. С. 100.

{97} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 33.

{98} Там же. С. 61.

{99} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 124–125.

{100} Там же. С. 132.

{101} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 306.

{102} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 63–64.

{103} *Иванов Г. В.* Сочинения: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 315.

{104} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 131.

{105} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 138.

{106} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 216.

{107} Цит. по: Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 19.

{108} Там же. С. 98.

{109} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 135.

{110} Там же. С. 136.

{111} Письма М. А. Волошина к А. В. Гольштейн // Звезда. 1998. № 4. С. 165.

{112} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 220–221.

{113} Там же.

{114} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. М., 2004. С. 321.

{115} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 305–306.

{116} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 145.

{117} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 205.

{118} *Брюсов В. Я.* Дневники. Письма. Автобиографическая проза. М., 2002. С. 161.

{119} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 239–240.

{120} *Кузмин М. Л.* Дневник: 1908-1915. М., 2005. С. 98.

{121} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 133–134.

{122} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 336.

{123} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 303.

{124} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 148.

{125} Там же. С. 155.

{126} Там же. С. 147.

{127} Там же. С. 150.

{128} Цит. по: http://lib.ru/POEZIQ/ANNENSKKIJ

{129} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 96.

{130} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 152.

{131} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 222.

{132} Цит. по: *Волошин М. А.* Лики творчества. С. 766.

{133} Там же.

{134} Там же. С. 536.

{135} А. Н. Толстой и Самара. С. 338–343.

{136} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 321.

{137} Лица. Вып. 1. СПб., 1992. С. 125.

{138} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 322.

{139} Finkelshteyn.narod.ru/Tsarskoye Selo/Uch zav/Nik Gimn/NGU Kokovcev.htm

{140} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 329.

{141} *Тименчик Р.* Остров искусства: Биографическая новелла в документах. Akhmatova.by.ru/history.htm

{142} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 322.

{143} *Пяст В. А.* Указ. соч. С. 109.

{144} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 401.

{145} Цит. по: http://lib.ru/POEZIQ/ANNENSKKIJ

{146} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 322–323.

{147} Там же. С. 403.

{148} Там же. С. 391.

{149} Новый мир. 1988. № 12. С. 141–153.

{150} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 391.

{151} *Ходасевич В. Ф.* Некрополь, http://ldn-knigi.narod.ru

{152} Там же.

{153} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 323.

{154} История Черубины: Рассказ М. Волошина в записи Т. Шанько. lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv

{155} Там же.

{156} Цит. по: Николай Гумилев глазами сына. С. 323.

{157} Там же. С. 395–396.

{158} Там же. С. 325.

{159} Цит. по: *Тименчик Р.* Остров искусства: Биографическая новелла в документах. Akhmatova.by.ru/history.htm

{160} Там же.

{161} *Волошин М. А.* Лики творчества. С. 536.

{162} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 161.

{163} Там же.

{164} Таково начало моего писания прозы: Неизвестная автобиография А. Толстого. Публикация В. И. Баранова // Литературная газета. 1970. 18 февр.

{165} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 57.

{166} Цит. по: *Кузмин М. А.* Дневник. С. 644.

{167} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 90.

{168} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 305.

{169} *Крандиевский Ф. Ф.* История одного путешествия // Звезда. 1984. № 1. С. 156–157.

{170} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 177.

{171} Там же. С. 162.

{172} Там же.

{173} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 142.

{174} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 26.

{175} Русская мысль. 1912. № 5. С. 27.

{176} *Чуковский К.* Я. Дневник: 1930–1969. М.» 1997. С. 328.

{177} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 130.

{178} Там же. С. 130.

{179} Там же.

{180} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 177.

{181} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 78.

{182} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Воспоминания. Л., 1973. С. 72.

{183} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 35–36.

{184} Там же. С. 258.

{185} *Степун Ф. А.* Бывшее и несбывшееся. М., 1998. С. 226 –227.

{186} Там же. С. 78.

{187} *Бурнакин А.* Литературные заметки. Беллетрист клеветы // Новое время. 1911. 3 июня.

{188} Это наблюдение принадлежит Е. Д. Толстой. См.: *Толстая Е. Д.* Между небом и землей: Первый эскиз революционного романа. www.plexus.org.il/texts/Tolstoy mejdu.htm

{189} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 1. С. 605.

{190} *Гиппиус З. Н.* Воспоминания. — В кн.: *Мережковский Д. С.* 14 декабря. *ГиппиусМережковская З. Н.* Дмитрий Мережковский: Воспоминания. М., 1991. С. 519.

{191} *Блок А. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 451.

{192} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 391–392.

{193} Там же. С. 476.

{194} Там же. Т. 8. С. 307.

{195} *Чулков Г. И.* Годы странствий. М., 1930. С. 174–175.

{196} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 165–166.

{197} Там же. С. 165.

{198} Там же. С. 176.

{199} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 195.

{200} http://www.limbakh.ru/russian/obez/piece obezl.htm

{201} Цит. по: Русский Берлин. С. 14.

{202} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Воспоминания. С. 72.

{203} *Кузмин М. А.* Дневник. С. 107.

{204} РНБ. Ф. 634. Оп. 3. № 233. Л. 1. Цит. по: http://www.limbakh.ru/ russian/obez/piece obezl.htm

{205} ИРЛ И. Ф. 289. Оп. 3. № 30. Цит. по: http://www.limbakh.ru/russ-ian/obez/piece obez 1. htm

{206} РНБ. Ф. 634. № 322. Л. 2. Цит. по: http://www.limbakh.ru/ russian/obez/piece obezl.htm

{207} Воспоминания об А. Н. Толстом.

{208} Неизданный Сологуб. М., 1998. С. 495.

{209} Там же. С. 501.

{210} Там же.

{211} *Оцуп Н.* Океан времени. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 524.

{212} *Обатнина Е. Р.* От маскарада к третейскому суду // Лица. № 3. С. 454.

{213} Там же.

{214} Там же. С. 456.

{215} Цит. по: *Басинский П. В., Федякин С. Р.* Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции. М., 1998. С. 128–129.

{216} *Обатнина Е. Р.* Указ. соч. С. 454.

{217} *Кузмин М. А.* Дневник. С. 259.

{218} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 166–167.

{219} *Обатнина Е. Р.* Указ. соч. С. 456.

{220} Там же.

{221} Там же. С. 464.

{222} *Толстая Е. Д.* Литературный Петербург в ранней пьесе Алексея Толстого,

http://www.plexus.org.il/texts/tolstayae litera.ht...

{223} *Пяст В. А.* Встречи. М., 1929. С. 31.

{224} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 79.

{225} Там же. С. 208.

{226} Дневник Веры Шварсалон. www.silverage.ru

{227} Лица. № 1. СПб., 1992. С. 265.

{228} *Кузмин М. А.* Дневник. С. 271, 304, 312.

{229} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 37–38.

{230} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 272–273.

{231} *Кузмин М. А.* Дневник. С. 289.

{232} *Блок А. А.* Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 75.

{233} *Блок А. А.* Дневник. М., 1990. С. 170.

{234} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 298–299.

{235} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 283.

{236} *Зенкевич М. А.* Сказочная эра. М., 1994. С. 446.

{237} *Иванов Г. В.* Сочинения. Т. 3. С. 339–342.

{238} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 182.

{239} *Мгебров А. А.* Жизнь в театре. Л., 1932. Т. 2. С. 160, 171, 172, 188.

{240} *Блок А. А.* Дневник. С. 183.

{241} http://www.ruslit-xx.ru/ruslit2/guest/? Mlval=/person.html&id = l 392

{242} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 181.

{243} Там же. С. 193–194.

{244} Цит. по: А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 155–156.

{245} Минувшее. Вып. 21. М., 1997. С. 523–524.

{246} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 307–308.

{247} *Степун Ф. А.* Указ. соч. С. 240.

{248} http://www.russofile.ru/articles/article 97.php

{249} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 303, 305.

{250} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Воспоминания. Л., 1977. С. 79–80.

{251} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 205.

{252} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 90–91.

{253} Цит. по: *Бороздина П. А.* А. Н. Толстой и театр. Воронеж, 1975. С. 24.

{254} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 320.

{255} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 207.

{256} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч. С. 86.

{257} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 213.

{258} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 89.

{259} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 206.

{260} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч. С. 108–109.

{261} Минувшее. Вып. 21. С. 551.

{262} Там же. С. 216.

{263} Там же. С. 217

{264} Там же. С. 215.

{265} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч. С. 108–109.

{266} Там же. С. 112.

{267} Там же.

{268} Минувшее. Вып. 21. С. 551.

{269} Сестры Герцык. Письма. М., 2002. С. 158.

{270} Там же. С. 172.

{271} Там же. С. 162.

{272} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 234.

{273} Там же. С. 231.

{274} Там же. С. 243.

{275} Там же. С. 263.

{276} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 215.

{277} Минувшее. Вып. 21. С. 562.

{278} Русский Берлин. С. 114.

{279} Там же. С. 113.

{280} Встречи с прошлым. Вып. 5. М., 1984. С. 223.

{281} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 340–341.

{282} Там же. С. 342.

{283} А. Н. Толстой: Новые материалы и исследования. С. 199–200.

{284} *Гиппиус З. Н.* Указ. соч. С. 519.

{285} *Чуковский К И.* Чукоккала. М., 1979. С. 163–164.

{286} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 268.

{287} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 20.

{288} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 448–449.

{289} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 21.

{290} Там же.

{291} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч. С. 131.

{292} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 23.

{293} *Блок А. А.* Дневник. С. 219.

{294} Русская литература. 1979. № 2. С. 152–153.

{295} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 270.

{296} *Степун Ф. А.* Указ. соч. С. 228.

{297} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 353.

{298} Там же. С. 354.

{299} Там же.

{300} Там же. С. 354.

{301} Цит. по: *Бабореко А. К.* И. А. Бунин. М., 1973. С. 249.

{302} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 60.

{303} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 354–355.

{304} Минувшее. Вып. 3. М., 1991. С. 323.

{305} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 301.

{306} Устами Буниных. М., 2005. Т. 1. С. 142.

{307} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 308.

{308} Там же. С. 85.

{309} Там же. С. 61.

{310} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 85–86.

{311} Там же. С. 108.

{312} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 356.

{313} Там же.

{314} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 23.

{315} Там же. С. 99.

{316} *Берберова Н. Н.* Курсив мой. С. 208.

{317} Устами Буниных. Т. 2. С. 7–8.

{318} *Крандиевский Ф. Ф.* Рассказ об одном путешествии // Звезда. 1984. № 1. С. 166.

{319} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 64–65.

{320} Русский Берлин. С. 286.

{321} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 358–359.

{322} Цит. по: *Толстая Е. Д.* Бросок на юг (А. Н. Толстой в харьковской печати. Лето 1918 года), http://plexus.org.il/12 13.htm

{323} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 154.

{324} Цит. по: *Толстая Е. Д.* Бросок на юг (А. Н. Толстой в харьковской печати. Лето 1918 года).

{325} Там же.

{326} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 316.

{327} Там же. Т. 7. С. 505.

{328} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 276.

{329} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 315–316.

{330} Устами Буниных. Т. 1. С. 155.

{331} РГАЛИ. Ф. 2533. On. 1. Ед. хр. 515.

{332} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 317.

{333} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 407.

{334} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 297.

{335} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 405.

{336} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 152.

{337} Там же. С. 156–157.

{338} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906-1929. М., 1997. С. 266.

{339} *Крандиевский Ф. Ф* Указ. соч. С. 158.

{340} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 405–406.

{341} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 163.

{342} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч. С. 164.

{343} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 319.

{344} Устами Буниных. Т. 2. С. 7.

{345} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 318.

{346} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906–1929. С. 266.

{347} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 318.

{348} С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 283.

{349} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 100.

{350} *Крандиевская-Толстая Н. В.* Указ. соч.

{351} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 319.

{352} *Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути chudnov.sds.org.uahttp://chudnov.sds.org.ua/www/text/mdex.php

{353} *Толстой А. Н.* Повесть о многих превосходных вещах. Детство Никиты. Москва—Берлин, Геликон, 1922 // Руль. 1922. 18 июня. №481.

{354} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 42.

{355} Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. М., 1967. С. 102.

{356} *Гиппиус З. Н.* Указ. соч. С. 519–520.

{357} Звенья. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 512.

{358} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 319.

{359} Там же. С. 320.

{360} Там же. С. 302.

{361} Цит. по: *Толстая Е. Д.* А. Н. Толстой между небом и землей: Первый эскиз революционного романа.

{362} Там же.

{363} Там же.

{364} *Бахрах А.* Б. Указ. соч.

{365} Русский Берлин. С. 105.

{366} Цит. по: *Агурский М. С.* Идеология национал-большевизма. http:nbp-mfo.ru/new/lib/ag nb

{367} Русский Берлин. С. 19.

{368} Там же.

{369} Там же. С. 105–106.

{370} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 306.

{371} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 237–238.

{372} http://kmga.websib.ru/text.htm.book=48&chap= 1

{373} *Толстой А. Н.* Падший ангел. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. М., 1986. http://vgershov.lib.ru/

{374} http://evartist. narod. ru/text/49.htm

{375} *Пришвин М. М.* Дневник: 1920–1922. М., 1995. С. 40.

{376} Там же. С. 285.

{377} Там же. С. 133.

{378} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 319–320.

{379} Устами Буниных. Т 2. С. 11.

{380} *Бунин И. А* Сочинения. Т. 7. С. 407.

{381} Там же. С. 400.

{382} *Чуковский К.* Я. Дневник: 1906–1929. С. 266.

{383} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 318–319.

{384} Русский Берлин. С. 106.

{385} Там же. С. 106-108.

{386} *Вишняк М. В.* Годы эмиграции: 1919–1969. ldnknigi.narod.ru

{387} Устами Буниных. Т. 2. С. 18.

{388} *Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути. chudnov.sds.org.uahttp://chud-nov.sds.oig.ua/www/text/index.php

{389} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 320–321.

{390} Русский Берлин. С. 109–110.

{391} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 304–305.

{392} Там же. С. 309–310.

{393} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 395.

{394} Там же. С. 396.

{395} Устами Буниных. Т. 2. С. 23.

{396} *Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути. chudnov.sds.org.uahttp://chud-nov.sds.oig.ua/www/text/index.php

{397} *Толстая Е. Д.* Толстой и Ветлугин, http://www.utoronto.ca/tsq/07/ tolstaya07.shtml

{398} Вопросы литературы. 2000. № 1. http://magazines.russ.ru/voplit/ 2000/1/frezins.html

{399} Устами Буниных. Т. 2. С. 31–32.

{400} Русский Берлин. С. 126.

{401} *Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. М., 1961. Кн. 1–2. С. 616.

{402} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 406.

{403} *Гуль Р. Б.* Жизнь на Фукса. М., 1927. С. 203–204.

{404} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 321.

{405} Там же. С. 321–322.

{406} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 402–403.

{407} Игорь Северянин. Уснувшие весны: Критика. Мемуары. Скитания. 1931.

{408} *Гуль Р. Б.* Жизнь на Фукса. С. 210–212.

{409} *Дон Амина до.* Поезд на третьем пути. chudnov.sds.org.uahttp://chud-nov.sds.org.ua/www/text/index.php

{410} Русский Берлин. С. 174.

{411} Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 193.

{412} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 221–223.

{413} Русский Берлин. С. 98.

{414} Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 114.

{415} Русский Берлин. С. 76.

{416} Там же.

{417} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 409.

{418} *Вишняк М. В.* Годы эмиграции: 1919–1969. ldnknigi.narod.ru

{419} *Степун Ф. А.* Бывшее и несбывшееся. С. 229.

{420} *Агурский М. С.* Идеология национал-большевизма.

{421} *Гуль Р. Б.* Моя биография // Новый журнал. 1986. № 164. С. 14–82. belousenkolib.narod.ru

{422} Устами Буниных. Т. 2. С. 19.

{423} Там же. С. 70.

{424} Цит. по: *Лысенко А. В.* Голос Изгнания: Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919–1922 гг. http://www.cjes.ru/lib/

{425} Там же.

{426} Русский Берлин. С. 32–33.

{427} Там же. С. 247.

{428} Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 122.

{429} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 101.

{430} Русский Берлин. С. 35–37.

{431} Русский Берлин. С. 37.

{432} Там же. С. 35.

{433} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 328.

{434} Русский Берлин. С. 38.

{435} Там же. С. 38–39.

{436} Там же. С. 39.

{437} Там же. С. 42.

{438} *Оцуп Н.* Океан времени. С. 544.

{439} Русский Берлин. С. 44.

{440} Судьбы орнаментальной прозы // НЛО. 2003. № 61. http://maga-zines.russ.ru

{441} Русский Берлин. С. 18.

{442} *Пришвин М. М.* Дневник: 1923-1925. М., 1999. С. 6-7.

{443} Цит. по: *Лысенко А. В.* Голос Изгнания: Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919–1922 гг. http://evartist.narod.ru/ text/49.htm

{444} Там же.

{445} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 324.

{446} Цит. по: *Миндлин Э. Л.* Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 151.

{447} Русский Берлин. С. 188.

{448} http://eseniada.narod.ru/avto6.html

{449} Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 125.

{450} *Толстой А. Н.* О новой литературе, http://vgershov.lib.ru/

{451} *Берберова Н. Н.* Курсив мой. С. 207–208.

{452} Цит. по: *Ревич Вс.* Алексей Толстой как зеркало русской революции.

{453} Там же.

{454} Там же.

{455} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 306.

{456} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 414.

{457} Русский Берлин. С. 93.

{458} Вопросы литературы. 2000. № 1. http://magazines.russ.ru /voplit/ 2000/1/frezins.html

{459} Цит. по: *Толстая Е. Д.* А. Н. Толстой между небом и землей: Первый эскиз революционного романа. www.plexus.org.il/texts/Tolstoy mejdu.htm

{460} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 104.

{461} Вопросы литературы. 2000. № 1. http://magazines.russ.ru /voplit/ 2000/1/frezins.html

{462} Русский Берлин. С. 45.

{463} Там же.

{464} Минувшее. Т. 19. М.; СПб., 1996. С. 237.

{465} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 97.

{466} Цит. по: *Толстая Е. Д.* А. Н. Толстой между небом и землей: Первый эскиз революционного романа. www.plexus.org.il/texts/Tolstoy mejdu.htm

{467} Вопросы литературы. 2000. № 1. http://magazines.russ.ru/voplit/ 2000/1/frezins.html

{468} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 105.

{469} Литературное наследство. М., 1963. Т. 70. С. 338.

{470} Переписка А. Н. Толстого. Т. 1. С. 269.

{471} Там же. С. 283.

{472} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 154.

{473} Цит. по: *Солнцева Н. М.* Китежский павлин. М., 1992. С. 332.

{474} *Зайцев Б. К.* Братья-писатели. Воспоминания. М., 1991. С. 11.

{475} Русский Берлин. С. 37.

{476} *Берберова Н. Н.* Курсив мой. С. 207–208.

{477} *Ходасевич В. Ф.* Некрополь. М., 1996. С. 158–159.

{478} А. Н. Толстой. Из неопубликованного. Автобиография 1932 года. Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 121–122.

{479} *Толстой Д. А.* Мой отец продал душу дьяволу // Экспресс-газета Online. 2004. 10 окт. www.eg.ru

{480} *Волькенштейн Ф. Ф.* Указ. соч. С. 186.

{481} Литературное наследство. Т. 70. С. 401–402.

{482} Русский Берлин. С. 76–77.

{483} Литературное наследство. Т. 70. С. 403.

{484} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906–1929. С. 266.

{485} *Зайцев Б. К.* Братья-писатели. С. 20.

{486} *Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути, chudnov.sds.org.uahttp://chudnov.sds.org.ua/www/text/index.php

{487} *Степун Ф. А.* Указ. соч. С. 229.

{488} Цит. по: *Софиев Ю.* Иван Бунин: К 50-летию со дня смерти и 70-летию присвоения Нобелевской премии, http://prostor.samal.kz/texts/ numl 103/soft 103.htm

{489} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 255–257.

{490} Минувшее. Вып. 8. М., 1992. С. 95.

{491} Там же. С. 101.

{492} Там же. С. 115.

{493} Там же. С. 114.

{494} Там же. С. 116.

{495} Накануне. Берлин, 1922. 16 нояб.

{496} Минувшее. Вып. 8. М., 1992. С. 121.

{497} Там же. С. 124.

{498} Там же. С. 135.

{499} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 362.

{500} *Миндлин Э. Л.* Указ. соч. С. 156–157.

{501} РГАЛИ. Ф. 1723. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 95–96. Цит. по: *Катаев В.* Алмазный мой венец // Комментарий О. Лекманова, М. Рейкиной. При участии Л. Видгофа. http:

{502} Там же.

{503} *Миндлин Э. Л.* Указ. соч. С. 157.

{504} *Фурманов Д. А.* Сочинения: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 382.

{505} *Булгаков М. А.* Отрывки из дневника за 1922 год. m

{506} *Булгаков М. А.* Отрывки из дневника за 1922 год. m

{507} Там же.

{508} Там же.

{509} Там же.

{510} Там же.

{511} *Булгаков М. А.* Под пятой. Мой дневник. М., 1990. С. 34.

{512} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 298–299.

{513} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 7.

{514} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906-1929. М., 1997. С. 261.

{515} Там же. С. 266.

{516} Русский Берлин. С. 253–254.

{517} Цит. по: *Шешуков С. И.* Неистовые ревнители. М., 1984. С. 39.

{518} Там же. С. 60.

{519} Цит. по: *Бороздина П. А.* Указ. соч. С. 69.

{520} Разбойник Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица. М., 1925. Цит. по: *Баранов В. И.* Революция и судьба художника. С. 445–446.

{521} *Фурманов Д. А.* Сочинения. Т. 4. С. 418.

{522} Русский Берлин. С. 364.

{523} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906–1929. С. 261.

{524} Русский Берлин. С. 255.

{525} Там же. С. 247.

{526} *Иванов-Разумник Р. В.* Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 36.

{527} Там же. С. 59.

{528} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 51. *Ревич Вс.* Указ. соч. С. 47–68.

{529} http://www.fandom.ru/about fan/revich 20 03.htm

{530} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 158.

{531} *Чуковский К. И.* Дневник: 1906–1929. С. 261.

{532} Там же. С. 272.

{533} Там же. С. 499.

{534} Знамя. 2004. № 1. http://magazines.russ.ru

{535} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 164–165.

{536} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 51.

{537} *Бунин И. А.* Окаянные дни. М., 1991. С. 93–94.

{538} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 316–317.

{539} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 164.

{540} Русский Берлин. С. 262.

{541} Там же. С. 258.

{542} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 50.

{543} Там же. С. 267-268.

{544} *Мандельштам Е. Э.* Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. http://magazines.russ.ru

{545} *Шаламов В. Т.* Воспоминания, http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/ auth/auth pages.xtmpl?Key=7285&page=80

{546} *Эйдельман Н. Я.* Первый декабрист. Ч. 2. http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/FIRST/DEC02.HTM

{547} *Лукницкий П. Н.* Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1.

{548} Там же.

{549} Там же.

{550} Там же.

{551} *Иванов Вяч. Вс.* Беседы с Анной Ахматовой, http://www.ruthenia.ru/ 60s/kritika/ivanov ahmatova...

{552} *Будыко М.* Рассказы Ахматовой, http://www.akhmatova.oig/arti-cles/bydiko.htm

{553} *Лукницкий П. Н.* Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2. http://lib.baikal.net/koi.cgi/PROZA/LOUKNITSKIY P/a2.txt

{554} Там же.

{555} Там же.

{556} Там же.

{557} Там же.

{558} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 16.

{559} Там же. С. 21.

{560} Минувшее. Вып. 8. М., 1992. С. 335–336.

{561} Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М.; Л., 1925. С. 138.

{562} Литературное наследство. Т. 74. М., 1965. С. 30–31.

{563} Там же.

{564} Там же. С. 31–32.

{565} На посту. 1923. № 1. С. 187–188.

{566} *Горбачев Г.* К юбилею одной резолюции, http://www.ruthenia.ru/ sovht/c/1026593.html

{567} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 85.

{568} Цит. по: *Ревич Вс.* Указ. соч. http://www.fandom.ru/about fan/revich 20 03.htm

{569} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 87–88.

{570} Там же. С. 79.

{571} Там же. С. 86–87.

{572} Там же. С. 64–66.

{573} Там же. С. 73–74.

{574} *Пришвин М. М.* Дневник: 1923–1925. С. 343.

{575} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 158–159.

{576} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 134.

{577} *Горбачев Г.* К юбилею одной резолюции, http://www.ruthenia.ru/ sovlit/c/1026593.html

{578} *Шаламов В. Т.* Воспоминания, http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/ auth/auth pages.xtmpl. Key=7285&page=80

{579} Правда. 1926. № 100. 1 мая. Цит. по: Литературное наследство. Т.74. М., 1965. С. 37.

{580} Там же. С. 42.

{581} *Горбачев Г.* К юбилею одной резолюции, http://www.ruthenia.ru/ sovl i t/c/1026593.html

{582} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 85.

{583} *Шаламов В. Т.* Воспоминания, http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/ auth/auth pages.xtmpl. Key=7285&page=80

{584} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 4. С. 819.

{585} Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого: Попытка гендерного анализа. http://envila.by.iatp.oig.ua/info/courses/conference99/a6 1.html

{586} Там же.

{587} Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого: Попытка гендерного анализа. http://envila.by.iatp.oig.ua/info/courses/conference99/a6 1.html

{588} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 137.

{589} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 36–37.

{590} Там же. С. 17.

{591} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 107–110.

{592} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 40–41.

{593} Там же. С. 44–45.

{594} Там же. С. 45.

{595} *Толстая Е. Д.* Толстой и Ветлугин, http://www.utoronto.ca/tsq/07/ tolstaya07.shtml

{596} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 155.

{597} Литературное наследство. Т. 74. С. 156.

{598} Там же. С. 280.

{599} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 363.

{600} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 47.

{601} Там же. С. 49.

{602} Там же.

{603} Там же. С. 54.

{604} *Козлов В. П.* Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. М.: РОССПЭН, 2001. http://lib.ru/POLITOLOG/KOZLOW/klio.txt

{605} Там же.

{606} Там же.

{607} *Андроников И. Л.* А теперь об этом. М., 1981. С. 29.

{608} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 30–31.

{609} http://srcc.msu.su/uni-persona/prishvin/pri- 1928.htm

{610} Русский Берлин. С. 111.

{611} *Андроников И. Л.* Указ. соч. С. 9–10.

{612} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 60.

{613} Русский Берлин. С. 262.

{614} *Гаврилов Дм.* Сказочники и смерть, http://www.proza.ru/texts/2004/ 11/20-118.html

{615} Там же.

{616} http://srcc.msu.su/uni-persona/prishvin/pri-1928.htm

{617} Там же.

{618} *Андроников И. Л.* Указ. соч. С. 11.

{619} *Навашина-Крандиевская Н. П.* Облик времени. М., 1997. С. 49.

{620} *Толстой Д. А.* Указ. соч. С. 116.

{621} Лица. № 1. СПб., 1992. С. 303.

{622} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 63.

{623} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 68.

{624} Там же.

{625} Там же. С. 69–70.

{626} *Пришвин М. М.* Дневник: 1923–1925. С. 209.

{627} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 70.

{628} Там же.

{629} На литературном посту. 1931. № 10. С. 21–23.

{630} *Фадеев А. А.* Сочинения: В 7 т. М., 1971. Т. 7. С. 82.

{631} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 448.

{632} Минувшее. Вып. 16. М.; СПб., 1994. С. 165.

{633} *Кузнецова Г. Н.* Грасский дневник. М., 1995. С. 134.

{634} Там же. С. 174.

{635} *Бахрах А.* Бунин в халате. С. 159.

{636} *Седых А.* Далекие, близкие М., 1979. С. 210.

{637} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 456.

{638} Встреча с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С 285.

{639} Минувшее. Вып. 22. 1997. С. 579.

{640} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 415.

{641} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 82.

{642} Там же. С. 211–212.

{643} Минувшее. Вып. 16. М.; СПб., 1994. С. 106.

{644} *Иванов-Разумник Р. В.* Указ. соч. С. 71–74.

{645} Большевик. 1932. № 8. С. 33.

{646} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 182.

{647} Цит. по: *Шешуков С. И.* Неистовые ревнители. М., 1984. С. 236.

{648} Там же.

{649} Запись от 18 февраля 1930 года // Октябрь. 1989. № 7. С. 144.

{650} РГАЛИ. Ф. 1099. On. 1. Ед. хр. 376.

{651} http://kniga.websib. ru/text.htm?book=48&chap= 1

{652} *Фадеев А. А.* Сочинения. Т. 7. С. 51–52.

{653} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 28.

{654} Там же. С. 144.

{655} Там же. С. 84.

{656} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 81.

{657} Цит. по: http://www.sgu.ru/ogis/bogo/mat7/mat7-19.html

{658} *Федин К. А.* Собрание сочинений. Т. 12. С. 46.

{659} Там же.

{660} Там же. Т. 11. С. 238.

{661} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 46.

{662} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 92.

{663} *Липкин С. И.* Я родился при царе и девять лет жизни прожил в нормальных условиях, http://lists.ng.ni/talk/2001-09-15/9 king.html

{664} Там же.

{665} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 124.

{666} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 303.

{667} Русский Берлин. С. 105.

{668} Там же. С. 258.

{669} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 61.

{670} *Иванов Г. В.* Сочинения. Т. 3. С. 509–510.

{671} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 120–121.

{672} Минувшее. Вып. 3. С. 296.

{673} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 119.

{674} Литературное наследство. Т. 70. С. 409.

{675} *Кузнецова Г. И.* Указ. соч. С. 212–213.

{676} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 169.

{677} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 367–374.

{678} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 141.

{679} Там же. С. 142.

{680} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 206.

{681} *Сталин И. В.* Собрание сочинений. Т. 12. С. 175.

{682} Власть и художественная интеллигенция. М., 2002. С. 170.

{683} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 374–375.

{684} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 122.

{685} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 45.

{686} Литературное наследство. Т. 70. С. 415.

{687} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 114.

{688} Там же. С. 115.

{689} Там же. С. 176.

{690} *Толстой А. Н.* Сочинения. В 10 т. Т. 10. С. 194.

{691} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 185.

{692} http://www.geocities.com/Athens/8926/Kharms/Kh Diary.html

{693} *Толстой А. Н.* Сочинения- В 10 т. Т. 10. С. 258.

{694} *Милашевский В.* Вчера, позавчера... М., 1989. С. 293.

{695} *Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 166.

{696} *Волькенштейн Ф. Ф.* Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама. С. 54–57. Цит. по: *Ахматова А. А.* Сочинения: В 6 т. Т. 6. С. 501— 503.

{697} *Тагер Е. М.* О Мандельштаме, http:// www.silverage.ru/poets/man-. del/tager.htm

{698} *Герштейн Э.* Мемуары. С. 49–50.

{699} http://www.akhmatova.org/articles/htm

{700} *Мандельштам Н. Я.* Вторая книга. М., 1990. С. 11.

{701} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 121.

{702} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 80.

{703} Минувшее. Вып. 8. М., 1992. С. 157.

{704} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930-1969. С. 127.

{705} Цит. по: *Крюкова А. М.* Указ. соч. С. 91.

{706} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 126.

{707} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 66.

{708} *Ходасевич В. Ф.* Некрополь. С. 208.

{709} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 81.

{710} Там же.

{711} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 35.

{712} *Навашина-Крандиевская* Я. Я. Облик времени. М., 1997. С. 41.

{713} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 192–193.

{714} *Гаврилов Дм.* Сказочники и смерть, http://www.proza.ru/texts/2004/ 11/20-118.html.

{715} Звезда. 1958. № 1. С. 192.

{716} ; http://possum.sumy.ua/essay/ buratino/buratino. html

{717} *Дегтярев К.* История Карабаса-Барабаса. http://fershal.narod.ru/ Articles/Carabas/8 Vodeville.htm

{718} *Гудов В. А.* Приключения Буратино в семиотической перспективе, или Что видно в скважину от золотого ключика: Материалы к энциклопедии Буратино, http://www.academ.org/~tpuh/sbomik/gudov.htm

{719} Вопросы литературы. 1979. № 4.

{720} http://kniga.websib.ru/text.htm?book=48&chap= 1

{721} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 208.

{722} *Липовецкий М. Н.* Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип. Перечитывая «Золотой ключик» А. Н. Толстого // НЛО. 2003. № 60.

{723} Там же.

{724} Там же.

{725} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 301.

{726} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 59–60.

{727} Литературное наследство. Т. 74. С. 331.

{728} http://militera.lib.ru/memo/russian/gromov mm/0l.html

{729} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 80.

{730}Там же. С. 81.

{731} Минувшее. Вып. 3. С. 338.

{732} Там же.

{733} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 121.

{734} Минувшее. Вып. 3. С. 338.

{735} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 246.

{736} Минувшее. Вып. 3. С. 336–337.

{737} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 80.

{738} Минувшее. Вып. 3. С. 302.

{739} Там же. С. 329.

{740} Там же. С. 304.

{741} Там же. С. 303–304.

{742} Там же. С. 304.

{743} *Иванов Вяч. Вс.* Загадка последних дней Горького // Звезда. 1993. № 1. С. 156-157.

{744} Там же.

{745} Минувшее. Вып. 3. С. 334.

{746} Нева. 1987. № 8. С. 201.

{747} Минувшее. Вып. 3. С. 336.

{748} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 72.

{749} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 228.

{750} Там же. С. 232–233.

{751} Минувшее. Вып. 3. С. 311.

{752} Там же.

{753} Там же. С. 315.

{754} Там же. С. 341–342.

{755} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 298.

{756} Там же. С. 298-299.

{757} *Струве Н.* Восемь часов с Анной Ахматовой // Звезда. 1989. № 6. С. 118–127.

{758} http://www.mere-marie.eom/l 10.htm

{759} Там же.

{760} *Крандиевский Ф. Ф.* Указ. соч. С. 66.

{761} *Толстой Д. А.* Указ. соч. С. 114.

{762} Минувшее. Вып. 3. С. 323.

{763} http://www.mere-marie.eom/l 10.htm

{764} Там же.

{765} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 228–229.

{766} *Андроников И. Л.* Указ. соч. С. 28.

{767} Минувшее. Т. 19. М.; СПб., 1996. С. 446–447.

{768} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 236.

{769} *Шнейдерман Э.* Элитфонд // Звезда. 2004. № 1.

{770} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 239.

{771} *Борщаговский А.* Зрители дешевого райка.http://magazines.russ.ru/ znamia/1999/8/borsh.html

{772} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 231.

{773} Там же. С. 233.

{774} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 250.

{775} http://magazines.russ.rU/znamia/2000/8/davyd.html

{776} *Яновский В. С.* Елисейские Поля. М., 1993. С. 169.

{777} *Анненков Ю. П.* Дневник моих встреч. Цикл трагедий. М., 1991. Т. 2. С. 128-129.

{778} Звенья. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 496.

{779} *Степун Ф. А.* Указ. соч. С. 229.

{780} Минувшее. Вып. 22. 1997. С. 604.

{781} Литературный фронт. История политической цензуры. 1932–1946. М., 1994. С. 39.

{782} Минувшее. Вып. 22. 1997. С. 608.

{783} *Зайцев Б. К.* Братья-писатели. С. 28.

{784} Устами Буниных. Т. 2. С. 250.

{785} *Седых А.* Указ. соч. С. 230–231.

{786} *Бахрах А.* Указ. соч. С. 159–160, 221.

{787} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 322.

{788} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. С. 191.

{789} Там же.

{790} Минувшее. Вып. 5. М., 1991.

{791} *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 234.

{792} *Фадеев А. А.* Письма и документы. М., 2001. С. 58–59.

{793} Там же. С. 60.

{794} Счастье литературы. Государство и писатели. М., 1997. С. 231.

{795} Там же.

{796} *Эйдельман Н. Я.* Из дневников: 1966-1973 // VIVOS VOCO. 1999. № 1.

{797} *Поволяев В.* Бронзовый купидон // Труд. 2001. 4 июля. № 120.

{798} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 217–219.

{799} *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 231.

{800} *Троцкий Л. Д.* Искусство и революция, http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotm466.htm

{801} Цит. по: *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 8. С. 532.

{802} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 267.

{803} *А. Н. Толстой.* Сочинения: В 15 т. Т. 13. С. 146.

{804} Там же. С. 161.

{805} Там же. С. 178.

{806} Там же.

{807} «Что же с нами делают?..»: Письма к А. Н. Толстому // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 507.

{808} Там же. С. 524.

{809} Там же. С. 508.

{810} Там же. С. 524.

{811} Там же. С. 521–523.

{812} Минувшее. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 228.

{813} http://dragilev. ru/represia25.html

{814} Там же.

{815} Там же.

{816} http://dragilev. ru/represia25.html

{817} *Каверин В. А.* Эпилог. М., 1989. С. 203–204.

{818} Литературный фронт. С. 58.

{819} Там же.

{820} Цит. по: *Герштейн Э.* Мемуары. С. 282–283.

{821} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 375–376.

{822} *Пришвин М. М.* Дневник 1939 года // Октябрь. 1998. № 2. С. 149.

{823} *Каверин В. А.* Указ. соч. С. 172.

{824} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 435.

{825} *Толстой Д. А.* Указ. соч. С. 122.

{826} *Белкина М. И.* Указ. соч. С. 35–36.

{827} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 217.

{828} *Гуль Р. Б.* Я унес Россию. С. 310.

{829} Там же. С. 302.

{830} *Елагин Ю.* Рабоче-крестьянский граф // Огонек. 1990. № 41. С. 23.

{831} Там же. С. 24.

{832} Там же.

{833} Там же. С. 25.

{834} Там же.

{835} РГАПИ. Ф. 2553. On. 1. Ед. хр. 500.

{836} *Елагин Ю.* Рабоче-крестьянский граф. С. 25.

{837} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 501, 504.

{838} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 313.

{839} Там же. С. 102.

{840} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 482–483.

{841} Там же. С. 515.

{842} http://militera.lib.ru/memo/nissian/ortenberg 1/02.html

{843} Там же.

{844} Там же.

{845} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 10. С. 501, 504.

{846} Там же. С. 505–506.

{847} http://militera.lib.ru/memo/russian/ortenbeig dil/02.html

{848} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 336.

{849} *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 207.

{850} *Толстой А. Н.* Сочинения: В 10 т. Т. 1. С. 62.

{851} Цит. по: *Крестинский Ю. А.* Указ. соч. С. 296.

{852} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 333–334.

{853} Цит. по: *Баранов В. И.* Трубка вождя, или Уход «рабоче-крестьянского графа»: Опыт беллетризованного исследования // Независимая газета. 2000. 11 марта. http://saturday.ng.rU/things/2000-03-ll/3 tube.html

{854} Власть и художественная интеллигенция. М., 2002. С. 478.

{855} Там же.

{856} *Иванов В. В.* Дневники. М., 2001. С. 88.

{857} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 336–338.

{858} http://www.seva.ru/oborot/calendar/? o=814&ret=/oborot/archive/ %3Fid%3D814

{859} Власть и художественная интеллигенция. М., 2002. С. 500.

{860} *Эйзенштейн С.* Мемуары. М., 1997. Т. 2. С. 424.

{861} *Белкина М. И.* Скрещение судеб. С. 305.

{862} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 35–36.

{863} Переписка А. Н. Толстого. Т. 2. С. 81.

{864} *Бабаев Э.* Назначенный круг, http://www.auditorium.ru/books/286/ Vopli95-4 chapter9.html

{865} *Сомова С.* Мне дали имя — Анна: Анна Ахматова в Ташкенте // Москва. 1984. № 3. С. 177–193.

{866} *Чуковский К. И.* Дневник: 1930–1969. С. 161.

{867} Литературный фронт. С. 72–73.

{868} *Фадеев А. А.* Письма и документы. С. 121.

{869} Письма Г. Эфрона. Калининград, 1995. С. 66.

{870} Там же. С. 82.

{871} Там же. С. 117–118.

{872} *Белкина М. И.* Скрещение судеб. С. 325–326.

{873} Там же. С. 327.

{874} Там же. С. 309.

{875} Письма Г. Эфрона. Калининград, 1995. С. 64.

{876} *Берлин И.* Из воспоминаний: Встречи с русскими писателями.

{877} *Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т. 1. С. 440.

{878} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1995. С. 187.

{879} *Потоцкая-Михоэлс А.* Театр. 1961. № 3. С. 86.

{880} РГАЛИ. Ф. 2693. Оп. 2. Ед. хр. 27.

{881} *Потоцкая-Михоэлс А.* // О Михоэлсе богатом и старшем, http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/w/papers/BIO/GOSET/GOSETOO 1 .HTM

{882} http://www.migdal.ru/book-chapter.php?chapid=3718

{883} *Потоцкая-Михоэлс А.* О Михоэлсе богатом и старшем.

{884} http://faina.narod.ru/process/bio5.html

{885} А. Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1995. С. 187.

{886} Цит. по: *Оклянский Ю. М.* Роман с тираном. М., 1996. С. 66.

{887} *Федин К. А.,* Сочинения: В 12 т. Т. 12. С. 99.

{888} РГАЛИ. Ф. 2693. Оп. 2. Ед. хр. 27.

{889} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 101–102.

{890} Там же. С. 438.

{891} *Твардовский А. Т.* Из записной потертой книжки… //Дружба народов. 2000. № 6. http://magazines.niss.rU/druzhba/2000/6/tvard.html

{892} *Толстой Н. А.* Указ. соч. // Аврора. 1983. № 1. С. 98.

{893} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 42.

{894} Там же. С. 267–268.

{895} *Федин К. А.* Сочинения: В 12 т. Т. 12. С. 234.

{896} http://www.apn.ni/regions/2002/l/18/13172.htm

{897} http://www.ibrnh.msk.sU/vivovoco/w/papeis/BIO/GOSET/ GOSET001. HTM

{898} Воспоминания об А. Н. Толстом. С. 54.

{899} Минувшее. Вып. 5. М., 1991. С. 87–88.

{900} Литературное наследство. Т. 74. С. 345–346.

{901} *Эйзенштейн С.* Мемуары. Т. 2. С. 425–426.

{902} *Бунин И. А.* Сочинения. Т. 7. С. 520.

{903} http://www.ftmh.msk.su/vivovoco/w/papeis/BIO/GOSET/GOSET001.HTM

{904} *Федин К. А.* Сочинения: В 12 т. Т. 12. С. 98–99.

{905} *Берестов В.* Сочинения. Т. 2. С. 308.

{906} *Зайцев Б. К.* Братья-писатели. С. 27–28.

{907} *Федин К. А.* Сочинения: В 12 т. Т. 12. С. 358.